

АНРИ БАРБЮС + ОГОНЬ

АНРИ
БАРБЮС
—
ОГОНЬ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



HENRI BARBUSSE

LE FEU

АНРИ БАРБЮС

ОГОНЬ

Издание подготовили
Ф. С. НАРКИРЬЕР,
И. А. ЛИЛЕЕВА, О. В. МОИСЕЕНКО,
В. А. МИЛЬЧИНА, О. Э. ГРИНБЕРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1985

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников,
Д. Д. Благой, И. С. Братинский, Н. А. Жирмунская,
А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),
Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),
Г. В. Степанов, С. О. Шмидт*

Ответственный редактор
Ф. С. НАРКИРЬЕР



*Анри Барбюс в армии. 1915 г.
Фотография*

I ВИДЕНИЕ

Лицом к вершинам Дан-дю-Миди, Эгюй-Верт и Монблана, на галерее санатория, в ряд лежат люди; из-под одеял виднеются исхудалые, бескровные лица; глаза лихорадочно блестят.

Эта застекленная терраса дворца-госпиталя одиноко возвышается над миром.

Красные, зеленые, коричневые, белые одеяла из тонкой шерсти не шевелятся. На шезлонгах царит молчание. Кто-то кашлянул. Изредка слышится только шелест мерно переворачиваемых страниц книги или вопрос и ответ осторожно перешептывающихся соседей, или иногда на балюстраде хлопает крыльями дерзкая ворона, которая отбилась от стай, рассыпающихся бусами черного жемчуга в прозрачном небе.

Молчание здесь — закон. К тому же эти богатые, независимые люди, съехавшиеся сюда со всех концов света, пораженные одним и тем же недугом, отвыкли говорить. Они ушли в себя и думают только о своей жизни и смерти.

На галерее появляется служанка; она вся в белом и двигается бесшумно. Она раздает газеты.

— Конечно! — говорит тот, кто первый развернул газету. — Война объявлена!

Хотя все давно готовы к этому известию, оно потрясает: ведь все чувствуют его безмерное значение.

Эти умные, образованные люди, умудренные страданием и раздумьем, отрешенные от жизни, далекие от других людей, словно уже принадлежащие будущему, глядят вдаль, в непонятную страну живых и сумасшедших.

— Это преступление со стороны Австрии! — говорит австриец.

— Или Англии, — говорит англичанин.

— Надеюсь, что Германия будет побеждена, — говорит немец.

* * *

Они опять ложатся под одеяла, лицом к вершинам и небу. Но, несмотря на чистоту воздуха, тишина полна принесенной вестью.

Война!

Некоторые нарушают молчание и вполголоса повторяют это слово, размышляя о том, что наступает величайшее событие нашего времени, а может быть, и всех времен.

Эта весть вызывает в сияющей природе какой-то смутный сумрачный мираж.

Среди спокойных просторов долины, оживляемой розовеющими деревьями и бархатистыми пастбищами, среди великолепных гор, под черными зубцами елей и белыми зубцами вечных снегов возникает какое-то движение.

Везде кишат полчища. По полям, волна за волной, они несутся в атаку и вдруг застывают на месте; дома выпотрошены, как люди, и города — как дома; деревни кажутся белой россыпью камней, рухнувших на землю; жуткие груды мертвецов и раненых меняют вид равнин.

Народы, обескровленные взаимной резней, беспрестанно вырывают из своих недр живых, полных сил солдат, и в реку смерти вливаются все новые притоки.

На севере, на юге, на западе — повсюду идут бои. Куда ни глянешь — везде война.

Кто-то из этих бледных провидцев приподнимается на локте, называет и подсчитывает сегодняшних и грядущих участников войны; тридцать миллионов солдат. Другой, ошеломленный зрелищем войны, бормочет:

— Бьются две армии: это кончает самоубийством единая большая армия.

— Не надо бы. . . — глухим голосом говорит первый в ряду.

Другой возражает:

— Начинается опять французская революция.

— Берегитесь, монархи! — шепотом возвещает третий.

— Может быть, это последняя война, — прибавляет четвертый.

Молчание. Несколько человек, еще бледные после тяжелой, бессонной ночи, покачивают головой.

— Прекратить войны! Да разве это возможно? Прекратить войны! Язва мира неисцелима!

Кто-то кашляет. И под солнцем среди пышных лугов, где пасутся лоснящиеся, гладкие коровы, опять воцаряется великая тишина; черные леса, зеленые поля и голубые дали заслоняют зловещее видение и гасят отсвет огня, от которого загорается и рушится старый мир. В бесконечной тишине замирает гул ненависти и страдания людских масс. Собеседники, один за другим, снова уходят в себя, озабоченные тайной своих легких и спасением своего тела.

Но, когда в долину нисходит вечер, над громадой Монблана разражается гроза.

В такие ненастные вечера выходить больным запрещается: даже до большой веранды — в гавань, куда они укрылись, — долетают порывы ветра.

Пораженные смертельным недугом люди созерцают буйство стихий; они смотрят на то, как при раскатах грома над горой поднимаются тучи, подобные морским волнам, и с каждым его ударом возникают столп огненный и столп облачный²; затем они поднимают свои бледные, испытые лица, чтобы проследить за орлами, кружащими в небе, которые взирают на землю сквозь клубы тумана.

— Прекратить войны! — говорят они. — Прекратить грозу!

Но, оказавшись вне мира живых, освобожденные от страстей, от приобретенных понятий, от власти традиций, прозрев, умирающие сознают простоту бытия и видят великие возможности. . .

Последний в ряду восклицает:

— Внизу что-то ползет!

— Да. . . что-то живое.

— Как будто кусты. . .

— Как будто люди.

И вот в зловещих отсветах грозы, под черными взлохмаченными тучами, нависшими над миром, как злые духи, разверзается широкая лиловая долина. Из недр этой долины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, изрытая ямами, полными воды, равнина кажется бескрайней, и погибающим там нет числа. . . Но тридцать миллионов рабов, ошибочно, преступно брошенных друг против друга в эту войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах наконец появляется выражение воли. В руках этих рабов будущее, и ясно, что старый мир обновится только благодаря союзу, который когда-нибудь заключат те, чье число и страдания безмерны.

II ПОД ЗЕМЛЕЙ

Глубокое бледное небо полнится громовыми раскатами: при каждом взрыве, при каждой рыжей вспышке взвиваются два столба — огненный и облачный, один прорезает уходящую ночь, другой — полоску занимающей зари.

Там высоко-высоко, далеко-далеко кружит стая страшных, четко и гулко дышащих птиц; они глядят на землю, их слышно, но не видно.

Земля! При свете медлительной, безысходной зари открывается огромная, залитая водой пустыня. По лужам и воронкам пробегает рябь от колючего предутреннего ветерка; на этих полях бесплодия, изрезанных рывтинами, в скудном мерцании дня поблескивают, как стальные рельсы, колеи дорог, проложенных солдатами и ночными обозами; из грязи торчат сломанные колья, вывернутые рогатки в форме буквы X, спутанные, скрученные мотки, целые заросли проволоки. Везде илестые отмели и лужи; можно подумать, что бескрайняя, серая, кое-где затонувшая холстина кольшется на море. Дождь перестал, но все мокро, влажно, вымыто, вымокло, затоплено, белесый свет и тот как будто течет.

Обозначаются длинные извилистые рвы, где сгущается осадок ночи. Это — окопы. На дне их — слой грязи, от которой при каждом шаге приходится с хлюпаньем отдира́ть ноги; возле каждого убежища воняет мочой. Если наклониться к боковым укрытиям, они тоже смердят, как зловонные рты.

Из этих горизонтальных колодцев вылезают огромные бесформенные существа, они топчутся и рычат, словно медведи. Это — мы.

Мы закутаны, как жители арктических стран. Шерстяные вещи, брезент, одеяла, которые мы на себя нацепили, до странности увеличивают наши размеры. Кое-кто потягивается, зевает во весь рот. Различаешь лица, красные или лиловые, покрытые грязью, заросшие бородами или небритой щетиной; словно светом ночников, они чуть озарены заспанными, слипшимися глазами.

Трах! Тах! Тах! Бац! Выстрелы, канонада. Над нами треск, грохот — продолжительные раскаты или отдельные удары. Черная огненная гроза не стихает никогда, никогда. Уже больше пятнадцати месяцев, уже пятьсот дней в этом уголке мира обстрел и бомбардировка не прекращаются с утра до вечера и с вечера до утра. Мы погребены в недрах вечного поля боя, но, словно тиканье домашних часов в былые времена — в почти легендарном прошлом, — этот грохот слышишь, только когда прислушаешься.

Из-под земли показывается пухлая детская мордочка с воспаленными веками, с такими красными скулами, точно на них наклеили ромбы из красной бумаги; открывается один глаз, оба глаза; это — Паради. Его щеки испещрены полосами: это отпечатались складки парусины, под которой он спал, укрывшись с головой.

Он обводит нас взглядом своих маленьких глазок, замечает меня, кивает головой и говорит:

— Ну вот, прошла еще одна ночь!

— Да, а сколько нам еще предстоит таких ночей?

Он воздевает к небу пухлые руки. С трудом извлекает себя из землянки, и вот, споткнувшись о какую-то кучу, он уже рядом со мной; куча оказалась человеком, который сидит в полутьме, остервенело чешется и тяжело вздыхает. Паради уходит, шлепая по лужам и ковьяля, как пингвин, на фоне доисторического пейзажа.

* * *

Мало-помалу из недр земли вылезают люди. В углублениях сгущается тень; группы солдат приходят в движение, дробятся. . . Солдат узнаешь одного за другим.

Появляется человек, голова которого закутана в одеяло, как в капюшон. Дикарь или, верней, палатка дикаря! Он прогуливается, покачиваясь справа налево. Вблизи, в рамке шерстяного одеяла, можно различить квадратное желтое, йодистое лицо в черноватых пятнах. Сломанный нос, раскосые китайские глаза и жесткие мокрые усы, похожие на щетку.

— А-а, вот Вольпат! Как дела, Фирмен?

— Дела, дела как сажа бела! — отвечает Вольпат.

Он говорит с трудом, протяжно, хриплым голосом. Кашляет.

— На этот раз я совсем расхворался. Слыхал? Ночью была атака. Ну и жарили боши! Прямо-таки поливали нас свинцом!

Он сопит и вытирает рукавом курносый нос. Запускает руку за пазуху под шинель и куртку, нащупывает тело и начинает чесаться.

— На свечке я сжег штук тридцать «блондинок», — ворчит он. — В большой землянке, у подземного прохода, их тьма-тьмушая, прямо кишмя-кишат! Я видел, как они шныряют по соломе, вот как сейчас вижу тебя.

— А кто ходил в атаку? Боши?

— Боши, и мы тоже. Это было у Вими³. Контратака. Ты не слышал?

— Нет, — отвечает за меня толстяк Ламюз, человек-бык. — Я дрых вовсю. Ведь прошлой ночью я был на работах.

— А я слышал, — объявляет маленький бретонец Бике. — Я плохо спал; вернее, совсем не спал. У меня своя собственная землянка. Да вот, поглядите, вон она, паскуда!

Он показывает на продолговатую ямку у самой поверхности земли; здесь на кучке навоза только-только может улечься один человек!

— Ну и никудышная квартира! — восклицает он, покачивая маленькой, словно недоделанной головой, — я почти и не дрых; уже засыпал, да помешали... проснулся... Не от шума, а от запаха. Сменяли сто двадцать девятый полк. Да-а, все эти парни шагали у самой моей морды. Я и проснулся: вон ударила мне прямо в нос.

Мне это знакомо. Я часто просыпался в окопах от густой вони, которая тянется за проходящим отрядом.

— Эх, кабы вон убивала вшей! — говорит Тирет.

— Наоборот, она их подзадоривает, — замечает Ламюз. — Чем больше смердишь, тем больше их у тебя заводится.

— И хорошо еще, — продолжает Бике, — что они меня разбудили своей вонью! Вот я сейчас рассказывал этому толстобрюхому: продрал глаза как раз вовремя — успел схватить свой брезент (я им закрываю мою дыру); какой-то сукин сын уже собирался его спереть.

— В сто двадцать девятом полку все как есть сволочи!

В глубине, у наших ног, сидит на корточках человек; при утреннем свете его трудно разглядеть; он обеими руками хватается за свою одежду, скребется, чешется. Это дядюшка Блер.

Он мигает узкими глазками; его лицо покрыто слоем пыли. Над беззубым ртом торчат толстые желтоватые комки усов. Руки чудовищно черны; они так грязны, словно обросли волосами, а ладони покрыты жесткой серой корой. От этой скрюченной фигуры несет немойтой кастрюлей.

Он усердно чешется и в то же время болтает с долговязым Барком, который стоит наклонясь к нему.

— Дома я не такой грязный и черный, — говорит Блер.

— Н-да, бедняга, дома ты, наверно, белей! — замечает Барк.

— Твое счастье, — подзадоривает Тирет, — а то бы твоя женка нарядила от тебя негрятят!

Блер сердится. Хмурит брови (его лоб почернел от грязи).

— Чего ты лезешь? А хотя б и так? На то и война. А ты, чучело гороховое, думаешь, на войне у тебя не изменился фасад и повадки? Да погляди на себя, обезьянья харя, погань неумытая! Эка, понес околесицу! Бывают же такие дурни!

Он проводит рукой по темной коре, покрывающей его лицо, которую так и не смыли все прошедшие дожди.

— Да если я такой, значит, я так хочу. Прежде всего у меня нет зубов. Лекарь уже давно сказал мне: «У тебя больше нет ни одного зуба. Этого слишком мало. На первой же остановке ступай, говорит, в естаматологический кабинет».

— Томатологический, — поправляет Барк.

— Стоматологический, — устанавливает Бертран.

— А я не пошел: не захотел, — продолжает Блер, — хоть там и лечат задарма.

— Почему же не пошел?

— Да так, неохота возиться, — отвечает он.

— Ты сущий повар, — говорит Барк. — Тебе бы надо заделаться поваром.

— Я и сам так думаю, — простодушно соглашается Блер.

Все смеются. Черный человек обижен. Он встает.

— У меня от вас брюхо заболело, — презрительно отчеканивает он. — Пойду в нужник.

Когда его темный силуэт исчезает из глаз, собеседники лишний раз повторяют старую истину, что на фронте грязнее всех повара.

— Если увидишь чумазого парня с грязным рылом и в грязной одежде, такого, что прикоснуться к нему можно только щипцами, так и знай: наверняка повар! И чем грязней, тем он верней повар.

— Истинная правда, — подтверждает Мартро.

— А-а, вот Тирлуар! Эй, Тирлуар!

Тирлуар подходит, озабоченный, поглядывая туда-сюда; он так бледен, словно лицо его обмазано известкой; худая шея болтается в слишком широком и жестком воротнике шинели. У него острый подбородок; верхние зубы выступают вперед; резкие морщины с глубоко забившейся в них грязью кажутся у рта намордником. По обыкновению он взбешен и, как всегда, бранится:

— У меня ночью свистнули сумку!

— Это сто двадцать девятый полк! А где ты ее держал?

Он показывает на штык, воткнутый в стенку, у входа в укрытие.

— Здесь висела, вот на этой зубочистке.

— Раззява! — хором восклицают собеседники. — Сам людям подставил! Да ты что, рехнулся?

— Экая досада! — стонет Тирлуар.

Вдруг его охватывает гнев; лицо его передергивается, кулаки судорожно сжимаются. Он потрясает ими.

— Эк, попадись мне этот стервец! Да я бы ему морду разбил, выпотрошил бы ему брюхо, да я бы... Ведь у меня в сумке лежал непочатый камамбер. Пойти еще поискать, что ли!

Тирлуар быстро-быстро ударяет себя по животу, словно по струнам гитары, и, похожий на больного в халате, углубляется в предутреннюю мглу, разъяренный, но не потерявший собственного достоинства. Его ругань доносится даже издалека; наконец он исчезает.

— Вот долдон! — говорит кто-то.

Все хихикают.

— Он свихнулся и спятил, — объявляет Мартро, по обыкновению усиленная мысль сочетанием двух однозначных слов.

* * *

— Эй, братишка, погляди, — говорит явившийся Тюлак, — погляди-ка!

Тюлак великолепен. На нем казакин лимонно-желтого цвета, сшитый из непромокаемого спального мешка. Тюлак проделал в нем дыру для головы и поверх этого футляра надел ремни и пояс. Он рослый, костлявый, решительный. На ходу он вытягивает шею и косит глазами. Он что-то держит в руке.

— Вот нашел сегодня, когда копал ночью землю в конце Нового хода: мы меняли прогнивший настил. Хорошая штукавина, сразу мне понравилась. Это топор старинного образца.

Действительно, «топор старинного образца»: заостренный камень с рукояткой из побуревшей кости. Настоящее доисторическое орудие.

— Его удобно держать, — говорит Тюлак, помахивая своей находкой. — Да, недурно придумано. Лучше сделано, чем наши топоры военного образца. Словом, сногшибательно! На, погляди-ка!.. А-а? Отдай. Он мне пригодится. Увидишь...

Он потрясает этим топором четвертичного периода и сам кажется питекантропом в лохмотьях, укрывшимся в недрах земли.

* * *

Один за другим подходят солдаты из отделения Бертрана и собираются у поворота траншеи. В этом месте она немного шире, но и тут, чтобы разминуться, надо прижаться спиной к грязной стенке и упереться животом в живот товарища.

Наша рота в резерве; она занимает окопы второй линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают на передовую на земляные работы, а пока светло, нам нечего делать. Нас свалили в одну кучу, и, словно прикованные друг к дружке, мы стараемся хоть как-нибудь убить время до вечера — ничего другого нам не остается.

Дневной свет наконец пробился в бесконечные трещины, избородившие эту землю; добирается он и до наших нор. Печальный свет севера! Здесь даже небо тесное и грязное, как будто отягченное дымом и смрадом заводов. При этом тусклом освещении разные наряды жителей нашего дна предстают во всем своем убожестве среди огромной безысходной нищеты, породившей их. Великая драма, которую мы разыгрываем, тянется слишком долго, мы ко всему привыкли: стрельба кажется нам теперь однообразным тиканьем часов, залпы орудий — мурлыканьем кота, и мы уже не удивляемся своему виду и наряду, придуманному нами для защиты от дождя, льющегося сверху, от грязи, проникающей снизу, от бесконечного холода, пребывающего всюду.

Звериные шкуры, одеяла, парусина, вязаные шлемы, суконные и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повязанные, как чалмы, фуфайки и сверхфуфайки, сверходяения и головные уборы в виде клеен-

чатых, просмоленных, прорезиненных капюшонов, черных или всех (правда, полинявших) цветов радуги, покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти так же, как кожу, и расширяют тело и голову до огромных размеров. Один напялил на спину найденную где-то на стоянке в столовой квадратную клеенку в крупную белую и красную клетку, — это Пепен; его узнаешь еще издали скорей по этой арлекинской вывеске, чем по бледному лицу апаша⁴. Вот топорщится манишка Барка, вырезанная из стеганого одеяла, когда-то розового, а теперь бурого от пыли и дождя. Вот огромный Ламюз, подобный разрушенной башне с остатками афиш. Вот маленький Эдор: кираса из чертовой кожи делает его похожим на жука с глянцевиной спинкой; и среди них, как великий вождь, блистает оранжевым нагрудником Тюлак.

Каска придает единообразие головам всех этих людей. Да и то не совсем! Одни надевают ее на кепи, как Бике; другие — на вязаный шлем, как Кадийяк, третьи — на шапку, как Барк, — и это усложняет ряд и меняет облик каждого из них.

А наши ноги!.. Только что, согнувшись в три погибели, я спустился в нашу землянку — низкий тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью, где спотыкаешься о пустые банки из-под консервов и о грязное тряпье, где лежат, растянувшись, две длинные спящие фигуры, а в углу при свете огарка какая-то тень, стоя на коленях, роется в сумке... Вылезая обратно через прямоугольное отверстие, я увидел ноги. Они торчали отовсюду, горизонтально, вертикально или наклонно, вытянутые, согнутые, сплетенные, они мешали пройти; все их проклинали; это была многообразная и многоцветная коллекция: гетры и краги, черные и желтые, высокие и низкие, из кожи, из плотной парусины, из какой-то непромокаемой ткани; обмотки — синие, голубые, черные, серые, цвета хаки, коричневые... Один только Вольпат все еще носит короткие краги времен мобилизации; Мениль Андре уже две недели щеголяет в чулках из грубой зеленой шерсти. А Тирета узнаешь по серым в белую полоску суконным обмоткам, вырезанным из штатских брюк, найденных черт знает где в начале войны... У Мартро обмотки разного цвета: ему не удалось найти два одинаковых изношенных и грязных куска шинели, чтобы разрезать их на полосы. У некоторых солдат ноги обернуты в тряпки, даже в газеты, обмотаны спиралью веревок или даже телефонными проводами (это практичней). Пепен ослепляет товарищей и прохожих рыжими крагами, которые он снял с мертвеца. Барк, который считает себя (ну и надоедлив же он бывает иной раз!) изворотливым парнем, мастером на выдумки, обмотал свои гетры марлей; белые икры, вязаная шапка, белеющая из-под каски, и клок рыжих волос на лбу придают ему клоунский вид. Потерло вот уже месяц ходит в башмаках немецкого солдата, в отличных, почти новых башмаках, подбитых железом. Их дал ему на хранение Карон, когда его должны были эвакуировать из-за ранения в руку. А сам Карон снял их с баварского пулеметчика, убитого на Пилонской дороге. Помню, как Карон рассказывал об этом:

— Да, милый мой, лежит парень задом в яме, весь скрючился, глаза на небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки

и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» — «Что ж, ладно!» — говорю. Зато как хлопотно было стащить с него эту обувь; и повозился же я! Добрых полчаса пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях, штаны порвались и — трах! — в каждой руке у меня по сапогу, полному каши. Пришлось опорожнить их.

— Ну, брат, врешь!

— Спроси у самокатчика Этерпа! Он мне помогал: мы запускали руки в сапог и вытаскивали оттуда кости, куски мяса и обрывки носков. Зато какие башмаки! Гляди! Стоило потрудиться!

...И вот, пока не вернется Карон, Потерло вместо него носит башмаки, которые не успел износить баварский пулеметчик.

Так каждый изворачивается по мере сил, разумения, смекалки и возможностей, чтобы преодолеть свалившиеся на него напасти. И будто говорит всем своим видом: «Вот все, что я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал».

Мениль Жозеф дремлет, Блер зевает. Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюз чешется, как горилла, а Эдор — как мартышка. Вольпат кашляет и ворчит: «Я подохну». Мениль Андре вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразие нарушается то тут, то там приступами неистовой деятельности, вызываемой повсеместным, неизбежным, заразным присутствием паразитов.

Барк — парень наблюдательный; он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит:

— Ну и не похожи мы друг на друга!

— А с чего нам быть похожими? — отвечает Ламюз. — Это было бы чудом.

* * *

Наш возраст? Мы все разного возраста. Наш полк — резервный; его последовательно пополняли — то кадровыми частями, то ополченцами. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего возраста. Фуйяду сорок лет. Блер мог бы быть отцом Бике, новичка призыва тринадцатого года. Капрал называет Мартро «дедушкой» или «старой дохлятиной», смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Мениль Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушкой над губой; на днях на стоянке он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения; они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы.

Откуда мы? Из разных областей. Отовсюду понемногу. Я смотрю на своих соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калонн; он розовощекий, брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую

на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; у него темные блестящие, как у черта, глаза и длинное, худое лицо мушкетера. Словом, оба моих соседа столь же не похожи друг на друга, как день и ночь.

Кокон, тощий, поджарый, в очках, с цветом лица, испорченным миазмами больших городов, резко отличается от Бике, неотесанного, серолицего бретонца с квадратной, тяжелой, как бульжник, челюстью; Андре Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка с кирпично-красными щеками и шеей. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с певучим говором северян, попавших к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, жмушщиеся друг к дружке. . .

Я еще помню первую фразу весельчака Тирета, — представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?» — и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: «Они с меня смеются, потому что я с Морвана. . .»⁵.

Чем мы занимались до войны? Да всем, чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда судьба еще не забросила нас в эти норы, где нас поливает дождь и картечь? Большой частью земледельцами и рабочими. Ламюз — батраком, Паради — возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на островерхом черепе, словно купол на колокольне, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, как кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы дю-Трон, а добродушный бледный Эдор — кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов; как известно, Эдору не везет. Мениль Андре, еще опрятный и более или менее причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в черную блузу, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекювье Адольф и Потерло при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, с самой зари добывали уголь в шахтах на севере.

Есть и другие; чем они занимались, не упомянешь; их путаешь между собой: есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления

в лазарете, он женился... чтобы получать пособие, установленное для жен мобилизованных.)

Среди нас нет людей свободных профессий⁶. Учителя бывают обыкновенно унтер-офицерами или санитарями. Брат марист⁷ — старший санитар при полевом госпитале; тенор — ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат — секретарь полковника; рантье — капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. Таких среди нас не встречается. Все мы — настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов — артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности на передовой; они попадают редко или только в тех случаях, когда носят офицерские кепи.

Да, правда, все мы разные.

И все-таки мы друг на друга похожи.

Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, — несмотря на все прощasti, разделявшие нас, мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние.

Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, неологизмами, объединяет всех нас в единую человеческую массу, которая уже давно стекается со всех концов Франции, чтобы собраться на северо-востоке.

Связанные общей необратимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные, вопреки своей воле, в эту гигантскую авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Немыслимая теснота совместной жизни гнетет нас, стирает наши особенности, словно какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и, чтобы заметить это единообразие, даже не надо смотреть на них издали: на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по этой равнине.

* * *

Ждем. Надоест сидеть, встаешь. Суставы трещат, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно винтовки, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать.

На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания.

Сейчас мы ждем обеда. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.

Голод и жажда — сильные чувства; они поразительно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Обед запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием:

— Время уже восемь. Куда это запропастилась жратва?

— А мне как раз со вчерашнего дня, с двенадцати часов жрать хочется, — бурчит Ламюз. — Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской.

С каждой минутой недовольство растет.

— Плюме, наверно, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие; нализался и где-нибудь свалился пьяный.

— Ясное дело, факт! — подтверждает Мартро.

— Мерзавцы! Сволочь эти нестроевые! — рычит Тирлуар. — Ну и поганое отродье! Все до одного пропойцы и бездельники! Лодырничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, будь я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место, пришлось бы им попотеть! Прежде всего я бы приказал: каждый во взводе по очереди будет поваром. Конечно, кто хочет... и тогда...

— А я уверен, — орет Кокон, — что это сукин сын Пепер задерживает других. Он делает это назло, да и, кроме того, не может утром продрать глаза, бедняга! Он должен непременно проспять десять часов в своей блошастой постели! Иначе этому барину будет лень рукой шевельнуть!

— Я б им показал! — ворчит Ламюз. — Они б у меня живо повскакали с постели! Я бы трахнул их башмаком по башке, схватил бы их за ноги...

— На днях, — продолжает Кокон, — я высчитал: он ухлопал семь часов сорок семь минут, чтобы добраться сюда с тридцать первого пункта. А на это пяти часов за глаза довольно.

Кокон — человек-цифра. У него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит всем, кто хочет его послушать. Когда он пускает в ход цифры, словно оружие, его сухонькое личико — сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков — искажается злобой.

Он становится на стрелковую ступень⁸, оставшуюся с того времени, когда здесь была передовая, и яростно смотрит вверх бруствера. При свете косых холодных лучей солнца поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз.

— А Пепер?! Ну и ненасытная утроба! Прямо не верится, сколько литров вина он вливает в себя за день!

Дядя Блер «кипит» в своем углу. Его седоватые висячие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат.

— Знаешь, на кухне не люди, а дерьмо! Лодырь на лодыре!

— Да, все там одним миром мазаны, — убежденно говорит Хэдор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом; у него вид мученика; тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, как гиена.

Негодование против опаздывающих все возрастает.

Тирлуар-«ругатель» изошряется вовсю. Он сел на любимого конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей:

— Добро б еще дали что-нибудь вкусное. А то ведь опять угостят какой-нибудь дрянью.

— Эх, ребята, какую дрянью дали нам вчера! Куски камня! И это у них называется бифштексом? Скорее старая подметка. У-ух! Я сказал

ребятам: «Осторожней! Жуйте медленней, а то сломаете клыки: может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди!»

В другое время эта шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот.

— А чтобы мы не жаловались, что мясо слишком жесткое, дадут, бывало, вместо него чего-нибудь мягонького, безвкусную губку, припарку. Ешь, словно кружку воды пьешь, право.

— Да, — говорит Ламюз, — неосновательная это пища, не держится в брюхе. Думаешь — насытился, а на деле у тебя в животе пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь: пухнешь с голоду.

— В следующий раз, — в бешенстве восклицает Бике, — я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу: «Капитан!..»

— А я, — говорит Барк, — объявлюсь хворым и скажу: «Господин лекарь...».

— Жалуйся, не жалуйся — все одно! Они сговорились выжать все соки из солдата.

— Говорят тебе, они хотят нас доконать!

— А водка?! Мы имеем право получать в окопах водку, ведь за это проголосовали где-то; не знаю где, не знаю когда; одно знаю точно — мы торчим здесь вот уже три дня, и три дня нам ее только сулят.

— Эх, беда!

* * *

— Несут! — объявляет солдат, стороживший на повороте.

— Наконец-то!

Буря жалоб и упреков стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением.

Запыхавшись, обливаясь потом, трое нестроевых ставят на землю походные котелки, бидон из-под керосина, два брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу, забыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одной из кружек, целая коллекция которых привязана к поясу Пепера наподобие спасательного круга.

— Что ж нам дадут пожевать?

— Да вот это, — уклончиво отвечает помощник Пепера.

Он по опыту знает, что объявлять заранее меню — значит вызывать горькое разочарование.

И, все еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который им пришлось проделать:

— Ну и народу везде! Видимо-невидимо! Яблоку некуда упасть! Прямо арабский базар! Чтоб протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги... А еще говорят: «Служит на кухне — значит, „окопался“... Так вот, по мне, уж в тысячу раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом дважды в сутки, да еще по ночам!

Паради приподнял крышки котелков и осмотрел содержимое.

— Бобы на постном масле, суп и кофеек. Вот и все.

— Черт их дери! А вино? — орет Тюлак.

Он созывает товарищей.

— Эй, ребята! Погляди-ка! Безобразия! Вина больше не дают!

Жажущие сбегаются со всех сторон.

— Тьфу ты, пропасть! — восклицают они, возмущенные до глубины души.

— А в ведре-то что? — ворчит нестройной, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро.

— Н-да, — говорит Паради. — Ошибка вышла, вино есть.

— Эх ты, раззява! — говорит нестройной, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением. — Надень очки, квашня эдакая, если не видишь как следует!

И прибавляет:

— По четвертинке на человека... Может быть, чуть-чуть меньше: меня толкнул какой-то олух в Лесном проходе, вот и пролилось несколько капель... Эх, — спешит он прибавить, повышая голос, — не будья так нагружен, дал бы ему пинка в зад! Но он смылся на всех парах, скотина!

Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается; его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности: всем обидно, что порция вина уменьшилась.

Солдаты набрасываются на жратву, стоя на ногах или на коленях, присев на корточки или примостившись на бидоне, на ранце, вытащенных из ямы, где они спят, или же валяются вверх тормашками на землю, загромаждая собою проходы, вызывая ругань и сами отругиваясь. Если не считать этой ленивой перебранки и обычных прибауток, все молчат; они слишком заняты поглощением пищи, рот и подбородок у них вымазаны маслом, как затворы винтовок.

Они довольны.

Как только работа челюстей приостанавливается, солдаты начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфаде, щуплый служащий из мэрии, улыбается, а ведь первое время он держался среди нас так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз, и от радости насыщения на глазах у него выступают слезы; расцветает, как розовый пион, лицо Потерло; дрожат от удовольствия морщины Блера; он встал, вытянул шею и покачивается всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам; проясняется даже сморщенная, жалкая мордочка Кокона.

* * *

— А кофей! Подогреть бы его, а? — спрашивает Бекюв.

— На чем? Дуть на него, что ли?

Бекюв, любитель горячего кофе, говорит:

— Дайте уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело! Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом: хватит, чтоб разогреть котелок. Увидите!

Он идет за дровами.

В ожидании кофе все свертывают сигареты или набивают трубки.

Вынимают кисеты. У иных кисеты кожаные или резиновые, купленные у торговца. Но таких мало. Бике вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуются мешочком от противогазовой маски, сделанным из непромокаемой ткани: в нем отлично можно хранить табак. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели.

Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается большая часть полувзвода, и слюной, желтой от никотина, загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают.

Но кому какое дело до таких мелочей?

* * *

Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах.

— Моя хозяйка мне написала, — говорит Мартро. — Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная живая свинья?

... Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яро- стный спор между Пепеном и Тюлаком.

Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами.

В заключение один говорит другому:

— Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь! Заткнись!

— Заткнусь, когда сам захочу, долдон!

— А вот я тебе заткну глотку кулаком!

— Кому? Кому? Мне?

— А ну, а ну!

Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор, его косые глаза мечут молнии. Пепен, бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже.

Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука величиной с голову ребенка и налитое кровью лицо: это Ламюз.

— Ладно, ладно! Не станете же вы калечить друг друга! Так не годится!

Другие тоже вмешиваются, и противников разнимают. Из-за спины товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды.

Пепен изрыгает последние ругательства и желчно, неистово кричит:

— Жулик, бездельник, разбойник! Погоди, я тебе это припомню!

А Тюлак говорит стоящему рядом солдату:

— Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово: здесь приходится иметь дело со всякой падалью. Как будто знаешь человека,

а все-таки не знаешь. Но если он хочет меня испугать, нарвется! Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь!

Между тем беседа возобновляется и заглушает отголоски ссоры.

— И так вот каждый день! — говорит Паради. — Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюемексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозитя кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют, ведь мы и живем, как звери.

— Народ несерьезный! — замечает Ламюз. — Прямо дети.

— А еще взрослые!

* * *

Время идет. Сквозь мглу, окутавшую землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот-вот пойдет дождь. Туман расплзается клочьями, сыро. Моросит. Ветер с безнадёжной медлительностью несет тяжелые, набухшие влагой облака. От промозлой муты тускнеет все, даже тугие кумачовые щеки Ламюза, даже оранжевый панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали — небо.

Мы торчим здесь без всякого дела. Трудно будет сегодня убить время, дотянуть до вечера. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне.

Кокон объясняет соседу расположение здешних траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. В месте расположения нашего полка пятнадцать линий французских окопов; из них одни брошены, заросли травой и почти сровнялись с землей; другие глубоки и битком набиты людьми. Параллельные траншеи соединены бесчисленными ходами, которые извиваются и петляют, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На двадцать пять километров фронта одной армии приходится тысяча километров окопов, ходов сообщения и других укрытий. А вся французская армия состоит из десяти армий. Значит, около десяти тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой... А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта войны на земном шаре.

Так говорит Кокон и в заключение обращается к соседу:

— Видишь, как мало мы значим во всем этом. . .

У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая борода и хохолок на лбу в виде запятой; он опускает голову.

— Право, как подумаешь, что один солдат и даже несколько солдат ничто, даже меньше, чем ничто, сразу почувствуешь себя затерянным, словно капелька в этом море людей и предметов.

Вздыхнув, Барк замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой вполголоса истории:

— . . . Он привел двух коней. Вдруг дз-з-з! Снаряд! Остался только один конь. . .

— Скучно, — говорит Вольпат.

- Ничего, держимся, — бормочет Барк.
— Приходится, — прибавляет Паради.
— А зачем? — с сомнением спрашивает Мартро.
— Да так: нужно.
— Нужно, — повторяет Ламюз.
— Нет, причина есть, — говорит Кокон. — Вернее, много причин.
— Заткнись! Лучше б их не было, раз приходится держаться.
— А все-таки, — глухо говорит Блер, никогда не упускающий случая повторить свою любимую фразу, — они хотят нас доконать.
— Сначала, — говорит Тирет, — я думал о том, о сем, размышлял, высчитывал; теперь я больше ни о чем не думаю.
— Я тоже.
— Я тоже.
— А я никогда и не пробовал.
— Да, ты не такой дурень, каким кажешься! — говорит Мениль Андре проницательным насмешливым голосом.

- Собеседник втайне польщен; он поясняет свою мысль:
— Прежде всего — ты ровным счетом ничего не знаешь.
— Надо знать только одно: у нас, на нашей земле, засели боши, надо выкинуть их вон, и как можно скорей, — говорит капрал Бертран.
— Да, да, пусть убираются к чертовой матери! Спору нет! Чего там! Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это тянется слишком долго.
— Эх, чтоб им ни дна, ни крыши! — восклицает Фуйяд. — Действительно, долго.

- А я уже больше не ворчу, — говорит Барк. — Сначала я ворчал на все и на всех: на тыловиков, штатских, местных жителей, на «окопавшихся». Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво.
— Здраво рассуждать — это терпеть; как есть, так и ладно!
— Еще бы! Иначе спятишь. Мы и так обалдели. Верно я говорю, Фирмен?

Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой; он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок.

- Ясное дело! — говорит Барк.
— Не стоит ломать себе башку. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час.
— Правильно, пугало огородное! Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам.

— Н-да, — позевывая, говорит Мениль Жозеф.
Загорелые, обветренные, запыленные солдаты утвердительно качают головой. Все молчат. Таковы чувства людей, которые полтора года назад собрались со всех концов страны, чтобы сгрудиться на ее границе. Они отказываются понимать происходящее, отказываются быть самими собой, надеются выжить и стараются как можно лучше приспособиться к положению.

— Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться, — говорит Барк и, медленно прохаживаясь взад и вперед, месит грязь.

* * *

— Конечно, надо, — подтверждает Тюлак. — А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого никто не сделает. Будь благонадежен!

— Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом.

— На войне каждый за себя!

— Понятно, понятно!

Молчание. Затем из глубины своего злосчастья солдаты обращаются к сладостным образам прошлого.

— А как в Суассоне хорошо жилось! — говорит Барк.

— Еще бы!

В глазах появляется отсвет потерянного рая; он озаряет лица, посиневшие от холода.

— Не житье, а масленица! — мечтательно вздыхает Тирлуар; он перестает чесаться и смотрит вдаль, поверх насыпи.

— Эх, накажи меня бог, весь город почти опустел и, в общем, был в нашем распоряжении! Дома, постели! . .

— И шкафы!

— И погребца!

У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расплылось лицо и зашемило сердце.

— А вы долго там оставались? — спрашивает Кадийяк, который пришел сюда позже с подкреплениями из Оверни.

— Несколько месяцев. . .

Затихшая было беседа снова оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия.

Паради говорит, словно во сне:

— Наши солдаты шныряли по дворам; бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кругом привешены куры: «позаимствовали» у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят.

Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика.

— Случалось кое за что и уплатить. Денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты.

— Оставляли в лавках сотни тысяч франков!

— Милльоны! Бывало так швыряли деньгами, что и представить себе трудно. Сущий праздник, как в сказке!

— Верь не верь, — говорит Блер Кадийяку, — но при всем этом богатстве везде, где бы мы ни проходили, трудней всего было достать топливо. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, сколько мы побегали за топливом!

— Мы остановились как-то на постое в расположении нестроевой роты. Поваром был толстяк Мартен Сезар. Вот был мастер добывать дрова!

— Да, молодец! Чего там, знал свое дело.

— У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово.

— Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой — он нашел ее где-то в доме.

— Все-таки безобразие, — говорит Мениль Андре. — Скрипка хоть и не очень полезная вещь, а все-таки. . .

— Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Мне едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтоб какой-нибудь начальник не заметил.

— Ну и пройдоха! — говорит Пепен. — А мы пустили в ход старую мебель; нам хватило ее на две недели.

— То-то мы ничего не могли найти! Надо сварить суп — ни черта: ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак дураком перед кучей дерьмовой говядины, а ребята над тобой смеются, а потом еще и обругают. Как тут быть?

— Такое уж ремесло! Мы не виноваты.

— А начальники не ругались, когда кто-нибудь из вас хапал?

— Они сами тащили, да еще как! Демезон, помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вирвен? Высадил топором дверь винного погреба! Один наш солдат увидел это, ну лейтенант и подарил ему дверь на растопку, чтобы парень не разболтал.

Вовек не забуду беднягу Саладена, офицера по продовольственной части. Солдаты увидели его в сумерках: выходит он из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина. Будто кормилица с четырьмя сопляками. Ну мы его и накрыли; пришлось ему спуститься обратно в эту винную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран — строгих правил человек: не захотел пить. Помнишь, гнида ползучая?

— А где теперь тот повар, что всегда раздобывал топливо? — спрашивает Кадийяк.

— Помер. В его котел попал «чемодан». Сам Мартен не был ранен, он умер от потрясения, когда увидел, что все его макароны полетели вверх тормашками. Лекарь сказал: «Пазмы сердца». У него было слабое сердце; он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета; плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины, а забивали их кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал: «Счастье его, что он умер: ведь если бы он увидел это, никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет». Эдакий был чудак, эдакий сукин сын!

— Наш брат солдат всегда выкручивается. За счет товарища. Скажем, ты отваливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а другим от этого плохо, — философствует Вольпат.

— Я часто выкручивался, чтоб не идти в окопы, — говорит Ламюз, — не помню уж, сколько раз я это проделывал. Каюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Я забываю, что я военный, обо всем забываю. Для меня они только люди, попавшие в беду, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре.

Это не пустые слова: Ламюз — мастер по части увиливания; тем не менее он спас жизнь многим раненым, подобрав их под обстрелом.

Он объясняет это без хвастовства:

— Мы все лежали в траве. Боши здорово палили. Трах-тах-тах! Бац, бац!.. Дззз, дззз!.. Вижу: несколько ребят ранено, я встаю, хоть мне и кричат: «Ложись!» Не мог же я их оставить. В этом и нет никакой заслуги: я не мог поступить иначе.

Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги, и на груди у них висят кресты за храбрость.

— Я не спасал французов, зато захватил нескольких бошей, — говорит Бике.

Во время майской атаки он бросился вперед, исчез из глаз и вернулся с четырьмя пленными в касках.

— А я их убивал, — говорит Тюлак.

Два месяца тому назад он не без хвастовства уложил перед взятой нами траншеей девять убитых им немцев.

— Но больше всего я ненавижу их офицеров.

— Сволочи они!

Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины души.

— Э, старина, — говорит Тирлуар, — вот толкуют, что немцы — погань. А я не знаю, правда это или же нас и тут морочат; может быть, их солдаты такие же люди, как и мы.

— Наверно, такие же, как мы, — говорит Эдор.

— Сомневаюсь! — восклицает Кокон.

— Понятно, трудно сказать точно, каковы солдаты, — продолжает Тирлуар, — зато уж немецкие офицеры!.. Это не люди, нет, нет, они звери, погань, верно тебе говорю, старина. Можно даже сказать, что они микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи: ходят — точно аршин проглотили, долгоязыые, тощие, будто гвозди, а морда у них телячья.

— А у многих змеиная.

— Я как-то раз возвращался из наряда, — продолжает Тирлуар, — и встретил пленного. Вот падаль! Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал: как смел кто-то из нас задеть его по дороге! И смотрел на всех сверху вниз. Я сказал про себя: «Ну, погоди, голубчик, ты у меня попляшешь!» Я выждал удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся.

— Задохся?

— Да, со злости: он понял, что случилось, — а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул башмаком, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный.

— Я не злой, — говорит Блер. — У меня есть дети, и дома мне жалко

бывает резать даже свинью, но эдакого гада я б охотно пырнул штыком — у-х! — прямо в пузо!

— Я тоже!

— Да и кроме того, — говорит Пепен, — у ихнего офицера бывают серебряные каски и пистолеты, за которые можно запросто выручить сотню монет, и призматические бинокли, которым цены нет. Беда, сколько я упустил подходящих случаев в начале войны. Каким олухом я был тогда! Так мне и надо. Но будьте покойны, я раздобуду себе серебряную каску. Накажи меня бог, если я ее не раздобуду. Мне нужна не только шкура, но и добро немецкого офицера. Будьте покойны: уж я сумею все это добыть до конца войны!

— А ты думаешь, война кончится? — спрашивает кто-то.

— А то нет? — отзывается другой.

* * *

Вдруг справа от нас поднимается шум; неожиданно появляется группа людей; темные фигуры перемешаны в ней с разноцветными.

— В чем дело?

Бике идет на разведку; скоро он возвращается и, указывая большим пальцем через плечо на разношерстную группу, говорит:

— Эй, ребята, поглядите! Публика!

— Публика?

— Ну да. Господа. «Шпаки» со штабными.

— Штатские! Только они выстояли!

Это сакраментальная фраза. Она вызывает смех, хотя ее слышали уже сотни раз; справедливо или нет, солдат придает ей другой смысл и считает ее насмешкой над своей жизнью, полной лишений и опасностей.

Подходят две важные особы, две важные особы в пальто, с тростью в руке; и третий в охотничьем костюме, в шляпе с перышком; в руке у него полевой бинокль.

За штатскими идут, указывая им дорогу, два офицера в светло-голубых мундирах, на которых поблескивают рыжие или черные лакированные портупи.

На рукаве у капитана сверкает шелковая повязка с вышитыми золотыми молниями; он предлагает посетителям взобраться на стрелковую ступень у старой бойницы, чтобы оценить обстановку. Господин в дорожном костюме влезает, опираясь на зонтик.

— Видал? — спрашивает Барк. — Ни дать ни взять, начальник станции, нарядился в пух и прах и показывает на Северном вокзале⁹ вагон первого класса богатому охотнику в день открытия охоты: «Пожалуйста, садитесь, господин помещик!» Знаешь, когда господа из высшего общества, одетые с иголки, щеголяют ремнями и побрякушками, и валяют дурака, и пускают пыль в глаза своим снаряжением... Прямо-таки охотники на мелкого зверя!

Три-четыре солдата, у которых обмундирование было не в порядке, исчезают под землей. Остальные застывают на месте; даже трубки их потухли, слышатся только обрывки беседы офицеров и гостей.

— Это окопные туристы, — вполголоса говорит Барк и громко прибавляет: — Им говорят: «Пожалуйста сюда, медам и месье!»

— Заткнись! — шепчет Фарфаде, опасаясь, как бы горластый Барк не привлёк внимания этих важных господ.

Кое-кто из них поворачивает голову в нашу сторону. От группы отделяется какой-то господин в мягкой шляпе и развевающимся галстуке. У него седая бородка; он похож на художника. За ним идет другой — очкастый, чернобородый, в белом галстуке, в черном пальто и черном котелке.

— А-а-а! Вот они, наши «пуалю»¹⁰! — восклицает первый. — Настоящие «пуалю»!

Он подходит к нам робко, как к диким зверям в зоологическом саду, и подает руку ближайшему солдату, но довольно неловко, словно протягивает кусок хлеба слону.

— Э-э-э, да они пьют кофе, — замечает он.

— У нас говорят «сок», — поправляет кто-то из наших болтунов.

— Вкусно, друзья мои?

Солдат тоже оробел от этой странной экзотической встречи; он что-то бормочет, хихикает, краснеет, а господин в штатском мямлит: «Э-э-э!»

Он кивает головой и пятится от нас.

— Очень хорошо, очень хорошо, друзья мои! Вы — молодцы!

Среди неярких штатских костюмов военные мундиры расцветают, словно герани и гортензии на темной клумбе. Наконец гости удаляются в направлении, противоположном тому, откуда пришли. Слышно, как офицер говорит: «Господа журналисты, нам еще многое предстоит осмотреть!»

Когда блестящее общество исчезает из виду, мы переглядываемся. Солдаты, скрывшиеся в своих норах, понемногу вылезают на свет божий. Люди приходят в себя и пожимают плечами.

— Это — газетные писаки, — говорит Тирет.

— Газетные писаки?

— Ну да, те самые господа, что строчат статьи в газетах. Ты что, не понимаешь, дубина стоеросовая? Чтобы писать в газетах, нужны борзописцы.

— Значит, это они морочат нам голову? — спрашивает Мартро.

Барк делает вид, что держит под носом газету, и начинает декламировать фальцетом:

— «Кронпринц рехнулся, после того как его убили в начале войны, а пока у него всевозможные болезни. Вильгельм умрет сегодня вечером и сызнова умрет завтра¹¹. У немцев нет больше снарядов; они лопают дерево; по самым точным данным, они смогут продержаться только до конца этой недели. Мы с ними справимся, как только захотим и без малейшего труда. Если мы и отложим это дело на несколько дней, то лишь потому, что нам неохота отказываться от окопной жизни; ведь в окопах так хорошо: там есть вода, газ, душ на всех этажах! Единственное неудобство — зимой там жарковато... Что до австрийцев, они уже давно сложили оружие и воюют только понарошку...». Так пишут уже пятнадцат-

цать месяцев, и редактор постоянно говорит своим парням: «Эй, ребята, поднажмите! Постарайтесь состряпать все это в два счета и размазать на четыре белые страницы: их надо загадить!»

— Правильно! — говорит Фуйяд.

— Ты что смеешься, капрал? Разве это неправда?

— Кое-что правда, но вы, ребята, загибаете, и если бы пришлось отказаться от газет, вы бы первые заскулили. Небось, когда приносят газеты, вы все кричите: «Мне! Мне!»

— А что тебе до всего этого! — восклицает Блер. — Ты вот ругаешь газеты, а ты поступай, как я: не думай о них!

— Да, да, надоело! Перемени пластинку, осел!

Беседа прервана, солдаты разбредаются. Четверо ребят составляют партию в «манилью»¹²: они будут играть, пока не стемнеет. Вольпат старается поймать листик папиросной бумаги, который выскользнул у него из рук и теперь кружится, порхает, как мотылек, над стеной траншеи.

Кокон и Тирет вспоминают казарму. Военная служба оставила в их душе неизгладимый след и служит вечным источником приятных воспоминаний; лет десять, пятнадцать, двадцать солдаты черпают из него темы для разговоров. . . Они воюют уже полтора года, а все еще говорят о казарме.

Я слышу часть разговора и угадываю остальное. Ведь эти старые служаки повторяют одни и те же анекдоты: рассказчик когда-то метким и смелым словом заткнул глотку злонамеренному начальнику. Он говорил решительно, громко, резко. До меня доносятся обрывки этого рассказа:

— . . . Ты думаешь, я испугался, когда Неней мне это отмочил? Ничуть не бывало, старина. Все ребята притихли, а я один громко сказал: «Господин унтер, — говорю, — может быть, это так и есть, но. . .». (Следует фраза, которой я не расслышал.) — «Ладно, ладно», — говорит и смылся, и с тех пор он стал как шелковый.

— У меня то же самое вышло с Додором, знаешь, унтером тринадцатого полка, когда кончался срок моей службы. Вот был скотина! Теперь он работает сторожем в Пантеоне¹³. Он меня терпеть не мог! Так вот. . .

И каждый выкладывает свой запас рассказов, очень похожих один на другой, но во всех подразумевается: «Я не такой, как все прочие!»

* * *

— Почта!

Подходит рослый, широкоплечий парень, с толстыми икрами, одетый тщательно и щеголевато, как жандарм.

Он дурно настроен. Получен новый приказ, и теперь каждый день приходится носить почту в штаб полка. Он возмущается этим распоряжением, как будто оно направлено исключительно против него.

Но, не переставая возмущаться, он мимоходом, по привычке, болтает то с одним, то с другим солдатом и созывает капралов, чтобы передать им почту. Несмотря на свое недовольство, он делится всеми имеющимися

у него новостями. Развязывая пачку писем, он распределяет запас устных известий.

Прежде всего он сообщает, что в новом приказе черным по белому написано: «Запрещается носить на шинели капюшон».

— Слышишь? — спрашивает у Тирлуара Тирет. — Придется тебе выбросить твой шикарный капюшон.

— Черта с два! Это меня не касается. Этот номер не пройдет! — отвечает владелец капюшона: дело идет не только об удобстве, задето его самолюбие.

— Таков приказ командующего армией!

— Тогда пусть главнокомандующий запретит дождь. Знать ничего не желаю. И слышать не хочу.

Вообще приказами, даже не такими необычными, как этот, солдаты возмущаются... прежде чем их выполнить.

— Еще приказано, — прибавляет почтарь, — стричь бороду. И патлы. Под машинку, наголо!

— Типун тебе на язык! — говорит Барк: приказ непосредственно угрожает его хохолку. — Не на такого напал! Этому не бывать! Накось, выкуси!

— А мне-то что! Подчиняйся или нет, мне на это плевать.

Наряду с серьезными газетными известиями пришли и другие, более пространные, но и более туманные, сказочные: будто бы дивизию сменят и пошлют либо на отдых — настоящий полуторамесячный отдых, — либо в Марокко и даже, быть может, в Египет.

— Да ну? Э-э!.. О-о!.. А-а!!!

Все слушают. Поддаются соблазну новизны и чуда.

Однако кто-то спрашивает:

— А кто тебе сказал?

Почтарь называет источник своих сведений:

— Фельдфебель из отряда ополченцев; он работает при ГШК.

— Где?

— При Главном штабе корпуса... Да и не он один это говорит. Знаешь, еще парень, не помню, как его звать: что-то вроде Галля, но не Галль. Кто-то из его родни, не помню уже, какая-то шишка. Он знает.

— Ну и как?

Солдаты окружили этого сказочника и смотрят на него жадным взглядом.

— Так в Египет, говоришь, поедет?.. Не знаю такого. Знаю только, что там были фараоны в те времена, когда я мальчишкой ходил в школу. Но с тех пор...

— В Египет!..

Эта мысль внезапно овладевает воображением.

— Нет, лучше не надо! — восклицает Блер. — Я страдаю морской болезнью, блюю... Ну да ничего, морская болезнь быстро проходит... Только вот что скажет моя хозяйка?

— Не беда! Привыкнет! Там улицы кишат неграми и большими птицами, как у нас воробьями.

— А ведь мы должны были отправиться в Эльзас?

— Да, — отвечает почтарь. — В Казначействе некоторые так и думают.

— Что ж, мне это подошло бы!

... Но здравый смысл и опыт все же берут верх и гонят прочь мечту. Мы столько раз слышали, что нас отправят куда-то далеко, столько раз верили этому и столько раз разочаровывались! Мы как будто просыпались, не досмотрев увиденного сна.

— Все это брехня! Нас слишком часто охмуряли. Не очень-то верь и не порть себе кровь.

Солдаты опять расходятся по своим углам; у некоторых в руке легкая, но важная ноша — письмо.

— Надо будет написать письмишко, — говорит Тирлуар, — недели не могу прожить, чтобы не написать домой. Ничего не поделаешь!

— Я тоже, — говорит Эдор, — хочется написать женке.

— Здорова твоя Мариетта?

— Да, да. У нее все в порядке.

Некоторые уже примостились для писания. Барк сидит, положив бумагу на записную книжку в углублении стены: на него словно нашло вдохновение. Он пишет, пишет, согнувшись, с остановившимся взглядом, с напряженным видом всадника, пустившего коня во весь опор.

У Ламюза нет воображения; он сел, положил на колени пачку бумаги, послунил карандаш и перечитывает последние полученные им письма: он не знает, что написать еще, кроме того, что уже написал, но упорно хочет сказать что-то новое.

От маленького Эдора веет нежной чувствительностью; он скрючился в земляной нише. Он держит в руке карандаш, сосредоточился и вперил взгляд в бумагу; погрузившись в мечты, он вспоминает, смотрит, видит, и мы видим вместе с ним преобразившее его иное небо. Его взгляд блуждает далеко-далеко. Эдор как бы достиг родных мест...

Именно в эти часы люди в окопах становятся опять, в лучшем смысле слова, такими, какими были когда-то. Многие предаются воспоминаниям и опять заводят речь о еде.

Под грубой, грязной обложкой начинает биться прежнее сердце; люди невольно бормочут слова любви, вызывают в памяти былой свет, былые радости: летнее утро, когда в свежей зелени сада сияет белизной сельский дом или когда в полях на ветру медленно и мощно колышутся хлеба, а рядом беглой женственной дрожью вздрагивают овсы; или зимний вечер, стол, сидящих за ним женщин, их нежность, и ласковую лампу, и тихий свет ее жизни, и ее одежду — абажур.

Между тем Блер принимается за начатое кольцо: он надел еще бесформенный алюминиевый кружок на круглый кусочек дерева и обтачивает его напильником. Он усердно работает, изо всех сил напрягает мысль: на его лбу обозначаются две морщины. Иногда он останавливается, выпрямляется и ласково смотрит на свое изделие, словно оно тоже глядит на него.

— Понимаешь? — сказал он мне однажды о другом кольце. — Дело не в том, хорошо оно вышло или скверно. Главное, я сам его смастерил

для жены, понимаешь? Когда мне нечего было делать и меня одолевала тоска, я глядел на эту карточку (он показал фотографию толстой щекастой женщины), и с легким сердцем принимался за кольцо. Можно сказать, кольцо само помогало мне, понимаешь? Можно сказать, оно было мне добрым товарищем, и я простился с ним, когда отправил его моей хозяйке.

Теперь он вытачивает новое кольцо. С медным ободком. Блер работает рьяно. Он вкладывает в эту работу всю душу и хочет как можно лучше выразить свои чувства; у него свой язык.

Почтительно склоняясь над легкими, убогими листками, такими маленькими, что большая огрубевшая рука не может их удержать, эти люди, сидящие в голых ямах, кажутся еще более дикими, еще более первобытными, но вместе с тем и более человечными, чем в любом другом облике.

Невольно возникает мысль о первом изобретателе, праотце художников, который пытался придать долговечным материалам образ всего, что он видел, и вдохнуть в них душу всего, что чувствовал.

* * *

— Идут! Идут! — возвещает шустрый Бике, исполняющий в нашей части траншеи обязанности швейцара. — Их целая толпа!

Действительно, появляется туго затянутый, наглухо застегнутый унтер и, помахивая ножнами от сабли, кричит:

— А ну, проваливай! Говорят вам, проваливай! Чего вы тут околачиваетесь? Живо! Чтоб я вас здесь больше не видел!

Солдаты нехотя отходят. Некоторые, в сторонке, медленно погружаются в землю.

Идет рота ополченцев, посланная на работы по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломami, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги.

Мы их разглядываем. Они проходят мимо один за другим. Это скрюченные старички с пепельными щеками или толстяки, страдающие одышкой, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели; пуговиц на них не хватает, сукно потертое, дырявое.

Наши зубоскалы, Барк и Тирет, прижавшись к стенке траншеи, рассматривают их сначала молча. Потом начинают улыбаться.

— Парад метельщиков! — говорит Тирет.

— Посмеемся! — возвещает Барк.

Кое-кто из старичков забавен. Вот у этого, что плетется в шеренге, плечи покатые, как края у бутылки; у него очень узкая грудь и тощие ноги, и все-таки он пузатый.

Барк не выдерживает:

— Эй ты, барон Дюбидон!

— Ну и пальтецо! — замечает Тирет, завидев человека, вся шинель которого в разноцветных заплатках.

Он окликает ветерана:

— Эй, дядя с образчиками! . . . Эй ты, послушай!

Тот оборачивается и глядит на Тирета, разинув рот.

— Дяденька, послушай, будь любезен, дай мне адрес твоего лондонского портного!

Услышав оклик Барка, старый, морщинистый ополченец, хихикая, приостанавливается, но поток людей, идущих вслед за ним, тут же увлекает его дальше.

Проходят несколько менее примечательных фигур, и вдруг появляется новая жертва для шутников. На красном бугорчатом затылке растет что-то вроде грязной бараньей шерсти. Колени согнуты, тело подалось вперед, спина колесом; этот ополченец еле держится на ногах.

— Глянь, — орет Тирет, указывая на него пальцем, — вот знаменитый человек-гармошка! На ярмарке люди платили бы, чтобы поглазеть на него. А здесь все задарма.

Ополченец вполголоса ругается. Кругом хохочут.

Этого достаточно, чтобы подзадорить остряков; желание вставить свое словцо и позабавить нетребовательную публику побуждает их вышучивать старых товарищей по оружию, которые трудятся днем и ночью на задворках великой войны, подготавливая, приводя в порядок поля битв.

В издевке принимают участие и другие зрители. Жалкие сами, они глумятся над людьми, еще более жалкими.

— Погляди-ка на этого! И вон того!

— Нет, полюбуйся на эту фигуру: у него зад по земле волочится! Эх ты, недоносок! Не достать тебе до неба! Эй!

— А вот верзила так верзила! Конца краю ему нет! Сущий небо-скреб. Приятно поглядеть на него. Слышишь, старина, на тебя приятно поглядеть!

Другой ополченец идет мелкими шажками, держа кирку прямо перед собой, как свечу; лицо его искажено гримасой, и весь он скрючился от прострела.

— Эй, дедушка, хочешь два су? — спрашивает Барк, хлопая его по плечу, когда тот проходит совсем близко.

Оскорбленный старик ворчит:

— Ах ты дерьмо!

В ответ Барк пронзительным голосом кричит:

— Эй, поаккуратней, старый хрыч, песочница!

Ополченец резко оборачивается и в бешенстве что-то бормочет.

— Э-э, — смеясь, кричит Барк, — он даже сердиться умеет, дохлятина старая. Он и подраться готов, скажите пожалуйста! Его можно было бы испугаться, будь ему хотя бы на шестьдесят лет меньше!

— И если бы он не нахлестался, — без всякого основания прибавляет Пепен, уже отыскивая взглядом другие жертвы.

Показывается впалая грудь последнего старика, и вскоре исчезает его сутулая спина.

Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается; зрители, эти мрачные троглодиты, наполовину вылезшие из своих зловонных пещер, провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами.

А время идет; небо тускнеет, предметы чернеют; вечер примешивается к слепой судьбе и вливает грусть в темную, невежественную душу людей, заживо погребенных в окопах.

В сумерках раздается топот, гул и говор — это прокладывает себе дорогу новый отряд.

— Марокканцы ¹⁴!

Они проходят мимо нас. Коричневые, желтые, бурые лица; редкие или густые курчавые бороды; зеленовато-желтые шинели; грязные каски с изображением полумесяца вместо нашего значка — гранаты. Лица, широкие или, наоборот, угловатые и заостренные, блестят, как новенькие медные монеты; глаза сверкают, как шарики из слоновой кости и оникса. Время от времени в шеренге выделяется черная, словно уголь, рожа рослого сенегальского стрелка. За ротой несут красный флажок с изображением зеленой руки.

На них глядят молча. Их никто не задевает. Они внушают почтение и даже некоторый страх.

Между тем африканцы кажутся оживленными, веселыми. Они, конечно, идут в окопы первой линии. Это их обычное место; их появление — признак предстоящей атаки. Они созданы для наступления.

— Им да еще семидесятимиллиметровкам надо поставить свечку! В трудные дни марокканскую дивизию всегда посылают вперед!

— Они не могут шагать в ногу с нами. Они идут слишком быстро. Их ничем не остановишь. . .

Некоторые из этих черных, коричневых, бронзовых чертей суровы; лица их страшны и непроницаемы, словно ловушки. Другие смеются; их смех звенит, как странная музыка экзотических инструментов; сверкает оскал зубов.

Зрители пускаются в рассказы о свойствах этих «арапов»: об их неистовстве в атаках, их страсти к штыковым боям, их беспощадности. Повторяют истории, которые марокканцы охотно рассказывают сами, и почти в одинаковых выражениях и с одинаковыми жестами: «Немец поднимает руки: „Камрад! Камрад!“ — „Нет, не камрад!“» И тут же изображают, как они всаживают штык прямо в живот противника, затем вытаскивают его снизу вверх, помогая себе одной ногой.

Один из стрелков, проходя мимо, слышит, о чем мы говорим. Он смотрит на нас, улыбается во весь рот и повторяет, отрицательно качая головой: «Нет, не камрад, никогда не камрад, никогда! Рубить башка!»

— Они и впрямь другой породы; и кожа у них точно просмоленная парусина, — говорит Барк, хотя он и сам человек не робкого десятка. — На отдыхе им скучно. Они только и ждут, чтоб начальник положил часы в карман и скомандовал: «Вперед!»

— Ничего не скажешь, они — настоящие солдаты!

— А мы не солдаты, мы — люди, — говорит толстяк Ламюз.

Темнеет, но эта ясная, доступная мысль озаряет лица тех, кто ждет здесь днями, ждет месяцами.

Они обычные, ничем не примечательные люди, которых вырвали из привычной для них жизни. В массе своей они невежественны, равно-

душны, близоруки, обладают природным здравым смыслом, который иной раз им изменяет; они готовы идти, куда велят, делать, что прикажут, они выносливы в работе и долготерпеливы.

Они люди примитивные, которых сделали еще примитивнее; на фронте поневоле развились их основные свойства: инстинкт самосохранения, себялюбие, стойкая надежда выжить, желание поесть, попить, поспать.

Но иногда из мрака и спячки их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, всплески человечности. . .

Стемнело, почти ничего не видно; сначала глухо, где-то вдали, потом все звучней раздается команда:

— Второй полувзвод! Стройся!

Мы строимся. Начинается переключка.

— Пошли! — говорит капрал.

Цепь приходит в движение. Перед складом инструментов остановка, топтание на месте. Каждому выдают лопату или кирку. В темноте этим занимается какой-то унтер.

— Тебе — лопата! Проходи! Тебе — тоже лопата, тебе — кирка! Ну, живо, следующий!

Мы идем по проходу, перпендикулярному траншее, прямо вперед, к временной границе, к новой и страшной границе грядущего дня.

Слышится прерывистое мощное дыхание: в небе кружит невидимый аэроплан, спускаясь все ниже, и заполняет своим гулом пространство. Отовсюду — спереди, справа, слева — доносится грохот, и в темноте сверкают короткие яркие вспышки.

III СМЕНА

Сероватая заря с трудом отделяется от еще бесформенной черноты. Между отлогой дорогой, которая справа, из мрака, ведет вниз, и темным массивом леса Аллэ, где слышишь, но не видишь, как готовятся к отправке и отъезжают упряжки боевого обоза, — простирается поле.

Мы, солдаты 6-го батальона, пришли сюда к концу ночи. Мы поставили ружья в козлы и при тусклом свете раннего утра, в тумане и грязи, стоим и ждем; все смотрят на дорогу, ведущую туда, вниз. Мы ждем остальную часть полка — 5-й батальон, занимавший первую линию окопов, который покинул окопы после нас.

Какой-то смутный гул.

Идут!

На западе появляется неясная черная масса; она надвигается, словно ночь, на сумерки дороги.

Наконец-то! Кончилась проклятая смена, которая началась вчера в шесть часов и продолжалась всю ночь. Последний солдат вышел из последней траншеи.

На этот раз пребывание в окопах было поистине ужасным. Впереди находилась восемнадцатая рота. Она сильно пострадала: восемнадцать убитых и около пятидесяти раненых; за четыре дня из каждого трех солдат выбыло по одному, а ведь атаки не было — только бомбардировка.

Мы это знаем, и по мере того как приближается потрепанный батальон, мы узнаем знакомых, наклоняемся друг к другу и говорим:

— Восемнадцатая рота! .. Каково, а?

При этом каждый думает: «Если так будет продолжаться, что станет со всеми нами? Что будет со мной?»

Семнадцатая, девятнадцатая и двадцатая роты подходят одна за другой и ставят ружья в козлы.

— Вот и восемнадцатая!

Она идет после всех: она была на передовой, и ее сменили последней. День чуть прояснился; показался белесый свет.

Впереди — ротный командир. Он с трудом шагает по дороге, опираясь на палку: он был когда-то ранен на Марне, и боль усилилась от ревматизма, от душевной муки. Он накинул капюшон, опустил голову и как будто идет за гробом; видно, что он задумался и в мыслях следует в похоронной процессии.

Вот и рота.

Ее ряды поредели. У нас сжимается сердце. В этом шествии батальона восемнадцатая рота явно короче трех остальных.

Я выхожу на дорогу навстречу солдатам восемнадцатой. Уцелевшие люди пожелтели от глины и пыли; они как будто окрашены в цвет хаки. Сукно затвердело от присохшей рыжей грязи; полы шинели, словно концы досок, хлопают по желтой корке, покрывающей колени. Лица осунулись, стали землистыми; глаза расширены и лихорадочно блестят. От пыли и грязи стало еще больше морщин.

Среди солдат, возвращающихся «оттуда», стоит оглушительный шум. Они говорят все сразу, наперебой, очень громко, размахивают руками, смеются и поют.

Можно подумать, что на дорогу высыпала праздничная толпа.

Вот второй взвод; во главе идет долговязый лейтенант, затянутый в шинель, похожую на свернутый зонтик. Я следую за солдатами, пускаю в ход локти и проталкиваюсь к отделению Маршала; эта часть пострадала больше всех; из одиннадцати товарищей, не разлучавшихся целых полтора года, уцелело только три человека, включая капрала Маршала.

Капрал меня увидел. Он радостно вскрикивает и улыбается во весь рот; он ослабляет ремень винтовки и протягивает мне обе руки.

— Эй, друг, как живешь? Как дела?

Я отвожу взгляд и почти шепотом спрашиваю:

— Бедняга, значит, круто пришлось?

Он сразу мрачнеет.

— Да, старина, на этот раз страшное было дело... Барбье убит.

— Да, мне говорили... Барбье! ..

— Случилось это в субботу, в одиннадцать часов вечера. Верхнюю часть спины у него отхватило снарядом, словно бритвой срезало, — говорит Маршалль. — Бессу осколком пробило живот и желудок. Бартелеми и Бобез ранены в голову и шею. Всю ночь пришлось бегать по траншее, чтоб укрыться от ураганного огня. Малыш Годфруа — ты его знаешь? — ему выдрало внутренности, вся кровь вытекла сразу, как из опрокинутой лохани; он был такой маленький, а сколько крови в нем оказалось, прямо диву даешься: по траншее хлынул целый ручей, метров в пятьдесят длиной! Куньяру на сторожевом посту раздробило осколками ноги. Когда его подняли, он еще дышал. Я был вместе с ним. Но перед тем, как упал тот самый снаряд, я отлучился, пошел в окопы спросить, который час. Я оставил на посту винтовку, а когда вернулся, смотрю: ее согнуло пополам, ствол скрутило штопором, а часть приклада превратилась в щепы. Свежей кровью воняло так, что меня затошнило.

— А Монден тоже, да?

— Он погиб на следующее утро, значит вчера, в землянке; ее разрушил «чемодан»¹⁵. Монден лежал — ему раздробило грудь. А ты слышал о Франко? Он был рядом с Монденом. Обвалившаяся земля перешибла ему позвоночник. Когда его отрыли и попробовали посадить, он заговорил; он наклонил голову набок, сказал: «Помираю», — и помер. С ним был еще Вижиль; на теле Вижиля не было ни царапины, но голову расплющило в лепешку; большая, широченная — вот такая! Он лежал плашмя на земле, черный, неузнаваемый; словно это был не он, а его тень, тень, какую видишь иной раз, когда идешь с фонарем ночью.

— Да ведь Вижиль был призыва тринадцатого года, совсем мальчуган! А Монден и Франко, такие славные ребята, хоть и с нашивками!.. Вот и нет еще двух хороших друзей!

— Да, — говорит Маршалль.

Тут его окружает целая орава товарищей; его окликают и дергают со всех сторон. Он отбивается, отвечает на шутки, и все толкаются, смеются.

Я перевожу взгляд с одного на другого; лица веселые и, хотя осунулись от усталости и покрыты корой грязи, дышат торжеством.

Право, если бы на передовой солдатам давали вино, я сказал бы: «Они все пьяны!»

Я приглядываюсь к одному из уцелевших солдат; он что-то лихо напевает и шагает, как гусар в песенке; это барабанщик Вандерборн.

— Эй, Вандерборн! Да ты, кажется доволен?

Вандерборн, обычно спокойный, сдержанный, кричит:

— Мой черед еще не пришел! Видишь: вот он — я!

Он размахнулся и, словно ненормальный, изо всех сил хлопнул меня по плечу.

Понимаю...

Если солдаты счастливы по выходе из этого ада, то именно потому, что они оттуда вышли. Они вернулись, они спасены! Еще раз смерть их пощадила. По установленному порядку каждая рота идет на передовые позиции раз в шесть недель! Шесть недель! На войне у солдат, и в крупных и в мелких делах, детская психология: они никогда не заглядывают далеко

вперед. Они думают только о завтрашнем дне, живут изо дня в день. Сегодня каждый из них уверен, что хоть еще немножко, да проживет!

Вот почему, несмотря на гнетущую усталость и на свежую кровь, которой они забрызганы, и на гибель братьев, вырванных из их рядов, несмотря на все, вопреки самим себе, они рады, что уцелели, они торжествуют, наслаждаясь тем, что еще стоят на ногах.

IV ВОЛЬПАТ И ФУЙЯД

Мы пришли на стоянку, кто-то крикнул:

— А где же Вольпат?

— А Фуйяд? Где они?

Оказывается, их забрал и увел на передовую 5-й батальон. Мы должны были встретиться с ними на стоянке. Их нет. Два человека из нашего взвода пропали!

— Эх, распроклятая жизнь! Вот что значит отдавать людей! — зарычал сержант.

Доложили капитану; он разразился бранью и сказал:

— Мне эти люди нужны! Найти их немедленно! Ступайте!

Капрал Бертран вызвал Фарфаде и меня из амбара, где мы уже легли и готовились заснуть:

— Надо разыскать Вольпата и Фуйяда!

Мы вскочили и отправились на поиски, охваченные тревогой. Два товарища, взятые 5-м батальоном, попали в это пекло. Кто знает, где они и что с ними случилось!

... Мы опять поднимаемся по откосу. Мы идем по той же дороге, но в обратном направлении, по той же длинной дороге, по которой шли с самой зари. Хотя у нас с собой только винтовки, мы чувствуем себя усталыми, сонными, оцепенелыми среди печальной равнины, под затуманенным небом. Вскоре Фарфаде начинает задыхаться. Сначала он говорил, затем от усталости замолчал. Он парень мужественный, но слабосильный и за всю свою жизнь не научился пользоваться ногами; со времени первой исповеди он сидел в канцелярии мэри, между печью и старыми пыльными папками, и только писал бумаги.

В ту минуту, когда мы выходим из лесу и, скользя, увязая в грязи, вступаем в зону ходов сообщения, впереди показываются два силуэта. Подходят два солдата: видны округлые очертания вещевых мешков и стволы винтовок. Двойной колыхающийся призрак обозначается явственней.

— Они!

У одного из них большая белая забинтованная голова.

— Раненый! Да это Вольпат!

Мы бежим к товарищам. Наши башмаки, хлюпая, увязают в грязи; в подсумках от тряски позвякивают патроны.

Солдаты останавливаются и ждут нас.

— Наконец-то! — кричит Вольпат.

— Ты ранен, друг?

— Что? — спрашивает он.

Сквозь плотную повязку он ничего не слышит. Приходится кричать. Мы подходим, кричим. Тогда он отвечает:

— Это ничего!.. Мы возвращаемся из той дыры, куда пятый батальон посадил нас в четверг.

— Вы все время оставались там? — орет Фарфаде.

Его визгливый, почти женский голос хорошо доходит даже до перевязанных ушей Вольпата.

— Ну да, — отвечает Фуйяд. — Черт бы их побрал! Думаешь, мы улетели на крылышках или — еще чище — ушли на своих на двоих без приказа?

Оба в изнеможении валятся на землю. Лицо Вольпата выделяется желтовато-черным пятном; голова, покрытая бинтами, с узлом на самой макушке, кажется кучей грязного белья.

— Бедняги! Про вас забыли!

— Да! — восклицает Фуйяд. — Забыли. Четыре дня и четыре ночи в яме, под градом пуль! И, кроме того, воняло дерьмом.

— Еще бы! — говорит Вольпат. — Это тебе не обычный пост: пошел в смену и вернулся. Этот пост — попросту воронка, похожая на всякую другую воронку от снаряда. В четверг нам сказали: «Стойте здесь и стреляйте безостановочно!» Вот что нам сказали. На следующий день к нам сунул нос парень-связист из пятого батальона. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает. «Да вот стреляем; нам приказано стрелять, мы и стреляем. Раз приказано, значит, так и нужно; мы ждем, чтобы нам приказали делать что-нибудь другое». Парень смылся; у него был не очень-то храбрый вид, но хотелось ему сидеть под обстрелом. Он говорил нам: «Будьте начеку!»

— У нас на двоих, — говорит Фуйяд, — была одна буханка хлеба, ведро вина (его нам дали в восемнадцатой роте) и целый ящик патронов. Мы палили и попивали вино. Из осторожности мы приберегли несколько патронов и краюху хлеба; но вина не оставили ни капли.

— И плохо сделали, — говорит Вольпат, — пить хочется. Ребята, есть у вас чем промочить глотку?

— У меня осталось с четвертинку, — отвечает Фарфаде.

— Дай ему, — говорит Фуйяд, указывая на Вольпата. — Ведь он потерял много крови. А мне только пить хочется.

Вольпата трясет, и среди грязных бинтов, намотанных на голову, его раскосые глаза лихорадочно блестят.

— Э-эх, хорошо! — попив, говорит он.

— А ведь мы поймали двух бошей, — прибавляет он, выливая (как это требует вежливость) последние капли вина из фляги Фарфаде. — Они ползли по равнине и сослепу попали в нашу дыру, как кроты в ловушку. Дурачье! Мы их связали. Так вот. Мы стреляли тридцать шесть часов подряд, и у нас больше не оставалось боеприпасов. Тогда мы зарядили

наши «хлопушки» последними патронами и стали ждать, не отходя от этих увальней-бошей. Парень-связист, верно, забыл сказать в своей части, что мы сидим в этой яме. А вы у себя в шестом батальоне забыли вытребовать нас обратно; восемнадцатая рота про нас тоже забыла. Мы ведь были не на обычном посту, где смена происходит в определенное время, как в карауле; я уж думал, что нам придется торчать там до возвращения полка. В конце концов нас обнаружили санитары из двести четвертого полка: они рыскали по равнине, подбирали раненых. Они-то и сообщили о нас. Тогда нам было приказано немедленно возвращаться. Мы снарядились, посмеиваясь: вот тебе и «немедленно», нечего сказать! Мы развязали бошам ноги, повели их, сдали в двести четвертый полк и вот пришли сюда. По дороге мы даже подобрали сержанта: спасаясь от обстрела, он укрылся в яме и боялся выйти оттуда. Мы его выругали; это его подбодрило; он нас поблагодарил; его зовут Сасердот.

— А твоя рана, браток?

— Да я ранен в уши. Неподдалеку взорвался «чемодан». Как бахнет! Моя голова, можно сказать, проскочила между осколками, но только-только, а вот ушам досталось.

— Если бы ты видел, — говорит Фуйяд, — оба уха висят, как лохмотья, прямо глядеть противно. У нас было с тобой два бинта, а «помощники смерти» дали нам еще один. Он и обмотал башку всеми тремя.

— Ну, давайте ваши пожитки! Идем!

Мы с Фарфаде делим между собой ношу Вольпата. Фуйяд, мрачный от жажды, ворчит и упрямо не хочет отдавать винтовку и снаряжение.

Мы медленно трогаемся в путь. Всегда приятно идти не в строю; это случается так редко, что удивляет, радует. Нас всех бодрит дыхание свободы. Мы идем по полю, словно ради удовольствия.

— Прогуливаемся! — гордо заявляет Вольпат.

Мы подходим к повороту на гребне откоса. Вольпат предается радужным надеждам.

— Да, старина, в конце концов у меня хорошая рана. Меня эвакуируют. Непременно!

Он моргает, глаза поблескивают среди накрученных бинтов, красноватых над ушами.

Внизу, в деревне, часы бьют десять.

— Плевать мне на время! — говорит Вольпат. — Больше мне до него дела нет.

Он становится все словоохотливее. Его слегка лихорадит; говорит он оживленней и быстрее, чем обычно, с удовольствием замедляя шаг.

— Мне, как пить дать, привяжут к шинели красный ярлык и пошлют в тыл. Меня поведет вежливый господин и скажет: «Вот туда, пожалуйста, а теперь поверни сюда... Так... Бедняга!..» Потом полевой лазарет, санитарный поезд; дамочки из Красного Креста всю дорогу будут за мной ухаживать, как за Жюлем Крапле; потом лазарет в глубоком тылу. Койки с белыми простынями; посреди палаты гудит печь; кругом люди, обязанные заниматься нами; казенные шлепанцы и ночной столик: мебель! А в больших госпиталях! Вот где хорошо кормят! Там мне будут

подавать вкусные обеды; там я буду принимать ванны, брать все, что дают. И сласти! Не придется из-за них драться до крови. Ни черта не придется делать: положу руки поверх одеяла, и они будут лежать, как дорогие вещи, как игрушки! А ногам под одеялом будет тепло-тепло; они будут греться сверху донизу, накаляться добела, а пальцы расцветут, как букеты фиалок. . .

Вольпат останавливается, роется в карманах, вынимает свои знаменитые суассонские ножницы и что-то еще.

— Погляди! Видел?

Это фотография его жены и двух сыновей; он мне показывал ее много раз. Я смотрю и одобряю.

— Меня отправят подлечиться, — говорит Вольпат, — и пока мои уши не прирастут, жена и малыши будут глядеть на меня, а я — на них. И пока уши будут расти, как салат, — война подойдет к концу. . . Ну, русские поднажмут. . . Мало ли что может быть.

Он убаюкивает себя мечтами, тешит счастливыми предсказаниями, думает вслух, уже как бы отделившись от нас и празднуя свое особое счастье.

— Разбойник! — кричит Фуйяд. — Ну и повезло же тебе, чертов разбойник.

Да и можно ли не позавидовать ему? Он уедет на целый месяц, а то и на два или три месяца, и вместо того чтобы бедствовать, подвергаться опасности, превратится в рантье!

— Сначала, — говорит Фарфаде, — мне было чудно, когда кто-нибудь хотел получить «выгодную рану». А теперь, что бы там ни говорили, я понимаю, что только на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не рехнулся.

* * *

Мы подходим к деревне. Идем вдоль леса.

Вдруг на опушке, против солнца, возникает женская фигура. Игра света создает вокруг нее сияющую рамку. Женщина стоит на лиловатом, словно заштрихованном фоне леса, стройная, в нимбе белокурых волос; на бледном лице выделяются огромные ночные глаза. Это ослепительное видение смотрит на нас дрожа и внезапно исчезает, как гаснущий в чаше факел.

Это появление и исчезновение так взволновало Вольпата, что он потерял нить разговора.

— Прямо лань, а не женщина!

— Нет, — не расслышав, говорит Фуйяд. — Ее зовут Эдокси. Я ее знаю: я ее уже видел. Беженка. Не знаю, откуда она. Живет в какой-то семье, в Гамблене.

— Она худенькая, но красивая, — замечает Вольпат. — Хорошо бы ее приглубить! . . . Лакомый кусочек, настоящий цыпленочек! . . . Ну и глазки у нее! . . .

— Затейница! — сказал Фуйяд. — На месте не устоит! Узнаешь ее по всклокоченным белокурым волосам. Видишь ее здесь. И вдруг — хлоп! —

нет ее. И, знаешь, не боится ничего. Иногда она добирается почти до первой линии. Ее даже видали в поле, впереди окопов. Занятная!

— Гляди, вот она опять! Она не теряет нас из виду. Неужто мы ее интересуем?

В эту минуту силуэт, очерченный солнечным светом, появляется на другом конце опушки.

— Ну, мне на женщин наплевать! — объявляет Вольпат, опять предаваясь мечтаньям о своей эвакуации.

— Во всяком случае, в нашем взводе один парень здорово в нее втюрился. Да вот и он; легок на помине! . . .

Справа из зарослей высунулась голова Ламюза, похожая на морду рыжего кабана.

Он шел по следам этой женщины. Заметил ее, остановился, как вкопанный, собрался было броситься к ней. Но наткнулся на нас.

При виде Вольпата и Фуйяда толстяк Ламюз радостно вскрикнул. В эту минуту он обо всем забыл, думая только о том, как бы поскорей взять у нас мешки, винтовки и сумки.

— Давайте все это мне! Я отдохнул. Ну, давайте!

Он хотел все нести сам. Мы с Фарфаде охотно избавились от багажа Вольпата, а Фуйяд, выбившись из сил, согласился отдать ему свои сумки и винтовку.

Ламюз превратился в ходячий склад. Под огромной ношей он почти исчез и, согнувшись, подвигался мелкими шагками.

Но чувствовалось, что им владеет одна мысль: он поглядывал по сторонам в поисках женщины, за которой охотился.

Останавливаясь, чтобы поправить свою ношу, передохнуть и отереть пот, он каждый раз украдкой озирался и посматривал на опушку леса. Но больше он этой женщины не видел.

А я увидел ее опять! И на этот раз мне показалось, что ее интересовал кто-то из нас.

Она мелькала там, налево, в зеленой чаще. Держась за ветки, она нагибалась; ее ночные глаза сверкали; бледное лицо, ярко освещенное с одной стороны, сияло, как полумесяц. Она улыбалась.

Проследив за направлением ее взгляда, я обернулся и увидел Фарфаде; он тоже улыбался.

Потом она исчезла в листве, унося с собой эту ответную улыбку. . .

Так мне открылась тайна близости этой гибкой, хрупкой, ни на кого не похожей цыганки и выделявшегося среди нас тонкого, стройного Фарфаде. Ясно. . .

Ламюз не видел ничего: он был перегружен, ослеплен ношей, которую взял у Фарфаде и у меня; он старался сохранять равновесие, ничего не уронить, внимательно глядел себе под ноги и шел с огромным трудом.

У него был несчастный вид. Он стонал, задыхался, что-то тяготило его. В его хриплом прерывистом дыхании чудилось биение и ропот сердца. Глядя на перевязанного Вольпата и на сильного, полнокровного толстяка Ламюза, глубоко затаившего неудовольственный порыв, я вижу, что из них опаснее ранен не тот, кого считают раненым.

Наконец мы спустились в деревню.

— Сейчас поьем, — говорит Фуйяд.

— Меня скоро эвакуируют, — говорит Вольпат.

Ламюз кряхтит.

Товарищи вскрикивают, подбегают к нам, собираются на маленькой площади, где высится церковь с двойной башней, настолько поврежденная снарядом, что ее трудно узнать.

V СТОЯНКА

Белесая дорога в ночном лесу как-то странно полнится, кишит движущимися тенями. Кажется, что лес, словно по волшебству, покинул свои пределы и катится по ней в глубину мрака. Это полк идет на новую стоянку.

Теснятся и сталкиваются впотьмах тяжелые ряды солдат, нагруженных с головы до ног; каждая людская волна, на которую напирают сзади, натывается на ту, что движется впереди. По бокам видны одинокие и более стройные призраки — начальники. Над плотной толпой, сдавленной откосами, поднимается глухой гул — восклицания, обрывки разговоров, слова команды, кашель и песни. Этот шум сопровождается топотом ног, лязгом штыков, металлических манерок и кружек, рокотом и грохотом шестидесяти фургонов обозов первого и второго разряда, которые следуют за обоими батальонами. Вся эта масса топчется, тянется вверх по дороге, и под бездонным куполом ночи все же задыхаешься от запаха, похожего на запах львов в клетке.

Шагая в строю, не видишь ничего, но, когда в давке натыкаешься на соседа, различаешь жестяную миску, голубоватую стальную каску, черный ствол ружья. Иногда при свете ослепительных искр, выбитых огнем, или красного язычка, вспыхнувшего на крошечной головке спички, замечаешь за близкими четкими очертаниями рук и лиц неровные ряды плеч и касок; колыхаясь, как волны, они идут на приступ непроницаемого мрака. Потом все гаснет, и, пока шагают ноги, глаза каждого солдата не отрываются от того предполагаемого места, где должна находиться спина идущего впереди товарища.

После нескольких остановок тяжело опускаешься на свою сумку у пирамиды винтовок, которые мы составляем по свистку с лихорадочной поспешностью и удручающей медлительностью, не видя ничего в чернильных потемках; но вот забрезжила заря, она ширится, овладевает пространством. Стены мрака рушатся. Мы снова присутствуем при величественном зрелище: над нашей вечно бродячей ордой занимается день.

Из этой походной ночи выходишь, словно по концентрическим кругам: сначала менее густая тень, потом полутень, потом тусклый свет. Ноги одеревенели, спины ноют, плечи болят. Лица остаются серо-черными, словно люди с трудом вырываются из ночи; теперь нам никак не удастся отделаться от нее окончательно.

На этот раз наше большое стадо идет по команде на отдых. Где нам придется прожить эту неделю? Говорят (но никто ничего не знает точно), в Гошен-л'Аббе. Об этой деревне рассказывают чудеса.

— Говорят, там не житье, а рай!

При бледном свете в рядах товарищей начинаешь различать фигуры и лица; люди опустили голову, зевают во весь рот. Раздаются возгласы: — Никогда еще не было такой стоянки! Там находятся штаб бригады, полевой суд! Там у торговцев можно найти решительно все.

— Раз есть штаб бригады, значит, дело пойдет!

— А как ты думаешь, найдется там для нас обеденный стол?

— Все, что хочешь, говорят тебе!

Какой-то пророк зловеще покачивает головой.

— Какая это будет стоянка, я не знаю; я там никогда не был, — говорит он. — Знаю только, что она будет не лучше других.

Но ему не верят: мы выходим из шумной лихорадочной ночи; леденя от холода, мы продвигаемся на восток, к неизвестной деревне, которая явит нам дневной свет, и всем кажется, что мы приближаемся к земле обетованной.

* * *

На рассвете мы подходим к домам, которые еще дремлют у подножия откоса за плотной завесой серой мглы.

— Пришли!

У-у-ух! Мы отмахали за ночь двадцать восемь километров...

Но что это?.. Мы не останавливаемся. Проходим мимо домов, и постепенно их опять окутывает мгла и саван тайны.

— Значит, придется шагать еще долго. Это — там, там!

Мы шагаем, как автоматы; руки и ноги одеревенели, суставы хрустят, мы готовы кричать от боли.

День запаздывает. Земля покрыта пеленой тумана. Холод такой, что на остановках измученные люди не решаются присесть и ходят взад и вперед, словно призраки, среди этого сырого мрака. Колючий зимний ветер хлещет нас по лицу, подхватывает, уносит слова и вздохи.

Наконец солнце пробивает нависшую над нами пелену, которая пронызывала нас сыростью. Среди волн тумана открывается волшебный просвет.

Солдаты потягиваются, на этот раз действительно просыпаются и поднимают голову к серебряному свету первых лучей.

Очень скоро солнце начинает припекать, и становится слишком жарко.

Солдаты в строю уже задыхаются, потеют и ворчат еще сильнее, чем недавно, когда они лязгали зубами от холода и когда туман проводил словно мокрой губкой по лицам и рукам.

Местность, по которой мы проходим в это раскаленное утро, — меловая страна.

— Сволочи! Они вымостили дорогу известняком!

Дорога ослепляет нас белизной; теперь над нашим шествием нависает туча извести и пыли.

Лица багровеют и лоснятся; у некоторых они налиты кровью и словно вымазаны вазелином; щеки и лбы покрываются серой коркой, которая, прилипнув к коже, начинает крошиться. Ноги теряют всякую форму, будто их окунули в кадку штукатурки. Сумки и винтовки обсыпаны пылью, и вся наша орда оставляет справа и слева на протяжении всего пути молочно-белый след на придорожных травах.

И вдруг, в довершение всего, окрик:

— Правей! Обоз!

Мы бросаемся вправо; дело не обходится без толкотни.

По дороге с адским грохотом мчится целый обоз грузовиков — длинная вереница квадратных болидов. Проклятие! Они поднимают на своем пути столбы белой пыли, которая окутывает землю, словно вата, и покрывает нас.

Теперь мы одеты в светло-серый покров; на лицах белесые маски со сгустками на бровях, усах, бороде и в морщинах. Мы похожи на каких-то чудных стариков.

— Вот состаримся и будем такими же уродами, как сейчас, — говорит Тирет.

— У тебя даже плевки белые, — замечает Бике.

На остановках нас можно принять за ряды статуй; сквозь гипс чуть пробиваются грязные остатки человеческого облика.

Мы трогаемся в путь. Молчим. Мучаемся. Каждый шаг становится пыткой. Лица искажаются гримасами, которые застывают под белой коростой. От бесконечных усилий мы скрючились; мы изнемогаем от мрачной усталости и отвращения.

Наконец мы замечаем желанный оазис: за ближним холмом, на другом холме, повыше, черепичные кровли среди листвы, светло-зеленой, как салат.

Там — деревня; она уже видна, но мы еще не пришли. Наш полк медленно взбирается к ней, а она как будто отступает.

В конце концов, к двенадцати часам дня, мы приходим на стоянку, уже казавшуюся невероятной, сказочной.

С винтовкой на плече, мерным шагом полк вступает в Гошен-л'Аббе и до краев заполняет улицу. Ведь большинство деревень Па-де-Кале состоит из одной улицы. Но какой улицы! Часто она тянется на несколько километров. Здесь единственная большая улица разветвляется перед мэрией и образует две другие: деревня расположена в виде буквы Y, неровно обведенной низкими фасадами домов.

Самокатчики¹⁶, офицеры, ординарцы отделяются от нашей движущейся громады. По мере того как мы продвигаемся вперед, солдаты кучками ныряют в ворота сараев: еще не занятые жилые дома предназначены для господ офицеров и канцелярий. Наш взвод сначала ведут в один конец деревни, потом — обратно туда, откуда мы пришли (у квартирмейстеров произошло недоразумение).

Это хождение взад и вперед отнимает время; взвод, который гоняют с севера на юг и с юга на север, изнемогает от усталости, раздражен всей этой неразберихой и проявляет лихорадочное нетерпение. Главное — как

можно скорее устроиться и получить свободу, если мы хотим осуществить давно лелеемый замысел: снять у какого-нибудь местного жителя помещение со столом, за которым можно было бы есть и пить! Об этом деле, о его чудесных выгодах уже много толковали. Собрали денег и решили на этот раз рискнуть и позволить себе такую роскошь.

Но возможно ли это? Многие помещения уже заняты. Не мы одни пришли сюда с мечтой об удобствах; придется побегать взапуски в поисках стола.

За нашей ротой идут еще три другие, а четыре уже пришли до нас, да еще будут полуказенные кухни для санитаров, писарей, ездовых, ординарцев и других; казенные кухни для унтер-офицеров и кого там еще? . . . Все эти люди сильнее простых рядовых; у них больше свободы действия, больше возможностей; они могут заблаговременно осуществить свои планы. И пока мы шагаем по четверо в ряд к сараю, отведенному для нашего взвода, на завоеванных порогах уже стоят эти счастливики и хлопчут по хозяйству.

Тирет, подражая одновременно мычанию и бляению, произносит:

— Вот хлев!

Довольно большой сарай. Рубленая солома; наши шаги поднимают облако пыли; пахнет нужником. Но это — более или менее закрытое помещение. Мы садимся и снимаем с себя носу.

Те, кто лишний раз мечтал о каком-то рае, лишний раз остается с носом.

— Послушай, да ведь здесь так же паршиво, как везде.

— Один черт.

— Ну да!

— Ясное дело. . .

Но нельзя терять время на разговоры. Нам надо изловчиться и опередить других; это называется «система И» (извернуться и изловчиться). Мы спешим изо всех сил. И хотя поясницу ломит и ноги разбиты, мы делаем последнее неистовое усилие, от которого будет зависеть наше благополучие в течение целой недели.

Наш отряд разделяется на два патруля, которые идут рысцой, один направо, другой налево, по улице, уже запруженной озабоченными, рыскающими солдатами; все их группы следят одна за другой и. . . торопятся. Кое-где даже сталкиваются и переругиваются.

— Начнем с того конца! Сейчас же! Иначе все прозеваем!

Все это представляется мне каким-то отчаянным сражением между солдатами на улицах только что занятой деревни.

— Нам, — говорит Мартро, — все приходится брать с бою, решительно все!

* * *

Мы обходим дома, стучим в каждую дверь, робко здороваемся, предлагаем себя, как ненужный товар. Один из нас говорит:

— Мадам, нет ли у вас уголка для солдатиков? Мы заплатим.

— Нет, у меня стоят офицеры! — или: Унтер-офицеры; — или: Здесь кухня для музыкантов... для писарей... для почтарей... для санитаров из лазарета и т. д.

Разочарование следует за разочарованием. Перед нами закрываются все приоткрывшиеся было двери, а мы по ту сторону порога переглядываемся, и в наших глазах гаснет надежда.

— Господи! Вот увидишь, мы не найдем ничего, — ворчит Барк. — Сколько всякого дерьма успело устроиться до нас! Сволочи!

Толпы солдат растут. Все три улицы чернеют и наполняются по закону сообщающихся сосудов. Нам попадают в пути местные жители: старики, или уродливые, скрюченные мужчины, или заморыши с перекошенной рожой, или молодые люди, от которых веет тайной скрытых болезней и политических связей. Много старух в нижних юбках и девушек, тучных, пухлощеких, переваливающихся, как белые гусыни.

Вдруг между двумя домами, на какой-то улочке, мне является видение: из тени вышла какая-то женщина...

Это Эдокси, женщина-лань; это ее, как фавн, преследовал Ламюз в то утро, когда мы вели раненого Вольпата и Фуйяда, а она предстала перед нами на опушке леса, соединенная с Фарфаде своей и его улыбкой.

Она-то и озарила, словно неожиданное сияние, эту улочку. Но вдруг исчезла за выступом стены, и все опять погрузилось во мрак... Она здесь? Уже? Значит, она следовала за нами в нашем долгом, мучительном пути?.. Ее тянет к нам...

Да, это бросается в глаза: я видел ее только минуту, в светлом уборе ее волос, но заметил, что она серьезна, задумчива, озабоченна.

Ламюз, идущий вслед за мной, не замечает ее. Я, естественно, молчу. Он еще успеет увидеть это прекрасное видение, эту женщину, к которой он рвется всем существом, но она ускользает от него, как блуждающий огонек. Впрочем, пока что мы слишком заняты делами. Надо во что бы то ни стало завоевать желанный угол. С настойчивостью отчаявшихся людей мы опять идем на поиски. Нас увлекает за собой Барк. Он принял это дело близко к сердцу. Он весь трепещет, его обсыпанный пылью хохолок тоже дрожит. Он нас ведет, глаза по сторонам. Он предлагает нам проникнуть вон в ту желтую дверь. Вперед!

У желтой двери мы видим согбенную фигуру: поставив ногу на дорожный столб, Блер очищает ножом заскорузлый сапог, сдирая с него слой извести... Он словно занимается лепкой.

— У тебя никогда не было таких белых ног, — поддразнивает его Барк.

— Ладно, шутки в сторону, — говорит Блер, — не знаешь, где стоит та самая повозка?

Он поясняет:

— Хочу разыскать зубоврачебную повозку, чтобы мне вырвали последние старые костяшки и вставили новые. Говорят, повозка зубодера где-то здесь.

Он складывает нож, прячет его в карман и идет вдоль стены, поглощенный мыслью о замене своей челюсти...

Мы снова кланчим, как нищие, повторяя все те же слова:

— Здравствуйте, мадам! Нет ли у вас уголка под столовую? Мы заплатим, мы заплатим, ясное дело...

— Нет...

В рамке низкого оконца, как в аквариуме, показывается странное плоское лицо; перерезанное морщинами, оно похоже на страницу старой рукописи.

— У вас, кажется, есть сарайчик?

— В сарайчике нет места: там стирают белье...

Барк подхватывает эти слова на лету:

— Все-таки, может быть, подойдет. Можно взглянуть?

— Там стирают,— бормочет женщина, продолжая подметать пол.

— Знаете,— скорчив любезную мину, говорит Барк,— мы ведь не какие-нибудь буяны, что напиваются и скандалят. Можно взглянуть, а?

Баба перестает мести. Она худая и плоская. Кофта висит на ней, как на вешалке. У нее невыразительное, застывшее, словно картонное, лицо. Она смотрит на нас и нерешительно, нехотя ведет нас в темную-темную глинобитную конуру, заваленную грязным бельем.

— Великолепно! — искренне восклицает Ламюз.

— Славная девчурка! — говорит Барк и треплет по щеке пухлую, румяную девочку, которая разглядывает нас, задрвав грязный носик. — Это ваша дочка, мадам?

— А этот? — решается спросить Мартро, показывая на откормленного ребенка, с тугими, как пузырь, щечками, вымазанными вареньем и грязью.

Мартро робко пытается приласкать чумазого, липкого малыша.

Женщина не удаивает их ответом.

Мы топчемся, юлим, хихикаем, словно нищие, мольбы которых еще не услышаны.

— Хоть бы эта старая стерва согласилась! — с тревогой шепчет мне на ухо Ламюз. — Здесь отлично, да и всюду уже занято.

— Стола нет, — наконец говорит женщина.

— О столе не беспокойтесь! — восклицает Барк. — Да вот в углу стоит старая дверь. Она и послужит нам столом.

— Нет, вы мне тут все разбросаете и перевернете вверх дном! — недоверчиво отвечает картонная женщина, явно жалея, что сразу же не прогнала нас.

— Право, не беспокойтесь! Да сейчас увидите сами! Эй, Ламюз, подсоби, дружище.

Мы кладем старую дверь на две бочки. Карга недовольно смотрит.

— Немножко почистить ее, и все будет отлично, — говорю я.

— Да, мамаша, провести по ней разок-другой веником, и будет лучше всякой скатерти!

Она не знает, что ответить, и смотрит на нас с ненавистью.

— У меня только два табурета, а вас-то сколько?

— Около дюжины.

— Дюжина! Господи Иисусе!

— Ничего! Устроимся! Вот здесь есть доска; вот и скамья готова. Верно, Ламюз?

— Ну, ясное дело! — отвечает Ламюз.

— Эта доска мне нужна, — заявляет женщина. — У меня до вас стояли солдаты, они уже пробовали ее взять.

— Да мы ведь не жулики, — сдержанно замечает Ламюз, чтоб не рассердить женщину, от которой зависит наше благополучие.

— Я о вас не говорю, но, знаете, солдаты вечно все портят. Беда с этой войной!

— Значит, сколько это выйдет, за стол напрокат и за то, чтоб что-нибудь разогреть на плите?

— Двадцать су в день, — нехотя бурчит хозяйка, словно мы у нее вымогаем эту сумму.

— Дороговато! — говорит Ламюз.

— Так платили другие, что стояли до вас, и какие славные были люди: делились с нами своим довольствием! Правда, для солдат это не так уж трудно. Если, по-вашему, двадцать су дорого, я тут же найду других охотников на комнату, на стол и место на плите. Да и будет их меньше двенадцати. Ко мне все время набиваются солдаты и, конечно, заплатят дороже, если мы захотим. Подумать только, двенадцать человек!

— Я сказал: «Дороговато!» — но в конце концов ладно! — спешит прибавить Ламюз. — Как, ребята?

Он задал этот вопрос только для проформы. Мы соглашаемся.

— Выпить бы! — говорит Ламюз. — Продаете вино?

— Нет, — отвечает баба.

И голосом, дрожащим от гнева, прибавляет:

— Вы понимаете, военные власти заставляют нас продавать вино дороже пятнадцати су! Пятнадцать су! Беда с этой проклятой войной! На ней теряешь деньги! Подумайте: пятнадцать су! Вот я и не продаю вина. У меня, конечно, есть вино, но только для себя. Конечно, иногда, чтоб услужить, я уступаю его знакомым, людям толковым, но, вы сами понимаете, не по пятнадцать су!

Ламюз принадлежит к людям толковым. Он хватается за флягу, которая всегда висит у него на поясе.

— Дайте мне литр! Сколько с меня?

— Двадцать два су — я продаю по себестоимости. И, знаете, только, чтоб вам услужить: вы ведь военные.

Барк теряет терпение и что-то ворчит про себя. Баба бросает на него злобный взгляд и делает вид, что хочет вернуть флягу Ламюзу.

Но Ламюз окрылен надеждой; он багровеет, как будто вино уже разлилось по его жилам, и спешит прибавить:

— Не беспокойтесь, мамаша, это останется между нами, мы вас не выдадим!

Она стоит неподвижно и возмущается установленными ценами. И вот, охваченный страстным желанием выпить, Ламюз окончательно сдается и унижается до того, что говорит:

Что поделать, мадам? Время сейчас военное.

Хозяйка ведет нас в погреб. В нем стоят впритык три бочки внушительных размеров.

— Это и есть ваш запасец?

— Шельма старуха, — ворчит Барк.

Ведьма оборачивается и злобно восклицает:

— А вы, небось, хотели, чтобы мы разорились на этой проклятой войне! И так терять деньги то на одном, то на другом!

— На чем? — настаивает Барк.

— Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами!

— Конечно, мы ведь рискуем только своей шкурой!

Мы вмешиваемся в разговор, опасаясь, как бы он не принял дурного оборота.

Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос:

— Эй, Пальмира!

Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой.

— Здорово! Дело идет на лад! — говорит Ламюз.

— Вот гады! — бормочет Барк; он никак не может успокоиться после подобного приема.

— Стыд и срам! — говорит Мартро.

— Можно подумать, что ты это видишь впервые!

— А ты тоже хорош, кисляй! — возмущается Барк. — Старуха нас обворовывает, а ты ей сладким голосом: «Что поделать, мадам? Время сейчас военное». Совести у тебя нет.

— А что еще сказать? Неужто лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки! Если б она потребовала с нас за вино по сорок су, все равно пришлось бы платить. Правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаться, я уж боялся, что она не согласится.

— Известно, везде и всегда одна и та же история, а все-таки. . .

— Да, нечего сказать, мирные жители ловко обделяют свои делишки! Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой!

— Ничего не скажешь, хорош народ в восточных областях!

— Да и северяне не лучше!

— . . . Они встречают нас «с распростертыми объятиями»! . . .

— Скорее, с протянутой рукой. . .

— Говорят тебе, — повторяет Мартро, — это стыд и срам.

— Заткнись! Вот опять эта стерва!

Мы идем известить товарищей о нашей удаче; потом отправляемся за покупками. Вернувшись в новую столовую, мы видим, что там уже готовят завтрак. Барк сходил за нашей долей провианта и благодаря личным связям со старшим сержантом, принципиальным противником подобного распределения, получил картошку и мясо на пятнадцать человек.

Он купил за четырнадцать су небольшой комок топленого свиного сала: будет у нас жареная картошка. Раздобыл четыре банки зеленого горошку, а банка телячьего студня Андре Мениля послужит нам закуской.

— Вкусно поедим! — с восхищением говорит Ламюз.

* * *

Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, которая занимает целую стену этого помещения.

— Я поставил еще один чугунок, — шепчет он мне.

Он приподнимает крышку.

— Огонь не очень-то сильный. Вот уже полчаса, как я положил мясо, а вода все еще не кипит.

Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного чугуна. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите; ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля; она и поверила; если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить эту ведьму.

Один за другим в кухню приходят и остальные наши товарищи. Они перемигиваются, потирают руки и в предвкушении пира предаются сладостным мечтам, словно гости на свадьбе.

Попадая же обратно в свою черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят, растерянно мигая, как совы.

— Не очень-то светло! — говорит Мениль Жозеф.

— Ну, старина, чего тебе еще надо?

Остальные хором восклицают:

— Здесь прямо великолепно!

Все утвердительно кивают головой.

Происшествие: Фарфаде неосмотрительно задел плечом влажную, грязную стену; на куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, где темно, как в погребке. Опрятный Фарфаде ворчит и, стараясь больше не прикасаться к стене, натывается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами скапливались пыль и паутина. Наконец ложка найдена; она черна от грязи, с нее свисают какие-то волокна. Уронить здесь что-нибудь — целая катастрофа. Передвигаться надо осторожно.

Ламюз кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок.

— Ребята, к столу!

Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожняемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне: ведь мы едим сидя; сквозь отдушину пробивается свет; он озаряет угол стола, один прибор, чей-то козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край.

Бике рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать ему белье. «Но это стало мне в копеечку!» Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой длинный хвост; войти туда не имеешь права и стоишь, как баран в загоне.

— А если ты недоволен и зря треплешь языком, тебя и оттуда прогонят.

Какие еще новости? Новый приказ грозит суровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вольпата эвакуировали.

Солдат призыва девяносто третьего года отправляют в тыл; среди них Пепер.

Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у нашей хозяйки за столом едят солдаты — санитары пулеметной роты.

— Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле нам лучше всех, — убежденно говорит Фуйяд, гордо оглядывая гнусную кошку, где так же тесно и темно, как в землянке. (Но кому придет в голову подобное сравнение?)

— Знаете, — говорит Пепен, — ребятам из девятой роты везет! Их держит задарма одна старуха: ее хозяин помер пятьдесят пять лет назад; он был когда-то вольтижером. Говорят даже, что она задарма дала им кролика, и сейчас они едят рагу.

— Хорошие люди есть везде! Все же ребятам из девятой роты повезло: они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям!

Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы:

— Почему вы унтера называете старшой?

Поучительным тоном Барк отвечает:

— Так уж повелось!

Когда она уходит, мы высказываем свое мнение о кофе:

— Что-то жидковато! Даже сахар на дне виден.

— А баба дерет по десяти су!

— Это попросту водичка!

Дверь приоткрывается; обозначается светлая щель; показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дают ему кусок шоколада.

— Меня зовут Шарло, — щебечет ребенок. — Мы живем тут рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят; только вот иногда они напиваются пьяные.

— Малыш, поди-ка сюда! — говорит Кокон и ставит его между колен. — Слушай-ка! Твой папаша небось говорит: «Хоть бы война тянулась подольше!» А-а?

— Ну да, — отвечает ребенок, кивая головой, — у нас теперь много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем пятьдесят тысяч франков.

— Пятьдесят тысяч? Не может быть!

— Правда, правда! — с сердцем уверяет ребенок. — Он сказал это маме. Папа хочет, чтоб так было всегда. А мама не соглашается: ведь мой брат Адольф на фронте. Но мы устроим его в тылу, и тогда пусть война продолжается!

Вдруг, прерывая эти признания, из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики. Шустрый Бике идет узнать, в чем дело.

— Пустяки, — возвращаясь, говорит он. — Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает: положила горчицу в рюмку, а «так люди не делают».

Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табака, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо ударяет удуш-

ливый жар, отягченный запахом растопленного жира; это бывает всякий раз, когда открывается кухонная дверь.

Мы проходим сквозь полчища мух, которые облепили все стены и при нашем появлении шумно разлетаются.

— Это как в прошлом году!.. Снаружи мухи, у нас под одеждой вши... .

— А микробы еще глубже.

В углу грязного хозяйского домишки, заваленного хламом, пыльной ветошью и золой, среди мебели и всякой утвари что-то копошится: это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у большой облезлой курицы. У него и профиль куриный: подбородка нет, нос длинный; впалые щеки поросли грязно-серой бородой, а тяжелые желтые веки поднимаются и опускаются, словно крышки, над выцветшими бусинками глаз.

Барк заметил старика.

— Погляди: он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик — свекор хозяйки. Иной раз он становится на четвереньки и тычется рылом во все углы. Вот, погляди!

Старик неустанно постукивает палкой. Он ударяет ею по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают свои и чужие; Пальмира, не глядя, задевает его метлой и, наверно, думает, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки.

В углублении, у окна, перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки вполголоса поверяют друг другу тайны.

— Да, надо быть поаккуратнее с ликером, — бормочет одна. — Если наливать его как попало, не выйдет шестнадцати рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что придется докладывать из своего кармана; конечно, нет, но меньше заработаешь. Чтоб избежать этого, торговцам надо столкнуться, но столкнуться бывает трудно даже для общей выгоды!

На улице жара, тучи мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом. Мы решили пройтись. Сегодня нечего делать: полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интересней погулять на свободе: ведь завтра опять учение и работы... .

Некоторым не повезло: их уже впрягли, как, например, Корвизара. Ламюз предлагает ему пройтись вместе с нами, но он теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает:

— Не могу. Я должен убирать дерьмо.

Он указывает на лопату и метлу; согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря.

Мы идем вялым шагом. Знойный полдень навис над сонной деревней; на желудке, набитом пищей, тяжело. Говорим мы мало.

Вдруг раздаются крики: на Барка напала целая свора хозяек... . На эту сцену робко смотрит бледная девочка; ее косичка — словно из пакли, губы обметаны. Смотрят и женщины; они сидят у дверей в тени и шьют какое-то жалкое белье.

Проходят шесть человек во главе с капралом-каптенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки башмаков.

Ламюз рассматривает свои опухшие, заскорузлые ноги.

— Н-да. Мне нужна обувь, а то эти скоро каши запросят... Не ходить же босиком!

Слышится гул аэроплана. Мы следим за ним; задираем головы, вытягиваем шею; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять опускаем их, Ламюз объявляет:

— От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!

— Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..

— Да, но на этом люди и останутся. Ничего лучше не выдумают никогда.

На этот раз я не спорю: как всегда, невежество упрямо отрицает прогресс; я предоставляю толстяку Ламюзу думать, что наука и промышленность не пойдут дальше своих теперешних необыкновенных достижений.

Начав верить мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:

— Знаешь, Эдокси здесь.

— Да ну?

— Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересуется. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.

Он продолжает:

— Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.

— И ты в этом уверен?

— Да, — глухо отвечает человек-бык. — Прежде всего, я ее хочу. А потом, она уже дважды, понимаешь, дважды встречалась на моем пути. Ты скажешь: в тот раз она убежала; но ведь она робеет, да еще как...

Он стоит посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его пухлое лицо с лоснящимися щеками и носом серьезно. Он подносит шаровидный кулак к своим бурым, тщательно закрученным усам и нежно поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:

— Я ее хочу... и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но, с тех пор как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте... Эх!..

Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства.

— Эх, старина! Бывает, что меня и крючьями не удержишь, — мрачно отчеканивает он; при этих словах кровь приливает к его жирным щекам и шее. — Она такая красивая, она... А я, я... Она так похожа на других, ты заметил, я уверен: ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она... Я... Мне...

Он хмурит рыжие брови. Ему хочется объяснить мне все величие своих чувств. Но он не находит слов и замолкает; он один, вечно один со своими переживаниями.

Мы идем дальше вдоль домов. У дверей стоят повозки, груженные бочками. Окна, выходящие на улицу, расцвели пестрыми банками консервов, пучками трута — всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занялись торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к наживе, ослеплен барышами.

Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке фуражной повозки сидит солдат; он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.

— Ну и куцы похороны! — говорит Ламюз. — Здесь поблизости лазарет. Пустеет он, ничего не поделаешь. Покойникам хорошо!

Мы миновали последние дома. За деревней, в поле, расположился обоз 2-го разряда: походные кухни, дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные повозки, одноколка почтальона.

Вокруг разместились палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и посматривают на далекое небо своими агатовыми глазами. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся на развороченном поле, где прямые и дугообразные колеи каменеют от жары; повсюду уже валяются отбросы.

На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно принять его за роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.

Это знаменитый стоматологический фургон, что искал Блер.

А вот и сам Блер, он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит глаз с фургона. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной крашеной лестнице, ведущей к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:

— Эй, толстозадый, эта колымага — зубо-врачебная?

— Здесь написано, — отвечает Самбремез, дородный коротышка, опрятный, чисто выбритый, с тяжелым белым подбородком. — Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.

Блер подходит и разглядывает фургон.

— Ишь какая штуковина! — говорит он.

Он отходит, подходит еще раз, не решаясь доверить свою челюсть врачу. Наконец ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.

* * *

Мы идем дальше... Сворачиваем на тропинку между высоких кустов, обсыпанных пылью. Шум затихает. Все залито солнцем. Сияя в синем

безоблачном небе, оно жарит, калит дорогу и рассыпает по ней ослепительные пятна света.

На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и мы оказываемся лицом к лицу с Эдокси.

Ламюз испускает глухой возглас. Может быть, он снова вообразил, что она ищет именно его, он еще верит в какую-то милость судьбы. Всецело своей тушей он направляется к Эдокси.

Она остановилась в кустах боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу; веки великолепных глаз дрожат. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом волос, эта женщина вблизи и в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи поражает и привлекает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.

— Скажите! . . Я хочу вам сказать! . . — задыхаясь, говорит Ламюз. — Вы мне так нравитесь! . .

Он протягивает руку к желанной женщине.

Она с отвращением отшатывается.

— Оставьте меня в покое! Вы мне противны!

Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается вырвать ее. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз притягивает ее к себе, наклоняется к ней. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.

Но она отбивается, испускает приглушенный крик; жилка бьется на ее шее; прекрасное лицо обезображено злобой.

Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.

— Вы с ума сошли! — кричит ему Эдокси.

— Нет! — стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.

— Чтоб этого больше не было, слышите! — кричит она.

Она уходит, с трудом переводя дух; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит на том месте, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, отрезвел и уже не смеет молить.

Я увожу его. Он плетется молча, тяжело дышит, сопит, словно долго бежал.

Он опускает свою большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает злосчастного нелепого циклопа, который в начале времен бродил по древним берегам Сицилии, осмеянный и покоренный светозарной девушкой-ребенком¹⁷.

Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров вина караульным. Лицо у него желтое, плоское, как камамбер; редкие волосы похожи на пыльную кудель; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, возле покачивающейся скрипучей дощечки, на которой

значится ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле.

— Поганая у него морда! — восклицает Бигорно. — И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» запросто болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!

— Ты загибаешь, гнида ползучая! — отвечает Корне.

— Помалкивай, старая песочница! — настаивает Бигорно. — Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.

— А Пепера отправляют в тыл, — говорит Канар.

— Все здешние бабы — рожи, — бормочет Ла Моллет.

Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за сложными маневрами двух неприятельских аэропланов. В лучах солнца эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в небесной лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега среди жаркого дня.

* * *

Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.

Они сообщают, что по закону Дальбьеца¹⁸ повара Пепера отправляют в тыл, где он будет зачислен в ополчение.

— Вот и теплое местечко для Блера! — говорит Карасюс, забавный длинный нос которого никак не соответствует лицу.

По деревне кучками и парами бродят солдаты, связанные между собой перекрестным огнем беседы. Одиночки подходят друг к другу, расходятся и сходятся опять, словно притягиваемые магнитом.

Вдруг возникает неистовая толкотня: в толпе видны белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.

К нам подходит Бике в повседневной форме — куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.

— Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра снова на работу, и первым делом надо будет почистить свои шмотки и винтовку. С одной только шинелью не оберешься хлопот! Это уже не шинель, а какая-то броня.

Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:

— Эй, парень! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Не сидится тебе на месте. Юла!

— Не могу же я поспеть всюду зараз, балда! Давай-ка сюда!

Он рассматривает конверт, взвешивает письмо на руке и, распечатав его, сообщает:

— От моей старухи!

Мы замедляем шаг. Бике читает, водя пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.

Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогули-

вающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым, глухим; он способен только передвигать ноги.

Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:

— Знаешь, Пепера отправляют в тыл!

— Забавно, до чего они там ошибаются! — говорит Бике, отрываясь от письма. — Старуха обо мне беспокоится.

Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо, — читает он по складам, — ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен! . . .»

Он смеется.

— Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь нехолодно: сегодня отличная погода. Нам неплохо: у нас своя столовая. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.

Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество человеческих душ. Только из-за того, что показалось солнце, что мы почувствовали его тепло и устроились чуть поудобней, ни мучительное прошлое, ни грозное будущее больше для нас не существуют. . . «Теперь нам хорошо». С плохим покончено.

Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные, круглые буквы на маленьком листке.

— Если бы ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся, — говорит он.

Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.

VI ПРИВЫЧКИ

Мы царим на птичьем дворе.

Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блестящей зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Черные перья курицы блестят, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.

Эти легкие желтые шарики, мелко семена, то и дело бросаются под ноги матери и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.

— Плохой признак! — говорит Паради. — Если цыпленок задумался, значит, он болен.

Паради то закидывает ногу на ногу, то ставит их рядом.

Блер потягивается на скамье, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут так мало и так спешат наестся.

Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая, ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит: «Нет!» — и сердито квохчет, то наблюдает за ним глазами, похожими на маленькие эмалированные шарики.

— Хорошо здесь! — говорит Барк.

— Гляди, вот утята! — отвечает Блер. — До чего забавные.

Проходит вереница крошечных утят, прямо яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.

Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них честными черными глазами, в которых под косыми лучами солнца вспыхивают красивые рыжие блики.

За двором, в проломе каменной ограды, виден плодовый сад, жирная земля которого покрыта густой, сочной травой, и часть стены, увитой зеленью и пестреющей цветами, белыми, как статуэтки, или разноцветными, как банты. Дальше взору представляется луг, на который легли черно-зеленые и золотисто-черные тени тополей, а за ним грядка стоящего торчком хмеля и сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик, вопреки басне, поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.

С вершины тополя вихрем слетает черно-белая сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.

Солдаты сидят на каменной скамье и, прищуриив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.

— Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот двинут дальше.

— Ничего-то мы не знаем! — говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.

В открытые ворота, выходящие на дорогу, виднеется кучка солдат; они разгуливают, задрав голову, и наслаждаются солнцем, а за ними, посреди улицы, ходит в одиночку Теллюрюр; колыхая брюхом и ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, он обильно заплевывает землю.

— А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках. Но на этот раз выдался настоящий отдых: и погода соответствует, и вообще хорошо.

— И занятий и работ не так уж много.

— Иной раз можно прийти сюда отдохнуть.

Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.

— Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались, — утверждает он, покачивая головой. — Ну и перебивало же у меня бабенок!

— А-а! — рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание отвлек весьма кстати грохот тяжело нагруженной повозки.

— А теперь, — продолжает старик, — я думаю только о деньгах.

— Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.

— Конечно, — говорит старик.

Он чувствует наше недоверие.

Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и тут же показывает им на дом.

— Смотрите, — говорит он, — вот насекомое, ползет по стене. — А что эта тварь говорит? Она говорит: «Я — паук, я тку паутину».

И древний старик прибавляет:

— Не надо судить о том, что делают люди, ибо никому не дано знать, что случится.

— Правда, — вежливо отвечает Паради.

— Чудак, — сквозь зубы ворчит Мениль Андре, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце.

— У него не все дома, — блаженно бормочет Барк.

— Ну, я пошел, — суетливо говорит старик, которому не сидится на месте.

Он опять идет искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились; дверь остается открытой, и в комнате, у огромного очага, мы видим девочку; она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит:

— Она права.

Для детей игра — важное занятие. Играют только взрослые.

Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, жизнь природы, зависящую от климата, от неба, от времени года. Мы привязались к этому уголку страны, где почему-то задержались дольше, чем обычно, в своих постоянных странствиях, и становимся все чувствительнее ко всем его особенностям. Сентябрь — похмелье августа и канун октября — самый трогательный в году месяц, перемежающий погожие дни с какими-то смутными предвестиями. Мы уже понимаем значение сухих листьев, перелетающих по мощеному двору, как стая воробьев.

Действительно, мы привыкли друг к другу, эти места и мы. Сколько раз нас пересаживали из одной почвы в другую! И вот мы пустили корни здесь и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем.

— Одиннадцатая дивизия отдыхала целых полтора месяца, — говорит Блер.

— А триста семьдесят пятый полк? Девять недель! — убежденно подхватывает Барк.

— Мы останемся здесь, по крайней мере, столько же; я говорю: по крайней мере.

— Мы здесь и закончим войну...

Барк умиляется и готов в это поверить.

— Кончится же она когда-нибудь!

— Когда-нибудь кончится! — подхватывают другие.

— Все может быть, — замечает Паради.

Он говорит это чуть слышно, без особого убеждения. В самом деле, возразить тут нечего. Мы тихо повторяем слова надежды, баюкаем себя ими, как старой песенкой.

* * *

Между тем к нам присоединился Фарфаде. Он сел на опрокинутую кадку, подпер подбородок кулаками, но держится в сторонке.

Его счастье прочнее нашего. Мы это хорошо знаем; он — тоже; он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себялюбивой славы, он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалились нашивки.

Его идиллия с Эдокси продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сам сказал об этом.

Эдокси живет недалеко от него... На днях вечером я видел: она шла мимо дома священника; пламя ее волос было притушено косынкой; она, наверно, шла на свидание: она спешила и заранее улыбалась... Хотя Эдокси и Фарфаде, может быть, еще только дали друг другу клятву, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в своих объятиях.

Скоро он нас покинет: его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен слабосильный человек, умеющий печатать на машинке. Это уже официально известно, утверждено. Он спасен: мрачное, невидимое для других будущее для него открыто и ясно.

Он смотрит на окно, за которым чернеет чья-то комната; его завораживает полумрак этой спальни: он надеется, у него двойная жизнь. Он счастлив: ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье — единственное истинное счастье в этом мире.

Вот почему Фарфаде вызывает зависть.

— Все может быть! — опять бормочет Паради, но так же неуверенно, как и всегда, когда ему случается произносить эти необъятные по своему значению слова в тесноте нашей теперешней жизни.

VII ПОГРУЗКА

На следующий день Барк сказал:

— Я тебе объясню, в чем дело. Есть люди, которые правят...

Внезапно это объяснение прервал пронзительный свисток.

Мы стояли на платформе вокзала. Ночью тревожный сигнал заставил нас вскочить и разлучил с деревней; мы явились сюда. Конец отдыху; нас перебрасывают на другой участок фронта. Мы покинули Гошен под покровом ночи, не видя ни людей, ни предметов, не успев проститься с ними даже взглядом, унести с собой их последний образ.

Совсем близко, чуть не задевая нас, маневрировал паровоз и изо всех сил гудел. Рот Барку заткнула своим воплем эта машина; Барк выругался; исказились гримасой и лица других оглушенных солдат; все были в касках и полном снаряжении; мы стояли на часах, охраняя вокзал.

— Да замолчи ты! — в бешенстве заорал Барк, обращаясь к свистку, увенчанному султаном дыма.

Но страшный зверь как ни в чем не бывало продолжал властно затыкать нам глотки. Наконец он умолк, но отзвук его рева еще звенел в ушах, и мы потеряли нить разговора: Барк только сказал в заключение:

— Да.

Тогда мы осмотрелись.

Мы были затеряны здесь, как в огромном городе.

Бесконечные железнодорожные составы, поезда по сорока, по шестидесяти вагонов образовали нечто похожее на ряды темных, низких, одинаковых домов, разделенных улочками. Перед нами, вдоль этих подвижных домов, тянулась главная линия — нескончаемая улица, белые рельсы которой исчезали вдаль, поглощенные расстоянием. Части поездов, целые поезда — эти гигантские гусеницы — трогались с места и, проехав немного, возвращались обратно. Со всех сторон доносился мерный стук составов по бронированной земле, пронзительные свистки, звон сигнального колокола, металлический грохот кубовидных колоссов, которые со скрежетом цеплялись друг за дружку своими стальными присосками, и звук этот передавался вместе с лязгом цепей по всему длинному хребту состава. На первом этаже здания, возвышавшегося в центре вокзала, словно мэрия, слышалось прерывистое стрекотание телеграфа и звонки телефона вперемежку с раскатами голосов. А кругом, на земле, покрытой угольной пылью, — склады товаров, низкие сараи, чьи загроможденные недра виднелись в открытую дверь, будки стрелочников, лес стрелок, водокачки, железные столбы с проводами, черневшими в небе, как линии нотной бумаги, диски семафоров и над всем этим мрачным плоским городом — два паровых подъемных крана, высотой с колокольню.

Дальше, на пустырях, вокруг лабиринта платформы и строений, стояли военные автомобили, грузовики и бесконечные ряды коней.

— Нечего сказать, целое переселение!

— Сегодня вечером начнут грузить наш корпус!

— Вот, гляди, подъезжают!

Туча пыли, вызванная скрежетом грохочущих колес и топотом лошадиных копыт, приближалась, росла на вокзальной улице, между рядами строений.

— Орудия уже погружены.

Действительно, там, на открытых платформах, между рядами ящиков, выделялись очертания колес и длинные стволы орудий. Зарядные ящики, орудия, колеса — все было выкрашено в желтый, коричневый, зеленый цвета.

— Они замаскированы. Кони тоже выкрашены. Погляди вот на этого, у него еще мохнатые ножищи, будто он в штанах! Так вот, он был белым, а его окатили краской.

Эта лошадь стояла в стороне от других лошадей; они, казалось, чуждались ее; она была серо-желтого, явно поддельного цвета.

— Бедняга! — сказал Тюлак.

— Видишь, — сказал Паради, — коняг не только посылают на смерть, а еще издеваются над ними.

— Что делать! Это для их же пользы.

— Как же... Над нами тоже издеваются для нашей пользы!

К вечеру начали подходить войска. Со всех сторон они стекались к вокзалу. Горластые начальники шагали сбоку. Они останавливали потоки солдат, выстраивали их вдоль барьеров или втискивали в загоны. Солдаты составляли винтовки в козлы, складывали ранцы и, не имея права сходить с места, ждали, погруженные в полумрак.

По мере того как темнело, прибывало все больше отрядов. Вместе с ними подъезжали автомобили. Вскоре послышался безостановочный грохот лимузинов и целой лавины грузовиков, небольших, средних и огромных. Они останавливались, выстраивались, набивались в заранее отведенных местах. Гул, разноголосый шум поднимался над этими веренищами людей и машин, которые рвались к вокзалу и кое-где проникали вовнутрь.

— Это еще ничего, — сказал Кокон, человек-счетчик. — В одном только штабе армейского корпуса тридцать офицерских автомобилей, а знаешь, — прибавил он, — сколько понадобится поездов по пятидесяти вагонов, чтобы погрузить весь корпус — людей и имущество, — конечно, кроме грузовиков, которые переберутся в новый сектор своим ходом? Все равно, брат, не угадаешь! Потребуется девяносто поездов!

— Да ну? Вот так штука! А у нас ведь тридцать три корпуса!

— Даже тридцать девять, ах ты, долдон!

Сутолока усиливается. Вокзал наполняется и переполняется солдатами. Везде, где только можно различить человеческую фигуру или ее тень, идут лихорадочные приготовления, похожие на панику. Приходит в действие вся иерархия начальства: офицеры суетятся, носятся, словно метеоры, размахивают руками, сверкая золотыми галунами, отдают и отменяют приказы, рассылают вестовых и самокатчиков, которые движутся в толпе солдат; одни медленно, другие стремительно, как рыбы в воде.

Вот и вечер. Солдат, сбившихся в кучу вокруг пирамид винтовок, уже трудно различить: они сливаются с землей; потом их уже можно обнаружить лишь по вспыхивающим трубкам и цигаркам. Кое-где во мраке сверкает непрерывная цепь этих светлых точек, словно иллюминация на праздничной улице.

Над этой черной зыбкой массой стоит гул голосов, подобный морскому прибою, и, перекрывая его, раздаются приказы, крики, возгласы, шум разгрузки или погрузки, пыхтение паровозов и грохот паровых молотков, глухо стучащих во мраке.

В необъятной тьме, скрывающей людей и предметы, возникают огни. Это электрические фонарики офицеров и начальников отрядов, а также ацетиленовые фонари самокатчиков, которые перемещаются зигзагами, отчего то тут то там возникает белая точка или большое белесое пятно.

Ослепительно вспыхивает ацетиленовый прожектор и отбрасывает целый сноп света. А вот и другие прожекторы буравят, разрывают темноту.

Вокзал принимает тогда фантастический вид. Возникают какие-то непонятные силуэты и загораживают черно-синее небо. Обозначаются какие-то груды, похожие на развалины города. Различаешь длинные вереницы странных предметов, конец которых теряется в ночи. Угадываешь присутствие неведомых громад, ближайшие очертания которых словно вырастают из бездны.

Слева от нас сплошной лавиной прибывают отряды конницы и пехоты. Нарастает гул голосов. При вспышке фосфоресцирующего света или в красноватом отблеске фонаря вырисовываются ряды солдат; слышится замирающий вдали шум.

В дымном свете факелов мелькают серые массы и черные пасти товарных вагонов; обозные солдаты по сходням ведут коней. Раздаются окрики, возгласы, неистовый топот, ругань солдат и бешеные удары о стенку вагона копыт лошади, избиваемой ездовым.

Рядом на открытые платформы грузят автомобили. Возле груд пресованного сена хлопочут люди.

— Вот уже три часа, как мы торчим на месте, — вздыхает Паради.

— А это что такое?

В проблесках света мелькает отряд гномов, окруженных светляками. Они проходят мимо нас, держа в руках какие-то странные инструменты.

— Это прожекторная команда, — говорит Кокон.

— О чем задумался, приятель?

— Сейчас в армейском корпусе четыре дивизии, — отвечает Кокон. — А бывает три, а то и пять. Сейчас их четыре. И каждая наша дивизия, — продолжает человек-цифра, которым явно может гордиться наш взвод, — состоит из трех ПП — пехотных полков; двух БПС — батальонов пеших стрелков; одного ПТП — полка территориальной пехоты¹⁹, не считая частей специального назначения — артиллерии, саперов, обозов и так далее, не считая штаба ПД — пехотной дивизии — и частей, не входящих в бригаду, а включенных непосредственно в ПД. Линейный полк состоит из трех батальонов; он занимает четыре поезда: один для ШП — штаба полка, для пулеметной роты и НР — нестроевой роты и по одному поезду для каждого батальона. Здесь погружаются не все войска: погрузка будет производиться по всему отрезку дороги в зависимости от места стоянки и сроков смены частей.

— Я устал, — говорит Тюлак. — Едим мы не очень сытно, вот что. Держись только потому, что завели такую моду, но больше нет ни силы, ни бодрости.

— Я справлялся, — продолжает Кокон. — Войска, настоящие войска, погрузят только после двенадцати. Они еще размещены по деревьям, на десять километров в окружности. Прежде всего отправят все службы армейского корпуса и ВЧ — внедивизионные части, — услужливо объясняет Кокон, — то есть входящие непосредственно в корпус. Среди ВЧ нет ни аэростатных частей, ни авиаотрядов; это слишком громоздкая штука; они передвигаются собственными средствами, со своими людьми, своими канцеляриями, своими лазаретами. Во внедивизионные части входит и егерский полк.

— Егерских полков не бывает, — наобум говорит Барк. — Бывают лишь егерские батальоны. Потому-то и говорят: такой-то егерский батальон.

— И ты это твердо знаешь, молокосос? Какой умник нашелся! Знай, что есть пешие егеря, а есть и конные; это не одно и то же.

— Тьфу ты, черт! — восклицает Барк. — О конных я позабыл.

— То-то! — говорит Кокон. — В ВЧ армейского корпуса входит корпусная артиллерия, то есть главная артиллерия, кроме дивизионной. Она состоит из ТА — тяжелой артиллерии, ОА — окопной артиллерии, АП — артиллерийских парков, броневедомостей, зенитных батарей и все такое. Есть еще саперные батальоны, полевая жандармерия, то есть пешие и конные «фараоны», санитарная часть, ветеринарная часть, обозные части, территориальный полк для охраны и работ при ГК — Главной квартире, интендантство (с продовольственным обозом, который обозначают буквами ПРО, чтобы не путать с ПО — Почтовым отделом). Есть еще гурт скота, ремонтные депо и так далее. Автомобильный отдел, целый улей нестроевых, — о них я мог бы говорить целый час, если б хотел, — казначейство, которое заведует казной и почтой, военно-полевой суд, телеграфисты, весь электротехнический отряд. Везде есть заведующие, командиры, управления, отделы, подотделы, все это кишит писарями, вестовыми и ординарцами — словом, целый базар! Видишь, во главе чего стоит корпусный генерал!

В эту минуту нас окружают солдаты в полном снаряжении; они несут ящики, тюки, свертки, подвигаются с трудом, иной раз кладут ношу на землю и отдуваются.

— Это штабные писари. Они составляют часть ГК — Главной квартиры, — это что-то вроде генеральской свиты. При переезде они перетаскивают ящики с архивами, столы, реестры и всю дрянь, необходимую для их канцелярщины. Вот, погляди, эти двое — старый дядя и молодой фертик — несут пишущую машинку: проделали винтовку в ручку футляра и тащат. Эти писаря работают в трех отделах, а есть еще Почтовый отдел, канцелярия и ТОК — Топографический отдел корпуса; этот отдел распределяет карты по дивизиям и составляет карты и планы по снимкам с аэропланов, показаниям наблюдателей и пленных. Штаб АК — армейского корпуса — состоит из офицеров всех канцелярий, они находятся

в ведении помощника начальника и главного начальника (оба полковники). ГК — Главная квартира, в узком смысле слова, состоит из ординарцев, поваров, кладовщиков, рабочих, электротехников, жандармов и конной охраны; ими командует майор.

Вдруг всех нас с силой отгесняют.

— Эй! Сторонись! — вместо извинений кричит человек, подталкивая вместе с другими солдатами повозку по направлению к вагонам.

Трудная работа! В этом месте спуск, и, как только люди перестают цепляться за колеса и удерживать повозку, она катится назад. Во мраке люди скрипят зубами, ворчат, борются с ней, как с неким чудищем.

Барк потирает бока и окликает кого-то из этих озлобленных рядовых:

— И ты думаешь, у тебя что-нибудь выйдет, чучело огородное?

— Проклятье! — орет солдат, поглощенный своим делом. — Осторожней! Тут камень! Сломаете колымагу!

Он делает резкое движение, опять толкает Барка и на этот раз набрасывается на него:

— Ты чего стал на дороге, чурбан?

— Да ты пьян, что ли? — отвечает Барк. — «Чего стал на дороге?» Ишь выдумал! Помолчи! Гад!

— Сторонись! — кричит еще кто-то, ведя людей, согнувшихся под тяжелой ношей.

Нам негде стоять. Мы везде мешаем. Нас отовсюду гонят. Мы то идем вперед, то расступаемся, то пятимся.

— А кроме того, — бесстрастно, как ученый, продолжает Кокон, — есть еще дивизии, каждая устроена приблизительно так же, как и корпус...

— Да знаем, знаем. Хватит!

— Вот разбушевалась кобыла в своей конюшне на колесах, — замечает Паради. — Это, верно, теща жеребца.

— Бьюсь об заклад, что это кобыла лекаря, ветеринар еще говорил про нее, что она не кобыла, а телка, которая скоро станет коровой!

— А ловко все устроено, что и говорить! — с восхищением восклицает Ламюз; но и его оттирает вереница артиллеристов, нагруженных ящиками.

— Правильно, — соглашается Мартро, — чтобы перевезти весь этот скарб, надо быть смышленным и не зевать... Эй ты, смотри, куда лапы ставишь, падаль!

— Ну и переселение! Когда я с семьей переезжал в Маркуси, хлопот и то было меньше. Правда, я тоже не дурак.

Все замолкают; в тишине опять раздается голос Кокона:

— Чтобы присутствовать при погрузке всей французской армии, находящейся на позициях, — я уже не говорю о тыле, где вдвое больше людей и учреждений, вроде лазаретов (они стояли девять миллионов и эвакуируют семь тысяч больных в день), — чтобы присутствовать при такой погрузке в состав из шестидесяти вагонов, отправляемых один за другим каждые четверть часа, потребуется сорок дней и сорок ночей.

— А-а! — восклицают все хором.

Но это слишком величественно для их воображения; цифры уже надоели им. Солдаты зевают, и среди этого столпотворения, среди беготни, криков, всплешек, отсветов и дыма они видят слезящимися глазами, как вдали, на фоне пылающего горизонта, проходит грозный бронепоезд.

VIII ОТПУСК

Прежде чем двинуться вперед по дороге, ведущей через поля к окопам, Эдор присел у колодца. Он был бледен; вместо усов на лице у него торпорщились какие-то жалкие щеточки. Обхватив руками колено, он поднял голову, свистнул и зевнул во весь рот.

От опушки леса, где повозки и кони стояли, как в цыганском таборе, шел к колодцу обозный солдат с двумя брезентовыми ведрами, которые подпрыгивали при каждом его движении. Он остановился перед этим сонным безоружным пехотинцем и взглянул на его туго набитый мешок.

— В отпуск ходил?

— Да, возвращаюсь из отпуска, — ответил Эдор.

— Ну, старина, тебе можно позавидовать: шесть дней погулял! — сказал обозный солдат и пошел дальше.

Но вот еще четыре солдата идут ему навстречу по дороге тяжелым; неторопливым шагом; от грязи их обувь превратилась в карикатуру на башмаки. Заметив Эдора, они останавливаются, как один человек.

— А-а, вот и Эдор! Эй, старина, значит, вернулся! — восклицают они, бросаются к нему и протягивают руки, такие большие и грубые, словно на них надеты бурые шерстяные перчатки.

— Здорово, ребята! — отвечает Эдор.

— Ну, что? Как? Хорошо провел отпуск?

— Да, — отвечает Эдор. — Неплохо.

— Мы ходили в наряд за вином и малость нагрузились; пойдем с нами, а?

Они гуськом спускаются по откосу и, взявшись под руки, идут по полю, усыпанному мокрой известкой, которая под их ногами хлюпает, как тесто в квашне.

— Значит, повидал женку? Ты ведь только ради этого и жил, не мог рта открыть, чтобы не вспомнить ее, и пошло: «Мариетта, Мариетта».

Эдор еще больше нахмурился.

— Видеть-то я ее видел, но только один разок. Никак нельзя было по-другому. Не повезет так не повезет.

— Как это вышло?

— Как? Знаешь, мы живем в Вилле-л'Аббе; в этом поселке всего четыре домика, ни больше, ни меньше; они стоят по обе стороны дороги. Один из них и есть наш кабачок; Мариетта его содержит или, верней,

вновь стала содержать, с тех пор как его больше не осыпают снаряды и «чемоданы».

И вот перед моим отпуском она попросила разрешение на то, чтобы поехать в Мон-Сент-Элуа, где живут мои старики; я ведь получил отпуск в Мон-Сент-Элуа. Понимаешь?

Мариетта — бабенка с головой, знаешь, она попросила разрешение за-долго до моего приезда. Но, как на грех, мой срок вышел раньше, чем она получила разрешение. И все-таки я поехал. Знаешь, у нас в роте нельзя зевать: пропустишь очередь — пропадет отпуск. И я остался ждать Мариетту у моих стариков. Я их очень люблю, а все-таки ходил с кислой рожей. А они были рады видеть меня и огорчались, что я с ними ску-чаю. Но что поделаешь? К концу шестого дня — к концу моего отпуска, накануне отъезда, — парень на велосипеде, сын Флоранс, привозит мне письмо от Мариетты: она пишет, что еще не получила пропуска...

— Вот беда! — восклицают собеседники.

— ... Мне оставалось только одно, — продолжает Эдор, — пойти к мэру Мон-Сент-Элуа, чтобы он выхлопотал мне разрешение у военных властей, и самому в два счета приехать к ней в Вилье.

— Это надо было сделать в первый день, а не на шестой!

— Ясно! Но я боялся с ней разминуться, прозевать ее; с первого же дня я все ждал, все надеялся, что вот-вот увижу ее на пороге двери... Ну, я и сделал, как она мне написала.

— В конце концов видел ты ее или нет?

— Всего один день или, вернее, одну ночь.

— Этого достаточно! — весело замечает Ламюз.

— Еще бы! — подзадоривает Паради. — За одну ночь такой молодец, как ты, натворит делов! Из-за него и жене придется потом поработать!

— То-то у него такой усталый вид! Погляди! Видно, здорово погулял! Босьяк! Скотина!

Под градом сальных шуток побледневший за отпуск Эдор мрачно качает головой.

— Ну, ребята, заткните на минуту свои плевательницы!

— Расскажи-ка!

— Это не басня! — сказал Эдор.

— Так ты, говоришь, скучал со своими стариками?

— Ну да! Как они ни старались заменить мне Мариетту, как ни угощали вкусной домашней ветчиной и сливянкой, как ни чинили мое белье, как ни баловали... (Я даже заметил, что при мне старались не ругаться между собой.) Но, понимаешь, все это не то: я все поглядывал на дверь и ждал: вдруг она откроется и войдет Мариетта. Итак, я пошел к мэру и отправился в путь вчера в два часа дня, вернее, в четырнадцать часов: ведь я считал часы с полночи! Значит, мне оставалась от отпуска всего-навсего одна ночь! Подъезжал я в сумерках в поезде узкоколейки, смотрел в окно и почти не узнавал родных мест. Иногда я чувствовал, что они как будто говорят со мной. Потом замолкают. Под конец нас высадили, и мне пришлось идти пешком до последней станции.

Никогда еще не было такой мерзкой погоды: шесть дней лил дождь, шесть дней небо мыло и перемывало землю. Земля размякла и расплзлась: везде были ямы, рытвины.

— Да и здесь тоже. Дождь перестал только сегодня утром.

— Нечего сказать, мне не повезло. Повсюду бежали ручьи; они смывали межи, словно строки на бумаге; с холмов текли целые потоки. Ветер гнал тучи, они неслись во всю прыть, и дождь хлестал меня по ногам, по шее, по морде.

Все равно! Когда я пешедралом добрался до станции, ничто в мире не заставило б меня вернуться назад!

Приехал я не один: были в поезде и другие отпускники, они направлялись не в Вильне, а дальше, но им не миновать было нашего поселка. Вот мы и явились в деревню целой оравой... Нас было пятеро, пять товарищей, хотя мы и не были знакомы. Я ничего не узнавал: вражеская артиллерия еще больше разворотила наши места, чем здешние, еще добавок дождь да темень.

Я уже говорил, что в нашем поселке всего четыре домика, и отстоят они далеко друг от друга. Подходим мы к пригорку. Я не очень разобрался, где мы находимся, да и другие ребята тоже, хотя они немного знали наш поселок: они ведь были из наших краев. А дождь между тем лил как из ведра.

Надо было идти быстрее. Мы пустились бежать. Добрались до фермы Алё — это первый дом в нашем поселке; смотрим: вместо него какой-то каменный остов! Торчат только обломки стен, все остальное залито водой. С другой фермой, немного дальше, — такая же беда.

Наш дом — третий. Он стоит у дороги, на самой верхушке ската. Мы принялись карабкаться вверх; дождь хлестал нас, слепил (даже глаза болели); приходилось бежать врассыпную, словно от пулемета. Вот наконец и наш дом! Я мчусь как ненормальный, как солдат-африканец на приступ. Там Мариетта! Она стоит у двери, воздевая руки к небу за завесой сумерек и дождя, такого дождя, что она не может выйти из дома и остановилась в дверном проеме, похожая на пресвятую деву в нише. Я бегу к ней со всех ног, не забывая все же подать знак товарищам, чтобы они следовали за мной. Мы вваливаемся в дом. Мариетта смеется, а на глазах у нее слезы радости; она ждет, когда мы останемся одни, чтобы посмеяться и поплакать как следует. Я предложил ребятам отдохнуть. Они уселись, кто на стулья, кто на стол.

«Куда вы идете? — спрашивает Мариетта. «В Вовель». — «Господи Иисусе! — говорит она. — Да вы туда не доберетесь! Вы не сможете пройти эту милую ночью, по размытым дорогам, да еще кругом болота. И думать нечего!» — «Ладно, значит, пойдем завтра. Только поищем, где бы переночевать». — «Я дойду с вами, — говорю я, — до фермы „Повешенного“. Там места достаточно. Чего-чего, а уж места хватит. Вы там поспите, а на рассвете пойдете дальше». — «Ладно! Махнем туда!»

Эта ферма — последний дом в Вилье; она стоит наверху косогора; значит, можно надеяться, что ее не затопило.

Мы выходим! Ну и дождь! На нас ни одной сухой нитки; вода про-

никает даже в сапоги через подметки и суконные штаны, которые промокли насквозь. Не доходя до этого «Повешенного», мы видим тень в длинном черном плаще, она держит фонарь. Поднимает его; видим: на рукаве золотой галун; морда лютая.

— Что вы здесь шляетесь? — спрашивает, подбоченясь, этот вояка, а дождь барабанит, словно град, по его капюшону.

— Это отпускники. Идут в Вовель, — говорю я. — Они хотели бы переночевать на ферме «Повешенного».

— Что-о! Переночевать здесь? Да вы что, рехнулись? Здесь полицейский пост. Я караульный унтер-офицер; на ферме содержатся пленные боши. Убирайтесь отсюда немедленно! Спокойной ночи!

Ну, мы поворачиваем оглобли и начинаем спускаться, спотыкаемся, как пьяные, скользим, пыхтим, хлюпаем, увязаем в грязи. Кто-то из наших ребят под дождем и ветром кричит мне: «Мы проводим тебя до дому; крова у нас нет, зато есть время». — «А где вы переночуете?» — «Найдем, уж не беспокойся; ведь остается только несколько часов». — «Найдем, найдем! Легко сказать, — говорю. — Ну, пока зайдите на минутку ко мне». — «Что ж, на минутку можно».

И мы гуськом возвращаемся к Мариетте, все пятеро, промокшие до костей.

И вот вертимся, топчемся в нашей комнатушке; из нее-то и состоит наш дом, ведь у нас не дворец.

— Виноват, мадам, — спрашивает один парень у Мариетты, — нет ли у вас подвала?

— Там полно воды, — отвечает Мариетта, — не видно нижней ступеньки, а всего-то их две.

— Тьфу ты, черт! — говорит парень. — И чердака тоже нет...

Через минутку он встает и говорит мне:

— Спокойной ночи, старина! Мы пошли.

— Как? Вы уходите в такую погоду, ребята?

— А ты что думал? Не станем же мы мешать тебе и твоей жене!

— Но как же, брат? ..

— Никаких «но». Сейчас девять часов вечера, а ты должен убраться до зари. Значит, прощай, друг! Эй, ребята, пошли!

— Пошли, — отвечают ребята. — Спокойной ночи!

И вот они уже подходят к двери, открывают ее. Тут мы с Мариеттой переглянулись. И не двинулись с места. Потом опять переглянулись и бросились за ними. Я схватил одного за полу шинели, она — другого за хлястик. Все на них вымокло, хоть выжимай!

— Ни за что! Мы вас не отпустим! Этому не бывать! Нельзя...

— Но...

— Никаких «но», — отвечаю я, а Мариетта запирает дверь.

— Ну и как? — спрашивает Ламюз.

— Ну, и ничего, — отвечает Эдор. — Мы уселись кто куда и, зевая, смиренхонько просидели всю ночь, словно в доме был покойник. Сначала немного болтали. Время от времени кто-нибудь спрашивал: «Ну как? Дождь еще льет?» — и выходил взглянуть, и возвращался: «Льет». Да

и слышно было, что льет. Один толстяк, усатый, как болгарин, боролся со сном изо всех сил. Иногда один или двое засыпали; но кто-нибудь всегда зевал, из вежливости приоткрывал один глаз и потягивался или усаживался поудобней.

Мы с Мариеттой не спали. Мы глядели друг на друга, но мы глядели и на других, а они глядели на нас. Вот и все.

Настало утро; за окном посветлело. Я вышел взглянуть, какая погода. Дождь не переставал. В комнате люди ворочались и тяжело дышали. У Мариетты глаза были красные: ведь она всю ночь глядела на меня. Между нами сидел солдат; он дрожал от холода и набивал трубку.

Вдруг кто-то стучит в окно. Я приоткрываю. Вижу: человек в каске; с нее так и течет вода; его словно принес и втокнул в дом страшный ветер.

— Эй, хозяйка, можно получить кофе?

— Сейчас, месье, сейчас! — кричит Мариетта.

Она встает со стула, разминает ноги. Она ничего не говорит, глядится в наш осколок зеркала, слегка приглаживает волосы и попросту (вот баба!) говорит:

— Я приготовлю кофе на всех.

Когда кофе был выпит, настала пора уходить всем нам. Да и клиенты то и дело стучали в окно.

— Эй, мамаша! — кричали они и заглядывали в приоткрытое окно. — Найдется у вас кофеек? Скажем, три стакана! Четыре!

— И еще два! — слышался еще чей-то голос.

Тут все отпускники подходят к Мариетте, чтобы попрощаться. Они хорошо понимают, что здорово помешали нам в эту ночь; но я вижу, что они не знают, прилично ли заговорить об этом или лучше ничего не говорить.

Тогда один из ребят решается:

— Мы вам, козяшюшка, здорово подгадили, а?

Он это сказал, чтобы показать, что хорошо воспитан. Мариетта протягивает ему руку.

— Ну, что вы! Желаю вам приятно провести отпуск.

А я ее обнял и принялся целовать. Старался целовать как можно дольше. Целых полминуты! Мне было горько, еще бы!.. Но я радовался, что Мариетта не захотела выгнать товарищей на улицу, как собак. Я чувствовал, что она тоже считала меня молодцом за то, что я этого не сделал.

— Но это еще не все, — говорит один отпускник, приподнимая полу шинели, и шарит в кармане, — это еще не все: сколько мы вам должны за кофе?

— Ничего: ведь вы провели эту ночь у нас, вы наши гости.

— Что вы, мадам, как можно!..

И вот мы спорим, рассыпаемся друг перед другом в любезностях. Мы только бедняки, но что ни говори, это состязание в великодушии... это было, брат, чертовски хорошо!

— Что ж, двинем? — говорят ребята.

Они уходят один за другим. Я остаюсь последним.

Вдруг еще один прохожий стучит в окно: еще одному приспичило выпить кофе. Мариетта высовывается в открытую дверь и кричит:

— Одну минутку!

Она сует мне в руку сверток и говорит:

— Я купила маленький окорок. Думала: поужинаем с тобой. И литр хорошего вина. Но когда я увидела, что нас пятеро, я не захотела делить, а теперь — тем более. Вот ветчина, хлеб, вино. Возьми, поешь один, милый. Мы им и так достаточно дали.

— Бедная Мариетта! — вздыхает Эдор. — Ведь я не видел ее пятнадцать месяцев! И когда еще увижу!.. Да и увижу ли когда-нибудь? Ей пришла в голову хорошая мысль — она положила все это в мой мешок.

Он приоткрывает коричневый мешок.

— Здесь ветчина, и хлеб, и вино! Что же, раз так, знаете, что мы сделаем? Поделим все это, а, ребятки?

IX ВЕЛИКИЙ ГНЕВ

Вольпат вернулся из отпуска после поправки; он отсутствовал два месяца; солдаты окружили его. Но он хмурился, отмалчивался и всех избегал.

— В чем дело, Вольпат? Почему ты молчишь? Что ж ничего не расскажешь?

— Расскажи, что ты видел в госпитале и потом, когда выздоравливал, старый дурак! Помнишь, ты уехал после ранения, и морда у тебя была, как кочан капусты, вся в бинтах. Говорят, ты побывал в разных учреждениях. Да рассказывай, черт тебя подери!

— Я ничего не хочу рассказывать о моей собачьей жизни! — ответил наконец Вольпат.

— Что ты сказал? Что он сказал?

— Мне все осточертело! Вот что! Люди! Мерзотина! БлЮю я на них. Можешь им это передать.

— А что они тебе сделали?

— Они сволочи! — ответил Вольпат.

Уши у него были пришиты, но лицо с татарскими скулами не изменилось. Он упрямо стоял в кругу любопытных, и чувствовалось, что он озлоблен, что внутри у него все кипит, что за этим молчанием таится гнев.

Наконец он не выдержал. Обернулся в сторону тыла и показал кулак бесконечному пространству.

— Их слишком много, — сказал он сквозь зубы, — слишком много!

Казалось, он мысленно угрожает кому-то, гонит прочь вереницу осаждающих его призраков.

Позже мы опять приступили к расспросам. Товарищи знали, что его раздражение прорвется и при первом удобном случае тишина разразится грозой.

Случилось это утром в глубоком тыловом проходе, где мы собрались позавтракать после земляных работ. Шел проливной дождь; он сбил нас в кучу и все кругом затопил; мы ели стоя, лишенные крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить «обезьяну» — консервную говядину — и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду; мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, подскакивала и текла ручьями по нашей холщовой или суконной броне и мочила то открыто, то исподтишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого окопа, размытого ливнем.

Кое-кто смеялся, вытирая мокрые усы, другие гримасничали, откусывая разбухший хлеб и липкое мясо под напором дождя, который настаивал нас повсюду, где нашу кожу не покрывала плотная корка грязи.

Прижимая к сердцу котелок, Барк заорал:

— Эй, Вольпат! Так ты, говоришь, видел там много сволочей?

— А каких? — крикнул Блер, и новый порыв ветра подхватил и унес его слова. — Каких же ты видел сволочей?

— Всяких, — буркнул Вольпат. — Да и... Их слишком много, чтоб им пусто было!

Он попробовал объяснить, в чем дело. Но мог только повторять: «Их слишком много!» Он был подавлен, с трудом переводил дух; он проглотил размокший кусок хлеба и вместе с ним комок тяжелых воспоминаний.

— Ты, верно, говоришь про окопавшихся?

— А то про кого же!

Он швырнул через насыпь остатки говядины, и этот крик с силой вырвался из его груди.

— Плюнь ты на окопавшихся, дурень! — посоветовал Барк шутливо, но не без горечи. — Не стоит портить себе кровь из-за них.

Вольпат, сжавшись, спрятал голову под тонким клеенчатым капюшоном, по которому блестящим потоком лилась вода; он подставил под дождь котелок, чтоб его вымыть, и проворчал:

— Я еще не спятил и понимаю, что тыловики нужны. Требуются бездельники, белоручки? Ладно... Но их там слишком много, слишком, и все одни и те же, не люди, а дрянь, вот оно что!

Излив в этих словах свой гнев, Вольпат почувствовал облегчение и отрывисто заговорил:

— В первом же поселке, куда меня отправили малой скоростью, я увидел их целые кучи, целые кучи, и сразу они мне не понравились. Всякие там отделы, подотделы, управления, центры, канцелярии. Как попадешь туда, видишь, сколько там людей, сколько разных учреждений, и у всех разные названия. Прямо с ума сойти! Да, хитрец тот, кто придумал названия всем этим отделам!

Как же мне не портить себе кровь! Насмотрелся я на них! И волей-неволей, даже за работой, все думаю о них!

Уж эти мне молодчики! — ворчал наш товарищ. — Болтаются там, разводят канцелярщину, вылощенные, в кепи и офицерских шинелях, в ботиночках; едят тонкие блюда; стоит им только захотеть, пропускают по стаканчику, моются, да не один раз, а два раза в день, ходят в церковь, бездельничают, не вынимают сигареты изо рта, а вечером ложатся в кровать и почитывают газеты. А потом вся эта мразь будет говорить: «Мы были на войне!»

Больше всего поразила Вольпата одна подробность:

— Тамошние «солдаты» не таскают с собой котелков и фляг и не едят стоя. Им нужны удобства. Они предпочитают пойти к какой-нибудь шлюхе, сесть за приготовленный для них столик, корчить из себя важных господ, а после обеда бабенка убирает к себе в буфет их посуду, банки консервов, все их припасы — словом, все, что бывает у богачей в мирное время, да еще в этом проклятом тылу!

С неба низвергались водопады. Сосед Вольпата покачал головой и сказал:

— Тем лучше для них!

— Я не сумасшедший. . . — опять начал Вольпат.

— Может быть, но ты непоследователен.

На это Вольпат обиделся; он привскочил, поднял голову; дождь как будто только и ждал этого, чтобы обдать ему лицо.

— Что? Это что такое? «Непоследователен»! Эх ты, дерьмо!

— Да, да! — повторил сосед. — Ты лаешься, а самому небось хочется быть на месте этих бездельников и сволочей!

— Конечно, но что это доказывает, дуб эдакий? Ведь мы постоянно подвергаемся опасности, и теперь пришел наш черед отдохнуть. А в тылу все одни и те же, говорят тебе; там есть и молодые, здоровенные, как быки, сильные, как борцы, и при том слишком их много. Слышишь, я повторяю «слишком много», потому что так оно и есть.

— Слишком много? А ты почему знаешь, голова садовая? Тебе известно, что это за учреждения?

— Нет, — ответил Вольпат, — но я говорю. . .

— А ты думаешь, легко управлять делами целых армий?

— Плевать мне на это, но. . .

— Ты что, сам хочешь пролезть на теплое местечко? — поддразнил Вольпата невидимый сосед в капюшоне, на который низвергались настоящие водопады; в этом вопросе таилось или полное равнодушие, или безжалостное желание рассердить Вольпата.

— Я не сумею, — просто ответил Вольпат.

— Зато другие умеют, — раздался пронзительный голос Барка, — я знаю одного. . .

— Я тоже видел одного такого, — отчаянно заорал сквозь бурю Вольпат. — Да, я встретил этого пройдоху недалеко от фронта, там, где есть эвакуационный пункт и местное интендантство.

В это время сквозь завывание ветра донесся вопрос:

— А что это за парень?

На мгновение буря утихла, и Вольпат смог кое-как ответить:

— Он прохладился на распределительном пункте и показал мне как-то всю неразбериху этой ярмарки, он и сам был ее достопримечательностью. Он водил меня по коридорам, залам, баракам; он приоткрывал двери с разными надписями или указывал на них и говорил: «Погляди-ка вот сюда и вот туда!» Я побывал с ним везде, но он не вернулся, как я, в окопы, не беспокойся. Да он и раньше там не был, тоже можешь не беспокоиться. Этот пройдоха, когда я увидел его впервые, прохаживался по двору. «У меня тут временная работа», — заметил он. Мы разговорились. На следующий день он устроился денщиком, чтобы «окопаться», не идти на фронт: с самого начала войны в первый раз подошла его очередь.

На следующее утро я увидел его на пороге комнаты, где он нежилась всю ночь в постельке. Он чистил хозяйские ботинки, шикарные желтые ботинки, и не жалел на них мази, прямо-таки золотил их. Я остановился поглядеть. Парень рассказал мне свою историю. Не помню хорошенько всей его брехни, как и не помню французской истории с ее хронологией, которой мне забивали голову в школе. Его ни разу не отправили на фронт, хотя он был призыва третьего года и здоровяк. Опасности, трудности, мерзость войны — все это было не для него, а для других; да, он, небось, знал, что, как только попадешь на передовую, оттуда уже не вырвешься, вот он и отбивался руками и ногами, чтоб не двигаться с места. Его и так и сяк пробовали забрать, но, шалишь, он ускользал из рук всех капитанов, всех полковников, всех военных врачей, хоть они и злились на него. Он мне это рассказывал сам. Как он устраивался? Он притворялся, что падает. Принимал idiotский вид. Корчил из себя дурака. Становился похож на куля грязного белья. «У меня общее переутомление», — хныкал он. Люди не знали, с какого бока к нему подойти, и в конце концов оставляли в покое, до того он им осточертевал. Так-то. Когда нужно было, он проделывал и другие штуки, понимаешь? Иногда у него будто бы заболела нога, хотя она была здоровехонька. Затем он где-нибудь пристраивался. Он был горазд на всякие выдумки, знал все ходы и выходы, не хуже расписания поездов! Он проникал в учреждения, где были теплые местечки, потихоньку да полегоньку приживался там и даже из кожи лез вон, чтобы всем понравиться: варил кофе, ходил по воду, пока другие лопали, — словом, везде, куда только он ни пролезал, он умудрялся прослыть за своего, скотина эдакая! Он трудился, чтобы не трудиться. Он напоминал мне одного парня, который мог бы честно зарабатывать сотню монет, если бы потратил на это столько же сил и хлопот, сколько на изготовление фальшивой купюры в пятьдесят франков. И уж поверьте, этот гусь лапчатый спасет свою шкуру. На фронте его понесло бы течением, но он не дурак. Плевать ему на тех, кто мается на земле, и еще больше плевать на них, когда они очутятся под землей. Когда все кончат воевать, он вернется домой и скажет друзьям и знакомым: «Вот я здоров и невредим», — а его приятели будут радоваться: ведь он славный парень, хоть и настоящий мерзавец, и — обиднее всего! — этому сукину сыну верят, людям он нравится.

Так вот, не думай, что парней такого сорта мало; их тьма-тьмушая в каждом учреждении; они изворачиваются и всячески цепляются за свои местечки и говорят: «Не пойду», — и не идут, и никак не удается послать их на фронт.

— Все это не ново, — говорит Барк. — Знаем, знаем!

— А канцелярии! — воскликнул Вольпат, увлекшись рассказом о своем путешествии. — Их целые дома, улицы, кварталы. Ведь я видел только один уголок в тылу, один пункт, а чего только не нагляделся там. Никогда бы не поверил, что во время войны столько народу про-сиживает стулья в канцеляриях. . .

В эту минуту кто-то высунул руку, чтобы узнать, идет ли дождь.

— С неба больше не течет! . .

— Ну, тогда нас погонят в укрытие, увидишь. . .

Действительно, послышалась команда: «Марш!»

Ливень перестал. Мы зашагали по дну траншеи — по длинной, узкой луже, где за минуту до этого вскипали и расплывались дождевые капли.

Ноги хлюпали по грязи. Вольпат снова принялся ворчать. Я слушал его, глядя, как передо мной покачиваются его плечи, прикрытые убогой, промокшей насквозь шинелью.

Теперь Вольпат гневался на жандармов.

— Чем дальше от фронта, тем их больше.

— У них другое поле сражения, — заметил Тюлак, который уже давно имел зуб против жандармов.

— Надо видеть, — продолжал он, — как на стоянках эти молодчики стараются прежде всего хорошо устроиться и поесть. А потом, когда набьют брюхо, стараются пронюхать, где идет тайная торговля вином. Они стоят начеку и следят в оба за дверьми хибарок: не выйдут ли оттуда солдаты навеселе, поглядывая направо-налево и облизывая усы.

— Среди жандармов есть и хорошие: я знаю одного у нас, в Кот-д'Оре.

— Молчи! — решительно прервал его Тюлак. — Все они хороши: все друг друга стоят.

— Да, им лафа, — сказал Вольпат. — А ты думаешь, они довольны! Ничуть не бывало. . . Они ворчат. . .

— Я встретил одного такого. Он ворчал, что ему здорово надоел воинский устав. Он жаловался: «Не стоит его учить, он все время меняется. Да вот, например, устав полевой жандармерии: только выучишь главную его суть, и вдруг оказывается, он уже не тот. Эх, когда же кончится эта проклятая война?»

— Они делают, что им велят, — робко заметил Эдор.

— Конечно, это не их вина. А все-таки они — кадровые солдаты, получают жалованье, пенсию, медали — мы-то всего-навсего призывники, — а воюют они как-то по-чуждому.

— Мне вспомнился, кстати, один лесник, которого я встретил в тылу, — сказал Вольпат. — Он тоже ворчал, что его назначают на работы. «Черт знает, что с нами делают, — говорит. — Мы старые унтеры; за нами по меньшей мере четыре года службы. Правда, нам платят хо-

рошо; ну и что ж? Мы ведь на государственной службе! А нас унижают! В штабах нас заставляют чистить уборные и выносить помои. Штатские видят, как с нами обращаются военные, и презируют нас. А попробуй протестовать, грозятся отправить в окопы, как простого солдата. А во что превращается наше звание? Когда мы вернемся после войны домой и опять станем лесниками (если только вернемся), люди в деревнях и коммунах²⁰ скажут: «А-а, это вы подметали улицы в городе Х.»» Чтобы восстановить нашу честь, запятнанную человеческой несправедливостью и неблагодарностью, придется составлять протокол за протоколом даже на богачей, даже на важных шишек!»

— А я видел справедливого жандарма, — возразил Ламюз. — Он говорил: «Жандарм вообще человек непьющий. Но везде бывают прохвосты, правда? Жандарма население действительно боится, правильно; так вот, сознаюсь, кое-кто этим злоупотребляет, и вот они-то — эти отбросы жандармерии — и заставляют подносить себе рюмочки ликера. Был бы я начальником или бригадиром, я б их упрятал в тюрьму, и надолго, потому что публика обвиняет всю жандармерию в целом за проделки одного жандарма — взяточника и любителя составлять протоколы».

— Был такой поганый день в моей жизни, — сказал Паради, — когда я козырнул жандарму: принял его по серебряным нашивкам за младшего лейтенанта. К счастью (говорю это себе в утешение, но, может быть, так оно и есть), к счастью, он, кажется, меня не заметил.

Молчание.

— Да, понятно, — пробормотали остальные. — Но что было, то было. Не стоит об этом тужить.

* * *

Немного позже, когда мы сидели у какой-то стены, упершись ногами в сырую землю, Вольпат все еще продолжал выкладывать свои впечатления:

— Вхожу это я в зал, в канцелярию пункта; это была, кажется, расчетная часть. Куда ни глянь — столы. Народу — как на рынке. Все галдят. По бокам, вдоль стен, и посреди комнаты сидят люди перед разложенными бумагами, словно торговцы старьем. Я попросил снова зачислить меня в наш полк, а мне ответили: «Хлопочи, выкручивайся сам!» Нарываюсь я на какого-то сержанта: ломака, фертик, свеженький, как огурчик; у него даже очки были золотые. Молодой, а остался на сверхсрочной службе и потому имел право не идти на фронт. Я говорю: «Сержант!» А он меня не слушает, слишком занят, видите ли: распекает писаря: «Беда с вами, любезный: я двадцать раз вам говорил, что один экземпляр надо послать на предмет исполнения начальнику полевой жандармерии при штабе армейского корпуса, а другой — для сведения, без подписи, но с указанием, что такая имеется в подлиннике, — начальнику жандармерии Амьена и других городов области, согласно имеющемуся у вас списку, но, конечно, со ссылкой на приказ военного губернатора... Все очень просто».

Я отошел и жду, когда он кончит ругаться. Минут через пять опять подхожу к нему. Он говорит: «Милый мой, некогда мне возиться с вами, у меня другие дела». И действительно, он ругался, сидя у пишущей машинки, чертов слюняй: он, мол, нечаянно нажал на верхний регистр, и, вместо того чтоб подчеркнуть заголовок, наставил целую строчку восьмерок. И вот он слышать ни о чем не хотел и орал и бранил американцев: машинка была американская.

Потом он принялся крыть другого лодыря за то, что в ведомости распределения военных карт пропущены Продовольственный отдел, Управление транспортом скота и продовольственный обоз триста двадцать восьмой пехотной дивизии.

Рядом какой-то чурбан во что бы то ни стало хотел отпечатать на гектографе больше циркуляров, чем это возможно; но как он ни потел, ни пыхтел, у него получались листки, на которых ничего нельзя было разобрать. Другие балбесы болтали. Какой-то пижон спрашивал: «А где наши парижские скрепки?» Да и слова-то у них мудреные: «Скажите, пожалуйста, какие подразделения расквартированы в X?» Подразделения? Это еще что за тарабарщина? — ворчал Вольпат.

Я подошел к длинному столу, за которым сидели все эти субчики. В конце его тот же сержант из себя выходил, наводя порядок в целом ворохе бумаг (лучше бы он навел его, где следует), а какой-то парень позевывал, барабаня пальцами по промокашке: он был писарем в отделе отпусков, и ему ровным счетом нечего было делать, так как началось крупное наступление и отпуска были отменены. «Вот здорово!» — говорил он.

А ведь это только один стол в одной комнате, в одном отделении, в одном управлении. Я видел еще уйму канцелярий. Уж не упомяну какие, прямо с ума сойти!

— У этих лодырей тоже есть галуны?

— Там-то мало у кого, а вот в канцеляриях второй линии все носят галуны; там целые полчища, целые зверинцы окопавшихся.

— А какого я видел субъекта из так называемых фронтовиков, — заметил Тюлак, — простого шофера, а суконце на нем было — прямо атлас, новенькие галуны и ремни, как у английского офицера, хоть и был-то он всего-навсего младшим лейтенантом. Подпер он эдак щеку рукой и облокотился на шикарный автомобиль с зеркальными стеклами. Потеха, да и только! Важного барина корчил из себя, сукин сын!

— Совсем как солдатик на картинках в дамских журнальчиках, в шикарных похабных журнальчиках.

У каждого свои воспоминания, свои истории об «окопавшихся». Все говорят наперебой. Стоит гул голосов. Мы сидим у мрачной стены, сбившись в кучу; перед нами расстилается истоптанное, серое, грязное поле, бесплодное от дождя.

— Он... заказал мундир у военного портного, а не выпросил у каптенармуса.

— ... Устроился вестовым в Дорожном отделе, потом работал по провантской части, потом на вещевом складе, а потом самокатчиком при

отделе снабжения одиннадцатой группы. Каждое утро он отвозил пакеты в Интендантство, в Управление сети огневых точек, в Понтонный парк, а вечером в дивизионную и в окопную артиллерию. Вот и вся его работа.

— ... Какой-то тип рассказывал: «Когда я возвращался из отпуска, бабенки кричали, приветствовали нас на каждой остановке поезда». А я ему в ответ: «Они, верно, принимали вас за солдат. Вы, значит, мобилизованы?» — «Конечно, — отвечает, — ведь я ездил в командировку: читал лекции в Америке по поручению министра. Разве это не мобилизация? А еще, друг мой, я не плачу за квартиру, значит, я мобилизован. . .»

— ... А я. . .

— Под конец, — крикнул Вольпат, и властный голос этого путешественника, только что возвратившегося «оттуда», заставил всех замолчать, — под конец я увидел всю их шайку за жратвой. Два дня я был помощником повара на кухне интендантского управления: мне не позволили бить баклуши в ожидании ответа на мое прошение, а ответ все не приходил, ведь к нему добавили отношение, запрос, справку, заключение, и все эти бумажки подолгу валялись в каждой канцелярии.

Итак, был я поваром на этом базаре. Раз я даже подавал обед, потому что главный повар переутомился, вернувшись из четвертого отпуска. Я видел и слышал всех этих господ каждый раз, как входил в столовку (она помещалась в префектуре).

Там были все нестроевые, но был и кое-кто из действующей армии — старики, немало и молодых.

Мне стало смешно, когда кто-то из этих болванов сказал: «Надо закрыть ставни для безопасности». Ведь они сидели в комнате, в двухстах километрах от линии огня, а эта сволочь делала вид, что им угрожает бомбардировка с аэропланов. . .

— Мой двоюродный брат, — сказал Тирлуар, шаря в карманах, — пишет мне. . . Да вот что он пишет: «Дорогой Адольф, меня окончательно оставили в Париже, я зачислен в канцелярию лазарета номер шестьдесят. Пока ты там, я торчу в столице под вечной угрозой «таубе» и цепелинов²¹.

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!

Эта фраза вызывает всеобщее веселье; ее смакуют, как лакомство.

— А потом еще смешней было во время обеда этих окопавшихся, — продолжал Вольпат. — Обед был хороший: треска (это было в пятницу — постный день), но приготовленная шикарно, вроде камбалы «Маргерит»²² или как ее там? А уж разговорчиков я наслушался. . .

— Они называют штык «Розали», да?

— Да. Вот уж пугалы огородные! Но разглагольствовали они больше о себе. Всем хотелось объяснить, почему они не на фронте; говоря и то и се и не забывая жрать в три горла, каждый, в сущности, говорил: «Я болен, я ослаб, поглядите, какая я развалина, какая старая дохлятина». Они старались откопать у себя всякие болезни и щегольнуть ими: «Я хотел пойти на войну, но у меня грыжа, две грыжи, три грыжи». Ну и обед! «Приказы об отправке всех нас на фронт, — объяснял один весель-

чак, — это, говорит, одна комедия; в последнем действии всегда все улаживается. А последнее действие — это параграф: „... если не пострадают от этого интересы службы...“. Другой рассказывал: «У меня было три друга, на которых я рассчитывал. Я хотел было обратиться к ним, но незадолго до этого они, один за другим, были убиты на фронте. Не везет мне!» Кто-то из них объяснил, что он-то хотел пойти на фронт, но старший врач обхватил его обеими руками и силой удержал в запасном батальоне. «Что ж, мне пришлось покориться. В конце концов я принесу больше пользы родине своим умом, чем винтовкой». А тот, что сидел рядом с ним, кивал лысой макушкой: «Правильно! Правильно!» Сам-то он согласился уехать в Бордо, когда боши подходили к Парижу и когда Бордо стал шикарным городом, но потом, не долго думая, вернулся в Париж. Он говорил что-то в этом роде: «Я приношу пользу Франции своим талантом; я непременно должен сохранить свой талант для Франции».

Еще они вспоминали о других, которых там не было: майор, дескать, невыносим, чем больше он дряхлеет, тем становится свирепее; генерал, который любил производить ревизии, чтобы выявлять окопавшихся, неделю тому назад опасно заболел и слег в постель. «Он непременно умрет, его состояние не вызывает никаких опасений», — твердили они, покуривая сигареты, которые дурехи из высшего общества посылают солдатам на фронт. «Знаешь Фрази? — спросил кто-то. «Молоденького паренька, пригожего, как херувим?» — «Так вот, он нашел наконец способ остаться; на скотобойнях требовались резники, вот он и поступил туда по протекции, хоть он и юрист, и служил в нотариальной конторе. Ну, а сыну Фландрена удалось устроиться землекопом». — «Землекопом? И ты думаешь — его оставят в тылу?» — «Конечно, — ответил кто-то из этих трусов, — землекоп — дело верное...»

— Вот прохвосты! — проворчал Мартро.

— И все они завидовали, не знаю почему, какому-то Альфреду, не помню его фамилии: «Когда-то он жил на широкую ногу в Париже, завтракал и обедал в гостях или в лучших ресторанах с друзьями. Делал по восемнадцати визитов в день. Порхал по салонам с фэйфоклока²³ до зари. Без усталости дирижировал котильонами, устраивал праздники, ходил по театрам, не считая уже прогулок в автомобилях, и все это поливал шампанским. Но началась война. И вдруг он, бедненький, устал: не может стоять поздно вечером у бойницы, бодрствовать по ночам, резать проводочные заграждения. Ему надо спокойненько сидеть в тепле. Чтоб он, парижанин, отправился в провинцию, похоронил себя в окопах? Да никогда в жизни!» — «Мне стукнуло тридцать семь лет, и я понял, — отвечал другой ферт, — что в моем возрасте надо себя беречь!» И когда он это говорил, я думал о Дюмане, леснике; ему было сорок два года; его кокнуло на высоте сто тридцать два, так близко от меня, что, когда ему в голову попала целая обойма, даже меня тряхнуло от сотрясения его тела.

— А как эти негодяи обращались с тобой?

— Они мной гнушались, но не очень это показывали. Только время от времени, когда уже не могли удержаться. Они смотрели на меня искося

и, главное, боялись меня коснуться, когда проходили мимо: ведь я весь был пропитан войной.

Мне было противно среди этого сборища трусов, но я повторял про себя: «Ничего, Фирмен, ты здесь временно...». Только раз меня чуть было не взорвало, когда кто-то из них сказал: «Потом, когда мы вернемся с войны... если вернемся». Ну, уж простите. Он не имел права так говорить! Пусть себе «устраивается», но не корчит человека, которому угрожает опасность: ведь он окопался, не захотел идти на фронт! И еще они рассказывали о боях, они, видите ли, в курсе дел и лучше нас знают, как ведется война, а после, когда ты вернешься домой, — если только вернешься, — ты прослывешь еще вралем, поверят не тебе, а этим болтунам.

— Эх, посмотрели бы вы на эти рожи в чаду попойки, на этих людей, что пользуются жизнью, наслаждаются покоем. Прямо-таки балет, апофеоз в театре! И сколько их!.. Сотни тысяч!.. — крикнул в заключение Вольпат.

Но солдат, плативших своим здоровьем и жизнью за безопасность других, забавлял гнев, который душил Вольпата, забившегося в угол и окруженного ненавистными призраками.

— Хорошо еще, что он не рассказывает о тех, кто пролез на завод под видом рабочих, чтобы избежать фронта, и обо всех, кто остался дома под ловко придуманным предлогом национальной обороны, — пробормотал Тирет. — Он докучал бы нам до второго пришествия!

— Ты говоришь, что окопавшихся сотни тысяч, старый пердун? — насмешливо спросил Барк. — А в девятьсот четырнадцатом году (слышишь?) военный министр Мильран²⁴ сказал в палате депутатов: «Окопавшихся у нас нет!»

— Мильран? — проворчал Вольпат. — Я этого человека не знаю, но если он так сказал, значит, он подлец каких мало!

* * *

— Пусть другие делают у себя, что хотят, но почему даже у нас в полку есть неравенство и теплые местечки?

— Всякий старается устроиться по знакомству, — сказал Бертран.

— Это правда: кем бы ты ни был, всегда найдутся люди порядочней и подлея тебя.

— Все, кто у нас не идет в окопы и никогда не бывает на передовой, и даже те, кто попадает туда от случая к случаю, — все они, если хочешь, окопавшиеся, и ты б увидел, сколько их, если б нашивки давали только настоящим бойцам.

— Их по двести пятьдесят человек на каждый полк в два батальона, — сказал Кокон.

— Есть ординарцы, вестовые, а одно время даже у унтеров были денщики.

— Повара и помощники поваров.

— Старшие сержанты и квартирмейстеры.

— Капралы, ведающие продовольствием, и нестроевые, состоящие при кухне.

- Несколько канцелярских крыс и знаменосцев.
- Почтальоны.
- Обозники, рабочие команды, их начальники и даже саперы.
- Самокатчики.
- Не все.
- Почти вся военно-санитарная служба.
- Кроме санитаров-носильщиков, разумеется: у них чертовски трудная работа, да и передвигаются они с частями действующей армии, а во время атак идут за нашим братом с носилками. Вот санитары в госпиталях — дело другое.
- Почти все они священники, особенно в тылу. Священников на передовой я что-то не встречал, а ты?
- Я тоже. На картинках в газетах видал, а здесь не случалось.
- Говорят, бывали такие.
- Да ну?
- Все равно! Хуже всего приходится в этой войне пехотинцу.
- Другим тоже бывает не сладко. Не нам одним.
- Нет, — упрямо возразил Тюлак, — нам больше всех достается!

* * *

Вольпат продолжал:

— Ты скажешь — я уж знаю, что ты скажешь, — что шоферам и артиллеристам круто пришлось под Верденом²⁵. Правда. И все же по сравнению с нами их положение было лучше. Пехотинцы подвергаются опасности постоянно, а они подверглись ей только раз (кроме того, нас обстреливают пулями и гранатами, а их — нет). В тяжелой артиллерии они разводили у своих землянок кроликов и восемнадцать месяцев подряд лопали яичницу. А мы действительно торчим в опасных местах. Те, кто бывает в нашей шкуре изредка или побывал в ней один раз, не в счет. А то бы выходило, что все вояки, даже нянька с ребятишками, гуляющие по парижским улицам: ведь есть «таубе» и «цеппелины», как говорил тот болван, о котором только что рассказывал Тюлак.

— В первой дарданельской экспедиции²⁶ даже один фармацевт был ранен осколком. Не веришь? Ей-ей. Да, нестроевой офицер, а был ранен.

— Это чистая случайность, как я писал Мангусту, который служил в обозе и тоже был ранен, но грузовиком.

— Бомба вполне может упасть на какой-нибудь бульвар в Париже, в Бордо или Салониках.

— Да, да. Так вот, очень легко сказать: «Все подвергаются одинаковой опасности!» Погоди! С начала войны среди нестроевых было убито только несколько человек и то по несчастной случайности, а вот из нас только несколько человек выжило по счастливой случайности. А это не одно и то же; ведь если помрешь, то это надолго.

— Н-да, — протянул Тирет. — Но вы мне надоели с вашими историями об окопавшихся. Раз против этого ничего нельзя поделать, не стоит и языком трепать. Это напоминает мне историю одного стражника из Шерей, где мы были месяц тому назад; он ходил по улицам и выискивал

штатских, годных по возрасту к военной службе, и, как пес, вынюхивал окопавшихся. И вот он останавливает толстую бабу с усами, видит только ее усы, да как заорет: «Ты чего не на фронте?»

— А мне, — сказал Пепен, — наплевать на окопавшихся, на всех, кто ловчит: не стоит тратить на них время, но я терпеть не могу, когда они начинают хвастать. Я согласен с Вольпатов: пусть «устраиваются» — ладно, дело житейское, — но чтобы потом они не говорили: «Я был на войне». Да вот, например, добровольцы. . .

— Смотря по тому какие. Те, что безоговорочно пошли в пехоту, да, как ни странно, тут уж ничего не скажешь, но вот добровольцы, поступившие в учреждения или разные там специальные войска, даже в тяжелую артиллерию. — те действуют мне на нервы. Знаем мы их! Начнут любезничать в гостях и скажут: «Я пошел на войну добровольцем!» — «Ах, как это красиво! Вы по собственной воле пошли навстречу смерти!» — «Как же, маркиза, уж я таковский». Ах ты, брехун! Пускаешь пыль в глаза!

— Я знаю одного молодчика; он поступил добровольцем в авиационный парк. У него был красивый мундир. Лучше бы он поступил в оперетку.

— Да, но тогда он не смог бы говорить: «Полюбуйтесь на меня, перед вами доброволец!»

— Я не зря сказал: «Лучше бы он поступил в оперетку!» Да, да, это было бы гораздо лучше. По крайней мере он смешил бы публику, а так лишь бесит людей.

— Когда воюешь, приходится рисковать своей шкурой, правда, капрал?

— Да, — ответил Бертран. — Война — это смертельная опасность для всех, решительно для всех, никто от нее не застрахован. Значит, надо идти прямо на врага, а не притворяться, что воюешь, нарядившись в щегольской мундир. А на необходимые работы в тылу надо назначать действительно слабых людей и настоящих стариков.

— Видишь ли, слишком много богатых и важных людей кричали: «Спасем Францию, но прежде всего спасем себя!» Как только объявили войну, многие бросились устраиваться. Самым ловким это удалось. Я заметил, в нашем местечке окопались главным образом те, кто больше всего вопил о любви к родине. . . Во всяком случае, ребята правильно сказали: если уж ты окопался, то последняя подлость — уверять, будто рисковал своей шкурой. Ведь тех, кто взаправду рисковал жизнью, надо почитать так же, как убитых.

— Ну и что ж? Всегда так бывает. Человека не переменишь.

— Ничего не поделаешь. . . Ворчать, жаловаться? . . . Да вот, кстати, насчет жалоб; ты знал Маргулена?

— Маргулена? Это тот славный парень из нашего полка, его оставили подыхать на поле боя, думали, что он убит?

— Да. Так вот он хотел жаловаться. Каждый день он говорил, что пожалуется на капитана майору и потребует, чтоб каждый по очереди шел на передовую. После еды он говорил: «Я все им скажу начистоту.

это также верно, как и то, что здесь стоит бутылка вина». А через минуту прибавлял: «Если я еще ничего не сказал, то лишь потому, что здесь нет бутылки вина». А если ты снова проходил мимо, он опять говорил: «А, значит, это бутылка вина? Вот увидишь, я все-все им скажу». В общем, он так ничего и не сказал. Правда, его убили. Но до этого он бы успел пожаловаться тысячу раз.

— К черту все это! — мрачно проворчал Блер.

— Нам одно ясно, что дело это темное. А вот если б и вправду что-нибудь прояснилось! . .

— Эх, ребята, — воскликнул Вольпат, — послушайте, что я скажу: чтоб очистить все эти тыловые учреждения, пришлось бы отвести туда воды Сены, Гаронны, Роны и Луары! А пока что там живут, и даже хорошо живут, и преспокойно дрыхнут в постели каждую ночь. Каждую ночь!

Солдат замолчал. Он вспомнил, как проводил ночь, насторожившись, скрюченный, грязный, на передовом посту, на дне ямы, развороченный край которой вырисовывается всякий раз, когда орудийный залп мечет в небо свою огненную зарю.

Кокон горько усмехнулся.

— От такой жизни и умирать не захочется.

— Чего ты? — миролюбиво сказал кто-то. — Не загибай, селедка тухлая!

X АРГОВАЛЬ

С полей надвигался вечерний сумрак. Подул нежный, как шепот, ветер.

Домики на отрезке шоссеиной дороги — ныне деревенской улицы, — белесые окна которых уже не пропускали достаточно света, озарялись изнутри огоньками ламп и свечей, мрак выходил из них наружу, свет и тень постепенно менялись местами.

За деревней, по полю, бродили солдаты без всякого снаряжения. Мы мирно заканчивали день. Мы наслаждались праздностью, прелесть которой чувствуешь, когда по-настоящему устал. Стояла прекрасная погода; наш отдых только начинался, и мы предавались мечтам. В сумерках лица казались строже и спокойней, как бы отражая безмятежную ясность природы.

Ко мне подошел сержант Сюилар, взял меня под руку и сказал:

— Пойдем, я кое-что покажу тебе.

На краю деревни стояли ряды высоких спокойных деревьев, и время от времени от теплого ветра их тяжелые ветви величественно покачивались.

Сюилар шел впереди. Мы спустились на узкую дорогу, вившуюся по дну оврага между крутыми, обрывистыми склонами, поросшими кустами, верхушки которых тесно переплелись между собой. Несколько минут мы шли под этим нежно-зеленым сводом. Косые лучи солнца, падав-

шие на дорогу, множили среди листвы светлые пятна, круглые и желтые, как золотые монеты.

— Как тут хорошо, — сказал я.

Сюилар молчал и смотрел по сторонам. Вдруг он остановился.

— Кажется, здесь.

Мы поднялись по тропинке на поляну, обсаженную высокими деревьями, где воздух был насыщен запахом свежего сена.

— Посмотри! Вся земля истоптана, — заметил я, рассматривая следы ног. — Здесь происходила какая-то церемония.

— Идем дальше! — сказал Сюилар.

Он вывел меня в соседнее поле. Там стояла кучка солдат; они говорили, понизив голос. Мой спутник протянул руку и сказал:

— Здесь.

В нескольких шагах от растущих стеной молодых деревьев торчал столб, не больше метра вышиной.

— Да, — сказал Сюилар, — именно здесь был расстрелян солдат двести четвертого полка. Ночью вбили этот столб. На заре привели парня и заставили товарищей по взводу расстрелять его. Дело в том, что он вздумал увильнуть, не хотел идти в окопы; во время смены он отстал, потом тихонько вернулся на стоянку. Вот и вся его вина; должно быть, начальство хотело припугнуть остальных.

Мы подошли к солдатам.

— Да нет, — говорил один. — Он не был разбойником; не был он и закоренелым преступником. Мы с ним пошли на фронт одновременно. Такой же был парень, как и все мы, не лучше, не хуже; только немного ленивый, вот и все. Он был на передовой с начала войны, и я никогда не видел его пьяным.

— Беда в том, что у него было скверное прошлое. Сбежал он не один; их было двое. Но другому дали только два года тюрьмы. А Кажар еще до войны, когда был штатским, что-то натворил с пьяных глаз, попал под суд и был осужден; поэтому и не признали никаких смягчающих обстоятельств.

— На земле следы крови, — нагнувшись сказал кто-то.

— Это было проделано по всем правилам, — продолжал другой, — присутствовал полковник... на коне; Кажара разжаловали, привязали к колышку — к такому обычно привязывают скотину; верно, бедняге пришлось не то стать на колени, не то сесть на землю.

— Прямо диву даешься, — сказал третий, — за что человека казнили. Разве только, чтобы припугнуть других, как сказал сержант.

На столбе солдаты уже нацарапали слова, выражавшие возмущение, и прибили к нему грубо сколоченный деревянный военный крест с надписью: «Кажару, мобилизованному в августе 1914 года. — благодарная Франция».

Возвращаясь на стоянку, я увидел Вольпата: он был окружен товарищами и разглагольствовал. Наверное, рассказывал какой-нибудь новый случай из своего путешествия в страну счастливых.

XI СОБАКА

Погода была ужасная. Ветер сбивал с ног людей, вода заливала землю, дороги вспучились.

Я возвращался из наряда на нашу стоянку, на край деревни. Сквозь завесу дождя земля в это утро казалась грязно-желтой, а небо — черным, как грифельная доска. Ливень, как розгами, хлестал по поверхности пруда. Вдоль стен, шлепая по грязи, согнувшись, пробирались какие-то жалкие тени.

Несмотря на дождь, на холод и резкий ветер, у ворот фермы, где мы расположились, собрались солдаты. Издали они походили на огромную, впитывающую воду губку. Задние вытягивали шеи, таращили глаза и говорили:

— Ну и молодчина!

— Да, он не робкого десятка! Храбрец каких мало!

Вскоре любопытные стали расходиться; вымокшие, красноносые, они от удивления разводили руками, потом от холода засовывали их в карманы.

В середине поредевшего круга стоял тот, кто привлек всеобщее внимание: голый по пояс Фуйяд. Он мылся прямо под дождем.

Тощий, как кузнечик, он размахивал длинными, тонкими руками, сопел, кряхтел, неистово мылил и поливал водой голову, шею и грудь с выступающими ребрами. Его впалые щеки покрылись белоснежной пеной, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь.

Вместо лохани он пользовался тремя котелками, он наполнил их водой, неизвестно откуда добытой, — в деревне воды не было, — а так как во всеобщем небесном и земном потоке некуда было положить что бы то ни было, он закинул полотенце за пояс штанов, а мыло совал в карман.

Те, кто еще оставался, с восхищением следили за этим эпическим омовением в непогоду, покачивали головой и повторяли:

— Да у него прямо болезнь чистоплотности!

— Знаешь, говорят, его отметят в приказе по полку за дело в той воронке от снаряда, где он сидел с Вольпатором.

— Еще бы, он вполне заслужил благодарность в приказе.

Не отдавая себе в этом отчета, солдаты смешивали оба подвига: подвиг в бою и подвиг купанья — и смотрели на Фуйяда как на героя дня, а он отдувался, фыркал, задыхался, хрипел, отплевывался, пробовал вытереться под этим небесным душем быстрыми, лихорадочными движениями и наконец стал одеваться.

* * *

После мытья он замерз; делает полуоборот и направляется к сараю, где мы живем. Ледяной ветер бьет его по длинному смуглому лицу, исторгает из глаз слезы, и они катятся по щекам, когда-то обвеянным мистралем; из носа у него течет.

Побежденный колючим ветром, который хлещет его по ушам (хотя голова повязана шарфом) и по икрам (хотя его петушинные ноги защищены желтыми обмотками), Фуйяд входит в сарай; но сейчас же выскакивает оттуда, свирепо таращит глаза и бормочет: «Дьявольщина! Проклятие!» — произнося эти слова с тем южным акцентом, с каким говорят за тысячу километров отсюда, в том краю, откуда изгнала Фуйяда война.

Он стоит неподвижно на улице, чувствуя себя больше чем когда-либо чужим в этой северной местности. Ветер опять налетает и грубо встряхивает его костлявое, легкое тело.

Дело в том, что в сарае, который предоставили нам на стоянке, почти невозможно жить, черт его дери! В нашем убежище тесно, темно, холодно, словно в колодце. Одна половина его затоплена, там плавают крысы, а люди сбились в кучу на другой половине. Стены из планок, слепленных глиной, растрескались, пробиты, продырявлены. В ту ночь, когда мы сюда пришли, нам удалось кое-как заткнуть ветками, прутьями и листьями трещины, до которых можно было дотянуться. Но дыры в крыше по-прежнему зияют. Слабый свет не может пробиться сверху, зато ветер врывается, дует со всех сторон, изо всех сил, и мы вечно живем на сквозняке.

Вот и стоишь, как столб, в этой крошечной тьме, растопырив руки, чтоб не наткнуться на что-нибудь, стоишь да дрожишь и воешь от холода.

Фуйяд вошел опять, подстегиваемый ветром; теперь он жалеет, что помылся. У него ломит поясницу, колет в боку. Он хотел бы что-нибудь сделать, но что?

Сесть? Невозможно: земля и каменные плитки покрыты грязью, а соломенная подстилка истоптана и отсырела. Сядешь — замерзнешь, а лечь на солому мешает запах навоза и аммиака... Фуйяд только смотрит на свое место и так зеваёт, что кажется, у него вот-вот отвалится челюсть, удлиненная бородкой, в которой можно было бы увидеть седые волоски, если бы свет был здесь настоящим светом.

— Не думайте, — сказал Мартро, — что другим лучше, приятней, чем нам. После обеда я зашел к одному парню из одиннадцатой роты; они стоят на ферме, у госпитали. Надо перелезть через каменную ограду, а лестница слишком короткая; ноги во как приходится задирать! — замечает коротышка Мартро. — А когда попадешь в их тесный курятник, все тебя толкают и ты мешаешь всем и каждому. Не знаешь, куда падаться. Я оттуда сбежал.

— А мне, — сказал Кокон, — после жратвы захотелось зайти к кузнецу выпить чего-нибудь горячего, за деньги конечно. Вчера он продавал кофе, а сегодня утром пришли жандармы — парень струхнул и запер дверь.

Фуйяд видел, как товарищи вернулись повесив нос и повалились на солому.

Ламюз попробовал чистить винтовку. Но здесь это невозможно, даже если сесть на землю у двери, даже если приподнять мокрое заскорузлое полотнище палатки, висящее, как сталактит. В сарае слишком темно.

— А если уронишь винтик, его уже не найти, хоть удавись, особенно когда пальцы свело от холода!

— Я хотел кое-что починить, но, шалишь, не тут-то было!

Остается только одно: вытянуться на соломе, закутать голову платком или полотенцем, чтоб укрыться от напористой вони гниющей соломы, и уснуть.

Фуйяд сегодня не назначен ни в наряд, ни в караул; он располагает временем и решает лечь. Он зажигает свечу, чтобы порыться в своих вещах, и разматывает длинный шарф; тень его тщедушного тела сгибается и разгибается.

— Эй, ягнятки! Картошку чистить! — зычным голосом кричит у двери человек в капюшоне.

Это сержант Анрио. Он добродушен и хитер, он пошучивает грубовато, но добродушно и зорко следит, чтобы все вышли из сарая, чтобы никто не увильнул от работы. За дверью под непрерывным дождем по размытой дороге, уже идет второе отделение, собранное и отправленное на работу унтером. Оба отряда соединяются. Мы идем вверх по улице, взбираемся на глинистый пригорок, где дымит походная кухня.

— Ну, ребята, начинай! Дело пойдет быстро, если возьметесь дружно. . . Ну, чего ворчишь? Все равно не поможет!

Минут через двадцать мы возвращаемся быстрым шагом. В сарае мы натываемся на наши вещи; все вымокло и холодит руки; острый запах мокрой шерсти примешивается к испарениям наших грязных подстилок.

Мы собираемся у деревянных столбов, подпирающих крышу сарая, подальше от водяных струй, которые отвесно падают сквозь дыры и обдают нас брызгами.

— Вот они! — кричит кто-то.

Два человека появляются один за другим в двери; с них струится, льет вода. Это Барк и Ламюз. Они ходили искать жаровню и вернулись из этой экспедиции не солоно хлебавши. Они сердито ворчат: «Ни жаровни, ни дров, ни угля! За деньги и то не найдешь!»

Невозможно развести огонь.

— Дело швах; если даже я ничего не добился, значит, не добьется никто! — гордо объявляет Барк, за которым числятся сотни подвигов по хозяйственной части.

Мы не двигаемся, а если двигаемся, то медленно: здесь слишком тесно; мы подавлены.

— Это чья газета?

— Моя, — отвечает Бекюв.

— Что там пишут? Тьфу, забыл, что в эдакой темнотище ничего не разберешь!

— Они пишут, что теперь солдату дают все, что нужно, чтоб ему было тепло. У солдат, мол, есть и шерстяное белье, и одеяла, и печки, и жаровни, и угля сколько пожелаешь. Даже в окопах первой линии.

— Эх, разрази их гром! — бурчат бедные узники сарая и грозят кому-то кулаками.

Но Фуйяд равнодушен к тому, что говорят. В темноте он согнулся всем своим донкихотским костлявым телом и вытянул жилистую шею. Его привлекает что-то лежащее на земле.

Это Лабри, собака другого взвода, овчарка-полукровка с обрубленным хвостом.

Лабри свернулся в комок на соломенной трухе.

Фуйяд смотрит на Лабри; Лабри смотрит на Фуйяда.

Подходит Бекюв и нараспев, как житель окрестностей Лилля, говорит: — Он не ест похлебки. Нездоров песик! Эй, Лабри, что с тобой? Вот тебе хлеб, вот мясо! Жри! Вкусно? Ему скучно, ему больно. Скоро он подойдет.

Лабри несчастлив. Солдат, которому его поручили, нисколько о нем не заботится, обращается с ним грубо, мучает его. Целый день собака сидит на привязи. Ей холодно, ей неудобно; она заброшена. Она не живет своей обычной жизнью. Время от времени она надеется выйти из сарая, замечая, как взад и вперед ходят люди; она поднимается, потягивается и робко виляет хвостом. Но это обманчивая надежда. Лабри ложится опять и намеренно не глядит на свою полную миску.

Лабри скучает: ему опротивела жизнь. Даже если он избежит пули или осколков снаряда (ведь он подвергается опасности не меньше нас), он все равно подойдет.

Фуйяд гладит его по голове, Лабри опять смотрит на Фуйяда. У них один и тот же взгляд — с той разницей, что человек смотрит сверху вниз, а пес снизу вверх.

Была не была! Фуйяд садится в угол, прячет руки под полы шинели и подгибает ноги, словно они складные.

Опустив посиневшие веки, он предается воспоминаниям. Перед ним возникают видения прошлого. В такие минуты родной край облекается для него в живую и нежную плоть. Благоуханный красочный Эро, улицы Сета. . .²⁷ Фуйяд видит все это так близко, так ясно, что до слуха его долетает скрип уключин на Южном канале²⁸ и грохот погрузки на пристанях — знакомые, родные звуки, неудержимо зовущие его.

В конце дороги, так сильно пахнувшей тмином и бессмертником, что запах этот можно почти ощутить на вкус, на холме Сен-Клер под жаркими лучами солнца и под благоуханным ветром, таким теплым, словно он прилетел на крыльях из солнечных лучей, зеленеет маленькая цветущая усадьба его родных. Оттуда видно, как сливается бутылочно-зеленая лагуна с небесно-голубым Средиземным морем, а иногда в темной синеве неба различаешь далекий призрак — зубцы Пиренейских гор.

Там Фуйяд родился и вырос, счастливый, свободный. Он играл на золотисто-рыжей земле, и даже играл в солдаты. Он с пылом размахивал деревянной саблей; его гладкие щеки румянились, а теперь они ввалились, пожелтели и как будто покрылись рубцами. . . Он открывает глаза, осматривается, покачивает головой и предается сожалениям о тех временах, когда война и слава вызывали в нем чистое, восторженное чувство. Он прикрывает глаза рукой, чтоб удержать видения прошлого.

Теперь он вспоминает другое.

В тех же краях, на горе, он в первый раз увидел Клеманс. Она прошла, вся залитая солнцем, держа в руках охапку соломы, — по сравнению с ее золотыми волосами солома казалась бурой. Во второй раз она шла с подругой. Они обе остановились, чтобы поглядеть на него. Он услышал шепот и обернулся. Заметив, что он их видит, они убежали, шелестя юбками и звонко смеясь.

На том же месте они с Клеманс впоследствии построили дом. Перед домом — виноградник (Фуйяд работал на нем в своей любимой соломенной шляпе, которую носил во все времена года).

У входа в сад — хорошо знакомый розовый куст, пользовавшийся своими шипами только для того, чтобы ласково удерживать Фуйяда.

Вернется ли Фуйяд домой? Он слишком глубоко заглянул в прошлое; он видит будущее во всей его ужасающей наготе. Он думает о потерях своего полка, тающего при каждом обстреле, о жестоких испытаниях, боях, болезнях, истощении. . .

Он встает, встряхивается, чтобы избавиться от всего, что было, от всего, что будет. И опять видит себя среди мрака, пронизанного ледяным ветром, среди людей, тоскливо ожидающих вечера; он возвращается к действительности и опять начинает дрожать.

Сделав несколько шагов, он натывается на солдат. Чтобы рассеяться и утешиться, они вполголоса говорят о еде.

— У нас, — говорит кто-то, — пекут хлебы круглые, большие, как колеса.

И он радостно таращит глаза, словно желая увидеть эти самые хлебы.

— У нас, — вмешивается в разговор наш бедный южанин, — праздничные обеды тянутся так долго, что свежий хлеб к концу обеда черствеет!

— У нас есть винцо. . . Как будто простенькое, но убей меня бог, если в нем нет пятнадцати градусов.

Тогда Фуйяд принимается рассказывать о темно-красном, почти лиловом вине, которое следует разбавлять водой, оно будто создано для этого.

— А у нас, — говорит беарнец, — есть вино жюрансон, но настоящее, не такое, какое выдают за жюрансон в Париже. Я знаком с одним виноделом. . .

— Если приедешь к нам, — говорит Фуйяд, — увидишь: у меня есть мускат всех сортов, всех оттенков, можно подумать, что это образчики шелков. Приезжай ко мне на месяц, дружок! Каждый день буду угощать тебя разным вином!

— Вот кутнем! — восклицает благодарный солдат.

Разговоры о вине приводят Фуйяда в волнение, напоминают ему острый запах чеснока южной кухни. Ароматы вин и ликеров ударяют ему в голову, хотя в сарае завывает ветер.

Фуйяд внезапно вспоминает, что в деревне, где мы стоим, живет вино-торговец Маньяк, родом из Безье²⁹, который сказал ему как-то: «Заходи ко мне на днях, разопьем с тобой винцо из наших краев, черт возьми! У меня припрятано несколько бутылок; пальчики, брат, оближешь!»

Эта возможность вдруг ослепляет Фуйяда. По всему его телу пробе-

гает дрожь от предвкушения такого удовольствия; теперь он знает, что делать. . . Выпить южного вина, и даже вина из его родных мест, выпить много! . . . Увидеть жизнь опять в розовом свете, хотя бы на один денек! Да, да, ему нужно выпить; он мечтает напиться пьяным.

Он немедленно покидает собеседников и тут же идет к Маньяку.

Но на пороге он натывается на капрала Бруайе, который перебегает от сарая к сараю и выкрикивает у каждой двери:

— Собирайся! Приказ по полку!

Рота строится в каре на глинистом пригорке, где к дождю примешивается копоть походной кухни.

«Пойду выпить после чтения приказа!» — решает Фуйяд.

Он слушает приказ рассеянно, поглощенный своей мыслью, но все же слышит слова начальника: «Строго запрещается выходить до семнадцати часов и после двадцати часов», — и, не обращая внимания на единодушный ропот солдат, капитан поясняет приказ высшего начальства:

— В деревне находится штаб дивизии. Пока вы будете здесь, не показывайтесь! Прячьтесь! Если дивизионный генерал увидит кого-нибудь из вас на улице, он тотчас же пошлет вас в наряд. Чтоб ни один солдат не попадался ему на глаза! Оставайтесь весь день на своих квартирах! Делайте, что хотите, лишь бы вас не было видно.

И наши ребята возвращаются в сарай.

* * *

Два часа. Только через три часа, когда совсем стемнеет, можно будет безнаказанно выйти на улицу.

А пока — спать? Фуйяду спать больше не хочется; его волнует надежда на выпивку. А кроме того, если поспать днем, ночью не уснешь. Ну, нет! Лежать с открытыми глазами всю ночь, да это страшней кошмара!

Погода все ухудшается. Дождь и ветер усиливаются и снаружи и внутри. . .

Как же быть, раз нельзя ни встать, ни сесть, ни лечь, ни гулять, ни работать?

Усталых, продрогших солдат охватывает отчаяние; они томятся, не знают, что с собой делать.

— Черт возьми, до чего же здесь паршиво!

Эти слова всеми покинутых людей раздаются, как жалобный вопль о помощи.

И бессознательно они предаются единственно возможному занятию — топчутся, ходят взад и вперед, чтобы не замерзнуть.

Они шагают быстро-быстро, то вдоль, то поперек узкого помещения, в котором всего-навсего несколько шагов, кружат по нему, сталкиваются, задевают друг друга, ежатся, прячут руки в карманы, притоптывают. Ветер настигает их даже на соломенной подстилке, где они кажутся городскими нищими, ожидающими под нависшим небом, когда откроется дверь какого-нибудь благотворительного заведения. Но дверь для нас не открывается. Разве что через четыре дня, вечером, после ужина, когда нас вновь погонят в окопы.

Кокон одиноко сидит на корточках в темном углу. Его кусают вши, но, ослабев от холода и сырости, он не решается переменить белье и не двигается, отдав себя на съедение паразитам.

Скоро пять часов вечера. Фуйяд снова мечтает о вине и ждет, ждет с этой надеждой в душе.

— Который час? Без четверти пять... Без пяти пять... Айда!

Он выходит в черную ночь. Перепрыгивая через лужи, шлепая по грязи, он направляется к заведению Маньяка, щедрого, словоохотливого южанина. Под дождем, в чернильном мраке, с большим трудом отыскивает дверь. Боже мой, она заперта! Фуйяд зажигает спичку, и, как абажуром, прикрывая огонек большой костлявой рукой, читает зловещую надпись: «Заведение закрыто». Очевидно, за какое-нибудь нарушение правил Маньяк обречен на праздность: ему запрещено торговать. Фуйяд поворачивается, идет прочь от кабачка, который стал для его земляка тюрьмой, но не отказывается от своей мечты... Он пойдет в другой кабачок, выпьет простого вина за деньги, вот и все.

Он сует руку в карман, нащупывает кошелек. Кошелек на месте. Там должно быть тридцать семь су. Конечно, это не золотые россыпи, но все-таки...

Вдруг Фуйяд останавливается и хлопает себя по лбу. Его лицо вытягивается, искажается ужасной, невидимой в темноте гримасой.

У него нет больше тридцати семи су! Эх ты, старый дурак! Забыл, что накануне купил коробку сардин (ведь так надоели казенные серые макароны) и еще угостил вином сапожников, которые починили ему башмаки.

Беда! Осталось, наверное, только тринадцать су!

Чтоб опьянеть как следует и забыть теперешнюю жизнь, ему надо выпить добрых полтора литра, черт подери! А здесь литр красного вина стоит двадцать одно су. Не хватит.

Он озирается в темноте. Ищет. Может быть, найдется товарищ, который даст взаймы денег или угостит вином. Но кто, кто? Во всяком случае, не Бекюв, ведь у него только и есть что «крестная» (она посылает ему каждые две недели табак и почтовой бумаги). Не Барк: он не захочет; не Блер: он скуп и не поймет. Не Бике: он, кажется, сердится на Фуйяда; не Пепен: сам клянчит и не платит, даже когда приглашает выпить. Эх, если бы здесь был Вольпат! Есть еще Мениль Андре, но Фуйяд уже должен ему за несколько угощений. А капрал Бертран? Нет, Фуйяд послал его к черту в ответ на какое-то замечание, и теперь они косо смотрят друг на друга. Фарфаде? Фарфаде никогда с ним не разговаривает. Нет, он чувствует, что нельзя попросить у Фарфаде. Да и зачем — дьявольщина! — искать благодетелей? Где сейчас эти люди?

Он медленно возвращается на стоянку. Потом бессознательно поворачивает обратно и делает несколько нерешительных шагов. Он все же попробует. Может быть, люди, которые сидят за столиками... В час, когда тьма опустила на землю, он подходит к центру деревни.

Освещенные двери и окна кабачка отражаются в лужах на главной улице. Через каждые двадцать шагов — кабачок. Чернеют фигуры сол-

дат; чаще всего они идут гурьбой вниз по улице. Когда проезжает автомобиль, они сторонятся, ослепленные фарами, покрытые грязью, разбрызгиваемой его колесами по всей улице.

Кабачки полны солдат. В запотевшие окна видно, что везде битком набито.

Фуйяд входит наудачу в один из них. Еще на пороге его умиляет теплый воздух, свет, запах и гул голосов. Что ни говори, это островок прошлого в настоящем.

Он протискивается между столиками, задевая их, оглядывает посетителей. Увы! Он здесь никого не знает.

В другом кабачке — то же самое. Не везет Фуйяду! Как он ни вытягивает шею, как ни старается найти знакомого среди всех этих солдат, которые пьют, беседуют или сидят в одиночку и пишут письма, — все напрасно! Он — как нищий. Никто не обращает на него внимания.

Не найдя никого, кто бы пришел ему на помощь, он решается купить вина хотя бы на оставшиеся гроши. Он подходит к стойке. . .

— Полбутылки вина, да хорошего! . .

— Белого?

— Ну да!

— Ты, парень, видно, с юга, — говорит хозяйка, протягивает ему бутылочку и стакан и получает двенадцать су.

Он садится у края стола, уже занятого четырьмя посетителями, играющими в «манилью»; он до краев наполняет стакан, выпивает и опять наполняет его.

— Эй, за твое здоровье! Смотри не разбей стакана! — вдруг орет над самым ухом Фуйяда новый посетитель в грязной синей куртке; у него густые сросшиеся брови, бледное лицо, коническая голова и большие оттопыренные уши. Это оружейник Арленг.

Не очень-то красиво сидеть одному за бутылкой перед товарищем, которому явно хочется выпить. Но Фуйяд делает вид, что не понимает вожделений Арленга, который вертится перед ним с просительной улыбкой. Фуйяд залпом выпивает стакан. Тогда Арленг поворачивается к нему спиной и ворчит: «Эти южане не очень-то любят делиться! Жадюги!»

Фуйяд подпирает подбородок кулаками и смотрит невидящим взглядом в угол кабачка, где солдаты толпятся, теснятся, толкаются, стараясь пройти.

Конечно, выпитое вино недурно, но что эти жалкие капли для жаждущей пустыни? Тоска оставила Фуйяда ненадолго. И вернулась.

Фуйяд встает. Выпить пришлось только два стакана, а в кошельке осталось только одно су. Собрав последние силы, он заходит в другой кабачок, напрасно ищет там знакомых и, уходя, бормочет, чтобы не выдать себя: «Чтоб ему пусто было! Этот скот никогда не приходит вовремя!»

Он возвращается в сарай. Там по-прежнему шумит ветер и льет дождь. Фуйяд зажигает огарок и при свете его огонька, который отчаянно трепещет, словно пытаясь улететь, идет взглянуть на Лабри.

С огарком в руке он садится на корточки перед бедной собакой, которая умрет, может быть, раньше него. Лабри спит чутко, он приоткрывает один глаз и виляет хвостом.

Фуйяд гладит собаку и тихо говорит:

— Ничего не поделаешь! Ничегошеньки. . .

И умолкает, чтобы еще больше не огорчать Лабри; собака соглашается с ним, опускает голову и опять закрывает глаза.

Фуйяд встает с трудом (спину у него ломит) и идет спать. Теперь у него только одна надежда — заснуть, чтобы поскорее кончился этот мрачный день, этот день небытия, один из многих дней, которые еще придется героически преодолеть, пережить, пока не наступит последний день войны или последний день жизни.

XII ПОРТИК

— Туман сегодня. Хочешь, сходим туда?

Это спрашивает меня Потерло. Он смотрит на меня, его славное лицо кажется прозрачным от света голубых глаз.

Потерло — родом из Суше³⁰; с тех пор как наши выбили немцев из этой деревни, ему хочется увидеть места, где он жил счастливо в те времена, когда еще был свободным человеком.

Это опасное паломничество. Не потому, что мы далеко: до Суше рукой подать. Мы уже полгода живем и работаем в окопах и ходах сообщения так близко, что, кажется, можно услышать голоса из этой деревни. Надо только вылезти прямо отсюда на Бетюнскую дорогу³¹; вдоль нее тянутся окопы; под ней вырыты ячейки наших укрытий; надо пройти четыреста или пятьсот метров вниз по этой дороге, и попадешь в Суше. Но эти места постоянно обстреливаются неприятелем. После своего отступления он осыпает их снарядами, которые время от времени сотрясают нас под землей и взмечают над насыпью огромные черные гейзеры земли и каких-то обломков или столбы дыма высотой с церковь. Зачем немцы бомбардируют Суше? Неизвестно. В этой деревне, не раз переходившей из рук в руки, не осталось никого и ничего.

Но в это утро нас обволакивает густой туман, и под этим покровом, который небо накинуло на землю, можно рискнуть. . . По крайней мере, можно быть уверенным, что нас не заметят. Туманом герметически закрыт усовершенствованный глаз — немецкая «колбаса»³², она, наверно, где-то там, в небе, тоже окутана ватой тумана, который стоит легкой, но непроницаемой стеной между нашими линиями и немецкими наблюдательными пунктами в Ланче и Ангре.

— Ладно, пойдем! — отвечаю я на вопрос Потерло.

Мы посвятили в наш план унтера Барта; он кивает головой и опускает веки, давая нам понять, что закрывает на это глаза.

Мы вылезаем из траншеи и выходим на Бетюнскую дорогу.

Днем я здесь в первый раз. Раньше мы видели эту страшную дорогу только издали; в темноте, согнувшись под пулями, мы не раз перебегали ее вприпрыжку.

— Так пойдем, брат?

Через несколько шагов Потерло останавливается посреди дороги, над которой нависли облака тумана; он таращит голубые глаза, приоткрывает красные губы.

— Ну и ну! .. — бормочет он.

Я оборачиваюсь к нему; он указывает мне на дорогу, качает головой и говорит:

— Вот она, господи! Подумать только, ведь это она! .. Да я знаю ее так, что с закрытыми глазами могу увидеть такой, какой она была; она даже мерещится мне. А теперь и смотреть на нее тяжело! Какая это была прекрасная дорога, обсаженная с обеих сторон высокими деревьями. .. А теперь? .. Погляди, до чего ее искорежили! .. Погляди: окопы по обеим сторонам, вдоль всей дороги! Сама она разбита, усеяна воронками, деревья вырваны с корнем, раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями, а вот здесь, погляди, — прямо шумовка! Эх, брат, ты и представить себе не можешь, какая это была прекрасная дорога!

Он идет дальше и на каждом шагу ужасается.

В самом деле, дорога вселяет ужас: по обе стороны ее окопались две армии, уцепились за нее и полтора года ее истязают; над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов; они ее избородили, взвздошили, засыпали землей, снесенной с полей, разрыли и вывернули до самых недр. Она кажется проклятым путем, бесцветным, исковерканным, зловещим и величественным.

— Если бы ты видел дорогу раньше! Она была чистая и прямая, — говорит Потерло. — Все деревья стояли на месте, везде были цветы, похожие на бабочек; здесь всегда кто-нибудь приветливо здоровался с тобой; иной раз проходила женщина с двумя корзинами или проезжали на двуколке громкоголосые крестьяне, и блузы их раздувались на ветру. Эх, хорошо здесь жилось прежде!

Он идет дальше к брустверам, к берегам реки туманов, протекающей по руслу дороги. Останавливаясь, он наклоняется над еле заметными бугорками, где чернеют могильные кресты; вбитые там и сям в пелену тумана, они напоминают вехи крестного пути, изображаемые в церквах.

Я зову Потерло. Если идти таким похоронным шагом, мы никогда не доберемся до деревни. Пошли!

Мы спускаемся в ложбину; я шагаю впереди; Потерло тащится сзади, опустив голову, поглощенный своими мыслями, тщетно стараясь разглядеть родные места. Здесь, где дорога идет по низине, защищенной с севера небольшим возвышением, наблюдается все же какое-то движение.

На грязном пустыре, покрытом сожженной травой, рядами лежат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы и долину. Они ждут — многие уже давно, — когда их перенесут в тыл на кладбище.

Мы тихо подходим к ним. Они тесно прижались друг к другу: каждый окаменел в той позе, в какой его застигла смерть. У некоторых лицо

заплесневело, кожа словно заржавела, пожелтела, покрылась черными точками. У многих лицо черное, смоляное, губы распухли; голова раздута, как пузырь, прямо-таки голова негра. А ведь здесь лежат не негры. Между двумя мертвецами торчит чья-то отрубленная кисть руки с клубком оборванных жил.

Другие представляют собой гниющие бесформенные останки, среди которых валяются предметы снаряжения и торчат сломанные кости. Дальше мы видим труп в таком состоянии, что его пришлось втиснуть в проволочную сетку, которую прикрепили к концам толстой палки. Его принесли, словно куль в этом металлическом гамаке, и положили сюда. Где верхняя, где нижняя часть тела — не понять; в этой каше виден только зияющий карман штанов. Из него выползает и затем вползает обратно какое-то насекомое.

Над трупами летают письма; они выпали из карманов или подсумков, когда мертвецов клали на землю. Я нагибаюсь и на запачканном клочке бумаги, бьющемся на ветру, разбираю следующую фразу: «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин!» Мертвец лежит на животе; поясница его рассечена от бедра до бедра; голова вывернута; вместо одного глаза — пустая впадина; висок, щека и шея поросли чем-то вроде мха.

Омерзительная вонь стоит над покойниками и над тряпьем, валяющимся рядом. Палатки и форменная одежда превратились в клочья ткани, затвердевшей от крови, обугленной снарядами, землистой и уже полуистлевшей, где кишмя кишат черви. Тяжко, противно! Мы переглядываемся, качая головой, не решаясь сказать вслух, что дурно пахнет. И все-таки торопимся уйти.

В тумане появляются согбенные люди; они что-то несут. Это санитары-носильщики, нагруженные еще одним трупом. Старые, худые, они идут медленно, кряхтят, потеют, кривят рот от непосильной тяжести. Нести вдвоем мертвеца через ходы сообщения, по слякоти — почти сверхчеловеческий труд.

Они кладут мертвеца, одетого во все новое.

— Ведь он еще совсем недавно был на ногах, — говорит санитар, — и вот два часа назад ему прострелили голову: он вздумал пойти поискать в поле немецкую винтовку, в среду он должен был уехать в отпуск и хотел привезти винтовку домой. Он сержант четыреста пятого полка, призыва четырнадцатого года. Славный был паренек!

Санитар приподнимает платок с лица убитого; сержант молод; он как будто спит; только глаза закатились, щеки — восковые, а в ноздрях и на губе застыла розовая пена.

Его труп кажется чем-то чистым в этой свалке; он еще откидывает голову набок, когда его трогают, как будто хочет улечься поудобней; можно подумать, что он не так мертв, как все остальные. Он изуродован меньше других, он кажется торжественней, ближе к тому, кто на него смотрит. И перед всей этой грудой обезображенных мертвецов мы скажем только о нем: «Бедный парень!»

Мы идем дальше по той же дороге; она ведет вниз, к Суше. В белесо-

ватом тумане она предстает перед нами страшной юдолью скорби. Кучи обломков, обрывков, отбросов высятся на ее перебитом хребте и по ее краям; порой она становится непроходимой. Покрывающие ее деревья вырваны с корнем, расщеплены, раздроблены. Насыпи снесены или разворочены снарядами. Вдоль всей дороги уцелели только могильные кресты; виднеются окопы, по двадцать раз засыпанные и опять вырытые, мостики над ямами, настилы из прутьев над рывтинами.

Все перевернуто, полно гнили, от всего веет гибелью. Мы ступаем не по мостовой, а по осколкам снарядов. Мы натываемся на них, попадаем в их кучи, как в ловушку, спотыкаемся о груды разбитого оружия, обломков кухонной утвари, бидонов, плит, швейных машин, мотков электрических проводов, предметов немецкого и французского снаряжения, покрытых корой сухой грязи, подозрительных лохмотьев, склеенных красной бурой замазкой. И надо остерегаться невзорвавшихся снарядов; отовсюду торчат их заостренные головки, днища или бока, выкрашенные в красный, синий, темно-бурый цвет.

— Это бывшая траншея бошей, им пришлось ее оставить.

Кое-где она засыпана, кое-где продырявлена снарядами. Мешки с землей разбросаны, прорваны и треплются на ветру; деревянные подпорки разбиты и торчат во все стороны. Укрытия до краев засыпаны землей и всякой дрянью. Можно подумать, что это разбитое, расширенное, загрязненное, иссохшее русло реки, покинутое водами и людьми. В одном месте траншея стерта с лица земли; вместо широкого рва — свежевспаханное поле с симметричными ямами.

Я показываю своему спутнику на это необычное поле, по которому, казалось, прошел гигантский плуг. Но Потерло поглощен своими мыслями.

* * *

Он тычет куда-то пальцем; он не в себе, как будто только что пробудился.

— Красный кабачок!

Теперь это пустырь, засыпанный битым кирпичом.

— А это что такое?

Камень? Нет, это голова, черная, дубленая, начищенная ваксой голова. Рот перекошен, усы торчат. Большая обугленная голова кота. Это немец; он погребен стоймя.

— А это?

Какое мрачное зрелище! Белый-белый череп, в двух шагах от него — пара башмаков, и между ними куча изодранных ремней и тряпья, слепленного бурой грязью.

— Пойдем! Туман уже редет. Скорей!

В ста метрах от нас, в редющей пелене тумана, которая перемещается вместе с нами, свистит и разрывается снаряд... Он упал туда, где мы должны были пройти.

Мы спускаемся. Откос становится более отлогим. Мы с Потерло идем рядом. Он молчит, поглядывает то направо, то налево.

Вдруг он опять останавливается и вполголоса бормочет:

— Что такое? Это здесь... Да, здесь...

Действительно, мы не выходили за пределы долины, широкой, бесплодной, опаленной долины, а между тем мы в Суше.

* * *

Деревня исчезла. Никогда я не видел подобного исчезновения деревни. Аблен-Сен-Назер и Каранси еще сохранили подобие селений, хотя дома там были разбиты, многие крыши снесены, а дворы засыпаны известкой и черепицей. А здесь, среди изуродованных деревьев, окружающих нас, как призраки, все потеряло первоначальный облик; нет даже обломка стены, решетки, двери, и под грудой балок, камней и искореженного железа поражают остатки мостовой: здесь была улица.

Она похожа теперь на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь; среди этих куч мусора пробираешься медленно, с большим трудом. После бомбардировок изменился весь облик местности, а речонка повернула в сторону от мельницы и образовала пруд на маленькой разрушенной площади, где стоял большой крест.

В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные, раздувшиеся трупы лошадей; кое-где валяются изуродованные чудовищными ранами останки того, что когда-то было человеческим существом.

Поперек тропинки, по которой мы пробираемся с трудом среди нагромождения обломков, лежит под скорбным небом солдат; можно подумать, что он спит, но его поза — он как бы врос в землю — говорит не о сне, а о смерти. Солдат, видно, шел с обедом на передовую. Тут же валяются нанизанные на лямку хлеба и целая гроздь связанных ремнем кружков. Вероятно, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Мы первые обнаружили этого незаметного солдата, принявшего незаметную смерть. Может быть, он истлеет, прежде чем его найдут. Мы ищем его номерок; номерок увяз в застывшей луже крови, в которой холодеет его правая рука. Я записываю имя и фамилию, начертанные кровавыми буквами. Потерло предоставляет мне делать все, что угодно. Он движется, как лунатик. Он смотрит, растерянно смотрит по сторонам: он что-то ищет среди этого разгрома, ищет даже в туманной дали.

Он садится верхом на балку, отшвырнув ногой стоявшую на ней сплюснутую кастрюлю. Я сажусь рядом с ним. Накрапывает дождь. Сырой туман оседает каплями и все покрывает глянцем.

Потерло бормочет:

— Ах, черт!.. Черт!..

Он вытирает потный лоб, смотрит на меня умоляюще. Он силится понять, объять взглядом этот разрушенный уголок мира, привыкнуть к понесенной утрате. Он что-то бессвязно бормочет. Снимает каску и видно, что над его головой поднимается пар. Он с трудом говорит:

— Эх, брат, ты и представить себе не можешь, не можешь, не можешь...

Он шепчет:

— Красный кабачок, где мы видели голову того боша и кругом кучи обросов... эта помойка... там... стояли рядом кирпичный дом и два низких флигеля... Сколько раз, брат, на том самом месте, где мы остановились, сколько раз я говорил «до свиданья!» славной бабенке, которая стояла на пороге и смеялась! Я вытирал губы и шел домой в Суше; пройдешь, бывало, несколько шагов, обернешься и крикнешь ей что-нибудь смеху ради! Эх, ты и представить себе не можешь! А это, это!..

Он указывает мне на страшное опустошение... .

— Не надо здесь задерживаться, друг. Гляди, туман вот-вот рассеется.

Он с усилием встает.

— Пойдем!..

Самое трудное еще впереди. Его дом... .

Он топчется, озирается, ищет... .

— Это здесь... Нет, я прошел. Не здесь. Не знаю, не знаю, где он был. Эх, горе горькое!

Он в отчаянии ломает руки, еле стоит на ногах среди щебня и досок. Он ищет то, что было в его доме: уют затененных занавесками комнат. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой заваленной обломками долине, которая лишена всяких примет, он смотрит в небо, как будто там можно что-то найти.

Он ходит туда — сюда. Вдруг он останавливается и отступает на несколько шагов.

— Дом был здесь! Как пить дать! Узнаю по этому камню. Здесь была одушина. Вот след исчезнувшей задвижки!

Он шмыгает носом, о чем-то думает, медленно, безостановочно качает головой.

— Вот, когда больше ничего не осталось, тогда-то и начинаешь понимать, что был счастлив. Эх, как счастливо мы жили!

Он подходит ко мне и нервно смеется.

— Это редкий случай, а? Я уверен, что ты еще никогда не видел ничего подобного; чтоб невозможно было найти собственный дом, где жил всегда!

Он поворачивает обратно и уводит меня.

— Ну, пошли, раз ничего больше не осталось! Как поглядишь на места, где все это было!.. Пора, брат!

Мы уходим. В этих призрачных местах, в этой деревне, погребенной под обломками, мы — единственные живые существа.

Мы поднимаемся по тому же склону. Мой товарищ, который шагает, понурившись, указывает мне на поле и говорит:

— Здесь кладбище! Оно было здесь, а теперь оно везде.

На полдороге мы замедляем шаг. Потерло подходит ко мне.

— Видишь ли, это уж слишком. Вся моя прежняя жизнь пошла на смарку, вся жизнь... .

— Ну, что ты! Ведь твоя жена здорова, ты же знаешь, твоя дочка тоже.

Его лицо принимает странное выражение.

— Моя жена... Я тебе кое-что расскажу... Моя жена... .

— Ну?

— Ну, брат, я ее видел.

— Ты ее видел? А я думал, что она осталась в области, занятой немцами!

— Да, она в Лансе, у моих родных. И все-таки я ее видел. . . Ну ладно, черт подери! . . Я расскажу тебе все. Так вот, я был в Лансе три недели назад. . . одиннадцатого числа. Три недели тому назад.

Я смотрю на него; я ошеломлен. . . Но по его лицу видно, что он говорит правду. Он шагает рядом со мной в редееющем тумане и бормочет:

— Как-то раз нам сказали. . . Ты, может быть, помнишь. . . Нет, ты, кажется, там не был. Нам сказали: «Надо укрепить сеть проволочных заграждений перед окопом Бийяра». Понимаешь, что это значит? До сих пор такое дело никогда не удавалось: как только выходишь из траншеи, немцы видят тебя на спуске — у него еще такое чудное название. . .

— Тобогган.

— Да, да. . . В этом месте так же опасно ночью, в тумане, как и среди бела дня: на него заранее направлены винтовки и пулеметы. Немцы все засыпают там снарядами, даже когда ничего не видно.

Послали туда солдат из рабочей нестроевой роты, но некоторые увильнули; их заменили рядовыми из строевых рот. Я был в том числе. Ладно. Выходим. Ни одного выстрела! «Что это значит?» — спрашивают солдаты. Но вот из-под земли вылезает один бош, два боша, десять бошей — серые черти! — машут нам руками и кричат: «Камрад! Мы эльзасцы!» — и выходят из Международного хода³³. «Мы не будем стрелять, — говорят, — не бойтесь, друзья! Дайте нам только похоронить наших убитых товарищей!» И вот все мы начали работать, каждый на своей стороне, и даже разговорились с ними: ведь это эльзасцы. Они бранили войну и своих офицеров. Наш сержант знал, что с неприятелем нельзя вступать в беседу, и нам даже читали приказ, что с бошами можно говорить только языком винтовок. Но сержант сказал, что подвернулся единственный случай укрепить проволочные заграждения, и раз боши дают нам работать во вред себе, надо этим воспользоваться. . . Вдруг какой-то бош говорит: «Нет ли среди вас кого-нибудь из занятых областей, кто бы хотел узнать о своей семье?»

Ну, брат, тут я не выдержал. Я не раздумывал, хорошо это или плохо, вышел вперед и сказал: «Я!» Бош стал меня расспрашивать. Я сказал, что моя жена — в Лансе, у родных, вместе с дочкой. Он спросил, где она живет. Я объяснил. Он сказал, что хорошо знает, где это. «Вот что, — говорит, — я отнесу ей от тебя письмо и даже ответ тебе принесу». Вдруг он как хлопнет себя по лбу: «А вот, брат, что еще лучше: если сделаешь, как я скажу, то увидишь жену, ребенка, и всех, всех, вот так, как я сейчас вижу тебя!» Для этого надо было только пойти с ним в такой-то час, надеть немецкую шинель и бескозырку (он мне их достанет). Он примет меня в рабочую команду, которую посылают за углем в Ланс; мы дойдем до дома, где живет моя жена. Я смогу ее увидеть при условии, что сам не покажусь ей; за своих людей он ручается, но в доме, где жи-

вет моя жена, стоят немецкие унтеры; за них он не отвечает... Что же, я согласился.

— Опасная штука!

— Конечно, опасная. А я решил сразу, не подумав, не желая обдумывать. Как? Повидать своих? Если даже меня потом расстреляют, что ж, пусть, даром ничего не дается. Даешь—берешь. Это «закон спроса и предложения» — так, что ли, говорят?

Ну, брат, все шло как по маслу. Комар носу не подточит. Только им пришлось повозиться, чтобы найти для меня бескозырку: знаешь, у меня большая голова. Но в конце концов откопали бескозырку по моей башке. А башмаки у меня немецкие, — знаешь, те, что Карон снял с убитого боша и оставил мне. Так вот, я пошел в немецкие окопы (они здорово похожи на наши) вместе с этими, так сказать, бошами; они говорили на чистейшем французском языке, как мы с тобой, и советовали мне не волноваться.

Не было даже тревоги, ничего. Все сошло хорошо; я даже забыл, что я липовый немец. Мы пришли в Ланс к вечеру. Помню, мы прошли мимо ратуши и двинулись по улице Четырнадцатого июля. Я видел, как жители ходили по улицам, совсем как у нас на стоянках. В темноте я их не узнавал, а они — меня. Да им и в голову не могло прийти, чтобы я выкинул такой фортель... Было темно, хоть глаз выколи. Наконец я пришел в сад моих родных.

Сердце у меня билось; я дрожал с головы до ног, словно весь превратился в сердце. Я еле удержался, чтобы громко не расхохотаться и не заговорить по-французски, так я был счастлив и взволнован. Камрад бош сказал мне: «Пройдись разок-другой и загляни в окно. Но как будто случайно... Осторожней!..» Тогда я сразу спохватился, взял себя в руки. Этот бош был славный парень, молодчина: ведь если б я попался, знаешь что бы с ним сделали, а?

У нас, да и везде в Па-де-Кале, входные двери разделены надвое: внизу что-то вроде загородки по пояс человеку; наверху — что-то вроде ставня. Верхнюю половину двери можно открыть, и получится окошко.

Ставень был открыт; кухня (она, конечно, служит и столовой) освещена, слышались голоса.

Я прошел, вытянув шею. За круглым столом сидели мужчины и женщины; их лица розовели при свете лампы. Я впился глазами в Клотильду. Я видел ее хорошо. Она сидела между двумя бошами, кажется, унтерами; они с ней разговаривали. А она что делала? Ничего. Опустила голову, приветливо улыбалась; ее белокурые волосы золотила лампа.

Она улыбалась. Она была довольна. Она как будто чувствовала себя хорошо среди этих сволочей бошей, у лампы, у огня, в хорошо знакомом мне родном тепле. Я прошел мимо, потом вернулся и опять прошел. Я опять увидел ее, она все улыбалась. И не через силу, не лживой улыбкой, нет, настоящей улыбкой, от души улыбалась. И пока я ходил взад и вперед, я успел увидеть и мою дочку; она протягивала ручонки толстяку бошу с галунами и пробовала взобраться к нему на колени. А кто сидел

рядом с ним? Мадлен Вандаэр, вдова Вандаэра, моего товарища по девятнадцатому полку, убитого на Марне, под Монтионом.

Она знала, что он убит: она была в трауре! И что же? Она смеялась, она смеялась от всей души, ей-богу. . . и смотрела то на одного, то на другого боша, словно говорила: «Как мне здесь хорошо!»

Тут, брат, я вышел из сада и наткнулся на «камрадов». Они ждали, чтобы проводить меня. Как я вернулся обратно, сам не знаю. Меня совсем пришибло. Я шел, покачиваясь, как очумелый. Попробовал бы кто-нибудь прицепиться ко мне в эту минуту! Я заорал бы во всю глотку, устроил бы скандал; пусть бы меня убили, лишь бы покончить с этой паскудной жизнью!

Понимаешь? Моя жена, моя Клотильда, в этот день, во время войны, улыбалась! Как? Значит, стоит на некоторое время уехать, и ты больше не в счет! Уходишь из дому, идешь на войну, все режут, можно подумать, все для них погибло; а потом мало-помалу привыкают жить без тебя, и ты как будто и не жил на свете, без тебя обходятся, по-прежнему чувствуют себя счастливыми, улыбаются. Эх, жизнь распроклятая! Я не говорю о той стерве, что смеялась; но моя, моя Клотильда в ту минуту, когда я ее случайно увидел, в ту минуту — что там ни говори! — плевала на меня!

И добро бы она сидела с друзьями, родными; так нет же, с немецкими унтерами! Ну, скажи, разве не стоило вбежать в комнату, вцепить ей две оплеухи и свернуть шею той курве в трауре?

Да, да, я хотел это сделать. Знаю, я перегнул бы палку. . . Но я был вне себя, понимаешь. . .

Заметь, я не хочу сказать больше того, что говорю. Клотильда — славная баба. Я ее знаю и доверяю ей. Можно не сомневаться: если бы меня ухлопали, она бы для начала выплакала все слезы. Она считала меня живым — согласен. Но дело не в этом. Раз у нее в доме тепло, светит лампа, сидят люди, даже без меня она чувствует себя хорошо, довольна и не может удержаться — улыбается.

Я повел Потерло дальше.

— Ты, брат, загнул. Ну что за нелепые мысли! . .

Разговаривая, мы шли медленно. Мы были еще у подножия холма. Туман серебрился и редел. Скоро должно было показаться солнце. Солнце показалось.

* * *

Потерло взглянул на меня и сказал:

— Давай сделаем крюк, пройдем дорогой на Каранси и вернемся с другого конца.

Мы свернули в поля. Через несколько минут он сказал:

— Так ты считаешь, что я загнул? Ты говоришь — я загнул?

Он подумал.

— Эх!

Он опять покачал головой и прибавил:

— Что ни говори, а так оно и было. . .

Тропинка пошла вверх. Потеплело. Когда мы добрались до ровного места, Потерло предложил:

— Посидим немного до возвращения.

Он сел. В его голове роились мысли. Он морщил лоб. Затем он смущенно посмотрел на меня, словно собираясь попросить об услуге.

— Скажи-ка, брат, разве я не прав?

И, взглянув на меня, он обвел взглядом все вокруг, словно ожидая ответа от самой природы.

В небе и на земле происходили перемены. Туман почти совсем исчез. Дали понемногу открывались. Тесная, серая, мрачная долина ширилась, гнала прочь ночные тени и окрашивалась в разные цвета. Мало-помалу с востока на запад свет простирал над ней свои крылья.

И вот далеко внизу, между деревьями, показался Суше. Благодаря расстоянию и игре света поселок предстал перед нами восстановленный, обновленный солнцем.

— Как, по-твоему, я не прав? — переспросил Потерло еще нерешительней.

Прежде чем я успел ответить, он сам ответил себе, сначала вполголоса:

— Знаешь, она ведь совсем молодая: ей всего двадцать шесть лет. Она не может сладить со своей молодостью, молодость так и прет из нее; когда Клотильда отдыхает при свете лампы, в тепле, она поневоле улыбается; и даже если она захохочет во все горло, значит, это молодость смеется и поет в груди ее. По правде сказать, Клотильда улыбалась совсем не другим, а самой себе. Это жизнь. Она живет. Да, да, она живет, вот и все. Ведь не ее вина, если она живет. А что ж ей — умирать что ли? Так что ж ей делать? По целым дням оплакивать меня, проклинать бошей? Ворчать? Нельзя же плакать и жаловаться целых полтора года! Так не бывает. Это тянется слишком долго, говорят тебе. Все дело в этом.

Тут он замолкает и смотрит на панораму Нотр-Дам-де-Лорет, озаренную солнцем.

— Вот и моя дочка: когда чужой дяденька не посылает ее к черту, она старается влезть к нему на колени. Ей бы, пожалуй, приятней было, чтоб на его месте был ее родной дядя или друг отца, но все-таки она ластится к тому, кто часто сидит рядом с ней, даже если это толстый боров в очках.

— Эх! — восклицает он, вставая, подходя ко мне и размахивая руками. — Мне скажут: «А если ты не вернешься с войны?» Я отвечу: «Ну, брат, тогда крышка: ни тебе Клотильды, ни любви! Когда-нибудь тебя заменит в ее сердце другой. Ничего не поделаешь: она тебя забудет, на твоём месте появится другой, она начнет новую жизнь. Да, если я не вернусь...».

Он добродушно смеется.

— Но я твердо решил вернуться! Да, надо выжить. А не то!.. Надо выжить, — повторяет он серьезно. — А не то все равно проиграешь, даже если будешь иметь дело со святыми или ангелами. Такова жизнь. Но я еще жив!

Он опять смеется.

— Меня не запугаешь.

Я тоже встаю и хлопаю его по плечу.

— Да, правильно! Все это кончится!

Он потирает руки. Он все говорит, говорит:

— Да, черт подери! Все это кончится! Будь спокоен! Знаю, немало придется поработать, чтоб это кончилось, и еще больше потом, после. Надо будет здорово потрудиться: Да и не только руками.

Придется все построить заново. Что ж, построим. Дом? Погиб. Сад? От него ничего не осталось. Ну что ж, построим новый дом, разобьем новый сад. Чем меньше осталось, тем больше сделаем. Ведь это и есть жизнь, и мы живем, чтоб строить заново, правда? Мы восстановим и нашу семейную жизнь, восстановим дни, восстановим ночи.

И другие тоже. Каждый из нас восстановит свою семью, снова вернет свое счастье. Знаешь, что я тебе скажу? Это, может быть, придет скорей, чем кажется. . .

Да, я отлично представляю себе, как Мадлен Вандаэр выйдет замуж за другого парня. Она вдова, но ведь она вдовеет уже полтора года. Ты думаешь, это пустяки, полтора года? Так долго, кажется, даже не носят траура! Но об этом забывают и говорят о вдове: «Вот стерва!» И, в общем, требуют, чтобы она покончила с собой. Да все люди забывают умерших, поневоле забывают. И ни мы, ни другие в этом не виноваты. Забывают. И все тут.

Когда я вдруг увидел Мадлен, когда я увидел, что она смеется, у меня глаза на лоб полезли, будто ее муж был убит накануне. А ведь его, беднягу, уколошили давно. Слишком давно. Мы уже не те. Но, послушай, надо вернуться домой, надо выжить. Мы выживем и вновь встанем на ноги.

По дороге он посматривает на меня, подмигивает и, радуясь, что нашел новый довод, говорит:

— Я уверен, после войны все жители Суше опять примутся за работу и заживут по-прежнему. Вот будут дела! Да вот, например, дядя Понс. Ну и чудак! Он был таким аккуратным, что чистил траву в своем саду щеткой из конского волоса или, стоя на коленях, подстригал газон ножницами. Ну что ж, он еще доставит себе это удовольствие! А тетка Имажинер! Она жила в домишке на краю деревни, близ замка Карлер, толстая эдакая бабища; так и казалось, что она катится по земле, словно у нее под юбками колесики. Каждый год она рожала по ребенку. Исправно! Настоящий пулемет! Что ж, она опять займется этим делом. Да еще как!

Он останавливается, размышляет, едва заметно улыбается на свои мысли и говорит:

— . . . Знаешь, что я тебе скажу, я заметил. . . Это неважно, конечно, но я заметил (это сразу бросается в глаза, хотя об этом не думаешь): у нас дома стало чище, чем в мое время. . .

На земле поблескивают рельсы, затерянные в некошенной высохшей траве. Потерло показывает носком башмака на это заброшенное железно-дорожное полотно и, улыбаясь, говорит:

— Это наша железная дорога. Узкоколейка. Наш поезд не торопился! Он полз медленно! За ним бы поспела улитка. Что ж, мы дорогу восстановим. Но поезд, наверно, не пойдет быстрее. Это ему воспрещается!

Мы поднимаемся на вершину холма; Потерло оборачивается и в последний раз глядит на опустошенную местность, где мы только что побывали. Еще яснее, чем раньше, расстояние воссоздает очертания деревни за сломанными деревьями, кажущимися молодой порослью. Еще отчетливее, чем раньше, солнце придает этим бело-розовым развалинам видимость жизни и даже подобие души. Камни и те преобразуются и оживают. Красота его лучей возвещает и предсказывает будущее. На лице солдата появляется отсвет этого возрождения. Весна и надежда вызывают на нем улыбку; его розовые щеки, ясные голубые глаза и золотистые ресницы как будто свежеевыкрашены.

* * *

Мы спускаемся в ход сообщения. Туда проникает солнечный свет. Траншея светлая, сухая, гулкая. Я люблю ее прекрасной геометрической формой и глубиной, гладкими стенами, отполированными лопатой, и мне радостно слышать отчетливый звук наших шагов по твердому грунту или дощатому настилу.

Я смотрю на часы. Девять часов. В их стекле отражается розово-голубое небо и изящные очертания кустиков, растущих по краям траншеи.

Мы с Потерло переглядываемся с какой-то смутной радостью, нам приятно смотреть друг на друга, как будто мы давно не виделись! Он говорит, и, хотя я давно привык к его певучему северному произношению, я как будто впервые замечаю, что он прямо-таки поет.

Мы пережили тяжелые дни, трагические ночи — в холоде, в воде, в грязи. Теперь, хотя еще зима, первое хорошее утро возвещает нам, убеждает нас, что скоро еще раз наступит весна. Верхнюю часть траншеи уже украсила нежно-зеленая трава, и среди трепетаний ее новорожденных побегов пробуждаются цветы. Конец коротким, тесным дням! Весна идет и сверху и снизу. Мы дышим полной грудью, мы пьянеем.

Да, черные дни пройдут. Война тоже кончится, чего там! Война, наверно, кончится в то прекрасное время года, которое уже озаряет нас и ласкает своим дуновением.

... Свист. А-а, шальная пуля!

Пуля? Не может быть! Это дрозд!

Забавно, как все было схоже между собой... Дрозды, щебетание птиц, поля, смена времени года, уют комнат, залитых светом... Да, война кончится, мы навсегда вернемся к родным: к жене, к детям или к той, которая для нас одновременно и жена, и ребенок; мы улыбаемся им в этом юном сиянии, которое уже объединяет нас.

... У развилки траншеи, на краю поля, стоит нечто вроде портика: два столба прислонены друг к дружке, а между ними переплелись и висят, как лианы, электрические провода. Хорошо! Будто нарочно придумано, будто театральные декорации. Тонкое ползучее растение обвивает

один столб, и, следя за ним глазами, видишь, что оно вот-вот перекинется на другой.

Скоро, пройдя по этому ходу, стенки которого поросли травой и вздрагивают, как бока прекрасного живого коня, мы выйдем к нашим окопам на Бетюнской дороге.

Вот и наше расположение. Наши товарищи здесь. Они едят и наслаждаются теплом.

Поев, они вытирают миски и алюминиевые тарелки кусочком хлеба. . .

— Гляди-ка, солнца больше нет!

Правда. Оно скрылось за тучу.

— Скоро польет дождь, ребятки, — говорит Ламюз.

— Везет же нам! Как раз когда надо уходить!

— Проклятый край! — восклицает Фуйяд.

Действительно, этот северный климат никуда не годится. Вечно моросит, вечно туман, дождь, только покажется солнце и тут же гаснет в сыром небе.

Наш четырехдневный срок в окопах скоро кончится. К вечеру нас смеют. Мы медленно собираемся. Укладываем ранцы и сумки. Чистим винтовки и затыкаем их дула.

Четыре часа. Быстро густеет туман. Мы уже не различаем друг друга.

— Тьфу ты пропасть! Опять дождь!

Упало несколько капель. И вдруг ливень. Ну и ну! Мы натягиваем капюшоны, накидываем на плечи брезент. Возвращаемся в укрытие, шлепая по грязи, пачкая колени, руки, локти: дно траншеи становится вязким. В землянке мы едва успеваем зажечь свечу, поставленную на камень, сбиваемся в кучу вокруг нее и дрожим от холода.

— Ну, в дорогу!

Мы вылезаем. Сырой ледяной мрак. Ветер. Я смутно различаю мощную фигуру Потерло. Мы по-прежнему стоим рядом в строю. Когда мы трогаемся в путь, я кричу ему:

— Ты здесь?

— Да, перед тобой! — кричит он в ответ, оборачиваясь ко мне.

Ветер и дождь хлещут его по лицу. Но Потерло смеется. У него такое же счастливое лицо, как утром. Ливню не лишить его радости, которую он носит в своем крепком, мужественном сердце; мрачному вечеру не погасить солнца, озарившего несколько часов назад его мысли.

Мы идем. Толкаемся. Спотыкаемся. . . Дождь не перестает, по дну траншеи бегут ручьи. Настилы качаются на размякшей земле; одни сдвинулись вправо, другие — влево, мы скользим. В темноте их не видно, и на поворотах попадаешь ногой в ямы, полные воды.

В сумерках я слежу за каской Потерло; вода течет с нее, как с крыши; я смотрю на его широкую спину, покрытую куском поблескивающей клеенки. Я не отстаю от Потерло и время от времени окликаю его; он мне отвечает всегда благодушно, всегда спокойно.

Когда мостки кончаются, мы увязаем в грязи. Уже совсем темно. Внезапно мы останавливаемся, и я натываюсь на Потерло. Кто-то сердито кричит:

— В чем дело? Двигайся! Ведь мы отстаем!

— Да я ноги вытащить не могу! — жалобно отвечает другой.

Увязшему наконец удастся выбраться; нам приходится бежать, чтобы дognать роту. Мы ставим ноги куда попало, спотыкаемся, хватаемся за стенки и пачкаем руки в грязи. Мы уже не идем, а бежим; раздается лязг железа и ругань.

Дождь усиливается. Вторая внезапная остановка. Гул голосов. Кто-то упал!

Он встает. Мы идем дальше. Я стараюсь идти по пятам за Потерло, следя за его каской; она слабо поблескивает в темноте, время от времени я кричу:

— Ну, как?

— Хорошо, хорошо, — отвечает он, сопя и отдуваясь, но все еще звучным, певучим голосом.

Ранец больно оттягивает мне плечи, подпрыгивает при ходьбе среди разбушевавшейся стихии. Траншея засыпана недавним обвалом, мы увязаем. . . Приходится вытаскивать ноги из рыхлой земли и высоко поднимать их. С трудом выбравшись оттуда, мы сразу попадаем в какую-то скользкую канаву. Вереницы людей протоптали там две узкие колена. Иной раз нога застревает в них, словно зацепившись за рельс, или же с громким хлопаньем погружается в лужи. В одном месте мы проходим под тяжелым мостом, нависшим над ходом сообщения. Это не так-то легко: приходится стать на колени в грязь, припасть к земле и ползти на четвереньках. Немного дальше мы вынуждены передвигаться, ухватившись за кол, который покосился в раскисшей земле и загородил проход.

Мы приближаемся к перекрестку.

— Ну, вперед! Живей, ребята! — кричит унтер, который вжался в углубление, чтобы дать нам пройти. — Это место опасное.

— Сил больше нету, — мычит кто-то таким хриплым, прерывающимся голосом, что говорящего невозможно узнать.

— Тьфу ты пропасть, дальше не пойду! — говорит другой, задыхаясь.

— А я что могу поделаться? — вопрошает унтер. — Разве это моя вина? Ну, поживей, скверное это место. Последнюю смену здесь обстреляли.

Мы идем дальше, среди потоков воды и порывов ветра. Нам кажется, что мы спускаемся все ниже и ниже в какую-то яму. Скользим, падаем, поднимаемся. Мы уже не идем, а медленно катимся вниз, хватаясь за что попало. Важно, когда споткнешься, падать по возможности прямо перед собой.

Где мы? Несмотря на потоки дождя, я высовываю голову из пучины, в которой мы барахтаемся. На еле видимом фоне темного неба я различаю край траншеи, и вдруг перед моими глазами возникает какое-то зловещее сооружение: два черных столба склонились друг к другу, а между ними висит что-то вроде длинных спутанных волос. Это портик, который я заметил сегодня днем.

— Вперед! Вперед!

Я опускаю голову и больше ничего не вижу, но опять слышу шле-

панье подошв и позвякивание штыковых ножен, глухие возгласы и прерывистое дыхание людей.

Новый резкий толчок. Внезапная остановка; меня опять швыряет на Потерло; я наталкиваюсь на его спину, сильную, крепкую, как дубовый ствол, как здоровье и надежда. Он мне кричит:

— Смелей, брат, скоро придем!

Мы не двигаемся. Опять назад? .. Черт подерил! Нет, идем дальше! ..

Вдруг на нас обрушивается чудовищный взрыв. Я вздрагиваю всем телом; мою голову наполняет металлический гул; запах серы проникает в легкие, я задыхаюсь. Земля подо мной разверзается. Я чувствую: какая-то сила приподнимает меня и отбрасывает в сторону, душит, ослепляет среди грома и молний. .. Но я отчетливо помню: в то мгновение, когда, обезумев, я бессознательно искал взглядом моего брата по оружию, я увидел: он широко раскинул руки, его подбросило стоймя, он весь почернел, и голова его превратилась в факел.

XIII ГРУБЫЕ СЛОВА

Барк видит: я пишу. Он на четвереньках ползет ко мне по соломе, и вот передо мной его смышленное лицо, рыжий клоунский хохолок, живые глазки, над которыми сходятся и расходятся треугольные брови. Его губы движутся во все стороны: он жует, смакует шоколад, держа в кулаке размягченный остаток плитки.

Обдавая меня запахом кондитерской, он с полным ртом бормочет:

— Послушай. .. Ты вот пишешь книжки. .. Ты потом напишешь о солдатах, расскажешь о нас, а?

— Да, конечно, я расскажу о тебе, о всех товарищах и о нашей жизни. ..

— А скажи-ка. ..

Он кивает головой на мои записи. Я держу карандаш в руке и слушаю. Барк хочет задать мне вопрос.

— Скажи-ка, пожалуйста. .. Я хочу тебя спросить. .. Вот в чем дело: если в твоей книге будут разговаривать солдаты, они будут говорить, как взаправду говорят, или ты все подчистишь, переделаешь по-вашему? Это я насчет грубых словечек. Ведь можно дружить и не браниться между собой, а все-таки солдаты рта не открывают, чтобы не сказать, не повторить словечек, которые типографщики не очень-то любят печатать. Так как же? Если в твоей книге этих словечек не будет, портрет у тебя выйдет непохожим: все равно как если бы ты хотел нас нарисовать и не положил бы яркой краски там, где нужно. Но ведь так писать не получается.

— Я поставлю грубые слова там, где нужно, потому что это правда.

— Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там господа, которым нет дела до правды, обзовут тебя свиньей!

— Наверно. Но я все равно напишу правду. Мне дела нет до этих господ.

— Хочешь знать мое мнение? Хоть я и не разбираюсь в книгах, это будет смело, ведь так делать не полагается; вот будет здорово, если ты так напишешь! Но в последнюю минуту тебе станет совестно: ты слишком вежливый!.. Это даже твой недостаток; я заметил это с тех пор, как знаю тебя. Знаю и твою поганую привычку: когда нам раздают водку, ты говоришь, будто она вредна, и, вместо того чтобы отдать свою долю товарищу, выливаешь водку себе на голову, чтоб вымыть патлы.

XIV СОЛДАТСКИЙ СКАРБ

Наш сарай стоит в глубине двора «Фермы немых», помещение низкое, как землянка. Нам всегда отводятся только землянки, даже в домах! Когда пройдешь двор, где навоз, хлюпая, уходит из-под ног, или когда обойдешь навозную жижу, с трудом удерживая равновесие на узкой каменной обочине, и посмотришь в дверь сарая, сперва не видно ничего...

Но, вглядываясь в темноту, начинаешь смутно различать мрачное помещение, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол. В глубине справа и слева дрожит бледное пламя двух свечей, окруженное гало, как апрельская луна, при их свете можно наконец разобрать, что эти фигуры — люди, изо рта которых вылетает пар или густой дым.

В этот вечер в нашей берлоге, куда я пробираюсь с предосторожностями, все взволнованы. Завтра утром нас отправляют в окопы, и жильцы сарая начинают укладывать вещи.

Ослепленный темнотой, которая навалилась на меня после светлых сумерек, я все же довольно удачно лавирую среди фляг, котелков и предметов снаряжения, валяющихся на земле, затем невзначай натываюсь на солдатские хлеба, нагроможденные посреди сарая, словно камни на стройке... Добираюсь до своего угла. Там сидит на корточках огромное шарообразное косматое существо в овчине, склонившееся над кучей мелких поблескивающих предметов. Я хлопаю его по спине. Солдат оборачивается, и при мерцании свечи — она вставлена в кольцо воткнутого в землю штыка — я различаю часть лица, один глаз, кончик уса и угол приоткрытого рта. Человек благодушно ворчит и опять принимается разглядывать свой скарб.

— Что ты тут делаешь?

— Укладываю. Укладываюсь.

Мнимый разбойник, подсчитывающий добычу, оказывается, не кто иной, как мой товарищ Вольпат. Теперь я вижу, что он делает: он свернул вчетверо полотнище палатки, положил его на постель, то есть на выданную ему охапку соломы, и на этом ковре разложил содержимое своих карманов.

Это целый склад, который Вольпат пожирает глазами, как заботливая хозяйка, и настороженно следит, чтобы никто не наступил на его добро. . . Я рассматриваю эту богатую выставку.

Платок, трубка, кисет (где лежат еще листки папиросной бумаги), нож, кошелек и огниво (необходимые предметы солдатского обихода), два обрывка кожаных шнурков, обвившиеся, как земляные черви, вокруг часов, вложенных в потускневший от старости целлулоидный футляр; круглое зеркальце и другое — четырехугольное, правда разбитое, но наилучшего качества, с гранеными краями; пузырек скипидара, пузырек с минеральным маслом, почти пустой, и еще один пустой пузырек; бляха от немецкого пояса с надписью *Gott mit uns**, кисточка темляка того же происхождения; завернутая в бумагу авиастрела³⁴, похожая на стальной карандаш, острая, как игла; складные ножницы и стеклянная трубочка с аспирином, в которой лежат также таблетки опиума; несколько жестяных коробок.

Заметив, что я рассматриваю его имущество, Вольпат дает мне объяснения:

— Вот старая офицерская замшевая перчатка. Я срезаю пальцы, чтобы затыкать дуло моего «самострела»; вот телефонная проволока (только проволокой и можношивать к шинели пуговицы, если хочешь, чтоб они держались!). А здесь что? Здесь белые нитки, крепкие, не такие, какими шьют выдаваемое нам обмундирование (те нитки вытягиваются, как макароны на вилке); а вот набор иголок, я воткнул их в открытку. Английские булавки отдельно — вот там. . . А вот мои бумажки. Целая библиотека!

Действительно, на выставке предметов, выложенных из карманов Вольпата, поразительное количество бумаг: фиолетовый пакетик с почтовой бумагой; воинский билет (переплет затвердел, запылится, словно кожа старого бродяги, обтрепался и съежился); клеенчатая облезлая тетрадка, набитая письмами и фотографиями; среди них почетное место занимает карточка жены и детей.

Из связки пожелтевших и почерневших бумаг Вольпат вытаскивает эту фотографию и снова показывает ее мне. Я лишний раз знакомлюсь с мадам Вольпат, пышногрудой женщиной с рыхлыми, безвольными чертами лица, сидящей между двумя мальчуганами в белых воротничках; старший — худой, младший — круглый, как мяч.

— А у меня, — говорит двадцатилетний Бике, — только карточка моих стариков.

Он подносит к свече фотографию старика и старухи; они глядят на нас; у них благонравный вид, как у детишек Вольпата.

— У меня тоже есть карточка жены и детей, — говорит другой. — Я никогда не расстаюсь с фотографией моего выводка.

— Что ж, каждый носит при себе свою родню, — прибавляет третий.

— Странное дело, — замечает Барк, — если слишком часто смотреть на карточку, она изнашивается. Не надо долго глазеть на нее: не знаю, что там происходит, а только в конце концов сходство пропадает.

* С нами бог (нем.).

— Правда, — говорит Блер. — Я тоже так считаю.

— В моих бумажонках есть даже карта этой местности, — продолжает Вольпат.

Он разворачивает карту. Она истерлась по краям, стала прозрачной на сгибах и напоявляет штормы, сшитые из отдельных квадратов.

— А вот еще газета (он показывает мне статью о солдатах), и книга (это роман ценой в двадцать пять сантимов под заглавием «Дважды девственница»)... И кроме того, клочок газеты «Этампская пчела». Не знаю, зачем я его припрятал. Наверное, не зря. На свежую голову вспомню. А вот колода карт, бумажная доска для игры в шашки и сами шашки из чего-то вроде папье-маше.

Подошедший Барк смотрит на эту сцену и говорит:

— У меня в карманах еще больше разной разности. — Он обращается к Вольпату: А есть у тебя немецкий воинский билет, гнида ползучая? А пузырек с йодом? А браунинг? Вот у меня все это есть, да еще два ножа впридачу.

— На кой мне револьвер или немецкий билет? — возражает Вольпат. — Я мог бы иметь два ножа и даже десяток, но с меня довольно и одного.

— Как сказать, — возражает Барк. — А есть у тебя металлические пуговицы, эх ты, задница?

— У меня они в кармане! — восклицает Бекюв.

— Солдат не может обойтись без них, — уверяет Ламюз. — Штаны нипочем не будут держаться на помочах.

— А у меня всегда под рукой в кармане набор инструментов, — говорит Блер.

Он вытаскивает их; они лежат в мешочке от противогазовой маски; он потрясает ими. Позвякивают напильники — трехгранный и обыкновенный; звенят алюминиевые колечки.

— А у меня всегда при себе веревка. Вот это полезная штука! — говорит Бике.

— Но не так, как гвозди, — возражает Пепен и показывает три гвоздя: большой, средний и маленький.

Один за другим солдаты вступают в беседу, продолжая в то же время работать. Мы привыкаем к полумраку. Тут капрал Салавер, заслуживший прозвище «золотые руки», вставляет свечу в «люстру», которую он смастерил из коробки от камабера и проволоки. Мы зажигаем свет, и под этой «люстрой» каждый любовно, как мать детьми, похвальному содержанию своих карманов.

— Прежде всего, сколько их у нас?

— Чего — карманов? Восемнадцать, — отвечает кто-то — конечно, Кокон, человек-цифра.

— Восемнадцать карманов! Ишь загнул, крыса дохлая! — восклицает толстяк Ламюз.

— Да, да, восемнадцать, — настаивает Кокон, — посчитай-ка, раз ты такой умный!

Ламюз хочет проверить: он подносит руку к огарку, чтобы сосчитать верней, и начинает загибать свои толстые бурые пальцы: два висячих

задних кармана в шинели, карман для перевязочных материалов, который служит для табака, два внутренних кармана в шинели спереди да на каждом боку два внешних кармана с клапаном. Три кармана в штанах, даже три с половиной, ведь есть еще передний карманчик.

— Я держу в нем компас, — объявляет Фарфаде.

— А я шнур от трута.

— А я, — говорит Тирлуар, — маленький свисток. Его мне прислала жена; она написала мне так: «Если тебя ранят в сражении, свистни, чтобы товарищи поспешили спасти тебе жизнь!»

Все смеются над этой простодушной фразой.

Тюлак вступает в беседу и снисходительно говорит Тирлуару:

— Они там в тылу не знают, что такое война. А если ты заговоришь о тыле, то сам понесешь околесицу.

— Ну, этого кармана мы считать не будем: он слишком мал, — говорит Салавер. — Итого десять.

— В куртке четыре. Пока только четырнадцать.

— Еще два кармана для патронов; это новые карманы; они держатся на ремнях.

— Шестнадцать, — объявляет Салавер.

— Эх ты, раззява! Да погляди на мою куртку! А эти два кармана ты не сосчитал! Это штатские карманы: дома ты держишь в них платок для соплей, табак и адреса заказчиков, куда тебе нужно отвезти товар.

— Восемнадцать! — объявляет Салавер торжественно, как аукционист. — Восемнадцать! Правильно! Присуждено!

В эту минуту кто-то спотыкается о каменный порог; раздаются гулкие шаги, как будто конь бьет копытом, фыркает и... чертыхается.

После короткого молчания чей-то зычный голос повелительно орет:

— Эй, вы там!.. Укладываетесь? Смотрите, чтоб к вечеру все было готово и чтоб свертки были прочны! Нынче идем на передовую, и даже, возможно, будет жаркое дело!

— Ладно, ладно! — рассеянно отвечают несколько солдат.

— Как пишется имя: Арнесс? — спрашивает Бенэк. Он стоит на четвереньках и выводит карандашом адрес на конверте.

Кокон диктует ему по буквам: «Эрнест», — а унтер смывается и повторяет то же самое распоряжение у соседней двери. Блер берет слово и говорит:

— Слушайте, ребята! Всегда держите флягу в кармане! Уж я пробовал держать ее и тут и там, но удобней всего в кармане, верьте мне. Если ты в походе, в полном снаряжении, или в окопах, налегке, все равно, она у тебя всегда под рукой, на всякий случай: бывает, у товарища есть винцо, и он хочет тебе добра и говорит: «Дай-ка твою флягу», — или, скажем, по дороге попадается виноторговец. Да, друзья, послушайтесь меня, и вы не пожалеете: держите флягу в кармане!

— Как бы не так, — отвечает Ламюз, — ничем я не положу флягу в карман. Это чепуха на постном масле, ни больше ни меньше; лучше привесить ее на крючке к ремню.

— Нет, лучше привязать ее к пуговице шинели, как противогазовую

маску. А то снимаешь снаряжение и вместе с ним флягу, а тут попадетса случай купить винца, и ты останешься с носом. . .

— У меня немецкая фляжка, — говорит Барк. — Она плоская, ее можно держать в боковом кармане; она отлично входит и в подсумок, если патроны выбросить или пересыпать в сумку.

— Немецкая фляга никуда не годится, — возражает Пепен. — Она не держится стоймя. Только место занимает.

— Погоди, морда, — говорит Тирет, не лишенный сообразительности, — если мы пойдем в атаку, как сказал унтер, ты, может, и найдешь немецкую флягу, вот будет здорово!

— Унтер, правда, это говорил, — замечает Эдор, — но он сам не знает.

— В немецкой фляге больше четверти литра, — заявляет Кокон, — а точная вместимость четверти отмечается у них чертой пониже горлышка. Всегда выгодно иметь флягу побольше: ведь если твоя фляга вмещает ровно четверть кофе, или вина, или святой водицы, или чего другого, ее надо наполнить до краев, а это никогда не делается при раздаче, а если и делается, все равно ты сам прольешь.

— Еще бы, конечно, не делается, — говорит Паради, возмущенный воспоминанием об этой несправедливости. — Капрал при раздаче сунет во флягу палец да еще похлопает раза два по дну. Словом, тебя надуют на одну треть и ты оказываешься в убытке.

— Правильно, — говорит Барк. — Но слишком большая фляга — тоже невыгодно: раздатчик тебе не доверяет, боится налить лишку и потому не доликает, и тебе почти ничего не достается.

Между тем Вольпат рассовывает по карманам выставленные им предметы. Когда доходит очередь до кошелька, Вольпат смотрит на него с жалостью.

— Совсем отощал, бедняга!

Он считает:

— Три франка! Эх, брат, надо тебе опять потолстеть, а то на обратном пути у меня не будет ни шиша!

— Не у тебя одного пусто в кошельке!

— Солдат тратит больше, чем зарабатывает. Это уж так. Спрашивается, что было б с нами, если б мы жили только на жалованье.

Паради отвечает с корнелевской простотой:

— Подошли бы!

— Смотрите, у меня в кармане вот что, никогда с ним не расстаюсь.

И Пепен весело показывает серебряный столовый прибор.

— Он принадлежал той обезьяне, у которой мы жили в Гран-Розуа.

— Может быть, он принадлежит ей и теперь?

Пепен отвечает неопределенным жестом, выражающим одновременно и гордость, и скромность. Вдруг он смелеет, улыбается и говорит:

— Знаю я эту старую ведьму. Теперь она до конца жизни по всем углам будет искать свой прибор.

— А мне, — говорит Вольпат, — удалось стибрить только пару ножниц. Другим везет. А мне — нет. Зато уж и берегу я эти ножницы, хотя, можно сказать, они мне ни к чему.

— Я стянул несколько вещей, да что толку? Пустяковые. Саперы всегда успевали спереть до меня.

— Что ни делай, всегда кто-нибудь тебя опередит. Ну да ничего.

— Эй вы, кому дать йоду? — кричит санитар Сакрон.

— Я берегу письма жены, — говорит Блер.

— Я их отсылаю обратно.

— А я берегу. Вот они.

Эдор вытаскивает связку потертых, засаленных бумажек, черноту которых стыдливо скрывает полумрак.

— Я их берегу. Иногда перечитываю. Когда холодно и немогуту, я их перечитываю. Это не согревает, но все-таки кажется, будто становится теплее. . .

В этих словах таится глубокий смысл: многие поднимают голову и говорят:

— Да, да. Правильно!

Разговор ведется бессвязно; в глубине сарая копошатся огромные тени, по углам сгущается мрак и мерцают редкие свечи.

Люди как-то странно мельтешат передо мной, ходят взад и вперед, нагибаются, даже ложатся на пол; они деловито говорят сами с собой или окликают друг друга и то и дело натываются на кучи наваленных вещей. Солдаты показывают друг другу свои сокровища.

— На, погляди! — говорит один.

— Ну и штука! — завистливо отвечает другой.

Каждый хочет иметь все то, чего у него нет. У нас во взводе есть баснословные сокровища, предметы всеобщей зависти: например, двухлитровая фляга Барка, раздутая умелым холостым выстрелом и вмещающая теперь два с половиной литра; нож Бертрана — знаменитый нож с роговым черенком.

Среди суеты и шума каждый искоса посматривает на эти музейные экспонаты, потом опять, не отрываясь, глядит только на собственный скарб и старается привести его в порядок.

Какой это, ей-богу, жалкий скарб! Все, сделанное для солдатского обихода, уродливо, скверного качества, начиная от башмаков с картонными подметками до плохо скроенной, плохо сшитой формы из гнилого, плохо окрашенного сукна: оно просвечивает, как промокательная бумага, выцветает на солнце за один день, промокает от дождя за один час. Ремни перетираются и рвутся, словно веревочные, не выдержав тяжести винтовки. Фланелевое белье тоньше бумажного, а табак похож на солому.

Мартро стоит рядом со мной. Он указывает мне на товарищей:

— Погляди, как эти бедняги рассматривают свое добро: ни дать ни взять матери, заглядевшиеся на своих ребят. А послушай, как они называют свои штуковины. Вот этот, к примеру, говорит: «Мой нож!» Так отец бы сказал о своем сыне: «Мой Леон», «Мой Шарль» или «Мой Адольф». И знаешь, они просто не могут брать с собой меньше клади. Не то что они этого хотят (ведь от нашего ремесла сил не прибавляется, правда?). А не могут. Они слишком любят свой скарб.

Поклажа! . . . Она чудовищно тяжела, и солдаты знают, что от каждого

лишнего предмета, от каждой вещи она становится еще мучительней. Ведь, кроме того, что суешь в карманы и сумки, еще взваливаешь тяжелый груз себе на спину.

Ранец — это сундук и даже шкаф. И старый солдат великолепно умеет его набивать, искусно укладывая вещи и съестные припасы. Кроме положенного по уставу обязательного груза (две коробки говяжьих консервов, дюжина сухарей, две плитки кофе, два пакета супа, мешочек сахара, смена белья и запасные башмаки), мы ухитряемся втиснуть туда еще несколько коробок консервов, табак, шоколад, свечи, плетеные туфли, даже мыло, спиртовку, сухой спирт и вязанные вещи. Да еще одеяло, одеяльце для ног, полотнище палатки, мелкие инструменты, котелок и лагерные принадлежности; вот поклажа и растет, увеличивается, разбухает, становится огромной и тяжелой. Мой сосед прав: отмахав много километров по дорогам и ходам сообщения, солдат дает себе обещание избавиться от уймы лишних вещей, освободиться от этого ярма. Но каждый раз, готовясь двинуться дальше, он опять наваливает на плечи ту же изнурительную, сверхчеловеческую ношу и никак не может с ней расстаться, хоть и вечно ее прокликает.

— Иные ловкачи умеют устраиваться, — говорит Ламюз, — они ухитряются положить кое-что в ротную повозку или в санитарный фургон. Я знаю одного парня: у него две новые рубахи и одна пара кальсон в ящике у уттера, но, понимаешь, ведь в роте двести пятьдесят человек, фокус этот известен, и мало кто может им воспользоваться, только офицеры: чем больше у них нашивок, тем ловчей они прячут свой скраб... Да еще майор иной раз осмотрит повозки и, если найдет там твоё барахло, выбросит его прямо на дорогу: «К черту!» — а то еще выругает тебя и посадит под арест.

— В начале войны было легко. Некоторые, я сам видел, везли сумки и даже ранец в детской колясочке.

— Эх! Хорошее было времечко! А теперь все переменялось.

Вольпат остается глух ко всем этим речам; закутавшись в одеяло, как в шаль, похожий на старую ведьму, он вертится вокруг какого-то предмета, лежащего на земле.

— Не знаю, — говорит он, не обращая ни к кому в отдельности, — взять этот поганый бидон или нет. Он у нас единственный во взводе; я всегда таскал его с собой. Так-то оно так, но он дырявый, течет, что твое сито.

Он никак не может решиться; это настоящая сцена расставания.

Барк поглядывает на него со стороны и, посмеиваясь, бормочет: «Дохлятина старая! Полоумный!» Но тут же умолкает.

— В конце концов на его месте всякий был бы таким же болваном! Вольпат откладывает решение:

— Посмотрю завтра утром, когда уложу ранец.

Солдаты осматривают и набивают карманы; потом доходит очередь до сумок и подсумков; Барк поучает нас, как втиснуть две сотни патронов в три подсумка. Пачками — невозможно. Патроны надо распаковать и

положить их рядками, стоя, один головкой вверх, другой — вниз. Так можно набить каждый подсумок до отказа и сделать себе пояс весом в шесть кило.

Винтовка уже вычищена. Проверяют обмотку казенной части и затыкают дуло: эта предосторожность необходима в окопной войне.

Каждый должен легко находить свою винтовку.

— Я сделал зарубки на ремне. Видишь, я вырезал край.

— А я привязал к ремню шнурок от башмака: так я узнаю его и на глаз, и на ощупь.

— А я прицепил металлическую пуговицу. Верное дело. В темноте я ее тотчас же нащупаю и узнаю свой карабин. Понимаешь, ведь иным ребятам на все наплевать; пока товарищ чистит винтовку, они бьют баклуши; потом, не торопясь, тихонько хватают винтовку того растяпы, кто ее почистил, и даже так обнаглеют, что скажут: «Капитан, у меня винтовка чистехонькая, „ол-ред“³⁵». Но со мной этот номер не пройдет. Это система «И»³⁶, а от системы «И» мне блевать хочется.

Хотя все винтовки одинаковые, они все же отличаются друг от дружки, как почерки.

* * *

— Чудно и непонятно, — говорит мне Мартро, — завтра мы идем в окопы, а до сих пор нет еще ни пьянства, ни драки; сегодня вечером — послушай! — до сих пор еще не было даже ссоры. А я...

— Конечно, — сейчас же спохватывается он, — двое уже дернули и раскисли... Они еще не вполне готовы, но уже захмелели, чего там...

Это Пуатрон и Пуальпо из взвода Бруайе.

Они лежат и вполголоса беседуют. Курносый нос и зубы Пуатрона поблескивают у самой свечи; он поднял палец, и тень четко воспроизводит пояснительные движения его руки.

— Я умею разводить огонь, но не умею разжечь его, если он потух, — заявляет Пуатрон.

— Балда! — говорит Пуальпо. — Если ты умеешь развести огонь, значит, ты умеешь и разжечь потухший огонь: ведь если ты его зажигаешь, значит, он когда-то потух, и можно сказать, ты не разводишь его, а ново зажигаешь.

— Нагородил с три короба, а послушать нечего. Плевать я хотел на твою трепотню. Говорю тебе и повторяю: разводить огонь я мастер, а чтобы разжечь его, когда он потух, — об этом и думать нечего. И все тут.

Я не понимаю упорства Пуатрона.

— Ну и упрямый осел! — не унимается он. — Хоть кол у тебя на голове теши. Тридцать раз тебе говорил — не умею! Надо же быть таким чурбаном!

— Потеха, да и только! — шепчет мне Мартро.

Да, пожалуй, он слишком поторопился, когда говорил, что нет пьяных.

В нашем логовище, устланном пыльной соломой, царит возбуждение, вызванное прощальными возлияниями; солдаты чинят, приспособляют, собирают свое добро: одни, опустившись на колени, стучат молотком, как

углекопы; другие стоят, не зная, на что решиться. Все галдят и размахивают руками. В облаке дыма мелькают лица; темные руки движутся в сумраке, как марионетки.

Из соседнего сарая, отделенного от нашего только перегородкой высотой в человеческий рост, долетают пьяные крики. Два солдата отчаянно, бешено сорятся. Воздух сотрясается от грубейших слов, какие только существуют на земле. Но одного из буянов — солдата другого взвода — жильцы сарая выставляют за дверь, и фонтан ругательств оставшегося солдата мало-помалу иссякает.

— Наши еще держатся! — не без гордости замечает Мартро.

Это правда. Благодаря капралу Бертрану, который ненавидит пьянство, эту роковую отраву, наш взвод меньше других развращен вином и водкой.

... Солдаты кричат, пьют, беснуются. И без конца хохочут.

Пробуешь понять выражение лиц, которые возникают порой с поразительной четкостью среди этой свистопляски, среди игры света и тени. Но ничего не получается. Видишь людей, но не можешь проникнуть в глубину их души.

* * *

— Уже десять часов, друзья! — говорит Бертран. — Ранцы уложите завтра. Пора на боковую!

Солдаты медленно готовятся ко сну. Но болтовня не прекращается. Когда нашего брата не торопят, он все делает с прохладцей. Каждый из нас куда-то идет, возвращается, что-то несет; я вижу скользящую по стене непомерную тень Эдора; он проходит мимо свечи, придерживая кончиками пальцев два мешочка камфары.

Ламюз ворочается, стараясь улечься поудобней. Он чувствует себя плохо: как ни велика вместимость его желудка, сегодня он явно объелся.

— Не мешайте спать! Эй вы, заткните глотку! Скоты! — кричит со своей подстилки Мениль Андре.

Этот призыв на минуту успокаивает солдат, но гул голосов не стихает и хождение взад и вперед не прекращается.

— Правда, нас завтра погонят в окопы, — говорит Паради, — а вечером на передовую. Но никто об этом не думает. Это известно, вот и все.

Мало-помалу каждый занимает свое место. Я вытягиваюсь на соломе. Мартро пристраивается рядом со мной.

Осторожно, стараясь не шуметь, входит какой-то великан. Это старший санитар, брат марист, толстый бородач в очках; он снимает шинель, чувствуется, что ему неловко показывать свои ляжки. Силуэт этого бордатого гиппопотама спешит улечься. Он отдувается, вздыхает, что-то бормочет.

Мартро кивает мне на него и шепчет:

— Погляди! Эти господа постоянно брешут. Спросишь его, что он делал до войны, он не скажет: «Я был монахом и преподавал в школе»; нет, он посмотрит на тебя из-под очков и скажет: «Я был профессором». Когда он встает ранехонько, чтобы пойти к мессе, и замечает, что разбу-

дил тебя, он не скажет: «Я иду к ранней обедне», — а совет: «У меня живот заболел, пойду на двор, ничего не поделаешь».

Немного дальше дядя Рамюр рассказывает о своих краях:

— У нас маленький поселок. Небольшой. Мой старик целый день обкуривает трубки; работает ли он, отдыхает ли, знай пускает дым в воздух или в пар от кастрюли. . .

Я прислушиваюсь к этому рассказу, который неожиданно принимает специальный, технический характер:

— Для этого дела он prepares соломенную оплетку. Знаешь, что это такое? Берешь стебелек зеленого колоса, снимаешь кожицу. Разрезаешь надвое, потом еще надвое, и получаются стебельки разной толщины, так сказать, разные номера. Потом веревочкой или четырьмя стеблями соломы обматываешь чубук трубки.

На этом урок прекращается. Не нашлось ни одного охотника послушать его.

Теперь горят только две свечи. Крыло мрака покрывает лежащих вповалку людей.

В этом первобытном логове еще слышатся отдельные разговоры. До меня доносятся их обрывки.

Дядюшка Рамюр возмущается майором:

— У майора, брат, четыре галуна, а он не умеет курить. Тянет-тянет трубку и сжигает ее. У него не рот, а пасть. Дерево трескается, накаляется; глядишь, это уж не дерево, а просто уголь. Глиняные трубочки прочней, но и они у него лопаются. Ну и пасть! Вот увидишь: когда-нибудь выйдет такой скандал, какого еще никогда не бывало: трубка накалится докрасна, прожарится до самого центра и при всех взорвется в его пасти. Увидишь!

Мало-помалу тишина, покой и мрак воцаряются в сарае; сон побеждает заботы и хоронит надежды постояльцев. Ровные ряды спящих солдат, завернутых в одеяла, кажутся трубами огромного органа, который звучит на разные голоса.

Укрывшись с головой одеялом, я слышу, как Мартро рассказывает мне о себе:

— Я торговал всякой рухлядью, иначе говоря, я — старьевщик, но оптовик: я скупал всякую всячину у мелких уличных старьевщиков, а склад у меня был на чердаке. Я покупал все, начиная с белья и кончая жестянками из-под консервов, но главным образом — ручки от щеток, мешки и старые туфли; а моя специальность — это кроличьи шкурки.

И, помолчав, он добавляет:

— Я хоть низкорослый и нескладный, а могу снести на чердак сотню кило по лестнице, да еще в деревянных башмаках.

Раз мне пришлось иметь дело с подозрительным типом: говорили, что он торгует живым товаром, так вот. . .

— Проклятие! Не могу больше этого вынести! — вдруг восклицает Фуйяд. — Пропавши пропадом все эти упражнения и маршировки: нас только изводят ими на отдыхе. У меня поясницу ломит, нет возможности ни спать, ни спину разогнуть.

Вдруг что-то звякнуло: это Вольпат решил взять свой бидон, хоть и бранит его за то, что он дырявый.

— Эх, когда ж кончится эта война? — стонет кто-то, засыпая.

Раздается упрямый глухой крик возмущения:

— Они хотят нас доконать!

В ответ так же глухо звучит:

— Да плюнь ты на все!

... Я просыпаюсь ночью; часы бьют два; при белесом, наверное, лунном свете беспокойно ворочается силуэт Пинегалья. Вдали пропел петух. Пинегаль приподнимается на соломе и хрипло говорит:

— Да что это? Ночь, а петух орет. Пьян, что ли?

«Пьян, что ли?» — смеясь, повторяет он, опять закутывается в одеяло и засыпает; в его горле что-то клокочет: смех смешивается с храпом.

Пинегаль невольно разбудил Кокона, и человек-цифра принялся размышлять вслух:

— Когда нас послали на фронт, в нашем взводе было семнадцать человек. Теперь в нем тоже семнадцать, но после нескольких пополнений. Каждый солдат уже износил в среднем четыре шинели — одну синюю и три дымчато-голубых, а также две пары штанов и шесть пар башмаков. На солдата приходится по две винтовки. Харчи про запас нам выдавали двадцать три раза. Из семнадцати человек четырнадцать были у нас отмечены в приказе — из них двое по бригаде, четверо по дивизии, один по армии. Раз мы бессменно оставались в окопах шестнадцать дней. Мы были на постое в сорока семи разных деревнях. В нашем полку две тысячи человек, а с начала войны через него прошло двенадцать тысяч...

Вычисления Кокона прерывает странное сюсюканье. Это Блер: вставная челюсть мешает ему говорить и есть. Но он каждый вечер надевает ее на всю ночь упорно, мужественно: в фургоне ему сказали, что он привыкнет.

Я приподнимаюсь, как на поле сражения. Я еще раз оглядываю этих людей, которые прошли через много областей и много испытаний. Я смотрю на них; они брошены в бездну сна, забвения, но некоторые как бы задержались на ее краю со своими жалкими заботами, детскими чувствами и рабским невежеством.

Меня одолевает сон. Но я думаю о том, что они сделали и сделают, и перед лицом этой жалкой человеческой ночи, которая набросила саван мрака на наше убогое жилище, мне грезится некий великий свет.

XV ЯЙЦО

Мы не знали, что делать. Хотелось есть, пить, а на этой несчастной стоянке — ровным счетом ничего.

Довольно хорошо налаженное снабжение на этот раз захромало; мы были лишены самого необходимого.

Исхудалые солдаты скрежетали зубами. На убогой площади деревни торчали лишь облезлые ворота, обнаженные скелеты домов, облысевшие телеграфные столбы.

Мы убеждались в отсутствии всего съестного:

— Хлеба нет, мяса нет, ничего нет; придется потуже затянуть пояс.

— А сыра и масла не больше, чем варенья на вертеле.

— Ничего нет, ничего! Хоть тресни, ничего не найдешь.

— Ну и поганая стоянка! Три лавчонки, и в них только сквозняки и дождь!

— Имей кучу денег или не имей их вовсе — один черт, ведь торгашей-то нет!

— Будь ты хоть самим Ротшильдом или военным портным, здесь богатство тебе ни к чему.

— Вчера близ седьмой роты мяукал кот. Будьте уверены, его уже зажарили.

— Да. Хоть у него и были видны все ребра.

— Что и говорить, туго приходится.

— Некоторые ребята, — говорит Блер, — не зевали: как пришли сюда, тотчас же купили несколько флаг вина вон там, на углу.

— Эх, сукины дети! Везет же им! Теперь они смогут промочить горло!

— По правде сказать, это не вино, а дрянь: им только полоскать флаги.

— Говорят, кое-кому удалось спроворить курицу.

— Проклятье! — восклицает Фуйяд.

— А у меня еды было на один зуб: сардинка да на дне пачки — щепотка чаю: я его пожевал с сахаром.

— Ну, этим не насытишься, даже если ты не обжора или у тебя сохся желудок.

— За два дня дали поесть только один раз — какое-то желтое месиво: блестит, как золото. Не то жареное, не то пареное! Все осталось в котле.

— Наверно, из него понаделают свечей.

— Хуже всего, что нечем зажечь трубку!

— Правда. Вот беда! У меня больше нет трута. Несколько штук было, да сплыло. Как ни выворачивай карманы — ничего! А купить — накось выкуси!

В самом деле, тяжело смотреть на солдат, которые не могут закурить трубку или сигарету: они покорно кладут их обратно в карман и слоняются, как потерянные. К счастью, у Тирлуара есть зажигалка и в ней немного бензина. Те, кто об этом знает, вертятся вокруг него, держа в руках набитую трубку. Нет даже куска бумаги, который можно было бы зажечь: приходится прикуривать прямо от фитиля и тратить последние капли бензина, оставшиеся в тощей, словно выжатой, зажигалке.

Но мне повезло. . . Я вижу: Паради бродит, задрал голову, мурлычет и покусывает щепку.

— На, возьми! — говорю я.

— Коробка спичек! — восклицает он и с восхищением смотрит на нее, как на драгоценность. — Вот здорово! Спички!

Через минуту он уже закуривает трубку; его сияющее лицо багровеет от огня, а товарищи между тем кричат:

— У Паради есть спички!

К вечеру я встречаю его у какого-то разрушенного дома, на углу двух единственных улиц этой самой жалкой из всех деревень. Паради зовет меня:

— Пс-с-т!

У него странный, несколько смущенный вид.

— Послушай, — растроганно говорит он, глядя себе под ноги, — ты подарил мне коробку спичек. Так вот, я хочу тебя отблагодарить. Держи!

Он кладет мне что-то в руку.

— Осторожней! — шепчет он. — Может разбиться.

Ослепленный белизной, великолепием его подарка, я смотрю и не верю своим глазам. . . Яйцо!

XVI ИДИЛЛИЯ

— Право, — сказал Паради, шагая рядом со мной, — верь не верь, но я чертовски устал, сил больше нет. Ни один поход не осточертевал мне так, как этот.

Он волочил ноги, сгибаясь всем своим крупным телом под тяжестью мешка, объем и причудливые очертания которого казались просто невероятными. Два раза он споткнулся и чуть не упал.

Паради вынослив. Но всю ночь, пока другие спали, ему пришлось бегать по траншее, выполняя обязанности связиста; не удивительно, что он устал.

Он ворчит:

— Да что они, резиновые, что ли, эти километры? Наверно, резиновые. . .

Через каждые три шага он резким движением подтягивал мешок и отдувался; составляя одно целое со своей поклажей, он поворачивался и кряхтел, как старый, доверху нагруженный воз.

— Скоро придем, — сказал какой-то офицер.

Офицеры говорят так по любому поводу. И все же к вечеру мы действительно пришли в деревню, где дома, казалось, были нарисованы мелом и тушью на синеватой бумаге неба, а черный силуэт церкви со стрельчатой колокольней и тонкими островерхими башенками высился, как огромный кипарис.

Но, придя в деревню, где назначена стоянка, солдат еще не избавляется от своих мучений. Взводу редко удастся поселиться в предназначенном для него месте: оказывается, оно уже отдано другим; возникают недоразумения и споры; их приходится разбирать на месте, и только

после многих мытарств каждому взводу наконец предоставляют временное жилье.

Итак, после обычных блужданий нам отвели навес, подпертый четырьмя столбами; стенами служили ему четыре стороны света. Но крыша была хорошая: это ценное преимущество. Здесь уже стояли двуколка и плуг, возле которых мы и поместились. Пока приходилось топтаться и ходить взад и вперед по деревне, Паради все ворчал и бранился; а тут он сбросил свой мешок, потом сам бросился на землю и некоторое время не двигался, жалуясь, что у него онемела спина, болят ступни и старые раны.

Но вот в доме, которому принадлежал этот сарай, прямо перед нами появился свет. В скучных сумерках солдата больше всего привлекает окно, где звездой сияет лампа.

— Зайдем-ка туда! — предложил Вольпат.

— Ну, что ж!.. — сказал Паради. Он приподнялся, встал и, ковыляя от усталости, направился сначала к засветившемуся в полумраке окну, а затем к двери.

За ним пошел Вольпат, а за ними я. Мы постучали; нам открыл старик с трясущейся головой, с лицом помятым, как старая шляпа; мы спросили, нет ли у него вина для продажи.

— Нет, — ответил старик, качая лысой головой с пучками седых волос.

— А пива, кофе? Чего-нибудь?..

— Нет, друзья мои, ни-че-го. Мы не здешние... Беженцы...

— Ну, если ничего нет, пошли!

Мы было собрались уйти. Все-таки мы хоть немного попользовались теплом комнаты и полюбовались светом лампы... Вольпат уже дошел до порога, и его спина скрылась в потемках.

Тут я заметил старуху, сидевшую на стуле в другом углу кухни и, видимо, занятую какой-то работой.

Я ушипнул Паради за руку.

— Вот красавица хозяйка. Поухаживай за ней!

Паради с гордым равнодушием махнул рукой. Плевать ему на женщин: уже полтора года все женщины, которых он видит, не для него. А если б они и были для него, все равно плевать!

— Молодая или старая, мне все едино! — сказал он и зевнул.

Но все-таки от нечего делать, от нежелания уйти он подошел к старухе.

— Добрый вечер, бабушка! — пробормотал он, еще не кончив зевать.

— Добрый вечер, детки! — прошамкала старуха.

Вблизи мы разглядели ее. Она была сморщенная, сгорбленная, скрюченная, а лицо бледное, как циферблат стенных часов.

А что она делала? Поместившись у края стола, она старательно чистила ботинки. Это был тяжелый труд для ее слабых рук; они двигались неуверенно; иногда она попадала щеткой мимо, а ботинки были грязные.

Заметив, что мы на нее смотрим, она сказала, что должна непременно почистить ботинки своей внучки, которая рано утром отправляется в город, где работает модисткой.

Паради нагнулся, чтобы получше рассмотреть ботинки. Вдруг он протянул к ним руку.

— Дайте-ка, бабушка! Я вам в два счета начищу эти башмачки.

Старуха отрицательно покачала головой и передернула плечами.

Но Паради силой отобрал у нее ботинки; слабая старуха попробовала сопротивляться, но тщетно.

Паради схватил каждой рукой по ботинку, и вот он бережно держит их, минуту созерцает и даже как будто ласково сжимает.

— Ну и крохотные! — говорит он таким голосом, каким никогда не говорил с нами.

Завладев щетками, он усердно и осторожно чистит ботинки, не сводит глаз со своей работы и улыбается.

Очистив ботинки от грязи, он кладет мазь на кончик двойной щетки и заботливо смазывает их.

Ботинки изящные. Видно, что это ботинки кокетливой девушки; на них блестит ряд мелких пуговиц.

— Все пуговицы на месте, — шепчет мне Паради, и в его голосе слышится гордость.

Ему расхотелось спать; он уже не зевает. Напротив, он сжал губы; лицо озарено юным, весенним светом; только что казалось: он вот-вот заснет, а теперь он как будто пробудился.

Он проводит пальцами, почерневшими от мази, по ботинку, который расширяется кверху, позволяя угадать форму ноги. Его руки, так умело чистившие ботинки, как-то неуклюже вертят, перевертывают их, и при этом он улыбается, видно, грезит о чем-то далеком. Старуха воздевает руки к небу и, призывая меня в свидетели, восхищенно говорит:

— Что за услужливый солдат!

Готово! Ботинки начищены и блестят, как зеркало. Делать больше нечего.

Паради ставит их на край стола осторожно, как реликвию, и наконец выпускает из рук.

Он долго не сводит с них глаз, потом опускает голову и глядит на свои башмаки. Я помню, что, сравнив их с ботинками девушки, этот рослый парень с судьбой героя, цыгана и монаха улыбнулся еще раз от всего сердца.

... Старуха привстала. В голове у нее мелькнула какая-то мысль.

— Я ей скажу. Она вас поблагодарит. Эй, Жозефина! — кричит она, поворачиваясь лицом к двери.

Но Паради останавливает ее широким, величественным движением руки.

— Нет, бабушка, не стоит! Не надо ее беспокоить! Мы уходим. Право, не стоит!

Он так убежденно и властно сказал это, что старуха послушно села и замолчала.

Мы отправились под навес спать в объятиях поджидавшего нас плуга.

Паради опять принялся зевать, но еще долго при свече видно было, что с его лица не сходит счастливая улыбка.

XVII ПОДКОП

После сутолоки с раздачей писем, когда солдаты возвращаются, кто — обрадованный письмом, кто — полуобрадованный открыткой, кто — с новым грузом ожидания и надежды, кто-то из наших товарищей, размахивая листком бумаги, сообщает нам необычайную новость:

— Помните деда Хлопотуна из Гошена?

— Того чудилу, что искал клад?

— Да. А ведь старик его нашел!

— Да что ты? Врешь!..

— Говорят тебе, бестолочь, что нашел. Как мне тебя убедить? Молитву прочесть, что ли? Не умею... Ну, так вот, двор его дома обстреляли, и у стены, в развороченной земле, оказался ящик, полный монет: старик получил свой клад прямо в руки. Поп и тот украдкой зашел к деду: хотел объявить это чудом и приписать его церкви.

Мы разинули рот:

— Клад!.. Вот так история!.. Ай да старый хрыч!

Эта неожиданная новость наводит нас на всевозможные размышления.

— Да, никогда нельзя знать наперед!

— А как мы смеялись над старым сморчком, когда он нес околесицу о своем клade, все уши нам прожужжал, голову заморочил!

— Помнишь, мы говорили тогда: «Все может быть. Нельзя знать наперед!» Мы и не думали, что окажемся правы, помнишь?

— Все-таки кое-что знаешь наверняка, — говорит Фарфаде. Как только мы заговорили о Гошене, он задумался и сидит теперь с отсутствующим видом, словно ему улыбается любимый образ.

— Я тоже этому не поверил бы... — прибавляет он. — Когда я вернусь туда после войны, воображаю, как будет хвастать старик своим кладом!

— Требуется доброволец: кто хочет помочь саперам? — говорит рослый унтер.

— Нашел дураков! — ворчат солдаты и не двигаются с места.

— Надо вызволить товарищей! — настаивает унтер.

Ворчание прекращается; кое-кто поднимает голову.

— Есть! — говорит Ламюз.

— Собирайся, толстяк, идем со мной!

Ламюз застегивает ранец, свертывает одеяло, надевает сумку.

С тех пор как его несчастная страсть к Эдокси угасла, он еще больше помрачнел и, хотя, как назло, продолжает толстеть, — замкнулся в себе, держится особняком и молчит.

Вечером кто-то приближается к нам, поднимаясь и опускаясь по буграм и впадинам, как будто плывет в полумраке, и время от времени протягивает руки, словно зовет на помощь.

Это Ламюз. Он подходит к нам. Он весь в грязи, обливаешься потом,

вздрагивает и как будто чего-то боится. Он шевелит губами, мычит, но не может выговорить ни слова.

— В чем дело? — напрасно спрашивают его.

Он примостился в углу между нами, вытянулся во весь рост.

Ему предлагают вина. Он знаками отказывается. Потом, обернувшись ко мне, подзывает меня кивком головы. Я подхожу; он шепчет мне тихо, как в церкви:

— Я видел Эдокси.

Он пытается вздохнуть; из его груди вылетает свист; вперив взгляд в какое-то далекое страшное видение, Ламюз говорит:

— Она сгнила!

Помнишь тот пункт, который захватили у нас немцы, продолжает Ламюз, — а наши колониальные войска отбили в штыковой атаке дней десять назад?

Прежде всего мы вырыли яму — начало хода сообщения. Я работал всюю. Я сделал больше других и оказался впереди. Остальные расширяли и укрепляли проход позади меня. Вдруг натыкаюсь на груды балок. Верно, я попал в старую засыпанную траншею, но засыпанную лишь наполовину: было там и свободное пространство, оставались и пустоты. Я принялся убирать эти наваленные друг на дружку куски дерева и вижу: стоит что-то вроде большого мешка, набитого землей, а на нем что-то висит.

Вдруг одна балка подалась, и этот чудной мешок свалился на меня. Он меня придавил; я чуть не задохся от трупного запаха... Из мешка торчала голова, а то, что на нем висело, оказалось волосами.

Понимаешь, было темно, плохо видно. Но я все-таки узнал эти волосы (других таких не сыщешь в целом свете), узнал и лицо, хотя оно распухло и покрылось плесенью; вместо шеи была какая-то каша; Эдокси умерла, может быть, месяц тому назад. Но это была Эдокси, верно тебе говорю.

Да, это была та самая женщина, к которой я не смел приблизиться прежде; знаешь, я смотрел на нее только издали и ни разу не решился коснуться ее: она была для меня, как жемчужина. Она повсюду бегала, знаешь. Бывала и в траншеях. Однажды она, верно, получила пулю, и, сраженная ею, затерялась бы навсегда, если бы не случай с земляными работами.

Представляешь мое положение? Мне пришлось кое-как поддерживать ее одной рукой, а другой работать. Она же пыталась придавить меня своей тяжестью. Да, брат, она хотела меня поцеловать, а я не хотел. Это было страшно. Она как будто говорила: «Ты меня хотел, что ж, целуй». У нее на... вот здесь был приколот букет цветов; он тоже вонял, как труп какого-то зверька.

Я вынужден был взять ее на руки и осторожно повернуться, чтобы сбросить ее по ту сторону насыпи. Было так тесно, что я невольно изо всех сил прижал ее к груди, как прижал бы живую, если б она только пожелала...

Потом я полчаса отряхивался от этого прикосновения и запаха, кото-

рым она обдала меня против моей, да и против своей воли. Эх, хорошо еще, что я устал как собака.

Он ложится на живот, сжимает кулаки и засыпает, уткнувшись носом в землю, измученный мыслями о любви и тлене.

XVIII СПИЧКИ

Пять часов вечера. Три человека копошатся на дне темной траншеи. Они кажутся черными, страшными, зловещими в этом углублении, у потухшего костра. От дождя и по небрежности солдат огонь погас, и трое поваров смотрят на головешки, погребенные под пеплом, на холодящий костер, пламя которого умерло, улетучилось.

Вольпат, шатаясь, подходит к этой кучке людей и сбрасывает с плеч какую-то ношу.

— Я потихоньку вытащил это из стены землянки...

— Значит, дрова есть, — говорит Блер. — Но надо разжечь костер, иначе не сварить говядину.

— Такой хороший кусок, — стонет другой черный человек. — Грудинка. По мне, лучшее место — это грудинка!

— Спичек! — требует Вольпат. — Нет огня, не будет ничего!

— Да, нужны спички! — ворчит Пупарден; покачиваясь, он нерешительно топчется в этой темной яме, как огромный медведь в клетке.

— Что и говорить, нужны! — подтверждает Пепен, вылезая из землянки, словно трубочист из камина.

Он появляется снаружи черный, как ночь, среди наступивших сумерек.

— Будьте покойны, я уж достану огня, — гневно и решительно говорит Блер.

Он стал поваром совсем недавно и старается преодолеть все затруднения, связанные с этой профессией.

Он только что повторил слова Мартина Сезара, который при жизни всегда умел раздобыть огонь. Блер во всем подражает великому легендарному повару — так офицеры пытаются подражать Наполеону.

— Если понадобится, я сдеру всю обшивку с офицерской землянки. Я отберу спички у самого полковника. Я схожу...

— Пойдем за огнем!

Пупарден шагает впереди. Его темное лицо похоже на дно закопченной кастрюли. Так как очень холодно, Пупарден оделся тепло. На нем шуба, частью из козьего меха, частью из овчины, полубурая, полубелая, и в этой лохматой оболочке, с геометрически очерченными плоскостями, он похож на некоего апокалипсического зверя.

На Пепене вязаная шапка, до того почерневшая и засаленная, что ее можно принять за шапку из черного атласа. Вольпат в своих шерстяных шлемах и фуфайках кажется движущимся стволом дерева; в плотной коре этого двуногого бревна квадратный вырез, и в нем видно желтое лицо.

— Пойдем в сторону десятой роты! У них там есть все, что нужно. Это на Пилонской дороге, за Новым ходом.

Четыре устрашающие фигуры пускаются в путь, подобные темной туче; траншея извивается перед ними, как кривая, немощеная, темная и небезопасная улица. В этом месте она необитаема; она служит ходом сообщения между первыми и вторыми линиями окопов.

В пыльных сумерках повара встречают двух марокканцев. У одного лицо цвета черного сапога, у другого — цвета желтого башмака. В сердце поваров появляется проблеск надежды.

— Спички есть, ребята?

— Нету! — отвечает черный и смеется, оскалив длинные, словно фарфоровые, зубы.

Желтый подходит и спрашивает в свою очередь:

— Табак? Мало-мало табак?

Из зеленовато-желтого рукава тянется к нам рука цвета мореного дуба с лиловыми ногтями и ладонью, испещренной грязью.

Пепен что-то бормочет, шарит по своим карманам, вытаскивает щепотку табака, смешанного с пылью, и дает его марокканцу.

Немного дальше повара натываются на часового; он клюет носом в полумраке среди груд обвалившейся земли. Этот дремлющий солдат говорит им:

— Направо, потом опять направо, а потом все прямо. Не сбейтесь с дороги!

Они идут дальше. Долго идут.

— Мы, наверно, далеко ушли, — говорит Вольпат после получасовой бесполезной ходьбы по безлюдной траншее.

— Погляди-ка, что это за крутой спуск? — спрашивает Блер.

— Не беспокойся, крыса дохлая, — подсмеивается Пепен. — А если трусишь, поворачивай оглобли. . .

Они идут дальше. Спускается ночь. . . Все еще пустынная траншея — страшная, бесконечная пустыня — приняла обветшалый, странный вид. Насыпи разрушены: от обвалов дно превратилось в «американские горы».

По мере того как четверо охотников за огнем углубляются во мрак этой жуткой дороги, их охватывает смутное беспокойство.

Пепен теперь идет впереди; он останавливается и движением руки останавливает товарищей.

— Кто-то идет! . . — шепчут они.

В глубине души им страшно. Напрасно они ушли из укрытия все вместе и так долго отсутствуют. Они провинились. И еще неизвестно, чем все это кончится.

— Влезем сюда! Скорей! Скорей! — говорит Пепен.

Он показывает на прямоугольное отверстие на уровне земли. Они ощупывают его. Прямоугольная тень оказывается входом в укрытие. Они пробираются в него один за другим; последний нетерпеливо подталкивает остальных, и все прячутся в непроницаемом мраке узкой норы.

Шаги и голоса раздаются отчетливой.

Четверо солдат, сгрудившись, закрыли собой вход в нору, видны

только их руки, осторожно шарящие по земле. Вдруг послышался сдавленный голос Пепена:

— Что это?

— Что? — спрашивают остальные.

— Обоймы! — вполголоса отвечает Пепен. — Немецкие обоймы! Мы попали к бошам!

— Удирай!

Трое бросаются к выходу.

— Осторожней, дьяволы! Не двигайтесь! Идут!..

Быстрые шаги. Идет только один человек.

Повара не двигаются, не дышат. Их глаза на уровне земли видят сначала, как справа что-то шевелится во мраке, потом силуэт вырисовывается яснее, приближается, подходит... принимает более ясные очертания. На голове у человека каска, покрытая чехлом, под которым угадывается острие. В полной тишине раздаются только шаги неизвестного.

Едва немец успевает пройти, как четверо поваров, не сговариваясь, в едином порыве выскакивают, толкаясь, из своего убежища, бегут, как сумасшедшие, и набрасываются на него.

— Камрад!.. Месье!.. — кричит он.

Сверкнул нож. Немец тяжело падает, словно погружается в землю. Пепен успевает схватить его каску и не выпускает ее из рук.

— Надо дать стрекоча! — ворчит Пупарден.

— Обыскать боша!

Они приподнимают, переворачивают и опять приподнимают рыхлое, теплое, влажное тело. Вдруг немец кашляет.

— Он еще жив!

— Нет, подох. Это из него воздух выходит.

Они выворачивают карманы убитого. Слышится прерывистое дыхание четверых черных людей, согнувшихся над трупом.

— Каска мне! — заявляет Пепен. — Это я пустил ему кровь. Не отдам каску.

У мертвеца отбирают бумажник с еще теплыми бумагами, бинокль, кошелек и краги.

— Спички! — восклицает Блер, потрясая коробком. — Есть!

— А-а, скотина! — тихо вскрикивает Вольпат.

— А теперь — драла!

Они швыряют труп в угол траншеи и убегают во всю прыть, охваченные паникой, не думая о шуме, который они производят.

— Сюда!.. Сюда!.. Ребята, поднажмем!

Они молча мчатся по лабиринту на редкость пустынных бесконечных проходов.

— У меня в груди сперло, — хрипит Блер, — сил больше нет!..

Шатаясь, он останавливается.

— Ну, поднатужься, старый пердун, — кричит Пепен, задыхаясь.

Он хватается приятеля за рукав и тащит за собой, как упрямую лошадь.

— Пришли! — говорит Пупарден.

— Да, я узнаю это дерево!

— Это Пилонская дорога!

— А-а-а! — стонет Блер, прерывисто дыша и сотрясаясь, как мотор. Он бросается вперед из последних сил и садится на землю.

— Стой! — кричит часовой — Да откуда вы? — бормочет он, узнав их.

Они хохочут, прыгают, как паяцы; их потные, забрызганные кровью лица и руки кажутся еще черней; в руках Пепена поблескивает каска немецкого офицера.

— Вот так история! — изумленно бормочет часовой. — В чем дело?

Они ликут, беснуются.

Все говорят сразу. Наспех, кое-как рассказывают о драме, после которой еще не успели прийти в себя. Дело в том, что, расставшись с полусонным часовым, они заблудились и попали в Международный ход, часть которого принадлежит нам, а часть — немцам. Между обеими частями нет никакого ограждения. Только что-то вроде нейтральной зоны, на обоих концах которой стоят часовые. Наверно, немецкий часовой не стоял на посту, или спрятался, заметив четыре тени, или отступил и не успел вызвать подкрепление. А может быть, немецкий офицер случайно зашел слишком далеко в нейтральную зону... Словом, так и не удалось вполне разобраться в том, что произошло.

— Забавнее всего, — говорит Пепен, — что мы все это знали и не остереглись, когда пошли...

— Мы ведь искали спички! — говорит Вольпат.

— И достали! — кричит Пепен. — Ты не потерял спички, старая пачочница?

— Можешь не опасаться! — отвечает Блер. — Немецкие спички лучше наших. Без них у нас бы не было огня! Потерять спички? Посмел бы кто-нибудь отнять их у меня!

— Мы опаздываем. Вода в котле небось вымерзла. Навострим лыжи и махнем к себе. А потом расскажем товарищам, какую штуку мы сыграли с бошами...

XIX БОМБАРДИРОВКА

Мы в открытом поле, среди нескончаемого тумана.

Над нами темно-синее небо. К концу ночи пошел снег; он осыпает плечи и забивается в складки рукавов. Мы идем по четверо. Все надели капюшоны. В полумраке мы кажемся неведомым племенем, переселяющимся из одной северной страны в другую северную страну.

Мы прошли через разрушенную деревню Аблен-Сен-Назер, мельком видели беловатые груды домов и темную паутину ободранных крыш. Деревня такая длинная, что, войдя в нее ночью, мы миновали последние ее домишки, когда они уже побелели от предутреннего заморозка. На берегу этого окаменевшего океана мы заметили сквозь решетку какого-то подвала огонь, поддерживаемый сторожами этого мертвого града. Мы шлепали по болотистым полям, блуждали по безлюдным просторам,

где ноги вязли в грязи, потом ступили на более твердую почву, на дорожку, ведущую из Каранси в Суше. Высокие придорожные тополя снесены, стволы их расщеплены; в одном месте тянется колоннада огромных сломанных деревьев. Дальше в темноте нас сопровождают с обеих сторон карликовые призраки деревьев, они расколоты надвое, похожи на пальмы или превращены в деревянную корпию, в пучки волокон; другие согнулись и словно стоят на коленях. Кое-где путь преграждают глубокие рывины. Дорога превращается в канал; идешь по нему на каблуках, раздвигая воду ногами, как веслами. Местами положены доски. Там, где они лежат косо, по ним скользишь. Иной раз воды так много, что они поднимаются на ее поверхность, и под тяжестью человека с хлюпаньем тонут, а он спотыкается или падает, бешено ругаясь.

Теперь, верно, часов пять утра. Снег перестал; обнаженная, застывшая в ужасе пустыня проясняется, но мы все еще окружены широким кольцом тумана и мрака.

Мы идем, идем дальше. Доходим до места, откуда можно различить пригорок, у подножия которого, видимо, копошатся люди.

— Подходите по двое! — командует начальник отряда. — Каждый из двоих будет нести по очереди балку или плетень!

В каждой паре один солдат берет у другого винтовку. А тот поворачивает и с трудом вытаскивает из кучи длинную, грязную, скользкую балку, весом чуть не в сорок кило, или плетень из покрытых листьями веток, величиной с дверь, которые с трудом можно нести на спине, да и то согнувшись, подняв руку и придерживая их за края.

Дальше мы идем враспынную по сероватой дороге, идем медленно-медленно, тяжело-тяжело ступаем, глухо кряхтим и ругаемся сдавленным от усилия голосом. Пройдя сотню метров, каждые два солдата обмениваются ношей: тот, кто нес два ружья, несет теперь балку или плетень, и через две сотни метров все, кроме унтеров, обливаются потом, хотя дует резкий предрассветный ветер.

Вдруг там, в смутной дали, куда мы направляемся, вспыхивает и расцветает звезда — это ракета. Она освещает небосвод молочным сиянием, затмевает созвездия и летит вниз, пленительная, как фея.

Прямо против нас что-то сверкнуло, затем вспышка, грохот.

Это разорвался артиллерийский снаряд.

При отблеске, возникшем в небе вслед за взрывом, мы ясно различаем на западе возвышенность, она находится приблизительно в километре от нас.

Нашим войскам принадлежит вся ее видимая часть до вершины. На противоположном склоне, в ста метрах от нашей передовой, — передовые позиции немцев.

Снаряд упал на вершину, в наше расположение. Это стреляет неприятель.

Второй снаряд. Третий, четвертый. На вершине холма возникают столбы лилового света, тускло озаряющего дали.

И вот уже весь холм сверкает ослепительными звездами; внезапно

вырастает лес фосфоресцирующих султанов, и над бездной ночи вспыхивает сине-белый волшебный свет.

Те из нас, кто изо всех сил старается удержать на спине тяжелую, грязную, скользкую ношу и удержаться на скользкой земле, не видят ничего и молчат. Другие дрожат от холода, лязгают зубами, фыркают, сопят, утирают нос мокрым платком и проклинают размытую дорогу, но все-таки смотрят и делятся впечатлениями.

— Что твой фейерверк! — говорят они.

И вот, дополняя эту феерическую зловещую декорацию, перед которой ползет, копошится и шлепает по грязи черный-пречерный отряд, — взлетает красная звезда, за ней — зеленая, потом, гораздо медленней, целый сноп красных звезд.

Солдаты, которые не несут тяжести, смотрят и невольно с простодушным восхищением бормочут:

— Гляди... красная!.. Гляди... зеленая!..

Это подают сигналы немцы, да и наши тоже: вызывают артиллерию.

Дорога, петляя, идет в гору. Наконец светает, и окрестности предстают перед нами в своем грязном обличи. По обеим сторонам дороги с белыми пятнами снега на светло-сером асфальте открывается унылый реальный мир. Мы оставили позади себя развалины Суше, где дома были превращены в площадки, засыпанные строительным мусором, а деревья — в изодранные кусты, которые топорщатся на земле. Мы сворачиваем влево и проникаем в зияющую дыру. Здесь ход сообщения.

Мы сваливаем свою ношу на специальную, обнесенную оградой площадку и, чувствуя, как ноют наши потные, онемевшие и исцарапанные руки, разгоряченные и одновременно продрогшие, устраиваемся в траншее и ждем.

Опустившись в наши ямы по самый подбородок, мы упираемся грудью в земляную насыпь, которая служит нам прикрытием, и следим за развертывающейся ослепительной и глубокой драмой. Бомбардировка все усиливается. В белесых лучах зари светящиеся деревья на вершине холма превращаются то в туманные парашюты, то в бледных медуз, отмеченных огненной точкой, а по мере того как светлеет — в султаны из перьев, белых и серых страусовых перьев, которые неожиданно возникают в пяти-или шестистах метрах от нас над зловещей высотой 119 и медленно рассеиваются. Поистине перед нами взвиваются и грохочут столп огненный и столп дымный. В ту же минуту мы видим на склоне холма нескольких солдат, которые спешат укрыться под землей и исчезают один за другим, поглощенные нашими кротовыми норами.

Теперь различаешь яснее форму летящих «гостинцев»; при каждом залпе в воздухе появляются изжелта-белые хлопья с черным ободком; на высоте метров в шестьдесят они раздваиваются, клубятся, и при взрыве слышен свист пуль, выпадающих из этих хлопьев.

Начинается шквальный огонь — бац, бац, бац, бац, бац — по шести раз подряд. Это палят семидесятимиллиметровые орудия.

Шрапнель семидесятисемимиллиметровок все презирают; тем не менее три дня тому назад Блебуа был убит именно такой шрапнелью. Но она почти всегда разрывается слишком высоко.

Хотя мы это знаем, Барк объясняет:

— Каска надежно предохраняет башку от шрапнели. Обычно она ранил тебя в плечо и бросает наземь, но не убивает. Конечно, не надо зевать. Не вздумай задрать хобот или высунуть руку, чтоб узнать, идет ли дождь. А вот и наша семидесятипятимиллиметровка. . .

— У бошей есть не только семидесятисемимиллиметровки, — перебивает его Мениль Андре. — Есть и разные другие штуки. Вот!.. Погляди-ка!..

Раздается пронзительный свист, дребезжание, скрежет. И вдали на склонах, где наши сидят в укрытиях, скопляются тучи самых причудливых очертаний. К гигантским черным, словно обугленным перьям примешиваются огромные султаны, метелки, кисти из дыма, которые, опадая, расширяются книзу и становятся то бело-серыми, то цвета угля или меди с золотистыми прожилками или лиловыми пятнами.

Два последних взрыва происходят совсем близко; они поднимают над притоптанной землей облака черно-бурой пыли, которые вскоре неторопливо улетают по воле ветра в облике сказочных драконов.

Ряды наших голов на уровне земли поворачиваются в ту же сторону; из глубины ямы мы следим за зрелищем, которое разворачивается в воздухе, населенном светящимися жестокими видениями, среди полей, раздавленных гремящим небом.

— Это стопятидесятимиллиметровые.

— Даже двухсотдесятимиллиметровые, голова садовая!

— Тут и фугасные тоже, дуб ты эдакий! Погляди на этот!

Снаряд взорвался и взметнул темным веером землю и какие-то обломки. Казалось, сквозь трещины расколовшейся земли извергся мощный вулкан, скрытый в ее недрах.

Все вокруг полнится дьявольским грохотом. У меня возникает невыносимое ощущение непрерывного нарастания, бесконечного умножения всемирного гнева. Буря глухих ударов, хриплых, яростных воплей, пронзительных звериных криков неистовствует над миром, покрытым клочьями дыма; мы по самую шею зарылись в землю, которая словно несется куда-то, покачиваясь от шквального огня.

— Каково, а?! — орет Барк. — А еще говорили, что у них нет больше снарядов!

— Ну да... Знаем мы эти рассказы! Эту газетную брехню!

Среди разногласного шума слышится мирное тиканье. Из всех звуков на войне звук трещотки-пулемета особенно хватает за душу.

— Эта «кофейная мельница» наша: треск ровный, а у бошей промежуток между двумя выстрелами неровные: так... так-так-так... так-так... так!

— Маху дал, задница! Это не пулемет строчит, это мотоциклетка катит по дороге к тридцать первому укрытию.

— Нет, это там, наверху, какой-то парень несется на своей «метле», — хихикая, говорит Пепен и, задрав голову, ищет в небе аэроплан.

Возникает спор. В самом деле, несмотря на привычку, трудно разобраться в окружающем грохоте. На днях в лесу целый взвод принял за рев снарядов хриплый крик мула, который якобы заорал поблизости.

— Ну и «колбас» в воздухе сегодня! — замечает Ламюз.

Мы поднимаем головы и считаем.

— Восемь «колбас» у нас и восемь у бошей, — говорит Кокон (он уже успел подсчитать).

Действительно, на горизонте, на ровном расстоянии друг от друга, перед линией неприятельских привязных аэростатов, которые издали кажутся маленькими, парят восемь длинных, легких и зорких «глаз» нашей армии, связанных с французским главным командованием.

— Они видят нас, а мы видим их. Как же укрыться от этих идиолов?

— Вот наш ответ!

Действительно, за нашей спиной раздается отчетливый, яростный, оглушительный грохот семидесятипятимиллиметровых орудий.

Этот гром нас бодрит, опьяняет. Мы кричим при каждом залпе, но не слышим друг друга. Среди этого невероятного барабанного боя, каждый удар которого — орудийный залп, до нас доносится только на редкость пронзительный голос горластого Барка.

Затем мы поворачиваем голову, вытягиваем шею и на вершине холма видим силуэты черных фантастических деревьев, выросших своими грозными корнями в невидимую землю склона, где притаился враг.

— А это что такое?

В то время как батарея семидесятипятимиллиметровок в ста метрах от нас продолжает бухать — четкие удары исполинского молота по наковальне, которые сопровождаются яростными сокрушительными взрывами, — какое-то чудовищное урчание заглушает этот концерт.

Оно тоже доносится с нашей стороны.

— Ну и здоровый дяденька летит!

На высоте в тысячу метров пролетает снаряд. На нас словно опрокидывается гулкой купол неба. Снаряд медленно дышит; чувствуется, что он пузатый, крупнее других. Он пролетает, спускается, грузно подрагивая, как поезд подземной железной дороги, прибывающей на станцию; потом его тяжелый свист удаляется. Мы не отрываем взгляд от холма. Через несколько секунд его обволакивает светло-розовая туча, покрывающая затем полгоризонта.

— Это двухсотдвадцатимиллиметровый разорвался, с батареи на пункте «гамма».

— Такие снаряды видишь, когда они вылетают из орудия, — утверждает Вольпат. — И если смотреть в направлении выстрела, различаешь их простым глазом, даже когда они уже далеко.

Пролетает второй снаряд.

— Вот! Гляди! Видел? Опоздал, брат. Было, да сплыло! Надо быстрее поворачивать башку! А-а, еще один летит! Видал?

— Нет.

— Раззява! Надо же быть таким ротозеем, квашней! Скорей! Вот летит! Видишь, долдон?

— Вижу. Только и всего?

Несколько человек увидели нечто черное, заостренное, похожее на дрозда со сложенными крыльями, когда клювом вперед он падает с высоты, описывая полукруг.

— Эта птичка весит сто восемнадцать кило, старый пердун, — гордо говорит Вольпат, — и если попадет в землянку, поубивает всех, кто там есть. Кого не поразит осколками, убьет взрывной волной или удушит газом, люди и ахнуть не успеют!

— Хорошо виден и двухсотсемидесятимиллиметровый снаряд, когда миномет швыряет его в воздух: гоп!

— И еще стопятидесятипятимиллиметровки Римальо³⁷, но за ними не уследишь: они летят прямо и далеко-далеко; смотришь, смотришь, а они как бы тают в воздухе.

Над полями носится запах серы, пороха, паленых тряпок, испепеленной земли. Грохот такой, будто разъярились дикие звери; мычание, рычание, завывание, мяуканье — все эти странные, свирепые звуки разрывают наши барабанные перепонки и отдаются в животе, а порой кажется, что протяжно ревет сирена погибающего парохода. Иногда даже чудится нечто похожее на возгласы, и странные изменения тона придают им сходство с человеческим голосом. Кое-где поля как бы приподнимаются и опять опускаются: от края до края их свирепствует дикая огненная буря.

А далеко-далеко чуть слышится приглушенный грохот тяжелых орудий, но его сила чувствуется в порыве ветра, ударяющего нам в уши.

... А вот колышется и тает над зоной обстрела кусок зеленой ваты, расплывающейся во все стороны. Это цветное пятно выделяется на темном фоне и привлекает внимание; пленники траншеи поворачивают головы и смотрят на этот уродливый предмет.

— Наверное, удушающие газы. Давайте приготовим маски!

— Свиньи!

— Вот уж бесчестный способ, — говорит Фарфаде.

— Какой? — насмешливо переспрашивает Барк.

— Ну да, грязный способ, эти газы!..

— Ты меня уморишь со своими «бесчестными» и «честными» способами, — говорит Барк. — А ты что, никогда не видел людей, распиленных надвое, рассеченных сверху донизу, разодранных в клочья обыкновенным снарядом? Ты не видал, как валяются кишки, словно их разбросали вилами, а черепа вогнаны в легкие будто ударом дубины? Или вместо головы торчит какой-то обрубок, и мозги вытекают смородиновым вареньем на грудь и спину? И после этого ты скажешь: «Вот это честный способ, это я понимаю!»

— А все-таки снаряд — это допустимо; так принято...

— Ну и ну! Знаешь, что я тебе скажу? Давно я так не смеялся.

И Барк поворачивается к Фарфаде спиной.

— Эй, ребята, берегись!

Мы навострили уши; кто-то бросился ничком на землю; другие машинально хмурят брови и смотрят на укрытие, куда им теперь не добраться. За эти две секунды каждый втянул голову в плечи. Все ближе, ближе слышен скрежет гигантских ножниц, и вот он превращается в оглушительный грохот, словно разгружают листовое железо.

Снаряд этот упал недалеко: может быть, в двухстах метрах. Мы нагибаемся и сидим на корточках, укрываясь от дождя мелких осколков.

— Лишь бы не попало в рожу, даже на таком расстоянии! — говорит Паради; он вынимает из земляной стенки осколок, похожий на кусочек кокса с режущими гранями и остриями, и подбрасывает его на руке, чтобы не обжечься.

Вдруг он резко нагибается; мы — тоже.

Бз-з-з-з, бз-з-з-з...

— Трубка!.. Пролетела!..

После взрыва шрапнели дистанционная трубка отделяется от раздробленного корпуса снаряда и обычно врезается прямо в землю; но иногда она отскакивает куда попало, как большой раскаленный камень. Ее надо остерегаться. Она может броситься на вас спустя много времени после взрыва, неведомо как пролетая поверх насыпей и ныряя в ямы.

— Подлейшая штука! Раз со мной случилось вот что...

— Есть штуки и похуже этого, — вмешивается в разговор Багс, солдат одиннадцатой роты, — это австрийские снаряды сто тридцать и семьдесят четыре. Вот их я боюсь. Говорят, они никелированные; я сам видел: они летят так быстро, что от них не уберечьешься; едва услышишь их храп, они уже успели разорваться.

— Когда летит немецкий сто пять, тоже нет времени броситься на землю, найти укрытие. Мне это говорили артиллеристы.

— А я тебе вот что скажу: снаряды морских орудий поражают тебя, прежде нежели ты их услышишь.

— Есть еще один подлейший снаряд; он разрывается после того, как рикошетом отскочит от земли метров на шесть и еще нырнет разок-другой... Когда я знаю, что летит такой снаряд, меня дрожь пробивает. Помню, как-то раз я...

— Это все пустяки, ребята, — говорит наш новый сержант (он проходил мимо и остановился). — Вы бы поглядели, чем нас угощали под Верденом, я там был. Только «великанами»: триста восемьдесят, четыреста двадцать, четыреста сорок³⁸. Вот когда попадешь под такой обстрел, можешь сказать: «Теперь я знаю, что такое бомбардировка!» Целые леса были скошены, как хлеба; все укрытия пробиты, разворочены, даже если на них в три ряда лежали бревна и земля; все перекрестки политы стальным дождем, дороги перепаханы и превращены в длиннющую свалку разгромленных обозов, разбитых орудий, изуродованных трупов, словно нарочно сваленных в кучи. Одним снарядом убивало по тридцати человек; некоторых подбрасывало в воздух метров на пятнадцать; обрывки штанов болтались на верхушках уцелевших деревьев. Случалось, что в Вердене снаряды триста восемнадцать попадали в дома через крыши,

пробивали два, а то и три этажа, взрывались внизу, и все здание летело к чертовой бабушке. Целые батальоны бежали врассыпную и прятались от этого шквала, как загнанная, беззащитная дичь. На каждом шагу валялись огромные осколки толщиной в руку, и, чтобы поднять такой кусочек железа, понадобились бы четыре солдата. А поля... Да это были не поля, а нагромождения обломков!.. И так целые месяцы. А тут что? Пустяки! — повторил сержант и пошел дальше, наверно, поделиться теми же воспоминаниями с другими солдатами.

— Капрал, погляди-ка на этих ребят! Рехнулись они, что ли?

Какие-то крошечные человечки бежали под обстрелом к месту взрыва.

— Это артиллеристы, — сказал Бертран. — Как только «чемодан» разорвется, они бегут искать в яме дистанционную трубку; по ее положению и по тому, как она вошла в землю, легко узнать позицию вражеской батареи, понимаешь? А расстояние до нее можно попросту прочесть: артиллеристы отмечают его при закладке снаряда на делениях, нарезанных по кольцу трубки.

— Все равно... Молодцы эти ребята! Выйти под такой обстрел!..

— Артиллеристы, — сказал солдат из другой роты, который прогуливался по траншее, — артиллеристы либо очень хороши, либо ничего не стоят. Либо молодцы, либо дрянь. Раз как-то я...

— То же самое можно сказать обо всех солдатах.

— Возможно. Но я говорю не обо всех. Я говорю об артиллеристах, и еще я говорю, что...

— Эй, ребята, поищем укрытие, побережем свои старые кости! Не то осколок угодит нам прямо в башку!

Чужой солдат так и не кончил своей речи и пошел дальше, а Кокон из духа противоречия заявил:

— Нечего сказать, весело будет в укрытии, если даже здесь мы не слишком приятно проводим время.

— Гляди, немцы пускают торпеды! — сказал Паради, указывая вправо на наши позиции.

Торпеды взлетали прямо или почти прямо, как жаворонки, подрагивая и шурша, затем приостанавливались как бы в нерешительности и падали, возвещая о себе в последние секунды хорошо знакомым нам «детским криком». Отсюда казалось, что невидимые люди играют в мяч, перебрасывая его через гребень холма.

— Мой брат пишет, что в Аргоннах их обстреливают «горлицами» — так они их называют, — говорит Ламюз. — Это большие, тяжелые мины, которые выпускают с близкого расстояния из минометов. Они летят и воркуют, прямо-таки воркуют, а как разорвутся, оглохнуть можно.

— А хуже всего окопные минометы: их мина будто гонится за тобой, метит в тебя, а разрывается она в самой траншее, на уровне насыпи.

— Что это? Слыхал?

До нас донесся свист и вдруг утих: снаряд не разорвался.

— Это снаряд «Начхать!» — заметил Паради.

Мы наострили уши, чтобы иметь удовольствие услышать (или не услышать) свист других снарядов.

Ламюз сказал:

— Тут поля, дороги, деревни — все усеяно неразорвавшимися снарядами разных калибров, и, надо признаться, нашими тоже. Вся земля, наверно, набита ими, но их не видать. Не знаю, что мы будем делать позже? Ведь придет такая пора, когда мы скажем: «Как ни вертись, а пахать землю надо».

В своем неистовом однообразии шквал огня и железа не утихает: со свистом разрывается шрапнель, наделенная яростной металлической душой; грохочут крупные фугасные снаряды, можно подумать, что это мчащийся паровоз на всем ходу разбивается о стену или груды рельсов и стальных стропил катятся вниз под откос. Воздух уплотняется, отягченный тяжелым дыханием снарядов; кругом, вглубь и вширь, продолжается разгром земли.

Теперь другие орудия вступают в действие. Это уже наши орудия. По звуку они похожи на семидесятипятимиллиметровки, но грохот их сильнее; эхо вторит им протяжно и гулко, будто раскатам грома в горах.

— Это длинные стодвадцатимиллиметровки. Они стоят на опушке леса, в одном километре отсюда. Славные пушечки, брат; они похожи на серых гончих. Тонкие, с маленьким ротиком. Так и хочется сказать им: «Мадам!» Это не то что двухсотдвадцатимиллиметровки: у тех прямо-таки пасть, ведро из-под угля, и харкают они снарядом снизу вверх. Здорово работают! Но в артиллерийских обозах они похожи на безногих калек в колясочках.

Беседа не клеится. Кое-кто позевывает.

Воображение утомлено величием этого артиллерийского урагана, который захлестывает тонущие в нем голоса.

— Никогда я не видал такого обстрела, — кричит Барк.

— Так всегда говорят, — замечает Паради.

— Не зря мы на днях толковали об атаке, — орет Вольпат. — Помните мое слово, это артподготовка.

— А-а! — восклицают другие.

Вольпат выражает желание вздремнуть; он устраивается на голой земле, прислоняется к одной стенке окопа и упирается ногами в другую.

Болтают о том, о сем. Бике рассказывает о крысе:

— Большущая, жирная! Лакомка!.. Я снял башмаки; а она взяла да изгрызла верха! Прямо кружево! Надо сказать, я смазал их салом...

Неподвижно лежавший Вольпат заворочался и кричит:

— Эй, болтуны! Спать мешаете!

— Никогда не поверю, старая песочница, что ты можешь дрыхнуть при эдаком грохоте. — говорит Мартро.

— Хр-р-р! — отвечает ему храп Вольпата.

* * *

— Стройся! Марш!

Мы трогаемся в путь. Куда нас ведут? Неизвестно. Мы только знаем, что мы в резерве и нас перебрасывают с места на место: то требуется

укрепить какой-нибудь пункт, то надо очистить проходы, — производить там передвижение войск, не допуская заторов и столкновений, так же трудно, как наладить прохождение поездов через крупные узловые станции. Невозможно ни понять смысл огромного маневра, в котором наш полк — всего лишь маленькое колесико, ни разобраться в том, что готовится на этом участке фронта. Мы блуждаем по подземному лабиринту, без конца ходим взад и вперед, мы измучены длительными остановками, обалдели от ожидания и шума, отравлены дымом, но мы понимаем, что наша артиллерия все усиливает огонь и что наступать будут, очевидно, на другом направлении.

* * *

— Стой!

По брустверам траншеи, где нас остановили в эту минуту, забарабанили пули. Бешеная, неслыханная пальба.

— Ну и старается фриц! Бойтся атаки, с ума сошел от страха. Прямо из кожи вон лезет!

Пули градом летели на нас, рассекали воздух, усеивали долину.

Я посмотрел в бойницу. На миг передо мной предстало странное зрелище.

Самое большее метрах в десяти от нас, вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела — скошенная шеренга солдат; пули тучей летели со всех сторон и решетили мертвецов.

Пули проводили по земле прямые бороздки, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов чуть шевелились.

Слышался сухой треск пуль, разрывавших обмундирование и плоть погибших, и звук этот походил то на резкий свист ножа, рассекающего воздух, то на иступленные удары палки, выбивающей одежду. Над нами неистовствовал шквал пронзительных свистов, сопровождаемый более низким, более глухим пением рикошетов. И под этим яростным вихрем мы опускали головы.

— Очистить траншею! Пошевеливайся!

* * *

Мы покидаем этот клочок поля битвы, где беспорядочная стрельба сызнова ранит и убивает мертвецов. Мы возвращаемся назад, поворачиваем вправо. Ход сообщения ведет в гору. Наверху оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо нескольких артиллеристов.

Здесь опять остановка. Мы топчемся на месте, слушая, как наблюдатель выкрикивает приказы, а телефонист, сидящий рядом в укрытии, их принимает и повторяет:

— Первое орудие, тот же прицел! Левай ноль два! По три в минуту!

Те из нас, кто решается высунуть голову поверх насыпи, могут охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружит с утра.

Я замечаю серую необъятную долину, где ветер поднимает мутные волны пыли, сквозь которые прорываются кое-где столбы дыма.

На этом огромном пространстве, где тучи и солнце отбрасывают попеременно черные и белые пятна, вспыхивают то тут, то там огоньки: это стреляют наши батареи; я вижу затем, как все поле боя покрывается частыми короткими вспышками, а вскоре часть его исчезает за беловатой туманной завесой, похожей на снежную метель.

Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги — это скелет церкви, а по всему пространству идут ряды вертикальных линий, напоминающих палочки из детской тетради, — это дороги, обсаженные деревьями. Кроме того, долина изборождена вдоль и поперек тонкими бороздками-траншеями, усеянными точками — людьми.

Мы различаем также скопления этих точек, которые вылезают из бороздок и движутся по долине под грозным, разъяренным небом.

Трудно поверить, что каждое такое пятнышко — живая плоть, живое существо, трепещущее, хрупкое и беззащитное, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов; мы ослеплены этой россыпью, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе.

Бедные ближние, бедные незнакомцы, теперь ваша очередь принести себя в жертву! Потом наступит наша! Может быть, завтра и нам придется почувствовать, как над нами раскаляется небо, а под ногами разверзается земля, как нас сметает дыхание урагана, в тысячу раз более мощного, чем обычный ураган.

Нас гонят в тыловые укрытия. Из наших глаз постепенно исчезает поле смерти. Молот канонады все глуше колотит по чудовищной наковальне туч. Гул всемирного разрушения затихает. Наш взвод себялюбиво окунается в привычные шумы жизни и погружается в ласковую тесноту укрытия.

XX ОГОНЬ

Кто-то будит меня; в темноте ночи я открываю глаза.

— Что? В чем дело?

— Твой черед идти в караул. Уже два часа ночи, — говорит капрал Бертран.

Я его слышу, но не вижу у отверстия норы, на дне которой лежу.

Я ворчу: «Сейчас», — отряхиваюсь, потягиваюсь, зеваю в своем узком гробовом укрытии; мои руки касаются мягкой холодной глины. Я ползу в густом мраке, насыщенном тяжелыми испарениями, между спящими солдатами. Порой я задеваю их, натываюсь на ружья, ранцы, ноги и руки, раскинутые во все стороны, но вот беру наконец свою винтовку и уже стою, пошатываясь, еще не вполне проснувшийся, под порывами колючего северного ветра.

Затем, дрожа от холода, я иду вслед за капралом между двумя высокими темными насыпями, которые как-то странно сближаются за нами. Капрал останавливается. Это здесь. Какой-то верзила отделяется от призрачной стены и спускается вниз. Верзила громко зевает, словно ржет. Я поднимаюсь в нишу, которую он занимал.

Луна скрыта в тумане, но все озарено ее мутным светом, к которому глаз постепенно привыкает. Этот свет тускнеет из-за надвигающейся широкой тучи. Я нащупываю отверстие бойницы на уровне моей головы и в углублении привычной рукой нахожу кучу гранат.

— Смотри в оба, старина! — вполголоса говорит Бертран. — Не забудь, что там, впереди, налево, наш наблюдательный пункт. Ну, пока прощай!

Слышатся его удаляющиеся шаги, а за ними сонные шаги часового, которого я сменил.

Со всех сторон трещат выстрелы. Вдруг о насыпь, к которой я прислонился, ударяет пуля. Я прикиваю лицом к бойнице. Наша линия извивается по верху лощины; ее откос круто уходит вниз, и в бездне мрака, куда он погружается, не видно ничего. Но в конце концов глаз различает правильную линию кольев нашего проволочного заграждения, торчащих у границы темноты, и круглые ямы — воронки от снарядов, маленькие, средние, большие, огромные; некоторые из них совсем близко от меня; они завалены какими-то обломками. Ветер дует мне в лицо. Все неподвижно, только пролетает ветер и каплет вода. Холодно так, что без конца дрожишь. Я поднимаю глаза, озираюсь. Везде скорбь, все одето в траур. Я чувствую себя одиноким, я затерян в мире, разрушенном войной.

Вдруг небо мгновенно озаряется: взлетела ракета; местность, где я затерян, выступает яснее, определеннее. Вырисовывается развороченный, взлохмаченный край нашей траншеи: я замечаю силуэты часовых, стоящих, как призраки, у ее передней стенки через каждые пять шагов. Их винтовки угадываются рядом по блеску металла. Траншея укреплена мешками земли; обвалы расширили ее, а кое-где и обнажили. При звездном свете ракеты нагроможденные и разъехавшиеся мешки земли кажутся большими плитами древних разрушенных памятников. Я смотрю в отверстие бойницы. В туманном, белесом свете, оставленном ракетой, я различаю ряды кольев и даже тонкие перекрещенные линии проволочных заграждений. Можно подумать, будто кто-то исчеркал пером мертвое, изрытое поле. Ниже, в ночном океане, заполнившем лощину, — тишина и неподвижность.

Я спускаюсь с моего наблюдательного пункта и направляюсь наугад к соседу. Я протягиваю руку, касаюсь его.

— Это ты? — вполголоса говорю я, не узнавая его.

— Да, — отвечает он, тоже не зная, кто я, слепой, как и я.

— Сейчас спокойно, — прибавляет он. — А недавно я думал: боши пойдут в атаку; они, может быть, и попробовали справа — метнули кучу гранат. Наши семидесятипятимиллиметровки открыли заградительный огонь: бац! бац!.. Ну, брат, я обрадовался: «Здорово наши палят! Если

боши повылезли, верно, досталось им на орехи». А-а, послушай, опять падают снаряды! Слышишь!

Он откупоривает флягу, отпивает глоток и, обдавая меня запахом вина, вполголоса говорит:

— Эх! Какая подлая штука война! Разве не лучше было б оставаться дома? Ну в чем дело? Чего всполошился этот черт?

Рядом с нами раздался выстрел; пуля прочертила короткую, фосфоресцирующую кривую. Там и сям с нашей стороны затрещали винтовки: ночью выстрелы заразительны.

В густом тумане, нависшем над нами, как крыша, мы ощупью идем навести справки. Спотыкаясь, иногда сталкиваясь, мы подходим к какому-то стрелку и трогаем его за рукав.

— Что случилось?

Солдату почудилось, будто кто-то шевелится, а оказалось — никого. Мы с соседом возвращаемся по узкой траншее, затопленной жирной грязью, ступаем криво, согнувшись, словно под тяжестью ноши.

В одной точке горизонта, потом в другой загремели орудия; их оглушительный рев смешивается с беспорядочной стрельбой, которая то усиливается, то затихает, и со взрывами гранат, более звонкими, чем треск «лебелей» и «маузеров», и несколькими похожими на выстрелы обыкновенной винтовки. Ветер усилился; он так резок, что заставляет нас пригибаться к земле; луну заслоняют проносящиеся полчища огромных туч.

Мы стоим здесь вдвоем с этим человеком, так близко, что плечи наши соприкасаются, но видим друг друга лишь на мгновение при отсвете орудийных залпов; мы стоим в темноте, а кругом в этом бесовском шабаше вспыхивают и тухнут огни взрывов.

— Проклятая жизнь! — говорит сосед.

Мы расходимся, встаем каждый у своей бойницы и впиваемся глазами в неподвижный мир.

Что за грозная, мрачная буря разразится того и гляди!

В эту ночь она не разразилась. После долгих часов ожидания, при первом проблеске рассвета, даже наступило затишье.

Когда заря простерлась над нами, над грозовой ветер, передо мной еще раз возникли под черным, как сажа, покровом низких туч какие-то крутые печальные, грязные берега, усеянные обломками и отбросами, — края нашей траншеи.

При тусклом свете набитые землей мешки с выпуклыми лоснящимися боками кажутся лиловатыми, раздувшимися, как кучи кишок, которыми бы завалили весь мир.

За мной, в стене траншеи, обнаруживается углубление, и там груда предметов, наваленных друг на друга, как поленница дров.

Стволы деревьев? Нет — трупы людей.

* * *

Поднимается птичий гомон, поля оживают, свет расцветает в каждой былинке. Я смотрю на лошину. Ниже развороченного поля, где земля вздыбилась и зияют воронки, за взтерощенным рядом кольев, все еще

стынет озеро мрака, а у противоположного склона все еще высится стена ночи.

Затем я оборачиваюсь и разглядываю мертвецов, которые мало-помалу выступают из темноты, словно выставляя напоказ свои окостеневшие и замаранные тела. Их четверо. Это наши товарищи — Ламюз, Барк, Бике и маленький Эдор. Они разлагаются рядом с нами, наполовину загородив широкую, извилистую и вязкую траншею, которую живым зачем-то нужно оборонять.

Их сложили здесь кое-как, и они лежат один на другом, вповалку. Верхний завернут в парусину. Головы других прикрыты платками, но по ночам, в темноте, и днем по неосторожности живые задевают мертвецов; платки падают, и приходится жить лицом к лицу с этими трупами, сваленными, как поленья живого костра.

* * *

Они были убиты все вместе четыре ночи тому назад. Я помню эту ночь, как смутный сон. Мы были в разведке — они, я, Мениль Андре и капрал Бертран. Мы получили приказ обнаружить новый наблюдательный пункт немцев, о котором нам сообщили артиллеристы. Около двенадцати часов ночи мы вылезли из траншеи, поползли вниз, цепью, в трех-четырёх шагах один от другого, спустились глубоко в лошину и увидели распростертую, как убитый зверь, насыпь немецкой части Международного хода. Убедившись, что здесь нет поста, мы с бесконечными предосторожностями поползли вверх; я смутно видел в потемках, как мой сосед справа и мой сосед слева — два сгустка мрака — медленно перемещаются, продвигаясь вперед, скользят, поворачиваются в грязи и толкают перед собой свою винтовку. Над нами свистели пули, но нас они не искали. Увидев насыпь нашей траншеи, мы остановились; один из нас вздохнул, другой что-то сказал, третий резко обернулся назад, и его штыковые ножны звякнули о камень. Тотчас же из Международного хода взвилась ракета. Мы припали к земле, застыли и стали ждать, пока не погаснет грозная звезда, которая заливала нас дневным светом, в двадцати пяти—тридцати метрах от нашей траншеи. Тогда пулемет, стоящий по ту сторону лошины, принялся обстреливать место, где мы находились. В ту минуту, когда красная ракета взвилась, еще не вспыхнув полным светом, капралу Бертрану и мне посчастливилось найти воронку от снаряда, где валялись в грязи сломанные рогатки; мы оба прижались к стенке этой ямы, зарылись как можно глубже в грязь и спрятались за какой-то прогнивший деревянный остов. Пулеметный огонь несколько раз проносился над нами. Мы слышали пронзительный свист, сухие удары пуль о землю и еще глухое хлюпанье, сопровождаемое стонами, вскриками и постепенно затихающим хрипом. Нас с Бертраном почти задевал горизонтальный шквал пуль, которые в нескольких сантиметрах от нас плели сеть смерти и иногда царапали наши шинели; мы все теснее приникали к земле, не смея ни приподняться, ни шевельнуться. Мы ждали. Наконец пулемет смолк, и наступила полная тишина. Через четверть часа мы оба вылезли из воронки, ползком добрались до наших и скатились, как тюки,

в наблюдательный пункт. Идти дальше не было никакой возможности: как раз из-за туч показалась луна. Пришлось оставаться на дне траншеи до утра, потом до вечера. Пулеметы безостановочно засыпали свинцом ее подступы. В бойницы не были видны тела убитых, лежавшие под откосом, только совсем внизу что-то темнело — вероятно, спина одного из них. Вечером мы прорыли ход, чтобы добраться до того места, где пали наши товарищи. Эту работу нельзя было проделать за одну ночь; на следующую ночь нас заменили солдаты-землекопы; мы выбились из сил и больше не могли бодрствовать.

Проснувшись, я увидел четыре трупа; саперы зацепили их снизу крючьями и втащили на веревках в подкоп. Трупы были изрешечены пулями, дыры от которых чернели на расстоянии нескольких сантиметров одна от другой. Тела Мениля Андре не нашли. Его брат Жозеф, как сумасшедший, искал его повсюду; он вышел один на равнину, под перекрестный огонь пулеметов. Утром он притащился ползком, как улитка, над насыпью показалось его черное от грязи, неузнаваемое от горя лицо.

Мы втащили его в траншею; щеки его были исцарапаны о колючую проволоку, руки — в крови, шинель задубела от грязи и провоняла мертвечиной. Он, как маньяк, повторял: «Его нигде нет!»

Он забился в угол траншеи, принялся чистить винтовку и, не слыша, что ему говорят, все повторял и повторял: «Его нигде нет!»

Четверо суток прошли с той самой ночи, и теперь я вижу, как вырисовываются, предстают передо мной тела моих товарищей в свете зари, которая снова взошла, чтобы омыться своими лучами этот земной ад.

Застывший Барк кажется огромным. Его руки прижаты к бокам, грудь провалилась; вместо живота — яма, похожая на лохань. Голова лежит на куче грязи; он словно смотрит поверх своих ног на людей, которые приходят слева; его потемневшее лицо прикрыто клейкими, упавшими на него волосами и сгустками запекшейся крови; глаза словно выкипели и залиты кровью. Эдор, наоборот, кажется совсем маленьким; у него белое-белое личико, как у Пьеро; оно выделяется, словно кружок белой бумаги, среди темной груди серо-синих трупов, и от этого зрелища щемит сердце. Бретонец Бике, коренастый, квадратный, словно каменная плита, кажется, напрягся изо всех сил и старается приподнять туман; от этого страшного усилия искажено его лицо с выступающими скулами и выпуклым лбом, взъерошены жесткие, замаранные грязью волосы, разодран последним криком рот, широко открыты мутные, стеклянные глаза; хватаясь за пустоту, пальцы застыли в предсмертной судороге.

У Барка, у Бике пробит живот, у Эдора — шея. Перетаскивая эти трупы, саперы их еще больше изуродовали. Толстяк Ламюз истек кровью; его лицо опухло и сморщилось; глаза ввалились, один кажется больше другого. Его завернули в парусину, где выступило на месте шеи черноватое пятно. Правое плечо изрешетили пули, и рука еле держится на обрывках рукава и веревочках, которыми ее кое-как привязали. В первую ночь, когда его сюда положили, рука эта торчала из груди мертве-

цов, и желтые пальцы, судорожно сжимая комок земли, касались проходивших солдат. Рукав прикололи к шинели.

Туча смрада нависла над телами этих людей, с которыми мы так дружно жили, так долго страдали вместе.

При виде их мы говорим: «Они погибли все четверо», но наши товарищи слишком обезображены, чтобы мы действительно поверили: это они. И только отвернувшись от их жутких останков, мы почувствуем пустоту, оставшуюся среди нас и наших воспоминаний, омраченных этой утратой.

Мимо них проходят солдаты из других рот или других полков. Ночью они, как и все мы, невольно цепляются за все, что попадает под руку, будь то живое или мертвое, но днем с отвращением отшатываются от этих трупов, наваленных друг на друга прямо в траншею. Иногда они сердятся:

— Оставили здесь покойников! О чем думает начальство?

— Безобразия!

Но прибавляют:

— Правда, отсюда их никак не уберешь.

И пока что могила этих трупов — только тьма.

Рассвело. Показался противоположный скат ложины — высота 119, этот холм — оголенный, облупленный, выскобленный холм, изрезанный ходами сообщения и параллельными окопами, которые обнажили пласты глины и мела. Там никто не шевелится, и кажется — наши снаряды, взрываясь, вскипают и разбиваются брызгами пены, как огромные волны, которые гулко ударяют о большой разрушенный, заброшенный мол.

Наша смена кончилась. Часовые, закутанные в мокрую парусину, исполосованные и облепленные грязью, посиневшие от холода, вылезают из углублений, где они стояли, и уходят. У стрелковых ступеней и у бойниц занимает место второй взвод. А мы будем отдыхать до вечера.

Мы зеваем, слоняемся без всякого толка. Приходит один товарищ, потом другой. Снуют офицеры с перископами и призматическими биноклями. Мы узнаем друг друга; начинаем опять жить. Перекидываемся обычными словечками. И не будь опустошений вокруг, разбитых краев траншеи, где мы прячемся, и необходимости говорить вполголоса, можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в окопах третьей линии. Нас всех одолевает усталость; от бессонных ночей лица пожелтели, веки красные, как будто мы долго плакали. За несколько дней мы сгорбились и постарели.

Один за другим солдаты нашего взвода подходят к повороту траншеи. Они столпились в том месте, где под слоем почвы, ошестинившейся обрубленными корнями, земляные работы обнажили меловые пласты, которые пролежали во мраке больше ста тысяч лет.

В этом проходе и собрались уцелевшие солдаты из взвода Бертрана. Наши ряды поредели: не говоря уже о четверых товарищах, погибших в ту ночь, среди нас больше нет ни Потерло, убитого во время смены, ни Кадийяка, раненного в ногу осколком в тот же вечер. (Кажется, будто это было уже давно!) Нет Тирлуара и Тюлака, они эвакуированы: один

заболел дизентерией, другой — воспалением легких, которое приняло дурной оборот, как пишет Тюлак в открытках, которые со скуки посылает нам из лазарета.

Я снова вижу, как подходят, собираются возле нас испачканные земли, закопченные пороховым дымом солдаты; мне хорошо знакомы их лица и жесты; ведь мы не разлучались с начала войны и братски привязаны друг к другу. Но теперь у этих пещерных людей меньше различий в одежде. . .

Дядюшка Блер щеголяет ослепительными зубами; на всем его жалком лице видишь только эту нарядную челюсть. Он мало-помалу привыкает к искусственным зубам и пользуется ими во время еды; благодаря им изменился его характер и поведение; он уже не черен от грязи, а только чуть-чуть неряшлив. Похорошев, он хочет быть изящным. В эту минуту он мрачен, может быть потому (о, чудо!), что негде умыться. Забившись в угол, он щурит тусклые глаза, жует усы (усы старого вояки, когда-то единственное украшение его лица) и время от времени выплевывает волосок.

Фуйяд простудился, он дрожит от холода и зевает, подавленный, словно общипанный. Мартро не изменился: по-прежнему бородатый, голубоглазый и такой коротконогий, что его штаны вечно налезают на ботинки, словно собираясь свалиться с ног. Кокон — все тот же Кокон с пергаментным лицом, в голове которого, как всегда, роятся цифры; но за последнюю неделю на ней так расплодилось вши, что они выползают на его шею и кисти рук; он уединяется для борьбы с ними и возвращается к нам сердитый. У Паради почти такой же, как и раньше, хороший цвет лица и хорошее настроение; он не меняется, ему нет сносу. Когда он появляется вдали, на фоне мешков с землей, как новенькая яркая афиша, все улыбаются. Нисколько не изменился и Пепен; он ходит с той же клеенчатой красно-белой шахматной доской на спине: у него лицо острое, как лезвие ножа, глаза зеленовато-серые, холодные, как отблеск стали; ни в чем не изменились ни Вольпат, с его короткими гетрами, одеялом на плечах и аннамитским лицом, татуированным грязью, ни Тирет (однако с некоторого времени — неизвестно почему — он возбужден и в его глазах появились кровяные жилки). Фарфаде держится в сторонке; он задумчив, чего-то ждет. В часы раздачи писем он словно пробуждается, но потом опять уходит в себя. Своей тонкой чиновничьей рукой он старательно пишет множество открыток. Он не знает о смерти Эдокси. Ламюз никому не говорил о своей последней страшной встрече с этой женщиной. По-видимому, он даже жалел, что рассказал мне об этом, и до самой смерти упорно и стыдливо скрывал от других свою тайну. Вот почему Фарфаде по-прежнему живет мечтой о златокудрой женщине и разлучается с ней лишь ненадолго, чтобы сказать нам несколько скупых слов. А капрал Бертран все такой же сосредоточенный, спокойный, всегда готовый нам улыбнуться, дать ясные ответы на наши вопросы и помочь каждому, кто об этом попросит.

* * *

Небывалый случай: за последние три месяца смена любой воинской части в окопах первой линии происходила каждые четыре дня, и, хотя здесь мы уже пять дней, о смене даже не заикаются. Ходят слухи о предстоящей атаке; известия приносят связисты или нестроевые, которые через ночь — правда, нерегулярно — доставляют нам продовольствие. Кроме этих слухов, имеются и другие признаки: отпуска отменены, письма не приходят, офицеры явно изменились — они озабочены и стараются сблизиться с нами. Но, когда с ними заговаривают на эту тему, онижимают плечами: ведь солдата никогда не предупреждают, что собираются с ним сделать; ему завязывают глаза и повязку снимают лишь в последнюю минуту. Мы только повторяем:

— Поживем — увидим!

— Остается только ждать!

Мы предчувствуем надвигающуюся трагедию, но как бы равнодушны к ней. Не потому ли, что не можем понять весь ее смысл, или больше не надеемся разобраться в недоступных нам решениях, или беспечно примирились с ними, или верим, что и на этот раз избежим опасности? Как бы то ни было, вопреки признакам и пророчествам, которые, по-видимому, уже сбываются, мы погружены в неотложные заботы: нас мучают голод, жажда; уничтожая вшей, мы окровавили себе ногти, нас всех одолевает гнетущая усталость.

— Видал сегодня Жозефа? — спрашивает Вольпат. — Бедный парень! Он недолго протянет.

— Что-нибудь да он выкинет. Верно говорю. Парень погибнет, понимаешь? При первом удобном случае сам бросится под пулю. Вот увидишь!

— Да есть от чего рехнуться! Знаешь, их было шестеро братьев. Четверых ухлопали: двоих в Эльзасе, одного в Шампани, одного в Аргоннах. Если Андре убит, это пятый.

— Если б он был убит, его тело нашли бы, увидели с наблюдательного пункта. Нечего ломать себе голову. По мне, в ту ночь, когда они пошли в разведку, он на обратном пути заблудился. Пополз в сторону, бедняга, — и попал в плен к бошам.

— Может, напоролся на их проволочные заграждения и его убило током.

— Говорят тебе, его бы нашли, если б он был убит: ведь боши не стали б его хоронить. Словом, его искали повсюду. Раз не нашли, значит (ранен или не ранен), он попал в лапы к бошам.

С этим столь логическим предположением соглашаются все, и, решив, что Андре Мениль попал в плен, мы больше им не интересуемся. Но его брат по-прежнему вызывает жалость.

— Бедняга, такой еще молодой!

И солдаты нашего взвода украдкой сочувственно посматривают на него.

— Жрать хочется! — вдруг заявляет Кокон.

Время обеда давно прошло — все голодны. Впрочем, обед у нас есть: остатки вчерашнего.

— И о чем думает капрал? Хочет нас уморить? А-а, вот и он! Ну, погоди, я ему задам! Эй, капрал, чем ты так занят? Почему не даешь нам жратвы?

— Да, да, жрать! — хором повторяют вечно голодные солдаты.

— Сейчас приду, — говорит озабоченный Бертран, который ни днем ни ночью не знает покоя.

— Это еще что? — восклицает Пепен. — Надоели мне сопливые макарены! Да я мигом открою коробку мясных консервов.

Драма забыта; начинается ежедневная комедия с едой.

— Не трогайте запасов! — говорит Бертран. — Вот вернусь от капитана и тотчас же дам вам поесть.

Он вскоре возвращается, приносит и раздает еду; мы едим картофельный салат с луком, жуем, улетаем, и наши лица проясняются.

Паради надел к обеду суконную шапку полицейского образца. Это не соответствует ни времени, ни месту, но шапка совсем новая; портной, который обещал сделать ее уже три месяца назад, сдал ее Паради только в тот день, когда нас послали на передовые позиции. Эта «лодочка» из ярко-голубого сукна, надетая на круглую башку Паради, придает ему вид картонного румяного жандарма. Он ест и пристально на меня смотрит. Я подхожу к нему.

— Тебе эта шапка к лицу.

— Не об этом речь! — отвечает он. — Я хочу с тобой поговорить. Пойдем!

Он протягивает руку к фляге, стоящей перед его котелком, и после некоторого колебания решает поместить вино в надежное место — в глотку, а флягу — в карман. Он куда-то идет.

Я иду вслед за ним. По дороге он прихватывает каску, которая валяется на земляной ступеньке. Пройдя шагов десять, он останавливается, смотрит себе под ноги, как в те минуты, когда взволнован, и тихо говорит:

— Я знаю, где Мениль Андре. Хочешь на него поглядеть? Иди сюда!

Он снимает полицейскую шапку, складывает ее, сует в карман, надевает каску. Идет дальше. Я молча следую за ним.

Мы проходим метров пятьдесят до нашей общей землянки и перекрытия из мешков; проползая под ними, мы всегда опасаемся, что эта грязная арка вот-вот обрушится и переломает нам ребра. За перекрытием, в стенке траншеи, — углубление и ступенька, сделанная из плетня, обмазанного глиной. Паради влезает на нее и знаком зовет меня на эту узкую скользкую площадку. Когда-то здесь находилась бойница для часового; она была разрушена; ее проделали ниже и снабдили двумя козырьками. Приходится согнуться, чтобы голова не оказалась выше этих приспособлений.

Все еще шепотом Паради говорит:

— Эта я приделал два щита; я кое-что задумал, мне хотелось посмотреть. Погляди-ка в эту дырку!

— Я ничего не вижу. Что-то ее заслоняет. Что это там за тряпье?

— Это он, — отвечает Паради.

Да, это был труп, труп человека, сидящего в яме, ужасающе близко от нас...

Я прижался лицом к козырьку, приник глазом к дыре и увидел труп целиком. Он сидел на корточках, голова свесилась между ног, руки со скрюченными пальцами лежали на коленях — и все это было так близко, так близко от нас. Его можно было узнать, хотя глаза помутнели и выкатились из орбит, хотя облепленная грязью борода затвердела, рот перекосился и виден был оскал зубов. Казалось, мертвец гримасничал и улыбался своей винтовке, стоящей перед ним в грязи. Кисти его вытянутых рук посинели сверху и побагровели снизу, словно от влажного отсвета ада.

Это был он, Андре Мениль, вымоченный дождем, облепленный грязью, замаранный, до ужаса бледный; уже четыре дня он сидел в воронке от снаряда, рядом с нашей насыпью.

Между этим мертвецом, покинутым в своем сверхчеловеческом одиночестве, и живыми людьми, населявшими землянку, была только тонкая земляная перегородка; я заметил, что место, куда я кладу голову, приходится как раз против ямы, где втиснуто это страшное тело.

Я отхожу от глазка.

Мы с Паради переглядываемся.

— Не надо пока говорить Жозефу, — шепчет он.

— Конечно, нет. Не сейчас. . .

— Я сказал капитану: «Надо бы у мертвого вынуть из кармана документы!» Капитан тоже сказал: «Не говорите пока брату!»

Пронеслось легкое дуновение ветра.

— Воняет!

— Еще бы!

Мы втягиваем воздух носом; запах входит в наше сознание, вызывает тошноту.

— Значит, — говорит Паради, — из всех шести братьев остался один Жозеф. Вот что я тебе скажу: мне сдается, что и он не жилец на этом свете, недолго протянет. Парень не будет себя беречь, сам постарается, чтоб его укокошили. Хорошо, если небо пошлет ему удачную рану, а не то он пропал. Шесть братьев — это уж слишком! Правда?

Он прибавляет:

— Прямо диву даешься, что он так близко от нас!

— Его рука лежит как раз против того места, куда я кладу голову.

— Да, — говорит Паради, — правая рука, а на ней часы.

Часы! . . Я припоминаю. . . Мне почудилось? Приснилось? Нет, теперь я почти уверен, что три дня назад, в ту ночь, когда мы так устали, я перед сном слышал что-то вроде тиканья часов и даже подумал: где они тикают?

— Да, может, его часы ты и слышал сквозь стенку, — говорит Паради, которому я это рассказываю. — Часы идут себе, даже когда человек остановился навсегда. Чего там, этой штуке до нас нет дела; она спокойно переживает человека и работает, сколько ей полагается.

Я спросил:

— У него кровь на руках; а куда он ранен?

— Не знаю. Наверно, в живот; мне показалось, у него там кровь. Или в голову? Ты не заметил пятнышка на щеке?

Я припоминаю зеленоватое, обезображенное лицо мертвеца.

— Да, правда, у него что-то на щеке, вот здесь. Да, может быть, пуля попала сюда.

— Тише! — вдруг перебивает меня Паради. — Вот он! Не надо было здесь останавливаться.

Но все-таки мы не уходим, мы стоим в нерешительности, а прямо к нам идет Жозеф Мениль. Он никогда еще не казался нам таким слабым. Даже издали видно, как он бледен, осунулся, сгорбился; он идет медленно, усталый, измученный неотвязной мыслью.

— Что у вас на лице? — спрашивает он меня.

Он видел, как я показывал Паради, куда попала пуля.

Я притворяюсь, что не понял, и отвечаю уклончиво.

— А-а! — рассеянно произносит он.

Тут я с волнением вспоминаю... Трупный запах! Он слышен; ошибиться нельзя: там труп; может быть, Жозеф поймет...

Мне кажется, что он вдруг почувствовал жалкий призыв мертвеца.

Но Жозеф молчит, однако идет дальше, исчезает за поворотом.

— Вчера, — говорит мне Паради, — он пришел сюда с миской, полной риса: ему не хотелось есть. Как нарочно (вот балда!) остановился здесь — и хлоп!.. Хочет выбросить остатки риса за насыпь, как раз туда, где сидит мертвый брат. Ну, уж этого я не выдержал, схватил его за рукав в ту самую минуту, когда он швырнул рис... И рис вывалился обратно в траншею. Жозеф как обернется ко мне, сердитый, весь красный, как крикнет: «Ты это что? Ты, часом, не рехнулся?» Я стою дурак дураком, что-то бормочу, — говорю, кажется, будто сделал это нечаянно. Он пожал плечами и посмотрел на меня, словно задорный петушок, и пошел дальше, говоря Монтрелю, который был здесь: «Видал? Бывают же такие олухи!» Знаешь, паренек он горячий! Как я ни повторял: «Ну, ладно, ладно!» — он все ворчал; да и я не был рад, что связался с ним, понимаешь, ведь я как будто вышел виноватым, а на деле был прав.

Мы молча уходим.

Мы возвращаемся в землянку, где собрались остальные. Это бывший офицерский блиндаж, поэтому здесь просторно.

Мы входим; Паради прислушивается.

— Наши батареи уже час как нажаривают, правда?

Я понимаю, что он хочет сказать, и неопределенно отвечаю:

— Увидим, старина, увидим!..

В землянке перед тремя слушателями Тирет рассказывает казарменные истории. В углу храпит Мартро; он лежит у входа, и приходится переступать через его ноги, такие короткие, будто их вогнали в туловище. Вокруг сложенного одеяла на коленях стоят солдаты; они играют в «манилью».

— Мне сдавать!

— Сорок, сорок два! Сорок восемь! Сорок девять! Выиграл!

— Везет же этому висельнику! Прямо не верится! Видно, наставила

тебе жена рога! Не хочу больше играть с тобой. Ты меня сегодня грабишь и вчера тоже обобрал!

— А ты почему не сбросил лишние карты? Раззява!

— У меня был только король, король и ни одной карты той же масти.

— А у него — пиковый туз.

— Да ведь это редко бывает, слюняй!

— Ну и ну! — бормочет кто-то в углу, жуя кусок сыра. — Этот камамбер стоит двадцать пять су, а какая пакость: сверху вонючая замазка, а внутри сухая известька!

Между тем Тирет рассказывает, сколько обид ему пришлось вынести от батальонного командира за три недели учебного сбора.

— Этот жирный боров был подлеишей сволочью на земле. Всем нам круто приходилось, когда мы попадались ему на глаза или встречали его в канцелярии; сидит, бывало, развалиясь на стуле, а стула под ним и не видно: толстенное брюхо, большущее кепи, сверху донизу обшитое галунами, как бочка — обручами. Ох, и лют с нашим братом — солдатом! Его фамилия Леб: одно слово — бош!

— Да я его знаю! — заявляет Паради. — Когда началась война, его, конечно, признали негодным к действительной службе. Пока я проходил учебный сбор, он уже успел окопаться и на каждом шагу ловил нашего брата: за незастегнутую пуговицу — сутки ареста, да еще начнет тебя отчитывать перед всеми, если на тебе хоть что-нибудь надето не по уставу. Солдаты смеются; он думает — над тобой, а ты знаешь — над ним, но от этого тебе не легче. На гауптвахту, и все тут!

— У него была жена, — продолжает Тирет. — Старуха. . .

— Я ее тоже помню, — восклицает Паради, — ну и стерва!

— Бывают, люди водят за собой шавку, а он повсюду таскал за собой эту гадину; она была желтая, как шафран, тощая, как драная кошка, и рожа злющая. Это она и натравливала старого хрыча на нас; без нее он был скорей глупый, чем злой, а как только она приходила, он становился хуже зверя. Ну и попадало же нам! . .

Вдруг Мартро, спавший у входа, со стоном просыпается. Он садится, как заключенный, на свою соломенную подстилку, и его бородатый силуэт выступает на стене наподобие китайской тени, круглые глаза вращаются, блестят в полутьме. Он созерцает то, что видел во сне.

Затем он проводит рукой по глазам и, словно это имеет отношение к его сну, вспоминает ночь, когда нас отправляли в окопы; осипшим спросонья голосом он говорит:

— Сколько было пьяных солдат в ту ночь! Что это была за ночь! Все отряды, роты, целые полки орали, и пели, и шли в гору! Было не очень темно. Глядишь: идут, идут солдаты, поднимаются, поднимаются, как вода в море, и размахивают руками, а кругом артиллерийские обозы и санитарные автомобили! Никогда еще я не видел столько обозов ночью, никогда! . .

Он ударяет себя кулаком в грудь, усаживается поудобнее и умолкает. Выражая общую неотвязную мысль, Блер восклицает:

— Четыре часа! Уже слишком поздно: сегодня наши ничего не затеют!

В углу один игрок орет на другого.

— Ну, в чем дело? Играешь ты или нет, образина?

А Тирет продолжает рассказывать о майоре:

— Раз дали нам на обед суп, подправленный тухлым салом. Мерзотина! Тогда какой-то солдатик просит разрешения поговорить с капитаном и подносит ему миску к самому носу. . .

— Болван! — сердито кричит кто-то из другого угла. — Почему ты не пошел с козыря? . . .

— Тьфу! — говорит капитан. — Уберите эту миску! Действительно, смердит.

— Да ведь не мой ход был, — возражает кто-то дрожащим, неуверенным голосом.

— И вот, значит, капитан докладывает батальонному. Приходит батальонный, размахивает рапортом и орет: «Где этот суп, из-за которого подняли бунт? Принесите мне его! Я попробую!» Ему приносят суп в чистой миске. Он нюхает: «Ну и что ж? Пахнет великолепно. Где еще вам дадут такой прекрасный суп? . . .»

— Не твой ход?! А чей же? Идиот, балда! Беда с тобой, да и только!

— И вот в пять часов выходим мы из казармы, а эти два чучела, батальонный с женой, останавливаются прямо перед солдатами и стараются выискать у них какие-нибудь неполадки. Батальонный кричит: «А-а, голубчики, вы хотели надо мной посмеяться и пожаловаться на отличный суп, а я съел его с удовольствием, пальчики облизывал, и майорша тоже. Погодите, уж я с вами справлюсь. . . Эй вы, там, длинноволосый! Артист! Пожалуйте-ка сюда!» И пока этот скот нас распекал, его скотина стояла, точно аршин проглотила, тощая, длинная, как жердь, и кивала головой: да, да.

— . . . Ну, раз у него не было короля пик, дело другое. . .

— Вдруг она побелела как полотно, схватилась за пузо, вся затряслась, уронила зонтик и среди площади, при всем народе, как начнет блевать!

— Эй, тише! — внезапно проговорил Паради. — В траншее что-то кричат. Слышите? Как будто: «Тревога!»

— Тревога? Да ты рехнулся?

Не успели мы это сказать, как у низкого входа в нашу землянку показалась какая-то тень и раздался приказ:

— Двадцать вторая рота! В ружье!

Молчание. Потом несколько возгласов.

— Я так и знал, — сквозь зубы бормочет Паради и на коленях ползет к отверстию норы, где мы лежим.

Разговоры прекращаются. Мы онемели. Быстро приподнимаемся. Хлопочем, согнувшись или стоя на коленях; застегиваем пояса; тени от рук мельтешат на своде землянки; мы суем вещи в карманы. И выходим все вместе, волоча за ремни ранцы, одеяла, сумки.

На воздухе нас оглушает шум. Трескотня перестрелки усилилась; она доносится слева, справа, спереди. Наши батареи безостановочно гремят.

— Как ты думаешь, они наступают? — нерешительно спрашивает кто-то.

— А я почему знаю! — раздраженно отвечает другой.

Мы стиснули зубы. Все хранят про себя свои догадки. Спешат, торопятся, сталкиваются, вороча, но ничего не говорят.

Раздается команда:

— Надеть ранцы!

— Приказ отменяется!.. — вдруг кричит офицер и со всех ног бежит по траншее, расталкивая солдат.

Конец этой фразы не слышен.

Отмена приказа! По рядам пробегает трепет, у солдат сжалось сердце, все поднимают голову, все замирают в тоскливом ожидании.

Но нет: отменяется только распоряжение касательно ранцев. Ранцев не брать; скатать одеяло и привесить к поясу лопату!

Мы отвязываем, выдергиваем, скатываем одеяла. По-прежнему молчим: глаза смотрят пристально, все крепче сжимаются губы.

Капралы и сержанты лихорадочно снуют взад и вперед, подгоняя торопящихся солдат.

— Скорей! Ну же, чего мешкаете? Говорят вам, скорей!

Отряд солдат с изображением скрещенных топориков на рукаве пробивает себе дорогу и торопливо делает выемки в стене траншеи. Заканчивая приготовления, мы искоса поглядываем на них.

— Что они делают?

— Лестницу.

Мы готовы. Солдаты строятся все так же молча; они стоят со скатанными через плечо одеялами, опустив ремешок каски, опираясь на винтовку. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, серьезные лица.

Это не солдаты; это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие, их узнаешь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала убийства и смерти; но, вглядываясь в их лица между вертикальными полосками штыков, видишь, что это попросту люди.

Каждый из них знает, что, прежде чем встретить солдат, одетых по-другому, которых он должен будет убивать, ему придется подставить грудь, живот, все свое незащищенное тело под дула наведенных на него винтовок, под снаряды, гранаты и, главное, под планомерно действующий, стреляющий почти без промаха пулемет, под все орудия, которые теперь затаились и грозно молчат. Эти люди не беззаботны, не равнодушны к своей жизни, как разбойники, не ослеплены гневом, как дикари. Вопреки пропаганде, которой их обрабатывают, они не возбуждены. Они выше слепых порывов. Они не опьянены ни физически, ни умственно. В полном сознании, в полном обладании силами и здоровьем они собрались здесь, чтобы лишний раз совершить безрассудный поступок, навязанный им безумием человеческого рода. Их раздумье, страх и прощание с жизнью чувствуются в этой неподвижности, в маске сверхчеловеческого спокойствия, скрывающей истинное выражение лиц. Это не те герои, которых

себе представляешь; но люди, не видевшие их, никогда не смогут понять всю величину их жертвы.

Они ждут. Минуты ожидания кажутся вечностью. Время от времени то один, то другой в ряду чуть вздрагивает, когда пуля, задев переднюю насыпь, которая защищает нас, впиывается в рыхлую землю задней насыпи.

Меркнувший день озаряет мрачным светом эти монолитные нетронутые ряды живых, из которых только часть доживает до ночи. Идет дождь: воспоминание о дожде примешивается к моим воспоминаниям о всех трагедиях этой войны. Надвигается вечер, он готовится расставить перед этими людьми большую, как мир, западню.

* * *

Из уст в уста передаются новые приказы. Нам раздают гранаты, лежащие в проволочном ящике. «Каждому взять по две гранаты!»

Подходит майор; он в походной форме, подтянут, держится проще. Он говорит:

— Добрые вести, ребята! Боши удирают! Вперед, молодцы!

Известия вихрем облетают наши ряды:

— Впереди нас идут марокканцы и двадцать первая рота. Атака началась на правом фланге.

Капралов зовут к капитану. Они возвращаются с охапками металлических предметов. Бертран меня ощупывает. Он что-то прицепил к пуговице моей шинели. Это кухонный нож.

— Гляди, что я тебе привесил на шинель! — говорит он. Он смотрит на меня и уходит на поиски других солдат.

— А мне? — спрашивает Пепен.

— Нет, — отвечает Бертран. — Брать добровольцев для этого дела запрещено.

Мы ждем в глубине дождевого пространства, сотрясаемого залпами орудий, которое лишено иных ориентиров, кроме далекой канонады. Бертран раздал ножи и возвращается. Несколько солдат садятся на землю, кое-кто зевает.

Вот пробирается самокатчик Бийет, перебросив через руку непромокаемый офицерский плащ и явно отворачиваясь от нас.

— Ты что ж? Не идешь с нами? — кричит ему Кокон.

— Нет, — отвечает Бийет. — Я в семнадцатой роте, пятый батальон не идет в атаку.

— А-а! Везет же пятому батальону. Никогда он не ходит в атаку, как мы!..

Бийет уже далеко; все смотрят ему вслед и недовольно хмурятся.

К Бертрану подбегает какой-то солдат, что-то шепчет. Бертран оборачивается к нам и говорит:

— Пошли! Наш черед!

Трогаемся в путь. Ставим ноги на ступеньки, вырытые саперами; локоть к локтю вылезает из траншеи и взбираемся на бруствер.

* * *

Бертран стоит на поле, отлого спускающемся в лошину. Он окидывает нас беглым взглядом. Когда все в сборе, он командует:

— Вперед!

Странно звучат голоса. Мы выступили очень быстро, неожиданно. Все это как сон. В воздухе не слышно свиста. Среди рева орудий явно различаешь необычайное затишье в ружейной пальбе. . .

Мы, как автоматы, спускаемся по скользкому неровному полю, иногда опираясь на винтовку с примкнутым штыком. Глаз невольно выхватывает какую-нибудь подробность: развороченные участки земли, редкие колья с оборванной проволокой, какие-то обломки в ямах. Трудно поверить, что мы находимся днем на этом скате; несколько уцелевших солдат еще помнят, как они со всяческими предосторожностями проникали сюда в темноте, а другие только украдкой посматривали в эту сторону через бойницы. Нет, нас не обстреливают. Целый батальон вышел из-под земли, и это как будто осталось незамеченным! Затишье таит в себе все нарастающую угрозу. Бледный свет утра ослепляет нас.

Весь склон покрылся солдатами, которые спускаются одновременно с нами. Справа выступила одна из наших рот: она устремляется в лошину через ход 97, некогда вырытый немцами, а теперь почти разрушенный.

Мы пробираемся через проходы за наши проволочные заграждения. Нас еще не обстреливают. Иные неловкие солдаты спотыкаются, падают и поднимаются. По ту сторону заграждений мы перестраиваемся и начинаем спускаться немного быстрее: передвижение наше само собой ускоряется. До нас долетают несколько пуль. Бертран велит приберечь гранаты, ждать до последней минуты.

Но голос его заглушается: перед нами, по всей ширине спуска, вспыхивают зловещие огни, раздирая воздух чудовищными взрывами. По всей линии, слева направо, небо мечет снаряды, земля взлетает к небу. Жуткая завеса отделяет нас от мира, отделяет от прошлого, от будущего. Мы останавливаемся как вкопанные, ошалев от внезапной грозы, разразившейся вокруг нас; затем в едином порыве весь наш взвод стремительно бросается вперед. Шатаясь, мы хватаемся друг за друга среди клубов дыма. С грохотом проносятся циклоны обращенной в прах земли; в глубине, куда мы стремимся, разверзаются кратеры, одни рядом с другими, одни в других. Мы уже не видим, куда попадают снаряды. Сорвалось с цепи нечто такое чудовищное, оглушительное, что мы чувствуем себя изничтоженными уже одними громовыми раскатами взрывов и тучами осколков, возникающих в воздухе. Видишь, ощущаешь, что осколки проносятся совсем близко над головой, шипя, как раскаленное железо в воде. Вдруг я роняю винтовку: дыхание взрыва обожгло мне руки. Я поднимаю ее и, шатаясь, опустив голову, бегу дальше, в бурю, сверкающую рыжими молниями, в разрушительный поток лавы; меня подхлестывают фонтаны угольной пыли и сажки. Пронзительный лязг и треск пролетающих осколков причиняют боль ушам, ударяют по затылку, пронзают виски, и невозможно удержаться от крика. От запаха серы переворачи-

вается, сжимается сердце. Дыхание смерти нас толкает, приподнимает, раскачивает. Мы прыгаем, несемся, сами не зная куда. Глаза мигают, слепнут. Впереди пылающая завеса. Путь отрезан.

Это заградительный огонь. Надо пройти сквозь огненный вихрь, сквозь эти страшные вертикальные тучи. Мы проходим. Мы прошли. Какие-то призраки кружатся, взлетают и падают, озаренные внезапными вспышками света. Я на миг различаю странные лица кричащих людей; эти крики видишь, но не слышишь. Красные и черные громады падают вокруг меня, разворачивают землю, вырывают ее из-под моих ног и отбрасывают меня в сторону, как игрушку. Помню, что я перешагнул через какой-то труп; он горел, весь черный, покрытый пунцовой кровью, которая потрескивала на огне, и помню, как рядом со мной запылали полы чьей-то шинели, оставив дымный след. Справа, вдоль всего хода 97, вспыхивали, теснились, как люди, вереницы жутких огней.

— Вперед!

Мы почти бежим. Люди падают; одни валятся всем телом, головой вперед, другие смиренно опускаются, словно садятся на землю. Мы отскакиваем, чтобы не наступать на мертвые тела, распростертые или скрюченные, и на раненых, — это опасней: раненые бьются и цепляются за живых.

Международный ход!

Мы добежали. Длинные, скрученные стебли колючей проволоки вырваны с корнем, отброшены, спутаны, свалены в кучи бомбардировкой. Между этими железными кустами, мокрыми от дождя, земля разрыта и свободна.

Международный ход не защищен. Немцы его оставили, или первая волна атаки уже прошла здесь... Изнутри он ошетинился винтовками, поставленными вдоль насыпи. На дне валяются трупы. Кое-где из кучи тел торчат неподвижные руки в серых рукавах с красными кантами и ноги в башмаках. Местами насыпь снесена, деревянное крепление разбито: весь бок траншеи разворочен чем-то неопишущим. То тут, то там зияют круглые колодцы. В память мне врезался вид траншеи, убранной в странные лохмотья, покрытой разноцветными тряпками: для выделки мешков немцы использовали сукна, бумажные и шерстяные ткани с яркими разводами, награбленные в каком-нибудь мебельном магазине. Вся эта мешанина, эти изрезанные, изорванные лоскутья висят, болтаются, хлопают и пляшут на ветру.

Мы рассыпались по Международному ходу. Лейтенант перепрыгнул на другую его сторону и зовет нас криками, знаками:

— Не задерживайтесь! Вперед! Вперед!

Мы карабкаемся по насыпи, хватаясь за ранцы, винтовки, плечи. Дно лощины разворочено снарядами, завалено обломками, усыпано телами. Одни неподвижны, как неодушевленные предметы, другие тихо шевелятся или судорожно дергаются. Заградительный огонь продолжает действовать, адские разрывы позади нас, в том месте, которое мы уже прошли. Но там, где мы находимся у подножия пригорка, — мертвая зона для неприятельской артиллерии.

Недолгое сомнительное затишье. Мы слышим немного лучше. Пере-

глядываемся. Глаза лихорадочно блестят. Солдаты дышат с трудом, у всех бурно колотится сердце.

Мы смутно узнаем друг друга, как будто встречаемся лицом к лицу где-то на далеких берегах смерти. В этом проблеске среди кромешного ада мы перекидываемся отрывистыми фразами:

— Это ты?

— Ну и достается нам!

— Где Кокон?

— Не знаю.

— Видел капитана?

— Нет...

— Ты жив?

— Да...

Дно лощины уже позади. Перед нами ее противоположный склон. Мы взбираемся гуськом по земляной лестнице.

— Осторожно!

Дойдя до середины лестницы, какой-то солдат, раненный осколком снаряда в бок, падает, как пловец, вытянув вперед руки; с головы его свалилась каска. Бесформенный силуэт раненого ныряет куда-то в пропасть: я мельком замечаю, что над его черным профилем развеваются волосы.

Мы поднимаемся на верх склона.

Перед нами большое голое пространство. Сначала мы видим только меловую каменистую изжелта-серую степь, которой нет конца. Впереди никого, ни одного живого существа, только мертвецы; свежие трупы как будто еще страдают или спят; старые останки размыты дождями или частично поглощены землей.

Наша цепь бросается вперед рывками, я чувствую, что рядом со мной два человека ранены, двое сброшены на землю; они падают нам под ноги, один — с пронзительным криком, другой — молча, как оглушенный ударом быка. Третий исчез, неистово взмахнув руками, словно его унес ветер. Мы машинально смыкаем ряды и пробиваемся вперед, все вперед; возникающая брешь заполняется сама собой. Унтер останавливается, поднимает вверх свою саблю, роняет ее, опускается на колени, рывками откидывается назад; каска свалилась; он застывает, уставившись в небо. Наша цепь разрывается на бегу, чтобы не потревожить его неподвижности.

Лейтенанта уже не видно. Начальства больше нет... Живая волна, бьющая в край плоскогорья, нерешительно останавливается. Топот ног не заглушает нашего хриплого дыхания.

— Вперед! — кричит какой-то солдат.

И все еще стремительней бегут вперед, к бездне.

* * *

— Где Бертран? — жалобно стонет кто-то из тех, что бегут впереди.
— Вон! Там!..

Бертран остановился, нагибается к раненому, но быстро покидает его, а раненый протягивает к нему руки и, кажется, рыдает.

Едва Бертран успел нас нагнать, как из-за бугорка раздалась трескотня пулемета. Это тревожная минута; она еще страшней той, когда мы шли вперед, несмотря на заградительный огонь, от которого дрожит опаленная земля. Знакомый голос пулемета отчетливо и грозно обращается к нам. Но мы больше не останавливаемся.

— Дальше! Дальше!

Мы задыхаемся, хрипло стонем, но несемся дальше, к горизонту.

— Боши! Я их вижу! — кричит кто-то.

Да... Из траншеи торчат головы... Эта линия — их траншея. Совсем близко. А-а, скоты!

Действительно, мы различаем серые бескозырки; они то поднимаются, то опускаются до уровня земли, в пятидесяти метрах за полосой изрытого чернозема.

Единый порыв подхватывает кучку солдат, среди которой нахожусь и я. Мы уже близко; мы невредимы; неужто не дойдем? Нет, дойдем! Мы широко шагаем. Кругом — тишина. Каждый из нас устремляется прямо перед собой к этому страшному рву, который неудержимо притягивает к себе, и в своем возбуждении даже не поворачивает головы.

Многие валятся на землю. Я отскакиваю вбок, чтобы увернуться от внезапно возникшего перед мной штыка, примкнутого к падающей винтовке. Вижу совсем близко окровавленное лицо Фарфаде; он выпрямляется, толкнув меня, останавливает Вольпата, бегущего рядом со мной, и цепляется за него; Вольпат сгибается, не останавливаясь, волочит Фарфаде несколько шагов за собой, потом стряхивает его, отталкивает, не глядя, не зная, кто это, и прерывающимся голосом, задыхаясь, кричит:

— Пусти меня! Да пусти ты, черт!.. Тебя сейчас подберут... Не бойся!..

Фарфаде с размаху падает и поворачивает во все стороны голову, его лишенное всякого выражения лицо покрыто какой-то пунцовой маской. Вольпат уже далеко — он бессознательно повторяет сквозь зубы: «Не бойся!» — и, не отрываясь, смотрит на линию немецких окопов.

Вокруг меня градом сыплются пули; все чаще солдаты разом останавливаются. медленно падают, бранятся, размахивают руками, валятся, как подкошенные, кричат, выпускают глухие, бешеные, отчаянные вопли или страшный стон, вместе с которым мгновенно отлетает жизнь. А мы, еще уцелевшие, смотрим вперед, бежим среди смерти, поражающей наугад живую плоть наших рядов.

Проволочные заграждения. В них есть нетронутый отрезок. Мы обходим его. Дальше в земле образовался широкий, глубокий пролом — огромная воронка, состоящая из множества воронок поменьше, фантастический кратер вулкана, вырытый снарядами.

Зрелище это ошеломляет. Кажется, что подобное разрушение причинено силой, вырвавшейся из недр земли. Вид столь чудовищного разрыва пластов земли усугубляет наш наступательный пыл; иные солдаты мрачно качают головой и не могут удержаться, чтобы не закричать даже в такую минуту, когда слова с трудом вырываются из глотки:

— Вот так, так! Ну и всыпала им наша артиллерия! Вот так!

Словно несомые ветром, мы бежим, не разбирая дороги, через бугры и кучи навороченной земли и спускаемся в этот необъятный пролом, изрытый, почерневший, обожженный неистовым пламенем. Ноги прилипают к глине. Мы злобно отдираем их. Предметы снаряжения, лоскуты материи, которые устилают мокрую, рыхлую землю, белье, вывалившееся из разодранных сумок, не дают нам увязнуть в грязи, и мы стараемся ставить ноги на это тряпье, когда прыгаем в ямы или взбираемся на бугры.

Позади кричат, подгоняют нас:

— Вперед, ребята! Вперед, черт подери!

— За нами идет весь полк!

Мы не оборачиваемся, но, наэлектризованные этим известием, наступаем еще уверенней.

За насыпью, к которой мы приближаемся, больше не видно бескозырок. Перед ней валяются трупы немцев; они или навалены в кучи, или положены в ряд. Мы подходим. Насыпь четко вырисовывается во всем своем коварном обликии. Бойницы... Мы близко, невероятно близко от них...

Перед нами что-то падает. Граната. Ударом ноги капрал Бертран отбрасывает ее так ловко, что она взлетает и разрывается как раз над траншеей.

И после этой удачи наш взвод подходит к самому рву.

Пепен ползет по насыпи между трупов. Достигает края и исчезает в траншее. Он вошел в нее первым. Фуйяд размахивает руками, кричит и прыгает в траншею почти одновременно с ним... Я мельком вижу ряд черных дьяволов: пригнувшись, они спускаются с гребня насыпи в черную западню.

Раздается оглушительный залп, вдоль всего земляного вала вспыхивает цепь огней. Придя в себя, мы отряхиваемся и смеемся во все горло злорадным смехом: пули пролетели слишком высоко. И сейчас же, с криком и ревом, радуясь избавлению, мы скользим, катимся и, живые, вваливаемся в брюхо траншеи.

* * *

Нас обволакивает какой-то непонятный дым. В этой узкой щели я вижу сперва только серо-голубые шинели. Мы рыщем по окопу, подталкивая друг друга, рычим, разыскиваем врага. Поворачиваем обратно и, обремененные ножами, винтовками, гранатами, не знаем, что делать дальше.

— Скоты! Они в укрытиях! — орут солдаты.

Почва сотрясается от глухих взрывов: теперь бой идет под землей в укрытиях. Неожиданно нас обволакивают клубы такого густого дыма, что мы перестаем что-либо видеть, барахтаемся, как утопающие, в его темных едких волнах, наталкиваясь на какие-то рифы. Но это не рифы — это люди. Они скорчились, скрючились, истекают кровью и что-то кричат в глубине траншеи. Мы едва различаем ее стены, обложенные мешками с землей, белый холст которых разодран, словно он бумажный.

Иной раз тяжелый, неистребимый дым колышется, редеет, и тогда опять видишь сутолоку нападающих. Как бы вырванный из этой смутной картины боя, на бруствере возникает во мгле поединок. Обе фигуры падают, куда-то проваливаются. Я слышу несколько слабых возгласов: «Камрад!» Это кричат бледные, исхудавшие солдаты в серых куртках, загнанные в развороченный угол окопа. Под чернильной тучей опять надвигается грозная человеческая лавина, она движется в том же направлении, вправо, движется с подскоками, завихрениями вдоль мрачной, разбитой траншеи.

* * *

И вдруг мы чувствуем: все кончено. Мы видим, слышим, понимаем, что наш поток, докатившись сюда через все заграждения, не встретил равного потока и что враг отступил.

Вражеская стена рухнула перед нами. Тонкая преграда немецких солдат распалась: они укрылись в норах, где мы хватаем их, словно крыс. И тут же убиваем. Сопротивление кончилось: пустота, безмерная пустота кругом. Мы идем вперед, как грозные ряды зрителей.

В этом месте траншея полностью разрушена. Со своими обвалившимися белыми стенами она кажется вязким, разрыхленным руслом реки, иссякшей в каменистых берегах, а кое-где плоской, круглой впадиной высохшего озера, по краям, на откосе, на дне которого — ледяные груды трупов. И все это заливают новые волны наших прибывающих частей. Укрытия извергают дым; подземные взрывы сотрясают воздух. Я добираюсь до группы солдат, сцепившихся на утопанной площадке. Когда мы подходим, бой близится к концу; группа рушится, и я вижу, как из-под нее вылезает Блер; его каска съехала на грудь, лицо исцарапано, он дико орет. Я натываюсь на солдата, который стоит, пригнувшись, у входа в укрытие. Остерегаясь этой черной, зияющей, предательской дыры, он держится левой рукой за подпорку, а правой размахивает ручной гранатой. Взрыв... В ответ до него из-под земли доносится жуткий вопль гибнущих людей. Солдат хватается вторую гранату.

Другой солдат, подобрав с земли кирку, разбивает ею подпорки у входа в другое укрытие. Происходит обвал. Вход засыпан. Несколько солдат, размахивая руками, утаптывают эту могилу.

Один, другой... Среди уцелевших солдат, добравшихся до этой желанной траншеи под градом снарядов и пуль, я с трудом узнаю знакомые лица, как будто вся прежняя жизнь вдруг стала чем-то далеким. Люди потеряли свой облик. Все охвачены неистовством.

— Почему мы остановились? — восклицает один, скрежеща зубами.

— Почему мы не идем к следующей траншее? — в бешенстве спрашивает меня другой. — Раз мы уж здесь, мы добежим туда в два счета!

— Я тоже хочу идти дальше!

— Я тоже! А-а, скоты!

Они трепещут, как знамена; они, как славы, гордятся своей удачей: ведь они выжили. Они неумолимы, упоены, опьянены собой.

Мы стоим, топчемся на завоеванном участке, на этом странном, разрушенном пути, который извивается по равнине и ведет от неизвестного к неизвестному.

— Направо!

Мы идем дальше в заданном направлении. Наверно, это передвижение задумано где-то там, наверху, задумано начальством. Мы ступаем по мягким телам: некоторые еще шевелятся, стонут и медленно передвигаются, истекая кровью. Трупы, наваленные вдоль и поперек траншеи, как балки, давят, душат раненых, отнимают у них жизнь. Чтобы пройти, я отталкиваю что-то обезглавленное, растерзанное тело, из шеи которого хлещет кровь.

Среди этого опустошения, среди куч обломков и глыб обвалившейся или вздыбленной земли, над ранеными и мертвецами, валяющимися вперемежку, сквозь дым, который струится по траншее и вокруг нее, видишь только воспаленные, потные, багровые лица и сверкающие глаза. Люди будто пляшут, потрясая ножами. Они веселы, уверены в себе, свирепы.

Бой незаметно утихает. Какой-то солдат спрашивает:

— Ну, а теперь что делать?

Внезапно бой опять разгорается: метрах в двадцати от нас, в долине, у поворота серой насыпи, раздается треск выстрелов, мечущих искры вокруг невидимого пулемета, который прерывисто стрекочет и как будто отбивается.

В странном синевато-желтом свете наши люди все тесней окружают эту машину, изрыгающую огонь. Я узнаю недалеко от себя Мениля Жозефа; он выпрямился и даже не старается укрыться, идет прямо туда, где лает пулемет.

Из траншеи раздается залп. Жозеф зашатался, он сгибается и падает на одно колено. Я подбегаю к нему; он говорит:

— Ничего... В бедро... Как-нибудь доползу.

Он стал благоразумным, послушным, как ребенок, и тихонько ползет к оврагу.

Я точно представляю себе, откуда прилетела ранившая Жозефа пуля, и пробираюсь туда, в обход опасного места.

Я встречаю только одного из наших. Это Паради.

— Ты?

Я смотрю на него.

Он молча смотрит на меня.

Нас толкают солдаты, которые несут на плече или под мышкой какие-то железные орудия, похожие на больших насекомых. Они загромаждают проход и разделяют нас.

— Седьмая рота захватила пулемет! — кричат вокруг. — Он больше не будет кусаться! Бешеная собака! Скотина!

— А теперь что делать?

— Ничего.

Мы задерживаемся в этом месте, сбившись в кучу. Живые больше не задыхаются, умирающие больше не хрипят среди дыма, пламени и гро-

хота орудий, доносящегося отовсюду. Мы не знаем, где мы. Нет больше ни земли, ни неба, лишь сплошная мгла, похожая на тучу. В этой хаотической драме намечается первое затишье. Понемногу замедляется движение, утихает шум. Канонада ослабела, и только где-то далекое небо сотрясается, словно от кашля. Возбуждение улеглось, осталась только бесконечная усталость. И опять начинается бесконечное ожидание.

* * *

Где же неприятель? Он везде оставил трупы; мы видели целые шеренги пленных: вот там движется еще одна, однообразная, неясная, серая-серая под грязным небом. Основные силы врага, видимо, скрылись где-то вдали. До нас долетели несколько снарядов, но нам плевать на них. Мы спасены, спокойны, мы одни в этой пустыне, где бесчисленные трупы соприкасаются с горсткой живых.

Наступила ночь. Пыль углеглась, уступив место полумраку и мраку, скрывшим беспорядочное скопление солдат на дне траншеи. Люди сходятся, садятся, встают, ходят, держась или цепляясь друг за друга. Они собираются между укрытиями, заваленными трупами, садятся на корточки.

Иные положили винтовки на землю и слоняются поблизости от траншеи, лениво размахивая руками; вблизи видно, что лица почернели, опалены, исполосованы грязью, что глаза воспалены. Все молчат, но поиски вшей начинаются.

Мы замечаем силуэты санитаров; они ищут, нагибаются, идут дальше, по двое тащат тяжелую ношу. Справа доносятся удары кирки и лопаты. Я брожу среди этой мрачной сутолоки.

В том месте, где снижается насыпь траншеи, разрушенная бомбардировкой, кто-то сидит. Еще не совсем стемнело. Спокойная поза человека, который на что-то задумчиво смотрит, удивительно скульптурна. Я нагибаюсь и узнаю: это капрал Бертран.

Он поворачивается ко мне лицом; в сумерках я чувствую, что он улыбается своей тихой улыбкой.

— Я как раз собирался сходить за тобой, — говорит он. — Надо организовать охрану траншеи, пока мы не получили известий о том, что сделали другие и что происходит впереди. Я отведу тебя вместе с Парадой на наблюдательный пункт, саперы только что вырыли его.

Мы смотрим на силуэты живых и мертвецов; вдоль всего разрушенного бруствера, на фоне серого неба, трупы выступают чернильными пятнами, сгорбленные, скрюченные. Странно видеть движение сумрачных облаков, в котором участвуют неподвижные мертвецы, среди полей, умиротворенных смертью, где уже два года гремят сражения и целые города солдат бродят по земле или окопались в ней над городами мертвых.

В нескольких шагах от нас проходят два силуэта; они беседуют вполголоса:

— Ну, я, конечно, не стал его слушать и так всадил ему в брюхо штык, что еле вытащил.

— Их было четверо в этой норе. Я крикнул, чтоб они вышли: они вылезали один за другим, я их тут же приканчивал. Кровь текла у меня по рукам от самого локтя. Даже рукава слиплись.

— Эх, — продолжал первый, — когда мы об этом будем рассказывать дома, собравшись у очага или вокруг свечи (если только вернемся), никто этому не поверит! Вот беда, правда?

— Ну, на это мне наплевать, только бы вернуться! — отвечает другой. — Скорей бы конец, вот что главное.

Бертран обычно говорит мало и никогда не говорит о самом себе, однако теперь он рассказывает:

— Мне пришлось иметь дело с тремя сразу. Я колот штыком как сумасшедший. Да, все мы озверели, когда ввалились сюда!

Сдерживая волнение, он повышает голос и вдруг восклицает, как пророк:

— Будущее! Какими глазами потомство будет смотреть на наши подвиги, раз мы сами не знаем, сравнивать ли их с подвигами героев Плу-тарха и Корнеля или с подвигами апашей³⁹! И все-таки. . . посмотри! Есть человек, который возвысился над войной, и в его мужестве есть бессмертная красота и величие. . .

Опершись на палку, я наклоняюсь, слушаю, впиваю в себя звучащие в тишине вечера слова этого обычно молчаливого человека. Бертран восклицает звонким голосом:

— Либкнехт⁴⁰!

Он встает, скрестив руки. Его прекрасная голова, столь же величественная, как голова мраморной статуи, опускается на грудь. Но он еще раз прерывает молчание и повторяет:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — искоренить наше настоящее, искоренить раз и навсегда, как нечто гнусное и позорное. И все-таки это настоящее было необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армии, позор солдатскому ремеслу: оно превращает людей то в тупые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но эта правда еще не для нас. Запомни то, о чем мы говорим сейчас! Это станет правдой, когда будет записано среди других истин, которые одновременно постигнет человек. Мы еще блуждаем в потемках далеко от этих времен.

Он звучно рассмеялся и задумчиво прибавил:

— Как-то раз, чтобы приободрить солдат и заставить их идти вперед, я сказал им, что верю в пророчества.

Я сел рядом с Берtrandом. Он всегда делал больше, чем полагалось по долгу службы, и все-таки уцелел; с этой минуты он стал для меня воплощением человека — носителя высоких нравственных начал, который сумел преодолеть все случайное и в урагане событий подняться над своим временем.

— Я тоже всегда так думал, — пробормотал я.

— А-а! — отозвался Бертран.

Не говоря ни слова, мы переглянулись чуть удивленно и задумались. После долгого молчания Бертран сказал:

— Ну, пора за работу! Бери винтовку, идем!

* * *

... С нашего наблюдательного пункта мы видим, как на востоке разгорается зарево, бледней и печальней пожара. Оно рассекает небо под длинной черной тучей, которая повисла, как дым огромного потухшего костра, как пятно на лике мира. Это опять наступает утро.

Так холодно, что, несмотря на усталость, сковывающую тело, нельзя оставаться неподвижным. Дрожишь, трясешься, лязгаешь зубами. Глаза слезятся. Мало-помалу, невыносимо медленно в небе пробивается свет. Все заледенело, все бесцветно и пусто, всюду мертвая тишина. Кругом иней и снег под покровом мглы. Все бело. Паради пошевелился; он похож на белесый призрак; мы оба совсем белые. Я положил сумку на земляной вал, и теперь можно подумать, что она завернута в бумагу. На дне ямы плавают хлопья мокрого, подтаявшего, серого снега, а под ним, как в грязной лохани, видна черная вода. Снаружи выступы, выемки, груды мертвецов — все словно покрыто белой кисеей.

В тумане маячат две сгорбленные, неуклюжие фигуры, они ускоряют шаг, приближаются, окликают нас. Это пришла смена. У солдат краснобурые, влажные от холода лица, щеки, как глянцевые черепицы: но на их шинелях нет инея: солдаты спали под землей.

Паради вылезает из ямы. Я иду за ним по равнине; спина у него белая, как у Деда Мороза; походка утиная; башмаки облеплены снегом; подошвы у них белые, словно войлочные. Сгибаясь в три погибели, мы возвращаемся в окопы; на легкой белой пелене, покрывающей землю, чернеют следы сменивших нас солдат.

Над траншеей кое-где в виде больших неправильных палаток натянут на колья брезент, словно обшитый белым бархатом или испещренный инеем; там и сям стоят часовые. Между ними прикорнули какие-то тени; одни кряхтят, стараются укрыться от холода, уберечь от него убогий очаг — свою грудь; другие навеки зачоченели. Навалившись грудью на бруствер и положив на него руки, чуть косо стоит мертвец. Смерть застигла его за работой: он укреплял земляную насыпь. Его лицо, обращенное к небу, покрыто ледяной корой, как проказой, веки и глаза белые, на усах застыла пена. Кругом зловоние.

Спящие солдаты не такие белые: слой снега не тронут только на неодошевленных предметах и на мертвецах.

— Надо поспать.

Мы с Паради ищем уголок, нору, где бы укрыться и сомкнуть глаза.

— Не беда, если там мертвяки, — бормочет Паради. — В такой холод ни продержатся и не очень будут смердеть.

Мы идем дальше, мы так устали, что наши взгляды словно волочатся по земле.

Вдруг я вижу: рядом никого нет. Где Паради? Наверно, улегся в какую-нибудь яму. Может быть, он меня звал, а я не слышал.

Навстречу мне идет Мартро.

— Ищу, где бы поспать; я стоял на часах, — говорит он.

— Я тоже. Поищем вместе.

— А там что за кавардак? — спрашивает Мартро.

Из хода сообщения, совсем близко, доносится топот ног и гул голосов.

— Да там полным-полно солдат... Вы кто такие?

Какой-то парень из тех, что неожиданно обступили нас, отвечает:

— Мы — пятый батальон.

Прибывшие остановились. Они в полном снаряжении. Наш собеседник садится передохнуть на выступивший из ряда мешок с землей и кладет на землю гранаты. Он вытирает нос рукавом.

— Зачем вы сюда пришли? Вам сказали зачем?

— Ясное дело, сказали. Мы идем в атаку. Туда, до конца.

Он кивает головой в сторону севера. С любопытством разглядывая их, мы спрашиваем:

— Вы захватили все свое барахло?

— Не пропадать же ему? Вот и тащим!

— Вперед! — раздается команда.

Они встают, идут дальше, у них сонные лица, глаза опухли, морщины углубились. Тут и юноши с тонкой шеей, с пустым взглядом, и старики, и люди среднего возраста. Они идут обычным, мирным шагом. То, что предстоит им совершить, кажется нам свыше человеческих сил, хотя накануне мы сами совершили это. Свыше человеческих сил... И все же эти солдаты идут в северном направлении.

— Смертники! — говорит Мартро.

Мы расступаемся перед ними с чувством, близким к восхищению и ужасу.

Они прошли. Мартро качает головой и бормочет:

— Там, на другой стороне, тоже готовятся. Я говорю о солдатах в серых куртках. Ты думаешь, они рвутся в бой? Да ты рехнулся! Тогда зачем же они пришли? Их пригнали, знаю, но все-таки и они кое в чем виноваты, раз они здесь... знаю, знаю, но все это как-то непонятно.

Вид проходящего солдата наводит Мартро на другие мысли:

— А-а, вот идет этот, как его, верзила! Ну и громадина! Я-то ростом не вышел, сам знаю, но этот уж слишком вытянулся. Каланча! А какой всезнайка! Его никто не переплюнет! Спросим его, где найти землянку.

— Есть ли укрытия? — переспрашивает великан, возвышаясь над Мартро, как тополь. — Еще бы. Сколько хочешь. — Он вытягивает руку, как семафор. — Гляди: вот «Вилла фон Гинденбург», а там «Вилла Счастье». Если будете недовольны, значит, вы очень уж привередливы. Правда, там на дне есть жильцы, но они не шумят, при них можно говорить громко!..

— Эх, черт! — восклицает Мартро через четверть часа после того, как мы устроились в одной из этих ям. — Здесь еще есть жильцы, о которых этот страшный громоотвод не говорил.

Глаза Мартро закрываются, но он снова открывает их и принимается чесать бока и руки.

— Спать хочется до черта! А уснуть не придется! Не выдержишь!

Мы начинаем зевать, вздыхать и, наконец, зажигаем маленький огарок;

он мокрый и не хочет гореть, хотя мы прикрываем его рукой. Мы зеваем и смотрим друг на друга.

В этом немецком убежище несколько отделений. Мы прислоняемся к перегородке из плохо прилаженных досок; за ней, в землянке № 2, люди тоже не спят: сквозь щели пробивается свет, и слышатся голоса.

— Это ребята из другого взвода, — говорит Мартро.

Мы машинально прислушиваемся.

— Когда я был в отпуску, — гудит невидимый рассказчик, — мы сначала горевали: вспоминали моего беднягу брата, он в марте пропал без вести, наверно убит, и нашего сынишку Жюльена, призыва пятнадцатого года (он был убит в октябрьском наступлении). А потом понемногу мы с женой опять почувствовали себя счастливыми. Что поделаешь? Уж больно нас забавлял наш малыш, последний, ему пять лет. . . Он хотел играть со мной в солдаты. Я ему смастерил ружьецо, объяснил устройство окопов, а он прыгал от радости, словно птенчик, стрелял в меня, кричал и смеялся. Молодчина мальчуган! Ну и старался ж он! Из него выйдет отличный солдат. В нем, брат, настоящий воинский дух!

Молчание. Потом снова гул голосов, и вдруг слышится имя «Наполеон», а другой солдат или тот же самый говорит:

— Вильгельм — вонючая тварь: ведь это он захотел воевать. А Наполеон — великий человек!

* * *

Мартро стоит недалеко от меня на коленях, на дне этой плохо защищенной ямы, тускло освещаемой огарком; сюда врывается ветер, здесь кишат вши; воздух, согретый дыханьем живых, насыщен трупным запахом. . .

Мартро смотрит на меня; он, как и я, еще помнит слова неизвестного солдата, который сказал: «Вильгельм — вонючая тварь, а Наполеон — великий человек!» — и восхвалял воинский дух единственного оставшегося в семье ребенка.

Мартро опускает руки, качает головой, и слабый свет огарка отбрасывает на стену тень его движущихся рук, резкую карикатуру на них.

— Эх, — говорит мой скромный товарищ, — все мы неплохие люди, да еще и несчастные. Но мы слишком глупы, слишком глупы!

Он опять поворачивается ко мне. У него заросшее лицо, похожее на морду пуделя, и прекрасные, как у собаки, глаза, которые удивляются, о чем-то смутно размышляют и в чистоте своего неведения начинают что-то постигать.

Мы выходим из укрытия. Немного потеплело, снег растаял, и повсюду сплошная грязь.

— Ветер слизал сахар, — говорит Мартро.

* * *

Мне приказано отвести Жозефа Мениля на Пилонский перевязочный пункт. Сержант Анрио выдает мне эвакуационное свидетельство для раненого.

— Если встретите по дороге Бертрана, — говорит Анрио, — скажите ему, чтоб поторапливался. Он пошел сегодня ночью связным; его ждут уже час, ротный потерял терпение и вот-вот рассвирепеет.

Я отправляюсь вместе с Жозефом; он еще бледней обычного, молчит, как всегда, и еле передвигает ноги. Время от времени он останавливается и морщится от боли. Мы идем по ходам сообщения.

Навстречу нам попадает солдат. Это Вольпат.

— Я пойду с вами до конца спуска, — говорит он.

От нечего делать он помахивает великолепной витой палкой и щелкает, словно кастаньетами, драгоценными ножницами, с которыми никогда не расстается.

Орудия молчат. Там, где наклон почвы защищает нас от пуль, мы все трое вылезаем из траншеи и натываемся на сборище солдат. Льет дождь. У их ног, во мгле, на бурой равнине, лежит мертвец.

Вольпат протискивается к распростертому телу, вокруг которого собрались солдаты. Вдруг он оборачивается к нам и кричит:

— Это Пепен!

— А-а! — говорит Жозеф, почти теряя сознание.

Он опирается на мою руку. Мы подходим. Пепен лежит, вытянувшись во весь рост, руки судорожно сжаты, по щекам стекают струи дождя, лицо в кровоподтеках опухло и посерело.

Здесь же стоит солдат с киркой в руках; он вспотел; у него черноватые морщинистые щеки; он рассказывает о смерти Пепена:

— Он вошел в укрытие, где спрятались бои. А мы этого не знали и стали прокуривать нору, чтоб очистить ее от немцев; мы проделали эту операцию и нашли беднягу мертвым; он лежал вытянувшись, как кишка, среди немчуры, которой успел пустить кровь. Молодчина! Хорошо поработал! Могу это подтвердить; ведь я мясник из парижского предместья.

— Одним парнем меньше в нашем взводе! — говорит Вольпат.

Мы идем дальше. Теперь мы — в верхней части ложины, там, где начинается плато; вчера вечером мы пробегали здесь во время атаки, а сегодня ничего не узнаем.

Долина эта показалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Здесь было невиданное побоище. Земля усеяна трупами, словно кладбище, где были разрыты могилы.

Бродят солдаты; они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию — убитый портрет.

К небу поднимаются кольца черного дыма, затем вдали раздается грохот взрывов; небо усеяно черными точками: это реют стаи воронов.

Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты Иностранного легиона, убитые во время майского наступления; их легко узнать: они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертонвальского леса, в пяти-шести километрах отсюда. Во время этой атаки, одной из страшнейших атак за время тепе-

решней войны и всех войн вообще, эти солдаты единым духом добежали сюда. Они образовали клин, который слишком выдался вперед, и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоявших справа и слева от пройденной ими передовой. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже по этим останкам, разбросанным, развеванным непогодой и почти превращенным в прах, мы представляем себе, как их крошили пулеметы; бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и остатками насекомых; в зияющих черных ртах еще белеют зубы; всюду — жалкие потемневшие обрубки рук и ног, похожие на обнаженные корни, и среди них — голые желтые черепа в красных фесках под серым чехлом, который расползается, как бумажный. Из кучи тряпья, слепого красноватой грязью, торчат берцовые кости, а из дыр в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой, сломанной клетки, а рядом — измазаные, изодранные ремни, простреленные и расплюснутые фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на скелете и на куче лоскутьев и предметов снаряжения, что-то белеет: если нагнуться, увидишь, что это мелкие косточки.

Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля; в самом деле, кое-где из-под бугорков уже торчит только кусок сукна: в этой точке земного шара подверглось уничтожению еще одно человеческое существо.

Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат, павших тогда рядом с нашими; об этом свидетельствуют три истлевших трупа; они лежат один на другом, один в другом; на голове у них серые фуражки, красный кант которых не виден под серым ремешком; куртки — желто-серые, лица — зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов: от шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это сплошная землистая каша, лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз — два прогнивших плода. Другой — плоский, иссохший — лежит на животе; обнаженная спина в клочьях, которые словно трепещут на ветру, лицо, руки, ноги уже вросли в землю.

— Поглядите! Это свеженький!..

Среди равнины, под дождливым, холодным небом, на этом похмелье после оргии резни воткнута в землю обескровленная, влажная голова с тяжелой бородой.

Это один из наших: рядом валяется каска. Из-под опухших век чуть виднеются застывшие, как будто фарфоровые белки глаз; в зарослях бороды губа блестит, как улитка. Он, наверно, упал в воронку от снаряда, а ее засыпал другой снаряд и зарыл этого солдата по самую шею, как немца с кошачьей головой у «Красного кабачка».

— Я его не узнаю, — с трудом говорит Жозеф, медленно подходя.

— А я знаю его, — отвечает Вольпат.

— Этого бородача? — слабым голосом спрашивает Жозеф.

— Да у него нет бороды. Сейчас увидишь.

Вольпат садится на корточки, проводит палкой под подбородком трупа и отделяет от него ком грязи, которая служила оправой этой голове и казалась бородой. Он поднимает каску, надевает ее на голову мертвеца и прикладывает к его глазам вместо очков кольца своих знаменитых ножиц.

— А-а! — воскликнули мы. — Это Кокон!

— А-а!

Когда внезапно узнаешь о смерти кого-нибудь из тех, кто сражался рядом с тобой и жил одной с тобой жизнью, или когда видишь его труп, чувствуешь удар прямо в сердце, еще даже не понимая, что произошло. Поистине как бы узнаешь о своем собственном уничтожении. И только поздней начинаешь сожалеть о выбывшем из строя товарище.

Мы смотрим на эту омерзительную голову, похожую на голову ярмарочной мишени; она так изуродована, что стирается всякое воспоминание о живом человеке. Еще одним товарищем меньше!.. В растерянности мы стоим вокруг него.

— Это был...

Хочется что-то сказать. Но не находишь нужных, значительных, правдивых слов.

— Идем! — с усилием произносит Жозеф, страдая от острой физической боли. — У меня нет сил все время останавливаться.

Мы покидаем бедного Кокона, бывшего человека-цифру, бросив на него последний беглый, почти рассеянный взгляд.

— Трудно себе даже представить, — говорит Вольпат.

... Да, трудно себе даже представить. Все эти утраты не умещаются в голове. Наш взвод осиротел. Но мы смутно ощущаем величие павших. Они капля по капле отдавали свои силы и затем, под конец, отдали самих себя. Они превозмогли смерть; в их жертве есть нечто сверхчеловеческое, нечто совершенное.

* * *

— Погляди, этого ухлопали как будто давно, а...

На шее почти иссохшего тела зияет свежая рана.

— Это крысы... — говорит Вольпат. — Трупы старые, но их жрут крысы... Видишь дохлых крыс? Вероятно, они отравились; вот их сколько вокруг каждого трупа. Да и этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс.

Он приподнимает ногой распластанные останки, и, действительно, мы видим под ними двух дохлых крыс.

— Мне хочется найти Фарфаде, — говорит Вольпат. — Я ему крикнул, чтоб он подождал минутку, помнишь: когда мы бежали, он за меня ухватился. Бедняга! Если б он только дождался!

Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу; на каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик. Он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом.

— Бертран!

Мы чувствуем острую, щемящую боль. Значит, он тоже убит, а ведь он больше всех воздействовал на нас своей волей и ясностью мысли!

Он пал, он пал, как всегда исполняя свой долг. Он нашел смерть на поле брани!

Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга.

— А-а!..

Отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло; мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут. Руки раскинуты крестом, пальцы растопырены. Правая нога тянется в сторону; левая — вывихнутая, влажная, бескостная; она пробита осколком; это и вызвало кровотечение, от которого, наверно, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как пауч.

Мы выпрямляем и укладываем товарища, мы возвращаем покой его страшной маске. Вольпат вынимает из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет его среди своих бумаг, рядом с фотографией жены и детей.

— Да, брат, это был настоящий человек! Его слову можно было верить. Эх, как он был нам нужен!

— Да, — отвечаю я, — он всегда был бы нам нужен.

— Беда!.. — бормочет Вольпат и дрожит.

Жозеф шепотом повторяет:

— Эх, черт подери, эх, черт подери!

По долине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе.

Вольпат возвращается в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере — о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу:

— Не будем терять друг друга из виду! Ладно? Время от времени пиши просто: «Все хорошо» — и ставь свою подпись. Ладно?

Он исчезает среди людей, столпившихся на этом пространстве, которым уже завладел унылый, бесконечный дождь.

Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся по откосу в лошину.

Откос этот называется «Ячейки зуавов». . . ⁴¹ Здесь во время майского наступления зуавы начали рыть индивидуальные укрытия, возле которых они и были перебиты. Некоторые из них лежат на самом краю ямы и еще держат в истлевших руках саперную лопату или смотрят на нее глубокими черными глазами. Земля так переполнена мертвецами, что при оползании обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, выстроившихся в ряд, как фарфоровые чаши.

Здесь, в недрах земли, несколько пластов трупов; во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно лошины сплошь устлано обломками, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, по железному лому, кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранцев и еще не размытым дождями. Миски, ко-

робки консервов, каски пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а вывернутые кольца расщеплены, изрешечены.

В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины, оставшиеся после землетрясения, вывалены целые возы разных предметов. И там, где нет мертвецов, сама земля кажется трупом.

У поворота извилистого рва мы пересекаем Международный ход, все еще усеянный шелестящими разноцветными лохмотьями; беспорядочные кучи рваных тканей придают этой траншее вид убитого человеческого существа. Во всю ее длину, вплоть до земляной насыпи, навалены трупы немцев; они переплелись, срослись между собой, как вереницы грешников в аду. Иные торчат из наполненных грязью ям, другие лежат среди невообразимого нагромождения балок, веревок, проволоки, прутьев, фашин, подпорок. Возле насыпи стоит стоймя в груде мертвецов один труп, а рядом с ним в той же зловещей груде наклонился вбок другой. Они похожи вместе на обломок огромного колеса, увязшего в грязи, или на оторванное крыло мельницы, и среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, картинки религиозного содержания, благочестивые книжонки, листки с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом; все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, усеяли тысячами белых цветов обмана и никчемности эти зачумленные берега, эту долину уничтожения.

Я иду дорогу получше, чтобы провести Жозефа; он постепенно теряет способность двигаться; боль, видимо, распространяется по всему телу. Я его поддерживаю; он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на окружающий нас зловещий хаос.

Прислонившись к расщепленным доскам разбитой караульной будки, сидит фельдфебель. Под глазом у него маленькая дырка: удар штыка пригвоздил его к этим доскам. Против него, упершись локтями в колени и прижав кулаки к шее, застыл, тоже сидя, солдат, у которого срезана вся верхушка черепа — ни дать ни взять яйцо всмятку. Как чудовищный часовой, стоит рядом не человек, а полчеловека; расколотый, рассеченный надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда делась вторая половина этого изваяния; глаз вывалился и повис; синеватые внутренности спиралью обвилились вокруг единственной ноги.

Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью.

Сквозь брешь насыпи виднеется дно траншеи; там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии, в спинах у них зияют кровавые раны. Из груды этих трупов кто-то вытащил тело огромного сенегальского стрелка; он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться на пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на свои кисти, верно, срезанные разорвавшейся у него в руках гранатой; все его лицо шевелится, кишит червями, словно он что-то жует.

— Здесь, — говорит проходящий альпийский стрелок ⁴², — боши хотели выкинуть фортель: они подняли белый флаг, но им пришлось иметь дело

с арабами, и этот номер не прошел!.. А-а, вот и белый флаг; им и воспользовались эти скоты!

Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко, на котором мирно разворачивается белый квадратный лоскут.

... По разбитому ходу идет процессия солдат; они несут лопаты. Им приказано засыпать окопы, чтобы разом похоронить всех мертвецов. Итак, эти труженики в касках совершат здесь дело правосудия: они вернут полям их обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков.

* * *

По ту сторону прохода кто-то окликает меня: там, прислонясь к колу, сидит на земле человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки.

— Санитары меня перевязали, — говорит он глухо, — но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту.

Он покачивает головой и просит:

— Побудь немного со мной!

Он взволнован. Из его глаз текут слезы. Он протягивает мне руку, удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться.

— До войны я был честным человеком, — говорит он, глотая слезы. — Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей... А теперь меня самого убили... Послушай, послушай, не уходи, послушай!..

— Мне надо отвести Жозефа, он еле стоит. Я вернусь.

Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза.

— Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А-а, везет же некоторым женам и детям! Ну, ладно, отведи его и приходи обратно!.. Может быть, я еще дождусь тебя...

Теперь надо взобраться на противоположный склон лощины. Мы проникаем в бесформенный, изувеченный ров старого хода 97.

Воздух внезапно наполняется остервенелым свистом. Над нами пронесится шквал шрапнели... В недрах желтых туч она разрывается, проливаясь смертоносным дождем. Снаряды то и дело взвиваются в небо, вспахивают землю, разворачивают холмы и вырывают из них чьи-то древние кости. Громовые вспышки множатся по всей линии фронта.

Опять начинается заградительный огонь.

Мы, как дети, кричим:

— Довольно! Довольно!

В этом неистовстве смертоносных орудий, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку; он оглядывается, смотрит на ливень пуль, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет:

— Как? Опять? Значит, еще не кончилось? Мы ведь всего насмотрелись, всего натерпелись!.. И вот начинается сызнова! Так нет же, нет!

Задыхаясь, он падает на колени, озирается с бессильной ненавистью и повторяет:

— Значит, это никогда не кончится, никогда?!
Я беру его под руку и поднимаю.
— Пойдем! Для тебя это скоро кончится!

* * *

Однако, прежде чем идти дальше, придется набраться терпения. Мне надо вернуться к умирающему Рамюру: он ждет меня. Но за меня цепляется Жозеф, а потом я вижу, что у того места, где я оставил умирающего, суетятся люди. Я догадываюсь: теперь уже не стоит туда идти.

Под этой свинцовой бурей сотрясается дно ложины, где мы сидим, прижавшись друг к другу. То и дело слышится приглушенный шквал снарядов, но в нашем убежище мы не подвергаемся опасности. При первом же затишье люди, отсиживающиеся здесь вместе с нами, расходятся. Санитары с невероятными усилиями тащат в гору тела убитых и, словно упрямые муравьи, то и дело скатываются обратно. Раненые и связисты уходят попарно или в одиночку.

— Идем, — говорит Жозеф, сгорбившись, и измеряет взглядом склон, последнюю часть своего мученического пути.

Деревья здесь — ряд ободранных стволов ивы, одни из них кажутся широкими, плоскими, другие зияют, словно стоячие отверстые гробы. Вся местность разворочена, изуродована; повсюду бугры и провалы, какие-то подозрительные кучи, как будто сюда низверглись все тучи разгравшейся бури. Над черной, разгромленной землей высятся истерзанные стволы, вырисовываясь на фоне то бурого, то молочно-белого, тускло поблескивающего неба, неба из оникса.

Поперек отверстия хода 97 лежит дуб; его мощный ствол перекручен, разбит.

Ход этот завален трупом. Голова и ноги застряли в земле. Струящаяся по дну мутная вода покрыла туловище песчаным студнем. Под этим мокрым саваном выпирают грудь и живот, прикрытые рубашкой.

Мы переступаем через эти останки, ледяные, липкие и светлые, как брюхо ящерицы; двигаться здесь трудно из-за рыхлой, вязкой почвы. А стоит опереться на бруствер, как руки уходят в его раскисшую землю.

В эту минуту над нами раздается адский свист. Мы сгибаемся, как тростник. В воздухе разрывается шрапнель; она оглушает, ослепляет нас, обволакивает черным свистящим дымом. Перед нами солдат взмахивает руками и исчезает в какой-то яме. Громкие звуки голосов поднимаются и падают, словно обломки.

Смотря сквозь широкий черный покров — ветер срывает его с земли и отбрасывает в небо — на санитаров, которые ставят носилки, бегут к месту взрыва и поднимают неподвижное тело, я вспоминаю незабываемую ночь, когда мой брат по оружию Потерло, сердце которого наполнилось надеждой, словно улетел, раскинув руки, вместе с пламенем взрыва.

Наконец мы взбираемся на вершину; открывается страшное зрелище: на ветру стоит раненый; ветер встряхивает его, но он стоит как вкопан-

ный; поднятый капюшон развевается; лицо судорожно подергивается, рот широко раскрыт; раненый воет, и мы проходим мимо этого кричащего изваяния.

* * *

Мы добрались до бывшей первой линии, откуда ходили в атаку. Мы сели на стрелковую ступень и прислонились к лестнице, сделанной саперами перед нашим наступлением. Проходит самокатчик Этерп, здоровается с нами, но тут же возвращается и вытаскивает из-за обшлага конверт, вылезавший край которого казался белым галуном.

— Ты берешь письма покойного Бике? — спрашивает меня Этерп.

— Да.

— Вот его письмо: оно вернулось обратно. Адрес нельзя было разобрать.

Конверт, наверное, лежал в пачке сверху, попал под дождь, и теперь среди лиловатых разводов уже ничего не понять. Только в углу уцелел адрес отправителя... Я осторожно вынимаю письмо: «Дорогая ма-тушка...»

— А-а, помню!

Бике лежит под открытым небом в той самой траншее, где мы теперь отдыхаем. Он написал это письмо недавно, на стоянке в Гошен-л'Аббе, в сияющий, великолепный день; он отвечал на письмо матери, которая тогда напрасно тревожилась и рассмешила этим сына...

«Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности. Ничего подобного! Напротив. Все это кончилось. Теперь жарко, мы потеем; делать нам нечего, мы слоняемся и греемся на солнышке. Мне было смешно читать твое письмо...»

Я кладу это письмо в измятый, истрепанный конверт; если бы не случайность, старая крестьянка по иронии судьбы прочла бы эти строки как раз в то время, когда от тела ее сына среди холода и бури осталась только горсть мокрого праха, стекающего темным ручейком по насыпи траншеи.

Жозеф запрокинул голову. Глаза его смыкаются, дыхание с трудом вырывается из груди.

— Крепись! — говорю я.

Он открывает глаза.

— Эх, не мне надо это говорить, — отвечает он. — Погляди вот на этих! Они возвращаются туда, и ты тоже скоро вернешься. Для вас все это еще не кончилось. Да, надо быть сильным, чтоб выносить все это еще и еще раз!

XXI ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТ

Отсюда неприятель уже видит нас со своих наблюдательных пунктов — больше нельзя вылезать из окопов. Сначала мы идем по ходу сообщения у Пилонской дороги. Траншея вырыта вдоль нее, а сама дорога исчезла: деревья вырваны с корнем, траншея наполовину подточила и поглотила дорогу, а то, что оставалось, покрылось землей, заросло травой и постепенно смешалось с полями. Там, где прорвался мешок с землей, теперь грязная впадина — на уровне наших глаз опять показывается искореженный край бывшей мощеной дороги или корни деревьев, срубленных и использованных на укрепление насыпи. Изрезанная, неровная насыпь подобна волне земли, обломков и черной пены, которая докатилась по обширной долине до края рва.

Мы добираемся до скрещения ходов; на вершине обезображенного пригорка, который вырисовывается на фоне серой тучи, стоит наклонно кол со зловещей надписью. Сеть ходов все сужается: со всех сторон к перевязочному пункту стекаются люди; их становится все больше и больше на этих подземных дорогах.

Мрачные ходы-переулки усеяны трупами. В стене там и сям зияют свежие воронки, которые резко выделяются на искаленном грунте; возле них сидят на корточках, прижав колени к подбородку, или стоят, прислонясь к стене, люди с землистыми лицами, молчаливые и прямые, как винтовки, которые чего-то ждут рядом с ними. Некоторые из этих мертвецов обращают к живым забрызганные кровью лица или смотрят в пустоту неба.

Жозеф останавливается, чтобы передохнуть. Я говорю ему, как ребенку:

— Скоро придем, скоро придем!

Скорбный путь между мрачными насыпями все сужается. У нас возникает чувство удушья, спускаться становится все труднее. Стены траншеи как будто сближаются, смыкаются перед нами; мы поминутно останавливаемся или с трудом пролезаем вперед, нарушая покой мертвецов; сзади на нас напирают солдаты: все валом валят по направлению к тылу — тут и посыльные, и калеки, и раненые, которые стонут, кричат, судорожно торопятся, багровые от лихорадки или смертельно бледные, и то и дело вздрагивают от боли.

* * *

Вся эта толпа наконец докатывается до места, со стонами скопляется на перекрестке, где зияют отверстия — входы в перевязочный пункт.

Врач размахивает руками и орет, чтоб отстоять хоть немного свободного места под натиском этой людской лавины. Под открытым небом, у входа в убежище, он наскоро перевязывает раненых; по слухам, он и его помощники за целый день и за целую ночь не отдыхали ни минуты, выполнив сверхчеловеческую работу.

Пройдя через его руки, часть раненых попадает в укрытие этого пункта, другая эвакуируется ближе к тылу, на другой, более обширный перевязочный пункт, устроенный в траншее Бетюнской дороги.

В этой узкой впадине, на перекрестке рвов, как в глубине «Двора чудес»⁴³, мы ждем два часа и, зажатые, стиснутые, полузадушенные, ослепленные, напираем друг на друга, словно скот в тесном загоне, пропитанном запахами мяса и крови. Лица все больше искажаются и бледнеют. Какой-то раненый не может удержать слез; они текут ручьями, он мотает головой, и слезы капают на соседей. У другого из раны хлещет кровь; он кричит: «Эй вы, займитесь мною!» Молодой солдат с воспаленными глазами воздевает руки к небу, воет, как грешник в аду: «Я горю!» — и от него пышет жаром, словно от костра.

* * *

Жозефу сделали перевязку. Он проталкивается ко мне, пожимает мне руку и говорит:

— Рана, кажется, неопасная! Прощай!

Нас тотчас же разделяет толпа. Я в последний раз смотрю на Жозефа, у него измученное лицо; он поглощен болью, никого и ничего не замечает; дивизионный санитар берет его под руку и уводит. Я их больше не вижу.

На войне и жизнь и смерть разлучают людей, прежде чем успеваешь об этом подумать.

Мне советуют не оставаться здесь и идти вниз, на перевязочный пункт, чтобы отдохнуть перед возвращением.

Здесь два входа, очень низких, узких, на уровне земли. Один из них ведет в покатую галерею, тесную, как сточная канава. Чтобы проникнуть в помещение перевязочного пункта, надо сначала повернуться спиной к отверстию этой трубы и спускаться задом, нащупывая ногой ступеньки; высокая ступенька — через каждые три шага.

Входя вовнутрь, попадаешь словно в тиски, и кажется, что невозможно ни спуститься, ни подняться. Углубляешься в эту бездну, испытывая то же кошмарное чувство удушья, которое все нарастало, когда мы пробирались по чреву окопов, прежде чем добрести сюда. Наталкиваясь на стенки, останавливаешься, застреваешь. Приходится передвигать на пояс подсумок, брать мешок в руки, прижимать его к груди. На четвертой ступеньке чувство удушья усиливается, тебя охватывает смертельный ужас; чуть только занесешь ногу, чтобы спуститься, стучаешься спиной о свод. Иной раз приходится ползти на четвереньках задом наперед. Чем ниже спускаешься, тем трудней дышать тяжелым, зачумленным воздухом. Рука чувствует холодное, липкое, могильное прикосновение глиняной стенки. Земля нависает, теснит тебя со всех сторон, обволакивает, как саван, обрекая на зловещее одиночество, и веет в лицо запахом плесени. После долгих усилий добираешься до последних ступенек; вдруг доносится какой-то странный гул, он вырывается из ямы, как жар из натопленной кухни.

Наконец спускаешься на дно этого хода, но страшный сон еще не кончен; попадаешь в темный погреб, высотой не больше полутора метров. Чуть выпрямишься и разогнешь спину — больно стучаешься головой о балки, и слышишь, как вновь прибывшие более или менее громко, смотря по состоянию духа и здоровья, неизменно ворчат: «Н-да, хорошо еще, что я в каске».

В углублении сидит на корточках человек. Это дежурный санитар; он однообразно твердит каждому посетителю: «Вытирайте ноги!» Здесь уже выросла целая куча грязи, о нее спотыкаешься, в ней увязаешь внизу лестницы на пороге этого ада.

* * *

В гуле стонов и жалоб, среди острого запаха, исходящего от бесчисленных ран, в этой призрачной пещере, где ютятся неясная, непонятная жизнь, я прежде всего стараюсь осмотреться. В укритии мерцают свечи, кое-где рассеивая мрак. Вдали, как в конце подземного каземата, брезжит тусклый дневной свет. Можно различить очертания каких-то предметов, поставленных вдоль коридора: это носилки, низкие, как гробы. Вокруг них и над ними суетятся согнувшиеся, исковерканные силуэты; у стен мельтешат вереницы и гроздья призраков.

Я оборачиваюсь. На другом конце, противоположном тому, где пробивается дневной свет, перед полотнищем, натянутым от свода до земли, теснятся люди. Сквозь охровую, наверно, промасленную ткань виднеется свет. Там, в отгороженном закоулке, при ацетиленовой лампе делают прививки против столбняка. Когда этот занавес приподнимают входящие или выходящие люди, свет внезапно озаряет грязных, оборванных солдат. Они толпятся здесь в ожидании прививки, стоят, согнувшись под низким потолком, сидят, ползают на коленях. Они отталкивают друг друга, чтобы не потерять своей очереди или захватить очередь другого, и кричат, словно лают: «Я! Я! Я!» В этом углу, где идет глухая борьба, задышаешься от смрада ацетилена и крови.

Я отхожу в сторону. Ищу, где бы присесть. Я продвигаюсь ощупью, по-прежнему согнувшись и вытянув руки.

При свете раскуриваемой кем-то трубки я замечаю скамью, занятую ранеными.

Глаза привыкают к полумраку; я смутно различаю ряд сидящих людей, забинтованные головы, руки, ноги.

Искалеченные, изуродованные, неподвижные или суматошные люди цепляются за скамью, как утопающий за лодку; здесь целая коллекция разнообразных бед и страданий.

Один из раненых вскрикивает, привстает и опять садится. Его сосед в разорванной шинели покачивает обнаженной головой, смотрит на него и говорит:

— Ничего, потерпи!..

Эти слова он повторяет много раз, уставившись в одну точку, не снимая рук с колен.

Посреди скамьи сидит молодой человек и разговаривает сам с собой.

Он — авиатор. У него ожоги на боку и на лице. Он говорит в лихорадке; ему кажется, что его все еще жжет пламя, вылетающее из мотора. Он бормочет: «Gott mit uns», затем: «С нами бог!»

Зуав с перевязанной рукой перегнулся на бок, как будто плечо стало для него непосильной ношей, и спрашивает авиатора:

— Ты свалился с самолета, да?

— Чего я только не насмотрелся, — с трудом говорит летчик.

— Да и я насмотрелся! — перебивает его солдат. — Многие бы спятели, если б увидели то, что я видел.

— Садись сюда! — говорит кто-то из сидящих на скамье и дает мне место. — Ты ранен?

— Нет, я привел раненого и пойду обратно.

— Ну, значит, тебе хуже, чем раненым. Садись!

— Я был мэром у нас в деревне, — объясняет другой, — но когда я вернусь, никто меня не узнает: столько пришлось намяться!

— Я уже четыре часа торчу здесь, — стонет солдат, похожий на ничего; его рука трясется, голова опущена, спина согнута; он держит на коленях каску, как кружку для подаяния.

— Ждем, чтоб нас эвакуировали, — говорит мне раненый толстяк; он задыхается, потеет, от него так и пышет жаром; его усы свисают, словно отклеиваясь от мокрого лица, мутные глаза широко раскрыты. Его ран не видно.

— Оно самое, ждем, — говорит другой. — Сюда набились все раненые из нашей бригады да еще из других частей. Погляди-ка: здесь мусорный ящик целой бригады.

— У меня гангрена, у меня переломы, у меня все внутри изодрано в клочья, — причитает раненый, закрыв лицо руками. — А еще на прошлой неделе я был молодым, я был чистым. Меня подменили: теперь у меня старое, изуродованное, поганое тело, и приходится с ним возиться.

— Вчера мне было двадцать шесть лет, — говорит другой. — А сегодня сколько?

Он старается поднять свою трясущуюся голову, показать состарившееся за одну ночь, изможденное лицо; его щеки ввалились; в глазах тусклый маслянистый свет, как в потухающем ночнике.

— Мне больно, — скромно говорит невидимое существо.

— Ничего, потерпи, — машинально повторяет другой.

Молчание. Авиатор вскрикивает:

— С обеих сторон священники старались перекрычать друг друга!

— Что это значит? — с удивлением спрашивает зуав.

— Да у тебя, что, не все дома, бедняга? — восклицает стрелок, раненый в руку; она привязана к телу; он на минуту отводит глаза от своей одеревеневшей ладони, чтобы взглянуть на авиатора.

Авиатор смотрит в одну точку и пытается описать таинственное видение, которое преследует его повсюду:

— Сверху, с неба, знаете, мало что видно. Поля — квадратики, деревни — кучки; дороги кажутся белыми нитками. Видишь еще какие-то длинные желобки; они как будто нацарапаны на песке острием булавки.

Ровная кайма с двух сторон долины — это сеть окопов. В воскресенье утром я летал над линией огня. Между нашими и немецкими передовыми, между двумя огромными армиями, которые стоят одна против другой, смотрят одна на другую, и не видят, и ждут, — расстояние небольшое; иногда сорок, иногда шестьдесят метров. А сверху, с высоты, мне казалось — всего один шаг. И вдруг вижу: и у бошей и у наших на этих параллельных линиях, которые как будто соприкасаются, что-то происходит: там какое-то средоточие, ядро, а вокруг нечто похожее на черные песчинки, рассыпанные по серому полю. Все это не движется, замерло, тревоги как будто нет. Я снизился, чтоб узнать, в чем дело.

Я понял: было воскресенье, и подо мной служили две мессы; я различал алтарь, священников и стадо молящихся. Чем больше я снижался, тем ясней видел, что эти две церемонии одинаковы, совсем одинаковы, до нелепости. Любая из них могла быть отражением другой. Мне казалось, что в глазах у меня двоится. Я снизился еще, но в меня не стреляли. Почему? Не знаю. Я летел медленно. И вот я услышал... Я услышал рокот, единый рокот. Я разобрал, что это единая молитва. Единое песнопение, которое поднималось к небу, где находился я. Я летал взад и вперед, чтобы послушать этот смутный хор; молитвы звучали с обеих сторон, но все-таки сливались воедино, и, чем больше обе толпы хотели перекричать друг друга, тем больше голосов объединялось в небе.

Я летел очень низко и расслышал два возгласа, единый крик: «Gott mit uns» и «С нами бог!» Тут в мой аэроплан попала шрапнель.

Раненый покачивает перевязанной головой. Его мучает это воспоминание. Он прибавляет:

— В эту минуту я решил: «Я сошел с ума!».

— Это жизнь сошла с ума, — говорит зуав.

Глаза рассказчика горят; он словно бредит; он старается высказать какую-то неотвязную мысль.

— Да как же это? Вы только представьте себе: два одинаковых собрания, выкликают оба одинаковые и все-таки противоположные слова, испускают враждебные и одновременно тождественные возгласы? Что должен ответить господь бог? Я знаю, что он знает все, но, даже зная все, он, наверно, не знает, что делать.

— Вот так история! — восклицает зуав.

— Богу на нас наплевать, не беспокойся!

— Но что же тут удивительного? Ведь винтовки тоже говорят на одном языке, и это не мешает народам палить друг в друга, да еще как!

— Да, — замечает авиатор, — но бог-то один. Я еще понимаю, что люди молятся, но куда эти молитвы доходят?

Беседа прекращается.

— Там лежит уйма раненых, — говорит мне человек с тусклым взглядом. — Прямо диву даешься, да, диву даешься, как только их перенесли сюда вниз. Страшно подумать!

В эту минуту проходят два худых солдата колониального полка; они поддерживают друг друга, как пьяные, натываются на нас, пятятся и стараются найти местечко, где бы лечь.

— Знаешь, старик, — хриплым голосом заканчивает свой рассказ один из них, — в этой траншее мы просидели трое суток без еды; трое суток у нас ничего не было. Что поделаешь! Мы пили свою мочу, но ведь это не вода.

Другой в ответ рассказывает о холере:

— Вот скверная штука: лихорадка, рвота, колики! Я от нее подышал!

— Но как же это так, — вдруг восклицает авиатор, настойчиво стараясь разобраться в чудовищной загадке, — но как же это бог позволяет людям думать, что он со всеми нами? Почему он допускает, чтобы мы все, все в один голос кричали, как болваны, как сумасшедшие: «С нами бог!» — «Да нет же, нет, вы ошибаетесь, бог с нами!»

Как бы в ответ с носилок раздается стон, и с минуту в наступившей тишине звучит он один.

* * *

— Я не верю в бога, — слабым голосом говорит кто-то. — Я знаю, бога нет. А то почему ж мы страдаем? Нас могут пичкать какими угодно россказнями и выдумывать для этого разные словечки, но чтобы все эти страдания ни в чем не повинных людей были от милосердного бога? Это чепуха!

— А я, — говорит другой солдат на той же скамье, — я не верю в бога из-за холода. Я видел, как холод убивал людей. Если бы существовал милосердный бог, холода не было бы. В этом можно не сомневаться.

— Чтобы поверить в бога, надо, чтобы не существовало то, что существует. А до этого далеко.

Несколько искалеченных людей, хоть и не видят друг друга, одновременно кивают головой в знак согласия.

— Правильно, — говорит один, — правильно!

Эти изувеченные люди, одинокие, затерянные и, несмотря на победу, побежденные, начинают прозревать. В исторических трагедиях бывают минуты, когда люди не только искренни, но и глубоко правдивы; тогда им открывается истина.

— А я, — замечает новый собеседник, — не верю в бога, потому...

Его слова прерывает ужасный приступ кашля. Наконец солдат перестает кашлять; он посинел; на глазах выступили слезы; он тяжело дышит. Его спрашивают:

— Ты куда ранен?

— Я не ранен, я болен.

— А-а! — разочарованно восклицают солдаты тоном, означающим: «Ну, брат, это неинтересно!»

Кашлявший понимает это и начинает расписывать свою болезнь:

— Мое дело пропащее: я харкаю кровью. У меня больше сил нет, и знаешь, когда силы уходят, обратно они уже не возвращаются.

— Гм, — нерешительно произносят товарищи, но все-таки они убеж-

дены в ничтожестве «штатских» болезней по сравнению с полученными на войне ранами.

Больной смиренно опускает голову и тихонько повторяет:

— Я уже не могу ходить! Куда же мне деться?

* * *

В горизонтальном коридоре, уставленном носилками, который тянется, сужаясь, вплоть до бледного просвета, в этом подземелье, где мигает жалкое, красноватое, словно лихорадочное, пламя свечей и где пляшут по стенам какие-то черные тени, поднимается иной раз суета. Головы, руки, ноги приходят в движение: крики вызывают новые жалобы, новые стоны и летят все дальше, как незримые призраки. Лежащие тела шевелятся, ворочаются, корчатся.

В этой трущобе среди людей, искалеченных, униженных страданием, появляется плотная туша — санитар, чьи тяжелые плечи покачиваются, как тюк, положенный поперек спины, а зычный голос гулко отдается под сводами:

— Опять ты трогал перевязку! Гад ползучий! Так и быть, перевязку тебя еще раз, братец, но если ты снова дотронешься до бинта, увидишь, что я с тобой сделаю!

В полумраке он перевязывает голову малорослого солдата со взерошенными волосами и бородой торчком; опустив руки, тот молча покоится ему.

Санитар отходит от раненого, смотрит вниз и во весь голос кричит:

— Это что такое! Эй, друг, да ты, часом, не рехнулся? Это еще что за новости? Ложиться на раненого?!

Огромной рукой он хватает и встряхивает какое-то тело и из-под него, пыхтя и бранясь, вытаскивает другое, на котором первое вытянулось, как на тюфяке; между тем перевязанный карлик, как только его оставляют в покое, поднимает руки и, ни слова не говоря, опять старается снять повязку, сжимающую его голову.

... Вдруг толкотня, крики; во мраке этого склепа мечутся какие-то силуэты, различные при свете зажженной свечи. Их много; они обступили раненого и, шатаясь, с трудом удерживают его на носилках. У него отрезаны ступни. Забинтованные ноги туго перетянуты жгутами, чтобы остановить кровотечение. Все же он исходит кровью, и полотняные повязки кажутся красными штанами. Со своим потным, темным лицом он похож на черта; несчастный бредит. Его придерживают за плечи и колени: несмотря на то что у него отрезаны ступни, он хочет соскочить с носилок и убежать.

— Пустите меня! — орет он хриплым, дрожащим от гнева и напряжения басом, в котором неожиданно прорываются высокие ноты, как в трубе, в которой пытаются играть слишком тихо. — Черт подери! Пустите, говорят вам! У-ух! Да вы что думаете? Я останусь здесь, что ли? Ну, разойдись, не то я всех вас пришибу!

Он сгибается и разгибается так неистово, что тянет за собой всех, кто навалился на него всей своей тяжестью, и видно, как описывает

зигзаги свеча, которую держит коленопреклоненный солдат, сжимающий другой рукой обезумевшего калеку; а тот вопит так громко, что будит спящих и дремлющих солдат. Они оборачиваются, приподнимаются, прислушиваются к его воплям и бессвязным жалобам, но в конце концов он утихает. В ту же минуту в другом углу двое раненых, как бы распятые на земле, начинают ссориться, и, чтобы прекратить эту бешеную перебранку, приходится унести одного из них.

Я отхожу в угол, где дневной свет проникает в щели между обнажившимися балками, как сквозь сломанную решетку. Я шагаю через бесконечные ряды носилок, загромаждающие эту подземную галерею, где нечем дышать. При мерцании блуждающих огоньков свечей выступают человеческие фигуры, простертые на носилках; они лежат недвижимо, только глухо стонут или кричат.

Прислонясь к стене, на краю носилок сидит человек, расстегнутая изодранная куртка которого открывает белую впалую грудь, грудь мученика. Откинутая назад голова скрыта в тени, зато видно, как бьется его сердце.

Дневной свет, что просачивается в конце галереи, появился после обвала: несколько снарядов, попавших в одно и то же место, пробили в конце концов плотный земляной покров над этим перевязочным пунктом.

Белые отсветы играют здесь на плечах и на складках серо-голубых шинелей. В самом деле, чтобы глотнуть свежего воздуха, выбраться на минуту из этого некрополя, у отверстия теснятся полусонные, полумертвые люди, парализованные слабостью и тьмой. На границе мрака этот угол является оазисом, выходом на волю, где можно постоять, не сгибаясь, и почувствовать чудесное прикосновение света, льющегося с неба.

— На этом месте снаряды выпотрошили нескольких парней, — говорит мне солдат, который ждет очереди в свете проникших сюда убогих лучей. — Ну и каша получилась! Погляди, вон поп собирает требуху, что высыпалась из них!

Старший санитар — толстяк в коричневой мохнатой фуфайке, придающей ему вид гориллы, — снимает кишки и внутренности, обвившиеся вокруг балок разрушенного сруба. Для этого он пользуется винтовкой с примкнутым штыком, ибо не нашел достаточно длинной палки. Лысый, бородатый, одышливый великан неловко действует оружием. У него добродушное, кроткое и жалкое лицо; стараясь зацепить в углах обрывки кишок, он ошеломленно охает. Его глаз не видно за синими очками; он громко пытит, у него маленькая голова и непомерно толстая шея конической формы.

Он прокалывает и наматывает на штык длинные ленты внутренностей и собирает куски мяса. Ногами он уперся в землю, между обломков, разбросанных в этом закоулке, наполненном стопами, можно подумать, что это мясник, занятый какой-то дьявольской работой.

Привалившись к углу, я закрыл глаза и теперь почти не вижу людей, которые стонут, охают, содрогаются вокруг меня.

Я смутно улавливаю обрывки фраз. Солдаты рассказывают все те же удручающе однообразные истории о ранах.

— ... Да, черт их дери! В этом месте казалось, что пули сталкиваются в воздухе...

— ... У него была пробита голова навывлет от виска к виску. Можно было продеть сквозь нее бечевку.

Ближе ко мне кто-то в заключение бормочет:

— Во сне мне кажется, что я опять убиваю.

Среди заживо погребенных раненых жужжат еще другие обрывки фраз, словно постукивают бесчисленные колеса машины, которые все вертятся, вертятся...

Кто-то идет, нащупывая стену палкой, как слепой, и подходит ко мне. Это Фарфаде! Я его окликаю. Он поворачивается наугад в мою сторону и говорит, что у него поврежден глаз. Другой глаз тоже завязан. Я уступаю ему место и усаживаю у стены, придерживая за плечи. Он садится по-чиновничьи покорно, как в зале ожидания.

Я повалился немного дальше на свободное место. Рядом лежат двое людей и тихонько беседуют; они так близко от меня, что я невольно слышу, о чем они говорят. Это два солдата Иностранного легиона, в каках и темно-желтых шинелях.

— Не стоит ходить вокруг да около, — с горькой усмешкой говорит один из них. — На этот раз я пропал. Дело ясное: у меня пробиты кишки. Будь я в лазарете, в городе, мне бы сделали операцию вовремя, и, может быть, дело бы пошло на лад. А здесь... Я был ранен вчера. Мы в двух-трех часах от Бетюнской дороги, правда? А от этой дороги сколько еще часов ехать до лазарета, где мне сделают операцию? Да и когда еще нас подберут?.. В этом, конечно, никто не виноват, но не надо себя обманывать. Конечно, сегодня я еще не помру. Но долго мне не протянуть: ведь у меня все кишки пробиты. Тебе-то лапу вылечат или приделают другую. А я подохну.

— Да! — говорит другой, убежденный логикой собеседника.

Первый продолжает:

— Послушай, Доминик, ты вел скверную жизнь. Ты здорово пил и с пьяных глаз натворил делов. У тебя большущий список судимостей.

— Не могу сказать, что это неправда, раз это правда, — отвечает другой. — Но тебе-то что?

— После войны, само собой, ты опять примешься за старое, и у тебя пойдут неприятности по делу с бочаром.

Другой вдруг свирепеет:

— Заткнись! Тебе какое дело?

— У меня не больше родных, чем у тебя. Никого, кроме Луизы, да и она не в счет: ведь мы не регистрировались. За мной не числится никаких дел, кроме кой-каких мелочей по службе. У меня имя чистое.

— Ну так что? Плевать мне на это!

— Вот что я тебе скажу: возьми мое имя. Возьми, я тебе его даю: ведь ни у тебя, ни у меня родных нет.

— Твое имя?

— Тебя будут звать: Леонар Карлотти. Вот и все. Подумаешь, какая важность! Не все ли тебе равно? Тебе не придется отбывать наказание.

Тебя не будут преследовать, и ты сможешь зажить счастливо, как жил бы я, если бы пуля не пробила мне брюхо.

— А-а! Тьфу ты, черт! И ты это сделаешь? Ну, брат, прямо не верится.

— Возьми мое имя. Солдатская книжка у меня в шинели. Так вот, бери мою книжку, а мне дай свою: я унесу все это с собой. Ты сможешь жить где угодно, кроме тех мест, где меня немного знают: в Лонгвилле, в Тунисе. Запомни это! Ну, да в книжке все записано. Прочти ее хорошенько! Я никому не скажу; чтобы такая штука удалась, надо держать язык за зубами!

Он умолкает и вдруг с дрожью в голосе говорит:

— Все-таки я, может быть, скажу Луизе: пусть она знает, как я хорошо поступил, и не поминает меня лихом, когда получит от меня прощальное письмо.

Но тут же он спохватывается и с величайшим усилием качает головой.

— Нет, не скажу. Хоть это и она. Женщины болтливы.

Доминик смотрит на него и все повторяет:

— А-а! Тьфу ты, черт!

Не замеченный ими, я ухожу от этой драмы, разыгрывающейся в жалком углу окопа, среди толчеи и шума.

До меня доносится умиротворенный, степенный разговор двух го-ремык:

— Ах, браток, уж как он любит свой виноградник, уму непостижимо!

— Мальчонка у меня еще совсем, совсем махонький! Когда я, бывало, шел с ним и держал в руке его маленькую лапочку, мне казалось, будто я держу теплое горлышко ласточки, ей-богу!

Вслед за этой откровенной чувствительностью я улавливаю проявление совсем другого склада ума:

— Пятсот сорок седьмой полк? Еще бы, мне ли не знать его! Конечно, знаю. Одного солдата там зовут Жанчик, другого Пьерчик, третьего Андрейчик... Правда, правда, не сойти мне с этого места. Вот что это за полк!

Когда я уже протискиваюсь к выходу, раздается невзначай глухой стук и хор восклицаний.

Это упал старший санитар. В брешь, которую он очищал от рыхлых кровавых останков, влетела пуля и пробила ему горло. Он растянулся на земле. Он вращает круглыми, ошеломленными глазами и брызжет пеной.

Скоро его рот и подбородок покрываются розовыми пузырьками. Под голову ему кладут мешок с перевязочными материалами. Мешок пропитывается кровью. Какой-то санитар кричит, чтобы не портили бинты; они нужны. Начинают искать, что бы подложить ему под голову; из раны безостановочно вытекает красноватая пена. Находят только круглый хлеб и подсовывают ему под затылок, на котором слиплись волосы.

Раненого берут за руку, задают ему вопросы, но он только пускает все новые пузырьки; их становится все больше, и вскоре его широкое лицо и черную бороду обволакивает целое розовое облако. Он кажется

фыркающим морским чудовищем; прозрачная розовая пена скопляется и заливает даже круглые, помутневшие глаза, с которых свалились очки.

Он тихонько посапывает. Как ребенок. Он умирает, поворачивая голову то вправо, то влево, как будто пытается сказать: «Нет».

Я смотрю на эту неподвижную тушу и вспоминаю, что это был добрый человек, простодушный, отзывчивый. И как я раскаиваюсь, что иногда бранил его за ограниченность и за поповскую бестактность! И теперь, среди всех этих бед, я счастлив, да, счастлив: ведь как-то раз, когда он через мое плечо читал страничку письма, которое я писал, — я удержался и не наговорил ему грубостей, ведь они могли бы незаслуженно оскорбить его. Я вспоминаю еще, как он меня возмутил своими объяснениями относительно пресвятой девы и Франции. Тогда я не допуская, что он говорит искренне. А почему он не мог говорить искренне? *Ведь сегодня он и правда убит!*

...Вдруг оглушительный грохот. Почва и стены сотрясаются, и нас швыряет друг на друга. Нависшая над нами земля как будто падает на нас. Часть деревянных креплений рушится, и брешь расширяется. Еще удар — и еще часть других балок с грохотом превращается в прах. Труп старшего сержанта откатывается, как ствол дерева, к стене. Все подпорки и стропила, все эти черные, плотные кости подземелья трещат так, что у нас чуть не лопаются барабанные перепонки, и у всех узников этого застенка вырывается крик ужаса.

Новые взрывы грохочут один за другим и разбрасывают нас во все стороны. Бомбардировка рассекает и уродует, пронзает и укорачивает наше убежище. Свистящий град снарядов разбивает земляную стену перевязочного пункта, и в проломы врывается дневной свет. Фантастически ясно выделяются воспаленные или смертельно-бледные лица, потухающие в агонии или лихорадочно блестящие зрачки, закутанные в белое, залапанные чудовищными повязками тела. Все, чего не было видно, теперь выступило наружу. Перед этим прибоем картечи и дыма, сопровождаемым ураганом света, обезумевшие люди, мигая, скрючившись, встают, разбегаются, стараются спастись. В ужасе, целыми пачками, они катятся по низкой галерее, как в зыбком трюме гибнущего корабля.

Авиатор старается выпрямиться во весь рост, упирается затылком в свод, размахивает руками, призывает бога и спрашивает, как его зовут, каково его настоящее имя. Вихрь сбивает с ног и бросает на других раненых солдат, который из-под куртки, разверстой, наподобие широкой раны, показывал, как Христос, свое сердце. Шинель солдата, однообразно повторявшего: «Ничего, потерпи!» — вдруг оказалась совсем зеленой, ярко-зеленой, наверное, от пикриновой кислоты, выделенной взрывом, который свел его с ума. Обессиленные, искалеченные солдаты — те, что остались в живых, — шевелятся, тащатся, расползаются по углам, как бедные раненые звери, преследуемые сворой снарядов.

Бомбардировка затихает, прекращается в тучах дыма, которые еще полнятся грохотом, среди волн горячего едкого газа. Я вылезаю через брешь и, все еще оглушенный отчаянными воплями, выбираюсь под открытое небо, проваливаюсь в рыхлую землю, спотыкаюсь об утонувшие

в ней балки, цепляюсь за обломки. Вот и бруствер траншеи! Погружаясь в ходы сообщения, я вижу, что вдали они все так же мрачны, все так же кишат ранеными, которые, не уминаясь в траншеях, нескончаемыми вереницами устремляются к перевязочным пунктам. По целым дням, по целым ночам здесь будет катиться, сливаясь, потоки людей, исторгнутых полями битвы, самой этой долиной, у которой есть чрево и которая истекает кровью там, в необозримом пространстве.

XXII ПРОГУЛКА

Пройдя по бульвару Республики, потом по авеню Гамбетты, мы выходим на площадь Торговли. Наши начищенные башмаки, подбитые гвоздями, звенят по городским тротуарам. Погода отличная. Яркое солнце сверкает, будто сквозь стекла теплицы; витрины магазинов блестят. Полы наших синих, старательно вычищенных шинелей опущены, и, так как обычно они бывают подвернуты, на них обозначились два более темных квадрата.

Наша компания останавливается в нерешительности перед «Кафе префектуры», которое также называется «Большое кафе».

— Мы имеем право войти! — говорит Вольпат.

— Там очень много офицеров, — возражает Блер, который, встав на цыпочки, дерзнул заглянуть поверх кружевной занавески в промежутки между золотыми буквами витрины.

— Да мы еще не все осмотрели в городе, — говорит Паради.

Мы идем дальше и, какие мы ни есть простые солдаты, производим смотр шикарным лавкам на площади: здесь модные, писчебумажные, аптекарские магазины; витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры. Наши лица расплываются в улыбку. Мы свободны от всякой работы до вечера, мы хозяева своего времени. Мы ступаем неторопливо, спокойно, размахивая ничем не занятыми руками, которые тоже отдыхают.

— Что и говорить, мы неплохо пользуемся отдыхом! — замечает Паради.

Перед нами открывается город, производящий внушительное впечатление. Мы соприкасаемся с жизнью, с жизнью населения, с жизнью тыла, с обычной, нормальной жизнью. А в окопах мы так часто думали, что никогда не доберемся сюда!

Мы видим мужчин, дам, парочки, окруженные детьми, английских офицеров, авиаторов, которых уже издали узнаешь по их стройности, изяществу и орденам, и солдат, которые могут выставить напоказ только выскобленную кожу, поношенную одежду и единственное украшение — номерную бляху, сверкающую на шинели; они осторожно вступают в этот прекрасный мир, избавленный от всяких кошмаров.

Мы ахаем, удивляемся, как путешественники, приехавшие издалека.

— Сколько народу! — восклицает Тирет.

— Да, богатейший город! — замечает Блер.

Проходит работница и поглядывает на нас.

Вольпат подталкивает меня локтем, пожирает ее глазами, вытягивает шею и дальше показывает мне на двух других женщин, которые идут нам навстречу; у него блестят глаза; он убеждается, что город изобилует женским элементом.

— Ну и бабья здесь!

— Да, старик, чего-чего, а ж... здесь хватает!

Преодолев некоторую робость, наш Паради подошел к груде великолепных пирожных, разложенных на прилавке кондитерской, дотронулся до них и съел несколько штук. На каждом шагу приходится останавливаться и ждать Блера: его привлекают, зачаровывают витрины, где выставлены куртки и щегольские кепи, галстуки из светло-голубого тика и красные полуботики, блестящие, как полированное дерево. Блер совершенно преобразился. Если раньше он побивал рекорд неряшливости и нечистоплотности, то теперь он опрятней всех нас, особенно с тех пор, как ему починили и приладили вставную челюсть, сломанную во время атаки. Да и держится он непринужденно.

— Юноша, да и только, — говорит Мартро.

Вдруг мы сталкиваемся лицом к лицу с беззубым существом, улыбающимся во весь рот. Из-под шляпы торчат реденькие черные волосы. Рябое лицо с крупными безобразными чертами похоже на морду, намалеванную на грубом холсте ярмарочных балаганов.

— Красавица! — восклицает Вольпат.

Мартро, которому она улыбнулась, онемел от восторга.

Так восхищаются солдаты, невзначай очутившиеся во власти очарований города. Они без усталости наслаждаются его красотой, его невообразимой опрятностью. Они сызнава входят во вкус спокойной, мирной жизни, удобств и даже благополучия, ради которого, собственно, и построены дома.

— Знаешь, брат, мы бы к этому опять привыкли!

Между тем у витрины магазина готового платья собирается публика: здесь торговец выставил нелепую группу из деревянных и восковых манекенов.

На песке, усеянном камешками, как дно аквариума, стоит на коленях немец в новехоньком выутюженном мундире и даже с картонным Железным крестом на груди; он протягивает деревянные розовые руки к французскому офицеру в детском кепи на завитом парике, с пухлыми, румяными щеками и глазами небьющейся куклы, которые смотрят в сторону. Рядом с этими действующими лицами лежит игрушечное ружьецо. Название этого художественного произведения указано в надписи: «Камрад!»

— Ну и ну!..

Только эта ребяческая выдумка напоминает здесь о войне, свирепствующей где-то там, далеко, мы смотрим, пожимая плечами, и начинаем злиться; мы уязвлены, оскорблены; ведь воспоминания наши еще слишком свежи. Тирет нахмурился и готов съязвить, но его возмущение не прорывается: мы еще не пришли в себя от неожиданной перемены обстановки.

Вдруг подходит изящная дама, блестя и шурша фиолетовыми и черными шелками, окутанная облаком благоуханий; она замечает нас, протягивает руку в перчатке и касается пальчиком рукава Вольпата и плеча Блера. Блер и Вольпат сразу замирают, заколдованные прикосновением этой феи.

— Скажите, господа, вы ведь настоящие солдаты, с фронта! Вы видели все это в окопах, правда?

— Гм... да... да... — оробев, отвечают бедняги, польщенные до глубины души.

— А-а!.. Вот видишь? Они прямо оттуда! — шепчут в толпе.

Оставшись одни на гладких плитах тротуара, Блер и Вольпат переглядываются и качают головой.

— Что ж, — говорит Вольпат, — в конце концов это приблизительно так и есть.

— Да, конечно, чего там!

Так в первый раз в этот день мы отреклись от истины.

* * *

Мы входим в «Кафе промышленности и цветов».

Посреди паркета протянута плетеная дорожка. На стенах, на четырехугольных столбах, поддерживающих потолок, и на стойке намалеваны лиловые вьюнки, большие маки цвета смородины, розы, похожие на кочань красной капусты.

— Что и говорить, у нас, французов, есть вкус, — говорит Тирет.

— Немало пришлось попотеть, чтобы нарисовать такое, — замечает Блер, любуясь этими многоцветными выкрутасами.

— В таких заведениях не только выпить, но и посидеть приятно, — прибавляет Вольпат.

Тут Пароди сообщает нам, что до войны по воскресеньям он частенько ходил в такие же красивые кафе и даже покрасивей этого. Но то было давно, и он отвык. Он указывает на эмалированный, расписанный цветами рукомойник, который висит на стене.

— Здесь даже можно руки вымыть.

Мы степенно направляемся к рукомойнику. Вольпат подает знак Пароди, чтобы он открыл кран.

— Пусти в ход плевательную машину!

Мы входим все пятеро в уже переполненный зал и садимся за столик.

— Пять стаканчиков вермута с черносмородиновым сиропом, ладно?

— Право, мы бы скоро привыкли к этому, — повторяем мы.

Штатские встают со своих мест и подсаживаются поближе к нам. Кто-то вполголоса говорит:

— Адольф, посмотри, у них у всех Военный крест!

— Это настоящие «пуалю»!

Мои товарищи услышали это. Они разговаривают между собой уже рассеянно, наострив уши, и невольно пыжятся.

Вскоре штатский господин и дама, которые высказывали эти замечания, положив локти на белый мраморный столик нагибаются к нам и спрашивают:

— Тяжело жить в окопах, правда?

— Гм... Н-да... Ну конечно, чего там... Не всегда весело бывает...

— Какая у вас поразительная физическая и моральная стойкость! Ведь в конце концов вы привыкаете к этой жизни, правда?

— Ну конечно, чего там... Привыкаем, очень даже привыкаем...

— А все-таки это страшная жизнь, и сколько страданий! — тараторит дамочка, перелистывая иллюстрированный журнал и разглядывая снимки — мрачные виды опустошенных местностей. — Адольф, зачем пишут о таких ужасах? Грязь, вши, тяжелые работы!.. Как вы ни храбры, а, наверно, вы несчастны!..

Вольпат, к которому она обращается, краснеет. Он стыдится перенесенных и еще предстоящих бедствий. Он опускает голову и, может быть, не отдавая себе отчета во всем значении своей лжи, отвечает:

— Нет, мы не так уж несчастны... Что вы, все это не так страшно!

Дама соглашается:

— Да, я знаю, ведь у вас есть и радости! Например, атака! Ах, это, должно быть, великолепно! Правда? Все эти войска, которые идут в бой, как на праздник! И рожок играет: «Там, наверху, можно выпить!»⁴⁴ — и солдатиков уже нельзя удержать, и они кричат: «Да здравствует Франция!» — или умирают с улыбкой на устах... Ах, мы не удостоились такой чести, мой муж служит в префектуре; сейчас он в отпуску и лечится от ревматизма.

— Я очень хотел бы быть солдатом, — говорит супруг, — но мне не везет: начальник нашей канцелярии не может без меня обойтись.

Посетители входят и выходят, любезно уступают друг другу дорогу. Гарсоны снуют, разнося хрупкие сверкающие стаканы и рюмки, зеленые, красные и ярко-желтые с белым ободком. Скрип шагов по паркету, усыпанному песком, сливается с восклицаниями стоящих или сидящих за всегдатаев, с гулким звоном стаканов и стуком домино по мраморным столикам... В глубине шелкают шары из слоновой кости, и зрители, обступив бильярд, отпускают обычные шуточки.

— Каждому свое, милейший, — говорит, обращаясь к Тирету с другого конца стола, румяный, холеный здоровяк. — Вы герои. А мы работаем ради экономического процветания страны. Это такая же борьба, как ваша. Я приношу пользу, не скажу, что больше вас, но, во всяком случае, не меньше!

Я смотрю на Тирета, нашего балагура и остряка.

В дыму сигар видны его выпученные глаза; сквозь гул голосов едва слышно, как он смиренно, устало отвечает:

— Да, правда... Каждому свое!

Мы потихоньку уходим.

* * *

По выходе из «Кафе промышленности и цветов» мы молчим, как будто разучились говорить. От недовольства мои товарищи морщатся и дурнеют. Они словно обнаружили, что при каких-то важных обстоятельствах не выполнили своего долга.

— Наговорили нам с три короба эти рогаки! — ворчит Тирет; его злоба прорвалась, как только мы оказались в своей компании, и все больше разгорается.

— Надо было бы нахлестаться сегодня, — грубо отвечает Паради.

Мы идем дальше, не проронив ни слова. Затем Тирет продолжает:

— Идиоты, мерзкие идиоты, они хотели пустить нам пыль в глаза, надуть нас, но этот номер не пройдет! Если я опять встречу с ними, — говорит он, все больше распаляясь, — я уж сумею им ответить!

— Мы с ними больше не встретимся, — возражает Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают, — заявляет Вольпат.

Неподалеку от площади мы попадаем в сутолоку чиновников, выходящих из ратуши и какого-то другого учреждения, напоминающего храм своими колоннами и фронтоном. Среди этой толпы встречаются и штатские, самые разные по внешности и возрасту, и военные, молодые и старые, которые издали вроде бы одеты, как мы... Но вблизи под форменной одеждой и галунами выпирает их сущность «окопавшихся» и дезертиров.

Их ждут нарядные жены и дети. Торговцы заботливо запирают свои лавки, улыбаются, довольные законченным днем, и с удовольствием предвкушают завтрашний: они упоены непрерывным ростом прибылей и звоном монет, которые наполняют их кассу. Они остались у своего очага; им стоит только нагнуться, чтобы поцеловать своих детишек. При свете первых фонарей все эти богатеющие богачи сияют; все эти спокойные люди с каждым днем чувствуют себя спокойней, но втайне молятся о том, в чем не смеют признаться. Под покровом вечера все они, не спеша, возвращаются домой, в свои благоустроенные жилища, или идут в кафе, где их усердно обслуживают. Парочки, молодые женщины и мужчины, штатские или военные, у которых на воротнике вышит какой-нибудь охранительный значок, встречаются и спешат сквозь затемненный мир к себе домой, где ночь сулит им отдых и ласки.

Проходя мимо приоткрытого окна первого этажа, мы замечаем, как теплый ветер вздувает кружевную занавеску и придает ей легкую, нежную форму женской сорочки.

Толпа чиновников и торговцев отесняет нас: мы ведь только бедные пришельцы.

Мы бродим по улицам в сумерках, уже золотящихся огнями: в городах ночь словно украшена драгоценностями. Помимо нашей воли все, что мы видели, открыло нам великую правду: существует различие между людьми, более глубокое, более резкое, чем различие между нациями, — явная, поистине непроходимая пропасть между людьми одного и того же народа, между теми, кто трудится и страдает, и теми, кто на них нажи-

ваются; между теми, кого заставили пожертвовать всем, до конца отдать свои силы, свою мученическую жизнь, и теми, кто их топчет, кто шагает по их трупам, улыбается и преуспевает.

В толпе выделяются несколько человек, одетых в траур; они, может быть, близки нам, но остальные радуются, а не печалются.

— Неправда, нет единой страны! — вдруг с необычной точностью говорит Вольпат, высказывая нашу общую мысль. — Есть две страны! Да, мы разделены на две разные страны: в одной — те, кто дает, в другой — те, кто берет.

— Что поделаешь! Значит, полагается, чтоб счастливые пользовались несчастными.

— И чтоб счастливые были врагами несчастных.

— Что поделаешь! — говорит Тирет.

— Тем хуже! — еще проще выражает свою мысль Блер.

— Через неделю нас, может быть, ухлопают, — повторяет Вольпат. Мы продолжаем путь, опустив головы.

XXIII РАБОТА

На траншею надвигается вечер. Целый день он приближался, невидимый, как рок, и теперь мрак покрывает откосы длинного рва — края беспредельной раны.

С утра мы беседовали, ели, спали, писали в глубине этой расщелины. С наступлением вечера поднялась суматоха: сонные, вялые люди встряхнулись, зашевелились, столпились. Это час, когда надо идти на работу.

Подходят Вольпат и Тирет.

— Вот и еще один день прошел, день, как и всякий другой! — говорит Вольпат, глядя на темнеющее небо.

— Ничего не известно: наш день еще не кончился, — отвечает Тирет.

По долгому горькому опыту он знает, что здесь нельзя предвидеть даже самое недалекое будущее, даже заурядный, уже начавшийся вечер! ..

— Стройся!

Мы собираемся с привычной неторопливостью. Каждый является на место сбора со своей винтовкой, своей флягой, патронной сумкой и мешком, в котором лежит кусок хлеба. Вольпат еще ест, одна щека у него вздулась и ходит ходуном. Паради ворчит и стучит зубами, нос у него посинел от холода. Фуйяд волочит винтовку, как метлу. Мартро рассматривает и кладет в карман заскорузлый, слипшийся носовой платок.

Холодно. Моросит дождь. Все дрожат.

Вдали кто-то однообразно гнусавит:

— Две лопаты, одна кирка. . . Две лопаты, одна кирка. . .

Мы гуськом подходим к складу инструментов, останавливаемся у входа и шагаем дальше, уже нагруженные лопатами и кирками.

— Все в сборе? Пошли! — говорит капрал.
Мы трогаемся в путь. Идем неизвестно куда. Мы знаем только, что скоро небо и земля сольются в едином хаосе.

* * *

Мы выходим из траншеи, уже почерневшей, как потухший вулкан, и вот мы опять на равнине в безрадостных сумерках.

Над нами проходят серые тучи, набухшие дождем. Серая равнина тускло освещена со своей грязной травой и своими шрамами, полными воды. От одиноких деревьев остался только застывший в судорогах остов.

В сыром тумане почти ничего не видно. Впрочем, мы смотрим только себе под ноги, на скользкую землю.

— Вот так грязь!

Мы идем полями, месим жидкую кашу, которая расплескивается и липнет к ногам.

— Шоколадный крем!.. Крем мокро!..

На вымощенной части бывших дорог, опустевших, как и поля, наш отряд толчет ногами среди слякоти мелкие камни; они крошатся и хрустят под нашими подбитыми железом подошвами.

— Ходишь будто по сухарям, намазанным маслом.

Кое-где на пригорках толстым слоем лежит черная грязь, засохшая, в глубоких трещинах, какая бывает у деревенских колодцев. Во впадинах — лужицы, лужи, пруды, озера, чьи неровные края словно изодраны в клочья.

Все реже слышатся шутки балагуров, которые сначала были бодры и свежи и, попадая в лужи, кричали: «Кря-кря!» Мало-помалу весельчаки мрачнеют и замолкают. Полил сильный дождь. Слышно, как падают его капли. Заря гаснет, затуманенное пространство сужается. По земле и по воде протянулась последняя полоска желтовато-свинцового света.

* * *

На западе вырисовываются под дождем какие-то расплывчатые, словно монашеские, силуэты. Это солдаты одной из рот 204-го полка, закутанные в брезент. Замечаешь мимоходом их серые, осунувшиеся лица, черные носы. Похожие на крупных промокших волков, они вскоре исчезают из виду.

Мы идем по полям, местами поросшим травой; эта глинистая равнина истоптана людьми, изборождена колесами, следы которых ведут и на передовую и в тыл.

Мы перескакиваем через зияющие траншеи. Это не всегда легко: после бомбардировки они расширились, обвалились, края стали вязкими, скользкими. Нас одолевает усталость. Навстречу с грохотом несется транспорт и, поравнявшись с нами, обдает нас грязью. Фонтаны воды из-под ног лошадей, перевозящих артиллерию, окатывают нас с головы до ног. Вокруг колес грузовиков вращаются как бы вторые колеса из жидкой грязи, которая разлетается во все стороны.

По мере того как темнеет, трясущиеся повозки, лошадиные шеи, всадники, карабины за их спиной и развевающиеся плащи принимают причудливые очертания на фоне облаков, бегущих по небу. Мы натываемся невзначай на затор артиллерийских повозок. Кони остановились и бьют копытом. Мы слышим, проходя, скрип осей, гул голосов, перебранку, слова команды и похожий на океанский прибор шум дождя. Над всей этой неразберихой дымится крупы лошадей и плащи ездовых.

— Осторожно!

Справа на земле что-то лежит. Это ряды мертвецов. Проходя мимо, мы безотчетно стараемся не наступать на них и пристально вглядываемся в эти черные груды, из которых торчат подметки, вытянутые шеи, заострившиеся лица, судорожно сжатые руки.

Мы идем все дальше и дальше по этим бедным истоптанным полям, под небом, где бегут размазанные, рваные, как тряпье, облака, идем по чернеющим просторам, которые словно покрылись грязью от долгого соприкосновения с измученными толпами людей.

Мы спускаемся к окопам, расположенным в низине.

Чтобы добраться до них, приходится сделать крюк, и те, кто идет в арберггарде, видят, как в сумерках растянулась метров на сто вся наша рота: черные человечки цепляются за склон, ползут один за другим и разъединяются у края траншей; у них за плечами лопата и винтовка, и, когда солдаты спускаются во мрак подземелья, кажется, что они с мольбой воздевают руки.

Эти окопы, еще находящиеся на второй линии, битком набиты людьми.

На пороге убежищ, где висит и треплется на ветру баранья шкура или серая парусина, сидят на корточках косматые люди и смотрят на нас бесцветными, равнодушными, будто ничего не видящими глазами. Из-под других полотнищ парусины, спущенных донизу, торчат ноги и доносится храп.

— Тьфу, пропасть! Как это далеко! — ворчат солдаты.

Вдруг толчок; мы пятимся.

— Стой!

Приходится остановиться, пропустить другой отряд. Мы столпились у отлогих скатов траншей и бранимся. Мимо нас проходит рота пулеметчиков со своей ношей.

Этому нет конца. Долгие остановки изнурительны. Мускулы до боли напряжены. Топтание на месте невыносимо.

Едва мы опять трогаемся в путь, как приходится идти назад к запасному ходу, чтобы дать дорогу телефонистам. Мы пятимся, как скот в загоне.

Дальше мы идем уже медленнее, тяжелее.

— Осторожно! Проволока!

Над траншеей вьется телефонный провод, натянутый кое-где между двумя кольями. Если он слабо натянут и провис, наши винтовки задевают его; солдаты стараются высвободить их и проклинают телефонистов за то, что они не умеют привязывать свои «бечевки».

Сплетение нависших проводов все гуще; солдаты вешают винтовки на плечо прикладом вверх, опускают лопаты и идут дальше, понурившись.

* * *

Внезапно шаг наш замедляется. Мы еле двигаемся, наталкиваясь на передних. Головная часть колонны дошла, очевидно, до труднопроходимого места.

Мы тоже приближаемся к нему; дорога идет под уклон к зияющей дыре, которая открывает доступ в Крытый ход сообщения. Наши товарищи уже исчезли за этой узкой «дверью».

— Значит, придется лезть в эту кишку?

Все мы задерживаемся, прежде чем войти в черное узкое подземелье. Из-за этих колебаний, заминок в хвосте колонны происходит толкотня, давка, а порой и внезапная остановка.

Как только мы вступаем в Крытый ход, нас окутывает и разделяет густой мрак. Здесь веет запахом болота и плесени. На потолке этого земляного коридора обозначаются кое-где белесые полосы и пятна — это щели и дыры в досках, сквозь которые падают обильные водяные струи; несмотря на все наши предосторожности, мы то и дело спотыкаемся о груды досок, ударяемся боком о вертикальные подпорки.

В этом бесконечном крытом проходе что-то глухо рокочет; здесь уставлен мотор прожектора, мимо которого нам предстоит пройти.

Мы продвигаемся ощупью, увязаем, тонем в грязи; через четверть часа, изнемогая от мрака и сырости, устав наткаться на что-то невидимое, один из нас ворчит:

— К черту! Я зажгу свет!

Электрический фонарик вспыхивает ослепительной точкой. Тотчас же следует окрик сержанта:

— Черт знает что! Какой это остолоп зажег свет? Обалдел, что ли? Эй ты, вшивый, не понимаешь, что свет видать сквозь щели?

Озарив снопом лучей темные сырые стены, электрическая лампочка тухнет. Снова мрак.

— Да кто увидит? — ворчит солдат. — Мы ведь не на передовой.

— А-а! Кто увидит?!

Сержант, зажатый в наших рядах, продолжает шагать дальше, оборачивается на ходу (в темноте мы это угадываем) и отрывисто ругается:

— Дерьмо! Ишь, оторва чертова!

Внезапно он орет опять:

— Эй! Кто там курит? Это что за бардак!

На этот раз он хочет остановиться, но, как ни упирается, как ни пыхтит, ему приходится стремительно идти дальше: его уносит поток солдат; ругательства застревают у него в горле, а сигарка, вызвавшая его гнев, тухнет во мраке и тишине.

* * *

Прерывистый стук усиливается; от мотора пышет жаром; чем ближе мы подходим, тем сильнее сотрясается тяжелый воздух. У нас шумит в ушах, мы вздрагиваем всем телом. Становится еще жарче, будто прямо в лицо нам дышит какое-то чудовище. Мы спускаемся в адскую мастер-

скую; от темно-красного света стены багровеют, и на них возникают наши грузные, сгорбленные тени.

Среди все возрастающего дьявольского грохота, горячего ветра и отсветов мы приближаемся к горнилу. Мы оглушены. Кажется, что мотор несется нам навстречу, как остервенелый мотоцикл с зажженным фонарем, и грозит раздавить нас.

Опаленные, почти ослепленные, мы проходим мимо красного огня и черного мотора; маховик гудит, как ураган. Мы едва успеваем увидеть солдат за работой. Мы закрываем глаза, задыхаемся от близости этого раскаленного оглушительного дыхания.

Гул и жар неистовствуют уже за нашей спиной и ослабевают... Мой сосед бормочет:

— А этот болван говорил, что виден мой фонарик!

Вот мы и на свежем воздухе. Небо темно-синее, чуть светлее земли. Дождь льет всюю. Мы с трудом ступаем по жидкой грязи. Башмаки увязают в ней целиком, и каждый раз приходится с огромным усилием вытаскивать их. В ночной темноте плохо видно, но мы все же обнаруживаем по выходе из-под земли нагромождение балок в разбитой траншее — видно, какое-нибудь рухнувшее укрытие.

Вдруг прожектор вытягивает над нами свою длинную фантастическую руку, блуждающую в пространстве. Среди вывороченных балок и сломанных подпорок мы видим трупы. Совсем близко от меня стоит на коленях мертвец; его запрокинутая голова почти отделилась от тела, на щеке чернеет пятно с зазубринами из капель запекшейся крови. Другой мертвец судорожно обхватил кол и привалился к нему. С третьего, свернувшегося клубком, снаряд сорвал штаны, обнажив посиневшие бока и живот. Рука четвертого, упавшего у целой груды трупов, лежит на дороге. Солдаты, которые проходят мимо только ночью — днем здесь слишком опасно, — постоянно наступают на эту руку. При свете прожектора я разглядел ее: она была сморщенная, высохшая, расплющенная, как клочок старой бумаги, как омертвевший плавник.

Дождь льет. Шум его потоков все заглушает. Какое глубокое уныние вокруг... Дождь чувствуешь на всем теле; он как бы обнажает нас. Мы спускаемся в открытый ход сообщения, а позади, во мраке, гроза терзает мертвецов, уцепившихся за клочок земли, как за плот.

От ветра на наших лицах стыннут капли пота. Скоро полночь. Вот уже шесть часов, как мы шлепаем по непролазной грязи.

В этот час парижские театры сверкают светом ламп и люстр, блистают роскошью, шуршат нарядами, дышат праздничным теплом; беспечная, сияющая толпа болтает, улыбается, смеется, рукоплещет; зрители приятно взволнованы искусно подготовленной сменой впечатлений, вызываемых у них комедией, или любуются богатством и великолепием военного апофеоза, поставленного на сцене мюзик-холла.

— Дойдем ли мы? Черт подери, дойдем ли мы когда-нибудь?

Стон вырывается из груди солдат; они плетутся длинной вереницей по этим трещинам, прорытым в земле, несут винтовки, лопаты или кирки под беспросветным, бесконечным ливнем. Мы идем, мы все идем. От уста-

лости мы опьянели; нас бросает во все стороны; мы отяжелели, промокли, мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами.

— Стой!

— Пришли?

— Да, пришли! Черта с два!

Все невольню пьются; проносится слух:

— Заблудились!

Наша бродячая орда начинает понимать: мы сбились с пути на каком-нибудь повороте, а теперь попробуй-ка найти дорогу!..

Более того, из уст в уста передается слух, что за нами идет на передовую рота в боевой готовности. Вся дорога, на которую мы свернули, забита. Впереди затор.

Надо во что бы то ни стало добраться до потерянной нами траншеи; говорят, она где-то близко, налево отсюда: остается отыскать какой-нибудь поперечный ход. Раздражение измученных солдат прорывается в жестах, в жалобах. Люди то еще тащатся, то отказываются идти дальше и бросают винтовки и лопаты. При белом свете взрывающихся ракет видно, как они один за другим валятся на землю. Отряд растянулся во всю свою длину с юга на север и под безжалостным дождем принимается ждать.

Наш лейтенант потерял дорогу, но ему удастся пробиться сквозь ряды солдат в поисках бокового хода. Открывается отверстие, низкое и узкое.

— Сюда! Сюда! Вот дорога! — радостно кричит офицер. — Ну, друзья, вперед!

Все ворчат, но опять наваливают на плечи свою ношу... Вдруг солдаты, уже проникшие в этот ход, раздражаются проклятиями, ругательствами.

— Да это же отхожее место!

Оттуда и в самом деле несет зловонием; понятно, что там такое. Кто-то останавливается, отказываясь идти дальше. Одни натываются на других; все столпились возле этой клоаки.

— Лучше уж пройдем полем, — кричит кто-то.

Но над насыпями молнии со всех сторон рассекают небо, и смотреть из темной канавы на снопы гремящего пламени, которое вспыхивает вверху, так страшно, что никто не откликается на предложение этого сумасшедшего.

Волей-неволей придется пройти здесь, раз нельзя вернуться назад.

— Вперед, в дерьмо! — кричит первый в ряду.

Мы бросаемся вперед, подавляя отвращение. Вонь становится невыносимой. Мы ступаем прямо по испражнениям и чувствуем, как в них увязают ноги.

— Нагнись!

Ход неглубок, и, чтобы не быть убитым, приходится идти согнувшись по куче испражнений, усыпанной бумажками.

Наконец мы попадаем в траншею, из которой вышли по ошибке, и опять пускаемся в путь. Все идем и все никуда не приходим.

Ручей, текущий по дну траншеи, смывает с наших ног вонючую, гнусную грязь; мы бредем молча, мы обалдели, мы шатаемся от усталости.

Все чаще, один за другим, грохочут орудийные залпы, и вскоре начинает гудеть вся земля. От выстрелов и разрывов снарядов в черном небе над нашими головами появляются неясные вспышки. Затем бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает, и среди непрерывного грохота мы ясно различаем друг друга; с касок струится вода, ремни намокли, поблескивает черное железо лопат и даже беловатые капли вечного дождя. Никогда еще я не присутствовал при подобном зрелище: по истине от артиллерийского огня возникает некий лунный свет.

Одновременно с наших и с неприятельских позиций взрывается множество ракет; они объединяются в ослепительное созвездие, и в небе, мелькающем между брустверами, на мгновение возникает некая Большая Медведица, освещающая наш жуткий путь.

* * *

Мы опять заблудились. На этот раз мы, верно, рядом с передовой, хотя эта часть местности представляет собой котловину, похожую на огромную лохань, по которой пробегают какие-то смутные тени.

Мы прошли траншею сначала в одном, потом в обратном направлении. Среди фосфоресцирующих залпов, прерывистых, как довоенный кинематограф, над бруствером возникают два санитары; они стараются перетащить через траншею тяжелые носилки.

Лейтенант, который знает по крайней мере, куда он должен отвести отряд, окликает санитаров:

— Где Новый ход?

— Не знаю.

Кто-то из нас спрашивает: «Далеко боши?» Санитары не отвечают. Они переговариваются между собой. Тот, что впереди, восклицает:

— Дальше не пойду! Устал.

— Да иди, черт! — сердито кричит другой, грузно шлепая по грязи и с трудом удерживая носилки. — Не плесневеть же здесь!

Они ставят носилки на бруствер; край их выступает над траншеей. Проходя внизу, видишь ноги лежащего на них человека; дождь поливает носилки и стекает с них почерневшими каплями.

— Это раненый? — спрашивают снизу.

— Нет, покойник, — бурчит в ответ санитар, — он весит не меньше восьмидесяти кило! О раненых я не говорю: мы носим их уже два дня и две ночи, но возиться с мертвецами!.. Мочи больше нет таскать их!.. Беда!

Санитар перекидывает ногу через ров на противоположный бруствер: раскорячась, с трудом удерживая равновесие, он хватается за носилки и зовет товарища на помощь, чтобы перетащить их.

Немного дальше виднеется какой-то согнутый силуэт — это офицер в плаще с поднятым капюшоном. Он поднес руку к лицу, и на рукаве блеснули два золотых галуна. . .

Он, наверно, покажет нам дорогу... Но он сам спрашивает, не видели ли мы его батареи: он ее ищет.

Мы никогда не дойдем.

Но все-таки мы доходим.

Перед нами открывается угольно-черное поле, где торчат несколько тощих кольев; мы молча разбредаемся по нему. Это здесь.

Разместить людей — трудное дело. Четыре раза нас заставляют идти вперед, потом назад, чтобы правильно построить роту во всю длину хода, который предстоит вырыть, да и, кроме того, между партиями, каждая из которых состоит из одного солдата с киркой и двух — с лопатами, должно быть одинаковое расстояние.

— Еще три шага вперед!.. Нет, много. Шаг назад! Ну же, шаг назад! Оглохли?.. Стой!.. Так!..

Этим размещением руководит наш лейтенант и офицер саперной части, словно выросший из-под земли. Они суетятся, вместе и порознь бегают вдоль рядов, вполголоса выкрикивают слова команды прямо в лицо солдатам, иногда берут их за руку и ставят, куда надо. Работа, начатая организованно, превращается в толкотню из-за недовольства измученных солдат, которым то и дело приходится вставать с того места, куда они повалились.

— Мы впереди передовой, — тихонько говорят вокруг меня.

— Нет, — шепчут другие, — мы как раз позади.

Никто ничего не знает. Дождь все льет, хотя слабей, чем раньше. Но что нам дождь! Мы растянулись на земле. Лежать в размякшей грязи так хорошо, что мы остаемся равнодушны к дождю, который покалывает нам лицо, проникает под одежду, поливает наше грязное, раскисшее ложе.

Но мы едва успеваем перевести дух. Нам не дают совершить безрассудство — с головой окунуться в отдых. Надо немедленно приниматься за работу. Уже два часа ночи: через четыре часа рассветет, и немцы нас заметят. Нельзя терять ни минуты. Лейтенант говорит:

— Каждый должен вырыть полтора метра в длину, семьдесят сантиметров в ширину и восемьдесят в глубину. Значит, на каждую партию приходится четыре с половиной метра. Советую поднажать: чем раньше кончите, тем раньше уйдете отсюда.

Знаем мы эти басни! В истории полка не было случая, чтоб отряд землекопов ушел с места до срока, назначенного для того, чтобы не быть замеченным и уничтоженным вместе со своей работой.

Кто-то бормочет:

— Да ладно, ладно... Не стоит очки втирать! Прибереги заряд!

Но, кроме нескольких солдат, которых невозможно разбудить, все бодро берутся за работу.

Мы приступаем к верхнему пласту земли, поросшему травой. Сначала работа идет легко и быстро, как все земляные работы на ровном месте, и нам кажется, что мы скоро закончим дело и сможем заснуть в нашей норе. Эта мысль придает нам силы.

Но оттого ли, что лопаты стучат, или оттого, что некоторые землекопы, вопреки запрещению, болтают довольно громко, наша работа привлекает внимание неприятеля: справа от нас вертикально взлетает ракета, черта огненную линию в небе.

— Ложись!

Все бросаются плашмя на землю, а бледный свет ракеты широко разливается над этим полем, якобы усеянным мертвыми телами.

Когда он угасает, люди постепенно выходят из спасительной неподвижности, встают и уже осторожнее принимаются за работу.

Вскоре взвизгивает на длинном золотом стебле другая ракета и снова повергает в неподвижность темную цепочку землекопов. За ней следует еще и еще одна.

Пули со свистом раздирают воздух вокруг нас. Кто-то кричит:

— Раненый!

Идет раненый, поддерживаемый товарищами. Оказывается, раненых несколько. Мы замечаем солдат, которые проходят, таща друг друга, и исчезают из глаз.

Место становится опасным. Мы нагибаемся, садимся на корточки. Некоторые скребут землю, стоя на коленях. Другие работают лежа, поворачиваясь то на один бок, то на другой, как спящие, которых мучают кошмары. Верхний пласт поддался легко, но теперь земля становится глинистой и вязкой; ее трудно рыть; она прилипает к лопатам и киркам, как замазка. Каждый раз приходится ее соскабливать.

Уже выросла тощая гряда земли, и каждому из нас кажется, что он увеличит этот зачаток насыпи, положив на нее свою сумку и скатанную шинель. Все прячутся за этим жалким прикрытием, когда разражается шквал. . .

Работая, мы потеем, а как только останавливаемся, нас пронизывает холод. Приходится преодолевать мучительную усталость и снова приниматься за работу.

Нет, не успеем! . . . Земля становится все тяжелее. Рыть ее все труднее и труднее. Какая-то колдовская сила сковывает наши руки. Ракеты преследуют нас, охотятся за нами, не дают нам долго оставаться в движении, и, каменея при каждой вспышке, мы вслед за этим должны справляться с еще более трудной задачей. Мучительно медленно, ценой тяжелых страданий мы углубляем ров.

Почва размягчается, земля словно каплет, течет и мягко соскальзывает с лопаты. Вдруг раздается крик:

— Здесь вода!

Эта весть разносится по всей цепи землекопов.

— Здесь вода! Ничего не выйдет!

Партия Мелюсона прорыла еще глубже, а там сплошное болото!

— Ничего не выйдет!

Мы останавливаемся, не зная, что делать. Во мраке слышен стук лопат и заступов, которые швыряют на землю солдаты. Унтеры ощупью ищут офицеров, чтоб спросить указаний. А кое-где, ни о чем не заботясь, люди с упоением засыпают под лаской дождя и при сверкании ракет.

Приблизительно в это время, насколько я помню, и началась бомбардировка.

Первый снаряд возвестил о себе страшным треском, и воздух, казалось, разорвался надвое; к нам уже со свистом летели другие снаряды, как вдруг от первого взрыва, среди величия ночи и ливня, приподнялась земля, и на возникшем багровом экране появились чьи-то движущиеся руки.

Наверно, при свете ракет неприятель нас заметил, и прицел оказался правильным. . .

Солдаты бросились, скатились в вырытый ими, затопленный водой ров. Забились туда, зарылись, окунулись, прикрыв голову железом лопат. Справа, слева, спереди, сзади снаряды падали так близко, что нас встряхивало от каждого взрыва. Скоро эта мрачная глинистая канава, набитая людьми, покрытая, как чешуей, лопатами, затряслась непрерывной дрожью под клубами дыма и вспышками пламени. На освещенном поле выли снаряды, летели во всех направлениях обломки и осколки. Не прошло и секунды, как все уже подумали то же, что бормотали несколько человек, уткнувшись носом в землю:

— Ну, теперь нам крышка!

Впереди, недалеко от того места, где лежал я, поднялась чья-то тень и крикнула:

— Давай уходить!

Простертые тела высунулись из-под савана грязи, стекавшей с них жидкими лохмотьями, и призраки эти крикнули:

— Давай уходить!

На коленях, на четвереньках мы поползли по капаве.

— Двигайтесь! Да ну, двигайтесь!

Но длинная вереница тел не шевелилась. Неистовые крики на нее не действовали. Те, что были там в самом конце, остановились и преградили путь остальным.

Через лежащих, как через обломки, переползали раненые, орошая их своей кровью.

Наконец мы узнали причину безнадежной неподвижности хвоста нашего отряда.

— Там, в противоположном конце рва, — заграждение!

Солдатами, находившимися в канаве, как в тюрьме, овладела паника; слышались нечленораздельные звуки; люди металась на месте и вопили. Но как бы ничтожно ни было вырытое нами убежище, никто не смел вылезти из него и подняться над уровнем земли, чтобы бежать от смерти к поперечной траншее, верно, находившейся поблизости. . . Раненые, которые переползали через живых, подвергались еще большей опасности; ежеминутно в них попадали пули, и они летели опять вниз, на дно недоконченного окопа.

Повсюду лил, низвергался, сливаясь с дождем, подлинно огненный дождь. Мы сотрясались с головы до ног, словно сами были частью этого

сверхъестественного грохота. Вокруг спускалась, и скакала, и ныряла в волны света отвратительнейшая из всех смертей. Ослепляя нас, она отвлекала наше внимание то в одну, то в другую сторону. Плоть наша готовилась к чудовищному самопожертвованию!.. И только в эту минуту ужаса мы вспомнили, что уже не раз попадали под воюющий, жгучий, воющий ливень картечи. Только во время новой бомбардировки по-настоящему вспоминаешь те, которые уже перенес.

И безостановочно ползли все новые раненые, пытаюсь бежать от смерти; они наводили на нас ужас; при соприкосновении с ними мы стояли и твердили про себя:

— Мы отсюда не выйдем живыми; никто не выйдет живым!

Внезапно в гуще людей образовалась брешь; все повалили прочь отсюда, по направлению к тылу.

Сперва мы поползли, потом побежали, согнувшись, по грязи и воде, отсевичавшей белыми молниями или багровыми отблесками; мы шатались и падали, спотыкались о неровности дна, мы сами были похожи на тяжелые снаряды, гонимые громом над самой землей.

Мы пришли к началу рва, который недавно начали рыть.

Окопа больше нет! Ничего нет!

Действительно, в долине, где начались наши земляные работы, нельзя было обнаружить ни малейшего укрытия. Даже при стремительном полете ракет видна была только долина, только огромная, ужасающая пустыня. Траншея, верно, была недалеко: ведь мы пришли сюда по ходам сообщения. Но как найти ее?

Дождь усилился. На минуту мы остановились в мрачной нерешительности; мы столпились на краю испепеленного, неизвестного мира. И вдруг мы бросились бежать кто куда. Одни устремились влево, другие — вправо, третьи — прямо вперед, и всех нас, совсем маленьких, видимых лишь на мгновение среди гремящего дождя, разделили завеса огненного дыма и черные лавины.

* * *

Бомбардировка ослабела. Теперь она бушевала главным образом в том месте, которое мы покинули. Но с минуты на минуту могла все сметить и уничтожить.

Дождь хлестал все неистовее. Это был потоп в ночи. Над нами навис такой непроницаемый мрак, что ракеты освещали только затуманенные, исполосованные дождем куски долины, по которой шли, бежали, метались растерянные призраки.

Трудно сказать, сколько времени я бродил с нашим отрядом. Мы шли через рытвины. Напрягая взгляд, мы старались отыскать насыпь и спасительный ров, отыскать траншею, затерянную где-то там, в бездне.

Наконец сквозь грохот битвы и стихий послышался бодрящий крик:

— Траншея!

Но бруствер этой траншеи шевелился. Неясные фигуры людей как будто отделялись от насыпи, покидали ее.

— Не останавливайтесь здесь, ребята! — закричали нам беглецы. —

Не подходите! Беда! Все рушится! Окопы ползут к чертовой матери, землянки завалены! Все затопила грязь! Завтра утром окопов уже не будет. Пришел конец здешним окопам!

Мы двинулись дальше. Куда? Мы забыли спросить дорогу, а едва эти промокшие люди показались, как их поглотила тьма.

Среди этого опустошения рассыпался даже наш маленький отряд. Мы больше не знали, с кем идем. Каждый шел куда глаза глядят; то один, то другой исчезал во мраке, ища спасения.

Мы поднимались и спускались по каким-то склонам. Я заметил согнувшихся, словно горбатых людей, под куполом безмолвных вспышек они карабкались по скользкому скату; грязь тянула их назад, ветер и дождь сталкивали вниз.

Потом мы попали в болото и увязали в нем по колено. Мы шли, высоко поднимая ноги и шумно расплескивая воду, как пловцы. Мы продвигались с огромным трудом и все медленней, мучительней.

Мы уже чувствовали приближение смерти, когда наткнулись на какую-то глиняную плотину, пересекавшую болото. Мы пошли по скользкой поверхности ее рыхлого извилистого хребта, но, чтобы не сорваться, нам пришлось двигаться, согнувшись и держась руками за вереницу наполовину затонувших мертвецов. Рука моя нащупала чьи-то плечи, окаменевшие спины, лицо, холодное, как каска, и трубку, зажатую в зубах.

Мы выбрались отсюда, приподняли голову и услышали невдалеке голоса.

— А-а! Голоса! Голоса!

Они показались нам такими сладостными, как будто кто-то называл нас по именам. Мы подошли ближе, чтобы послушать этот братский шепот.

Голоса зазвучали явственней; они доносились из-за пригорка, открывшегося перед нами, как оазис, а между тем мы не могли разобрать слова. Звуки смешивались; мы ничего не понимали.

— Что это они говорят? — как-то странно спросил один из нас.

Мы инстинктивно перестали искать дорогу.

В сердце к нам закралось подозрение, беспокойство. Вдруг мы слышали отчетливо произнесенные слова:

— Achtung! . . . Zweitès Geschütz! . . . Schuss. . . *

И на этот телефонный приказ отозвался откуда-то сзади пушечный залп.

Мы остолбенели от удивления и ужаса.

— Где мы? Разрази гром! Где мы?

Мы повернули обратно, но медленно: мы отяжелели от усталости и разочарования, мы побрели, пронзенные болью, словно множеством пуль; нас притягивала вражеская земля; у нас еле хватало сил отказаться от заманчивой возможности умереть.

Мы вышли на обширную долину. И тут у пригорка бросились на землю и уже не могли двигаться дальше.

* Внимание! . . . Второе орудие! . . . Огонь! . . . (нем.).

Мы лежали, не шевелясь. Дождь хлестал нас по лицу, стекал по спине и груди, проникал сквозь суконные штаны, наполнял водой башмаки.

На рассвете нас, может быть, убьют или возьмут в плен. Но мы не думали больше ни о чем. Мы ничего больше не могли, ничего больше не понимали.

XXIV ЗАРЯ

На том месте, где мы свалились от усталости, мы ждем рассвета. Он приближается понемногу, ледяной, зловещий, и озаряет белесое пространство.

Дождь перестал. В небе его больше нет. Свинцовая равнина с зеркалами потускневшей воды, казалось, вышла не только из ночи, но и поднялась из моря.

Полусонные, оцепеневшие, измученные и замерзшие, мы присутствуем, приоткрыв глаза, при невероятном возрождении света.

Но где же окопы?

Видны только озера и среди этих озер — рвы, наполненные молочно-белой стоячей водой.

Воды еще больше, чем мы думали. Вода затопила все; она разлилась повсюду, и предсказание встреченных нами солдат сбылось: окопов больше нет. Появившиеся каналы — погребенные окопы. Это всемирный потоп. Поле битвы не спит, оно погибло. Там, вдали, жизнь, может быть, продолжается, но где — неизвестно.

Чтоб это увидеть, я встаю с трудом, пошатываясь, как больной, и ложусь опять. Шинель страшной тяжестью притягивает меня к земле. Рядом со мной три бесформенные глыбы. Одна из них — Паради; он покрыт толстенной корой грязи, вздувшейся у пояса на месте подсумков; Паради тоже встает. Остальные спят, не двигаясь.

И почему такая тишина? Небывалая тишина. Ни звука, только время от времени среди этого невероятного оцепенения в воду падает ком земли. Никто не стреляет... Снарядов нет: они не разрываются. Пуль нет, потому что люди...

А солдаты? Где солдаты?

Мало-помалу удается их разглядеть. Некоторые спят недалеко от нас, с головы до ног покрытые грязью, почти превращенные в неодушевленные предметы.

На некотором расстоянии я различаю других: они съежились, как улитки, прилепившиеся к насыпи, размытой и наполовину поглощенной водой. Они лежат неподвижно, словно положенные в ряд кули, с них стекает вода и грязь, и они сами стали цвета земли, с которой смешались.

Стараясь прервать молчание, я спрашиваю у Паради (он тоже смотрит в их сторону):

— Это убитые?

— Сейчас увидим, — вполголоса отвечает он. — Полежим здесь немножко. Наберемся сил и подойдем к ним.

Мы переглядываемся и смотрим на тех, кто свалился здесь. У всех изможденные лица; это даже не лица, а нечто грязное, стертое, измученное, с налившимися кровью глазами. С начала войны мы видели друг друга во всех видах, и все же друг друга не узнаем.

Паради поворачивается всей своей массой и смотрит в другую сторону.

Вдруг я замечаю, что его пробирает дрожь. Он протягивает огромную руку, покрытую корой грязи, и бормочет:

— Там... там!..

Над поверхностью воды, перелившейся через края траншеи, на участке, особенно пострадавшем от снарядов, видны какие-то округлые рифы.

Мы плетемся к ним. Это утопленники.

Их головы погружены в воду. Видны спины с ремнями, просвечивающие сквозь известковую жижу, вздувшиеся голубые полотняные куртки, черные вывороченные ступни, торчащие на бесформенных ногах каких-то целлулоидных истуканов. На чьем-то погруженном в воду затылке волосы торчат дыбом, как водоросли. Вот лежит на краю насыпи чья-то запрокинутая голова. Вместо глаз — две белые впадины, вместо рта — черная дыра. Тело исчезло в грязной зыбкой могиле. Мертвец устался в небо. Желтая одутловатая кожа лица кажется дряблой и сморщенной, как остывшее тесто.

Эти утопленники — стоявшие здесь часовые. Чем отчаяннее они пытались выбраться из этой крутой вязкой ямы, которая медленно, неотвратимо наполнялась водой, тем глубже погружались в нее. Они погибли, цепляясь за оползающую землю.

Вот наши передовые позиции, а там — передовые позиции немцев, такие же молчаливые и затопленные окопы немцев.

Мы направляемся к этим размытым траншеям. Проходим по земле, которая еще вчера была долиной ужаса; на жуткой полосе, где очевидно, захлебнулась наша последняя атака, полтора года пули и снаряды безостановочно бороздили пространство, а еще совсем недавно их траектории неистово скрещивались в небе от горизонта к горизонту.

Теперь здесь сверхъестественное поле покоя, покрытое людьми: иные спят, другие тихонько шевелятся, приподнимают руку, приподнимают голову и либо оживают, либо медленно умирают.

Неприятельская траншея окончательно погружается в болотистые низины и воронки, образуя цепь глубоких луж и колодцев. Еще сохранившиеся кое-где края траншеи движутся, расползаются и обваливаются. В одном месте в их глубину можно заглянуть.

Там среди моря жидкой грязи нет трупов. Но вот нечто страшней трупов — рука, голая, белая, застывшая, словно каменная; она торчит из дыры, которая смутно виднеется в стене сквозь воду. Здесь солдат был заживо погребен в своем убежище; он только успел высунуть руку.

Подойдя совсем близко, замечаешь, что кучи земли, наваленные в ряд на остатки брустверов этой узкой водяной бездны, — человеческие суще-

ства. Они умерли? Спят? Неизвестно. Во всяком случае, отдыхают.

Немцы это, французы? Неизвестно.

Один из них открыл глаза и смотрит на нас, покачивая головой. Мы его спрашиваем:

— Француз?

Потом:

— Deutsch? *

Он не отвечает, опять закрывает глаза и возвращается в небытие. Мы так и не узнали, кто он.

Невозможно определить национальность этих существ ни по одежде, покрытой пластами грязи, ни по головному убору (они либо с непокрытой головой, либо она повязана шерстяной тряпкой под мокрым вонючим капюшоном), ни по оружию (в руках не винтовка, а что-то длинное, липкое, похожее на странную рыбу).

Перед нами и за нами — люди с мертвенными лицами, лишенные дара речи и воли, люди, отягченные землей, облекшей их в черный саван, и похожие друг на друга, как голые. После этой ужасающей ночи со всех сторон появляются выходцы с того света, облаченные в одинаковые мундиры грязи и беды.

Это конец всего. Это на какое-то мгновение величественная приостановка, эпическое прекращение войны.

Раньше я думал, что самое страшное бедствие войны — пламя взрывов; потом я долго думал, что это удушливые, вечно суживающиеся под землей. Но оказалось, что это вода.

Поднимается ветер, ледяной ветер, и нас пронизывает его ледяное дыхание. На затопленной долине, усеянной телами, между извилистыми безднами вод, между островками неподвижных людей, слипшихся, как пресмыкающиеся, над этим хаосом, который разъезжается и тонет, обозначается какое-то движение. Здесь медленно перемещаются части, звенья караванов, составленных из существ, согнувшихся под тяжестью касок и грязи; они плетутся, разбредаются и исчезают в тусклых далях. Заря так грязна, что кажется: день кончился.

Уцелевшие люди переселяются, кочуют по этой опустошенной земле, гонимые, жалкие, изнуренные, устрешенные великой, несказанной бедой; некоторые трагичны и смешны: засасывающая грязь, от которой они бегут, их почти раздела.

Проходя, они озираются, вглядываются, узнают в нас людей и кричат сквозь ветер:

— Там еще хуже, чем здесь! Тех ребят, что падают в ямы, уже нельзя вытащить. Кто этой ночью ступил ногой на край ямы, тот погиб... Там, откуда мы идем, из земли торчат голова и плечи; они еще шевелятся, а все тело уже засосала грязь. Там есть дорога с плетеным настилом, который истерся, продырявился, и теперь это суцая западня... А там, где больше нет настила, теперь озеро в два метра глубины... А винтовки! Некоторые ребята так и не смогли их вытащить. Поглядите вон на этих:

* Немец? (нем.).

пришлось отрезать до пояса полы их шинелей (черт с ними, с карманами!), чтобы вызволить людей, да и, кроме того, у них не было сил, чтобы тащить такую тяжесть... С нашего Дюма едва удалось снять шинель: она весила не меньше сорока кило, мы вдвоем еле-еле подняли ее... А вот с этого голоногого земля сорвала все: штаны, кальсоны, башмаки. Неслыханное дело!

Они проходят группами, а за этими отставшими солдатами плетутся другие, много других... Все спасаются, охваченные паникой, вырывая из земли тяжелые комья грязи. Беглецы, облаченные в непомерно раздувшиеся панцири, становятся все меньше и наконец исчезают из глаз.

Мы встаем. Под ледяным ветром мы качаемся, как деревья.

Мы подвигаемся мелкими шажками. В одном месте мы сворачиваем в сторону — нас привлекает странное зрелище: две фигуры странно переплелись; они стоят плечом к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и уже не могут отпустить друг друга? Нет, они оперлись друг на друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю, которая уходила у них из-под ног и собиралась накрыть их, они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колено, заснули.

Не нарушая их покоя, мы уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви.

Скоро мы и сами останавливаемся. Мы слишком понадеялись на свои силы. Мы не можем уйти отсюда. Наши мытарства еще не кончены. Мы снова валимся в грязь со звуком сбрасываемого с телеги навоза.

Мы закрываем глаза, но время от времени приоткрываем их.

К нам, шатаясь, подходят какие-то люди. Они нагибаются над нами и тихо, устало что-то говорят. Один из них бормочет:

— Sie sind todt. Wir bleiben hier*.

Другой отвечает: «Ja!»** Это слово звучит как вздох. Но они замечают, что мы шевелимся, и тотчас валятся рядом с нами. Человек с бесцветным голосом шепчет:

— Мы сдаемся.

Они с облегчением вздыхают, и, словно пришел конец их мучениям, один из них, разрисованный грязью, как дикарь, пытается улыбнуться.

— Оставайся здесь! — отвечает ему Паради, не поворачивая головы, которую он положил на бугорок. — А если хочешь, можешь пойти вместе с нами.

— Да, — говорит немец. — С меня довольно.

Мы молчим.

Он спрашивает:

— А другим можно?

— Да, — отвечает Паради, — если хотят, пусть тоже остаются.

Теперь их уже четверо лежат на земле.

Один из них начинает хрипеть. Из его груди вырывается какая-то

* Они умерли. Останемся здесь (нем.).

** Да! (нем.).

рыдающая песнь. Другие привстают, становятся на колени вокруг него, лица их измазаны грязью, глаза широко открыты. Мы приподнимаемся и смотрим на них. Хрип затихает, и черноватое горло, которое трепетало, как птица, больше не двигается.

— *Er ist tot* *, — говорит кто-то из немцев и плачет. Другие опять укладываются спать. Плачущий тоже засыпает.

Подходят несколько солдат; они шатаются, внезапно останавливаются, как пьяные, или ползут, как черви; они хотят укрыться здесь, в углублении, куда мы уже забились, и мы засыпаем вповалку в этой братской могиле.

* * *

Мы просыпаемся. Переглядываемся. Мы с Паради приходим в себя, возвращаемся к жизни, к дневному свету, к кошмару. Перед нами опять пустынная долина с затопленными буграми, местами заржавленная долина цвета стали, где блестят канавы и ямы, полные воды, и на всем протяжении которой, как нечистоты, валяются тела; одни еще дышат, другие разлагаются.

Паради говорит мне:

— Это и есть война!

— Да, это и есть война, — глухо повторяет он. — Именно это, а не что иное.

Я понимаю, что он хочет сказать: «Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела, трупы, всплывающие над прожорливой землей и уже не похожие на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»

Для Паради это ясно; он вспоминает нашу прогулку по городу и ворчит:

— Помнишь ту бабенку в кафе? Она болтала об атаках, пускала слюни и говорила: «Ах, это, наверно, очень красиво...».

Стрелок, который лежит, распластавшись в гнусной грязи, поднимает голову и восклицает:

— «Красиво»! Да, черта с два! Нечего сказать! Может быть, корова тоже говорит «красиво», когда на бойни в Ла-Вийет⁴⁵ гонят стадо быков.

Он сплевывает грязь; рот у него выпачкан, лицо мертвенно бледное.

— Пусть говорят: «Так надо!» — бормочет он прерывистым надорванным голосом. — Ладно. Но «красиво»! Черта с два!

Он отмахивается от этой мысли. И гневно восклицает:

— Вот таким манером они и говорят, что им на нас начхать!

Он опять плюет, но, обессилев, падает в свою грязевую ванну и кладет голову на собственный плевок.

* Он мертв! (нем.).

* * *

Преследуемый своими мыслями, Паради окидывает взглядом неопишемую картину местности и, не отрываясь от нее, повторяет:

— Это и есть война!.. И так повсюду! Кто мы такие? Что здесь происходит? Да ничего особенного. Все, что мы видим вокруг — это только один клочок земли. Хорошенько запомни, что сегодня утром в мире на протяжении трех тысяч километров происходят такие же или приблизительно такие же беды, а то и похуже!

— И, кроме того, — говорит товарищ (он лежит рядом с нами, но мы его не узнаем даже по голосу), — завтра начнется то же самое. Ведь все это уже начиналось сызнова позавчера и несколько дней тому назад!

Стрелок с усилием, как будто разрывая грязь, отдирается от земли, где под ним образовалось углубление, похожее на мокрый гроб, и садится в этой яме. Он моргает, встряхивает головой, чтобы очистить лицо от комьев прилипшей грязи, и говорит:

— На этот раз мы выжили! И кто знает, завтра, может, тоже выживем! Кто знает!

Паради, покрытый тяжелыми пластами черной и желтой грязи, старается выразить мысль о том, что войну трудно вообразить и измерить во времени и пространстве.

— Когда говорят о войне вообще, — размышляет он вслух, — как будто не говорят ничего. Слова застревают в горле. Мы здесь смотрим на все это, как слепые. . .

Немного дальше гудит бас:

— Да, все это невозможно себе представить.

При этих словах кто-то внезапно раздражается смехом:

— Да и как представить себе, не побывав здесь?

— Для этого надо рехнуться! — говорит стрелок.

Паради нагибается к телу, лежащему рядом с ним.

— Спишь?

— Нет, но никуда не двинусь, — сдавленным, испуганным голосом отвечает человек, покрытый толстым илистым панцирем, таким бугристым, будто его истоптали. — Вот что я тебе скажу: у меня, верно, пробит живот. Но я в этом не уверен, а посмотреть боюсь.

— Давай поглядим. . .

— Нет, пока не надо, — отвечает раненый. — Я еще немножко полежу.

Другие слабо шевелятся, шлепают по грязи или ползут на локтях, сбрасывая с себя отвратительный, липкий, давящий покров. Понемногу у этих мучеников проходит оцепенение, вызванное холодом, хотя дневной свет больше не разгорается над болотом, к которому спускается долина. Вокруг все также безотрадно, а солнца нет и нет.

Раздается голос, печальный, как похоронный звон:

— Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так, просто не смогут поверить. Если будешь еще жив и ввернешь какое-нибудь словечко в раз-

говоре, скажешь к примеру: «Нас посылали на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте», — тебе ответят: «А-а», — и, может быть, прибавят: «Небось невесело было, туго вам пришлось!» Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни.

— Нет, мы сами забудем, даже мы! — восклицает кто-то.

— Конечно, забудем. . . Мы, брат, уже забываем!

— Мы всего натерпелись!

— Каждая новая беда переполняет чашу. Мы не так устроены, чтобы все это вместить. . . Мысли растекаются: мы слишком малы.

— Конечно, все забывается! Не только огромные, неисчислимые, как ты говоришь, беды времен войны: походы, которые вспахивают и перепашивают землю, ноги, стертые в кровь, боль в костях и ноша за плечами, словно выросшая до небес, усталость такая, что забываешь собственное имя, топтание или стояние на месте, которое вконец изматывает тебя, непосильный труд, бесконечные ночи — ты проводишь их, подстерегая врага (а он повсюду) и борясь со сном, а вместо подушки у тебя навоз и вши. Забываются даже те беды, что готовят тебе снаряды, пулеметы, мины, удушливые газы и контратаки. Мы видим все, как оно есть, только в те минуты, когда это происходит. Но все это забывается, уходит неизвестно как, неизвестно куда, и остаются только имена, только названия, как в военной сводке.

— Это правильно, — говорит какой-то солдат, не поворачивая головы, которая словно торчит из шейной колодки. — Когда я был в отпуску, я заметил, что забыл немало вещей из моей прежней жизни. Несколько своих писем я перечитал, как новую книгу. И все-таки, *несмотря ни на что*, я забыл, как мучился на войне. Люди и думают-то немного, а больше забывают. Они — машины забвения. Вот что такое люди.

— Значит, никто, даже мы сами этого не запоним! Значит, все это горе окончательно забудется!

Ко всем их страданиям прибавляется еще перспектива этого неизбежного великого бедствия, и люди сгибаются еще ниже и припадают к жалкому клочку земли, уцелевшему от потопа.

— Эх! Если б об этом помнили!

— Если бы об этом помнили, — говорит другой, — войны больше не было бы!

Третий, в заключение, произносит прекрасные слова:

— Да, если бы люди запомнили, эта война не была б так бесполезна.

Но вдруг кто-то привстает, стряхивает с обеих рук грязь и, черный, как большая увязшая летучая мышь, глухо кричит:

— После этой войны больше не должно быть войн!

На этом болотистом островке, где нас, еще слабых, беспомощных, ветры хлещут и треплют так сильно, что все вокруг сотрясается, словно остов гибнущего судна, этот крик человека, как будто желающего улететь, вызывает такие же крики:

— После этой войны больше не должно быть войн!

Мрачные, гневные возгласы этих людей, прикованных к земле, вросших в землю, становятся все громче, и ветер разносит их:

— Довольно войн! Довольно войн!

Да, довольно!

— Воевать глупо! Глупо! — бормочут они. — Да и что это все означает, все это, все это, о чем даже нельзя рассказать?

Они ворчат, рычат, как звери, столпившись на клочке земли, который хочет отнять у них стихия. Их лица похожи на изодранные маски. Возмущение их так велико, что они задыхаются.

— Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь!

— Люди созданы, чтобы быть мужьями, отцами, людьми, а не зверями, которые друг друга ненавидят, травят, пожирают!

— И везде, везде — либо кровожадные звери, либо загнанные, загубленные звери. Погляди, погляди!

... Я никогда не забуду этих беспредельных полей, где мутная вода смыла все краски, сгладила все очертания и теперь все расплывается, течет, заливая разбитые сооружения из кольев, проволоки, балок, но среди этих мрачных просторов Стикса⁴⁶ сила рассудка, логики и простоты вдруг потрясла этих людей, как приступ безумия.

Их явно волнует, мучает мысль: попробовать прожить свою жизнь на земле и быть счастливыми. Это не только право, но и обязанность, и даже идеал и добродетель; ведь общественная жизнь создана лишь для того, чтобы облегчить каждому его личную внутреннюю жизнь:

— Жить!

— Нам!.. Тебе!.. Мне!.. Всем!..

— Довольно войн! Эх!.. Воевать слишком глупо!.. Больше того... Хуже...

Эта смутная мысль, этот отрывистый ропот порождает отклик... Кто-то поднимает голову, увенчанную грязью, и, открыв рот на уровне земли, произносит:

— Сражаются две армии — это кончает самоубийством единая большая армия!

* * *

— Да и кто мы такие вот уже два года? Несчастные, невообразимо несчастные люди, да еще и дикари, разбойники, мерзавцы, скоты!

— Хуже! — бормочет солдат, не находя других слов.

— Да, согласен!

В это скорбное утро люди, измученные усталостью, иссеченные дождем, потрясенные целой ночью грохота, уцелевшие от ураганного огня и наводнения, начинают постигать, до какой степени война и физически и нравственно отвратительна; она не только насилует здравый смысл, опошляет величие идеи, толкает на всяческие преступления, но и развивает все дурные склонности: себялюбие доходит до жесткости, жесткость — до садизма, а потребность в наслаждении граничит с безумием.

Они представляют себе все это, как недавно смутно представляли

свои бедствия. Их гнев рвется наружу; они пробуют выразить его словами, стонут, орут. Они как бы силятся освободиться от заблуждения, от невежества, которое пятнает их душу, как грязь — тело, и хотят наконец узнать, за что им эта кара.

— Так как же? — восклицает кто-то.

— Как же? — повторяет другой еще настойчивей.

Ветер сотрясает затопленные пространства и массы людей, лежащих или коленапреклоненных, а то и неподвижных, как камни или плиты, и вызывает у них дрожь.

— Войн больше не будет, когда не будет больше Германии! — кричит какой-то солдат.

— Нет, не так надо сказать! — восклицает другой. — Это еще не все. Войн больше не будет, когда будет побежден воинский дух!

Завывание ветра почти заглушает его слова, тогда солдат поднимает голову и повторяет их.

— Германия и милитаризм одно и то же! — яростно отчеканивает другой. — Это немцы захотели воевать и подготовили войну. Германия — это милитаризм.

— Милитаризм. . . — повторяет другой.

— А что это такое? — спрашивают его.

— Это. . . это значит быть разбойниками.

— Да. Ты вот говоришь, что сегодня милитаризм зовется Германией. А завтра как его назовут?

— Не знаю, — отвечает кто-то низким голосом, звучащим, как голос пророка.

— Надо. . . Надо. . .

— Надо драться! — хрипло бурчит какая-то глыба, которая со времени нашего пробуждения так и осталась лежать во всепожирающей грязи. — Надо! (Человек этот грузно переворачивается.) Надо отдать все, что у нас есть, наши силы, нашу шкуру, наши сердца, всю нашу жизнь, те радости, которые у нас еще остались! За это каторжное существование надо еще хвататься обеими руками. Надо все вынести, даже несправедливость, которая царит кругом, и позор, и всю мерзость, надо целиком отдаться войне, чтобы победить! Но если надо принести такую жертву, — в отчаянии прибавляет человек-глыба, повернувшись еще раз, — то потому, что мы воюем ради всеобщего блага, а не ради какой-нибудь страны, против заблуждения, а не против какой-нибудь страны.

— Нет, — возражает первый собеседник, — надо убить войну во чреве всех стран!

— А все-таки, — бурчит стрелок, сидя на корточках, — некоторые воюют, и у них в голове совсем другие мысли. Я видел молодых, им плевать было на идеи. Для них главное — национальный вопрос, а не что-либо другое: для них война — вопрос родины: каждый хочет возвеличить свою родину за счет других стран. Эти парни воевали, и хорошо воевали.

— Эти парни молоды. Они молоды! Их надо простить.

— Можно хорошо справляться с делом и не знать хорошенько для чего.

— Право, люди — сумасшедшие! Это всегда нужно помнить!

— Шовинисты — это вши. . . — ворчит какой-то силуэт.

Солдаты повторяют несколько раз, словно продвигаясь ощупью в темках:

— Надо убить войну! Да, войну! Ее самое!

Один из нас, кто вобрал голову в плечи, словно не может ее повернуть, упорствует:

— Все это одни разговоры. Не все ли равно, что думает тот или другой! Надо победить, вот и все!

Но иные уже начали доискиваться истины. Они хотят узнать, заглянуть за пределы настоящего времени. Они волнуются, стараясь зажечь в себе свет мудрости и воли.

В их голове роятся разрозненные мысли, с уст срываются нескладные речи:

— Конечно. . . Да. . . Но надо понять самую суть. . . Да, брат, нельзя терять из виду цель.

— Цель? А разве победить в этой войне — не цель? — упрямо твердит человек-тумба.

Двое в один голос отвечают ему:

— Нет!

* * *

В эту минуту послышался глухой шум. Вокруг раздались крики, мы вздрогнули.

Целая глыба земли оторвалась от пригорка, возле которого мы кое-как примостились, и обнажила чей-то труп; теперь он сидит среди нас, вытянув ноги.

От обвала вода, скопившаяся на бугре, хлынула вниз и на наших глазах омыла труп.

Мы кричим:

— У него совсем черное лицо!

— Что это за лицо? — задыхаясь, спрашивает кто-то.

Живые собираются в кружок, как жабы. Эту голову, выступающую, словно барельеф, на земляной стене, обнаженной обвалом, невозможно разглядеть.

— Лицо? Да ведь это не лицо!

Вместо лица — волосы.

Вдруг мы замечаем, что этот якобы сидящий труп на самом деле согнут и вывернут задом наперед.

Молча, в ужасе мы глядим на вертикальную спину вывихнутого трупа, торчащую вместо груди, на повисшие, закинутые назад руки и вытянутые ноги, упирающиеся в мокрую землю кончиками пальцев.

Наш спор, прерванный появлением этого страшного мертвеца, возобновляется. Кто-то яростно кричит, как будто труп его слушает:

— Нет! Победить еще не все! Надо одолеть не бошей, а войну!

— Неужто ты не понимаешь, что надо победить войну? Если мы бу-

дем откладывать это со дня на день, все, что было сделано, пойдет прахом. Посмотри, ведь напрасными оказались два или три года наших мучений.

* * *

— Эх, брат, если все, что мы вынесли, еще не конец этой великой беды, лучше умереть. Я дорожу жизнью: у меня жена, дети, дом, у меня виды на будущее после войны. . . И все-таки уж лучше умереть.

— Я скоро умру, — как эхо, отзывается сосед Паради (он, наверно, взглянул на свою рану), — мне жалко умирать, ребят жалко!

— А мне, — шепчет другой, — не жалко умирать: я умираю ради своих детей. Я умру; значит, я знаю, что говорю, и я говорю: «Им не придется воевать!»

— А я, может быть, не умру, — говорит третий, весь трепеща от надежды, которую не может скрыть даже перед обреченными, — но я буду мучиться. Так вот, я говорю: «Тем хуже»; я даже говорю: «Тем лучше»; я готов страдать еще больше, если буду знать, что это на что-нибудь пригодится!

— Неужто после войны придется еще воевать?

— Да, может быть. . .

— А ты хочешь опять драться?

— Да, потому что я больше не хочу войны, — ворчит кто-то.

— А может быть, придется драться не с иностранцами?

— Да, может быть. . .

Налетает порыв ветра сильнее других; мы закрываем глаза, задыхаемся. Но шквал проносится, подхватывая, подбрасывая комья грязи и взбаламучивая воду в траншеях, отверстых, как могила целой армии. Мы продолжаем:

— В конце концов, в чем величие войны?

— В величии народов.

— Но ведь народы — это мы!

Солдат, сказавший это, вопросительно смотрит на меня.

— Да, — отвечаю я, — да, друг, правильно! Войны ведутся только нашими руками. Материал войны — это мы. Война питается лишь плотью и душами простых солдат. Это мы образуем целые равнины мертвецов и реки крови — все мы, но каждый из нас незаметен: ведь нас великое множество. Опустошенные города, разрушенные деревни, вся эта пустыня — мы. Да, все это мы, только мы!

— Да, правильно, война — это сражающиеся народы; без них не было бы ничего, ничего, кроме какой-нибудь перебранки на расстоянии. Но решают войну не народы, а хозяева, которые ими правят.

— Теперь народы борются за то, чтобы избавиться от хозяев, которые ими правят! Нынешняя война как бы продолжение французской революции.

— Значит, мы работаем и на пруссаков тоже?

— Да, надо надеяться, что и на них тоже, — отвечает кто-то из этих несчастных.

— Ну, нет, черта с два! — заскрежетав зубами, восклицает стрелок. Он покачал головой и умолк.

— Позаботимся о себе! Не надо совать нос в чужие дела, — сердито бурчит все тот же упрямец.

— Нет, надо. . . Ведь те, кого ты называешь «чужими», вовсе не чужие, а такие же люди, как и мы!

— Почему это мы вечно работаем на всех и за всех?

— Да так, — отвечает кто-то и повторяет: — Тем хуже или тем лучше!

— Народы — ничто, а они должны стать всем, — говорит солдат, впросительно глядевший на меня; он произнес, не подозревая этого, историческую фразу, которой больше ста лет, но придал наконец этим словам великий всемирный смысл.

И человек, спасшийся от бури, встает на четвереньках в грязи, поднимает голову; лицо у него обезображено, как у прокаженного. Он жадно вглядывается в беспредельные дали.

Он глядит, глядит. Он пытается открыть врата неба.

* * *

— Народы должны столкнуться через головы тех, кто так или иначе их угнетает. Одно великое множество должно столкнуться с другим.

— Все люди должны наконец стать равными.

Эти слова приходят к нам на помощь.

— Равными. . . Да. . . Да. . . Существуют великие идеи справедливости, истины. В них веришь, обращаешься к ним, как к свету. Но главное — это равенство.

— Есть еще свобода и братство.

— Но главное — это равенство!

Я говорю им, что братство — мечта, смутное чувство, лишенное содержания; человеку не свойственно ненавидеть незнакомца, но ему также не свойственно его любить. На братстве ничего не построишь. На свободе тоже; она слишком относительна в обществе, где все неизбежно зависят друг от друга.

Равенство — понятие абсолютное. Свобода и братство — только слова, равенство — нечто существенное. Равенство (хотя каждый человек, взятый в отдельности, обладает большей или меньшей значимостью, все люди имеют одинаковое право принимать участие в жизни общества, и это требование справедливо, ибо жизнь одного человеческого существа столь же ценна, как и другого), итак, равенство — великая формула людей, и значение его огромно. Принцип равенства в правах и уважении священной воли большинства непреложен, и, если его соблюдать, он даст поистине поразительный толчок к прогрессу во всех, решительно во всех областях жизни. Но прежде всего он приведет к созданию обширной и прочной основы всякого прогресса — к улаживанию конфликтов на основе справедливости, что полностью соответствует всеобщим интересам.

Предвидя еще неведомую им Революцию, которая превзойдет предыдущую, все эти люди из народа начинают понимать, что они сами являются ее источником, и нужное слово поднимается, поднимается к их горлу:

— Равенство! . . — повторяют они.

Они как бы по слогам произносят это слово, затем ясно читают его повсюду, и любой предрассудок, преимущество и несправедливость рушатся от одного соприкосновения с ним. Это ответ на все, это — великое слово. Они вникают в понятие равенства, обдумывают его и находят совершенным. И даже взрывы снарядов сверкают для них ослепительным светом.

— Это было бы прекрасно! — восклицает один.

— Слишком прекрасно и потому несбыточно! — говорит другой.

Но третий возражает:

— Это прекрасно потому, что это — истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота сейчас не в ходу, как и любовь. Это неизбежно потому, что это — истина.

— Что ж, раз народы хотят справедливости и раз народы — сила, пусть же они установят царство справедливости.

— За это уже принялись! — говорит кто-то.

— Дело не за горами, — возвещает другой.

— Когда все люди станут равными, им придется объединиться.

— И тридцать миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления.

Это правда. Тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелятся противопоставить словам: «И тридцать миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления»?

Я слушаю, слежу за развитием мысли этих людей, заброшенных на поле скорби; их слова исторгнуты мукой, болью, они кровоточат.

Но вот небо мрачнеет. От тяжелых туч оно посинело и как бы покрылось броней. На фоне небольшой светлой полосы оно заштриховано струями водной пыли. Погода портится. Опять полетит дождь. Бури и страдания еще не кончились.

Кто-то говорит:

— Нас спросят: «В конце концов для чего воевать?» Для чего, мы не знаем; но для кого, это мы можем сказать. Если каждый народ ежедневно приносит в жертву идолу войны свежее мясо полутора тысяч юношей, то это делается лишь ради блага нескольких вожаков, которых по пальцам можно пересчитать. Целые вооруженные народы идут на бойню, как стада, только для того, чтобы каста военных могла оставить в истории свои громкие имена и чтобы другие члены той же касты обделывали побольше дел ради личного престижа и выгоды. И, как только у нас откроются глаза, мы увидим, что хотя между людьми и существуют различия, но не те, какие принято считать различиями, а другие; тех же, что принято считать различиями, не существует.

— Слушай! — вдруг прерывают его.

Мы замолкаем и слушаем вдали грохот орудий. От их гула дрожит воздух, но эта далекая пальба слабо доносится до нас, а между тем вокруг нас вода заливают и заливают землю и медленно достигает даже возвышенных мест.

— Опять начинается! . . .

Кто-то из нас говорит:

— Эх, с чем только не приходится бороться!

В трагической беседе этих затерянных людей, которая разворачивается здесь, словно шедевр великого драматурга — судьбы, чувствуется беспокойство, колебание. Они предвидят не только страдания и гибель, не только нескончаемые бедствия нашего времени, но также враждебность людей и вещей к правде, рост привилегий, невежество, глухоту, злую волю, предвзятость, яростную защиту общественного положения, косность масс и другие преграды.

И среди этих смутных мыслей возникает видение: извечные противники выходят из мрака прошлого и вступают в грозовой мрак настоящего.

* * *

Вот они! . . . Кажется, будто в небе, на гребнях грозowych туч, облекших мир в траур, показалась кавалькада ослепительных воинов, гарцующих на великолепных боевых конях, — воинов, покрытых доспехами, галунами, султанами, коронами. . . Они скачут, блистательные, отягченные оружием, сверкая саблями. Эта воинственная, старомодная кавалькада врезается в облака, застывшие, как грозная театральная декорация.

А внизу солдаты, покрытые пластами грязи из чрева земли и с опустошенных полей, лихорадочно следят, как эти призраки появляются со всех концов горизонта, и оттесняют беспредельное небо, и заслоняют синюю даль.

Имя им — легион. Среди них не только каста воинов, которые призывают к войне и обожествляют ее, не только те, кого всемирное рабство облекло магической властью, не только потомственные властелины, которые высятся над распростертым у их ног человечеством и по собственной прихоти направляют ход истории, предвкушая крупный барыш. Среди них и целая толпа, сознательно или бессознательно состоящая на службе у обладателей этих чудовищных преимуществ.

— Среди них, — восклицает один из мрачных, трагических собеседников, протягивая руку, словно он видит все это воочию, — среди них те, кто говорит: «Как они прекрасны!»

— И те, кто говорит: «От войны я жирею, мое брюхо растет!»

— И те, кто говорит: «Война всегда была, значит, она всегда будет!»

— И те, кто говорит: «Дети уже рождаются в красных французских или в синих немецких штанах!»

— И те, кто говорит: «Склоните голову и верьте в бога!»

* * *

Да, вы правы, бесчисленные обездоленные труженики битв, которые проделали всю эту войну, вы — всемогущая сила, пока еще не служащая добру, вы — сонмище, где каждый лик — целый мир скорби, вы, придавленные мучительной мыслью, которые грезите под небом, где бегут, дробясь, огромные черные тучи, взлохмаченные, как злые ангелы! — Да, вы правы. Все против вас. Против вас и ваших великих общих интересов,

полностью совпадающих с требованиями справедливости. Против вас не только вояки, размахивающие саблями, дельцы и торгаши.

Против вас не только алчные финансисты, крупные и мелкие дельцы, которые забаррикадировались в своих банках и домах, живут войной и мирно благоденствуют в годы войны. Эти тупоголовые приверженцы мертвой доктрины, с лицами, замкнутыми, как несгораемый шкаф.

Против вас и те, кто восхищается сверкающими взмахами сабель, кто любит, как женщины, яркими мундирами. Те, кто упивается военной музыкой или песнями, которыми одурманивают народ, как стаканчиками вина, все ослепленные, слабоумные, фетишисты, дикари.

Против вас и те, кто живет прошлым и говорит только на языке былых времен, традиционалисты, для которых злоупотребление приобрело силу закона только потому, что оно освящено обычаем; те, кто хочет жить по воле мертвецов и старается подчинить власти привидений и нянькиных сказок живое, страстное движение вперед.

С ними священники, которые стараются возбудить или усыпить вас морфием своего рая, лишь бы ничто не изменилось. С ним их пособники — экономисты, историки (да мало ли кто!), которые дурачат вас теоретическими рассуждениями о национальном антагонизме, тогда как любая современная нация — всего лишь географическая единица, заключенная в произвольные границы и населенная искусственной амальгамой рас; с ними продажные исследователи, изготавливающие подложные философские свидетельства и фальшивые грамоты, дабы придать законную силу стремлениям власти имущих к завоеваниям и грабежам. Близорукость — болезнь человеческого ума. Ученые нередко бьются своего рода невеждами, которые упускают из виду самые простые явления, затушевывают, затемняют их научными формулами и разглагольствованиями о мелочах. Из книг можно почерпнуть много частных, но не то, что по-настоящему важно.

И даже утверждая, будто они не хотят войны, эти люди делают все возможное, чтобы ее увековечить. Они льстят национальной гордости и желанию властвовать с помощью силы. «Мы единственные носители мужества, честности, таланта, вкуса!» — вещает каждый из них из своего закоулка. Они превращают величие и богатство страны в своего рода разъедающую язву. Они превращают патриотизм, чувство, достойное уважения, если оно остается в пределах эмоций и искусств (по примеру столь же священной, как и патриотизм, любви к семье и к месту, где ты родился), в утопическую и мертворожденную концепцию, нарушающую всемирное равновесие, в нечто вроде раковой опухоли, которая подтачивает все деятельные силы нации, занимает все место под солнцем, уничтожает все живое и, распространяясь, вызывает либо военные кризисы, либо истощение страны и застой вооруженного мира.

Они извращают великое нравственное начало: сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав ее национальной! Они искажают даже истину. Вечную истину каждый из них подменяет своей национальной

истиной. Сколько народов — столько истин, которые исключают одна другую и выворачивают наизнанку настоящую истину.

Все эти люди ведут детские, до смешного глупые споры, которые вы слышите вокруг себя: «Не я это начал, а ты!» — «Нет, не я, а ты!» — «Ну, начинай!» — «Нет, ты сам начинай!» Их ребяческие препирательства увековечивают огромную всемирную язву, ибо рассуждают о ней не те, кто кровно заинтересован в вопросе, и не желание покончить с войной движет ими, а совсем напротив; все эти люди, которые не могут или не хотят установить мир на земле, которые цепляются по той или иной причине за существующий порядок вещей, находя или давая ему обоснование, все они — ваши враги!

Они вам враги в большей степени, чем те немецкие солдаты, которые лежат сегодня рядом с вами, чем эти несчастные, подло одураченные люди. . . Они вам враги, где бы они ни родились, как бы их ни звали, на каком бы языке они ни лгали. Ищите их на небе и на земле! Ищите повсюду! Опознайте их наконец и запомните раз навсегда!

* * *

Человек стоит на коленях, он согнулся, уперся руками в землю и, отряхиваясь, как дог, ворчит: «Они скажут тебе: „Друг мой, ты был замечательным солдатом, героем!“ А я не хочу, чтобы обо мне так говорили!»

Герои? Какие-то необыкновенные люди? Кумиры? Полноте, мы были палачами. Мы честно выполняли обязанности палачей. Но, если понадобится, мы снова будем убивать, и без сожаления, чтобы задушить в зародыше войну. Убийство всегда гнусно, иногда оно необходимо, но гнусно оно всегда. Да, мы были суровыми, неутомимыми палачами. И пусть мне не говорят о воинской доблести из-за того, что я убивал немцев.

— И мне тоже! — кричит кто-то так громко, что никто не мог бы ему возразить, даже если бы осмелился. — И пусть меня тоже не называют героем за то, что я спасал жизнь французам! Как? Неужели надо обоже-ствлять пожар, потому что красиво спасти погибающих?

— Преступно показывать красивые стороны войны, даже если они существуют! — шепчет какой-то мрачный солдат.

— Тебя назовут героем, — продолжает первый, — чтобы вознаградить тебя славой за подвиги, а самих себя — за все, чего они не сделали. Но воинской славы не существует для нас, простых солдат. Она только для немногих избранных, а для остальных она — ложь, как и все, что кажется прекрасным в войне. . . В действительности самопожертвование солдат — только безымянное истребление. Солдаты — толпа, атакующая цепь, для них награды не существует. Они устремляются навстречу жуткому небытию славы. Никто никогда не отметит даже их имена, их жалкие, ничтожные имена.

— Плевать нам на это! — отвечает кто-то. — У нас есть другие заботы.

— А посмеешь ли ты хотя бы высказать им это? — хрипло кричит солдат, все лицо которого скрыто под корой грязи, словно под чьей-то

омерзительной рукой. — Если ты это скажешь, тебя проклянут и сожгут на костре! Ведь из военного мундира они создали новое божество, такое же злое, глупое и вредное, как все остальные боги.

Солдат приподнимается, падает на землю и опять привстает. Из-под панциря грязи у него кровоточит рана; он пятает землю кровью и расширенными глазами всматривается на эту кровь, которой пожертвовал ради исцеления мира.

* * *

Остальные встают один за другим. Туча темнеет и надвигается на обезображенные, истерзанные поля. День подобен ночи. И кажется, там, на гребнях туч, вокруг призрачных варварских крестов и орлов, церквей, бирж, и дворцов, и храмов войны, беспрестанно появляются все новые и новые враги; их становится все больше, и они заслоняют звезды, которых меньше, чем людей на земле. И чудится даже, что эти выходцы с того света копошатся во всех выбоинах, среди живых, которые брошены сюда и почти зарыты в землю, как зерна.

Мои еще живые спутники встают наконец из своих илистых гробов; еле держась на размытой почве, закованные в латы из грязи, появляясь во всей своей ограниченности над землей, глубокой, как невежество, они двигаются, кричат, поднимают взоры и кулаки к небу, откуда исходят свет и буря, и, как Сирано де Бержераки и Дон Кихоты⁴⁷, отбиваются от победоносных призраков.

Их тени движутся по мокрой, поблескивающей земле и отражаются в бледной стоячей воде, затопившей окопы, среди полярной пустыни с туманными далями.

Но глаза этих людей открылись. Солдаты начинают постигать бесконечную простоту бытия. А приоткрывшаяся им истина не только пробуждает в их душе зарю надежды, но и возрождает в ней силу и мужество.

И пока мы собираемся догнать других, чтобы снова воевать, черное грозное небо незаметно разверзается у нас над головой. Между двумя темными тучами возникает спокойный просвет, и эта узкая полоска, такая скорбная, что кажется мыслящей, все же является вестью, что солнце существует.

Декабрь 1915 г.

ДОПОЛНЕНИЯ

ЗРИТЕЛИ

Над вечной красотой гор сияет солнце, словно собираясь растопить вечные снега, и заливает своими лучами роскошный туберкулезный санаторий. . . На его веранде стоят рядами шезлонги. Больные съехались сюда со всех уголков земли, чтобы набраться сил под этим чистым небом и попытаться залечить язвы, разъедающие их легкие. Они цепляются за жизнь, как утопающие, которые все еще судорожно держатся на поверхности моря.

Они собрались здесь со всех уголков земли. Вот русский, рыжий с проседью великан, косматый, с жесткой бородой и глубоким, глухим голосом; рядом с ним два француза, малорослых, тощих, один смуглый, с выступающими, обтянутыми кожей скулами, другой мертвенно бледный, с голубыми, словно фаянсовыми глазами; и толстый белокурый австриец, с белесыми бровями, восковыми щеками и красноватым блестящим носом. Немного дальше — немец, с наголо остриженной головой, круглой, как пушечное ядро, и провалившимися щеками; и серб, весь в морщинах, с мрачной, почти карикатурной внешностью. В конце ряда лежат парижанка и англичанка — призраки, потерявшие женский облик, затем другие, много других. . .

Они беседуют. Почти шепотом, медленно, осторожно, не напрягая голоса из боязни устать.

О чем говорят они? Главное, о своей болезни, о себе; они не таятся друг от друга.

Затем наступает молчание.

— Уже целую неделю не приносят газет, — замечает один из больных.

— В самом деле, — вежливо отзывается равнодушный голос.

— Видно, скоро начнется война, — добавляет кто-то, чтобы не дать заглухнуть разговору.

— А-а!

Не все ли равно? Какое им дело до людей, до других, чуждых им людей и до их жизни? Интересы, потрясения и чаяния государств их больше не касаются. Они перестали понимать эти сложности, эти мелкие соображения. Они оторвались от того, что происходит внизу, и всецело поглощены мыслями о своем спасении, тайнами, подвохами болезни и медицины, величием жизни и смерти. Присущие им мысли и чувства отпали от них, как и многое другое. Общность страданий, сходство недуга, поразившего их легкие, связали больных узами братства, и они ощущают здесь, на земле, лишь это глубочайшее родство. Когда один из них кашляет, другие безотчетно прижимают руку к груди.

- Из-за чего же войны? — спрашивает немного спустя немец.
 — Да разве люди знают?
 — Так, значит, они безумны. Как будто мало страданий и без этого!
 — Да, да. . .

Разговор заходит о другом — о философии, о музыке, о Пятом концерте ми-бемоль, исполненном накануне в зимнем саду. Вспоминая о нем, все оживляются и даже начинают говорить нараспев. Они любят все прекрасное, преклоняются перед вечными творениями человека, благоговейно перед великими произведениями искусства, которые служат им утешением. И здесь, в этом монашеском заточении, вдали от житейской суеты, к ним приходят простые, возвышенные и чуть ли не священные мысли. Ведь они теперь лишь человеческие существа.

Газеты!

Сиделка приносит целую кипу газет и объясняет, что они только что пришли все сразу. Доставка задержалась из-за событий. Объявлена война.

— Как, в самом деле! — раздаются голоса, и кое-кто из больных поворачивается в своем шезлонге.

— Прежде я каждый день читала газеты! Какой это труд!

Парижанка — самая молодая и самая крепкая из больных.

— Не почитаете ли вы вслух, мадам?

Молодая женщина выходит на середину веранды, опирается на балюстраду и, четко выделяясь на фоне неба и лесов, разворачивает газету.

Она читает. . . Только теперь они замечают там, в другом мире, в покинутом ими оживленном и суматошном мире, массы людей, обуреваемых страстями. Везут боевые орудия. Идут и идут войска. И повсюду бедствия, вызванные объявлением войны.

Передовые отряды наводят мосты. То тут, то там [три неразборчивых слова] творят расправу над жителями деревень. Число убитых и раненых возрастает [одно неразборчивое слово] с обеих сторон.

Скорбные изгнанники слушают чтение. Они приподнялись на локте, чтобы лучше слышать.

И мало-помалу каждого захватывает жизнь его родной страны.

Один за другим они. . . [шесть неразборчивых слов].

Русский ворчит, серб ругается, кто-то вздыхает, кто-то содрогается от ужаса.

Устав, молодая женщина передает газету немцу, своему соседу, который усердно продолжает чтение.

Речь идет о сопротивлении [одно неразборчивое слово] бельгийцев.

Все ищут глазами хоть одного бельгийца. Их нет. За неимением бельгийца удивленно-почтительные взгляды обращаются к голландцу. Затем немец перечисляет преступления, совершенные немцами. Злодеяний так много, что под конец ему становится неловко, и он бормочет: «Быть может, все это враки!» Но, убежденный сообщениями, точными данными, которые он скрупулезно приводит, немец откладывает газету и ссылается на перевозбуждение, вполне естественное у солдат, посланных на войну.

Однако не все придерживаются этого мнения.

— Позвольте! — слабо протестует бледный француз.

Понемногу разгорается спор, и все принимают в нем участие. Каждый снова обретает себя и свою родину, возвращается к прошлому, заглядывает в собственную душу, нападает или защищается и взирает на собеседника то с сочувствием, то с гневом в зависимости от того, союзник он или враг.

Озаряя горы и дали и наполняя небо сиянием, подобным сиянию славы, яркое солнце как бы освещает разногласия и пропасти, видимо, снова возникшие между этими людьми.

Затем солнце начинает клониться к закату. Огненный шар окружает светлым ореолом вершину горы, его косые лучи окрашивают группу больных, менее четкую в наступающих сумерках, и волосы брюнетов кажутся рыжими, а блондинов — розовыми.

Потом опускается вечер. Словно дрожь, пробегающая по лону природы, подкрадывается свежий ветерок. Мертвые листья, прилетевшие неизвестно откуда, ложатся на пол веранды и бегут по нему с мягким грустным шуршанием.

Собеседники успокаиваются. Они умолкают один за другим и возвращаются на свои места. Слышится тихое покашливание, и в ответ ему то тут, то там раздается кашель.

— Бог ты мой! — жалуется чей-то голос. — Уже сыро! Оказывается, и здесь бывает сыро, о господи!

— А меня уверяли, что в этих краях не бывает сырости, — говорит больной, которого знобит.

— Идемте в дом.

— Нет, доктор велит оставаться на веранде до восьми.

И те, кто еще стоял, садятся, согнувшись под бременем сгущающейся темноты. Затем все ложатся один за другим, можно подумать, что перед нами поле битвы. Над одним шезлонгом, унылым, как сама скука, поднимается иссохшая рука и натягивает одеяло; другая рука сжимает платок с пятнами крови, которая в сумраке кажется черной. Иные прижимают к себе обеими руками верхнюю одежду, чтобы предохранить от холода больную грудь, в которой множатся язвы.

Они снова начинают походить друг на друга, эти братья по мукам, люди, на чью долю выпала в этом мире равная мера страха и страдания. Их случайный спор был заблуждением. Глубокое, сосредоточенное, мирное молчание, прекрасное, как заключительный аккорд, объединяет их. Оно рождается в глубине и в простоте безграничной общности их жизни...

Тут приподнимается немец и тихо, торопливо говорит:

— Это война — не моя! И не ваша! Война нужна только Им одним! Она нужна Ему и тем, кто его окружает! Ну а мы? Разве мы звери?

— Нет! Нет! — откликаются отовсюду слабые голоса.

[Четыре неразборчивых слова] Бьет восемь часов. Пора возвращаться в палаты.

Встав на ноги, немец зашатался. Француз и русский подбегают, чтобы поддержать его. Он опирается на них и идет в дом, шаркая по полу большими ногами.

Русский качает головой и говорит низким надтреснутым голосом:

— Германия будет побеждена.

— Тем лучше! — отзывается немец. И добавляет: — Счастливы французы, у которых достаточно сил, чтобы сражаться.

— Англия вступила в войну только ради справедливости, — замечает серб.

— Да будет она благословенна! — шепчет австриец.

Высказав эти благородные мысли и другие, подобные им, больные медленно шествуют в пугающие их палаты санатория.

На краю могилы, далеко, очень далеко от обманчивых впечатлений и мелочных разногласий, служащих предметом раздоров [четыре неразборчивых слова], так далеко, словно они принадлежат к грядущим поколениям, эти люди знают, что существует лишь одна истина, и все вместе они преклоняются перед ней и призывают ее.

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ЛЕТ

1 августа 1914 г. — Барабанный бой в Омоне. Мобилизация, 4 ч. 30 м.

3 августа. — Возвращение в Париж. Призыв. Записываюсь добровольцем.

14 августа. — Первая поездка в Мёлен¹.

19 августа. — Вторая поездка в Мёлен.

Четверг, 10 сентября. — 5 часов, вызов в Альби². Выезжаю в 9 часов.

Суббота, 12 сентября. — Прибытие в Альби.

10 октября. — Элиона³ в Альби. Дом Жюери.

Понедельник, 21 сентября. — Выезд из Альби с 231-м полком — без четверти шесть вечера.

Пятница, 25 декабря. — Прибытие поездом в Виерзи⁴. В пешем строю из Виерзи в Вобюен (14 километров). — Стоянка в Вобюене.

Вторник, 29 декабря. — Окопы в Воро (переброска через Суассон).

2 января 1915 г. — Из окопов Воро в Плуази (8 километров). Стоянка в Плуази.

7 января. — Страшные дни. Выступление из Плуази в 2 часа утра, патроны. Остановка на стекольном заводе в Воро, пока идет атака марокканцев и стрелков. Голые коридоры, сквозняки. Холод. Около 2-х часов отправление в каменоломню. Вечером — дождь (долгие остановки). Окопы, взятые марокканцами, битком набиты солдатами других рот. Страшная ночь в поле, рядом с окопами. Грязь, рытвины. Часовая остановка на земляной насыпи и 3- или 4-х часовая — в поле, возле какой-то лужи. Немецкие осветительные ракеты. Молчание, пули. Я немного поспал, продрогнув до костей. В 11 часов встает луна. В 11 ч 30 м выступаем несмотря ни на что. Шагаем по дорогам, превратившимся в настоящие завалы грязи. Падаем по нескольку раз. Идем по ходу сообщения, взятому у немцев, грязь до середины икры. Добираемся до конца окопа 204-го полка. Спим немного, несмотря на холод, на земляной насыпи. — Мертвец, о которого все спотыкаются...



*Анри Барбюс на фронте.
Фотография*

Суббота, 9 января. — Взятие окопов в штыковом бою. Утром артиллерийский обстрел. Ищем укрытия.

Летом ранен рядом со мной. Мы с Дюмоном притулились на дне окопа, возле укрытия стрелков. Почти нечего есть. Съедаю остаток хлеба и шоколада. В... часу обстрел усиливается. В полутора метрах от меня (я немного передвинулся и задремал) Д..., пораженный в голову, с пробитым черепом, хрипло стонет. Я прижался к земле, покрыл голову ранцем, чтобы предохранить ее от снарядов (мне показалось, будто Д... храпит, но, обернувшись, я увидел, что он лежит измазанный кровью и землей). Ж... оторвало руку, он кричит, чтобы его перевязали. Огонь стал вдвое сильнее. Каждый залп пригибает меня к земле. Вдруг сильный удар по ступне. Думаю, что ранен. Но это лишь кусок деревянного бруса, расколотого шрапнелью... Перехожу на другое место. Примостился в проходе, который ведет в укрытие. Я под открытым небом. Кладу на голову ранец, на живот — другой ранец, найденный тут же, на ноги — скатанное одеяло. Ужасающий огонь весь остаток дня. Разрывы шрапнели вправо, влево и прямо передо мной.

Нас сменяют часов в 8—9. Идем то по ходам сообщения, то по полю, так как траншеи полны солдат, пришедших нам на смену. Прибытие в пещеру, ждем, чтобы части, проходящие по окопу, освободили его. Осветительная ракета (эта ракета помогла определить, где мы находимся, и несколько секунд после нашего ухода за нашей спиной упали снаряды и вывели из строя восемь или десять человек). В конечном счете унтер приказал нам идти по верху траншеи, чтобы положить конец ожиданию и вернуться на стоянку. Пули. Свист. Санитары и убитые. Зловоние. Наконец дорога и каменоломня. Измученные, устраиваемся на ночлег. Но часов в 11 вызывают двадцать четыре человека, чтобы отнести проволоку на линию огня. Я вхожу в их число. Мы поднимаемся. Идем на стекольный завод, чтобы оставить там одеяла и ранцы, и, вооруженные винтовками, с запасом патронов, берем попарно в темноте деревянные заграждения, оплетенные колючей проволокой, иначе говоря крестовины, и снова идем на передовую. Свист пуль. Приходим в пещеру. Оставляем свой груз и возвращаемся обратно. На часах около половины пятого. Вновь располагаемся, чтобы поспать на камнях и охапке соломы. Под головой у меня вместо подушки ранец. И все же я проспал как убитый до 8-ми часов.

Воскресенье, 10 января. — Наутро 50 % солдат нашего взвода оказались больными. Узнаем, что в 17-й роте, контратакованной немцами, больше двадцати человек было убито и пятьдесят пять ранено (приблизительно двести человек были выведены из строя за позавчерашнюю ночь и вчерашний день). Узнаем подробности: увязшие в грязи раненые, которых удается вытащить с помощью двоих солдат из раскисшей глины траншеи. Немцы, никому не дававшие пощады. Они пытались выдать себя за «смену 19-й и 21-й рот», чтобы снова овладеть нашими окопами.

Сегодня новая атака наших на окоп в Круи.

По общему мнению, вчерашний день был самым кровопролитным с начала войны, хотя наш полк проделал всю первую часть кампании от Мёза до Марны⁵.

Понедельник, 11 января. — Утро на стекольном заводе. В 4 часа звучит приказ: «Сбор!» Нас собирают во дворе. Затем мы направляемся к выходу. Приказ: «Взвод за взводом, беглым шагом». Мы на дороге в Круи, и она под обстрелом. Под градом снарядов доходим до замка. Остановка. Идем дальше, стараясь укрыться от огня. Пули и шрапнель. Главная улица Круи. Собираемся спуститься в какой-то подвал. Унтер де Шонак находит другую стоянку, немного дальше. Спускаемся в подвал, уже занятый отрядом инженерных войск. Едва мы успеваем туда войти, как снаряд ударного действия попадает в первый подвал, который мы собирались занять. Затем чудовищные взрывы там, где мы укрылись: второй этаж здания над нами и дом напротив разрушены. Вечер. Устраиваемся на ночлег. Приказ полковника: доставить на возвышенность 80-миллиметровое орудие. Вскоре после — темноту ночи по-прежнему прорезают снаряды и пули — новый приказ: требуются двадцать солдат, чтобы отнести на передовую доски и мешки. Идет весь наш взвод. Едва мы оказываемся наруже посреди черной лужи, где спотыкаемся о какие-то обломки, как рядом с нами падает один снаряд, другой. Нас заметили (шпионаж?).

Нас обстреливают. Наконец берем доски и мешки. Выходим на дорогу. Предстоит влезть на откос. Я первый подхожу к ходу сообщения и, пытаясь спуститься по насыпи, буквально тону в грязи, погружаюсь в нее по колена, по локти. Следуем дальше по краю окопа и сваливаем доски и мешки в десяты метрах от небольшого немецкого поста, среди свиста пуль. Возвращаемся обратно. У траншеи французских понтонеров нас встречает залп, данный почти в упор: солдаты приняли нас в темноте за немцев. Я поранил себе ногу о колючую проволоку. Никто не пострадал. Мы кричим, солдаты в окопе понимают свою ошибку и пропускают нас. Возвращаемся после полуторачасового отсутствия. По-прежнему пули и снаряды. Начинаем засыпать. Вдруг новый приказ: требуется двадцать солдат, чтобы отнести проволоку и мешки на прежнее место. Все повторяется сначала. Едва мы успеваем вылезти из окопа, как попадаем под огонь неприятеля. Снаряды вселяют ужас в этой темноте, среди развалин. Наконец в 4 часа утра возвращаемся в подвал и кое-как засыпаем.

Вторник, 12 января. — Часов в 10 утра команда: «Тревога! Немцы! Надеть ранцы! Сбор!» Наскоро снаряжаемся и, примкнув штыки, занимаем вторую баррикаду на улице в Круи. Частый огонь. Мужественное поведение нашего взвода. Смотрим в амбразуры, поджидая немцев. Их все нет. Противоречивые слухи: вышла ошибка — за врагов приняли наших. Или, напротив, немцы спускаются в Круи и обходят нас. Видим, как идет на приступ 236-й, солдаты запыхались и не больно рвутся в бой. Вскоре они бегом спускаются обратно по откосу. Много раненых, лица и руки в крови, иных несут на спине уцелевшие товарищи. Сержант Маньен требует добровольца: надо узнать, что происходит на первой баррикаде. Я вызываюсь, прохожу сквозь огонь винтовок и пулеметов. Сержант Прюдом, занявший дом справа, кричит мне, что все в порядке. Просит лишь двух санитаров для раненых. Я возвращаюсь и снова занимаю свой пост на баррикаде. Шутки. Моральное состояние ее защитников превосходное. Хладнокровие сержанта Маньена. Возле нас установлено небольшое орудие. Подтверждается, что немцы продвигаются вперед и собираются нас обойти. В минуту затишья сжигаем письма. Остаемся на том же месте. Вдруг часа в три какой-то офицер кричит нам: «Назад! Сержант Маньен приказал отступить». Улица простреливается из конца в конец пулеметным огнем, видно, как пули выбивают искры из мостовой и белые облачка — из штукатурки стен. Солдаты падают, сраженные. На повороте какой-то сержант валится на землю, он в агонии. Приказ отступить к Сен-Полю. Под частым огнем мы выбираемся на дорогу через сады — многие там и остались. На дороге в Сен-Поль — мы друг за дружкой пробираемся вдоль нее по канаве — получаем приказ возвращаться на передовую. Маньен, унтер-офицер де Шонак, Барбье и я храбро возвращаемся тем же путем, затылок в затылок, призывая остальных — они бегут в противоположном направлении — следовать за нами. Земля усеяна винтовками, ранцами, снаряжением. Наш взвод устраивается в лесопилльне Леграна-Дюпюи при входе в Круи. Строим баррикаду из толстых досок. Унтер собирает и посылает вперед всех отставших. Двое пулеметчиков, «которые ищут тыловую позицию», устраи-

ваются на нашей баррикаде. Всю ночь идет передвижение войск. Не знаем, в каком положении дело. Дежуриим вместе с Дюбуа с 7 до 11 часов. Божественный стакан портвейна.

Среда, 13 января. Спим в подвале. Почти нечего есть. Сухой чай и сахарный песок. Весь следующий день мы подвергаемся обстрелу. Шрапнель разрывается рядом со мной. Пули стучат по доскам: нашу баррикаду засекали. Видно, какие опустошения произвело 75-миллиметровое орудие на склоне Круи, над кладбищем. Вечером отступление. Возвращаемся в Сен-Поль, проходим через Эн, Суассон. Квотируем на сахарном заводе в Сен-Жермене. Горячая встреча оставшихся там товарищей. Они считали нас погибшими. Нас пичкают вином, водкой, мясом в винном соусе, кофе, жареной каргошкой. Слишком горячее, но благотворное проявление дружбы. Узнаем, что немцы заняли все окопы, которые мы с таким трудом удерживали начиная с сентября и где полегло столько зуавов, марокканцев, пехотинцев. Мы вспоминаем погибших. Наш взвод потерял семнадцать человек, около половины своего состава. Дюмон и Ф... убиты (последний погребен заживо). Летюм, Роллина, Жашье, Жилле, Буатье, Пежер, Мазоду, сержант Прюдом, Вуд, Бreen — пропали без вести. Маньен говорит мне — таково же мнение и унтер-офицера, — что все мы выполнили свой долг, а Барбье и я сделали немного больше других, за что меня собираются произвести в капралы (к чему я не стремлюсь) или в солдаты первого разряда.

Четверг, 14 января. — На следующее утро, до рассвета, покидаем баррикаду; находиться здесь опасно. Блуждаем! Наконец на заре проходим через Суассон. Прибываем в Розьер, где останавливаемся на отдых. Скопление войск. Чувствуется поспешное отступление. Жалкий, измученный вид солдат.

Пятница, 15 января. — Стоянка в Бюзанси. Холодные, промерзшие пещеры.

Суббота, 16 января. — Стою на посту, когда из госпиталя, разместившегося в замке, выносят четыре гроба (в том числе гроб Дюмона).

Воскресенье, 17 января. — Бюзанси. У мадмуазель Ж... Замечаю, что моя фуражка прострелена.

18 января. — Приходим на постой в Пети-Курмель, пригород Виньоля, где мы находим наконец хорошую стоянку. Установка батареи 155-миллиметровых орудий. Продолжается крупное передвижение войск. Здесь, как и повсюду, обилие ложных слухов. Желание утомленных солдат дожидаться смены и отправиться в конце концов на отдых. Человек пятьдесят больных. Говорят, что за неделю боев мы потеряли шестнадцать тысяч человек, немцы — двадцать пять тысяч. Окопы в Сен-Поле, на противоположном берегу Эны.

20 января. — Возвращение в Виньоль.

30 января. — Саконен.

5 февраля. — Сен-Кристоф (католическое общество)⁶. Окопы.

Числа 20 февраля. — Наблюдательный пункт в Сен-Кристофере. Там на посту днем — доброволец, ночью — Дюбуа, несколько солдат патрулируют местность вплоть до вечера.



*Анри Барбюс — солдат 231-го стрелкового полка. 1915 г.
Фотография*

26 февраля, вечером. — Выступаем ночью в Пюизё (28 километров).
6 марта. — Доммье.

14 марта. — Вивьер. Лейтенант Брюн говорит мне, что я буду отмечен в приказе или произведен в 1-й разряд⁷. Гран-Розуа (двадцать три дня, две тревоги). Гран-Мер. Меня хотели прикомандировать к **67-му территориальному полку**, но я попросил остаться.

17 апреля. — Серш. Я — солдат первого разряда.

23 апреля. — Колючая проволока в окопах Сермуазы. Укрытие напротив Аси для 120-миллиметрового орудия.

30 апреля. — Ночной переход из Серша в Бийи-сюр-Урк⁸ (с 12 ч. 45 м. ночи до 8 ч. 45 м. утра), около 25 километров.

1 мая. — Из Бийи-сюр-Урк в Вилле-сюр-Этон — 7 километров. Пароходом из Лонпона в Дулен. Машиной из Дулена в Тенк, пешком из Тенка в Арк. Из Арка в Мон-Сент-Элуа и в Экур. Немецкие окопы. Кокур.

23 мая. — Гуи.

25 мая. — Час ночи. Тревога. Нас перебрасывают в окопы Аблен-Сен-Назера, занятые 276-м полком. Окопы и дома Аблена. Мы в распоряжении полковника 27-го полка. В резерве на случай атаки. Она кончилась ничем.

26 мая. — Стоянка в здании свободной школы.

27, 28, 28 мая. — Тыловые окопы. Фотографируюсь с Салавером. Немецкие пленные. Кадорна. Журналисты — Бертула, Ф. Бертело⁹. Бетюнская дорога¹⁰.

Ночь со 2 на 3 июня. — Земляные работы в ходу сообщения, который ведет на передовую. Артиллерийский обстрел. Дежурный по кухне. Встреча с Л. . .

6 июня. — Фревийе.

8 июня. — Отмечен в приказе за доставку раненых¹¹.

10 июня. — Приступ дизентерии — назначен санитаром. Бетюнский лес и параллельный ход сообщения в Камблен-л'Аббе.

26, 27, 28 июня. — Лес близ Алё, кемпинг, завтрак и обед. Доктор Шайоль¹².

29 июня, 3 часа. — Уходим из этого леса и направляемся в Камблен-л'Аббе.

14 октября 1915 г. — Мы сидим в укрытии на Бетюнской дороге. Мы с Момиалем вышли этим утром в половине десятого, чтобы попытаться дойти до Суше под прикрытием густого тумана, который окутал сегодня утром всю долину. Вылезаем на дорогу. Лежавшие рядами мертвецы убраны. Вид у них был страшный и жалкий. У одного лицо было совсем черное, губы распухшие, жуткие, руки искромсанные, нечто вроде детских рук с искромсанными ладонями; это чудовищно, ужасно. Другие — бесформенные, загаженные глыбы, из которых торчали какие-то непонятные предметы, а вокруг летали листки писем, они выпали из карманов мертвецов, когда, упершись локтями в землю, покойников распаковывали санитары. В одном из писем говорилось: «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин», и т. д. Дальше лежал труп, который был в таком состоянии, что его пришлось положить в проволочную сетку, завернуть ее в кусок парусины и с помощью веревок прикрепить все это к колу. Зловоние. Кучи разодранных палаток и шинелей, измаранных, в клочьях, заскорузлых от запекшейся крови.

Мы спускаемся по Бетюнской дороге. По обе ее стороны — расщепленные деревья, перепаханные снарядами насыпи, кучи всевозможных обломков, обрывков, отбросов. Вдоль нее — окопы, ходы сообщения, всевозможные флаги. Проход слева. Вся долина изрыта «проходами», ходами сообщения, а совсем недавно, после взятия позиций, господствовавших над нами, здесь провели узкоколейку.

Красный кабачок. От него ничего не осталось. Мы рассматриваем как достопримечательность остатки пола (. . .;) здесь лежат груды обломков, красноватых, как кирпич, из которого был построен дом, когда дом стоял на месте.

Мы добираемся до другого немецкого окопа на бывшей передовой, идущего почти всюду вдоль дороги. Кое-где она вконец разворочена снарядами, почернела, словно обуглилась, сплошь изрешечена воронками. Трупы немцев и французов, которые лежат здесь две недели, а может быть, и месяц: их не могли похоронить, пока тут проходила линия огня.

Сфотографировал на бруствере окопа, занятого нами в результате атаки 25—28 сентября, пятерых немцев, расплюснутых, разложившихся, черных и кишаших червями. Снял также и самый окоп. Я выбрал место, которое показалось мне особенно исковерканным, развороченным. Но, право же, выбирать здесь невозможно: все разрушено, полно гнили и обломков. От всего веет гибелью (...). Немного дальше мы спускаемся вниз и приходим в Суше; деревня уничтожена. Она превратилась в поле, покрытое горами камней и досок. То тут, то там воронки от снарядов (...). Запах как на бойне. Ступаешь по осколкам снарядов, по разбитому оружию; всюду неразорвавшиеся снаряды, разодранное снаряжение, кучи подозрительных лохмотьев, как бы склеенных красно-бурой замазкой. Несколько трупов. Один из них еще совсем свежий. Это повар, а рядом с ним целая вереница хлебов. Вокруг тела — солдатские кружки. Наверно, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Все эти дни немцы вели сильный огонь по Суше. Издали был виден дым 150- и 210-миллиметровых орудий, а их оглушительный грохот, похожий на лязг металла, доносился из низины, где мы сейчас стоим. Конечно, место это не слишком надежное, и наше счастье, что нас еще не обстреляли. Мы доходим до конца деревни, если можно так выразиться, до единственного дома, от которого сохранился фундамент (в дыру виден двор и залитый кровью матрац). Затем идем обратно.

Никогда я не видел подобного исчезновения деревни. Аблен-Сен-Назер и Каранси еще ходили на селения, хотя дома их были разбиты, а дворы завалены обломками.

Здесь все потеряло первоначальный облик, нет ни стены, ни решетки (...), ни двери, которые бы остались на месте. Все вокруг похоже на грязный, болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали всякий хлам, отбросы, обломки, старое железо. На переднем плане туман и фантастическая декорация изуродованных деревьев.

Трупов немного. Несколько ям, в которых разлагаются лошади. В других ямах лежат обезображенные, искалеченные ранами останки тех, кто был людьми. От бомбардировки так пострадала мельница, что ее обломки запрудили речонку, которая повернула в сторону и образовала пруд на маленькой площади.

15 октября. — Я дошел с пятым батальоном до откоса зуавов. Этот откос был взят во время нашей атаки 28-го, а зуавы и марокканцы добрались до него еще 7-го числа. Они бежали без передышки от Бертонвальского креста, окопались, как могли, у подножия холма в одиночных укрытиях, которые уподобили это место пчелиному улью; здесь же они были обстреляны фланговым пулеметным огнем и перебиты все до единого. Овраг и откосы — они тянутся на несколько километров в длину — представляют собой теперь огромное кладбище. Повсюду трупы, либо

мумифицированные, скелетообразные, либо превращенные в маленькие кучки костей и мяса, смешанные с красноватой грязью. Иной раз из земли торчит подошва, нога или кусок материи, указывая на то, что здесь находится чей-то труп. Огромное количество покойников немцы оставили гнить, когда занимали эти позиции. Вот лицо, напоминающее Рамзеса II¹³, которое виднеется из-под солдатского ранца, потрескавшегося, покоробившегося, вот берцовые, вот бедренные кости, вот кости рук и ступней, гирляндой опоясывающие какие-то подозрительные бугры. А тут из обрывков пропитавшейся дегтем материи торчит часть позвоночника. Это уже не трупы, а нагромождение высохших отбросов, словно выброшенных на свалку вместе с негодным снаряжением, с манерками, с котелками, мусорными ящиками, не считая всяких пищевых остатков и консервных банок, которые обосновавшиеся здесь солдаты оставили, нагромоздили возле окопов.

Что же касается солдат, погибших во время атак 28-го числа, то их ежедневно уносят отсюда и сразу же хоронят. Такие трупы лежат в ряд у подножия Укрытия Зуавов. Они походят на вереницу тех мертвецов, которых мы видели позавчера и вчера на Бетюнской дороге, — покрытые грязью, чудовищно искалеченные, обезображенные, лица раздутые, черные, как у негров, опухшие тела, кишацие насекомыми и червями. Их винтовки складывают в стороне.

* * *

Стоит получить нашивку, как передряг не оберешься.

Окопавшийся, он хорошо одет. Он чистенький. Носит ботинки. Словом, вид у него мерзопакостный.

Маленькая девочка. Хотелось бы погладить ее.

Неужто это будет длиться до последнего издыхания?

Вялый, отвратный человек, видно, кашевар.

Размазня чертова, пижон, лоб или сачок, селедка тухлая, задница, олух царя небесного, крыса дохлая, раззява, квашня, падаль, дерьмо, пугало огородное, дуб, отравка чертова, старый пердун, гнида ползучая.

* * *

2 ноября. — Откос Зуавов. Приходим под проливным дождем. Ноги промокли до самых колен. Стенки окопов оползают. Наводнение, потоп.

Полевые укрепления затоплены.

Какой-то орущий человек, с ног до головы покрытый грязью, массивный, желтый; его руки в перчатках, в брони из грязи. Он рассказывает нам чудовищную историю солдат, находившихся на передовой. Воды в окопах по колена, по пояс. Все убежища рушатся. Невозможно ни на минуту остановиться в траншеях, так как потом не сдвинешься с места. Невозможно ориентироваться; не будь световых ракет, все мы там утонули бы. Солдаты деморализованы. «Он плакал горячими слезами», — говорит (...), который только что с помощью товарища два часа вызво-

лял из грязи санитара Дюма. Неизвестно, удастся ли завтра произвести смену. Дюма притащили наполовину мертвым. Парням пришлось идти по долине, где они попали в воронку от снаряда. Их одежда порвалась о колючую проволоку. Шинель Дюма весит тридцать пять кило. Там, наверху, люди ничего не ели целые сутки.

Повара увязли по дороге. Их нашли спящими в грязи в полном изнеможении.

Пулеметы были свалены наверху откоса, с них ручейками сбегала жидкая грязь.

«Просто чудо, что нас не убили», — говорит Паради. Во власти все той же неотвязной мысли Паради повторяет: «Это чудо, чудо, чудо», — стараясь передать неизгладимое впечатление, которое оставляет подобное бедствие.

Сержант, с которого грязь сорвала штаны и кальсоны и который вернулся лишь в низеньких гетрах на голых ногах.

Утонувшие солдаты (...), оторванные подошвы.

Если ступишь ночью на край воронки, ты пропал.

Я сам был лишь землей.

*Зимние квартиры: собака*¹⁴.

Она лежит неподвижно и скучает, о чем-то думая в своем углу, возле жирного котелка. В сарае, где мы остановились, темном, сыром, продуваемом сквозняком и полном навоза, мы день-деньской ходим, притоптывая, между койкой и дверью. Собака воплощает в себе великую гнетущую скуку, которой нет конца, неистребимую скуку, которая убьет и ее, даже ее, если так будет продолжаться.

Мы ищем спасения в тепле какого-нибудь людного кабачка. Там мы пишем, разговариваем, кричим, стряхивая с себя тишину и скуку, затем без четверти восемь вздрагиваем, чувствуя, что пора возвращаться.

Углубить трагизм будничной и наиболее жуткой стороны войны, потому что другая ее сторона — опасность, страх перед насильственной смертью — не вполне от нее отделима. Но это где-то там, в будущем.

Перед лицом столь беспощадного насилия над твоим характером, над твоей душой начинаешь замечать, как легковесны идеи, порождающие войну. Положите их на чашу весов. Сравните. Разве они человечнее бесчеловечности нашей кошмарной жизни?

* * *

Я был в восторге, когда он меня разжаловал¹⁵; я оказался в далеком прошлом; я оказался в седьмом веке.

Недостает камбалы «Маргерит»¹⁶.

— Почему вы унтера «старшой» зовете? — Тирет назидательно: Так уж повелось.

Надо было бы сделать столы между койками, но это слишком хлопотно.

Ну же, признайся; полно, скажи, положи руку «на совесть». Слякотная грязь вгоняет нас в грусть.

Низенький итальянец, прозванный макаронщиком.

Паради то и дело повторял: «Чем больше он стареет, тем становится свирепее».

* * *

Слепец идет за своей собакой, как собака.

Ночью, когда ты бодрствуешь у бойницы.

Часовой бодрствует в окопе под звездным небом и думает о людях.

О людях, обо всех людях, таких же многочисленных, как звезды, таких же далеких и таких же неведомых друг другу. Ужасна преграда, воздвигаемая невежеством и национальной рознью. Можно ли ее преодолеть? Да, но надо, чтобы люди искали друг друга. Надо, чтобы они избавились от ложных доктрин, которые им вдальбливают профаны или лица, заинтересованные в том, чтобы существующая разобщенность еще больше омрачала тюремную обособленность людей. Надо спокойно, тщательно и мудро всматриваться в истоки явлений и руководствоваться не догмами, а идеями, но не туманными, абстрактными идеями, а идеями понятными, глубокими, жизненными.

Признайся, что ты сам хорошенько себя не понимаешь, когда бодрствуешь ночью, стараясь разглядеть, не движется ли что-нибудь в долине. Ты, в сущности, не понимаешь, почему ты здесь. Друг мой, в общем нет никакой причины для того, чтобы ты находился здесь. Конечно, мы все попали в мясорубку. Надо продолжать и победить. Но надо смотреть шире, видеть дальше интересов сегодняшнего дня — они лишь историческая частность в недрах извечного вопроса.

Теперь ты не читаешь газет. Но позже остерегайся тех, кто постарается внушить тебе, что народы различны по самой своей сути и что ни один из них не должен возобладать над их народом; если это справедливо для одних народов, то это справедливо и для других, а это означает войну на веки-вечные.

* * *

Ополчиться на описания в розовом свете. На хреновину Деруледи и мазню Детайя...¹⁷ окопавшегося очковтирателя. Он пишет портреты светских людей с помощью кольдкрема, румян, помады «Роза» и рисовой пудры.

Симфония бомбардировки — можно подумать, что пыхтящий, обезумевший паровоз, промчавшись по воздуху, падает с головокружительной высоты и вот-вот рухнет на землю.

Солдаты походят друг на друга тем, что вынуждены носить военную форму, и не только ту, которая у них на теле.

Разгрузить, сократить разговорный язык, который должен быть содержателен и библейски прост, по примеру разговора между Бертраном Печальным и (...).

Бертран Немногословный умеет выразить целый ворох умолчаний и продуманных наблюдений.

* * *

Парашютные прыжки с «колбасы»¹⁸

Голова у него была пробита навывлет. Можно было бы продеть сквозь нее бечевку.

Вопрос национальной принадлежности — вопрос корысти. В конце серьезного разговора некий лавочник-стяжатель говорит мне: «То же и в моих родных местах; у нас там две улицы, X и Z. Между тем для наших жителей нет ничего, что было бы хорошо или дурно само по себе. Есть вещи выгодные для коммерсантов и для домовладельцев либо с улицы X, либо с улицы Z... В глубине души все это прекрасно знают... Но как на той, так и на другой улице имеются крупные лавочники и влиятельные домовладельцы, которые всем заправляют. А для остальных людей такое положение может быть вопросом жизни и смерти».

Не надо ничего усложнять, но и не надо попадаться на удочку. Можно прекрасно жить и быть счастливым, не пытаясь вооружаться и уничтожать друг друга. Разве для того, чтобы жить счастливо, Провансу необходимо оттеснить Бретань или Пуату и попирать ногами пикардийцев?¹⁹ Почему бы миру — этому нормальному состоянию людей — не существовать между политиками разных стран, ведь существует же он между населением разных провинций? Если две соседние области могут решать свои дела, не поедая друг дружку, почему это невозможно между двумя соседними государствами? Не потому ли, что они ближе к нам, чем Соединенные Штаты Америки, или не так велики, как Европа? Однако наши северные кантоны²⁰ и наши южные кантоны с их почти сплошь испанским населением...

Парадоксы властимущегоо.

Франция хотела мира. Она ничего так не желала, как сближения с Германией. Ее идеалом был мир. Мы никогда не провоцировали Германию, никогда не говорили о реванше, никогда не надеялись на возвращение Эльзаса и Лотарингии²¹. Мы никогда не проявляли ни малейшей ненависти, ни малейшего неприязненного (чувства) к немцам.

Не следует применять изобретений, которые не были бы французскими. Я говорю об этом для того, чтобы «Нувеллист»²² начал соответствующую кампанию.

В таком случае журнал стал бы рукописным, ведь полиграфия — немецкое изобретение. Мне кажется, право, что Гутенберг, родившийся в Майнце в XV веке...²³

— Тогдашние и нынешние боши не одно и то же.

Прежде всего надо знать, правда ли это.

Некий французский министр утверждает, что прежние и нынешние боши одно и то же.

А. говорил: Крупная атака, какое это, должно быть, великолепное зрелище. — Знаешь, старина, с таким же успехом и корова могла бы сказать: Какое это, должно быть, великолепное зрелище, когда на бойни Ла-Вийет²⁴ гонят стадо быков. Вот в точности, что сказала бы эта корова.

* * *

Людам свойственно видеть не дальше своего носа. Недостаток ума, недостаток чувства. Человек равнодушен к тому, что находится вне известных ему узких границ. После меня хоть потоп. В сущности, никто в этом не признается, хотя каждый думает именно так. Да, глупость и безразличие довольствуются малейшим предлогом, чтобы отбросить всякое беспокойство.

Ночью солдат поднимают для атаки. Они выступают на рассвете. Это пробуждение приговоренных. По другую сторону фронта других солдат тоже будят, чтобы послать их, спотыкающихся под тяжестью ноши, на бойню.

В пятидесяти километрах от фронта жители, должно быть, просят бога в своих утренних и вечерних молитвах: «Господи, сделай так, чтобы война продолжалась!»²⁵

О причинах войны.

Ясно, даже если не входить в подробности, что было бы наивно во всем винить Германию и утверждать, будто до войны вся Германия была настроена воинственно, а вся Франция — пацифистски. В действительности как с той, так и с другой стороны имелись и воинственные и пацифистские элементы; но в Германии милитаристские элементы находились у власти, они были всемогущи, что и повлекло за собой все остальное.

Во Франции имелась весьма активная реваншистская партия²⁶, которая оказывала значительное влияние на общественное мнение; кроме того, у нас наблюдалось почти повсеместно чувство стыда за военное поражение 70-го года, а также надежда на громкие победы, свойственная характеру многих французов.

Нападкам подвергалась не армия, необходимая для обороны. Не закон о трехгодичной военной службе, который рассматривается как оружие. А известное настроение, явное желание господствовать с помощью силы, дабы отвоевать потерянные провинции и вызвать, независимо от положения внутри страны, жажду национальной славы.

Близорукость. Близорук тот, кто составил себе окончательное мнение о какой-нибудь доктрине на основе частного факта или простого предположения.

Близорукость. Близоруки те, кто довольствуется внешней стороной догмы, скажем догмы религиозной, или флагом, который с течением времени превратился в фетиш.

* * *

Обожествление флага.

В нем воскресли прежние идолы.

Флаг, друзья мои, — это идол. Водружая его или пытаясь его уничтожить, я поступаю так же, как те, кто из более глубоких и возвышенных побуждений ополчался на каменных идолов.

— Флаг вовсе не то же, что идол.

— Он только кажется чем-то другим, но последующие поколения увидят в нем именно идола и даже нечто худшее.

.....
 Не упускать из виду мысли о росте и неискоренимости нищеты.

.....
 Мир без промедления. Это конец нынешней войны. Позже это, возможно, будет конец всем войнам вообще.

* * *

Статистика.

Кокон объясняет мне, что мы ночевали в тридцати городах, что состав нашего полка пополнялся трижды, что однажды мы провели шестнадцать дней в поездах и трижды останавливались на отдых. Каждый из нас испортил по две винтовки, изнасил четыре шинели, двое штанов, шесть пар башмаков²⁷.

Заключительная фраза одного из солдат, показывающая, что мы не отдаем себе отчета в этом усилии.

У него была очень маленькая и очень безобразная голова. У него была крупная, недурная фигура, а на квадратном торсе — крошечная головка, такая маленькая, что ее можно было принять за лепную головку утки.

.....
 На его плоском лице маленький нос, который он поминутно трогает, тербит, торчит вверх, как пробка.

.....
 Это похоже было на улитку, передвигающуюся на руках.

Фуяяд, замечательный солдат. Его героический подвиг. Он сразу же отмечен в приказе.

.....
 Во время этих испытаний мы говорим о Ландрене, сынке богатых родителей и кутиле, который добился своего и был взят в армию как до-рожный рабочий. Тирет говорит мне: «Если уж попал туда, то надолго».

Погубительница (погубительница мужчин — госпожа X).

Граф-жалобщик — (граф X).

В Вавилоне, во времена царицы «Семинаристы»²⁸.

Мимо нас прошли английские офицеры, подтянутые, во всем кожаном. Мы прозвали их «запелёнутые».

Бранные выражения: Пропади все пропадом. Провались ты в тарарары. Сатана и его милка. Иди ты к богу в рай. Чтоб ему ни дна, ни покрышки. Чтоб из него душа вон. Холера меня возьми. Сатана и его военная музыка.

Поющая птица. Правда на ее стороне.

*Пророчество*²⁹.

Я пытаюсь по мере сил вселить в вас надежду. Такова, между прочим, и непобедимая надежда на поражение Германии до наступления зимы. Обсуждаем вопрос о том, можно ли предсказать будущее. Солдаты спрашивают мое мнение. Они доверяют мне. Я отвечаю, не колеблясь: без сомнения. Такие предсказания сбывались, честное слово.

Солдаты, рассыпавшиеся вдалеке, как множество вшей.

Полемика.

Ваши статьи хороши. В печать.

Сюжет повести.

Пропенсон — храбрец, каких мало. Он награжден военным крестом с двумя пальмовыми ветвями и военной медалью. Презренный Бео, бездельник, висельник, рыскает, как шакал, по полю боя. Найдя убитого Пропенсона, он присваивает себе его документы. Он станет отныне Пропенсом. Он сдается в плен. После войны за ним приходят жандармы. Пропенсон был в действительности настоящим мерзавцем. Он храбро вел себя на фронте, но его прежние преступления не были забыты (...). Похититель документов приговорен к смерти. Напрасно пытается он объяснить, что он не Пропенсон, а Бео; ему не верят. Он сам запутался в сотканной им паутине предостережений. Кроме того, те, кто его знал, успели отправиться на тот свет.

* * *

Долг — это опасность.

Передержки, софизмы «недовольных». Я принесу больше пользы на спокойном посту, вдали от опасности, даже у себя дома. Я сберегу таким образом для родины свой интеллект, свое художественное дарование. Пусть другие отправляются туда, где и в самом деле можно погибнуть.

* * *

В солнечном свете, вливавшемся в окно, она стояла, сияющая и нежная, словно сотканная из лучей. Она касалась лицом лица розы.

Война существует только благодаря невидимому труду единиц. Каждый солдат невидим и безмолвен в силу множества себе подобных.

Истина. Поле боя. Великая ночь. Солдат-червь. Солдаты-черви. Все они копошатся, сжигаемые невидимым пожаром лихорадки. Ранним утром они дымятся, как развалины, моля о чем-то; один из них шевелится, падает еще ниже. Они источник тумана?

Гневная вспышка. В. по поводу опасности, по поводу тех, кто носит на воротнике штабное клеймо.

Так и подмывает сказать Блеру во время мытья: Почему ты так грязен? Думаешь, твоей жене приятно... когда к ней подходит этакий не-ряха. Но, право, никто не решается.

Угорь. Глава в духе Бальзака.

* * *

Иисус Христос был несчастный человек с чистой душой; он не заслужил того зла, которое причинили его идеи ³⁰.

Нежность: немного о животных и о жалости, немного о нежности.

Кароший стрелук (стрелок). Пехтур (пехотинец).

Мой наблюдительный пункт.

Днэм и ношью (днем и ночью).

Мои уши.

Не можности (нет возможности) ³¹.

Владеющая вами возвышенная ненависть, которая ничего не приносит, кроме зла.

Автотранспортная служба. Всевозможные ухищрения, чтобы не попасть в пехоту. Ни разу, пока это было возможно, автотранспортная служба не отпускала ни одного солдата. Было даже отказано из принципа тем, кто хотел добровольно поступить в пехоту. Ты бы послушал, что говорят водители: «Я собрался было пойти на фронт добровольцем и не смог». Ложь, лицемерие! Одного такого прикомандировали к нашему взводу как штрафника.

Господину Ф. де С... Те, кто проявил столько таланта, чтобы заставить говорить о себе в мирное время, и столько же таланта, чтобы заставить позабыть о себе во время войны.

...Случай с Б... и С... одни из тех окопавшихся, кому дали возможность... получить военный крест за то, что они оставались в тылу.

В этом замке имелись «каменные мешки»... На таком деле ты мог, не преувеличивая, заработать в год тридцать пять—тридцать шесть пистолей и даже несколько палет или экю (пистоль = десяти франкам; палет = пяти франкам; экю = трем франкам).

Я хочу, чтобы меня судили мои собратья, а вовсе не отцы-монахи с улицы Баярда или с улицы Франциска I.

* * *

Великие книги ³²

«Анналы»	«Близкие друзья»
«Энеида»	«Свадебный марш». «Мама Ко- либри»
«Легенда веков»	«Новый идол». «Ископаемые»
«Фауст». «Раздумья».	Верлен
«Новые гимны».	Малларме
«Гамлет». «Ромео и Джульетта»	«Рене»
«Цветы зла»	«Вертер»
«Дон Кихот»	«Война огня»
«Гулливер»	«Неволя и величие солдата»
«Робинзон»	Виньи
«Жизнь Иисуса»	«Древние стихотворения»
«Мысли»	«Трофеи»
«Критика чистого разума»	«Святой»
«Критика практического разума»	«На дне»
«Женитьба Лоти»	«Война и мир»
«Разгром»	«Анна Каренина»
«Жерминаль»	«Книга джунглей 1-я»
«Крестьяне»	«Книга джунглей 2-я»
«Наше сердце»
«Святой»	«Воспоминания о детстве и юно- сти»
«Непрошенная». «Слепые»	«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо
«На белом камне»	«Мученики»
«Дневник горничной»	Мопассан. «Рассказы»
«Ослепления»	«Госпожа Бовари»
«Сирано де Бержерак»	«Бувар и Пекюше»
«Пьер Правдолюбец»	«Милый друг»

* * *

Портик ³³.

Двое солдат нарушили гармонию этих призрачных, туманных мест.
Эти провалы, рассыпанные по бескрайнему небу.

Шпион.

Они так долго пробыли в разлуке, что теперь им ничего другого не
остается, как притворяться счастливыми.

*Смена**Вольпат и Фуйяд**Отпуск**Погрузка*

(Дать эту главу в духе Киплинга)

*Великий гнев**Собака*

*Грубые слова
Солдатский скарб
Работа*

Ты самая сволочная сволочь во всей Европе.

Ты самый большой изменщик в целом свете.

Ты кажешься ладным, а на самом деле недотепа.

Ты ждешь выступления, чтобы ничего не заплатить.

Возьмись я за его работу, я наломал бы еще больше дров.

Внутри меня все зашлось.

У него другое название, враль; там есть большущий госпиталь, враль, и чтоб мне провалиться на этом месте, враль, там полно солдат.

У меня все ноги в мурашках.

Капитан выдает себе вдвое больше мяса, чем остальным. Однажды он просит рвотный порошок. Просит двойную порцию.

Национализм подобен человеку, который курит, потому что находит это красивым, бросает спички в солому, борется с огнем и размышляет об усовершенствованном насосе для тушения пожаров, время от времени вспыхивающих у него дома.

Люди, видимые издали, — маленькие черные жемчужины, которые служат для того, чтобы делать из них с помощью проволоки жемчужные цветы для украшения могил.

Вернуться к истокам... Критически осмыслить приобретенные знания, приобретенные понятия, навязанные теории.

В договоре, подписанном богом-отцом, говорится вполне определенно, что человек должен жить прошлым...³⁴ Странная доктрина, которая видит путь к совершенству в топтании на месте.

Это освобождение, этот свет и называется прогрессом.

Эта идея гораздо выше той, которая превозносит индивидуальный и даже коллективный эгоизм. Социальный прогресс зиждется на Интернационале.

Ты сражаешься ради чего-то.

Ради чего-то большого, значительного, возвышенного.

Ради чего-то простого. Необходимо сказать это достаточно ясно и громко, чтобы быть услышанным всеми. В ответ на (...) мертвецов и даже на крики раненых осознаешь глубокую и грандиозную структуру всех дел человеческих.

Прозвучали громкие клики, благородные слова и озарили этапы теперешнего и будущего прогресса. Ради одной из этих великих целей ты как раз и сражаешься, ради той, что выше всех остальных, ради справедливости и равенства людей.

* * *

Проект новеллы.

Император. Есть на свете нечто такое, что пугает меня, — это картины. Они висели, жуткие и мрачные, при дворе Филиппа IV³⁵. В его дворце, обширном, как город (в нем было десять тысяч окон), среди шутов и камергеров находился человек, который ведал по милостивому повелению короля неопределенными вопросами церемониала, в частности он устраивал шествия и рассаживал грандов. Звали его дон Диего Родриге де Сильва Веласкес³⁶. Можно было жить в Эскуриале и не запомнить его, но написанные им картины остались. Филипп IV умер. Навеки ушли и другие короли. Пройдя через войны и мир, исчезли целые поколения. А картины Веласкеса по-прежнему живы. Поистине поразительны эти творения с их неизменным, всепобеждающим присутствием. Они затмили и Филиппа IV, и его войны, и его роскошь. А если вернуться еще дальше вспять, то даже Карла V и Карла Великого³⁷. Благодаря своей неувядаемой вечности они затмят когда-нибудь Испанию. Они в силах пережить Европу. Меня беспокоят великие картины, эти творения, которые не покидают больше дворцов, ведь в наши дни даже памятники недолговечны.

Вчера и завтра.

1. Мечта.

Опьянение, восторг. Пьянящие надежды. Безумие, вызванное темнотой и близорукостью. Все это тяжеловесно, навязчиво, систематизировано невеждами и псевдоучеными.

2. Драма, затем кошмар.

Буря.

3. Истина, Свет.

Болезнь простоты и света, страдание, боль новизны.

Простота, возможность вернуться к истокам, к первопричинам, все подвергнуть критике.

Я выхожу из этого испытания истерзанный, с обостренной чувствительностью. . .

Чувство ненависти: то, которое было, пропало; то, которого не было, появилось.

7. Упоение.

Вместить в сто пятьдесят страниц как бы любовный роман, привести все вышеупомянутые особенности, необходимые для заключения. Главное — действие. Никаких описаний — только размышления. Черты характера или драмы.

Новелла.

Сестра милосердия в госпитале. Он любит ее и, выздоровев, увозит с собой. Затем их отношения разлаживаются, в конце концов она вновь становится сестрой милосердия и возвращается в госпиталь. Он приходит туда (но уже не в качестве больного). Та же обстановка, что и раньше, и вопреки собственной воле, вопреки уроку пережитого они пробуют возобновить прежнюю идиллию. Повторяют, хотя и менее убежденно, бывшие обещания.

Тот, кто не заглядывает далеко; однако взгляд его всегда устремлен вперед, кажется, что он смотрит прямо перед собой, но глаза его пусты.

Он постоянно говорит что-нибудь невразумительное, незаконченное. У него утиное лицо и хриплый голос.

Существуют два типа недалёковидных: простак и славный старик.

Вспыльчивый и высокомерный.

.....
Астральное преображение.

.....
Обугленные скелеты деревьев.

Старуха в своей черной накидке и в своем чепце.

Руки в панцире болячек.

Пруд под умирающими деревьями; сумеречная церковь с кристальными плитами.

Заря покрыла зеркало вод хрустальными зеркалами.

Кошмар.

Эта часть должна быть наиболее короткой. Пятьдесят страниц. 1 : 150.
2 : 50. 3 : 100.

Таков срок моего пребывания в окопах — две недели.

Я прибыл со сборного пункта, чтобы сражаться.

«Залатанные» — те, кто обнаруживает во время мытья свои раны, шрамы, рубцы; таковы даже те, кто кажется с виду целым и невредимым.

Прибытие на сборный пункт. Дождя нет, очень холодно. Все печально-печально. Мрачна равнина, мрачно и все остальное. Лучезарна одна только слава.

* * *

Мучительное целомудрие солдатской жизни. Девственная смерть.

* * *

Брисбиль³⁸ и катоблепас³⁹ — единственные персонажи, у которых имеется нечто вроде политических идей. Остальные являются консерваторами не столько по своим убеждениям, сколько по складу своего ума, корыстного, узкого, слепого, или же по тому, как сложилась их судьба.

.....
Парикмахер Жюстен Покар. Он тоже разновидность Кокона со свойственными тому статистическими выкладками и незаконченными выводами.

Его заведение, тесное, пропахшее косметикой и всякими специями. Зеркала частично скрыты картонными коробками.

Его ум начинен сведениями об алкоголизме, и он охотно указывает на бедствия, проистекающие от алкоголя.

Они-то, по его мнению, и определяют место, занимаемое алкоголизмом, и почти равное тому, которое отводится войне в увеличении бедствий человечества. Обуреваемый великими идеями, он говорит по всякому по-

воду: «Это же просто, как дважды два...». Вся трудность — найти выход...

Не сделаете ли вы этого, мой юный друг, если моя просьба не слишком вас затруднит?

Остряк, который вечно каламбурит... и чисто парижская мания давать прозвища. При виде золотки баронессы Грий, красномордой, потной, на лошади, он говорит: верховая прогулка смеющейся коровы.

Он прерывает стрижку волос, чтобы сказать: «То был артист, работавший бритвой, — это и моя скромная работа...».

Мастер на все руки Крийон. Грубая архитектура его лица. Лицо это выделяется своими топорными чертами. Его принцип — платить не деньгами, а работой. Он доводит его до крайности. Он все оплачивает своими поделками. Он изобретает самые невероятные сделки — мировые финансовые спекуляции в миниатюре — берется за все, работы его многообразны. В его мастерской пахнет то медью, то лаком, то клеем. Он не слишком честен: он портит часы, которые берется чинить.

Он слесарь и кузнец, но занимается также кожевенным делом. Он рассказывает, что его похвалил министр.

Крийон говорит: «Я здесь, здесь живу, это правда, но, старина, не обманывайся на этот счет: не будь у меня жены, детей, не будь у меня дела, и будь я американцем, а не французом, ну так вот, я был бы, возможно, в Америке».

Я знал людей, говоривших: «Только бы мне раздобыть десять тысяч франков, каким бы магазинчиком я обзавелся».

Баронесса Грий: «Вы больны, потому что ничего не ели. Я больна, потому что переела. Как видите, мы в одинаковом положении». Однажды она приглашает меня к себе в замок, где по ночам гудит электрогенератор. Я удостоился этой чести, потому что у нее за столом собралось тринадцать человек. Она заявила мне: «Пришлось пригласить хоть кого-нибудь».

Толстяк Февр. Жирная шея, дряблая, как живот. У подбородка такой вид, словно под ним вырос живот. Борода нестерпимо жесткая, желтая, высохшая, похожая на деревянные опилки. Одутловатые щеки покрыты клочками бороды; он не разговаривает; он лишь говорит вполголоса, расхваливая свой товар. Он наживает деньги. Он богатеет.

Толстяк-бакалейщик Февр; он вызывает ненависть своей неизменной удачей. Все ему удается, у него поразительный нюх на дела. Он богатеет в мирное время. Приходит война. Он богатеет. Впрочем, он не совершает никакой явной бесчестности. Он не крадет, но на всем наживается. Он копилка для монет.

Характерны его глаза, большие, с толстыми, тяжелыми веками. Их тусклость кажется значительной. У него беззубый, дурно пахнущий рот. Из рта постоянно вырывается негромкий свист, и порой на толстых, вывороченных губах показываются пузырьки слюны.

Комок масла над редкой землистой бородкой. Ест он аккуратно. Он так тщательно набивает себе брюхо, словно укладывает чемодан.

Пара больших светло-голубых, как бы эмалированных глаз, тусклый взгляд.

Я так и вижу круглые фонарики его глаз и влажную отвислую губу.

* * *

Брисбиль. Он выделяется среди односельчан своей несдержанностью и передовыми идеями. Походит на рыжего быка в результате своего пристрастия к алкоголю. Заговаривает со встречным и поперечным. На спине у него татуировка, изображающая пресвятую деву. Он об этом не знает.

Он любит сбить с человека спесь:

«Все это чепуха. Ты полный нуль. Ты раззява. Ты вот где у меня сидишь. погоди, проучу тебя, шелковым станешь. Ты надумал обдурить нас?»

Он высказывает правильные мысли с чисто крестьянским здравым смыслом, но, выпив, несет околесицу. Он приступает к вопросу о наследстве с практической сметкой, но и весьма осторожно. Беспощадный ум.

Постоянные угрозы — одна из характерных черт Брисбиля.

«Уж он у меня дождется, устрой ему темную. Я дам ему жизни, несколько дней будет ползать на карачках. Да в случае чего я из него дух вышибу. Ты прекрасно мог промолчать, ну а теперь пеняй на себя». Брисбилю нет равного в изобретении забавных и красочных метафор.

Внимание. Хороший священник. Это очень важно. Он должен быть симпатичным, но не лицемерным. Он всегда чистосердечен. В главе XXIV он показан таким, каков есть⁴⁰. В ней разоблачаются его заблуждение, его невежество, а не двоедливые, не лицемерие. Ему присущи лишь добрые намерения и справедливые, хорошие чувства. В его жизни все отрывочно, незавершенно. Никогда ни одной законченной мысли. Его рука... вечный жест благословения. Он признается. Форма его признания. Конечно, есть и то и это, и все отчаявшиеся, все восставшие были бы правы, если бы не существовало бога. Но, так как бог существует, они не правы, и все в этом мире к лучшему.

Брисбиль заявляет, пожимая плечами: «Если уж говорить о чуде, то чудо — это человек с утиной головой и хриплым голосом».

Символично, глубоко, наводит на такие же размышления.

После пререкательства с Брисбилем священник говорит, качая головой: «Право же, мы никогда не пойдем друг друга».

* * *

Нежность и жалость. Уважение к раненому животному.

Я вижу собственными глазами равенство, которое кроется в глубине неравенства, находящегося на поверхности.

Бомбардировка. Знаешь, приятель, этот тип не привык к этому. Не знаю, чем он занимался в мирное время, но, видно, это было противоположное тому, что он делает на войне.

Тот, кто выдумал, что цеппелины могут оказаться над Парижем и что по ночам надо охранять город, — дерьмо! Он был в карауле один час из четырех.

Надо предложить ей это деликатно, а не говорить напрямки: «Скажи, сегодня вечером мы ляжем вместе?»

Я был рабом, а теперь свободен, но я не знаю, что мне делать с огромной свободой, которая обступает меня со всех сторон. Я слишком свободен. Я отторгнут слишком решительно от своего рабства.

Во время артиллерийского обстрела над моей головой появляются огненные полосы, а по бокам возникают световые завесы.

От обстрела так вздыбилась земля, что долина словно содрогалась в приступах гнева.

Волны атакующей пехоты — так и кажется, что долина качается, волнуется, бушует, как море.

Мы находим томик стихов, валяющийся на столе постоялого двора. Мы берем его в руки, ощупываем, словно чей-то хрупкий экзотический прах.

Первый поэт.

Недвижный мальчик с дудочкой пастушьей стоит среди стада, возле шалаша, рукой вдоль дудки водит не спеша, нащупывая собственную душу. Он все вобрал: и дерева испуг, и вод нагорных жалобу простую, все тайны медленно преобразуя в мелодию — высокий, чистый звук, которым дышат небо и земля, он как бы говорит во вдохновенье: «Я только подражаю наслажденью смотреть, как плавно зыблются поля, как ширится безмерно тишина. . . Хочу, чтоб песня грустная свирели была прекрасна и просветлена, как долгий взгляд, блуждающий без цели». Мир убаюканный проснулся снова, пришла весна для всех вещей земли, как только чьи-то губы расцвели над всей немой пустынею былого*.

* * *

«Огонь». Служба печати⁴¹.

Буте, Медар, Гилар
Доктор Сибиль
Доктор Шайо

Хирш
Ш. Путц
Фишер

Лютер Галь Местер

Думик

П. Адам

Р. де Гурмон
(спец. служба)

Декурсель
Ж. Жюльен

* Стихи в переводе Юлии Нейман.

Рони		Ла Фуршардьер
Леконт	Тайбург	Хью
.	Эсно	
П. Маргерит		
Нериль (?)	Селла (?) Ег.	
Николет Г.	Друйе	Ле Фуйе
Ж. Шарра	Булен	
г-жа Х.	Кокюти	Снель
г-жа Гр.	братья Одифье	
г-жа Фокё		
Фуре		Ж. Ренак
Фаскель	Ромен Роллан	Крюппи
Докуа	Пиош	
Эфраим	Вандерем	К. Фаррер
Г. Тери	Ж. Леконт	Ж. Верро
Эд. Херр	Ростан	К. Жакемон (?)
Мор-Мегре	Ришпен	
Ла Фуршардьер	Метерлинк	Жениль
Делесаль		С. Эрио
Рено	Пейребрюн	Альбер Тома
Ж. Каль	Пеналоза	Кайо
Дарлюгаль		
Марлеваль	Северин	
Мальвиано	Ж. Эрве	
.	М-ль Май	
.	А. де Ренье	Жервэ
Марсель Израэль	Хирш	Олланд
Г-жа Блатже	Барту	Тери
Хюг Неттер	Хесс	
Броссо	Вильм	Фуре
Капюто	Ш. Делонкль	
Хинда	Бокановский	

Покойники.

Мертвецы, которые живут смертью.

Мертвецы, которые убивают. Когда с них снимаешь пояс, граната взрывается. Мертвец стоял, прицелившись; хватаешь его винтовку и тащишь к себе за ствол; при этом застывший палец мертвеца нажимает курок, и тот, кто хотел вырвать у него винтовку, убит.

* * *

Националисты — вожаки народов. Националисты, с их вооруженным миром, с их сложными системами протекционизма и всевозможных союзов, производят на меня впечатление людей, которые вместо того, чтобы перестроить ветхий дом, старательно поддерживают его стены и потолок своей спиной, своими руками и не могут сделать ничего другого.

* * *

- Война. Дневник. 1915 год.
I. Видение.
II. Солдаты в воде ⁴².
III. Смена.
IV. Вольпат и Фуйяд.
V. Стоянка.
VI. Привычка ⁴³.
VII. Погрузка.
VIII. Отпуск.
IX. Великий гнев.
X. Арговаль.
XI. Собака.
XII. Портик.
XIII. Грубые слова.
XIV. Солдатский скарб.
XV. Яйцо.
XVI. Идиллия.
XVII. Подкоп.
XVIII. Спички.
XIX. Бомбардировка.
XX. Огонь.
XXI. перевязочный пункт.
XXII. Прогулка.
XXIII. Работа.
XXIV. Заря.

* * *

Тот, кто почти не говорит. Так и кажется, что он вот-вот заговорит. Но он не решается. Понимаешь, что именно он скажет; затем он приходит к заключению, что говорить не стоит, проглатывает слова, чуть не сорвавшиеся с языка, и оставляет при себе свою мысль. Молчаливый свидетель выявляет лучше говоруна сущность иных явлений.

ПИСЬМА

I

ПИСЬМА АНРИ БАРБЮСА К ЖЕНЕ

1

3 августа 1914 г. Понедельник, 10 часов вечера

Дорогой малыш¹, на призывной пункт я пойду только завтра. Обедая, как я тебе уже писал днем, у Маккиати². Отдал ему все долги. Доплачивать ничего не надо. Сейчас только так и нужно поступать, в данный момент это самое разумное. У меня, кроме тех денег, что я взял с собой, уезжая из Омона³, и пятидесятифранкового билета, есть 95 франков, которые заплатил Жерве⁴, плюс еще сто франков от Ашетта⁵ — он жалует их всем своим сотрудникам, отбывающим на фронт. Вычти из общей суммы стоимость различных башмаков из желтой кожи, достойных Алкивиада и Петрония!⁶

Вот и все новости.

А.

Война объявлена — сегодня вечером, когда ты получишь это письмо, ты, конечно, уже будешь об этом знать. Теперь дело за Англией⁷.

2

4 августа 1914 г.

Дорогая девочка, прошел комиссию и признан «годным». Как только эта церемония окончилась (мне пришлось прождать на ногах три часа), я поспешил усесться в кафе на площади Альма и, подкрепившись дюбонне, разбавленным водой, первым делом взялся за перо, чтобы написать тебе. Завтра опять пойду на этот проклятый призывной пункт, где так долго заставляют ждать, — надо узнать наконец, куда и когда я еду.

Хочешь, сообщу новость? Очень важная новость: Англия объявила Германии войну. Право, Германия словно обезумела. Почти вся Европа против нее. Она похожа, по-моему, на припертую к стене бандитскую шайку, которая наносит удары направо и налево, подготавливая себе ужасную кару. Победить она не может. Думаю, что она запросит мира еще раньше, чем ее разгромят. Ну, увидим.

Я, нижеподписавшийся — А.

Я уже начинаю беспокоиться, что от тебя нет вестей.

3

*Альби*⁸. 13 сентября 1914 г., воскресенье, 6 часов

Милая девчурка, пишу тебе в большом альбийском кафе — самом большом, кажется, но не единственном (они здесь на каждом шагу). Я уже облачился в солдатское обмундирование (подыскал одежду достаточно длинную и просторную, чтобы она не обтягивала меня), и, когда смотрюсь в зеркало, мне кажется, что точно таким же я был в Компьене⁹, где впервые надел эту сине-красную форму. Даже мое кепи теперь лучше; правда, галстука мне еще не выдали. А впечатления от казарменной жизни совершенно такие же, какие, помнится, были у меня двадцать лет назад. Те же обычаи, те же шутки, те же запахи. Разница лишь в том, что дисциплина менее строга, да еще нет кроватей: вместо них в школе, где нас разместили, по полу разбросаны тощие охапки соломы.

Наш отряд (человек триста) прибыл сюда вчера в десять вечера. Сначала объявили, что казармы переполнены и нам придется ночевать на улице. Какой-то сержант сжалился над нами и повел нас в «одно место», где, как он сказал, «будет не лучше, чем на улице, зато от росы не намокнете». «Место» оказалось зданием суда. Лично меня препроводили в «комнату свидетелей защиты», я ее в жизни не забуду. При свете зажженной спички я и еще несколько солдат вошли в каморку, битком набитую людьми, храпевшими на каменном полу. Ты представить себе не можешь этот шум и тесноту. Но пришлось втиснуться туда. К счастью, я перед этим не спал две ночи и поэтому задремал, несмотря на могучий непрерывный храп соседа, трубившего у самого моего уха. Лежать было так жестко, что даже во сне я смутно чувствовал, как у меня ломит все тело. В пять утра я вышел из этой спальни и с час бродил по городу под моросившим дождем (все кафе были еще заперты), потом пошел в казарму, где мне сказали, в какой я роте и где она находится. Как я уже упоминал, она помещается в школе, которая носит загадочное название «Светская школа» и стоит под сенью красного собора из розового кирпича (фотографию я тебе послал сегодня).

В школьном дворе, рядом с беседкой для игр, превращенной в ротную кухню, с террасы открывается красивый вид на весь город: везде характерное сочетание цветов темно-розового и рыжего, как охра, а дома с плоскими крышами из крупных пунцовых черепиц напоминают итальянские. Завтра я получу оружие, и немедленно начнется действительная служба, то есть всяческая маршировка и т. д. Однако старший сержант, пораженный тем, что я — сотрудник издательства Ашетт, попросил меня помочь ему с делопроизводством. Это, несомненно, обещает мне некоторые послабления по части муштры. По общему мнению, если дела и дальше пойдут так же, как последнюю неделю, нас, вероятно, не пошлют на фронт или пошлют не скоро и притом в окопы второй линии, для окружения и захвата. Стоит ли говорить, как бы я был этому рад, тем более что в данных обстоятельствах я сделал все, что мог, и выполнил свой долг.

А ты как поживаешь? Надеюсь, ты написала мне в 31-й полк, —

письмо перешлют. (Я никогда не был приписан к этому полку, но призвался в месте его расположения — отсюда и ошибка.) Во всяком случае, пиши скорее. Расскажи подробно, как проводишь время, опиши один-два дня или все дни, если хочешь.

Вчера я завтракал с Рейнальдо Ганом, который рассказывал анекдоты об общих знакомых. Ходят также слухи, что Фернан Грег, Марсель Буланже и Глазер из «Фигаро»¹⁰ царят и разглагольствуют в «Подворье святого Антония» — заведении столь же бездарном и претенциозном, что и его название. Я у них еще не был — боюсь показаться рядом с этими блистательными господами. Предпочитаю сидеть в своем монастыре, освежаться тройным одеколоном и пить чай.

Видел сегодня в ротной канцелярии свой послужной список — воинский документ, секретный и оглашению не подлежащий. Мои бывшие начальники дают обо мне отзыв в следующих словах: «Вынослив, довольно умен».

Ты уже знаешь, конечно, что железнодорожное сообщение восстановлено до Сюрвилле.

Пиши мне (без марки) по такому адресу: Тарн, город Альби, 35-й территориальный пехотный полк, 15-я рота, 7-й взвод. Солдату такому-то.

4

29 сентября 1914 г. Вторник. Альби

Вчера получил от тебя письмо. А сегодня еще одно. Это здорово, просто здорово. Пожалуй, я скоро опять к ним привыкну. Мне тоже бывает грустно уходить с пустыми руками с переключки, когда раздают письма...

Я все думаю о наших собаках. Неужели когда-нибудь Лезгин, тихий и терпеливый, как овечка, снова будет подавать нам лапу, Домино с нервным ворчанием гнаться за гнилым яблоком, Ариэль, поджав хвост, серой тенью мелькать на заднем плане, а Ками, белая и напудренная, как будто она только что вышла из кареты, танцевать для нас! Мы снова поселимся в доме со стенами и крышей, и в нем не будет никаких дыр, кроме окон! Эта перспектива приводит меня в восторг — и я надеюсь, что brave французские солдаты не слишком разграбят жилище, которое нам в одно историческое утро пришлось внезапно покинуть.

Анни написала мне среди прочего, что один мой рассказ напечатан в бордоском «Матэн»¹¹. Сейчас я обдумываю другой. (Впрочем, у них лежит и еще один — если они его еще не напечатали.)

Я велел Жоржу Леконту¹² послать деньги тебе. Вполне возможно, что они уменьшили ставки.

Зимние вещи, о которых шла речь, куплю себе завтра же.

Сегодня был на стрельбище. Показал один из лучших, если не самый лучший результат в роте: выбил четыре из семи за сорок пять секунд по маленькой мишени с колена — с расстояния двести пятьдесят метров.

До завтра, сердечко мое.

Прилагаю вырезку из «Эко де Пари».

«Отважные люди».

Г-н Виктор Бланше, мэр Омона (департамент Уазы), расположенного в четырех километрах от Санлиса, несмотря на отъезд членов муниципального совета и многих жителей, остался на посту и, благодаря своей энергии, сумел уберечь коммуну от варваров».

5

24 декабря 1914 г. Четверг, 7 часов утра. Ле Бурже

Пишу тебе, пристроив листок бумаги на коленях, в вагоне, где провел три ночи подряд. Я было задремал, но два часа назад мы начали блуждать по здешнему огромному вокзалу, полному солдат всех мастей: старых, молодых, раненых и т. д., пехотинцев, спаги¹³, кирасиров, даже индусов. Все, кроме раненых, направляются на разные участки фронта. А куда направляемся мы, никто толком не знает... Пока мы ехали, все постоянно высказывали самые разные предположения на этот счет. Один артиллерист из тех, что ехали со своими лошадьми в нашем поезде, сообщил нам сведения, из которых можно сделать вывод, что наша первая мысль — относительно Суассона — была верна. В общем, там видно будет. Отсюда нас отправят к месту назначения. Говорят, что мы двинемся из Ле Бурже (который расположен почти на пути из Парижа в Шантийи) в полдень того. Днем, самое позднее вечером, будем на линии фронта.

Надеюсь, ты получила многочисленные послания, которые я отправил тебе с дороги, а скоро и я, даст бог, получу от тебя весточку. Я слышал, что теперь еще дольше задерживают письма с фронта. Ничего хорошего это нам не сулит. Целую.

Пиши, как и раньше: 35-й полк, 15-я рота, мне передадут. Не жди моего нового адреса: иначе я слишком надолго лишусь радости видеть твой почерк.

Твой А.

6

26 декабря 1914 г. Суббота

Прибыли только в пятницу, в десять часов. Большой привал. Кофе и туеуц в масле. Выступление в два часа. Шли пешком 15 километров, до самого вечера. С набитым ранцем, кошмар! Плечи и спина просто разламываются! Разместили нас в амбаре.

Спал прекрасно, в тепле, в отличном спальном мешке. Сегодня в десять утра идем в окопы. Кругом стреляют, в воздухе проносятся «таубе»¹⁴. До скорого — письма, конечно.

7

26 декабря 1914 г., суббота

Вот, дорогая малышка, мы и прибыли на место назначения. Пишу тебе в бильярдной богатого дома, который стоит на краю деревни. Бедняжка бильярдная. Она похожа на лавку старьевщика. Комната довольно просторная, но в ней помещаются два отделения со всем своим багажом.

Солдатская амуниция, вещмешки, винтовки, кожаные ремни, банки с консервами лежат повсюду: на бильярде, на полу (вперемешку с соломой и комьями грязи), на диванах, которыми проходящие воинские части пользуются так усердно, что обивка на спинках и сиденьях оплешивела, а дерево исцарапано.

Расскажу подробно о том, что произошло с того злополучного понедельника, когда мы вечером покинули берега Тарна. В купе нас было семеро; это много, ведь у всех ранцы, патронташи, ружья и вещмешки. Лечь негде. Но, как я уже писал в открытках, которыми забрасывал тебя с дороги, спал я в этой обстановке в общем неплохо. Замерз лишь в последнюю ночь; мы провели ее на вокзале в Бурже, а там собачий холод. Выехали только в полшестого утра. По железной дороге мы добрались до конечного пункта к девяти утра. Тут началось долгое ожидание в полной выкладке. Занятие не из приятных: стоишь бесконечно, тяжелая ноша давит. Потом нас построили отрядами, и опять мы остановились на лесной опушке. Напились кофе и в первый раз открыли запасную банку консервов (чтобы быть точным до конца, скажу, что у меня была рыба). Местность живописная. Деревья белые от инея, как в Швейцарии (помнишь?), и яркое солнышко над ними. Во всех направлениях двигались бесчисленные подразделения и обозы. Оживление царило необычайное. С равномерными промежутками раздавались выстрелы, то глухие, то резкие. В небе — круглые облачка разрывающихся снарядов: белые (французские бомбы) и черные (немецкие). Нащупывают позиции. Гудят аэропланы.

Тронулись только в два часа дня, шли до половины пятого. Признаюсь, это было мучительно. Тяжелые набитые сумки, сто двадцать пять патронов, запас провианта — в общем, добрые сорок килограммов груза, и поначалу кажется, что не пройдешь и двадцати пяти метров. Поэтому остановкам все радовались. Как только раздается свисток, мигом ружья в козлы, а ранец на землю. Ух! Ремни этого проклятого ранца так режут грудь, что дыхание спирает. Кроме того, идти с такой ношей жарко, обливаешься потом... Наконец добрались до той деревни, где мы должны оставаться, пока не пойдем в окопы. После долгих мытарств, суеты, хождений в темноте и холоде (не меньше двух часов), я наконец очутился на сеновале, полном соломы. Развернул свой спальный мешок, и благодаря этому чуду спать мне было так тепло и хорошо, что лучше некуда. В семь утра нас подняли. У меня руки-ноги затекли, поясницу ломало. Опять надели ранцы, но шли недолго, а затем нас распределили по взводам, чтобы заткнуть дыры в 231-м полку. Меня назначили в 3-й взвод 18-й роты. Любопытное совпадение: капрал нашего взвода — служащий Ашетта, а сержант — зять Делесая¹⁵, который работает в этом же издательстве. Остальные «приятели», как говорят солдаты, очень славные ребята, отзывчивые, дружелюбные. Мы пробудем тут три дня, так как взвод только вчера сменился. На четвертый день пойдем в окопы. Говорят, там погано. А пока что — почти полный отдых, кроме караульной службы. Только что поел супу — целый котелок бульона с хлебом. Дают чай, это отлично (только сахар нужен свой).

... Сейчас нам сказали, что сегодня ночью наша очередь идти в караул. До свиданья, бегу помыться, так как лицо и руки у меня лучше некуда. Ну, на сегодня хватит, надеюсь, погода у вас хорошая, и Лощадка¹⁶ исправно служила тебе эти дни.

Твой дружок А.

Мой адрес: 34-й почтовый сектор, 55-я дивизия, 110-я бригада, 231-й пехотный полк, 18-я рота, 3-й взвод.

8

30 декабря 1914 г., среда. Половина седьмого вечера

Ты не можешь себе представить, откуда я тебе пишу. Это обширное подземелье в каменоломне, где добывают известняк, лежащий под почвой в этих краях. Свод очень низкий. В той пещере, где я сейчас, я даже выпрямиться не могу; чтобы пробраться в соседнюю «залу», надо ползти на четвереньках по длинному, узкому ходу, и притом в полном снаряжении: с винтовкой, ранцем, сумками и т. д. Это кошмарное подземелье — наше убежище на нынешнюю ночь. Пршлую ночь и сегодня, с шести утра до часу дня, я провел в окопах. Окопы — любопытное сооружение. Копать их очень трудно, но сделаны они замечательно, по крайней мере в этом районе. Просто поражаешься, видя эти бесконечные, вырытые в земле улицы, такие узкие, что края ранца, фляга, сумки и рукава задевают стенки и пачкаются о них. В верхней части бруствера местами сделаны бойницы — квадратные или в форме полумесяца. В эти бойницы и надо смотреть, чтобы удостовериться, что в полосе между нашими и немецкими позициями все спокойно; немцев мы не видим, только знаем, где они находятся — в лесу, выступающем клином, и в поле за дорогой, по ту сторону оврага. Часовые стояли очень близко друг к другу. Светила луна, и мы походили на астрономов, ведущих наблюдение из глубокой впадины на заснеженном склоне горы. Добраться туда было нелегко из-за крутого подъема, о котором я писал, но, так как в ранцах у нас было меньше поклажи, это оказалось терпимо, и переход, которым меня пугали, оказался не таким уж страшным. Все-таки я был весь в поту, когда встал у бойницы. Однако быстро закутался и поэтому не прозяб. В час я забрался вздремнуть в забавную маленькую землянку, прикрытую сверху ветками. Там, в полумраке, я и написал тебе карандашом открытку. Сейчас, в пещере, нам гораздо лучше, только нет соломы, лежать на земле жестковато и неудобно (раздеваться и даже снимать амуницию запрещено). Вот я и пишу в этом крысином царстве, битком набитом солдатами. Кое-где картину освещают свечи: одну прилепили к доньшку бутылки, насаженной на палку, которую воткнули в землю, вторую укрепили на коробке от сыра, положив ее на ствол ружья, поставленного у стены, третью воткнули в горбушку хлеба. Голь на выдумки хитра. Ночью можно будет спать спокойно: предстоит лишь сорок минут караула у входа в пещеру.

Завтра в полдень идем на передовой пост в лес (опять окопы). А за-

тем снова дозорная служба в большом окопе, с шести вечера до часу ночи или с часу ночи до семи утра. В субботу вернемся в деревню на четыре дня. Это будет второго января.

Письмо мое ты получишь уже после Нового года. Поздравляю тебя, дорогая моя, и по этому случаю нежно целую еще раз.

Каким счастьем было бы увидеться с тобой!

9

1 января 1915 г.

Утром получил наконец два письма от тебя, два милых, хороших письма, где ты говоришь о моем отъезде. Я постоянно думаю о тебе и не только во всех своих поступках, но и в мыслях равняюсь по тебе. Как я буду рад наконец увидеть тебя! А пока надо терпеливо ждать и не терять бодрости духа.

Сегодня вечером уходим из окопов. Что за жизнь! Грязь, земля, дождь. Мы пропитаны, окрашены, вымазаны землей. Земля повсюду: в карманах, в носовом платке, в складках одежды, в пище. Просто какое-то наваждение, неотвязный кошмар земли и грязи; ты представить себе не можешь, на кого я похож, а моя винтовка точно вылеплена кое-как из глины. На отдых пойдем, когда стемнеет.

Сегодня ночью мы слышали, как немцы в окопе напротив перед тем, как начать поливать нас огнем, пели свой и австрийский гимны. Вечером отправимся из окопов на стоянку, кажется на новую.

2 января, утро

После двенадцатикилометрового перехода прибыли на стоянку. Дивная солома. Спал прекрасно. Отдыхаем. Все хорошо. Шлю крепкий и долгий, как моя любовь, поцелуй.

Твой солдатик

10

3 января 1915 г.

Сегодня утром на новой станции, где мы вчера устроили себе роскошный обед — с шампанским, которое раздали всем бойцам действующей армии к Новому году, мандаринами, яблоками и ветчиной, я получил и распечатал посылки № 1 и № 2. Восхитительно приятно, стоя на коленях в нашем устланном соломой амбаре-спальне, доставать одну за другой те штуки, что ты прислала. Цыпленок с трюфелями был чудесен. От него уже ничего не осталось — мгновенно все проглотил. Но в следующий раз лучше не клади трюфелей: от такой неслыханной роскоши у меня может разболеться живот. Японская грелка — отлично. Шерстяные вещи пока не нужны. У меня и так полно вещей, мы постоянно перебираемся с места на место и вынуждены все таскать с собой, так что ранец стал жутко тяжелым. Посылай только продукты, и то не слишком много. Я тебе уже писал, что постепенно привыкаю к здешней еде. До сих пор она мне особенно не вредила, а это сильно облегчает дело.

Позавчера, пока мы шли сюда, на нас обрушился с неба настоящий

потоп. Я вытащил куртку из чертовой кожи, она оказалась очень кстати — я совсем не промок. Только шинель потом была как чугунная и стояла колом... Я ее повесил сушиться на свежем воздухе, на заборе фермы, и теперь она наконец просохла. Ботинки и гетры стойко перенесли страшное испытание — они служили мне в окопах четыре дня и четыре ночи. Я ни разу не промочил ноги; но, когда вылез из этой грязи, было впечатление, что у меня на ногах какие-то толстые желтые чулки. Что до моей винтовки, то я начал чистить ее и соскабливать с нее ржавчину ножом (кстати, пришли мне тонкий листочек наждака 20×20 ; он мне необходим).

Как твои дела? Если очень скучаешь, лучше тебе вернуться в Париж. За меня, во всяком случае, не волнуйся. Я веду самую спокойную и самую безопасную жизнь, какую только можно вести на фронте. Мы осаждаем и выжидаем. За целый месяц у нас был всего один раненый — бедняга прострелил себе ногу, чистя винтовку!

Твой и только твой А.

Я стригусь под машинку!

11

4 января 1915 г.

Сердечко мое любимое, сегодня получил от тебя два очень милых письма. На конвертах стояло «на фронт», последнее — от 24 декабря. Ты, конечно, получишь все мои письма (я с самого начала пишу каждый день), но я вижу, что почта работает очень нерегулярно. Еще я получил посылку № 3 с банкой консервов и молотым кофе в круглой банке. Все это очень кстати, с цыпленком я расправлюсь сегодня и завтра: в смысле диеты я до крайности осторожен, чем лучше я себя чувствую, тем сильнее стараюсь не допускать никаких отклонений. Меня пригласили к своему столу унтер-офицеры, и я питаюсь вместе с ними. Унтер-офицерская столовая расположена в маленьком домике, похожем на дом г-жи Поликан в Омоне. Там есть керосиновая лампа и топится плита. После темного и довольно влажного амбара, где я сплю, тепло и свет бесконечно приятны. Но эти господа пожирают огромные куски мяса, наваристые супы, грубые приправы, так что из их меню мне мало что подходит. Сегодня утром ел макароны; вчера вечером — картофельное пюре, впрочем довольно густое. Основная моя пища — чай, который здесь заваривают специально для меня, сгущенка (в одиннадцать, после марша, я ел превосходный молочный суп) и, наконец, цыплята, которых присылаешь ты. Но мне не стоит объедаться, а запасы у меня и так немалые. Кофе не присылай. Здесь его дают сколько хочешь. Но повторяю — ведь я, по-моему, уже писал тебе об этом в одном из писем, которое ты сейчас наверняка уже получила, — что пачка мерилендского табаку в непромокаемом кисете была бы мне весьма кстати. Водке я буду очень рад, не сомневайся — и горячо поблагодари от меня милых кузенов за прекрасный подарок. Ночью в окопе она мне пригодится. Хотя, честно говоря, до сих пор ни разу не было холодно, а теплых вещей у меня набралось даже слишком много. Я ношу только лыжную шапочку,

а фуфайки и бумажные жилеты даже не разворачивал. Впрочем, сейчас проблема груза отходит на второй план. Мы отдыхаем, мы на второй линии и вернемся в окопы не сразу. Так что, поверь, волноваться нечего!

Деревушка, где мы стоим и куда однажды приедем вместе, ты на Лощадке, а я на Иксе, очень живописная. Она расположена в низине, а вокруг холмы, поросшие лесом, и прекрасные виды, как в Ормероне. Когда сюда пришли немцы, многие жители уехали. Повсюду: на шоссе, которое идет через деревню и проходит мимо мэрии (большого дома, похожего на семейный склеп), во дворах, на тропинках, отходящих от шоссе, — кишат солдаты. Немного неряшливые и неопрятные, в лыжных шапочках, свитерах, пилотках и даже фесках, они удивительно оживляют пейзаж и радуют глаз. Они веселы и беззаботны, они громко кричат, поют, думают только о том, как бы раздобыть «винища» (священное слово для 231 полка) и наполнить висящую на боку фляжку — так что можно подумать, будто здесь идут большие маневры, а не война.

Каждый старается «устроиться», то есть не только выпить, но и поест лучше других, облегчить себе жизнь за деньги. Это непросто, потому что деревня разграблена, а военный устав строг. Один несчастный украл гусей, кроликов и часы — и, вероятно, будет расстрелян!

Сегодня утром мы совершили тренировочный марш со скаткой и вещмешком, без ранца. В боевом походе будет то же самое — командование признало, что марш в полной выкладке вынуждает многих дезертировать, а ведь в 231 полку солдатам в среднем по 26—30 лет. Ополченцев очень мало. Я с удовольствием отмечаю, что переносу трудности не хуже других и держусь молодцом! Я прекрасно сплю на соломе и не замерзаю, а насморк стал слабее и скоро совсем пройдет. Так что, как видишь, я вовсе не страдаю, и, хотя я уже десять дней на фронте, жаловаться мне не на что — кроме того, что ты далеко. Целую тебя; твои нежные, добрые письма меня растрогали. Ты не можешь себе представить, как поддерживают меня воспоминания о тебе и надежда тебя увидеть.

Твой А.

12

5 января 1915 г. Вторник

Моя хорошая, моя родная, я в ужасе от того, как долго идут письма из Андюза сюда — и обратно. Сегодня утром я получил два твоих письма: одно от 27 декабря, другое от 28, и понял, что ты еще не получила моего нового адреса. Надеюсь, что он все-таки дошел до тебя, и следующее письмо придет быстрее. В Париже, где может быть, найдут тебя эти строки, сообщение с фронтом наверняка налажено лучше... А я сейчас нахожусь в районе Суассона: об этом я, кажется, имею право тебе сказать. Мы доехали по железной дороге до Виерзи¹⁷, а жили в Воксбюине. Оттуда нас направили через Суассон в Воксро, в окопы, а теперь наш полк стоит в Пуази. Можешь отыскать все эти населенные пункты на карте генштаба. А о том, чтобы тебе сюда приехать, нечего и думать. Полк постоянно переводят с места на место. Солдат не имеет права

поехать в Суассон, а в населенных пунктах, через которые мы движемся, негде остановиться. Все занято войсками. Кроме того, артиллерия, кавалерия, обозы — все находится в постоянном движении, так что все помещения превращены в казармы. Покидать место расположения полка строго запрещено: даже когда не наша очередь идти в окопы, мы все равно должны быть в боевой готовности. Никто не знает утром, что будет делать вечером, даже офицеры. Более того, когда мы выступаем, то не знаем даже, куда направляемся. Мы были так уверены, что долго пробудем в Воксбюине, что я, как уже писал, оставил там часть своих вещей — и чуть было не лишился их. Так что, сама видишь, как ни замечательна мысль приехать в наши края, это совершенно невозможно. Если когда-нибудь подходящий случай представится, я не премину им воспользоваться, можешь быть уверена! . .

Сегодня мы совершили более долгий переход, чем вчера. Завтра в 7.45 выступаем опять. На дворе грязь и дождь. Деревушка стоит в котловине, где скапливается туман. Здесь прекрасные спуски для велосипеда — придет время, и ты сама в этом убедишься. Впрочем, тогда — нужно быть готовым ко всему — мы оба будем, быть может, путешественниками, исследующими Миссисипи, или вельможами при дворе японского императора.

Плохо, что Ариэль стал злым, — вот что бывает, если детей воспитывают вдали от дома. Когда займешься его дрессировкой, помни, что с колли, по слухам, нужно обращаться ласково и мягко.

Нежно целую тебя.

Твой А.

А что думает Ашетт насчет конца месяца?

13

11 января 1915 г.

Дорогая малышка. С самого начала войны, включая Альби, я впервые несколько дней не писал тебе. Последние два дня, вчера и позавчера, в окопах было так много работы, что писать не оставалось никакой возможности. Грязь, тина, ночные хождения по рытвинам! Ты и представить себе не можешь, что это такое. Я делал заметки и, как только выдаться свободная минутка, опишу все это на свежую голову. Но сейчас у нас все вверх дном. Не успеем лечь, как уже надо вставать, не успеем встать — надо куда-то идти. Что за жизнь! Господи! Кто здесь не побывал, и представить себе не может, как тут гнусно!

Твой маленький солдат

14

13 января 1915 г.

Моя милая маленькая фея!

Как видишь, снова пишу тебе в совершенно неподходящей обстановке. Что поделаешь — фронтовая жизнь! Вообще-то у меня в кармане лежит ручка, в которой еще осталось немного чернил, и, строго говоря, я мог бы устроиться поудобнее — но нам было приказано оставаться на

местах в полной выкладке, а в таком виде я с трудом могу вытащить из кармана хоть одну из тех чудесных таинственных вещиц, что там застряли!

Чувствую себя хорошо — лучше, чем мог надеяться, если учесть, как я устаю и насколько нерегулярно питаюсь. Из-за перемещений нашей роты уже несколько дней не получал посылок. До свиданья, дорогая. Скоро напишу письмо подлиннее, поаккуратнее и не в такой спешке.

Твой А.

15

14 января 1915 г.

Родная моя! Мы наконец на отдыхе и на этот раз по-настоящему. Неделя выдалась жаркая, мы слышали страшную пальбу, и бывали трудные минуты. В эту ужасную неделю — черт бы ее драл! — мы очень мало спали и почти не ели. Полк понес большие потери, но он отмечен в приказе по армии, а меня собираются произвести в солдаты первого разряда¹⁸ за выполнение задания, представлявшего некоторую опасность. У-у-х! Все уже позади; нас отвели в тыл, нашу дивизию заменили другой, а мы теперь опять будем в резерве, наше дело — охранять позиции второй линии. Только сегодня утром я получил здесь, в Розере, посылки и письма. С нежностью и восторгом распечатал твою посылку. По-моему, эта шестая: видишь, все-таки они идут не так уж долго. Знаешь, виноградную водку я не получил; в сегодняшней посылке сахар, инжир, нуга и т. д. ... Родная, это восхитительно.

Третьего дня, во вторник, около пяти часов, я думал о том, что ты подъезжаешь к Парижу, и мысленно следил за тобой взглядом. И тогда я забыл о дожде, о холоде, об унылом вечере и полуразрушенных деревнях, на которые грустно смотреть. Удивительное дело: я чувствую себя прекрасно. Простуда моя прошла, почти совсем прошла. Хорошего табаку, почтовой бумаги, банку куриных консервов да водки — вот все, чего мне хочется сейчас... Конечно, еще хотелось бы увидеться, поговорить с тобой, обнять и поцеловать тебя, но — увы! — то, чего я хочу больше всего на свете, долго еще будет недоступно. Военное положение в нашем секторе неважное, если верить слухам, которые до нас доходят, и исход недавних боев замедлит и, возможно, даже приостановит всякое наступление обеих сторон...

Прошу тебя, напиши мне насчет Ашетта¹⁹, меня это очень тревожит, и расскажи подробно, как ты проводишь время в Париже. Маккиати прислал мне милую открытку. Зеппос — молодец.

Обожающий тебя солдат

16

15 января 1915 г., пятница

Моя дорогая.

Перемена декораций. Мы находимся в гроте, в просторном, высоком гроте, который извилистым подземным ходом соединен с замком. Тесно и сыро. При свете огарков солдаты спуют, словно призраки, по этим

подземным залам и черным, узким галереям. Картина довольно зловещая. Трудно угадать, который час — середина дня или полночь. На самом деле сейчас вечер — половина восьмого. Сегодня утром мы выступили из Розьера; там мы спали на сеновале, куда забирались по лестнице и через окошко, такое крошечное, что приходилось снимать снаряжение, чтобы влезть или вылезти. Впрочем, я буду крепко спать и в этом гроте. Весь месяц, что я провел на фронте, я хорошо спал повсюду: на мостовой, в воронке от снаряда, в липкой грязи на откосе насыпи, в углу амбара, в подвалах, землянках, на соломе и без всякой подстилки. Как все относительно: сейчас для меня верх комфорта — провести ночь на охапке соломы. А возможность поспать на кровати кажется такой далекой и недостижимой, что я о ней и мечтать не могу. Моя солдатская служба действительно дело нелегкое, но скорее из-за снарядов, мелких неприятностей, разочарований, когда приходишь на новую стоянку, чем от усталости и опасностей: теперь их совсем нет.

Из газет ты, вероятно, знаешь о неудачном исходе боя, в котором мы потеряли правый берег Эны. Я был в Круи вместе с частью 231-го полка, участвовал в бою и в отступлении²⁰. Как все было организовано!.. Сколько можно было бы сказать по этому поводу. Но сейчас не время. Поговорим об этом позднее.

Я постоянно думаю о тебе. Пытаюсь представить себе, что ты делаешь в ту или иную минуту, и мысль об этом меня умиляет и согревает, а вместе с тем контраст между твоим времяпрепровождением и моим вызывает у меня улыбку.

Надеюсь, что следующее твое письмо придет из Парижа, и ты расскажешь в нем о наших делах, о том, как ты устроила свою жизнь, чтобы я мог получше ее себе представить. Напиши также, как ты одета. А меня ты бы не узнала. Штаны у меня в лохмотьях, шинель изорвалась, краги никак не очищаются от желтой глины (а помнишь, я был недоволен, что они лакированные и слишком блестят?). Сумку я потерял, но, к счастью, в ней не было ничего важного; потеряны и фляга, и котелок, и зажигалка (пришли, пожалуйста, другую зажигалку, остальное я тут достану). Я не раздевался уже две недели — было запрещено. Мой непромокаемый капюшон разодрался и теперь промокает... Ничего вязаного не присылай. Я, пожалуй, слишком тепло одет. В общем, мне ничего не надо, кроме куриных консервов, табаку, зажигалки и открыток в пакете.

Целую много раз твое милое любимое личико.

17

17 января 1915 г.

Дорогая, это письмо пойдет очень быстро, я попросил отправить его одного человека, которого эвакуируют в Париж. Ты, наверное, еще не получила предыдущие. Кратко повторяю то, что писал в них: после боя под Круи, который шел целую неделю день и ночь, нас отправили на отдых в гроты замка Бюзанси. Жжем костры, как троглодиты. Позавчера получил от тебя посылку с инжиром и сахаром. Вчера — твою пер-

вую открытку из Парижа и два письма. А сегодня утром — милое письмо от 11 с серыми конвертами. Что слышно насчет Ашетта и денег? Пришли мне цыпленка, зажигалку (я ее потерял) и наждаку (маленький листочек). Времени больше нет. Целую и люблю.

Водку я так и не получил.

18

19 января 1915 г., второе письмо — 4 часа

Дорогая, милая малышка. Как помогают мне твои письма, и какое счастье постоянно приносят мне, несчастному рядовому на переднем крае, мысли о тебе! По правде говоря, с сегодняшнего дня мы уже не чувствуем себя такими несчастными. Я как следует умылся, переоделся, даже побрился, и — удивительное дело! — в нашем секторе сегодня тихо. Чувство такое, будто заново родился. Завтра, а может быть уже сегодня ночью, мы снова отправляемся в окопы, но не станем сразу же — а может, и вовсе не станем — так быстро продвигаться вперед. Бой, в котором мы потеряли правый берег Эны, заставил командование образумиться. Необходимо укрепить позиции на левом берегу и не сдавать их. Сюда, в Виньоль, переводят артиллерийские батареи. Они будут обстреливать правый берег, так что нас ждет довольно-таки шумная ночь. По дороге, блестящей от дождя, постоянно движутся войска. Прямо полотно Невилы²¹: артиллеристы, пехотинцы, самокатчики, посыльные, санитары, одетые бог знает во что. У некоторых от военной формы почти ничего не осталось. Вельветовые штаны, штаны защитного цвета, разноцветные капюшоны, вещмешки с разным содержимым, но всегда одинаково внушительных размеров — все это вносит в картину живописные и волнующие краски. Каптенармусы заняты снабжением. Те, кто сегодня в наряде, отправляются с брезентовыми ведрами за водой, приносят из лесу большие вязанки дров, тащат буханки хлеба.

А я все сижу на кухне в духе Юрье. Я недавно отослал тебе плащ, эта дрянь слишком много весит, а в Омоне он мне наверняка пригодится да и останется целым; ведь на войне вещи изнашиваются ужасно быстро. Мои синие брюки изодрались в клочья. Синий чехол от кепи выцвел и позеленел. Один умелец-солдат зашил мне шинель, порванную колючей проволокой. Только ботинки каким-то чудом уцелели. Я ни разу не промочил ноги, а ведь ходить приходилось по колено в такой грязи, что я иногда с трудом вытаскивал из нее приклад винтовки. Назатыльник из чертовой кожи мне очень пригодился, но он весь изорвался, и пришлось сколоть его английской булавкой. Но все равно нового не присылай, я прекрасно обойдусь и этим.

Мне выдали клеенчатый капюшон, очень легкий, прекрасно защищающий от дождя и очень удобный (в свернутом виде он влезает в карман), а также алюминиевые кружку и флягу. Спиртовку, работающую на жидком спирте, я по твоему совету выбросил. Сухого спирта для той, которую прислала ты, хватит на неделю, так что в этом смысле я пока ни в чем не нуждаюсь. Одна здешняя женщина постирала мне рубашки,

кальсоны и фланелевое белье, так что я все это отошлю тебе уже чистым. Боюсь, что бутылка водки пропала. Тем хуже. Пришли, пожалуйста, немного чаю и сигарет (моих любимых). Я постригся и отрачиваю бородку.

19

21 января 1915 г. Виньоле

Дорогая детка. Я все еще блаженствую в Виньоле. Сегодня утром съел яйцо всмятку! Побрился (но бороду оставил).

Впрочем, хватит о наслаждениях. Я получил твое письмо от 17 января, где ты пишешь, что после шестидневного перерыва получила наконец мои письма. Это просто невысказано. Повторяю тебе, с тех пор, как мы расстались, я писал тебе каждый день и отступал от этого правила только три раза. В прежних письмах я описывал в подробностях мою жизнь. Сделаю это еще раз. Со времени моего отъезда на фронт мы стояли в районе Суассона — в Воксбюине, Розьере, Бюзанси, Виньоле (где я нахожусь сейчас). Несколько раз переправлялись через Эну, чтобы попасть в окопы под Воксро. Семь дней и ночей я был в бою под Круи, где наш полк сильно потрепали. Бой длился с 8 по 15 число. Я цел и невредим, чувствую себя прекрасно. Меня хотят повысить в звании за выполнение опасного задания в бою под Круи. Сейчас мы сдали правый берег Эны, будем укреплять оборону, наблюдать и выжидать, а всякие неприятности, вроде боя под Круи, нам не угрожают. Так что за будущее я более или менее спокоен. Вот и все. Повторяю тебе, что бы ни случилось, я буду писать тебе каждый день — а если найдется время, то и чаще.

20

23 января 1915 г., 2 часа

Пишу тебе, малышка, в маленькой землянке, или укрытии, занимающем часть окопа; здесь не больно-то жарко, потому что сегодня ночью был собачий холод, да и сейчас не лучше, но зато спокойно, а с трех часов дня до семи утра я буду в дозоре. Я более или менее удобно устроился под покатою крышей и упираюсь головой в балки. Сажу я на старом сиденье от кареты или автомобиля. Только что нас накормили супом и швейцарским сыром; впридачу я поел твоего клубничного варенья, а остатки кофе, которые нашел в землянке в брезентовом ведре, слил во флягу с молоком. В этой землянке вечно толкутся солдаты, так что сено на полу стало редким и грязным, а кругом полно разных отбросов: старых котелков, покрышек, горбушек, патронов, кусков брезента, дерева, железа, угля, булыжников. Пули стучат о стены, двери, стекла несчастной фабрики, где мы находимся; выпускает она по иронии судьбы радиаторы! Днем здесь запрещено зажигать огонь, потому что по дыму противник может обнаружить укрытие; зато курить нельзя, наоборот, ночью, а не днем. Поэтому я только что выкурил самокрутку с мериландским табаком, который ты прислала, а за ней — «сеньориту», которой угостил меня товарищ (кстати, не забудь, пожалуйста, о «сенато-

рах» и моих любимых сигаретах, да и пачка «сеньорит» тоже не повредит). Итак, через час мы гуськом выйдем отсюда и аккуратненько устроимся под деревянным навесом у амбразуры окопа. Там мы останемся на всю ночь. И все же эта ночь будет гораздо лучше предыдущей, которую мы провели под открытым небом, — ведь на улице было 5 или 6 градусов мороза. Кепи, винтовки, ранцы сегодня утром заиндевели. Мы будем смотреть в оба, пытаюсь определить, не готовятся ли боши под покровом ночи нанести нам массивированный удар или выслать в нашем направлении разведку либо саперов. По всей вероятности, мы придем к заключению, что ничего подобного не происходит. Мы наверняка не сделаем ни одного выстрела (таков приказ: стрелять только по целям, находящимся в поле нашей видимости и досягаемости); боши, наоборот, стреляют обычно довольно много и, чтобы предупредить внезапное нападение, прочесывают всю местность, поливая ее огнем. Мы будем слушать, как палят орудия (наши) и как рвутся снаряды (их). Завтра на рассвете мы перекусим и соснем либо в этой землянке, либо в подвале дома, принадлежащего директору фабрики, а потом, около полудня, снова займем свои места в окопе. Так будет продолжаться до вторника, а во вторник вечером мы возвратимся, осторожно пробираясь гуськом по обочине дороги, на стоянку в Виньоле или в каком-нибудь другом месте на левом берегу Эны. Там мы проведем четыре дня в относительном уюте, и эта жизнь покажется нам райской, а потом на четыре дня снова вернемся в окопы. Таковы будни 231 полка. Их прервало наше наступление под Круи. Но бой под Круи был уроком, который, возможно, отобьет у нашего командования охоту к наступлениям на этом участке, тем более что в обязанности полка не входит сражаться на переднем крае. С 13 сентября это случилось один-единственный раз — в виде исключения. Судьбе было угодно, чтобы эта пакость произошла как раз после моего приезда. Ну вот, за нами пришли. Отдаю письмо одному из тех, кто возвращается на стоянку, и от всего сердца целую тебя.

Твой А.

21

24 января 1915 г.

Дорогая крошка, красавица моя, получил две посылки. Сегодня на рассвете их принесли и положили на край окопа (кстати сказать, это очень удобный окоп: перед ним — стена, так как мы все еще находимся у фабрики радиаторов, и можно без труда и опасности вылезать из него, если не выходить при этом из полосы благодетельной тени от стены). Куриные консервы и ветчина — это шикарно!.. На сегодня мне хватило того, что выдают здесь: риса, швейцарского сыра и шоколада. А завтра я за них возьмусь и даже прикончу одну банку, с тем чтобы послезавтра начать следующую, если только не найдется что поклевать из здешней еды. Питаюсь я, как видишь, очень хорошо. Даже слишком хорошо: сегодня у меня побаливает живот, поэтому пришлось срочно принять меры и сесть на диету. Анни прислала сгущенку и сигары (шесть гаванских). Весь день я наблюдал в бинокль за немецкими окопами, там все

абсолютно спокойно. Во второй твоей посылке, увы, оказались совсем ненужные синие брюки — мне уже выдали другие (я, кажется, писал об этом). Переслать их обратно нет возможности. Таскать их в ранце? Он и без того тяжелый. Я их отдал нашему сержанту. Жаль, что ты потратилась, ведь, к моему огорчению, ты, как видно из письма, даже не ездил на метро, потому что это для тебя слишком дорого.

Ночь мы, как полагается, простояли в окопах (еще две такие ночи, а потом отдых в деревне). Было не так холодно, как накануне, и вообще ночь прошла гораздо лучше: около моего поста вырыта землянка, и я три раза ходил туда погреться, там было даже слишком жарко.

Ночью, в темноте и холоде, я думал о тебе и радовался, что ты спишь в теплой постели. Это одна из мыслей, которые больше всего помогают мне переносить мелкие неприятности: холод и бессонные часы на посту. А ты пишешь, любимая, что тебе стыдно жить в безопасности, пользоваться удобствами, когда у меня их нет. Ты совершенно права; если бы с тобой было то же, что со мной в иные моменты, мне это было бы очень тяжело, а сознание, что хоть ты имеешь почти все, что тебе надо, подбадривает и утешает меня, честное слово. Вот почему я беспокоюсь насчет Ашетта. Признаться, я боюсь, что ты отказываешь себе во многом, чтобы почаще отправлять мне посылки. Не делай этого ни в коем случае. Я перегружен вещами и питаюсь слишком хорошо. Ты напишешь мне обо всем этом. Правда? Расскажи, как у тебя с деньгами: 500 франков пособия от Общества литераторов надолго не хватит.

Весь твой А.

Носки и назатыльники кстати как никогда! Пришли, пожалуйста, сигарет (моих любимых), а через несколько дней — пачку желтого табаку. Сгущенка у меня пока есть, можешь не присылать.

22

26 января 1915 г.

Сегодня кончается наше очередное сиденье в окопах. Уже пятый час, а в шесть придет смена, и мы вернемся на нашу спокойную стоянку, в Виньоль. Вчера, с шестичасов до полуночи, и сегодня, с трех до девяти утра, мы охраняли ходы сообщения и укрепляли бруствер в тех местах, где он обвалился. Вооружившись киркой и лопатой, я копал окоп для стрелков. С двенадцати до часу ночи был в дозоре на передовом посту, стоял у телеграфного столба, возле проволочных заграждений. Пришлось смотреть в оба.

Бок о бок со мной стоял второй дозорный; положив палец на курок, он испытующе оглядывал долину и холмы, где зарылись в землю немцы. К несчастью, вечером нам дали вина, и мой товарищ (некий Б.) был «под мухой». Всюду ему мерещились движущиеся тени, и вдруг они действительно появились: метрах в пяти от нас зашевелилось что-то черное. «Буду стрелять», — шепнул Б. и вскинул винтовку. Инстинктивно я удержал его, хотя и сам видел передвигавшиеся тени, даже слышал шаги и другие подозрительные звуки. Но мне казалось, что неприятель,



*Анри Барбюс на переходе.
Фотография*

в одиночку или группой (гранатометчики или патруль), подходил бы более осторожно. Б. ничего не желал слушать, и этой темной холодной ночью мне стоило немалого труда утихомирить милого пьянчугу. Хорошо я сделал: в эту минуту к нам подполз какой-то капрал и предупредил, что, по полученному сообщению, отряд наших саперов ставит в долине проволочные заграждения и стрелять не надо. Вот как у нашего командования все организовано!.. Беднягам саперам повезло, и я очень радовался, что своего рода инстинкт не обманул меня. Остальное время прошло спокойно, и теперь мне нечего делать до самого возвращения на нашу удобную стоянку в Виньоле.

Нервное напряжение ночного дозора в тишине и темноте, которую тщетно пытаешься пронизать взглядом, изредка вызывает подобные ошибки. Около Круи я испытал на себе их неприятные последствия. Как-то ночью наш взвод отнес мешки для земли и столбы за линию окопов, почти к немецким позициям, а когда мы возвращались в свое расположение и подошли к нашим окопам, французы встретили нас огнем. К счастью, в переполохе и спешке стреляли слишком высоко, ни-

кого не задело, но вообрази, дорогая, как щелкали, свистели и даже мяукали вокруг нас пули.

Что такое бомбардировка? Нечто ужасающее, грозное, и представление об этом может иметь лишь тот, кто сам испытал, что такое шрапнель и фугасные снаряды. Нам это случилось испытать в пятницу, восьмого января, и в субботу, девятого, в начале боев под Круи. Мы выступили из Гранд-Карьер, который был тогда центром всей сети траншей, как бы сердцевинной лабиринта окопов и ходов сообщения, вырытых нами на широком пологом склоне у правого берега Эны. Путь к этой местности идет через Суассон и его единственный мост, а расположены в ней деревни Кюффи, Круи, Сен-Поль, Сен-Васт, Сен-Медар и другие.

Как только стемнело, мы под дождем поднялись по склону и двинулись через поля к немецким окопам, которые захватили утром марокканцы; окопы эти нужно было занять и защищать в случае контратаки. Мы продвигались очень медленно, так как шли по лужам, по развороченным дорогам, в грязи почти по колено, по таким буграм и ямам, что каждый солдат по несколько раз шлепался в грязь; ежеминутно приходилось сторониться, ждать, пока пройдут другие части, обгонявшие нас или шедшие нам навстречу, а иногда останавливаться вообще неизвестно почему. . . Наконец мы добрались до грязной равнины, изрытой воронками от снарядов, и пробыли на ней часов пять, лежа на животе. Дул холодный ветер, лил дождь, мы плавали в жидкой грязи. Порой, когда нужно было менять положение, мы с трудом вытаскивали из размокшей земли ноги и даже приклад винтовки. Каждую минуту с немецких позиций вылетала осветительная ракета. Тогда приходилось «распластываться» и лежать совершенно неподвижно. Мы подошли очень близко к немцам, и если бы нас обнаружили, то стерли бы нас в порошок. В половине двенадцатого, когда взошла луна, нам наконец приказали подняться и передвинуться немного подальше, опять-таки на голое место. В общем это была ужасная ночь: мы лежали под обстрелом, без всякого прикрытия, а ночью впечатления всегда очень сильны. Позднее мы узнали, что нас бросили на пустыре потому, что захваченные окопы уже заняли другие роты и для нас не хватало там места. Только на рассвете мы вошли в немецкие окопы, мелкие и плохо вырытые. Каждый занял свое место у бойницы. Настало утро. В десять часов немцы начали обстреливать свои прежние позиции. Эта бомбардировка одна из самых ужасных, какие были до сих пор. Со всех сторон эхо повторяло оглушительные звуки разрывов, короткие, сухие, пронзительные, а к ним примешивалось цоканье и свист пуль, ветер от пролетавших снарядов, рычанье, мяуканье (совершенно точное определение) и словно пыхтенье поезда, несущегося на всех парах. Со всех сторон поднимались белые облака взрывов, а за ними взлетала черным облаком земля. У нас не было убежища. Я прижался к стенке окопа, прикрыв голову сумкой. Вокруг себя, очень близко, я видел товарищей с развороченными головами, оторванными руками, видел раненных осколками снарядов. Кано-нада длилась часов двенадцать! Серьезная штука, поверь. . .

С какой тоской я думал о тебе под этим яростным стальным дож-

дем, когда мне каждую секунду казалось: ну, сейчас конец! В восемь часов нас сменила другая рота. Снова мы стали ощупью пробираться по ходам сообщения, по липким и скользким откосам, по дорогам, превратившимся в потоки грязи. Часть пути мы шли, минуя окопы, так как продвигаться гуськом по этим битком набитым траншеям было бы слишком долго; мы падали, натываясь на мертвых (в темноте чувствуешь под рукой лицо или ногу). Наконец мы подошли к Карьеру. Тут я увидел санитаров с носилками. Мы немного постояли на открытом воздухе у перекрестка дорог, около грота. В этот момент немцы пустили ракету, при свете ее, видимо, обнаружили нас, и через несколько минут после нашего ухода там разорвалось несколько снарядов; было восемь жертв. В Карьере мы устроились на ночлег в землянке высотой в метр. Часов в одиннадцать к нам пришли, потребовали двадцать четыре человека — отнести колючую проволоку за линию огня. Пришлось встать. Отправился на стекольный завод в Воксро, сложили там свои одеяла, сумки и, вооружившись винтовками, по двое понесли на плечах деревянные рогатки, обмотанные колючей проволокой. Шли медленно, гуськом, тащили эти большие скрипучие сооружения. Мы доставили их за линию окопов, на гребень холма. Опасное путешествие: пули здорово свистели. Вероятно, в это время мне и пробило кепи. Затем пошли обратно на завод, поспать. Было уже половина пятого утра, мы торопились, боясь, что скоро будет светло и нас заметят. Постель у нас неважная: лежим на камнях, чуть прикрытых соломой. Подушкой служит мне сумка. Спал я как убитый до восьми часов. Впрочем, я и прошлой достопамятной ночью спал у края большой воронки, коченея от холода. Утром половина солдат записалась к врачу — заболели. Все делились друг с другом воспоминаниями о тех убийственных часах, которые мы пережили, и никто не сомневался, что нас наконец отправят на отдых... Но в четыре часа (это было в понедельник, одиннадцатого числа) раздалась команда: «Стройся!» — и в этот день, а также на следующий происходило сражение другого рода: баррикады на улицах Круи, затем баррикады за околицей деревни, когда началось отступление. Это было классическое сражение, настоящая картина Невилы: улица, перерезанная заграждениями из камней, разрушенные дома, продырявленные снарядами и пулями, из окна иногда кувырком летит человек, а из дверей выходят вереницы раненых: у одних окровавленные лица, у других льет кровь из руки, некоторых несут на спине товарищи. В нашем взводе выбыла из строя половина состава. Когда-нибудь в другой раз я расскажу тебе разнообразные перипетии боя в Круи. Я в конечном счете выбрался из него вполне благополучно — мне повезло. Дни эти для нашего полка самые тяжелые за все время войны. 231-й полк защищал окопы с 13-го сентября, и лишь несколько человек были убиты и ранены.

Кончаю это письмо сегодня, 27 января, на стоянке в Виньоле, куда нас отвели на четыре дня. Я прекрасно выспался ночью, отдохнул и успокоился.

Утром получил твое письмо (от 24 января!). Я, действительно, слышал о налетах цеппелинов²² и мерах предосторожности, принятых в Па-

риже. Мы слышим столько необычных вестей! Не можешь себе представить, какие странные, дикие, противоречивые слухи ходят на фронте. И что ни день, то новые. У нас их называют сквозняками. Встречаясь, солдаты говорят: «Знаешь новый сквознячок? Нас перебрасывают в укрепленную зону под Парижем».

Я получил две посылки (десятую и одиннадцатую).

До свиданья, дорогая. Письмо не перечитал, наплевать на ошибки!

23

7 февраля 1915 г. Воскресенье.

Представь себе, вчера мы рыли окоп: с шести вечера до трех ночи мы, как говорил Наполеон, «пахали землю». Сначала взрыхляешь почву, а потом заступом отбрасываешь ее в сторону. В общем, когда работаешь так ночью, в потемках, не очень устаешь, и наутро я чувствовал себя нормально, но, боже мой, как медленно движется дело! Сегодня мы отдыхаем. Вчера вечером, а вернее, сегодня ночью, в три часа, возвратившись из окопов, получили почту. От тебя ничего нет. Наверное, будет сегодня. В любом случае посылки я в ближайшие дни не получу, так как согласно новому приказу посылки раздают только во время отдыха. Я понимаю, им неохота таскаться с посылками на линию огня, где опасно, но все же эту меру нельзя назвать удачной: именно вдали от населенных пунктов, лишенный массы необходимых вещей, солдат нуждается в великодушных подношениях тех, с кем он разлучен. Впрочем, приказ есть приказ. В результате, когда я вновь возвращусь в тыл, в тихую сень X, Y или Z, я буду завален вещами и продуктами. Сейчас два часа. Ты, наверное, в Омоне. Я постоянно представляю себе, как ты возвращаешься в маленький домик, который мы целых пять месяцев тому назад так внезапно покинули, в спешке собрав вещи и бросив все в беспорядке. А Ками через два месяца исполнится два года, а Ариэлю уже полтора, а Лезгину скоро стукнет шесть. Хотя за эти военные полгода ничего особенно важного не произошло, все же в нашей жизни что-то сильно изменилось.

Только вот погода очень скверная; у вас, наверное, то же самое. В плохую погоду не стоит выезжать из дому; грязный и хмурый дождь — неподходящая компания. Наберись терпения и дождись более приятного общества.

Одна посылка раз в четыре дня = восемьдесят франков в месяц. Этого достаточно, остальное — излишество. Я говорю это вполне серьезно, уверяю тебя.

До свиданья, моя маленькая фея.

24

8 февраля 1915 г., 8 часов вечера

Ну да, видишь? Это почта задерживает письма, а потом их раздают нам целыми пачками. Я уверен, что восьмая посылка где-то застряла; однако случай с водкой убеждает меня, что порой они возвращаются очень издалека. Так что подожди пока отправлять жестяную банку: весьма вероятно, что на днях я обрету ее вместе с благоуханным каштановым вареньем и ветчиной, которая, возможно, начнет, как говорится, чуть приванивать.

Заметку в «Энтрансижан» я читал и даже послал тебе сегодня в четыре часа вырезку оттуда. Читал я и статью Фр. Лора в «Журналь» о финансовом кризисе. Но я не думаю и никогда не думал, что война кончится в результате денежных затруднений у одного из противников. Единственный выход — надежный и неизбежный — приток (как потребовал Китченер²³) трех миллионов англичан, которые, собравшись в одном месте, прорвут немецкий фронт. Германия сама находится в блокаде и нас блокирует. За исключением отдельных второстепенных пунктов мы стоим почти неподвижно вокруг этой огромной массы, и она тоже не движется. Поддержка большой, хорошо оснащенной армии окончательно склонит чашу весов в нашу пользу. Так как Япония не желает оказать эту поддержку²⁴, ее окажет Англия. Вне всякого сомнения, немцы в настоящий момент не могут нас отбросить. По-моему, признаком этого является то обстоятельство, что, зная о подготовке Англии, они не трогаются с места и теряют таким образом свой единственный шанс возобновить продвижение на Париж, — явное свидетельство того, что после решительных действий немцы совсем обессилели. Они больше не способны перейти в наступление. А мы одними своими силами не можем сделать единственной вещи, которая не потребует слишком больших человеческих жертв, то есть не можем повести достаточно обеспеченное и мощное наступление и одним ударом вернуть все потерянные позиции, вместо того чтобы ограничиваться нескончаемыми мелкими операциями, изматывающими боями за отдельные пункты, за отдельные окопы. Вот как я думаю. Все зависит от новой английской армии. Будь она уже сейчас готова, война не затянулась бы. Но если надо ждать, когда наши противники выдохнутся от безденежья, то, пожалуй, этак можно на корню засохнуть, вопреки теоретическим рассуждениям писателей-теоретиков.

Сколько чудесных вещей я получу, когда мы придем на отдых. Система выдачи посылок только за линией позиций, по крайней мере, порадует меня богатой коллекцией подарков. Анни тоже мне что-то послала. Это чересчур, право, чересчур. Сегодня утром мы ударили по куриным консервам, которые получил Медар (он в порядке). Вечером нам давали молочный суп с рисом. И я, моя дорогая, съел три полных миски. Аппетит у меня зверский, но, несмотря на соблазны, диету я соблюдаю. Много курю: полсотни сигарет в день. Постараюсь сдерживаться (пожалуйста, пришли немного мерилендского табаку). Термос —

штука изумительная, поистине необыкновенная. Сегодня утром мы с Медаром пили горячий, дымящийся кофе, который налили туда вчера после завтрака. В окопах это драгоценнейшая вещь. Жофретт как Жофретт²⁵ — это забавно.

Волосы у меня на голове растут с такой же быстротой, как летит время. Отросли уже на сантиметр. И борода тоже. Ну и физиономия у меня! Я тебе писал о встрече с Леви, он нашел, что у меня очень здоровый и воинственный вид.

Сегодня днем у нас было «представление». Солдаты нарядились «краснокожими» и женщинами. В самом деле было очень забавно. Медар провел «сеанс гипноза» и ошеломил зрителей, превратив стакан воды в стакан вина, — настоящее чудо. Однако пора кончать письмо. Скоро одиннадцать часов. Полагается ложиться спать. Впрочем, вставать надо будет только в восемь (нынче ночью наш взвод не пойдет в окопы, а мне не надо идти в караул). Спим мы, правда, амуниции и не снимаю сапог. Я уже начинаю привыкать к этому. Дома, в Омоне, я буду спать в подвале на охалке соломы, а предварительно вырою на лугу траншею для укрепления и обороны сада.

До свидания, девчурка.

Заканчиваю письмо после ночи, проведенной в окопах. Думали, что не нужно будет туда идти, но все-таки пришлось. Дождя не было. А вот утром моросил дождь, стоял туман. На день из окопов пришли сюда, в маленький домик. Я улегся на матрац. Невыразимая мягкость матраца! Я уже успел позабыть о ней. А положить сверху тюфяк показалось бы мне чрезмерной и нелепой роскошью!

25

11 февраля 1915 г., четверг

Только что вернулся с работы, весьма основательной, — орудуя кирками и лопатами, вырыли длинную траншею. Мне попался участок, где когда-то были зарыты целые возы битой посуды и допотопные банки изпод консервов. Извлекать эти окаменелости оказалось делом нелегким. Тем не менее в конце концов я с ним справился: залежи фаянсовых осколков и вышеупомянутых жестянок постепенно слоями перешли из недр земли на гребень бруствера. Сегодня после обеда буду бездельничать, лягу спать, а в четыре утра я, еще трое солдат и капрал пойдем в секрет, впереди нашей позиции. Мы пробудем там весь завтрашний день, так как нечего и думать уходить оттуда, пока солнце блещет в небе и озаряет природу. Если дело обойдется без водицы, иными словами — без дождя, будет терпимо, но все-таки нам предстоит двенадцать часов напряженного ожидания и обязательной неподвижности. До четырех часов я, во всяком случае, хорошо выплюсь (опять на матраце, дорогая!). Иной раз, конечно, разбудят споры и болтовня возвратившихся из окопов товарищей, но в таком случае можно водворить тишину, энергично рывкнув: «Заткнитесь, оболтусы!» — и опять заснуть.

В этом доме, где мы спим ночью и бродим днем (нам запрещено вы-

ходить и даже разводиться огонь), солдаты нашли дневник эвакуировавшейся хозяйки дома: записи ее сокровенных переживаний, когда она была еще невестой. Какое шумное веселье и какие цветистые комментарии вызвало чтение ее сентиментальной исповеди — это было нечто грандиозное, эпическое! К тому же у нас всегда найдется несколько молодых, если и не пьяных в дым или в доску, то все же хлебнувших лишнего, так что повеселились мы от души, несмотря на близость немцев. В заключение сообщаю, что я здоров и Медар тоже.

Солдат кланяется своей девчурке.

26

11 февраля 1915 г., четверг

Дорогая, только что отдал сержанту письмо к тебе. Скоро, как стемнеет, пойду в разведку осматривать местность вокруг позиций.

7 ч. 15 м. В разведку не иду. Я прервал письмо, чтобы снарядиться для обследования той чащи, где зарылись в землю немцы, но тут нам сообщили, что приказ отменяется. Может быть, пойдем ночью, а возможно, и совсем не пойдем. Поэтому я пообедал: глазунья, молоко и остаток курицы (купил утром и половину съел на завтрак).

Сегодня за обедом мы говорили о нашем беспокойном существовании и перечислили все места, где перебивали за последний месяц. Насчитали двенадцать деревень. Да, двенадцать раз мы, взвалив на спину и привязав к поясу наши пожитки, плащ-палатку и запас провианта, меняли местожительство. Постоянные переброски, по большей части неожиданные, торопливые, суматошные (почти всегда приказ выступить приходит в последнюю минуту), — самая характерная и незабываемая сторона наших приключений. Я кажусь себе гонимым бурей кочевником, который со всем своим скарбом перебирается из становища, где он отдыхает, на место схватки, затем на другое становище, где он вновь отдыхает на соломе — в сарае, в подвале, в голой комнате, где стены потрескались от орудийных залпов. Это еще не все. На одной и той же стоянке мы часто меняем пристанище и через два дня на третий ночуем на новом месте. В конце концов привыкаешь к этим перемещениям. И теперь, когда приходят пресловутые приказы: «Сегодня, в изменение прежнего распоряжения, мы выступаем» или «остаемся», они уже не вызывают никакого удивления. Мы наспех застегиваем ранцы или сбрасываем их у стенки, вместо того чтобы вскинуть на спину, — а там, глядишь, и еще одна ночь прошла.

Из моих прежних писем ты, вероятно, поняла, что у нас есть два рода стоянок: расположение части на «период отдыха» и на период «дежурства в окопах». Стоянки второй категории покидать запрещено, день и ночь надо оставаться в полной выкладке (ранец — на спине, винтовка — под рукой, скатка — поверх ранца), даже и в те часы, когда мы не находимся в карауле. В окопах или около них мы лишены каких бы то ни было удобств. Однако мало-помалу приспособляешься к этим условиям: иной раз мы даже хитримся отыскать уголок стола, чтобы писать на нем и даже поесть. На отдыхе нам живется гораздо лучше. Можно

снять снаряжение, раздеться, завернуться в одеяло, развести огонь, а главное — в этих краях не все жители эвакуировались, и удастся найти на какой-нибудь ферме комнату, где можно провести днем свободные часы.

Едим мы обычно из своих котелков в том же месте, где спим, то есть по большей части в риге, где навалена солома, письма пишем на собственных коленях под громовой шум разговоров и колоритнейших окриков: «Эй, образина!..», «Слушай-ка, рыба требуха», «Блошинный клюв!» (Я привожу самые невинные...) Сейчас напротив меня Медар пишет стихи. Лицо у него напряженное, в зубах сигарета. С рассеянным и сосредоточенным видом вдохновенного поэта он слабо реагирует на мои громкие жалобы по поводу того, что дежурный сержант еще не принес писем (а уже девятый час). «Тебе на это начхать», — с упреком говорю я. «Нет, отчего же начхать?» — тихо бормочет он, не отрывая взгляда от короткой строчки начатого стихотворения. Но вот он зашевелился: уже несколько недель у него мерзнет нога, и, несмотря на все его старания и великолепные, толстые шерстяные чулки, присланные матерью, ему не удастся согреть ее. Пока он ходит, постукивая окоченевшей ногой об пол, прибегает закутанный сержант Сюилар — ему надо стоять в окопе со своим полувзводом до полуночи. Он замерз; чтобы согреться, мы втроем выпиваем по стопочке коньяку хорошей марки, который прислан фронтовикам в подарок каким-то богатым помещиком. Затем Сюилар спешит к солдатам в окоп, а мы опять ждем: я — писем, а Медар — вдохновения; обоих нас убаюкивает храп двух солдат, растянувшихся в углу комнаты, и сухие выстрелы 75-миллиметровки, которая гремит в темноте за плотно занавешенными окнами (у нас горит лампа, а ни малейший луч света не должен пробиваться наружу).

Половина десятого

Ура! Получил наконец письмо от тебя. Прибытие его совпало с такими залпами 75-миллиметровки, каких я еще ни разу не слышал. Строчит прямо как пулемет. «Ну и поливают их!» — совершенно справедливо говорят вокруг меня.

Твое письмо восхитило меня. Путешествие в Омон произвело глубокое впечатление. Письмо обратно пока не отсылаю. Перечту его хорошенько в окопах. Прощаюсь с тобой до завтра, моя маленькая волшебница.

27

12 февраля 1915 г.

10 часов вечера. Нас сменили, иными словами, «период окопов» для нас кончился и начался «период отдыха». Последний день был, скажем прямо, нелегкий. Мы заняли сторожевой пост в 600 метрах от окопов и сотне метров от реки. Мы были отрезаны от всех остальных, не могли высунуть даже кончик носа и сидели там с шести утра до восьми вечера впятером: четверо добровольцев и капрал. Добраться туда — само по себе целая история. Сейчас я обрисую тебе обстановку. По обочине шоссе, в километре от реки, проходит первая линия окопов. Туда ведет ход сооб-

щения — особая траншея, перпендикулярная той, из которой ведется огонь; ее конец упирается в заднюю дверь домика, где отдыхает одна часть взвода, пока другая ведет наблюдение. Когда наступает время смены, капрал или сержант входят в пустую столовую, где в полной выкладке «задают храповицкого» несколько солдат, и рявкает: «Такой-то, такой-то, встать! На кадриль, вперед!» Мы встаем, берем винтовки и идем за командиром смены. Перед дверью мы тушим трубки и сигареты — ведь с этой минуты мы находимся в поле зрения противника; выйдя один за другим, мы спускаемся в ход сообщения; идти по нему надо пригнувшись — как правило, он недостаточно глубок (это естественно — ведь по нему люди только проходят, а рыть траншеи — та еще работка). Ходы сообщения здесь обычно делают извилистыми — чтобы артиллерия противника, находящаяся на возвышенностях напротив нас или, вернее, за ними, не могла вести по ним прицельный огонь. Наконец, ход сообщения выводит нас на огневой рубеж. Это траншея такой ширины, что двоим в ней не разойтись. Местами в земляной стенке сделаны углубления, куда можно отступить, чтобы дать дорогу идущему навстречу. Труднее всего сделать так, чтобы тебе не мешала твоя собственная амуниция, чтобы штык, кружка или фляга не стучали на ходу и чтобы сумки, расширяющие солдатские бедра, как кринолин, не собирали грязь со стенок. Вновь пришедшие становятся на место дозорных, в чью обязанность входит плять глаза в амбразуру бруствера. За этим занятием мы проводим порой два, а порой двенадцать или четырнадцать часов. Днем солдаты стоят дальше друг от друга, ночью — ближе. Вообще ночью все сложнее. Мы выставляем часовых около окопа на равнине, а вперед высылаем разведку, состоящую из одного унтер-офицера и четырех солдат — обычно добровольцев, чтобы предупредить внезапное нападение.

Из окопа ничего не видно: ни полей, оцетинившихся на переднем плане колючей проволокой, ни садов, ни заборов, ни деревьев, растущих купами или длинными рядами, ни отдаленной возвышенности с домами, деревьями, заборами и полями. Максимум, что можно увидеть, если хорошенько присмотреться, — это идущие параллельно нашим окопам противника. Разумеется, расстояние от нас до них не всегда одинаковое. Сейчас, как я уже сказал, нас разделяет около километра — и река. Однако наши оборонительные линии состоят не только из большой траншеи. Перед ней есть несколько маленьких окопов, причем некоторые из них очень близко от противника. Как раз в таком окопе я и сижу в данный момент с капралом Салавером (он прежде работал у Ашетта) и тремя солдатами. От траншеи нас отделяют метров шестьсот-семьсот, от берега реки — метров двести. Мы отправились сюда, как я уже говорил, сегодня под утро, около четырех. Темно было, как в брюхе у негра (чтоб не сказать хуже). Вышли из домика, наступая друг другу на пятки, шли ощупью, как слепые, ступая по лужам и спотыкаясь о камни, — удовольствие ниже среднего. Остановились около кухни, где нас напоили кофейком. Этим кофейком мы наполнили фляги. Я, помимо снаряжения, нес харч, то есть еду — котелок с бобами в соусе и вареной говядиной, а Салавер захватил камамбер и бутылочку «водяры». Идя по обочине дороги, встречаем связного, кото-

рый должен отвести нас в окоп. Уже пять часов. Нужно торопиться, потому что те, кого нам предстоит сменить, должны вернуться до рассвета, чтобы их не уколошили на равнине. Но мы поспешаем медленно; я до слепоты вглядываюсь в белеющую передо мной в адской темноте плащ-палатку, привязанную к сумке солдата, который идет впереди меня. Тропинка, дорога. Внезапно связной с бранью останавливается. Он ошибся. Это старая дорога. Возвращаемся, натываемся на стену, попадаем в ров. Наконец, выходим на нужную дорогу. Доходим до заграждения, первого ориентира. Там нас останавливает часовой: «Стоить! Кто идет?» Ответ: «Франция». — «Подойдите ближе». Мы подходим и говорим пароль. Проходим. Идем по скользкой кромке поля, время от времени переключаясь, чтобы не потеряться. С этой минуты мы покидаем французский передний край и остаемся совсем одни, в нейтральной зоне. Наша задача — найти проволоку-ориентир. Минут двадцать мы ее ищем. Наконец, находим. Идти вдоль нее трудно, потому что колышки, вбитые накануне в большой спешке под прикрытием тумана, попадали, а сама она во многих местах порвана или разрезана. Наконец, через полчаса, когда уже начинает светать, благополучно перебравшись через колючую проволоку, мы замечаем на сереющей равнине какое-то расплывчатое пятно. Идет снег, видимость от этого еще хуже. Связной тихонько свистит два раза. Ответа нет. Подходим ближе, наш проводник снова свистит: это они! Мы видим нору, где наши товарищи провели ночь. Светает очень быстро, и мы уже отчетливо различаем их белые, запорошенные снегом капюшоны. Облегченно вздыхая, они вылезают из норы, а мы спрыгиваем в нее.

Длина этого окопа — метров двадцать, глубина — около полутора. В середине он прикрыт брусьями, и под эту кровлю длиной около четырех метров можно вползти только на четвереньках, потому что кровля опирается не на бруствер, а на край самого рва, глубина которого не больше 80 сантиметров. На дне — солома. Это — убежище на случай обстрела шрапнелью. Мы складываем туда наши припорошенные снегом ранцы, пыльные и мокрые вещмешки, устраиваемся в норе и начинаем вести наблюдение. Белая от снега равнина просматривается довольно далеко, причем сегодня, в отличие от всех последних дней, нет тумана... Вскоре мы различаем на севере ряд деревьев на нашем берегу реки, затем дома на другом берегу и холм, поросший деревьями, которые резко выделяются на белом снегу, как это бывает в швейцарских горах; в этот момент я вспомнил о Гштаде и Лезене. Капрал Салавер, изобретательнейший из смертных, покрывает наши кепи белой тканью, чтобы синие пятна не выделялись на белом фоне. Ведь наши кепи торчат из окопа, недостаточно глубокого для всех нас, а для меня в особенности. Поэтому я вооружаюсь заступом, который захватил с собой один из товарищей, и выкапываю себе нору поглубже. Готово: я могу встать в полный рост, не рискуя быть замеченным. Я снова принимаюсь вести наблюдение и вижу так же ясно — увы, не могу сказать «как тебя», но «как моего соседа» — шесть бошей, идущих гуськом у подножья холма. Их фигуры вырисовываются на снегу, словно вырезанные из черной бумаги силуэты. Одни в капюшонах, другие в касках. Они и не подозревают, что мы их видим,

и преспокойно шествуют по своей территории. Мы их пропускаем. Нам приказано стрелять только в самом крайнем случае, для самозащиты. Наше дело — наблюдать и предупреждать нашу часть, а также стараться, чтобы нас не обнаружили, — ведь в этом случае мы станем для противника мишенью, причем мишенью очень удобной и близкой, не говоря уже о том, что немецкая артиллерия обнаружит наши передовые окопы и разнесет их в два счета. Надо сказать, что больше в этот день мы немцев не видели вовсе, кроме одного, совсем крошечного, вдалеке, в полях, почти на самой вершине холма, да и то невооруженным глазом его никто бы и не заметил. Я его разглядел в бинокль. А весь день мы смотрели в оба. Прерывались только на несколько минут, чтобы по очереди перекусить (я съел сардину и кусок сыра, потому что посылки получу только на отдыхе — идиотская система, между нами говоря), а в остальное время были начеку. На пост могут напасть в любой момент, так что нельзя ослаблять внимание ни на секунду. Все кончилось хорошо: никаких происшествий не было, в нашу сторону даже ни разу не выстрелили. Но мы стали свидетелями грандиозной дуэли между нашей и немецкой артиллериями, снаряды с яростным свистом пролетали у нас над головами и разрывались то тут, то там. Обе стороны сделали выстрелов по двести. С помощью присланного тобою компаса-свистка я определил местонахождение нашего полка и нанес его на план. Кстати, замечу в скобках вот что. Есть одна вещь, которая была бы здесь на вес золота и принесла бы мне неоценимую пользу, — это компас, вделанный в ремешок часов, причем компас со светящимся циферблатом, чтобы можно было пользоваться им и ночью; ведь у нас приказ оставаться в полной темноте. Такие компасы продаются. Я видел рекламу в газете. Хорошо бы ты мне его купила. Пусть даже он стоит дорого, не страшно — в случае чего он может меня здорово выручить. Если компас трудно приделать к кожаному ремешку, не важно, я придумаю какой-нибудь другой способ иметь его всегда под рукой.

Чтобы закончить описание этого дня, скажу, что положил перед собой на край окопа письмо, в котором ты рассказываешь о своей поездке в Омон (отсылаю его тебе обратно). Ты не поверишь, сколько раз я его перечитывал, сколько думал о твоём паломничестве. Особенно восхитила меня Ками. Может быть, ты сфотографируешься с ней и пришлешь мне карточку? А я при случае попрошу Леви сфотографировать меня. Хотя боюсь, что смогу сделать это не очень скоро.

28

13 февраля 1915 г.

Ура! Получил от тебя не только письмо, но и две посылки: огромную банку куриных консервов, алюминиевую сковородку, мыльницу, фланелевый жилет. Все дошло благополучно; пишу в спешке, потому что почту вот-вот увезут.

До свиданья, моя малышка, моя красавица.

Воскресенье, 14 февраля 1915 г.

Дорогой мой малыш, я в отчаянии. У нас опять изменили время отправки почты: теперь она уходит в два вместо четырех. Меня об этом не предупредили, я отдал вчера письмо только в три часа, и оно уйдет сегодня. Значит, семнадцатого ты целый день не будешь иметь от меня вестей. Бедный мой цыпленок, ты ведь так быстро начинаешь волноваться — слишком быстро, повторяю тебе это снова и снова, — и вот тебе придется провести лишний день в неизвестности.

Я тебе еще не выразил всего своего восторга по поводу алюминиевой сковородки и японских штучек. Эти машинки очень милы и удобны, я и еду на них грею, и сам греюсь — и то и другое очень важно. Не описал я тебе еще как следует и того, с каким интересом я читал подробности твоей поездки в Омон. Я так живо себе все это представил, что, право, как будто перенесся отсюда туда. Со вчерашнего дня я наслаждаюсь блаженным покоем и сладостным бездельем. Сегодня прервал отдых только для того, чтобы тщательно почистить ботинки (час времени) и винтовку (три часа). Теперь винтовка моя выглядит сногшибательно, почти как новая, тем более что до сих пор мне приходилось не так уж много стрелять. Ботинки же, предмет моего постоянного беспокойства, тоже выглядят как новенькие, потому что я щедро намазал их жиром; только гвозди совсем распатались: разнообразные испытания, выпадавшие на их долю днем и ночью в течение двух месяцев, не прошли даром. Надо будет отдать их в починку. Ходят слухи, что гвозди здесь кончились. Если слухи эти подтвердятся, я попрошу тебя прислать гвоздичков, и кто-нибудь из здешних умельцев за литр винца обслужит меня. А жир для ботинок мне нужен уже сейчас. Только лучше, чтобы это был настоящий жир, а не та смесь, которую ты мне прислала, — в ней слишком много воску. А я придерживаюсь теории, согласно которой старым башмакам жир полезнее, чем воск.

Пишу тебе под звуки скрипки: сержант Сюилар раздобыл где-то скрипку и играет «Грезы» Шумана и «Смерть Озе» Грига. Другой сержант, родом из Альби, тоже здорово играет на этом мелодичном инструменте. Как видишь, здешняя жизнь имеет свои прелести.

Медар побывал в городе и привез оттуда номер «Иллюстрасьон» с рисунком, довольно точно изображающим место нашей стоянки в гротах замка Б[юзанси]. Впрочем, на рисунке не видно ни холода, ни сквозняков, а этой дряни там было в избытке! В газете есть также виды нашей местности и даже карта. А вот окопы не совсем такие, как у нас. Наши гораздо круче и уже; ширина их около семидесяти сантиметров, поэтому в них дьявольски тесно, и два человека, как я тебе уже писал, не могут разойтись, так что продвигаемся мы по ним крайне медленно: смена, то есть замена одного подразделения другим, занимает иногда до трех часов (теперь они играют, один на скрипке, другой на мандолине, «Трех гусар» Надо²⁶. Право, у них это выходит отменно).

Комнатуха наша освещается великолепной лампой, которую купил

Медар, и имеет вполне веселый и уютный вид. Рядом, в кухне Верцингеториг Барбье, наш кашевар, готовит обед — глазунью и поджаренную лапшу.

За окном слышен смех: каптенармус, найдя ослика — очаровательную скотину — и двуколку, развлекается вместе со своими клеветами, красуясь в этом экипаже. Чего только здесь нет — и ослы, и скрипки! А вот я дорого бы дал за фотоаппарат! Очень жалко, что у меня нет под рукой кодака, чтобы запечатлеть весьма любопытные физиономии и события, которые я постоянно здесь наблюдаю. Твой аппарат, пожалуй, мне не подойдет, потому что пластинки — вещь непрактичная и неудобная. Мне нужен аппарат с пленками. Я попросил Эдмона Фуре прислать мне такой. Он колеблется — и лишает себя возможности получить уникальные иллюстрации! Думаю, что он ничего не пришлет, потому что я написал ему, что надо быть готовым пожертвовать аппаратом: я могу и потерять, и испортить его. Медар со своей стороны обещал помочь.

Кончаю, скоро, наверное, придет начальник почтовой службы — его сегодня еще не было! — я отдам ему это письмо, и оно придет к тебе одновременно с тем, которое я опоздал отдать вчера.

Целую тебя от всего сердца. Будь храброй, терпеливой и спокойной.

Весь твой А.

Волосы у меня уже отросли, скоро снова постригусь.

30

14 февраля 1915 г., пол-одиннадцатого вечера

Не успел я отдать сержанту Анрию, моему старому приятелю, второе письмо, которое ты, вероятно, получила вчера, семнадцатого, как мне принесли твое письмо и две посылки. Та, что от тебя, — верх разнообразия; один из свертков, гласивший: «Я — совсем не то, что вы думаете», — я раскрыл в присутствии товарищей по взводу, а до этого все строили предположения, и никто не угадал; но наибольшую зависть всех присутствующих вызвал другой, объявлявший: «Я аромат, а не напиток». Аромат действительно сногшибательный. «Сеньориты» тоже, равно как и вишневая водка, не хуже и каштановое варенье, а уж о табаке и говорить нечего! Что же касается смеси для башмаков, я бы предпочел самый обычный жирный жир, но так тоже неплохо. Какое совпадение! Я как раз сегодня писал тебе, чтобы ты прислала мне жир для ботинок и гвозди для подметок. А ты подумала об этом одновременно со мной, сердечко мое, — вот что меня приводит в восторг. Это еще одно подтверждение того, что мне в общем и так прекрасно известно: что нас разделяет вовсе не такое большое расстояние, как могут подумать посторонние люди. Ведь даже представить себе невозможно, как часто я о тебе думаю. Я тебе уже писал, что у меня, по-моему, повсюду на первом месте ты. Даже когда я пишу другим людям, я стараюсь, чтобы при этом можно было думать о тебе. Например, я шлю кому-нибудь уверения в своей дружбе и преданности, и при этом говорю себе: «Да, конечно, я их люблю, но по-настоя-

щему я люблю только одно существо, которому я беззаветно предан». Когда я пишу тебе — тебе, моя дорогая, — всякое мое слово до конца правдиво и значит очень много.

Из Альби к нам прибыло подразделение «Грозных быков». Эти ополченцы малость напуганы и выясняют у нас, опасен ли наш участок. Один из них сегодня ночью спал рядом со мной; во сне он умолял не посылать его в разведку! Далась им эта разведка!

Посылаю тебе номер «Писательского листка». Как видишь, мало кто из этих господ воюет по-настоящему. Довольно отвратительная картина.

Совсем забыл написать о посылке от г-жи Маккиати. Очень мило и великодушно с ее стороны. Так что у меня был день чудес, а завтра буду подъедать остатки.

Твой спешащий солдат

31

15 февраля 1915 г., 8 часов вечера

Сердечко мое любимое, программа нашего утреннего концерта, наверное, мало что сказала бы тебе. Вот три самых сенсационных номера. Во-первых, карлик на столе — он был одет крестьянкой и пел народные песни. Право, это был прелестный номер на уровне любого мюзик-холла, а блистал в нем краснощекий бородатый капрал. Во-вторых, один из наших поваров, по имени Дарбонанс, в мирной жизни владелец кабачка в Бийанкуре, — переодевшись в женское платье, он исполнил «Деревенскую модницу» и песенку под названием «Молитва», где речь идет о монашенке, которая предается в обществе монаха все более и более рискованным развлечениям; в качестве рифм там постоянно чередуются Аллилуйя, Патер Ностер, Аве Мария, Аминь. И все это исполнялось на сцене Католического общества, сопровождалось красноречивыми жестами и окончилось общим гвалтом. В-третьих, юный капрал, который потрясаяще заgrimировался дикарем: выкрасил лицо зеленой краской, напялил черный парик, прицепил длинные красные перья и т. д. — все необходимое он отыскал в мастерской декоратора. Он исполнил песенку и монолог — верх непристойности. Были еще неплохие выступления: пародия на Ботреля²⁷, два-три душещипательных номера, художественный свист, несколько мастеров арго. Но гвоздем программы были опыты «Профессора Медара». Он очень ловко превращал стакан воды в стакан вина и обратно, потом с помощью медиума отвечал на вопросы присутствующих. Зрелище было потрясаящее! Так прошло это достопамятное утро. Можешь поверить, все было в самом деле неплохо организовано.

Сегодня предстоит большой музыкальный вечер.

20 февраля 1915 г.

Дорогая моя девочка, я, естественно, получил, как и ожидал, одновременно два письма в двух одинаковых конвертах. Мы как раз заправлялись (в переводе на нормальный язык — ели). Это была последняя еда на стоянке: через час, в восемь вечера, нам предстояло отправиться в окопы — на неделю. (Замечу в скобках, что продолжительность пребывания в окопах и на отдыхе меняется так часто, что нет никакой возможности предвидеть, где мы будем в тот или иной день и час. Сейчас оба периода делятся по неделе, так что раз мы попадаем в окопы 20, то 26 вечером должны — если не последует изменений в приказе — отправиться в другую деревню, расположенную в 9 километрах от линии фронта, а от туда — по всей вероятности, вечером 5 марта — снова двинемся в окопы.)

Вместе с двумя твоими письмами, которые я отсылаю тебе назад, прибыла посылка с цыпленком и «порошочком» — для медаровых ног, не так ли? Как я уже писал, Медар проверит действие этого состава, и, если эксперимент завершится благополучно, мы все примем указанный продукт на вооружение.

Итак, продолжая заправляться, мы прочли письма, собрали вещи и, отложив в сторону окорока (скрипки), доставившие нам столько приятных минут, двинулись в путь; луна то показывалась на ночном небе, то исчезала, чего нельзя было сказать о дожде, — этот стервец, как здесь говорят, лил не переставая.

В полдесятого мы прибыли на место и расположились в окопах. Я занял наблюдательный пост, сначала в ходе сообщения, а потом наверху, на дороге, и оставался там до полтретьего ночи. Потом отправился в домишко, где находились бойцы из моего полувзвода, которым в данный момент не нужно было идти в дозор, и, растянувшись на драном матрасе рядом с Верцингеторигом Барбье, проспал до шести утра.

Капрал Изидор Салавер разбудил меня, и до девяти часов я снова торчал в окопе; на дороге показываться было уже нельзя, так как стоял белый день, и я оставался в укрытии; это длинная узкая канава, дно и стенки которой обшиты деревом, так что в ней не очень много грязи, но много костей (читай: камней), о которые спотыкаешься в темноте. В девять меня сменили, и теперь я бездельничаю до вечера. Ночью предстоит наблюдение и земляные работы.

Скверно одно: хотя, если судить по градуснику, мороз стоит и несильный, тому, кто, как мы, сидит сиднем в наглухо запертых комнатах, откуда можно выйти только украдкой и ненадолго, жаловаться на жару не приходится. К тому же нам запрещено зажигать огонь, потому что боши в окопах напротив нас следят не только за передвижениями солдат, но и за дымом, стараясь обнаружить дома, где стоят наши части, и обстрелять их.

Но Верцингеториг Барбье нашел выход из положения. Он «откопал» незанятый дом, расположенный в таком укромном месте, что там можно спокойно развести огонь. Я пробрался туда вслед за ним и пишу тебе, бедная моя девочка, из этой кухни, устроившись за довольно-таки гряз-

ным столом; рядом со мной кипит, а время от времени бежит, шипит и брызжет на меня жаркое; за моей спиной суетится Вердингеториг Барбье, он готовит ужин и постоянно пристает ко мне с разговорами (а трепло он жуткое!), задавая вопросы, в ответ на которые я то неопределенно мычу, то беззлобно ворчу.

Чего уж там, главное не нервничать!

Твой А.

33

20 февраля 1915 г.

7 часов вечера. С полуночи до шести утра буду в дозоре в окопе. Мы только что пообедали. Я ел молочную кашу, суп с вермишелью, глазунью из двух яиц, а также известные тебе смородинное варенье и мед. Теперь, как говорится, набив брюхо, мы можем завалиться спать, но хотим дождаться почты; матрас мне не достанется, потому что на нем уже дрыхнет Вердингеториг («Ну и храпит эта рожа, — говорит один из наших солдат, деревенский парень, — ровно труба») — он не стал дожидаться начальника почтовой службы.

Тот не идет и не идет. Мы с Медаром ждем, ждем и наконец теряем терпение.

— Какая дрянь, — говорит Медар.

— Да, Мимиль, — отвечаю я.

— Ну, конечно, — говорит Медар, — ты-то уверен, что получишь писем десять, а то и пятнадцать.

— Брось заливать, Мимиль, — отвечаю я, — лучше заткнись. А вот ты получишь не меньше шестнадцати-восемнадцати писем.

— Ну, знаешь, это ты заврался! Скажешь тоже — мне-то ведь никогда не приходит столько, сколько тебе.

— Не твое дело! Посмотрим, что тебе перепадет, скотина!

А время идет. Писем не несут. Сюилар, который ложился спать в тот момент, когда я сел за письмо (здесь лечь спать нетрудно, так как нам запрещено раздеваться, разуваться и расстегивать шинели — самое большее можно снять кепи), — уже засыпает и начинает задавать храпака.

В соседней комнате солдаты улеглись и ссорятся. Один ругает другого за то, что тот задел ногой его голову, или, выражаясь иначе, заехал копытом по башке. Другой громко высказывает свое мнение об этом «сволочном» месте, где нечего выпить: «Горло промочить нечем», — говорит он.

А писем все нет. Медар, занятый написанием письма, прерывается, чтобы свернуть козью ножку. Я присоединяюсь к нему, и мы курим при свете великолепной медной лампы, которую Вердингеториг Барбье притащил на позиции в корзине. Затем снова начинаем костерить почтаря. Медар утверждает, что этот человек — последнее дерьмо, и намеревается смазать ему по морде, как только он войдет. . .

Наконец в 8.20 почтарь появляется. Его встречает поток брани; в ответ он огрызается:

— Чего разорались? Скажите спасибо, что получили свои письма до девяти!

Он уходит. Мы читаем. Мне он принес вот это твое письмо. Оно стоит двенадцати или пятнадцати.

34

22 февраля 1915 г.

Твое милое письмо (хотел отослать его обратно, но пока оставляю себе) я получил вчера в половине первого ночи.

Я как раз вернулся из окопов, где топтался с трех часов — с пятнадцатиминутным перерывом на обед. Тягостное это дело: холодновато да и спать хочется, но в общем ничего страшного. Японские грелочки лежат у меня в карманах рубашки, розовая слева, голубая справа — они прекрасно заменяют и калорифер, и костер. Они держат тепло по четыре-пять часов. В конце смены меня начало клонить ко сну, но уж это-то вполне можно перетерпеть; тоже мне, горе — так, мелкие неприятности. На позициях противника все спокойно. В поддесятого показалась вспышка пламени — немцы взорвали дом, чтобы лучше просматривались наши позиции. Орудийная и ружейная пальба слышна вдалеке, слева и справа от нас. С часу примерно до шести я спал — и хорошо отдохнул. С девяти до полпервого опять окоп. Было довольно холодно. До шести — отдых. С шести до пяти утра — дежурство на наблюдательном посту. Конечно, скажи я, что надеюсь провести время в тепле, это было бы ложью: погода, вчера еще такая прекрасная, сегодня портится, появился туман, холодает.

Сегодня вечером мне не видать письма, мы уйдем до раздачи. Только на рассвете, вернувшись из окопа, я смогу узнать, что содержится в адресованных мне конвертах — прежде всего, в твоих.

С нетерпением жду Снималку. Я проявлю пленки и пришлю тебе негативы; сложу их так, чтобы они влезли в конверт. Проявление развлечет нас во время отдыха на стоянке. У нас есть все нужные химикаты. В самом деле, это будет очень забавно. А потом можно будет завести что-то вроде альбома, ты аккуратноенько вклеишь туда все снимки, тщательно и без спешки промыв их, и мы сохраним их для полноты картины.

Насчет разведки: нет, я не все время хожу в разведку, один раз я сам вызвался пойти, но в тот раз ее вовсе отменили. Я всегда соблюдаю полнейшую осторожность.

Марселя Буланже²⁸ отправили в госпиталь для глухонемых, но не по причине глухоты или немоты. Напротив, есть шанс, что после войны он станет разговорчивее, чем когда бы то ни было. Он попал туда, потому что обморозил ногу — ведь сейчас во всех больницах лежат люди с самыми разными увечьями, полученными на войне.

Хорошо бы ты прислала мне питание для японской грелки. А уж компас — это, как здесь говорят, блеск. Надеюсь, он вместе с милейшей Снималкой будет ждать меня 27-го на стоянке, расположенной — если ничего не изменится! — в девяти километрах отсюда. Так что первые фотографии будут сняты не совсем на войне. Какой ширины пленки?

Замечательная песенка «Три гусара», которую так виртуозно исполняют наши мастера игры на окороках, была напечатана в 24 номере газеты этого кретина Ботреля «Бон шансон» (октябрь 1909 года); улица Буасси Д'Англа, 35, Биеро. Надо доехать на метро до Площади Согласия (ведь так принято выражаться? Я уже столько времени не произносил этих слов и не слышал их!). Купи ее и выучи. Она того стоит. Здесь только ее и распевают.

Пока. Целую тебя.

35

23 февраля 1915 г.

Сегодня пишу наспех и кратко! Ничего себе работка! Вчера в шесть мы плелись по нейтральной зоне, отделяющей наши позиции от позиций бошей, в бледном лунном свете. Потом мы с товарищем заняли наблюдательный пост посреди поля, ближе к реке. Мы лежали пластом, не сводя глаз со смутно виднеющихся кустов и тощих призраков деревьев. К счастью, матовое стекло тумана, как сказал бы Ламартин, скрывало луну. Продолжалось это с полседьмого до полуночи. А потом до шести утра я дежурил на сторожевом посту, где когда-то провел день; ночью он служит местом сбора часовых. Мы с сержантом Р. совершили обход постов, расставленных через каждые 150 метров. Чтобы не сбиться с пути, нужно было двигаться очень осторожно, держась за проволоку, натянутую при разводе часовых. Сержант Р. струхнул и, бросив меня, повернул назад. Дело в том, что эти милые прогулки — вещь довольно нервная, ведь если ты к кому-то подходишь или кто-то подходит к тебе, никогда не известно, кто это. Нервная, но неопасная, потому что немцы в ту ночь не сделали ни одного выстрела. Они только расхаживали взад-вперед у самой воды на своем берегу (мы их не видели, но слышали — слышали, как они кашляют и даже переговариваются). Сегодня утром с семи до десяти я спал. С десяти до трех снова был в окопах. А в шесть опять отправляюсь на аванпост, где провел сегодняшнюю ночь, однако на этот раз нас сменят около десяти вечера. Так что я проведу там только четверть ночи.

Твое письмо я получил, когда вернулся с этой игры в индейцев племени сиу — вернулся из царства тьмы, тишины, напряженного внимания и черных ям.

До свиданья, дорогая моя малышка. Лишь только на землю опустится тьма, я проверну свои дела и выйду в прерию на тропу войны. После этого мы проведем три дня на запасной стоянке (это нечто вроде резерва передовой), а вечером 26-го отправимся на стоянку, где будем отдыхать. Там-то меня и ждут твои драгоценные дары: Снималка и компас (вот только твоих фотографий я, к сожалению, к тому времени еще не получу, это было бы уж слишком роскошно).

Р. S. На аванпост не идем, одной пакостью меньше! Зато с шести до десяти будем торчать в окопе. До завтра.

24 февраля 1915 г.

Конечно же, я получил два твоих письма. От 21 и 22 февраля. Вчера я горевал, что не получил ничего, зато сегодня радуюсь, что их целых два! Насчет водяной ручки — спасибо (спасибо нет), это, должно быть, весьма любопытная штука, но моя, как могут убедиться твои милые глазенки-глазищи, читающие эти строки, работает вполне прилично. А почему бы тебе самой не купить эту ручку для твоих ручек?

Нет, несмотря на все наши жалобы, посылки нам выдают только во время отдыха на стоянках. Так что маленький отряд вещей, который под командованием Снималки направляется в наши края, прибудет в мое распоряжение только 27-го днем. Мы все еще находимся в боевой готовности и вот уже пять суток не расстаемся ни с патронгашем, ни со штыками.

Я тебе уже писал, что мы побывали в театральном зале — в Католическом обществе. Пишу я на столе, который мы с Медаром вчера вечером отыскали в подвале (Медар сегодня скверно себя чувствует и хандрит; несмотря на «перлинпинпинский» порошок, у него мерзнут ноги!). Мы сидим при свете прекрасной медной лампы с круглой горелкой, которую Медар купил в Суассоне. Рядом со мной Сюилар (его жена собирается в Лезен) играет на мандолине. В большой комнате при свете насаженных на штыки свечей несколько парней играют в бильярд. Медара с нами нет. Он, бедняга, командует подразделением, натягивающим на равнине колючую проволоку, а на дворе ночь и туман. Вернется он часа в два-три ночи, не раньше. Представляю себе, как он матерится там, в темноте и сырости!

Завтракал я сегодня в частном доме. Этот очень чистенький домик, улица Эшель-дю-Тампль, 14, принадлежит г-ну и г-же Тассен, уже давно эвакуировавшимся. До чего провинциален этот пустой домишко с пошленькой гостиной, столовой, где на столе еще стоит раскрытая шкатулка с ручкодельем старой дамы. На кухонном столе лежат открытки, полученные в день отъезда и забытые в спешке. Как бы я удивился, да и ты тоже, не правда ли, если бы семь месяцев назад мне сказали, что зимой я буду завтракать в доме этих милых людей. К сожалению, мне больше не придется ни завтракать, ни обедать здесь: нам строго-настроено приказано никуда не отлучаться, и Верцингеторигу Барбье придется отныне стряпать нам в том же помещении, где мы спим.

А еще я могу спать знаешь где? — в окопе. Нельзя спать только когда стоишь на часах; на это время приходится распротиться с отдыхом. Но зато потом мы бываем вознаграждены целыми днями безделья и ночами отдыха. Бывает и на нашей улице праздник. Так что нечего тебе, «засыпая в мягкой постели», горевать о том, как тяжело мне приходится. Наоборот, я ведь тебе уже говорил, мне было бы гораздо тоскливее и хуже, если бы во всех этих мелких неприятностях меня не утешала мысль о том, что хоть ты живешь в более или менее нормальных условиях. А это уже полдела. Не хватает еще, чтобы тяжело приходилось не только мне, но и тебе.

Продолжаю письмо 25-го. Ночь была беспокойная из-за пьянчуг, ко-

торые буянили в нашей комнате до двух часов ночи. Такой концерт затили! Утром они, наконец, уgomонились, но кое-кому из них, возможно, грозит арест. Жуткая вещь — выпивка!

У нас новый повар — ополченец Дешей.

На данный момент больше ни о каких чрезвычайных происшествиях поведать не могу и кончаю письмо, чтобы оно ушло сегодня.

Бедный Леконт! Он написал мне о своем сыне. Ну и дела! И ведь сколько народу окопалось в тылу!

37

26 февраля 1915 г.

Прошел еще один день, вернее, ночь. И прошла она очень легко. Мы отправились вбивать колышки и натягивать проволоку, но ночь оказалась слишком лунной, вдобавок в поле, где нам предстояло действовать, от немецкого снаряда загорелся стог сена. При виде этой иллюминации командование решило, что посылать туда людей, которым поручена шумная работа, слишком опасно, и, после того как мы несколько часов проторчали на ферме, нас вернули в расположение части. На ферме мы взяли в плен щенка, который своим лаем и воем мог выдать нас противнику. Я решил забрать его с собой и оставить при нашем отделении. Мысль эту все одобрили, но, хоть мы и смастерили ошейник из проволоки, на обратном пути щенок, к сожалению, вырвался и удрал. Это был грифон, белый с коричневыми подпалинами, очень ласковый. Жалко, что так вышло.

Час дня. Готовимся к маршу. Нам предстоит очень долгий переход, около 25 километров: раз мы выступаем в десять вечера, значит, идти придется всю ночь. К счастью, нам разрешили взять одеяла и плащпалатки в обозе. Завтра я буду щелкать фотоаппаратом! — и получу два письма от своей девчушки, которую от всего сердца целую.

38

26 февраля 1915 г., 6 часов

Обед запаздывает, так что у меня оказалась свободная минутка до еды и получения почты, и моя постоянно стремящаяся к тебе мысль обращается к безотказному средству передвижения — письму.

Сегодня солнечно, и я подумал о твоих картинах — чем чаще я замечаю дивную игру света и красок, тем сильнее жалею, что ты бросила занятия живописью. Как бы хорошо тебе снова взяться за кисть! Это — твое истинное призвание; как я был бы счастлив, если бы твой несомненный талант развивался, а не прозябал так долго в бездействии!

Обеда все нет, причем опоздание переходит уже всякие границы. Медар, естественно, злится на нового повара.

— Ну и скотина этот парень!

— Да, — соглашается Сюилар, — это уж слишком; парень хамит. Мы должны были трескать в полшестого, а сейчас полседьмого.

— Придется нам, — прибавляю я, — ограничиться пайкой.

Это было бы печально — ведь ночью предстоит большой переход.

8 часов. Медар ходил на кухню. Принес оттуда супу. Молочный с рисом плюс чай и кофе — идет!

А скоро и нам идти.

Письма! Я получил твое письмо! Прочел его в большой комнате, где мы проведем еще с четверть часа, а потом уйдем отсюда надолго, может быть навсегда. Сегодня мы почти весь день были свободны, и многие из парней заложили за воротник. Ко времени сбора здесь будет полно пьяных рож! Но вернемся к твоему письму. Оно интересное и забавное. Портрет Маэстро потрясающий, просто потрясающий. Так похоже, он прямо как живой. Еще и поэтому ужасно жалко, что Снималка, которую я так жду и которую завтра, наконец, заполучу, не привезет мне тебя! История со шляпами меня позабавила: иначе и быть не могло! Но мне очень грустно, что у тебя нет шикарных туалетов; подумай об этом, прошу тебя. Это важно — не говоря уже о том удовольствии, которое твои обновки наверняка доставили бы мне, а возможно, и тебе. Кончая — потому что Медар уже минут пятнадцать читает с деревенским выговором фантастические выдумки собственного изобретения, якобы напечатанные в «Армейском вестнике», — это довольно забавно, он прирожденный импровизатор.

39

27 февраля 1915 г.

Вот это был переход так переход! Отмахали километров тридцать по морозцу; под ногами хрустел лед, так как вода в колеях замерзла. Вышли в половине одиннадцатого, пришли в семь вечера. Место, где мы пробудем энное число дней (никто не знает сколько), очаровательно. Не могу сообщить тебе его название, но могу сказать, что оно находится в двух километрах от замка Анри Батая²⁹ (я ему написал и побываю у него, если он дома и если мы останемся тут подольше). Ночевали мы, разумеется, на соломе, а в нашей спальне даже стоит довольно-таки сильный аммиачный дух, так как внизу под нами — хлев. Но как только мы пришли в деревню, Медар ухитрился найти в одном домике светлую, опрятную комнатку с каменным полом и большим очагом; в ней можно писать письма и поест. Тут я пишу тебе в ожидании кофе, который варит для меня хозяйка, а с двух сторон от меня спят за столом Медар и Сюилар. Мы ждем посылок, злополучных, где-то блуждающих посылок. Ждем также нашего кашевара Дешея: в этом ночном переходе он, как и многие другие, показал себя не с лучшей стороны и прибудет вместе с отставшими, которые постепенно выползают на главную улицу.

Ночью произошел смешной случай. Во время остановки мы с Медаром дурачились, громогласно давая друг другу живописные наименования. Я обозвал его «рожей-спринцовкой» и «мордой-лепешкой», а как раз в это время мимо нас трусил рысцой какой-то верховой. Услыхав «морда-лепешка», этот всадник, лейтенант драгунского полка, принял эпитет на свой счет, повернул лошадь и галопом подскочил к нашей кучке: «Кто посмел назвать меня мордой-лепешкой?» Разумеется, моя невинность была очевидна, и он отстал. Не повезло мне: этот лейтенант привык счи-

тать личным для себя оскорблением всякое крепкое словечко, произнесенное в его присутствии. История о «морде-лепешке» имела большой успех, и всю дорогу солдаты хохотали над обидчивым лейтенантом.

Черт подери! Как долго не везут посылки! Только что выяснилось, что до вечера нет никакой надежды их получить. Пожалуй, придется закончить письмо, не имея возможности сообщить тебе о получении посылки и описать радость, которую она мне доставила!

40

28 февраля 1915 г.

Дорогая девчушка, получил это твое письмо вечером 27-го. Кажется, почта опять стала работать без перебоев!

Завтра вечером кончается наш окопный период. Вчера был сильный обстрел. Мы из окопа следили глазами за снарядами 220-миллиметровок, которые описывали огромные дуги в воздухе над нашими головами, а затем падали на землю. Веса́т они по 120 кг. А издали кажутся величиной с подбитую птицу.

Ночью рыли окоп. Было жутко холодно. Утром — яркое солнце и легкий ветерок. В окопах сухо, брустверы поросли травой, и она колышется на ветру. Заросшие окопы выглядят по-новому. Французские окопы, в общем довольно широкие, в некоторых местах похожи на проложенные в углублении дороги. Немецкие гораздо уже и глубже, они удобны скорее для обороны, а в случае атаки из них трудно выбраться; если не отобьешься, тебе каюк.

Представь себе, я соскучился по велосипеду. Мне кажется, я уже и ездить разучился.

Ни цыпленка № 1, ни цыпленка № 2 я до сих пор не получил.

41

3 марта 1915 г., среда, час дня

По-прежнему ходят упорные слухи, что мы проторчим тут три недели. Уверяют также, что нас затем перебросят в другой сектор. Говорят о Танне, об Эльзасе. Но почему знать! Дела вроде бы пошли на лад, и, если наши союзники-англичане дадут больше солдат, чем предполагалось, война, возможно, протянется меньше, чем все думают. Однако не будем гадать и предсказывать. Я знаю только то, что поблизости от нас появилось много тяжелых орудий и что они стреляют огромнейшими снарядами по немецким позициям в суассонских каменоломнях.

Нынче днем у нас проходили ученья в лесу Виллер-Коттре, который немного походит на Алатский лес между Омоном и Санлисом, ближе к Омону, — то место, где мы рвали когда-то ландыши. Сходство это усиливается схожестью и других уголков этой местности, и я часто с волнением вспоминаю о часах и днях, проведенных нами в сельской тиши до всех этих событий.

Сегодня у нас в роте лихорадочное возбуждение: до нас дошли слухи, будто половина солдат и унтеров, участвующих в войне с самого начала, получат недельный отпуск. Если это подтвердится, будут делать отбор,

и какое начнется соперничество, какая зависть! Неизбежный отсев — опасная перспектива, ибо он вызовет ужаснейшее разочарование у обоюдных. Уже и сейчас между Л. и Н. возникла смутная вражда, оба хвалятся друг перед другом своими заслугами, а между тем они были добрыми друзьями и вот уже семь месяцев воюют бок о бок.

Половина десятого. Я пойду к Анрию на нашу стоянку и буду крепко спать до завтрашнего утра, а Медар и Сюилар ночуют здесь, то есть в домике, где я пишу. Ты видела на фотографии часть его фасада, трубу от печки в первой комнате — и хозяев. Медар и Сюилар спят вместе на широкой кровати и радуются своему королевскому комфорту. Но «Тихоня» (прозвище Анрию), Лезен и я прекрасно спим и на соломе, которой богата ферма П. . . Итак, спокойной ночи.

Твой А.

Пришли же мне, пожалуйста, мои любимые сигареты.

42

Понедельник, 8 марта 1915 г.

Я спал на кровати. Вот уже семьдесят семь ночей как со мной этого не случалось. Дело было в доме у двух древних стариков, двух дряхлых, ветхих и стонущих созданий, которые говорят еле слышно и едва слышат, даже если кричать им в уши. Анрию с Сюиларом отправились вечером прогуляться и нашли мне это жильё. Совершив небезопасное ночное путешествие, в ходе которого Сюилар шлепнулся на землю, я добрался до своей комнаты, пройдя предварительно сквозь другую, где покоилась доживающая свой век чета. Я провел восхитительную, безмятежную ночь и, проснувшись в восемь утра, вышел из дому, пройдя через их спальню. В кровати колыхалось нечто гипсообразное: это был старик, чью голову увенчивал хлопчатобумажный колпак. Теперь я устроился в доме, где нам стряпают. А отделение мое — в домике, на пороге которого я сегодня сфотографировал своих товарищей по военно-походной жизни.

Посылка! Рисовый пудинг в прелестной мисочке. Спасибо, спасибо милой мастерице г-же Маккиати. Это так кстати. Пленки, прекрасно.

Все вверх дном! Нас переводят в другое место: наш взвод стоит слишком далеко от остальных. Прощай, кровать! Прощай, домик, где я поселился. Ждет ли меня впереди стол, за которым можно будет есть и писать? Кто знает. Во всяком случае, спать придется на соломе. Какая разница, с парнями, прошедшими огонь, воду и медные трубы, можно не церемониться.

Изредка выглядывает солнце, но все-таки сегодня утром. . . бр-р-р. . . зуб на зуб не попадает. Шлю тебе стебелек мяты, сорванный со стены в прелестном городке, откуда я пишу, — он в 15 километрах от линии огня; название его начинается в доме, а кончается на скамье, а целое похоже на фамилию знаменитого карикатуриста, давно отошедшего в мир иной!³⁰

43

10 марта 1915 г.

Милое, дорогое сердечко мое, увы, все, конечно же, вышло, как я и думал, ни об отпуске, ни о твоём приезде в Виллер-Коттре и речи быть не может! Это абсолютно безнадежное дело! Приказ гласит: жене любого солдата или офицера, приехавшей к мужу, воюющему на нашем участке фронта, грозит тюремное заключение, а мужу — отправка на более опасный участок. Если бы еще Батай был дома, тем более что нас перебрасывают на новое место, еще ближе к его замку, — да и здесь есть одно осложняющее обстоятельство: в замке Батая живет наш полковник! Тем не менее я написал Батаю, но ответа не получил. Так что, сама видишь, никакой надежды. . . Наше пребывание в окрестностях В[иллер]-К[оттре] взбудоражило многих родственников: мать Медара хотела переодеться зеленщицей, чтобы повидаться с сыном (это она-то, добрая знакомая начальника секретариата при Мильране³¹).

Вчера целый день (а подъем был в полчетвертого утра) мы рыли окопы на приличном расстоянии от противника и потому среди бела дня; после восемнадцатикилометрового перехода шесть часов подряд скребли землю. Сфотографировались за работой, нагуляли аппетит, вернулись в шесть часов. Но уже в восемь — ох-ох-ох! Пришло время идти в караул. С 11.20 до шести утра я стоял на часах. В полседьмого вернулся к себе, проспал до полдесятого. . . Завтра подъем в четыре, и мы снова потащимся за восемнадцать километров на земляные работы. Да, мы хоть и отдыхаем, но не сидим сложа руки.

Вечером будем проявлять пленки.

Целую тебя, родная, очень-очень крепко и очень-очень нежно.

44

11 марта 1915 г.

Дорогой малыш, сегодня мы снова отмахали восемнадцать километров, а потом рыли окопы и устраивали в них укрытия. Ходят слухи, что после недельного пребывания в уже знакомом нам П. . . мы вернемся сюда кончать эти окопы — надежный тыловой рубеж, который, будем надеяться, нам никогда не понадобится.

На улице сыро, временами моросит дождь, под ногами липкая грязь — но уже не так холодно, как позавчера. И, несмотря на туман и дождь, несмотря ни на что, чувствуется близость весны. Во время переходов вдруг становится ужасно жарко, так что начинаешь бормотать: «Как душно!» Завтра у меня, наверное, будет не очень много работы, и я снова возьмусь за фотоаппарат. Буду снимать, даже если день окажется пасмурным, — мне хочется, чтобы ты своими глазами — милыми глазами, которые сейчас так далеко от меня и все же постоянно со мной, — увидела прекрасные места, где я нынче нахожусь (если бы не война, я бы никогда не узнал, какими дивными пейзажами богат департамент Эны!).

Наш толстяк Дешей печет блины (сейчас, кажется, середина великого поста), а я поедаю их по мере того, как он снимает их со сковородки. Так что, как видишь, мы здесь отмечаем религиозные праздники! На

масленицу у нас уже были блины. Надеюсь, и ты тоже пекла их и ела. Правда, ночь под Рождество и первый день Нового года я провел менее роскошно!

Ужасное несчастье: я потерял кисет, который ты прислала: пожалуйста, пришли тот, что висит, если не ошибаюсь, на одном из канделябров в кабинете (я путаю комнаты — все это теперь так далеко от меня).

Еще раз повторяю, я не перестаю восхищаться термосом и японскими грелочками! А карманный фонарик, а часы со светящимся циферблатом! Ручаюсь тебе, эти вещи служат мне верой и правдой. Компас был бы тоже превосходен, если бы не его капризный нрав: то он сияет на моем запястье, как маленькая луна, то я его почти не вижу. Теряюсь в догадках относительно причин этого непостоянства — а следовательно, средств ликвидировать его.

Письма от тебя сегодня не было. Но ведь уже вечер, почти завтра, а завтра меня ждут целых два!

45

12 марта 1915 г.

Сегодня я завтракал в необычной обстановке. Мы стояли шеренгой, плечо к плечу, почти по колено в воде. Дождь тек струями по нашим капюшонам и плащ-палаткам. Ели мы так: под плащом нащупывали хлеб, прикрывая его одеждой с той осторожностью, с какой зажигают спичку на ветру. Представляешь? Словом, полопали с удобством. Наша траншея — настоящая канава с водой, длиной в два-три километра. Только сейчас (в четыре часа) дождь перестал.

46

23 марта 1915 г.

Дорогая, мы только что крупно поспорили с Р.

Речь шла об уточнении одной подробности боя под Круи. В день страшной бомбардировки высоты 132 этот Р. несколько часов отсиживался в землянке. Однако он утверждает, что пробыл там самое минимальное время. А я не допускаю вранья в таких вопросах. Разумеется, нет ничего позорного в том, что человек забрался в убежище во время бомбардировки такого масштаба. Укрытия для того и сделаны, чтобы солдаты спасались в них от артобстрела. Но раз ты половину времени провел в убежище, говори прямо: «Я был в убежище». Если бы для меня нашлось место в землянке, я тоже бы там сидел. Но так как я не мог туда пробраться и не хотел для этого работать локтями, то с полным правом могу сказать, что я и еще несколько солдат нашего взвода — человек пять-шесть — провели 9 января весь день, с утра до вечера, в окопах на высоте 132 без всякого прикрытия, защищая головы своими сумками.

Полдень

Я прочел в сегодняшнем номере «Матэн», что меня избрали заместителем председателя Общества литераторов. Я очень тронут честью,

которую мне оказали Ж. Леконт и другие мои коллеги, это очень любезно с их стороны. Но я раздумываю, как поступить³². Если война затянется, я буду не в состоянии фактически занять этот пост, столь желанный для многих. Первым моим побуждением было написать Ж. Леконту, поблагодарить его и Комитет и сообщить, что я откажусь, если война в ближайшее время не кончится. Побывай, пожалуйста, у Леконта, поговори с ним, расскажи о моих намерениях и спроси его совета. Я его в любом случае слушаюсь.

47

1 апреля 1915 г.

Дорогая девчушка.

Прежде всего, Жоффри приказал объявить нам: те, кто пишет сюда, должны указывать на конверте только номер полка, роты и полевой почты.

С этим покончено; пойдем дальше. Посылаю тебе портрет каптенармуса Ж., того, что в окопах Сен-Поля потчевал нас луковым супом, оставившим по себе самые теплые воспоминания. Он славный парень, хотя его и не назовешь воином без страха и упрека. Он — из тех знаменитых ополченцев, которые больше всего на свете боятся столкнуться с немцами и, завидев противника, удирают сломя голову. Их командир никогда не покидает своего командного пункта и не показывается в окопах передней линии. Одетый с иголки, вылощенный, блестящий, он похож на красивую фарфоровую статуэтку — и, так же как она, не выносит огня! Я ему однажды об этом сказал, и он чуть скривился, но проглотил это молча. Прилагаю также снимок молодого фельдшера Иверно, живущего рядом с нами. Негатив я отдал ему, так что снимок уникальный, не потеряй его.

Слухи о том, что 10-го мы отправляемся в окопы, подтверждаются (земля там наверняка стала совсем другой, высохла и заскорузла); вернемся мы отсюда 25-го — почти в мае!

Завтра Страстная Пятница, а нам дадут мясо! Капитан собрал нас, чтобы объявить, что трески достать не удалось. Еще он сказал, что папа издал специальную энциклику, разрешающую есть скоромное в военное время! Э... будет поститься по более чем уважительной причине: он постится вот уже тридцать лет. Что же касается меня, то не сомневайся, я приберегу на завтра цыпленка³³. Кстати, как насчет того, чтобы прислать мне еще одну банку?

Кончаю писать, но не перестаю мысленно обнимать тебя.

48

3 апреля 1915 г.

Какая досада эти перебои в почте! Меня огорчает, красавица моя, что ты тревожишься. Но что я могу поделать?.. Ты обратила внимание на даты моих писем? Я исправно пишу тебе каждый день, ни одного не пропускаю. И всегда умудряюсь закончить письмо к тому времени, когда приходят за почтой. Мне даже несколько раз случалось (нечасто, но по меньшей мере дважды за последние две недели) написать тебе два

письма в день. А толку никакого!.. Письма накапливают и отправляют большими партиями, а солдатам, находящимся на передовых позициях и больше всего нуждающимся в посылках, их не выдают, чтобы молодцы, окопавшиеся в почтовых службах, не подвергались опасности, доставляя письма и посылки в окопы; все это вполне «по-военному».

Здесь занимаются парадами. Вчера утром час с четвертью маршировали под музыку. Сегодня некий генерал проводит смотр. Всех больных приказано согнать в один двор, простым солдатам запрещено появляться на улицах, по которым должно проследовать высокое начальство. Интересно, не наденут ли на больных намордники?

Ты действительно убеждена, что Италия вступит в войну?³⁴ У нас этому не верят. Думают, что она, может быть, и вступит, но когда все уже будет кончено или почти кончено.

Посылаю две фотографии (вечером, может быть, удастся проявить больше). Снимал я аппаратом Поля, и негативы он оставил себе. Значит, эти карточки у меня единственные, и надо их хорошенько промыть. На фотографии № 1 снята кухня нашего взвода. На другой (продолжение первой) церемония раздачи супа. Его сварили в баке для кипячения белья (на фронте такие баки заменяют котлы), принесли в этом сосуде к месту стоянки взвода, и капрал поварешкой разливает суп в котелки.

Теперь относительно Леконта. Все-таки, дорогая, зайди к нему — мне хочется знать его мнение. В принципе я не склонен выполнить многословную и своекорыстную просьбу К., который, по-видимому, хочет дать понять, что мне лучше всего отказаться. Боюсь, что было бы неудобно сделать то, что он просит. Мне не понравилось первое его письмо, где он сообщал, что мою кандидатуру выставили с единственной целью провалить его. Я указал ему на это место в его письме, тогда он прислал длинное, медоточивое и путаное послание, которое навело на меня тоску. Я убежден, что он интриговал, сколько мог, до самого последнего момента, вопреки Леконту, который на него и намекает.

Продолжаю после окончания важной церемонии вручения георгиевского креста четвертой степени одному унтер-офицеру. По этому поводу нас заставили целых три часа топтаться на месте и маршировать под проливным дождем. Ох, прелести казарменной жизни!..

Кончаю письмо и вкладываю в него два снимка.

Нежно глажу твою головку, родная, и умоляю тебя не тревожиться, если письма мои снова будут запаздывать, что, к сожалению, весьма возможно.

Маккиати прислал мне милое и интересное письмо. Пожелай ему и его супруге от меня всего самого и самого наилучшего.

Детка моя родная. А я ведь получил вчера пасхальные яйца! Все так обрадовались этому милому, сердечному подарку. В моем отделении теперь девять солдат, и каждому достанется по несколько яичек. Ты это отлично придумала, родная, такое внимание очень тронуло этих людей,

большинство из которых воюют уже восемь месяцев и не раз рисковали жизнью.

А щипцы для закручивания усов я еще не получил: это тем более обидно, что, по твоим словам, вместе с ними был горошек. Увы! увy! увy! но в конце концов, может быть, все это придет завтра. . . В последней посылке, которую я получил, были английская рубашка и цыпленок, приправленные горчичниками.

Фотографии, которые ты прислала и от которых Э. придет в восторг, получились отлично. Особенно самая темная — это же просто блестяще, дорогая, это настоящее искусство! И то, что бумага разная, очень, по моему, здорово.

В «Иллюстрасьон» от 27 марта напечатан снимок: французские солдаты после атаки в немецком окопе, усеянном трупами. Мы видели нечто подобное в Круи и на 132-й высоте — с той разницей, что у нас дело не дошло до рукопашной, оставшиеся в живых бoши убрались сами и вынесли трупы из окопов до того, как мы туда спрыгнули.

У нас теперь только и разговоров, что о нашей отправке в окопы. Мы уже подумываем о сборах. Нас ждут не наши старые окопы, а другие, чуть дальше на восток, но все на том же участке фронта.

Наша славная старушка печально смотрит из угла. Ей жаль, что мы уезжаем, и она грустит. Неистовая жестикуляция Медара, который то с ходу сочиняет песенку, то подражает Муне-Сюлли³⁵, сначала оглушила и ужаснула ее (ты бы посмотрела на этого парня, когда он в ударе). А потом она привыкла и полюбила нас всех, начиная с меня и кончая учителем (Сюларом), «г-ном Эмилем» («он ведь такой забавный!») и «бесноватым толстячком» (Анрио, который и вправду отнюдь не ангел).

6 апреля. — Сегодня остаемся на месте. Выступление, по-видимому, отложили до субботы. . . Видишь, как нам везет. У нас новый полковник, сегодня в пять утра он заставил нас отмахать пятнадцать километров. Светило яркое солнце. Погода наладилась. Когда мы вернулись, я сфотографировал отделение в бумажных пилотках.

50

6 апреля 1915 г.

Получил сейчас письма. Смотри-ка, почта налаживается; это поразительно!

Нет, моя крошка, я не нытик, и мне не грозит опасность когда-нибудь стать им. Но должен сказать, что настроение у всех довольно мрачное, и хандра полновластно царит на нашей стоянке. Люди, мобилизованные в начале августа, чувствуют, что с них уже хватит.

Мы здесь защищаем наши позиции как следует, хотя командование наше действует бестолково. Оно изводит солдат муштровкой, парадами и казарменными порядками.

Вернулся Медар, лицо у него хмурое. Он ворчит и ругается: кажется, наш новый полковник жуткий тип и собирается заставить нас выходить на учения каждое утро вплоть до субботы (мы уходим отсюда только

в субботу); с пяти до одиннадцати часов утра будут маршировки, маневры, штыковые атаки и т. д. Нашивочники³⁶ косо смотрят на необходимость встать в пять утра (вернее, даже в половине пятого), они любят поспать.

7 апреля

Встали в половине пятого. Сильный ветер, дождь. Впрочем, и накануне после солнечного дня вечером лил дождь и дул ветер. Отправились маршировать, но через двадцать минут пришел приказ — маршировка отменяется. Ты скажешь, что этот контрприказ наверняка можно было предусмотреть и дать его с вечера, чтобы избавить нас от вставанья в неудобный час и необходимости мокнуть под дождем. Но ведь это не по-военному. Не бывало еще случая, чтобы из-за ливня отменили ученье или маршировку до тех пор, пока люди не соберутся и не промокнут до костей. Ты не можешь себе представить, какая бестолочь, путаница и неповоротливость во всем — от малого до большого, от большого до малого — царит в нашей здешней жизни. Это полнейший идиотизм.

51

8 апреля 1915 г.

Да-да, моя красавица, моя обожаемая малютка, я теперь получаю от тебя письма каждый-каждый день. Долго ли это продлится? Не знаю, но так было уже почти целую неделю. Жду посылку, жду цыплят! И плащ тоже. Черт возьми! Я буду нагружен, как вол. когда мы выступим в направлении окопов В. . . но все это такие нужные вещи!

От нас теперь требуют, чтобы мы выходили на учения в полной выкладке, с двумя сотнями патронов (а они весят почти шесть кило, для солдата это непосильный и бессмысленный груз, в результате все при первой возможности избавляются от лишних патронов и самым нещадным и прискорбным образом разбазаривают боеприпасы). Все изнемогают от усталости. Сержанты стонут от приказов майора. Это — действительная служба во всей своей красе. Для людей, которые уже столько времени воюют, это, пожалуй, чересчур, так что состояние духа у всех самое плачевное, — мне это тем лучше известно, что я всегда старался поднять настроение у окружающих. Солдаты огрызаются, нашивочники тоже, и я думаю, что, случись сейчас какая-нибудь заварушка, командование столкнулось бы с трудностями, о которых ему стоило бы поразмыслить заранее.

Сегодня девятое, вернулись с маршировки, которая продолжалась с пяти утра до полпервого. Отмахали километров двадцать пять по полям. Для учений это слишком. Неделя такой жизни — и мы сдохнем! Тем временем идет сильный дождь с градом. Утром в роте было тридцать пять больных. В четыре часа утра к нам заявились, чтобы припрячь тех, кого больными не признали. Скоты!

А завтра нам предстоит протопать 40 километров (all right!).

Твой А.

52

11 апреля 1915 г., 6 часов вечера

Только что, в пять часов, мне передали две посылки! Хлебцы (отменнейшие, моя дорогая!), цыпленок и сосиски с чечевицей (ах! какая это, должно быть, вкуснота!). У меня теперь есть плащ-палатка, поэтому я очень надеюсь, что ты вовремя получила мое письмо насчет плаща, — но все-таки боюсь, как бы ему не пришлось проделать лишний путь!

12 апреля, 8 утра

Продолжаю письмо, сидя в лесу на земле и греясь на солнышке. Двадцать пять человек, и меня в том числе, послали в наряд делать фашины и колья (чтобы натянуть проволоку перед окопами в нашем секторе, их нужно около 100 000). Дорога была прелестная, местами напоминающая наш Алатский лес и даже некоторые участки дороги из Сан-лиса в Омон. Я отдыхаю, а мимо проносятся парижские автобусы. Один из них я щелкнул Снималкой. Увидишь. Когда мы отправляемся в окопы? Теперь это уже вовсе не понятно. Может быть, все-таки в четверг или в пятницу. Но не огорчайся, это еще неточно. То и дело идет либо ливень, либо дождь со снегом, но потеплело, так что жизнь в окопах будет сносной. Ужасные вещи ты мне написала о Зеппосе³⁷; конечно же, нужно отправить его в Омон.

Б. получил посылку и блаженствует, бедняга. Он человек тщедушный и язвительный; на отдыхе, восседая в феске на кухне, он с удовольствием насмеяется над собеседниками. Но в бою он не так смешлив. 12 января в Круи у него был тот еще видик — однако он сделал все, что мог, так и не раскрыв рта!

Кончаю это письмо в комнате одной славной женщины, где ребята только что умяли сытный завтрак, который мы с Эмилем раздобыли здесь, в деревне... В час вернемся в лес валить деревья и собирать хворост для фашин. А красотища-то какая, господи боже мой!

Твой и только твой А.

53

14 апреля 1915 г.

Дорогое мое сердечко! Пишу наспех, так как готовимся к выступлению. Приближается «период окопов». Мы давненько не были там и, пожалуй, их не узнаем. Большинство солдат и нашивочников ворчат: вчера им впрыснули лошадиную дозу противотифозной сыворотки, сегодня их лихорадит и у всех перекосило плечи. Никого не радует перспектива перехода в таких условиях. Тот факт, что, хотя отдых был долгий, врачи дотянули до последнего дня и сделали прививку только накануне выступления, кажется мне вещью чудовищной и... вполне военной, подобно другим нелепостям, а с начала войны чего я только не насмотрелся, черт бы их драл, передрал! Путь предстоит долгий, идти нужно в полной выкладке, и, конечно, дорогу усеют отставшие. Старушка совсем расстроилась, и у нее слезы на глазах. Но, в сущности, мы еще не знаем хоро-

шенько, уйдем ли сегодня. Кажется, главный врач запротестовал и потребовал, чтобы отложили выступление до завтра. Мы ждем, ждем и укладываем свои ранцы.

Говорят, что посылки наши не отправлены и нам выдадут их обратно. Положительно не везет.

Целую тебя, дорогая, от всего сердца.

54

18 апреля 1915 г.

Дорогая моя красавица, готово! Прodelали ужасный переход со всей поклажей! Вышли вчера из Ле Г[ран] Р[озуа] в 6 часов вечера. Старушка очень огорчилась и решила никогда больше не пускать на постой солдат. Надели мы ранцы на спину и шагали по дорогам до полуночи. Прошагали добрых двадцать километров. Некоторые говорят даже, что двадцать два. Как бы то ни было, на новую стоянку мы пришли в неважном состоянии. Я очень хорошо вынес переход и готов был идти хоть всю ночь. Впрочем, мало кто из солдат побросал свое барахло и лишь немногие положили мешки в повозку.

Я оставил у старушки кое-какую мелочь, она обещала все сохранить и отдать мне позднее или переслать, если понадобится. Среди этих вещей есть бинокль, штука полезная, но в случае нужды мне его одолжит кто-нибудь. К сожалению, приходится жертвовать нужными вещами: спальный мешок, патроны, обязательные по уставу банки с консервами и винтовка уже весят двадцать кило.

Сейчас мы в деревне С[ерш]. Название, вероятно, ничего бы тебе не сказало. Деревня, как деревня. Все как обычно: фермы, изгороди, сеновалы. На одном из этих сеновалов мы и расположились. Тут порядком поддувает, но это, пожалуй, даже неплохо. В спальном мешке мне было тепло и удобно. К тому же спать у старушки на тюфяке, брошенном на пол, было достаточно жестко. Так что ночевать на нем или на соломе — разница невелика. Утром нас разбудил грохот орудий, стоящих совсем близко, — стреляли по немецкому аэроплану. В голубом, без единого пятнышка, небе виднелся маленький, похожий на стрекозу, аэроплан, и, несмотря на большую высоту, его со всех сторон окаймляли белыми круглыми облачками разрывающиеся снаряды. Он все-таки удрал, а за ним и перед ним расплывались в небе облачка, вытягиваясь пушистым снежным шарфом. Позднее появились другие аэропланы, тоже пролетавшие сквозь снопы разрывающихся снарядов. Как обычно после перехода, мы отдыхали все утро, да и день тоже; нашему отделению пришлось только принять противопожарные меры, то есть расставить баки и ведра с водой, да изготовить козлы для винтовок и приделать перила к лестнице, по которой мы влезает на сеновал.

Мимиль и Поль с утра отправились в деревню на поиски комнаты, где были бы кровать, стол и, если возможно, печь, чтобы готовить пищу для нашей артели, и нашли комнату, где, сверх ожидания, в самом деле оказалась кровать. Но кровать эта занята артишоком (артиллеристом),

который спит на ней уже не первую ночь. Артишок, вероятно, на батарее и пока еще не показывался. Беднягу ждет неприятный сюрприз, когда он явится и вздумает предъявить права на тюфяк. Поль и Мимиль решили использовать свою власть сержантов и выставить артишока — так кукушка по-хозяйски располагается в чужом гнезде и отвоевывает его силой. Впрочем, так действуют все, с нижней до верхней ступеньки иерархической лестницы: капрал выставляет простого рядового — обладателя кровати, но капрала выгоняет младший сержант, а его выкидывает старший. Я уж не говорю об офицере, который, если ему понадобится, выставляет всех, в том числе и хозяина дома. Это называется «система „и“» (извернуться и изловчиться). Каждый заботится о себе сообразно своим нашивкам и возможностям и действует без долгих разговоров: в два счета, как говорится.

Позавтракав в спальне ничего не подозревавшего артишока, я пошел прогуляться в поле, потом устроился на солнышке у решетчатой изгороди во дворе дома, где мы разместились, и пишу тебе, а вокруг кучками расположились солдаты: одни режутся в карты, другие упражняются в прыжках или борются.

Прервал письмо: меня вызвало начальство и предложило представить к чину капрала. В четвертый или пятый раз я отклонил это предложение. Я не чувствую никакой склонности к нашивкам вообще и к званию капрала в частности. На войне мои взгляды не очень-то изменились, и я предпочитаю оставаться рядовым. Тогда снова всплыла идея, возникшая после боев в Круи, — отметить меня в приказе или произвести в солдаты первого разряда. Думаю, что осуществят второй проект. Я предпочел бы благодарность в приказе, но, разумеется, и пальцем не шевельну, чтобы продвинуть дело или придать ему желательный для меня оборот. Я никогда ни о чем не стану просить и стараюсь поменьше общаться с офицерами. Я обратился к начальству только с одной просьбой: не отправлять меня в тыловой территориальный полк, а оставить в 231-м полку, на фронте. Это оригинальное желание произвело большое впечатление на солдат нашей роты. Я считаю необходимым приносить жертвы на войне, которая является войной за социальное освобождение, как война 1792 года. Но когда дело идет о муштровке, парадах, бесполезных тяжелых усилиях и прочих глупостях, я ворчу не меньше остальных.

Мы находимся в нескольких километрах от линии огня. Из двух батальонов посменно выделяют две роты, которые занимают передовые позиции (четыре дня — в окопах, четыре дня — отдых в этой деревне). Через двадцать дней такого режима нас снова на две недели отведут в Гр[ан] Р[озуа], а может быть, в другое место, но во всяком случае в тыл. Вот каков распорядок и ход этих перемещений. На нашем участке, по-видимому, сильная артиллерия, к тому же все кругом толкуют о новом взрывчатом веществе. Говорят также, что Италия, которую союзники оснастили и сняли с мели, собирается энергично выступить. И чего только не говорят у нас! Но для меня пока ясно одно: среди англичан не так много добровольцев, как хотелось бы и полагалось бы.

До свиданья, девчурочка. Нежно целую тебя.

22 апреля 1915 г.

Крошка моя, ты не можешь себе представить, как меня взволновала и обрадовала весть, что ты приехала в Омон, — не только потому, что теперь ты почти вдвое ближе ко мне, чем в Париже, но и потому, что моя деревня и «наша» походят друг на друга, как две сестры: сады, яблони, изгороди на лугу, заборы и даже дома совершенно такие же, как в Омоне. Фиалки и подснежники, которые ты мне прислала (отсылаю их обратно: не хочу, чтобы они и твои письма истрепались или потерялись), — точно такие же, какие растут по соседству с нашей стоянкой в лесу, украшенном ручьем. И весна здесь такая же, как у нас, и вызывает те же мысли. Право, не верится, что идет война — чудовищная и, главное, нелепая; не верится, что идут бои, которые издали должны казаться тем, чем они и являются в действительности: самоубийством единой огромной армии. Однако война продолжается: и ты и мы слышим грохот орудий и ружейную пальбу; мы слышим их немного лучше, хотя и не находимся сейчас в пекле. Несколько дней назад нас чуть не отравили в качестве подкрепления отбивать атаку немцев. Мы пересекли засеянные, уже зеленеющие поля, вошли в пронизанный солнцем лес и там блаженствовали, ожидая, когда подъедут предназначенные для перевозки войск парижские автобусы: Мадлэн—Бастилия, Северный вокзал—Марсово Поле и т. д., теперь эти автобусы одеты, как и мы, в голубовато-серую форму. Я приготовился сделать снимки, и момент стоил того, но мы не понадобились, так как немцы не пошли в атаку. Они беспрекословно позволили разрушить свои укрепления в каменоломнях. Немцы, несомненно, не в состоянии перейти в серьезное наступление. Между прочим, все наши позиции здесь так хорошо защищены, особенно артиллерией, что мы были бы даже рады, если бы немцы предприняли наступление. Но они — ребята хитрые, весьма осведомленные, и, конечно, не двинутся с места.

Завтра вечером, если не будет нового распоряжения, уходим в земляные норы. Они в трех километрах отсюда, но не очень удивляйся, если завтра я напишу тебе, что выступление опять отложили.

Ты прекрасно сделала, что переехала в Омон. Пользуйся хорошей погодой: может быть, она простоит недолго. Мне же, увы, невозможно приехать к тебе, — фронтовикам отпусков не дают, они предназначены только для окопавшихся в тылу. Но мыслями я с тобой и вижу тебя. Омон и наш домик опять стали родными, и мне кажется, будто я снова там поселился, раз ты вернулась туда.

Пришли мне свою фотографию, ладно?

Нежно целую тебя.

Поль слег: лихорадка на почве противотифозной прививки. Медар хорошо перенес эти уколы. Он распевал бредовые песни, прославляя древнюю, как мир, сыворотку и старика Эпикура!³⁸

23 апреля 1915 г.

Вчера я так и не получил писем! Последнее было от восемнадцатого числа, из Омона. По-моему, начальство надувает нас, дорогая. А все-таки... Вдруг я сегодня вечером получу сразу два письма? Почтарь обычно приезжает на своей тележке с брезентовым верхом в четверть восьмого. Но прежде всего он направляется к дому командира полка и, должно быть, ведет с ним очень интересный и важный разговор, так как на полицейский пост, где его поджидают дежурные сержанты, он приходит не раньше, чем минут через двадцать. Каждый сержант получает пачку писем и посылки для всей роты, а раздают их там, где укажет дежурный. Вчера выдача писем происходила в километре от полицейского поста, поскольку эта деревня, как многие деревни, и в частности Омон, состоит из одной улицы, но и длинная же она, голубушка!.. Таким образом, письма и посылки мы получаем в половине девятого вечера.

2 часа

Мы не идем вечером в окопы; самое большее, будем ночью рыть укрепления неподалеку отсюда. Сколько же в этом уголке окажется окопов, ходов сообщения и заграждений из колючей проволоки!.. Сегодня мы занимались учебной маршировкой. Всю дорогу слушали Верцингеторига Барбье: он рассказывал о проделках, которыми развлекался в мирное время, когда служил в лавке разносчиком. Больше всего он любил, разъезжая на велосипеде по парижским улицам, пришлепнуть кулаком цилиндр на голове какого-нибудь франта. Нахлобучит важному щеголю цилиндр «на самые буркалы» и улепетнет. Пока «этот тип вытаскивает свою башку из трубы», он, Барбье, оказывается уже вне пределов досягаемости.

Вернувшись с маршировки, мы расположились на своей квартире. Сейчас Эмиль и Поль, молчаливые, сосредоточенные, пытаются разгадать ребус, помещенный в «Армейском Вестнике». Это им не удастся, они стараются, потеют от усердия, но не отступают. Посылаю тебе этот ребус: попробуй разгадать, если хочешь.

Погода у нас по-прежнему ясная, но холодная: говорят, в этом виновата апрельская луна. А начальство приказало сдать перчатки, шарфы и вязаные шлемы. «Запрещается мерзнуть», — распорядился какой-нибудь генерал или полковник. Нам уже запретили мокнуть под дождем, а посему в 231-м линейном полку строго возбраняется пользоваться капюшоном, даже когда льет как из ведра. Плащ-палатку надеть можно, но капюшон должен болтаться на спине, и ни в коем случае нельзя накинуть его на голову, особенно, ежели ее поливает дождь. Эти приказы усугубляются следующим предписанием: бороду подстригать острым клином, а не иначе. Не для того ли, чтобы колоть ею, как штыком? Вероятно, так. Наше высшее командование с особой настойчивостью требует исполнения этого приказа, и, по общему мнению, он вызван в данной обстановке важнейшими соображениями военной тактики и стратегии.

Хотя сходства тут немного, но это почему-то напоминает мне приказ, в силу которого в нашем полку сделали противотифозную прививку только накануне выступления из деревни, где мы пробыли двадцать три дня. Видишь, как незыблемы традиции французской армии!

Прилагаю вырезку из «Вестника» и ненадолго прощаюсь с тобой, сердечко мое.

Твое письмо мне не удастся прочесть до завтрашнего утра: по жребию иду с вечера в наряд на земляные работы.

57

24 апреля 1915 г.

Ночью мы вбивали колья и натягивали проволоку по берегу Эны. Ну и пакость эта колючая проволока! «Все лапы ободрала», как у нас говорят. Еще мы перетаскивали колья — здоровенные столбы, смею заверить! К нам прилетали и падали совсем близко гостинцы от 77-миллиметровок и шрапнель; над головой просвистело несколько пуль, но они пролетели слишком высоко. На эту поливку наша артиллерия ответила ужасающим огнем; в противоположность прежним порядкам: мы теперь на один снаряд отвечаем десятью — раз-два — и готово! Мы вышли на работу в шесть вечера, вернулись в четыре утра. Спал я меньше часа, а теперь сижу в нашей комнате; Медар и Поль тоже тут.

Медар сначала читал вслух стихи Пиюша (который прислал мне «Современных Людей»³⁹), подражая то Муне-Сюлли, то Саре Бернар⁴⁰, а затем воспользовался тем, что С., злощущий и бледный, лежит на постели артишока, страдая от противотифозной прививки, и разыграл похоронную сцену, причем, — скотина этакая! — благодаря своему остроумию и необычайному артистизму, сделал ее очень комичной. Он изобразил, что С. умер. Открыв дверь, он встал у порога, обнажив голову, изобразил на своем лице скорбь и плачущим голосом стал окликать проходящих по деревне солдат, приглашая их зайти, взглянуть на печальную картину. Они входили, вытаращив глаза; Медар подводил их по очереди к постели и с рыданиями в голосе говорил им о покойнике, расхваливал его достоинства, его сердечность и т. д. Послушала бы ты, с какими душевраздирающими интонациями он твердил: «Он почти не изменился! Не правда ли, он точно спит! Посмотрите на него. . . Ох, как мне тяжело!» А потом схватил бильбоке и вознамерился поставить «рекорд с горлодерством», то есть добиться рекорда, несмотря на крики и жестикуляцию ошеломленных посетителей. Вот шум-то был! Гвалт более чем оглушительный.

Погода нынче с утра пасмурная. Ночью небо было ясное, ярко светила луна, а сегодня все тонет в тумане.

Еще неизвестно, когда мы пойдем в окопы. Посылку на работы опять отсрочили. Тем лучше, — около этих окопов нет домов. Приходится жить в траншеях, спать в убежищах и землянках.

Речь лорда Асквита⁴¹ в Ньюкасле, по-моему, открыла новые перспективы. Думаю, что Англия не даст трехмиллионной армии, но взамен людей поставит много орудий, боеприпасов, снаряжения, что будет ни-

чуть не хуже. Ей легче и приятнее дать деньги и оружие, чем добровольцев. Пускай, если это приведет к тем же самым результатам.

Целую тебя от всего сердца.

58

25 апреля 1915 г.

Дорогая моя,

Медар принес мне твое письмо вчера вечером, в полдевятого, — я в это время мужественно мок под проливным дождем на перекрестке. Ты, конечно, поняла, что я был часовым — да и часовым-то, поставленным курам насмех: я охранял выход с нашей стоянки от штатских повозок, автомобилей и пешеходов, а также следил, чтобы солдаты не шастали по окрестностям. Как мне пригодился прорезиненный плащ! И как я был неправ, когда отказывался от него! В такие ночи, как вчерашняя, когда дождь льет не переставая, ему цены нет. Жалко, что он такой тяжелый, а нужных вещей так много!

Пока я был в карауле (с восьми до десяти и сегодня утром с шести до восьми), часть роты занималась тем, чем я вчера, — натягивала проволоку. Когда льет дождь, да еще приходится отшагать километров пятнадцать по грязи — сволочная это работенка! А уж в каком виде вернулись эти несчастные! — ведь многих из них защищали от дождя или плащ-палатки, которые пропускают воду, как оберточная бумага, или, еще того лучше, тонкие шинели, которые ее впитывают, как промокашка! Обувь у них промокла насквозь. Дорога была такая скверная, что в некоторых местах ребята плюхались друг на друга прямо в грязь, как говорит М. (что-то с ним случилось?).

Одновременно с этим письмом шлю тебе открытку. Устроим соревнование. Посмотрим, что быстрее дойдет.

59

29 апреля 1915 г.

Господи боже ты мой! чегой-то припекает! У нас тропическая жара, даже ночью. Завтра отправляемся на новую стоянку, предстоит тридцатикилометровый переход. Веселенькое дело. Вещей набирается все больше и больше. Под предлогом, что это — самое необходимое, нас нагружают, как только могут.

Пожалуйста, не забудь прислать фотографии, как обещала. Или какие-нибудь из них заправили окончательно?

Сюилару, может быть, все-таки дадут отпуск. От своих он больше ничего не получал. Он ждет и очень волнуется.

Получил великолепную банку с цыпленком, приехавшую на поезде: до вечера, лапушка моя.

60

1 мая 1915 г.

Деточка моя дорогая, переход уже позади! Было кошмарно: шли в полной выкладке, особенно тяжело стало после пяти утра (вышли мы в полпервого ночи), солнце, жара, пыль, ох, ох, ох! Погода июльская или даже августовская, и я побаиваюсь, как бы тебе не было жарко в Омоне, куда ты приехала сегодня утром и где наверняка не сводишь глаз с цветущей вишни, в то время как я шагаю по дорогам, от которых башмаки мои превратились в шикарные белые летние туфли.

Медар и Сюилар (который все еще ждет отпуска, надеясь на снисхождение: родные написали ему, что жена его при смерти) нашли себе койку в том же доме, где расположится наша кухня и где я буду писать своему дорогому сердечку, оставшемуся в Омоне. Я и сейчас пишу тебе с этой фермы, называющейся Б[ийи] сюр У[рк], здесь очаровательно, кругом масса ручьев. Я вдоволь поплескался в ручье, из которого берут воду для кресс-салата; ручей течет неподалеку от выходящего на двор сарая, где ночует наше отделение. Вода и хорошая погода превратили эти места в цветущий сад; кругом луга и фруктовые деревья. Я фотографирую все это, чтобы показать тебе. Но мне тоже хотелось бы увидеть тебя в Омоне. Что ты собираешься предпринять в доме и в саду? Напиши. Составить картотеку наших книг — это прекрасно, но если будет такое пекло, как сейчас, ты, я думаю, вряд ли сможешь заниматься этим в течение дня, — я ведь помню, какая жара в это время в кабинете, где стоят книги. Как и в С[ерше], где мы были еще вчера, от одного вида раскаленной добела местности, открывающегося в дверном проеме, дурешь. Стрельба, шахматы, бильярд? Кстати, пианино все еще на месте?

А. храпит на соломе. Рядом валяется Д., наш кашевар; любопытное явление — он спит с открытыми глазами. Сюилар дремлет, Медар, не выдержав, улегся на лужайке, соорудив тент из шинели. Один я мужественно тружусь! Целую тебя.

61

Понедельник, 3 мая 1915 г.

Что-то сегодня ночью и утром похолодало, правда? Боюсь, что в такую погоду тебе не слишком уютно в нашем доме. Но сейчас стало проясняться. Да что там! Солнечные лучи пробиваются сквозь туман и падают на красные плитки пола в комнате, где я пишу тебе эти строки!

Что до меня, то я доволен этим затишьем, потому что жара начинала переходить все границы: хоть наш последний переход был коротким, приходилось время от времени быстро отступать в сторону, чтобы не шлепнуться, как игральная карта, споткнувшись об упавшего товарища. Серьезно тебе говорю, этот бешеный зной уже начинал одолевать меня.

Вчера я получил посылку с печеньем и каштановым вареньем, мериландским табаком, маслом и прекрасной белой с золотом пачкой моих любимых сигарет. Все это замечательно.

С нетерпением жду новостей, рассказа о том, как ты доехала, как устроилась, и фотографий.

4 мая 1915 г.

Дорогой малыш. После столь тягостного ожидания наступил еще более печальный день. Сюилар, не получая писем, начал вновь надеяться. А вчера отправился за почтой и принес два письма: одно от его сестры ко мне (он узнал почерк), а другое ему от матери. Он не мог заставить себя разорвать конверт. Наконец собрался с духом: и прочел, что 30 апреля его жену похоронили! А сегодня ему разрешили отпуск. Вчера весь вечер до десяти часов мы просидели около него. Можешь себе представить, в каком он, бедняга, состоянии. Жена его была прелестная женщина двадцати восьми лет, он мне показывал ее милые письма. Вот еще одна жертва войны. Мне почти хотелось, чтоб ему не дали отпуска — тогда ему не пришлось бы возвращаться в свой опустевший дом, где все напоминает о болезни и смерти. Мы собираемся послать венок «от фронтовых товарищей мужа».

Я с радостью прочел, малыш, все, что ты написала мне об Омоне в письме с ландышем (каждое твое письмо для меня счастье, а это особенно!).

Сегодня я весь день был в лесу. Вышли мы в пять утра. Одолели восемь километров. В семь пришли на место и начали валить деревья. Нужно было свалить сто штук. Растут там молодые пятнадцатиметровые буки. Потом мы садовым ножом обрезали сучья, пилили стволы двуручной пилой (это гибкое зубчатое лезвие с ручками с каждой стороны; два человека берутся за них, стоя по разные стороны бревна). Потом нужно было заострять большие и малые колья. Для этого их ставят на чурбак и точат топором или ножом, как карандаш.

Ели тоже в лесу. Попали под дождик, вернулись вечером, порядочно устав из-за духоты. Этот день в лесу был не лишен приятности. Руки у меня начинают поджариваться на солнце, на них появились мозоли!

С Медаром произошла история, которая могла плохо кончиться. На нашей последней стоянке, в двадцати пяти километрах отсюда, нам выдали стальные каски, которые надо поддевать под кепи, по две штуки на отделение. А у солдат от этих касок разболелась голова, и они их вышвырнули. Тогда полковник, что-то пронюхав, приказывает представить ему каски и грозит, что посадит под арест солдат, не сохранивших вверенное им имущество, понизит в чине капралов тех отделений, в которых недостает касок, разжалует сержантов и командиров взводов. Можешь себе представить, как все приуныли! Тем более, что в соседней роте полковник перешел от слов к делу и наложил обещанные взыскания! Медар чуть с ума не сошел: быть на фронте и снова стать простым капралом из-за такой глупости (ведь раньше никто никогда не требовал столь строгого отчета) — мало радости! Ему пришлось съездить на велосипеде на нашу последнюю стоянку и быстренько вернуться. К счастью, в амбаре, где спали наше и соседнее подразделения, он нашел достаточно касок, чтобы выручить нашу роту (во всяком случае, спасти от наказания). На обратном пути у него сломались педали и часть дороги ему

пришлось идти пешком в крошечной тьме под проливным дождем. Вернулся он в три часа ночи.

Полковник требует, чтобы все было по уставу. Хуже, чем в кадровой армии. Ни кашне, ни лыжных шапочек, ни одеял, вообще ничего не предусмотрено уставом. Даже тот, кто в рот не берет мясных консервов, обязан иметь в ранце положенные по уставу две банки, а о чем-нибудь другом и думать забудь. И все в том же духе — так велит нам полковник, «отец родной».

63

8 мая 1915 г.

Три письма, три письма сразу! Одно — от второго числа, другое — от третьего и третье — без даты. Это все система накапливания писем... и испытания нашего терпения.

Правда, малыш, у нас жарковато. И это отнюдь не приводит меня в восторг, что бы там ни гласила народная мудрость. А жуткие ливни — не успеешь выйти побродить по лугу, как приходится спасаться бегством, и при этом никакой прохлады!

Можешь не сомневаться, мне по сердцу все, что ты затеваешь в доме! Но только не переутомляйся!

Нет, маску не присылай. Мы примем все необходимые предосторожности сами. Мне выдали круглую железную каску, похожую на черную ермолку Пьеро. Конечно, это хорошо, так как с нее, говорят, соскальзывает все, что не падает прямо на голову (пуля или осколок снаряда). Ну, а сверху пуля пробьет и крышку, и голову, хотя все-таки голову, на которой не будет такой ермолки, она пробьет скорее. Неудобно только, что эта штукавина тяжелая, невозможно постоянно носить ее, особенно в жару. Я таскаю ее в сумке, а в окопах буду надевать.

Вступит ли в войну Италия? Загадка. Есть сведения, что это уже произошло, но мне что-то не верится. И обещанной английской армии все еще нет. Верно? Вот история так история! Настроение у всех портится: ведь непонятно не только когда все это кончится, но и чем это может кончиться, если только не вмешается какой-нибудь новый фактор с той или другой стороны. Какой фактор? Не знаю. Во всяком случае, какой-то совершенно новый.

Шлю всем горячий привет. Очень хочется получить фотографию, где бы вы все были сняты.

64

10 мая 1915 г.

Дорогая, любимая крошка, пишу из места гораздо более далекого от тебя, чем третьего дня. Восьмого, в четыре часа утра, мы отправились из Виллер-сюр-Этон на стоянку С., а с семи вечера до полуночи опять шагали в полной выкладке. В переходе многие отстали, так как, несмотря на поздний час, жара была тяжелая, даже удушливая. Происходили бурные сцены: командир накидывался на «этих безногих», которые время от времени с душераздирающим вздохом падали на откос у дороги. Надо

сказать, что солдат подняли в три часа утра, и нелегко им было идти, обливаясь потом, в этой ватной атмосфере. Когда пришли в деревню, улеглись спать на соломе. Представляешь, как мы крепко спали! Вчера утром — основательная чистка, мытье головы и т. д. Вот радость! В полдень сели обедать. В четверть первого слышим — трубят по деревне «общий сбор». Высовываем носы из кухонной двери, выползаем на поросшую травой лужайку перед домом.

— Что им еще надо? До чего же осточертели эти скоты!

Но вслед за сбором последовал сигнал «стройся». Значит, правда — уходим. Нужно мигом собраться. Затакиваем, запикиваем вещи в ранец и сумки, оставляем — увы! — то, что собирались съесть, и через полчаса после сигнала уже топая по пыльной дороге. Вспомни, какая температура была девятого в полдень, и суди сам. Но все-таки в четвертом часу мы добрались до Л., где есть разрушенное аббатство. Нас повели на станцию, посадили в товарные вагоны, и вечером, в половине восьмого, мы отправились.

Было тесновато: сорок два солдата в вагоне, рассчитанном на тридцать два человека (13 кв. метров). В начале путешествия мы развлекались, глазели, отодвинув дверь, причем некоторые сидели на полу, свесив ноги из вагона (в том числе Медар и я). Видели очаровательные города и села, сначала серебристые, затем розоватые, потом позолоченные солнцем; видели дороги, поднимающиеся по холмам, огороды, где разбросанные цветущие плодовые деревья казались букетиками, приколотыми к зеленому бархату. Добрые люди и ополченцы из охраны железнодорожных линий кричали нам вслед приветствия. Затем мы устроились в вагоне спать. Всю ночь чей-нибудь патронташ впивался мне то в бок, то в спину. Согнутая левая нога онемела, так как упиралась в ранец, а на правую ногу навалился капрал, и до первых проблесков зари ее сводила судорога.

С поезда сошли около пяти утра. Очутились в главном городе одного департамента, совсем не похожего на тот, где мы так долго пробыли. Письмо это, к сожалению, дойдет до тебя лишь нескоро, так как я узнал, что все наши письма задерживают до особого распоряжения, и все же нельзя написать, как называется это место. Могу только сказать (да и то не знаю, полагается ли), что мы в приморском районе. Но продолжу рассказ о нашем путешествии. Как только добрались до города, — высадились. С вокзала пошли сначала по улице, а затем по дороге, где на целые километры выстроились автомобили: легковые, грузовики и автобусы. Право, странно было видеть знакомые парижские автобусы, приспособленные для перевозки войск, но внутри сохранившие обычное для Парижа устройство: во втором классе — деревянные некрашенные скамьи, в первом классе — мягкие сиденья, спинки красного дерева и т. д. Я сел в первый класс, ранец положил в ноги, винтовку поставил между колен, как ставит свою тросточку парижанин. Мне вспомнился автобус, на котором я ездил в издательство Ашетт и домой, и я как будто вернулся в прошлое! Но за стеклами на фоне неумолимо синего неба вырисовывались придорожные деревья, и скоро они побежали слева и справа в об-

лаках пыли. Нескольким солдатам вздумалось остаться на площадке. Когда же через два часа такой гонки мы вышли из автобуса, все покатывались со смеху, глядя на них: до того густо они были обсыпаны белой пылью. От города мы отъехали километров сорок. И теперь мы здесь. «Здесь» — то есть на широком лугу, где грудями лежат наши ранцы и поблескивают составленные в козлы винтовки. Вижу тут даже знамя, положенное на две пирамиды винтовок, и батальонные пулеметы, которые на траве кажутся кучкой странных насекомых. Мы в пятнадцати километрах от линии огня. Наша задача — организовать и укрепить тыл фронта. В этом районе много бронепоездов, артиллерии, самокатчиков, кавалерии всех видов, автомобилей, офицеров и англичан. Пейзаж все тот же (только не так красиво, более голо, чем на Эне). Ну, вот и все, что было сегодня. Попробую все-таки сдать письмо, в конце концов — кто его знает. . .

Я уже сейчас в отчаянии, потому что из-за карантина ты несколько дней не будешь получать от меня писем. Увы, тут я бессилен, но, по крайней мере, когда ты прочтешь эти слова, то, я думаю, перестанешь обо мне так сильно беспокоиться!

Привет всем друзьям.

Кроме письма, посылаю еще открытку, очень краткую и без каких бы то ни было указаний. Может быть, ее отправят.

65

Х., 12 мая 1915 г.

Расположился на траве у берега ручья. Прохладно, но утро уже летнее; иногда дует ветер и пробегает облака, заслоняя яркое солнышко. Перед нами дорога. По этой дороге непрестанно клубится пыль, в облаке ее проносятся роскошные автомобили, и в них сквозь пыльную завесу скромно поблескивают нашивки офицеров в походной форме. В других автомобилях восседают штабные чины, одетые в тонкое сукно нежных цветов — небесно-голубого, бледно-красного, почти розового, а нарукавные повязки у них из атласа, похожего на тот атлас, которым украшены дорогие бонбоньерки. Вслед за офицерскими автомобилями, а иногда и одновременно с ними проезжают серые от пыли грузовики с боеприпасами (за последние дни здесь провезли тысячи тонн снарядов). В иные минуты дымящееся в обоих концах дороги пыльное облако вытягивается, и в нем вырисовываются очертания всадников — целые эскадроны, которые проходят то в одну, то в другую сторону; или же ползут бесконечные обозы, тянутся вереницы реквизированных на месте телег, везущих раненых. Провозят раненых и в фургонах-автомобилях Красного Креста. Между брезентовыми полотнищами порой мелькает перевязанная голова или свешивается сбоку забинтованная нога. Другие раненые бредут вереницей, в разорванных шинелях, грязные, пропыленные, с лихорадочно блестящими глазами, и у всех пухлые, неумело сделанные повязки. Марокканцы, сенегальцы, французы, волоча раненую ногу, плетутся к какому-нибудь перевязочному пункту или полевому госпиталю. У всех в общем одинаковая форма — голубовато-серые шинели, и отличают их лишь эк-

зотические черты лица, если это жители колоний, или головные уборы: феска, кепи, берет. Мы, резервные части, лежим на траве, составив ружья в козлы. Недавно мы поели супу, сваренного для каждой роты на откосе у дороги, и ждем кофе, которого что-то все не несут (впрочем, у нас нет сахара). Иногда мы поднимаемся, подходим, спрашиваем раненых. Они рассказывают о своих ранах и говорят, что все идет хорошо: в этом районе наши наступают, захватили пушки и пулеметы, взяли много пленных. Вчера, по дороге сюда, мы видели немецкие орудия, которые везли наши артиллеристы, а также встретили множество пленных — их вели с фронта в тыл.

Над нашими головами синее-синее небо (а ведь мы далеко не на юге), в небе, с одной стороны, аэростат-наблюдатель «колбаса», а с другой — привязной аэростат-шар ярко-желтого цвета. За дорогой, на середине откоса, видны силуэты часовых и горниста. Часовые обязаны следить за тем, чтобы солдаты не переходили через дорогу, а горнист троекратным сигналом предупреждает о появлении аэроплана. Лишь только запоем труба, нужно распластаться в тени, на берегу ручья. А так как аэропланы то и дело бороздят небо, то эта гимнастика отнимает много времени. Впрочем, пролетают главным образом французские аэропланы, «таубэ» появляются очень редко. . .

Новое зрелище: по ту сторону луга и ручья медленно проходит грозный бронепоезд, напоминающий рисунки в американских иллюстрированных журналах — над двумя черными вагонами торчат толстые стволы морских пушек и дуло пулемета.

А мы? Мы ждем. Нелепые слухи и «сквознячки» разносятся, понятное дело, своим чередом. Впереди нас множество воинских частей, мы далеко от фронта, и маловероятно, что нас двинут на передовые позиции. С нашей стороны слышна сильная канонада. Ночью я стоял в карауле у нашего лагеря и в половине третьего слышал ужаснейшую ружейную перестрелку. Днем на таком расстоянии ее нельзя услышать. Если все пойдет, как предполагалось, то, вероятно, завтра мы вернемся туда, откуда прибыли.

Эта неожиданная интермедия вызвала перебои в почте — говорят, все эти дни мы не будем получать писем, а наши письма будут отправлены только через неделю. Я продолжаю писать регулярно и сдаю письма на авось. Кроме того, письма проходят очень строгую цензуру, и нам сообщили, что одному солдату дали два месяца тюрьмы, а одного сержанта разжаловали «за разглашение топографических сведений».

Целую от всего сердца.

Погода резко переменилась! Брр! Черт возьми! Откуда что берется! Дождь хлещет как из ведра с самого утра. Хорошо хоть прошлой ночью, когда мы были в окопах, погода была сносная, хотя и прохладная. А сегодня ночью будет грязь по уши. По ночам мы заняты земляными и оборонительными работами в окопах. Днем располагаемся в амбарах, где

до нас перебивали несколько тысяч марокканцев и прочих арапов, или просто в палатках, как, например, сегодня. В палатке, на довольно-таки грязной траве, я и пишу тебе, а дождь тем временем льет и льет, не переставая. Не жарко — и, хотя нам на глаза не набегает слеза, как писал «одиноким, одиноким солдат в палатке», мы и не хохочем, как он. Письма сюда не доходят! Хоть бы та же участь не постигла и наши письма! Ни газет, ни посылок мы тоже не получаем. По-моему, я тебе на это уже жаловался.

Надеюсь, что это письмо дойдет до тебя без опозданий!

Твой солдатик, которого переполняет нежность при одной только мысли о тебе

67

14 мая 1915 г.

Дорогая детка, сердце мое, кажется, конец запаздываниям и задержке с отправкой почты в нашем секторе, где за последние дни произошли важные события, как уверяют в газетных сообщениях. А погодка-то! Ну и ну!.. То и дело твержу это. Напоминает нынешнюю зиму, когда грязь затопляла пойму Эны и покрывала толстым слоем густого шоколадного или кофейного киселя окопы, в которых мы топтались столько дней и столько ночей... Этой ночью мы продолжали работу, начатую в прошлую ночь, и к утру кончили ее. Нужно было вырыть окопы на захваченном недавно участке. Чуть только стемнело, мы отправились и пять часов шагали по топкой, липкой грязи (вспаханное поле!). Пули свистели будь здоров, а наше путешествие то и дело прерывалось, так как мы оступались, падали в рытвины, в ямы от снарядов, иногда теряли друг друга (тогда в темноте — приглушенные оклики, ругательства, сбор, толчея, сумятица, черный силуэт офицера с капюшоном на голове, так как льет дождь), а затем снова шли вперед. Нам попадались навстречу артиллерийские упряжки, спешно перевозившие орудия на другое место, встречались воинские части, возвращавшиеся после смены из окопов. Ближе к позициям мы стали принимать больше предосторожностей, и все же трое из нас были ранены. Когда мы подходили к дороге X., за которой начинаются новые позиции, небо вдруг осветили ракеты — со всех сторон засверкал поразительный фейерверк: ракеты-звезды, ракеты с красным огнем, ракеты-гроздя — каждая была сигналом определенного значения, а затем началась бомбардировка. Полыхнет молния, освещающая всю равнину, — это из орудия вылетел снаряд; вспыхнет огонь покраснее — это взрыв: снаряд долетел. Палили и с немецких, и с французских позиций. Оглушительный грохот, ослепительный свет — настоящий апофеоз какой-то кошмарной феерии. Нельзя вообразить эту трагическую картину. Выходим на дорогу, ее запрудили войска: одни идут вперед, другие — назад; сквозь их ряды надо пробираться и никоим образом не растерять. В придорожных канавах, превращенных в окопы и накрытых брезентом для защиты от проливного дождя, залегла сторожевая цепь. Мы были уже близко от позиций, каждая осветительная ракета стала для нас опасной, и, как только она взлетала, все бросались на землю:

плюх — прямо в грязь... Но вот наконец и ход сообщения. Спускаемся туда. В темноте пробираемся между глинистыми стенками, траншея постепенно становится мельче, мы нагибаемся. В конце концов она выводит нас на поле, засеянное люцерной. Каждый вылезает, останавливается в нескольких шагах, и вот вся рота в сборе. Ложимся на землю ничком, так как пули поют и посвистывают, будто птицы в вольере. Под рукой чувствуешь мокрую траву, и кажется, что лежишь в огромной миске с салатом. Снимаем и складываем рядом с собой винтовку, всю амуницию, сумку, плащ-палатку — это пока единственное прикрытие. Берем кто лопату, кто кирку (каждый принес с собой инструмент) и, получив указание от саперного офицера, обходящего цепь, живо принимаемся за работу. За ночь надо вырыть окоп шириной 80 сантиметров, глубиной 1 м 40 см и через каждые девять метров сделать зубец в бруствере, чтобы сбоку он выглядел так: Л. Каждый должен прорыть отрезок в один метр. Начинаем копать. Первый час работа опасная, потому что прикрытия нет, а кругом немецкие позиции. Как только ракета взлетает, не успеет она загореться — хлоп! — все распластались, и при свете красивой звезды, которая покачивается в небе, видишь лежащих на земле людей, неподвижных, как мертвецы. Потом опять копаем, роем, и постепенно образуется углубление. Работая ощупью, не видишь, что получается, но, когда загорается ракета, хорошо различаешь, лежа на земле, «готовую работу». И как приятно, что ров мало-помалу становится глубже и можно спрятаться в землю. Скоро, лежа в свеженьком окопе, ты уже совершенно скрыт, а через некоторое время можно и стоять, нагнув голову, чтобы она не торчала над бруствером. До чего это приятно, дорогая! А время идет. Небо светлеет. Два часа ночи. Пора уходить. На обратном пути повторяется та же история: топчемся на месте, сбиваемся в кучи, потом галопом несемся по грязи; воронки от снарядов, обозы, санитары с носилками, раненые на краю дороги... Иногда слышишь характерный запах, и приходится обходить тела несчастных мертвецов, — видишь окостеневшие ноги, согнутые, скрюченные руки, головы и лица, покрытые запекшейся кровью; тут и немцы, и французы. Кругом то и дело стреляют, и картину эту освещают вспышки огня. Выстрелы такие частые, что освещение почти непрерывное. Это нечто фантастическое. Наконец, на рассвете, добрались до фермы, где сосредоточены служба земляных работ и санитарно-медицинская служба. Пахнет карболкой и смертью. Трупы складывают на телеги, другие покойники терпеливо ждут своей очереди в вырытой тут землянке. Мы измучились, хотели прикорнуть в этой землянке и наткнулись на окоченевшие ноги положенного у входа мертвеца. Идет дождь. Мы опускаемся, почти падаем на землю у дороги. Лица у всех землистые от усталости и грязи. Шинели уже не голубовато-серые, а желтые, башмаки тоже желтые и кажутся большущими комьями глины. Надо сказать, что и прошлую ночь мы провели за такой же или почти такой же работой. Мне лично пришлось с одним товарищем тащить на передовые позиции катушку с ключей проволокой (50 кило). Эта проклятая катушка плясала у меня на плече, и не очень-то было весело нести ее. По дороге нас полили пуле-

мстным огнем. В нашем взводе одного тяжело ранило, Карону задело плечо; пули пролетали у нас перед самым носом, уходили в землю у нас под ногами. Днем тоже не пришлось поспать, так как стоянка была под открытым небом, непрерывно лил дождь, а кроме плащ-палатки, нечем было от него укрыться. Я весь день расхаживал вокруг винтовок, составленных в козлы, и вода стекала по моему капюшону. Поэтому нынче утром у всех были те еще физиономии и хотелось спать. «Мы и на людей-то уже не похожи — глаза в башку провалились», — сказал один из наших. Однако после долгих странствий в поисках убежища мы наконец разыскали ригу и поспали там. Теперь дело пойдет лучше: работы окончены, и мы будем нести службу в окопах третьей линии.

На этом кончаю, нет бумаги.

Целую тебя.

68

16 мая 1915 г.*

Дорогая моя детка, пишу тебе, сидя на ящике из-под снарядов, покуривая сломанную сигару, склеенную полоской папиросной бумаги. Сига-

* Перевод немецких писем, приложенных к письму от 16 мая 1915 г.:

Мангерс, 3 мая 1915 г.

Дорогой Иосиф, 28 апреля мы получили сразу все твои письма и открытки. До этого три недели ничего от тебя не получали. Я уж потеряла всякую надежду. Ты и представить себе не можешь, дорогой сынок, как я обрадовалась, когда получила письма и увидела твой почерк. Получили и карточку, где ты снят во весь рост. Тысячу раз спасибо за нее. Дорогой мой, ты очень плохо выглядишь. Надеюсь, ты не голодаешь? Напиши, если тебе чего не хватает, — я буду посылать тебе посылки каждую неделю. Дорогой мой, молись, проси пресвятую деву, чтобы она послала мир. Мы, дорогой, все здоровы, чего и тебе желаем. У нас сейчас много работы. Сегодня кончили сажать картошку. Вчера был сильный дождь и гроза. И теперь похолодало. Озимый хлеб растет хорошо. А как у вас, дорогой? Хорошая погода или все идет плохо?.. Дорогой сын, Б. получила твою открытку. Она тысячу раз благодарит и шлет поклон. Всякий раз, как они получают от тебя открытку, они не знают уж как и выразить свою радость. А теперь, дорогой сын, я хочу тебя спросить об одной вещи. Слышал ты, как ведут себя те, кто приходит в окопы? Я надеюсь, что тебе ничего плохого не сделают. Если бы подумали хорошенько, сколько кругом горя, то, наверное, не пришлось бы в голову делать такие штуки. Так вот, дорогой, скажи, ты слышал про это?

А теперь кончаю письмо и много раз кланяюсь тебе.

Бранденбург, 13 мая 1915 г.

Дорогой Иоганн, получила твои открытки и письмо и очень обрадовалась. На карточке ты очень хорошо вышел. Мы все надеемся, что эта злая война скоро кончится и вы все вернетесь. Виали теперь в России и через неделю будет в окопах. Макс до августа останется в Брюсселе. Но все еще может измениться. Сегодня праздник — Троица, и как жаль, что тебя нет с нами. Но ты не очень горюй, вспомни, что тысячи людей разлучены с близкими. Главное, чтобы ты вернулся. Завтра pošлю тебе полсотни папирос. Денег у меня, сам знаешь, немного, но, что могу, с радостью даю тебе.

Все тебе кланяются.

Твоя невестка.

Пиши поскорее. Я pošлю тебе немного почтовой бумаги. Если тебе чего-нибудь хочется, дай знать, я постараюсь исполнить твою просьбу.

рой угостил меня Поль, возвратившийся из отпуска. Он провел дома четыре печальных дня, видел опустевшую комнату, ходил на кладбище, разговаривал со своей трехлетней дочуркой, которая ничего еще не знает, ничего не понимает. К нам он вернулся в тот день, когда нас перебрасывали на север.

Вчера и сегодня мы извлекали убитых из захваченных нами окопов и хоронили их. Какое удручающее впечатление, детка моя! Действительно, истинное представление об ужасах этой громадной бойни можно составить, только побывав на таком вот поле сражения. Длина его — четыре километра. Вспаханная земля и зеленеющие поля перерезаны пятью линиями окопов. Несколько дней назад их захватили после двухчасовой атаки наши части, находившиеся в первой линии окопов. Это были алжирские и сенегальские стрелки. Когда наши 75-миллиметровки разворотили немецкие окопы, снесли колья и заграждения из колючей проволоки, солдаты бегом пробежали эти четыре километра, прыгнули в окоп, в один миг перебили там всех, выскочили и опять-таки бегом бросились к следующей линии окопов. Убитые немцы лежат в воронках от снарядов, местами громоздятся целыми кучами, на лицах у них застыла гримаса боли, выражение ужаса, мольбы. Видно, что все здесь было сметено ураганной атакой, возвратившей нам этот обширный участок, который не окинешь взглядом. Из атакующих благодаря молниеносной быстроте натиска погибли немногие. Лишь несколько могучих негров, несколько алжирцев с энергичными юношескими лицами лежали в зоне проволочных заграждений — там, где снаряды разорвали проволочные нити и где приходилось перерезать их одну за другой. А на равнине убитых почти нет.

Снаряды изрыли все поле сражения. Всюду огромные воронки. На каждом шагу натыкаешься на крупные и мелкие осколки. Кое-где валяются винтовки, ранцы, вещи, выпавшие из разодранных мешков: рубашка, носовой платок, феска, берет (кроме негров, в атаке участвовали альпийские стрелки и пехотинцы). В окопах настоящая свалка: груды винтовок, патронов, гранат, ракет, амуниции вперемежку с трупами. Окопы сейчас не похожи на окопы: они потеряли свою форму, засыпаны

*Аахен, 20 апреля 1915 г.
Экс-ла-Шапель*

Дорогой Иоганн, спасибо тебе за письма и открытки. И большое тебе спасибо за деньги, дорогой Иоганн. В вербное воскресенье мы все вспоминали о тебе и жалели, что тебя нет с нами, но послали тебе посылочки и надеемся, что ты получил их.

Дорогой Иоганн, напишу тебе про Йозефа. Он просил отпуск, но не получил. Мы написали прошение майору, и он разрешил отпуск на четыре дня. Йозеф приехал в пятницу во втором часу ночи, вместе с Фрицем П. Они бросили в окно камешки, и Анна первая услышала. Она встала, подошла к окну и, как узнала Йозефа, закрычала: «Малыш приехал!» Мы все повскакали с постелей, Франциска бегом спустилась по лестнице и отперла дверь. Представить себе не можешь, до чего мы обрадовались, когда увидели Йозефа. Мы не собирались справлять Пасху, но раз Йозеф приехал, то мы устроили праздник. Как мы жалели, что тебя нет. Мы надеемся, что господь пошлет нам скоро мир и вы вернетесь домой живыми и здоровыми. Все В. тебе низко кланяются. До свиданья, да хранит тебя бог.

землей, стенки выпятились горбами, разрушены — это земляные развалины, где, однако, сохранились еще следы весьма усовершенствованного оборудования: прекрасно устроенные землянки, забитые пустыми бутылками и консервными банками, зубчатые брустверы, ступеньки для стрельбы, заграждения от пуль, склады патронов и инструментов, электрические звонки и т. д. Мы нашли тут письма солдатских жен (жалобы на нищету и на то, что война затянулась), фотокарточки родных (масса белокурых детей), немецкие газеты, где военные сообщения не совпадают с нашими, и в изобилии благочестивые брошюрки, книжечки с «военными молитвами». Во всех письмах немецкие женщины уповают на господ бога, как на надежного друга Германии. Еще я нашел белый флаг, которым немцы воспользовались для пресловутого трюка мнимой сдачи в плен. Словом, у меня очень богатый материал о войне, смею заверить. Солдат и орудий здесь невообразимое количество. Мы видели новобранцев призыва пятнадцатого года, желторотых юнцов в новеньком обмундировании. Жалко смотреть на них. Думаю, что мы здесь не останемся. Наша миссия, судя по всему, выполнена. Мы прибыли в качестве подкрепления, но оно не понадобилось. Из газет вижу, что об операциях в нашем секторе говорят очень много, и для этого есть основания. Жаль, что у меня было мало пленки. Я транжирил ее, а в важный момент у меня осталось только четыре катушки! Я уже заказал пленку в разных местах, не беспокойся об этом. Да ты бы, вероятно, и не смогла найти ее даже в Париже, а мои здешние приятели хотят достать ее для меня у специалистов-фотографов.

А Италия-то! Какова? ⁴²

Крепко прижимаю тебя к сердцу.

69

17 мая 1915 г.

Дорогая моя, боюсь, ты не получишь цветочка, который я вложил в предыдущее письмо: по-моему, оно расклеилось в тот момент, когда я бросил его в мешок для почты.

Представь себе, мне обрыдли ходы сообщения. Мы топаем по ним часов по двенадцать в день. Когда льет дождь и текут потоки грязи, становится совсем невмоготу. Сегодня утром шел дождь, моросит он и сейчас. Мы сидим в полуразрушенной немецкой землянке. Мы дожидаемся не столько конца дня, сколько прекращения довольно-таки сильного обстрела; пули визжат у нас над головами. Наши пушки грохочут беспрестанно. Бум, бум, бум, бум. Стены землянки дрожат. Медар сидит напротив меня, Салавер — рядом; парни вокруг нас рассуждают все об одном и том же: как долго идет война. Выражение лица у них самое унылое, оживляются они только, когда вспоминают какой-нибудь эпизод из фронтовой жизни: «Помнишь, около Кюффи: вот была бомбежка! Того и гляди огреет „чемоданом“ по башке!» ⁴³ — «Один уже землю носом пахал!» — «Да, да, это Буланжен, приятель Паротта, тот еще гип!» — «Боши его все-таки сцапали, когда вошли в наш окоп». — «Да, но вечером он притащился назад и вдобавок под мухой! (то есть пьяный)».

Жду с нетерпением твои фотографии — в лесу и за столом.

По-моему, ты уже давно не получала моих писем. Конечно, произошла какая-то задержка, и последствия ее сказываются до сих пор. До свиданья, моя дорогая.

70

18 мая 1915 г.

Только что долго рассматривал твой портрет, который ты мне прислала (я тебе о нем писал вчера). Знаешь, по-моему, этот снимок и похожий, и прелестный; я с таким волнением и нежностью представлял себе, как подхожу к тебе в маленькой омонской гостиной. Но в таком виде, как сейчас, я бы к тебе никогда и близко не подошел; прежде надо как следует отмыться. Мы еще никогда не были такими грязными и оборванными. Плащ-палатка стала того же цвета, что и вся остальная одежда; она покрыта слоем свежей светло-коричневой грязи, которая постепенно высыхает и превращается в желтоватую чешую. От дождей ходы сообщения превратились в болотистые ручьи, а мы, как я уже говорил, проходим по ним не один километр четыре раза в день. Глинистая почва плохо впитывает воду: от малейшего дождя образуются лужи, от малейшей грозы — мутные потоки. Плюс ко всему этому сыро и душно: при ходьбе приходится проделывать акробатические трюки, чтобы не попасть в ямы с водой; от этого становится жарко; ходим мы зигзагами, задевая плечами, винтовкой, сумкой мокрые земляные стены. А как только останешься, делается зябко, во всяком случае неуютно.

Я в восторге от твоих омонских нововведений. Но, может быть, тебе стоит прервать свою сельскую жизнь и съездить в Париж. Главное, чтобы ты не скучала и не нервничала. Это важно не только для тебя, но и для меня. Когда у меня здесь что-нибудь не ладится, я говорю себе, что все это еще не так страшно, пока ты живешь в покое, тишине и уюте. Так и должно быть, это радует и поддерживает меня.

На стоянку мы вернемся поздно. Письма я получаю только вечером. От тебя я сегодня ничего не жду, потому что вчера получил три штуки. А письма от других — вещь гораздо менее интересная. Передай большой привет аргонскому льву и милейшим Маккиати⁴⁴.

71

21 мая 1915 г.

Дорогая малышка, я сижу сейчас в тракторе. Это самый обычный трактор, чистый, скромный и, как ни странно, не слишком забитый солдатами. А ведь нас в этой деревушке величиной с Омон целых четыре тысячи, и в огромных амбарах, отведенных фронтовикам для ночлега, мы — все равно что сардины в банке. И тем не менее мы спали прекрасно, потому что здорово устали: переход был нелегкий, километров пятнадцать-шестнадцать, но в полной выкладке, к тому же усовершенствованной и потому еще более тяжелой; а жарко было так, что уже в самом начале пути многие солдаты отстали; около ста человек осталось лежать на склонах холмов в кювете. Вечером, когда мы пришли

сюда, на нас лица не было: потные, пыльные, мы были похожи на трубочистов, собравших весь свой скарб и решивших покинуть родину. Что с нами будет дальше, точно не знаем; говорят, отдохнем здесь дня четыре. Несмотря на тесноту и неудобства (даже большинство офицеров спят на соломе), мы здесь все-таки не совсем на фронте. Артиллерийские залпы доносятся издалека и лишь время от времени. За последние дни мы привыкли к другому: стрельба не затихала! Полк потерял два десятка парней. Сердечко мое, жду встречи с тобой, а пока — твоих писем.

72

23 мая 1915 г.

Сердечко мое обожаемое, вот бы все письма, а заодно и посылочка с пленками взяли пример с тех, что ты написала 8-го и 9-го. Сегодня вечером мы возвращаемся в окопы. Но мы будем в тылу, за несколько километров от передовой. Тяжко то, что кругом душно, жарко до одурения. Воздух свинцовый, раскаленный. Солдату в полной амуниции, нагруженному как вол, приходится нелегко. К счастью, выступаем мы сегодня на закате. Я стараюсь быть очень осторожным в еде. Упиваюсь молоком, которого здесь полно.

Сегодня Троица; я пишу тебе в том самом трактире, о котором уже рассказывал. Народу пока мало, под столом щенок играет с котенком; по обе стороны окна висят олеографии «Жизнь человеческая», такие же, как те, что мы с тобой видели во французско-русской гостинице в Вильнев-сюр-Белло, — как давно это было. Забавно, что нехитрое изображение жизненного пути производит большое впечатление на всех, кто, входя в комнату, утыкается в него взглядом. Огромный привет чете Маккиати и Зеццосу; нежно обнимаю тебя.

73

24 мая 1915 г.

Наши постоянные переселения начинают становиться однообразными! Новая деревня, новый амбар. На этот раз мы в Г[уи]; здесь не так уютно, как в других местах. Впрочем, я заметил, что, чем дальше, тем меньше удобств. Все помещения, улицы и даже близлежащие поля испоганены и загажены — ведь с начала войны здесь перебивало столько солдат! Сама понимаешь, как все вытоптано, разграблено и голо!

Кругом, естественно, только и разговоров, что об Италии⁴⁵. Может быть, это что-нибудь и изменит. Будем надеяться (bis, ter и т. д. . .).

Больше мне пока нечего тебе сообщить, милая моя детка. Все мои мысли — о твоей жизни в Омоне, она, конечно, немного однообразна, но мне кажется райской — нескончаемые воспоминания о ней и маленький снимок (ты в гостиной) так сильно поддерживают меня.

Твой А.

26 мая 1915 г.

Право, замечательно, насколько мы в настоящий момент продвинулись вперед. Занимаем сейчас позиции, брошенные немцами несколько дней назад. Всюду видны следы их пребывания. На стенах множество надписей, и можно из них заключить, что немецкие солдаты получали посылки стоимостью всего лишь в двадцать пфеннигов! Подумать только, в Альби немецкие обоймы продавались по два франка, ранцы — по шестьдесят франков, а здесь они валяются на земле, и мы о них спотыкаемся. Впрочем, мы спотыкаемся о всякую всячину и на каждом шагу. Деревня, где мы находимся и где в одном уголку еще держатся немцы, больше уже не деревня. Это невообразимая свалка: кирпичи, балки, стволы деревьев, обрубки телеграфных столбов, вдребезги разбитые сковородки и горшки, обрывки железной проволоки, грязная солома и отбросы. Словно сюда обрушилась гигантская рука, все переломала на мелкие кусочки, а затем все перемешала. Когда мы вошли в эту деревню, все вскрикнули: «Ах! Ох!» А у меня недели две нет больше пленки для кодака. Я запросил ее в нескольких местах, но только сегодня получил от одного из своих корреспондентов-фотографов ответ, что он вышлет пленку 25-го числа. Никогда не прошу себе этой недостачи, виной которой — моя глупая расточительность. А вдобавок ко всему одна из отпечатанных пленок скорее всего потеряна. Ну что поделаешь! Нитьем ничему не можешь.

Ночью я спал во всей амуниции, подложив под щеку ранец, не снятый с плеча. В три часа утра было отнюдь не жарко. С тех пор мы, правда, перебрались в другой дом. Сидим сейчас, прислонившись к стене, на мешках с землей, которые немцы положили на пол для защиты подвала от снарядов. На что похожи тут дома!.. господи боже ты мой! Жалкие растоптанные игрушки. В нашей комнате в углу свалены кучей обтрепанные ранцы, котелки, фляги, большей частью помятые, пробитые пулями, разорванные папиросные коробки, сплюснутые спичечные коробки, на которых напечатано: «Германским воинам». На выбеленной известкой стене каллиграфически написано:

BRIEFKASTEN

1 Комр.*

Коридор загроможден продырявленной, как шумовка, ванной, чугунной кухонной плитой, механизмом швейной машины, грудой пустых жестянок из-под marmeladen, а на стене — два рисунка: немецкий солдат и французский солдат. Отнюдь не карикатуры — нарисовано старательно, и французского солдата изобразили красивые усики. За домом навалено и разбросано еще больше всякого хлама, а вдали — зеленеющие, лучезарные поля. В двухстах метрах виднеется церковь — вернее, то, что от нее осталось.

* Почтовый ящик первой роты (нем.).

Снаряды продолбили, обгрызли, выпотрошили колокольню, и она состоит теперь из двух каменных торчков. В этом месте и пониже, на кладбище, еще удерживаются немцы. Они укрыли в склепах и разрытых могилах пулеметы, и мы не можем выбить их атакой: как только мы выходим из своих окопов, в пятидесяти метрах от них — тра-та-та-та-тах! «Кофейные мельницы» начинают действовать с непреодолимой силой. Нашим удалось водрузить на гребень ближайшей высоты 75-миллиметровку, и от нее ждут деятельной помощи. Имеются также минометы, или «жабы», которые швыряют мины с крылышками и основательной начинкой, — они, как перчатку, выворачивают наизнанку дом вместе с подвалом. Если удастся поставить близко эти орудия, немцев выкорчуют из кладбищенской земли. Подумывают также провести подкоп и взорвать их. Поживем — увидим (вечный припев!). А пока созерцаем через одну из многих пробоин кружево кровельных планок, виднеющееся сквозь сплетение ажурных потолочных балок. Интересно, какие лица будут у мирных жителей, когда они увидят свои жилища, расплющенные, развороченные, продырявленные, изуродованные и озаренные солнечным светом, пробивающимся сквозь дыры и щели.

Посылаю тебе письмо, прилетевшее ко мне, когда я писал последнюю фразу. Почти наверняка адресата уже нет в живых. Какой грохот сейчас вокруг! Орудие смолкло, но идет ружейная пальба, да такая, будто единственную улицу А[блен]-С[ен]-Н[азера], где я нахожусь, запрудили ломовые телеги, возницы яростно шелкают бичами, а грузчики свирепо сбрасывают кладь на землю, опрокидывая большие везы с рельсами.

Без четверти двенадцать

Продолжаю письмо, прерванное двадцать минут назад. Я уже в другом месте — у ворот фермы (вернее, у их обломков: ни ворот, ни самой фермы больше не существует). Передо мной дорога. Эта дорога — табу: ее охраняет немецкий пулемет за поворотом, около которого я сижу, и горе тому, кто оказался бы на четыре шага впереди меня! Доказательством служат два лежащих там продырявленных, исполосованных ящика, и несчастный котел: утром его несли два кашевара, и на том самом месте их убило. Право, грустно смотреть на этот котел, напоминающий о двух беднягах, которые его тащили. Я в карауле и обязан не пускать солдат в это опасное место. Я устроился тут с комфортом: вытащил из груды обломков уцелевший четырехногий треножник, если можно так выразиться (мне вспомнился таганок, который мы купили в Омоне), положил сверху доску и удобно уселся.

Все залито солнцем, жара. Передо мной, в пролете между развалинами, виднеется возвышенность Нотр-Дам де Л[орет]. Меловая почва (разрытая земляными работами), серовато-зеленая трава, голубое небо со свинцовым отливом и ни единого дерева. Помнишь вид, который я нарисовал акварелью в Кротуа? Тут такой же пейзаж: унылый, опустошенный, приморский.

Караульная служба кончилась. Я вернулся в разрушенный дом. Стреляют всюду. Пришлось «спрятать головешки» (то есть укрыться). Мы

устроились в подвале, у входа. Поднимешь голову и видишь небо, опять-таки сквозь два кружевных этажа, а домишко вздрагивает. Немцы пытаются нащупать наши батареи, но не тут-то было! Пока что они смело разрушают дома. К счастью, огонь уже стихает. Но все равно, такая гроза в таком ясном небе, как подумаешь, кажется нелепой.

75

Открытка из Мон-Сент-Элуа, Па-де-Кале. (Бой.)

Получена 29 мая 1915 г.

До свидания, дорогая. Ночью будем рыть землю — грязища, да того гляди еще и дождь пойдет. Перспектива не из приятных! Но надо же запастись страшными воспоминаниями, чтобы было что рассказать, когда вернусь.

(Открытка без даты, из Мон-Сент-Элуа, Па-де-Кале, получена 29 мая 1915 г.)

Страшно спешу: идем на поиски жратвы, а заодно и письма отправим. Поспать как следует не удалось. В полчетвертого утра явились пьяные хари. В остальном все то же, что и вчера. Раненые, суматоха, все перепачкано глиной.

Целую.

76

30 мая 1915 г.

Пишу, сидя на лугу, рядом с кучкой людей, собравшихся по случаю раздачи писем и посылок. Возле меня лежит котелок, которым я черпал воду из колодца (умылся как следует!), около него сохнет на солнышке полотенце. Ночь мы провели в соседнем поле под открытым небом. Благодаря спальному мешку и клеенчатому капюшону, которым прикрыл голову, спать было неплохо, несмотря на холодные ночи в этом климате — и капризном, и морском, и северном.

Получил твое письмо и сразу же отсылаю тебе его обратно. Первым делом — из-за ветра — я спрятал лепестки розы, которые ты, сердечко мое, мне прислала, в специальный пакетик, где уже хранятся другие цветы, присланные тобой. Я прочел письмо и рад был узнать подробности о твоём житье-бытье в Омоне; дом наш, как я понимаю, все хорошеет. Но меня крайне огорчают перебои в работе почты. Ты получаешь мои письма через одно.

Вчера к нам в окопы явились журналисты в сопровождении офицеров генерального штаба и Филиппа Бертело, крупного чиновника министерства иностранных дел. Я разговаривал с ним. Он не узнал меня. Разумеется, мы смотрим на этих окопных туристов с некоторой иронией, вернее, с презрением.

77

1 июня 1915 г. (Эх! да...) Час ночи

Милая, любимая крошка. Я — в окопах; залег на ночь в узенькую землянку, в которой, однако, я весь умещаюсь. Я приспособился к этой норе, но повернуться тут негде, могу только чуть двигать рукой. Мне удалось вырыть в глинистой стенке рядом со своей головой квадратную ямку, и я поставил там свечи. Мой предшественник где-то выудил сверло, воткнул его в стенку по самую рукоятку, и это позволило мне повесить свою флягу, в которой налито чашки две кофе. Конурку всю заняли и стиснули меня мой ранец и две мои сумки, но мне в ней неплохо, не говоря уж о том, что она надежная защита от снарядов. Мы пришли сюда после четырехчасового путешествия по ходам сообщения и находимся у Б[етюнской] дороги. Злосчастная дорога в плачевном состоянии. Когда эвакуировавшиеся местные жители вернутся, они не узнают ни дороги, ни своих домов. Придорожные деревья скошены орудийным обстрелом, обезглавлены, у некоторых расщеплены стволы; воронки от снарядов образовали лохани с водой — серые на шоссе и коричневые у кромки полей, и, главное, дорогу изменило то, что вдоль нее по обе стороны вырыты окопы: слева — захваченные нами немецкие окопы, у которых бруствер обращен к северу, а справа — наши окопы, парапет которых обращен к югу. Это не столько окопы, сколько непрерывная цепь маленьких убежищ (землянки, ямки, конурки) — либо «индивидуальных», как моя длинная нора, либо рассчитанных на двух-трех солдат, — и офицерских блиндажей, более удобных и лучше защищенных от снарядов. Три ночи подряд мы будем лопатами и кирками исправлять окопы первой линии, на четвертую ночь наша рота займет их, а после этого — четыре дня отдыха в деревне.

Я все еще не получил тех двух посылок, о которых ты мне писала. Прилагаю фотографию: столовая в одном из домов А[блен]-С[ен]-Н[азера]. Если взглядеться, то среди развалин, которые видны сквозь широкую брешь, можно различить дым от разорвавшегося снаряда. Я нагружен флягами, так как по наряду ходил в деревню за водой.

В последнюю минуту.

Посылаю еще одну фотографию — убитый немецкий солдат, на которого я смотрю. Это происходило у решетки мэрии А[блен]-С[ен]-Н[азера]. Снимок вышел плохой, но все же сбереги его.

78

2 июня 1915 г.

У меня не осталось ни клочка почтовой бумаги — вот что значит оказаться снова в окопах, не проявив должной предусмотрительности! Нашел у себя обрывок письма от Мама⁴⁶ и пишу на обороте. Где же моя ручка! Я по-прежнему сижу в длинной норе, стиснутый со всех сторон; малейшее движение — и мне в бок впивается сумка или патронташ, ма-

лейшая плохо рассчитанная попытка выйти — и я застреваю, как толстая тряпка в ламповом стекле, — ни вперед, ни назад.

Из-за обстрела из окопа носа не высунешь. Передвигаемся мы согнувшись, бегом, вслепую. Только вечерами все крысы в кепи выползают из своих нор, и жизнь бьет ключом. Вчера мы рыли на равнине ход сообщения. В небе порой было так много осветительных ракет, как будто там горело несколько созвездий Большой Медведицы.

Почта работает удручающе. Ты писала о спарже и цыпленке. В ожидании я, как говорится, затянул пояс потуже. Но не тут-то было.

Все, что ты пишешь о своем житье-бытье, живо меня волнует. Сегодня ночью, копая землю в поле люцерны, я представлял себе, как Камишечка без устали катает бильярдные шары. А как поживает Лезгин, почему ты ничего о нем не пишешь?

79

3 июня 1915 г.

Девчурочка моя. Да, ручку я потерял. Когда я позавчера вкалывал (то есть работал) на равнине и рыл ход сообщения, она выскользнула и затерялась в люцерне. Я попросил, вернее, заказал другую. А пока (ведь посылки идут бесконечно долго) пишу химическим карандашом, уроженцем Альби. Я по-прежнему в землянке на Б[етюнско́й] дороге, и жизнь моя проходит в горизонтальном положении. Как я тебе уже писал, повернуться здесь — целое дело, поэтому я не могу даже как следует запрокинуть голову, чтобы выпить все вино из кружки: допить остаток можно, только если вылезти. Весь день я провожу, можно сказать, нос к носу с гладкой глинистой стеной, цветом и консистенцией напоминающей печеночный паштет.

Прошлую ночь опять ходили рыть окопы, работа была беспокойная, а затем ее совсем прервала сильная бомбардировка. Она напомнила мне «прекрасные дни» под Круи! Нас почти обжигал огонь: так близко разрывались снаряды; мы оглохли от грохота, покрылись землей и пылью и одурели от запаха карболки и серы, который неотделим от выстрелов 105-миллиметровок. Мы лежали, прижавшись к земле в начатом окопе. По счастью, ни один снаряд не разорвался в самом окопе. Все же у нас убило несколько человек и нескольких ранило. Вернулись на стоянку без четверти два. В пять часов нас разбудили, дали холодного кофе, затем я опять заснул часов до десяти. А с этого времени немцы начали бомбардировать наши окопы второй линии, но это для нас уже не так опасно.

80

6 июня 1915 г.

Моя милая девчурка.

Уф! Передышка в скрюченной окопной жизни и отдых от этой покалеченной и развороченной Б[етюнско́й] дороги, где непрерывно свистят невидимые пули и на каждом шагу натыкаешься на огромные воронки от снарядов. Мы столько мотались по окопам и укрытиям и терлись об их стены, что все пожелтели, и вот наконец мы наверху.

Вышли мы вчера в полночь (с 10 часов мы в полной выкладке ждали этого момента). Сменили нас, как всегда, стараясь не шуметь, но, когда нескончаемая двойная цепь людей тянется по ходам сообщения вверх и вниз, это всегда сопряжено с некоторым беспорядком, суетой, шумом — одним словом, с перестрелкой. Прежде чем добраться до М[он]-С[ент]-Э[луа], нам пришлось отшагать по ходам сообщения восемь километров. Представь себе, каково топтать в темноте между удушливых стен целых восемь километров. Правда, в половине второго уже начало светать. В М[он]-С[ент]-Э[луа] нас ждало разочарование: эти сволочи не сварили кофе. Вновь отправляемся в путь с пустым брюхом и, пройдя еще двадцать пять трудных километров, приходим сюда. Здесь деревушка, еще не превращенная в развалины, и не слышно пушек, которые на переднем крае палят без передыху. Сюилар разыскал домишко, где можно будет стряпать, а сплю я в амбаре, где слегка поддувает, но зато есть свет и сухая солома. Как приятно на ней растянуться — не менее приятно, чем хорошенько умыться, что мы потом и сделали.

По прибытии сюда я получил наконец две банки куриных консервов в сопровождении трех сигар, которым тоже очень рад. До свидания, малыш, до завтра. Пришли мне свою фотографию в полный рост, ту, где ты с Ками, фотографию дома и те снимки, которые ты отпечатала с двух пленок кодак.

81

8 июня 1915 г.

Сердце мое дорогое. Вижу из твоего письма, что ты эмигрировала из Омона.

Забыл тебе написать, что недавно я встретил Л. Это случилось в ходе сообщения длиной в восемь километров, который ведет из окопов первой линии в тыл позиций. Нагрузившись баком и шестью флягами, я шел за супом, а также купить вина для взвода — была как раз моя очередь идти в такой наряд, вдвойне неприятный оттого, что выполнять его приходится два раза в день, то есть дважды топтать по шестнадцать километров. И вот мне встретились капитан, какой-то русский офицер и элегантный унтер — одет с иголочки, тонкое сукно, щегольское кепи, перчатки и желтые кожаные краги. Это был Л., шофер при главном штабе. Мы представляли забавный контраст: он — вылощенный, опереточный, похожий на лубочную картинку, а я только что вылез из недр окопов. Мы поболтали минут десять, затем каждый отправился своей дорогой. Л. нашел, что я великолепно выгляжу!

А жарница-то какая, жарница! То ли еще будет. Хорошо еще, что сейчас нам совсем нечего делать. Только приводить в порядок себя, амуницию и оружие. В первый день работы было по горло. А теперь надо только поддерживать чистоту. В здешних местах полно воды, прачек, а также молока, которое я потребляю в большом количестве.

Вчера полковник, большой любитель музыки, приказал устроить концерт и трубить вечернюю зорю.

Нежно обнимаю тебя, дорогая, и надеюсь на скорую встречу...

82

10 июня 1915 г.

Дорогая, я по-прежнему хорошо себя чувствую, и мы все еще находимся на отдыхе, на зеленой травке. Есть новость: меня отметили в приказе по бригаде⁴⁷. Посылаю отдельно, заказным письмом, выдержку из этого приказа.

83

16 июня 1915 г.

Сию в лесу на импровизированной скамейке — хитроумном сооружении из длинных, скрепленных между собой жердей; бумага лежит на столе — двух сколоченных досках, позаимствованных из ворот, которые, в свою очередь, позаимствованы на одной из окрестных ферм. Передо мной — кухня под открытым небом, в которой забавно все до самой последней мелочи: артиллеристы соорудили ее из всяких обломков; сколотили раму, где на толстой проволоке висит вся кухонная утварь, смастерили подобие буфетной стойки с отделениями, полки из поленьев и плетенки. Мы покинули стоянку, где пробыли десять дней, и провели эту ночь в лесу, в огромной землянке, вырытой артиллеристами. Я теперь санитар, а санитары пользуются некоторыми привилегиями, поэтому я не спал под открытым небом, как простой солдат. Что будет дальше, толком неизвестно. Во всяком случае, об окопах пока речи нет.

Вчера со мной приключилась дурацкая история. Я воспользовался своим положением помощника санитаря, чтобы забросить свой ранец в повозку, и радовался, впервые за все время шагая налегке. Но тут меня назначили «караулить» ранец, то есть постоять рядом с ранцем одного парня, который выбился из сил, и закинуть этот ранец в повозку, когда она подъедет (повозки следуют в хвосте колонны). Ну вот, полк проходит, а повозок все нет. Они поехали по другой дороге! Пришлось мне взвалить на себя этот ранец и догонять колонну. Ну и тяжел же он оказался! Так и тащил его всю дорогу. Вот как я впервые совершил переход без ранца!

Ночью в землянке артиллеристов мне снилось, что я приехал на побывку в Омон. К сожалению, такое может только пригрезиться, потому что отпусков нам не дают.

Мне хочется покататься на велосипеде, это желание возникает у меня всякий раз, как я вижу дорогу. Пожалуй, я смогу купить велосипед у Дюфейеля, если не подвернется более дешевый, что было бы еще лучше. Ты теперь, должно быть, совсем здорово катаешься. Умеешь поворачивать, не останавливаясь? А мне придется учиться заново.

84

17 июня 1915 г.

Я в окопе, но на этот раз полк в глубоком тылу. Сейчас мне нечего делать, и если бы я не писал тебе, то сидел бы сложа руки. Всю ночь — с десяти вечера до семи утра (именно столько сейчас на моих ча-

сах) — мы топали по ходам сообщения и дорогам; продвигались вперед рывками, то останавливались, то бежали, потому что наш полк оказался в хвосте дивизии. Из-за всего этого спали только с половины десятого до десяти. Поспим днем, а сейчас об этом нечего и мечтать — рядом с нами оглушительно грохочет батарея 75-миллиметровок. Душераздирающие раскаты! Такого я еще не слышал! — а ведь возле меня частенько разрывались снаряды немецких 105- и даже 210-миллиметровок. Ни одно орудие не палит так потрясающе резко, как 75-миллиметровка! Кажется, на этот раз нас ждет в окопах не такая живописная обстановка, как раньше. Боюсь, наше пребывание там будет тусклым и скучным. Но зато я не буду уставать: мне не безумно улыбалось рыть землю (бах!) и стоять на часах, а теперь я санитар и с этим покончено. Что же касается атак и штурмов, то после Круи в полку слишком много ополченцев, чтобы нас послали на передовую. (Бах! Бах! Бах! Бах!)

Полдень. С тех пор как отложил перо, я успел сделать два снимка: один — вблизи окопа, у артиллеристов; я сфотографировал трех моих новых друзей: Моннио, Парана и капрала Делорма — у входа в землянку, где мы, вероятно, будем спать сегодня ночью; она находится не в окопе, а на равнине.

Здесь, в нескольких километрах от линии огня, укрылись артиллерийские батареи. Справа, слева, впереди, сзади маленького, почти незаметного среди других холмика вспыхивают красноватые молнии. То и дело грохочут выстрелы, разрываются снаряды. Тут и там между батареями снуют люди: подносчики боеприпасов, связные, солдаты поодиночке и взводами, которые заблудились и теперь ищут, в каком углу этой гигантской кротовой норы их место. Пушки палят, не обращая внимания на солдат, потому что траектория полета снарядов — даже у самого жерла пушки — выше человеческого роста. У нас над головами взд-вперед снуют снаряды. Впрочем, это не совсем точно. Наша сторона ведет непрерывную стрельбу из многочисленных орудий, а снаряды противника добавили совсем мало новых воронок к тем, что уже украшают собою пейзаж.

Например, только что наша артиллерия осыпала немцев таким градом, какой мне нечасто доводилось слышать. Временами почти все орудия палили одновременно. Я было хотел остаться наверху и погреться на солнышке, но этот грохот в конце концов вынудил меня сдаться и снова спуститься в землянку.

На другой фотографии на переднем плане я, а на заднем — 75-миллиметровка, которую, правда, как следует не разглядишь. Рядом со мной санитар, похожий на кюре, — на самом деле он всего лишь аптекарь.

Из-за этого бедлама я не смогу отправить тебе письмо сегодня. Но надеюсь, что придет оно все-таки вовремя.

Кругом всерьез поговаривают о возвращении нашего полка в прежний сектор.

85

19 июня 1915 г.

Я по-прежнему в большой землянке, где размещается и командный пункт. Мы ушли в подполье и наслаждаемся покоем. Я только что узнал, что мои бывшие товарищи из 5-го батальона всю ночь блуждали по ходам сообщения с лопатой и заступом на плече в поисках земляных работ, но так и не нашли нужное место из-за нечетких указаний: ты даже представить себе не можешь, что за сложные лабиринты все эти сети ходов сообщения и окопов! Да, то же ждало бы в эту ночь и меня, останься я в роте. Вместо этого я спал — разумеется, мне было тесновато и жестковато, но в конечном счете я проспал всю ночь. До каких пор мы пробудем в этой просторной землянке, неизвестно.

Что в моем новом положении досадно и омрачает его, так это отсутствие писем. Почтарь отдает их, как написано в адресе на конверте, в 18-ю роту. А 18-я рота, входящая в 5-й батальон, сейчас бог весть где! Быть может, до нее два-три часа ходьбы по этим извилистым кротовым ходам. У меня есть слабая надежда на солдат из кухонного наряда; они ушли в 6 утра, а сейчас уже 11, и они, наверно, скоро вернуться. Сажу я на земляной скамейке, которую только что смастерил, поскребя стенку окопа у входа в землянку. Сие изумительное сооружение позволяет мне одновременно и сидеть, и греться на солнышке, а когда проведешь ночь, как крыса в подполье, это очень даже приятно.

Полдень. Мне принесли три твоих письма: от 12, 13 и 14. Смерть Лезгина очень меня огорчила. Когда я увидел, что ты ничего мне о нем не пишешь, у меня действительно появилось предчувствие, но все-таки новость эта меня душила, и я не могу привыкнуть к мысли, что по возвращении в Омон не увижу нашего старикана. Я очень часто думал о нем. Это был такой дивный зверь! — и с таким мягким нравом! Я всегда питал к нему слабость, потому что он казался мне лучше других. Как у меня тяжело на сердце оттого, что он умер!

Не переутомляйся, мой малыш, и не пренебрегай редкими и скудными возможностями развлечься.

86

20 июня 1915 г.

Милая, родная детка, получил два твоих письма, с которыми, к сожалению, должен расстаться: у тебя они будут сохраннее, чем у такого бродяги, каким я стал. Господи боже, как ты меня расхваливаешь, дорогая! Я не стою этого, уверяю тебя. Факт, о котором идет речь, самый обычный, и я вовсе не проявил какого-то исключительного мужества и презрения к опасности. Будничные незаметные наряды (вдвойне незаметные, так как они выполнялись ночью) часто бывали не менее опасными. Настоящая причина отличия другая: главным образом оно основано на том, что раньше, при других обстоятельствах, на Эне во время атаки я собрал под огнем товарищей по взводу. Кстати сказать, я предпочел бы, чтобы в казенной бумаге указали на этот факт, но, по соображениям зло-

бодневности, вместо него отметили спасение раненых в нашем новом секторе. Некоторую роль сыграло тут и задание, которое я выполнил в уличном бою в Круи под пулеметным огнем противника, но за это, как я писал тебе, меня произвели в солдаты первого разряда. Крест мне выдадут, когда получат их в достаточном количестве. На линии огня не носят крестов, это правило почти непреложное, и нарушить его было бы претенциозно — допускается только ленточка в петлице. На отдыхе при желании надевают и самый крест. Все это очень мило, но не стоит придавать этому особого значения. Тот, кто выделился каким-нибудь блестящим и, по счастью, полезным действием, меньше заслуживает награды, чем люди, которые добросовестно выполняют свою огромную, трудную и страшную работу простого солдата. Будь уверена, что они-то и являются истинными, замечательными героями, ибо я знаю, сколько мытарств, страданий, жертв и подлинной самоотверженности заключает в себе их обычная и простая работа. Тем более, что этот непрерывный подвиг совершается ради целей, которые я упорно считаю весьма туманными, чуждыми нашему естеству и, по сути дела, противоречащими назначению человека. Но я тебе уже говорил об этом и, вероятно, в таких же выражениях. Я повторяюсь. И все же, когда я подумаю, что этим людям не дадут никаких наград, тогда как за единичный подвиг отличают высокими почестями, у меня возникает законное, по-моему, чувство обиды за них, ибо это огромная несправедливость.

87

20 июня 1915 г.

Я расстался со своей ротой: она с этой ночи несет службу на передовой, меня же оставили на перевязочном пункте. Убитые, раненые, вся эта бойня — ужасное зрелище. Яркое солнце и жара. Совсем не такая погода, как нынешней зимой, когда мы блуждали в тумане, утопали в грязи, но все же — не знаю почему — все, что имеет отношение к изнанке боев, кажется запятанным несмываемой грязью: бедные существа, жалкие статисты в борьбе и в жизни. Право, они как будто уже были похоронены, а потом вырыты из могил. Земля, превратившаяся в прах, носится в воздухе, оседает на всем. Если встряхнешь полу шинели, хлопнешь легонько по рукаву или кепи, взлетает желтое облако пыли, и постоянно ощущаешь во рту ее вкус. Только что, в половине четвертого утра, когда уже совсем рассвело (но солнце еще не поднялось), я видел множество рот различных полков: мимо нас гуськом проходили альпийские части, стрелковые, пехотные. Мы сгрудились на перекрестке ходов сообщения. Суэта, противоречивые приказы, невероятный беспорядок, путаница и мешанина разношерстных людей. Большое впечатление производили их желтые, осунувшиеся, исхудавшие лица, их оборванная и смешная одежда. Слово шестиве полинявших паяцев, подобранных с земли. Некоторые насупились, рты их изрыгали ругательства по чьему-нибудь адресу. Другие смеялись и, проходя мимо нас, отпускали шутки или выкрикивали дружеские приветствия. Шли люди всех возрастов, и половину их составляли бедняги-ополченцы, которые годились в отцы

многим из молодых. Эти вереницы походили не на шествие солдат одного рода оружия и одной армии, а на какую-то семейную процессию! Младший сын, дядя, двоюродный брат из деревни, чудаковатый дедушка. . . Я пишу тебе, примостившись на земляной скамеечке, и ежеминутно мне приходится съезживаться, чтобы пропускать солдат, а в стенке этого окопа второй линии по всей ее длине вырыты «индивидуальные землянки». В некоторых с наслаждением спят люди, сраженные усталостью. В одной такой землянке вытянулся под брезентом человек, ступни которого торчат наружу, оказалось, мертвец. Другая нора засыпана свежей землей — это могила африканского стрелка. На верху бруствера возвышается деревянный крест, и кто осмеливается выглянуть в этом месте из окопа, видит еще не похороненный труп, лежащий в саване из брезента на том самом месте, где ночью его торопливо зароят в этом поле, на котором сейчас осколков от снарядов, наверное, больше, чем травы. Война — это ужасы, которые и представить себе невозможно, пока воочию их не увидишь. И вот поэтому нужно добиться, чтобы после нас другим не пришлось их повторять.

Итак, ты снова поселилась на улице Бель-Апаранс. Как давно я уехал отсюда: скоро уже десять месяцев. . . Ты помнишь — да, конечно, — этот мрачный отъезд в неведомое!

Рано или поздно мы увидимся. . .

Р. С. Сегодня утром я открыл коробку телячьих консервов — они восхитительны. Пришли, пожалуйста, еще одну банку таких же мягких и хорошо прожаренных.

88

21 июня 1915 г.

Сегодня исполнилось полгода с тех пор, как я на фронте, а у меня, как видишь, ни клочка бумаги: война не принесла мне богатства, во всяком случае по этой части. Подумать только, как я транжирил почтовую бумагу в те далекие времена, когда не умел ни держаться на велосипеде, ни свертывать козью ножку!

Представь себе, меня обокрали: ночью я подбирал раненых, а вещички свои оставил в маленькой землянке на краю хода сообщения (ты ее увидишь на той фотографии, где я ем). Это было крайне неосторожно, потому что через этот ход сообщения тянутся бесконечные вереницы солдат, и какой-то бравый парень, отличающийся большой сметливостью, — еще вчера газеты так расхваливали эту истинно французскую черту — прибрал к рукам одну из моих сумок со всем ее содержимым, а затем, нуждаясь в пустой сумке, вывалил все шмотки из другой на землю и прихватил ее тоже. В той сумке, которую он спер, были алюминиевая сковородка, аптечка и клеенчатый капюшон. Я бушевал, ругался, угрожал, но, разумеется, нет ни малейшей надежды отыскать мои вещи. Впрочем, соседи мои тоже «потеряли» кто плащ-палатку, кто сумку с бельем. Вернувшись, мы подняли большой скандал.

По счастливой случайности у меня уже нашлась замена пропавшему капюшону: мой товарищ Моннио, славный, очень симпатичный парень

атлетического сложения, с головой самурая, отдал мне свой запасной. Он больше и плотнее, чем старый. А сковородки мне новой не нужно: я заметил, что алюминий чернеет, как свинец, и пачкает все, что лежит рядом в сумке. Лучше пришли мне эмалированную сковородку для яичницы, только не такую роскошную, как покойная алюминиевая, а поменьше — диаметром сантиметров пятнадцать. Я пришел к выводу, что большая сковорода мне совершенно не нужна. Что касается аптечки, то я попрошу тебя прислать аспирин. Йод и бинты я могу достать и здесь в санчасти, а вот пластырь, пожалуй, пришли. И, наконец, я хотел бы: 1) чтобы ты сшила мне мешочек из чертовой кожи для аптечного барахла; 2) опять прошу у тебя большую прочную сумку — пропали у меня — увы! — две, но мне хватит и одной. Я смогу разместить все в этих двух сумках, ранце и патронташах, которые я не использую по назначению (плюс карманы!). Отправляю тебе сегодня письма, которые вместе с посылкой прислали нашему взводу школьники. Охотно прибавлю, моя дорогая лапушка, и описание моего нового жилья. Эта хижина из толстых брусьев и мешков с землей — творение изобретательного немца; она находится в окопе, превосходно защищенном от артобстрела и тем не менее месяц назад отбитом у армии принца Баварского. Лачуга низенькая и тесная. Пахнет землей, деревом, спящими мужиками — несколько парней растянулись вокруг меня и добросовестно задают храпка. Крошечный, низенький дверной проем полон света. Снаружи ослепляющая и оглушающая жара. Ступив за порог, ощущаешь себя будто в печи.

Прошлой ночью мы шли ходом сообщения до самой середины поля сражения и смутно видели его в зловещем, холодном свете ракет, вспышек огня, взлетающих со всех сторон, при оружейных выстрелах и разрывах снарядов. Даже и в самом окопе лежат трупы — нельзя ни вытащить их отсюда, ни зарыть (до сих пор еще не было времени на это), и люди, проходя, топчут их ногами. У одного убитого на лице маска из грязи, вместо глаз зияют две дыры, одна рука откинута, и ладонь, пальцы расплющены, измочалены сапогами солдат, которые торопливо идут вереницей по этой траншее. Мы увидели его, так как в этом месте сделано перекрытие и можно было на секунду зажечь огонь. Не правда ли, тяжелое зрелище — эти мертвецы, которых топчут, как ненужные вещи?

Сегодня уходим в тыл, на отдых. Но в котором часу, неизвестно... Может быть, поздно вечером, может, в середине ночи, а может, под утро. У всех довольные лица: всех радует перспектива спокойно прожить неделю и выспаться после недели работ (ведь мы почти не спали). Я сделал несколько снимков. На отдыхе проявлю. Вышло что-нибудь на той фотографии, где я снимал ракету? А как та карточка, где я сажусь в автобус? С алюминиевым колечком вот что сделай, только поскорее: зайди к ювелиру и скажи: «Господин ювелир, будьте добры, поставьте с внутренней стороны серебряный ободок». Тогда кольцо будет как раз впору на твой почтенный пальчик и не почернеет.

До свиданья, красавица моя.
Пришли, пожалуйста, проявитель!

89

23 июня 1915 г.

Дорогая малышка, какой праздник! Я получил все твои письма разом. Очень жаль, что последнее кончается тем, что ты ждешь письма; я не люблю, дорогой малыш, когда ты ждешь: я знаю, что ты при этом всегда беспокоишься, а я как назло ничем не могу тебе помочь. И сколько бы я ни говорил себе: «С тех пор письмо уже пришло!» — слишком долго ждать — это уж слишком. Хочу поскорее проявить новую пленку; жду спокойной ночи, то есть такой, когда можно будет не бояться внезапного выступления. Хорош я буду, если придется отправиться в путь с невысохшими пленками!

Пожалуйста, плюс к тем предметам, о которых я тебя просил в предыдущем письме (не забудь небольшую эмалированную сковородку для яичницы, которую я попросил после кражи моей сумки), пришли еще бритву и ремень, которые я отослал тебе обратно: я оставил бородку, а щеки брею.

Шлю тебе назатыльник, который сослужил мне хорошую службу. Он пробит пулей, она прошла через кепи и непромокаемый чехол (его я тебе тоже отсылаю). Так как он был надет поверх всего, дырки не совпадают.

90

28 июня 1915 г.

Дорогая! Получил два письма, запоздавшие из-за «перемены адреса». Они дополнили серию твоих писем и ликвидировали пробел.

Нет, ремесло санитара не связано с новой опасностью. Наоборот. Подбирать раненых днем на передовой позиции — это предприятие безумное, равносильное самоубийству, и оно строго запрещено. Мы рискуем делать это только ночью. Немцы, конечно, постреливают, так как они палят постоянно, из принципа, и полностью их ружейный огонь не прекращается никогда, но все же ночью он затихает, к тому же ночью, разумеется, невозможно точно прицелиться. Артострел же редко бывает по ночам: орудийные залпы обычно начинаются на рассвете и прекращаются с наступлением темноты; после захода солнца пушки стреляют, только если обнаружится передвижение войск и еще, разумеется, в случае атаки. Словом, не ищи опасностей там, где их нет. В действительности есть одна реальная опасность: легко попасть в плен, когда немцы устраивают облаву, как это случилось под Круи, где всех врачей и санитаров сцапали таким образом в гроте каменоломни. Но есть тут и другая сторона: пленный испытывает в тысячу раз меньше мытарств, чем солдат-фронтовик, козел отпущения на войне, и даже меньше, чем военные чины. Насчет условного языка на случай плена (мало вероятного при нынешнем положении дел) я согласен. Только ты уж сама заранее придумай соответствующие фразы и сообщи мне. Они должны быть коротенькие и самые обыденные — например, обращение: «Милая детка», «дорогой друг», «моя родная» и т. д. Тогда не придется вставлять в текст письма какую-нибудь запутанную фразу.

91

11 июля 1915 г.

Мой дитеночек. Пишу тебе за столом, куда дождем падают мухи, убитые запахом формалина и мухоморной бумагой, подвешенной к дешевой люстре, которая освещает столовую. Вчера я ходил в маске. Она оказалась и впрямь штукой приятной и полезной! С таким оборонительным оружием нам наплевать на ядовитые облака. Если они вновь появятся, я тотчас снова надену маску.

Я получил только одно письмо, от 7 июля, но не жалею. Пусть каждый день приносит письмо от тебя!..

Добавлю, что отлично выспался этой ночью в палатке на брезентовых носилках, прочно привязанных к толстому дереву.

92

12 июля 1915 г., вечер

Посылаю тебе (будем надеяться, что злой рок не помешал ей высохнуть) фотографию трапезы в лесу А[лле], где мы сейчас находимся; карточка эта сделана в предыдущее мое здесь пребывание. Сделана она двойником Снималки, принадлежащим сержанту Секкальди. У майора медицинской службы доктора Шайоля, моего теперешнего командира и сотрапезника, есть Снималка-Двойник, и вообще в наших краях орудует теперь целое племя Снималок.

Завтра мы покидаем лес А[лле]. Роты, бывшие в окопах, пойдут отдыхать, а мы, остальные, хотя и оставались в тылу, без зазрения совести последуем их примеру. Бедняги пострадали за это время; сегодня утром убили двух моих приятелей: лейтенанта Арнандьеса (он чудом избежал гибели в бою на Марне, где пуля угодила ему в живот) и адъютанта Мондена, с которым мы несколько месяцев ели из одного котла. Бедная 18-я рота, бывшая моя рота, потеряла и еще нескольких бойцов. Скорбный перечень!

93

13 июля 1915 г., 5 часов утра

Милая, ты получишь мои часы со светящимся циферблатом; твоя задача — отдать их в починку и прислать мне обратно. Когда мы были на Эне, часы оказывали мне неоценимую помощь: не однажды в их мерцанье происходила ночная смена часовых — и вот теперь этим часам грозит смерть от истощения. Я не могу влить в них животворную силу, иными словами, завести их: заводной механизм не сцепляется с колесиками, которые он должен приводить в движение, так что часы, хотя их основные органы и пребывают в добром здравии, спят мертвым сном.

Вчера вечером за ужином на долю фотографии, где ты снята в омонской гостиной, выпал огромный, неслыханный успех. Карточка эта единодушно была признана лучшей из всех, когда-либо сделанных. Каждый вытащил из набитого бумажника семейную фотографию. Ничего похожего на твою, дорогая! Ни по качеству съемки, ни по обаянию модели. Это о многом говорит, не так ли?

Пишу в палатке. Мой товарищ Моннио еще дрыхнет. Туман, затянувший лес, рассеивается, и резкий желтый свет начинает пробиваться сквозь брезент. Слышно, как болтают кашевары, собравшись у своих походных кухонь, где они принялись варить кофе. Один из них поет песню о мотыльках и вместо «мотыльки» вытягивает: «митильки, митильки». Пустяк, а получается забавно.

Вчера вечером, засыпая, я думал о благоустройстве омонского дома...

Гюстав Тери⁴⁸ просит меня прислать «зарисовки» (обещает оплатить) для газеты, которую он выпускает, а де Нувийон — статью для «Ле Монд Иллюстрэ» (тоже платную!). Если будет время, попытаюсь.

94

23 июля 1915 г.

Вчера писем не было — никому! Сегодня обещают двойную порцию. Однако я получил перевод: all right! Полк по-прежнему в окопах. Я по-прежнему в тылу и по-прежнему лучше себя чувствую и не испытываю нужды ни в чем съестном. Из одежды, душенька, мнегодились бы кальсоны и простые носки: пришли, пожалуйста, две пары стареньких. Кроме того, я пришел к мрачному заключению: гетры мои буквально лопаются, как перезрелые фрукты. Не могла бы ты по этому случаю прислать мне новые? Но, пожалуйста, без штрипок, это не очень практично: просто гетры из мягкой кожи, лучше всего — с ремешком. Только не надо ничего шикарного, слишком офицерского, я хочу прочные, плотные, без блеска — обыкновенные солдатские гетры. Это в тысячу раз лучше. Чтобы подобрать нужный размер, ты можешь показать торговцу один из желтых башмаков, купленных в Альби, а высоту их он сможет определить по старым брюкам, не точно, конечно, — гетры ведь не доходят до самого колена, — но приблизительно. И пусть они будут как можно шире. Ботинки у меня старые-престарые, но никак не износятся, а так как в грязь я попаду еще не скоро, то пока нет смысла отдавать их в починку в Перьере. Через некоторое время (я напишу, когда именно) вышли мне башмаки, о которых я писал выше, — в Альби я их как следует намазал жиром, так что они должны быть в приличном состоянии. Ну и хватит о моих копытах.

Перейдем к вещам интеллектуальным. Вот мое последнее произведение, шарада: мое первое — сообщник преступника; мое второе ни велико ни мало; множество женщин кормят мое третье. Мое целое — талантливый художник; это «Маккиати».

1 — мак, потому что под макинтошем меня совсем не видно,

2 — иа, потому что лиана,

3 — ти, потому что у многих женщин есть дети.

У нас то проливной дождь, то жаркое солнце. Желая тебе в твоей дачной жизни минимум первого и максимум второго. Надеюсь, ты пришьешь мне свою фотографию на отдыхе. Если мысль эта не приходила тебе в голову, мое письмо еще успеет подсказать ее тебе.

95

25 июля 1915 г.

Мы писали сегодня письма в столовой, и один из парней спросил: «Сегодня у нас двадцать пятое?» — «Уже двадцать пятое! Поразительно все-таки», — удивились остальные. Действительно, скоро уже год, как мы с тобой слышали на улице Омона барабанную дробь, возвещавшую о мобилизации, и скоро уже год, как мы выехали в Париж с маленькими свертками. Это большой промежуток времени, и вполне понятна всеобщая усталость; понятно также явление любопытное, но вполне логичное: люди, чудом ускользнувшие от смерти, еще больше боятся попасть ей в лапы; это усиление инстинктивного страха можно сравнить со страхом авиаторов, постепенно возрастающим с каждым полетом.

Кроме этих соображений общего порядка, не могу сообщить тебе ничего примечательного.

Ночью уходишь с этой стоянки туда, где были две недели назад — в К[амблен]-Л'А[ббе], на отдых, как я писал тебе.

Вчера делал снимки для стереоскопа. Разрушенная здешняя церковь и старые башни (вид с улицы и изнутри), думаю, выйдут хорошо. Я пришлю тебе снимки, отпечатанные на бумаге, определяю все размеры, а после войны отпечааем на стекле, для стереоскопа.

Около церкви на земле я видел вдребезги разбитые витражи. Жалко чуть не до слез.

96

27 июля 1915 г.

Я великолепно выпался ночью в новой риге на нашей новой стоянке — вероятно, сороковой или сорок пятой с того времени, когда мы спали в доме почтенных дам Жюэри. (Чем не заглавие дегашоновского романа?)⁴⁹ И вот теперь на целую неделю моя роль бойца сведется к борьбе с мухами и «гаспарами» (крысами). Я, конечно, буду побежден в этом неравном бою, ибо враг ежесекундно высылает на поле битвы значительные подкрепления. Вчера за обедом мы подсчитали, что на столе вокруг наших писем расположилась целая рота мух (250 штук) и в авангарде ее — взвод летающих назойливых разведчиков. А всего в комнате — на стенах, мебели, потолке — по нашим приблизительным подсчетам, численность вражеских сил составляла два полка (4000 бойцов), но, по-моему, мы ошиблись, и в действительности их было гораздо больше. Нынче утром пишу тебе в риге, «на постели». Вчера было еще терпимо, но вечером мы тут ели, и враг примчался сомкнутыми рядами. У меня ноги точно покрыты движущейся сеткой из черного стекляруса, и чуть я пошевелинусь, поднимается жужжание. Из другого угла риги то и дело раздаются сердитые возгласы и ругательства: «В бога, в душу!.. Окаянные!» — вскрикивает измученный солдат, отмахиваясь левой рукой, чтобы иметь возможность писать правой. — «Подождите вы, пока я схожну». Ночью, говорят, была вылазка газпаров: они прежде всего напали на грудь, живот и ноги кашевара, имевшего неосторожность лечь головой

около подкопа, через который происходило вторжение. Судя по тому, что утром рассказывал кашевар, битва была эпическая. Но я спал, и вообще наплевать мне на крыс, так как я крепко сплю. Они меня не будят или почти не будят, и я их пока не замечаю. Я привык к этому маленькому неудобству, и у меня нет того инстинктивного ужаса, который, к моему великому удивлению, многие закаленные солдаты испытывают, словно нервные дамы, ко всему крысиному и мышьиному племени.

Насчет общего котла решено так: с каждого по девяти франков в неделю, и мне сегодня вернули одиннадцать франков за то время, пока я сидел на диете.

Почту уносят. Расписание опять изменилось. Приходится кончать, так и не узнав, есть ли от тебя письмо, о чем я не смею и мечтать, потому что вчера получил целых два.

97

28 июля 1915 г.

Здравствуй, сердечко мое. Пересылаю тебе письмо, которым очень дорожу: оно от сержанта Р., тяжело раненного под Круи, когда он, еще несколько солдат и сержант Сюилар (в те времена — капрал) бросились навстречу подходившим немцам. Он упал как подкошенный: одна пуля попала ему в затылок, вторая — в руку. Думали, что он убит. Я очень горевал: это был замечательный парень, симпатичный и решительный. Как видишь, он еще раз ускользнул от смерти, но пострадал очень сильно: за полгода так и не поправился, не способен к длительной умственной работе, а рука у него почти парализована. Как я не раз говорил тебе, то были мрачные дни. В ночь на двенадцатое января, когда наш взвод защищал баррикады на улице Круи, мы спали в здании большого стекольного завода в Воксро, у высоты, которую нам пришлось бросить несколько дней спустя. Помнится, одиннадцатого января у нас были довольно тяжелые предчувствия, и они оправдались. Днем я брился во дворе завода, а сержант Прюдом, проходивший мимо, сказал мне: «Брешься? Хочешь красивым умереть?» Теперь он уже не смеет мне тыкать.

Мерзкая погода. Надеюсь, у вас лучше. Льет и льет. Дождь, изредка проглянет солнце.

У нас что ни день — ливни с градом, это началось уже давно и вошло в систему. Вчера утром была дивная погода, прохладная и ясная, а днем — потоп и жуткая гадость. Сегодня — мерзкое, мокрое утро и ласковый, светлый день. Так все и идет.

На отдыхе я тут помогаю в канцелярии старшему санитару Секкальди. Писанина — штука нудная, тошнотно-унылая, но мне жаль этого любезного и услужливого малого: он перегружен. Вечером зажигаю свечу в нашей риге, прилепив ее на донышко консервной банки, и читаю Вергилия и «Фауста»⁵⁰ — два томика в дешевом издании. Любопытно, какой разительный контраст в настроенности этих писателей. Один — такой ясный, другой — такой темный.

По утрам иногда удается поработать: пишу, полулежа на своем топчане, или в столовой, где мамышки развлекают четырех необычайно крик-

ливых, звонкоголосых ребятишек. Кроме того, в комнате все время толкуются солдаты, громко болтают, хохочут. В риге спокойнее и шуму поменьше, но в доме зато стол и стул — большое удобство.

Сегодня награждали орденами офицеров из административных служб. Слышна музыка: возвращается с церемонии полковой оркестр. Я далеко не в восторге от товарищей, с которыми приходится обедать. Эти тыловые крысы (почти сплошь тыловые) ругают на чем свет стоит парижан, ибо в Париже, по их мнению, недостаточно сочувствуют страданиям «солдат-фронтовиков». Просто ушам своим не веришь, когда слышишь, как они клеймят позором и поливают грязью всех, кто не подвергается опасности. Недавно один из этих молодчиков жаловался с видом великомученика, что ему до сих пор не дали еще боевого отличия. «Конечно, я ведь только выполнил свой долг», — твердил этот поразительный субъект. А он просто самокатчик, рассыльный главного врача, в окопах бывает изредка, на манер любителя зрелищ и туриста, и в окопы первой линии никогда не заглядывал.

Это просто позор, а самое печальное, что так будет всегда: бедняги солдаты будут рисковать своей жизнью на передовой, под огнем, а их голоса заглушат, их славу подтибрят тупицы, слизняки, карьеристы, которые кишат здесь, как, вероятно, и в других местах тоже. Я уже вижу, как они, осмелев, цинично выдают себя за героев-фронтовиков. А как они обнаглеют после войны! Ведь тогда им уже нечего будет бояться.

Не знаю еще, что мне предстоит, — это зависит от состояния моего здоровья, за последние дни оно очень улучшилось, я почти поправился. Вопрос обо мне рассматривается.

Нежно тебя целую, сердце мое.

1 августа 1915 г.

Дорогая, получил сегодня твое письмо в тот самый час, когда в субботу 1-го августа прошлого года мы с тобой слышали на улице Омона барабанную дробь, которой сын Рюфена извещал о мобилизации. Год тому назад, день в день, час в час. Да, много воды утекло, и давненько мы с тобой не видались: уже семь с половиной месяцев прошло с тех пор, как ты приезжала ко мне в Альби. Чтобы перенести разлуку, мужество и стойкость нужны не только участникам схватки, но и тем, кто находится в тылу. У нас дел по горло, и это помогает скоротать время, довольно суровым способом, но все же помогает. Бездействие же и ничем не заполненная разлука — сами по себе достаточное бремя. Я всегда думал, еще до того, как уехал, что тем, кто остается дома, тяжелее, чем тем, кто уходит на войну. Бесконечное ожидание, томительные долгие месяцы нелегко вынести. Я даже думаю, что эта разлука, эта раздельная жизнь не всем по силам, и будет много разрывов оттого, что люди отвыкнут друг от друга. Затянувшаяся война привела в области чувств к результатам, которые вначале не были заметны. Например, когда Г. овдовел, в первые дни он уверял, клялся, что никогда не вернется на свою прежнюю квартиру в Клиши, а теперь он дал мне понять, что дол-

гое пребывание на фронте сильно облегчит ему возвращение домой. У меня от этого сжалось сердце. Мы с тобой не такие, но у других чувства притупляются быстрее, и люди в самом деле отдаляются друг от друга оттого, что разлучены обстоятельствами. Я с глубокой горечью замечаю следы этого отчуждения в разговорах своих товарищей. Чувствуется, что они все больше освобождаются от прошлого. Они изменяют своим прежним привязанностям, вопреки своей воле и часто даже не замечая этого. Надо, однако, сказать, что с некоторыми происходит противоположное. Они все больше тоскуют, теряют мужество и терпенье. Недавно вечером, перед сном, я рассеянно слушал своего рода монолог одного солдата, который вполголоса читал письмо от жены и с горечью, с отчаянием комментировал каждую фразу: «Береги себя, дорогой, заботься о своем здоровье, напиши, чего тебе не хватает» и т. д. Он бормотал: «Да как же читать такие слова? Хочется плакать, башку себе разбить!» Бедняга точно с ума сошел, и мне было глубоко жаль его.

Вчера я два часа провел с доктором Л. С самого начала войны он пишет роман — по странице в день. Вот счастливчик! На каждой стоянке он подолгу остается со своим госпиталем. И тут ему тоже везет! Прежде жил в великолепных замках, а сейчас устроился в походном домике из дерева и брезента, там есть и складные столы и табуретки. Все так опрятно, гигиенично. Мне даже завидно стало.

Насчет отпуска ничего нового. Если бы я похлопотал, то, вероятно, получил бы его вне очереди, так как из всего медицинского отряда я один отмечен в приказе по бригаде, но мне вовсе не хочется этого делать. Ходит слух, что скоро в отпуск будут отправлять целыми партиями и к середине сентября все закончится. У меня берут письмо. Не перечитываю его.

8 августа 1915 г.

Маленькая моя изгнанница, говорят, через два дня по распоряжению свыше письма придется сдавать незапечатанными: цензор будет их просматривать и разрешать к отправке только в том случае, если в них не окажется каких-либо запрещенных сведений или комментариев. Скверно то, что читать письма поручено офицеру, который знает нас обоих, поэтому противно будет приводить малейшую подробность личного характера или касаться своего, душевного. Полагаю, что эта мера временная и вызвана необходимостью держать в тайне какие-нибудь военные операции или события, но, как бы то ни было, пока она действует, я буду писать лишь открытки, как можно более краткие. Предупреждаю об этом, чтобы ты не удивлялась.

Бродил сейчас около дома, где устроился почтарь: говорят, что в пути у него поломалась тележка! Вот беда!

Я вернулся опечаленный, сел за стол, покрытый клеенкой, и продолжаю свою бессвязную беседу с тобой, банальность которой ты, надеюсь, простишь мне. Днем я гулял в лугах, окружающих замок. Мне встретился какой-то неблагоразумный солдат, который нес в клетчатом платке

грибы, собранные в поле, — «на большую сковороду», как он сказал. Он посмеялся над моими советами быть поосторожнее с грибами: «Не беспокойся. Не в первый раз я тут грибы собираю да ем. Я их сейчас поджарю, яичком залью и уж то-то, брат, вкуснятина будет!» Потом он пояснил: «Знаешь, братец, у меня хороший аппетит, и надо же мне как-нибудь брюхо набить. А наши ротные кашевары чем нас угощают? С этого сил не наберешь. Нынче утром они нам такое варено подсунули... никакой в нем основательности нет, трава, да и только, верно тебе говорю; съел — будто стакан воды выпил, ни дать ни взять». И он пошел жарить свои грибы. Хоть бы они не повредили ему!

100

25 августа 1915 г.

Дорогая девочка, мне сейчас сказали, что дней через пять меня отпустят на побывку! Вот видишь, не затянулось дело...

Утром я написал тебе письмо и отправил его обычным путем; я общал тебе в нем о моем близком отъезде, но в тот момент у меня не было такой уверенности и определенности. Надеюсь, что это письмо на парижский адрес с пометкой «не пересылать», которое я передаю с одним отпускником, застанет тебя в Париже, как бы мало ты там ни пробыла, прежде чем, получив мою телеграмму, ты отправишься в Омон.

Я уже писал тебе утром, что пользуюсь льготами, на которые мне дает право мое положение добровольца. Я иду вне очереди и, как только все формальности будут выполнены, сейчас же выеду. Из окопов, вероятно, попаду прямо в Омон, так как сегодня вечером нас перебрасывают в этом направлении. Вот поистине будет смена декораций!.. Не прекращай писать: весьма возможно, что отпуск отсрочат. Когда наверняка буду знать число, сообщу, и тогда уже не присылай писем.

До свиданья, дорогая. Теперь уже в самом деле до скорого свиданья. Это чудесно и так неожиданно! Правда?

Я приеду в Крей около четырех часов дня. Не знаю, когда оттуда есть поезд на Шантийи. Быть может, удастся попасть в Омон из Крея или Шантийи на велосипеде.

101

27 августа 1915 г., 7 часов

Дорогая, только что послал тебе письмо. Шел сильный дождь; омерзительная, хмурая и холодная погода. Я шагал по скользким и грязным дорогам, по полным воды рытвинам, под ветвями, с которых капала вода, и нескончаемым ливнем. Бросив письмо в ящик, который находится в конце единственной в этой деревне улицы, я отправился к оставшемуся здесь военврачу: я неважно себя чувствовал, кашлял и хотел, чтобы он меня осмотрел. Я весьма меланхолически размышлял о том, что бывают часы, когда все кажется унылым и все неприятности обрушиваются разом: недомогание, сорвавшийся в последнюю минуту отпуск, осенний дождь... И я думал о том, что три дня назад в этом же месте стояла чу-

десная погода, а я только что узнал, что по мановению волшебной палочки отпуск мой из весьма неопределенного будущего передвинулся в весьма определенное настоящее, и представлял себе, как ты в этот миг наслаждаешься дивной погодой в уютном уголке залитого солнцем сада. Какой контраст, не так ли?

Я опустил письмо. Поговорил с врачом, который осмотрел и совершенно успокоил меня. Хоть одной заботой меньше. Даст бог, рассеются и другие, и появится надежда. Смотри-ка, после мерзкой дождливой ночи и топанья по непролазной грязи погода с утра понемногу налаживается. Мы загораем на дорогах, тщательно следя за тем, откуда мы вытаскиваем ногу и куда ее ставим, чтобы не увязнуть. Пройти шесть километров до К[юффи], где по плану, о выполнении которого я тебе писал, мы пробудем неделю, предстоит по скверной дороге, но зато небо сегодня днем приличное, а в воздухе даже веет легкой прохладой. Впрочем, все уже собираются и, попользовавшись каждой вещью в последний раз, тщательно упаковывают ее.

Посылаю тебе четыре негатива: их надо промыть и по одному, наиболее удачному экземпляру каждой фотографии оставить для альбома.

102

9 сентября 1915 г.

Пишу тебе стоя, опершись о скат бруствера. Приятный, легкий ветерок. Вчера была осень, сегодня весна. Что прекрасно, так это то, что отпускники уезжают скопом и благодаря этой системе моя очередь приближается. В конце концов, быть может, ждать осталось не так уж долго. . .

Дошла ли уже моя посылка? Наверное, еще нет. Я ведь тоже еще не получил обещанных сногшибательных даров.

Раздают письма. Мне два! Отлично, отлично. Я очень доволен. К тому же я надеюсь, что и ты сейчас получаешь сразу пачку. На этот раз я в укрытии глубиной шесть футов. Мы с товарищами тесно сгрудились вокруг ацетиленовой лампы, которая воняет, как южанин после обеда. Я рад узнать, что ты себя хорошо чувствуешь, малыш. Но меня беспокоит и огорчает твое безденежье. Ломбард! Черт возьми! Не мог сдержать гримасу, когда читал этот грустный кусок твоего письма. Сколько это сулит лишений! Даю свое согласие, ибо полагаю, что дело не терпит отлагательств.

103

11 сентября 1915 г.

Крошка моя, вдруг получил сразу два твоих письма. Почтарь на этот раз собственной персоной появился в окопах и вручил их мне, когда я грелся на солнышке, сидя на ступеньке у входа на перевязочный пункт, который зовется «Укрытие-кровопролитие». Здесь есть всякого рода укрытия, начиная от «Укрытия-убития» и до «Укрытия-прожития», «Укрытия-камнедробития» и т. д.

Вот тебе пример окопного остроумия.

Что я делаю? Хожу подбирать раненых, когда они есть. Когда нет раненых, сплю или сворачиваю козью ножку, сидя на мешке с землей или на ступеньке у перевязочного пункта, а то и прямо на земле. Вчера над нашими головами шел ожесточенный воздушный бой. Бомбардировка непрерывная. Но место, где мы находимся, безопасное. На передовой — другое дело: там очень опасно. Раненых подбираем по ночам и перетаскиваем на носилках. Мертвых тоже. Вчера я нес одного. Скверная работенка: уж очень крутые повороты в ходах сообщения. Трудно вообразить, в какой клубок они тут запутались. Идешь, идешь по ним часами и не очень-то продвигаешься. Сегодня вечером уходим на отдых, — на неделю. Не знаю, получила ли ты мои последние письма. Я писал, между прочим, что теперь очень быстро и очень многим дают отпуска; если так будет продолжаться, то через пару недель тут не останется ни души.

Завтра привезут посылки. Надеюсь получить наконец твои изумительные дары.

104

19 сентября 1915 г.

Любименькая моя. Увы, дело гиблое: отпуска временно прекращены. Идет усиленная подготовка к наступлению. Артиллерия собирается нанести сокрушительный удар, какой немцам не снился даже в самых кошмарных снах. Все генералы один за другим приезжали сюда сообщить нам об этом. А я, — помни это, — буду в безопасности, позади своего полка, в убежищах, прочных и надежно укрепленных: их подготавливают, так как наверняка будет много раненых.

Сегодня письма от тебя нет. Хотелось бы надеяться, что хоть почтовое сообщение не будет прервано! Это было бы уж слишком! Погода прекрасная, и я думаю о тебе и об Омоне. Я очень отчетливо вижу каждую черточку твоего милого личика, представляю себе в мельчайших подробностях сад, залитый ярким солнцем, которое светит и мне тоже.

Сегодня вечером идем в окопы. Посылаю фотографию: маэстро Копп, полковой дантист, выдергивает зуб. Теперь я мало снимаю, берегу пленку для важных событий.

Говорят, отпуска прекращены не надолго.

105

Открытка (почтовый штемпель 21 сентября 1915 г.)

Дорогой малыш, спешу черкнуть тебе всего пару слов, чтобы открытка успела уйти сегодня. Почтарь уже стоит у меня над душой. Скорее! Скорее!

Живу ничего. Утро лучезарное, хотя ночью было прохладно.

Думаю о тебе, душенька, и целую тебя тысячу раз!

23 сентября 1915 г.

Четыре дня мы провели в «немецких окопах», на перевязочном пункте. Солнце, широкая, не очень прямая траншея, могилы, кухонные плитки, сделанные из продырявленных котелков. Спали в «комендатуре» на носилках — Паран, Конт, Дюперен и я. В это глубокое подземелье ведет крутая лестница. Сделано оно немцами. Тут есть даже застекленная дверь, которую захватчики привезли в своем обозе откуда-нибудь с Севера. В землянке невероятно сыро и темно. Волгая, как солдатский табак, солома кишит крысами и вшами. Пахнет плесенью. Здесь я четыре дня варил себе на спиртовке кашу. У Моннио забавная землянка: отдельная столовая, а кухня — под открытым небом (шлю фотографию). В последний день, поджидая смену, мы собрались кучкой в полном снаряжении на перекрестке ходов сообщения. Уже были сумерки, так как теперь в шесть часов почти совсем темно. Мимо нас, тяжело ступая, проходили солдаты, тут сделали привал. Под холодным дождем они грузно опускались на мокрую, скользкую землю. Они шли из Шелера (за двадцать пять километров отсюда) на передовые позиции. Каждый тащил скатку, винтовку, двести патронов, четыре гранаты, мешки с землей, сумку с провизией. Люди совсем измучились. Позднее мы узнали, что из окопов их поведут в атаку, которая назначена на 25-е. Вслед за ними прошел отряд 246-го маршевого батальона, солдаты несли лопаты и кирки — их послали на земляные работы на высоте 119; на другой день мы узнали, что пятеро из них убито и несколько человек ранено.

А смена все не является. Не знаем, что и делать. Уже совсем стемнело, дождь усиливается. Наконец решили залезть в «комендатуру», надеясь, что смена придет только на рассвете и в ожидании ее можно будет поспать. Слышим, что наверху дождь шпарит вовсю, и вдруг — плеск ручья. Прежде чем мы успели сообразить, в чем дело, наше подземелье залило водой. Возможно, что где-нибудь обвалилась стенка или какой-нибудь изобретательный кашевар отодрал доску от обшивки, чтобы развести огонь, — словом, вода, протекавшая в траншее, проложила себе путь, хлынув водопадом по лестнице, и затопила нашу нору! Спасаясь от наводнения, мы забралась в наклонный ход, вырытый тут в меловой почве. Сгрудились, сели на корточки, а к нашим ногам подбиралась вода, как в «Жерминале»⁵¹. В этом положении провели всю ночь. Скверная была ночь: пошевелиться нет возможности, кругом со всех сторон мешки, патронташи, скатки, колени и ноги товарищей; при каждом движении чья-нибудь консервная банка врезалась мне в бок или в живот. Все же я раза три дремал по нескольку минут. На рассвете мы отправились в Камблен л'Аббе. Пришли туда к пяти часам.

24 сентября

Ходит слух, что сегодня вечером будет большая атака. В половине четвертого полк собрали. Полковник прочел нам обращение генерала Жоффра⁵², призывающее солдат к «решительному удару». В обращении говорится, что атака пойдет по всему фронту, — в ней будут участвовать

тридцать пять дивизий под командой генерала Фоша, сорок пять дивизий под командой генерала Кастельно⁵³ и пятнадцать (?) кавалерийских дивизий, из них пять — английских. К девятому мая в нашем секторе было всего триста орудий тяжелой артиллерии, сейчас их — две тысячи, кроме того, три тысячи полевых орудий и вдоволь снарядов.

Солдаты готовятся. Осматривают сумки, запас провианта. Я видел капрала Орлона, он со своими саперами ходил перерезать колючую проволоку, а теперь ему предостоят другие, не менее опасные задания. «Верная смерть», — говорит он.

Выступление назначено на девять вечера. С шести часов в нашей роте началась проверка оружия, последние сборы; настоящая театральная декорация: пещера разбойников, которые при резком свете огоньков, мерцающих над соломой, раскиданной по мокрой, истоптанной земле у разрушенных стен, собираются «на дело». А во дворе «Фермы немых» раздаются крики, песни. Кто-то говорит мне: «Знаешь, некоторые сейчас плясали прямо на навозе». Все части, которые были сегодня в окопах, более или менее пьяны. Вокруг нас люди размахивали руками, яростно спорили, выкрикивали грубые, глупые шутки — уши вянут! — а в ответ гремел хохот. Выступили около девяти часов по дороге, уже хорошо нам знакомой. У «Фермы повешенного» (вот еще одно название, которое надолго мне запомнится) мы увидели вереницу грузовиков, а в поле стояли части под мелким дождем — он опять принялся моросить. Мы получили все необходимое для перевязочного пункта: носилки, мешки с перевязочными материалами, опрыскиватели Вермонта против ядовитых газов — и двинулись к окопам, сначала через ход сообщения «Одинокого дерева», потом через «Лес повешенного» и дальше. Из 123-го хода сообщения не могли выбраться с двенадцати до двух часов — пробка. Наконец пошли по Выбитой дороге, а затем по опушке Бертонвальского леса. Дождь. Трава мокрая, скользишь по грязи. Приходится перепрыгивать через ходы сообщения. Канонада, как водится. Долго плутали по равнине, наконец добрались до Бертонвальского укрепления. В этом неиспользованном пулеметном гнезде устроили временный перевязочный пункт. Прикрытие рассчитано на четырех человек, а набилось в него человек шестнадцать. Некоторым пришлось остаться под дождем. Я сидел, прижатый к столбу, на земляной скамье, служившей подставкой для пулемета. Ногами не мог пошевелить, так как в яме у этой приступки вытянулся капрал Делорм. Как и прошлую ночь, я дремал несколько минут. Все тело ломило, руки-ноги затекли, я измучился, совсем ошалел и раскис. Кофе, который принесли товарищи, подбодрил меня.

25 сентября

Все еще ждем наступления. Говорили, что оно начнется в пять утра, но и после пяти канонада не превратилась в массивный артобстрел. Постепенно выстрелы стали учащаться. С десяти до двенадцати сильная бомбардировка. Долгие и грозные раскаты, злобещий треск со всех сторон... Вокруг нас появляется все больше людей. Видно, как по равнине

движутся войска. Дождь усиливается. Земля превратилась в болото. Ходы сообщения залиты водой. В четыре часа идем вперед, в «немецкие окопы», занять перевязочный пункт. Видели равнину, усеянную мертвыми телами. Справа идет атака. 282-й пункт. Остановились тут. Убежища нет, каждый устраивается, как может. Ночью я писал за столом главного врача. Рядом со мной смазывали йодом и перевязывали раны. Раненые мало что знают. Они ходили в атаку, их поливали из пулеметов, которых наша артиллерия не задела. На других участках, однако, дела шли лучше. По слухам, взяли Суше⁵⁴.

Видел сейчас немецкий окоп, в котором был четыре месяца тому назад, когда пришли сюда. Деревянные крепления из него вытащили, он до половины заполнен грязью, постепенно сравнивается с землей, и я с трудом по бесформенным очертаниям мог узнать «Виллу Glück auf». Землянок не найти: их стенки обвалились, все забито мокрой, липкой землей, заполнено трупами. Я едва различал места, где прежде были убежища.

Вечером отправились в то убежище, где помещается центральный перевязочный пункт. Чем ближе к нему подходишь, тем ужаснее дорога. В темноте видны мертвецы, скорчившиеся в окопах, разрушенных снарядами. Наконец, измученные, мокрые от пота и дождя, отяжелевшие, грязные призраки добрались до низкой двери перевязочного пункта. Туда ведет длинный ход пятнадцатиметровой длины и метровой высоты. По скользким ступенькам этого кошмарного коридора надо спускаться на четвереньках. В самом убежище можно ходить, только согнувшись в три погребели. Чуть выпрямишься — трах! — ударишься головой или спиной о потолочные балки. Я раз двадцать слышал фразу: «Хорошо, что на мне каска, а то бы голову себе проломил». Было уже десять вечера. Пора посылать смену на другой перевязочный пункт, в окопах первой линии. Туда назначили помощника врача Демелена, санитаря Плезанса и меня. Опять мы нагрузились мешками, в темноте выползли на четвереньках по кошмарной лестнице. По-прежнему лил дождь, идти пришлось еще более открытыми переходами. Наконец добрались до окопа, занятого нашими наблюдателями. Стараемся двигаться бесшумно. Говорим шепотом. Идем согнувшись, чтобы не высывалась голова, так как бруствер местами снесен обстрелом. Из немецких окопов непрерывно летят пули. Перевязочный пункт первой линии устроен в маленькой, низкой землянке, где могут поместиться три человека. Мы сменили находившихся там врача и санитаров 204-го полка. Сидели одни в нашей норе, невольно прислушиваясь к пушечным и ружейным залпам. Немцы догадались о нашем намерении атаковать их и, возможно, ночью сами пойдут в наступление. Иногда перестрелка усиливалась. Слышно было, как взводные говорили солдатам: «Дайте несколько тревог». Так мы провели всю ночь. Атаки не было — лишь несколько тревог; гранаты и шквалы 75-миллиметровок. В четыре часа утра, чуть рассвело, я вылез из норы. Увидел то, чего не разглядел, когда мы пришли ночью: грязный, развороченный окоп и груды мертвых тел. Наши наблюдатели с землистыми, осунувшимися лицами осторожно смотрят в амбразуры. Один подзывает меня и пока-



*Анри Барбюс на привале.
Фотография*

зывает вереницу солдат, которые идут по равнине в тусклом свете зари. Кто это? Вероятно, наши возвращаются с земляных работ. Подходит лейтенант Орих. Его тоже заинтересовали люди на равнине: рассмотрев их в бинокль, он заявляет, что это наши, но не может понять, откуда они взялись...

Вдруг пронесся слух, что немцы бросили свои окопы первой линии и между ними и нашими позициями преспокойно разгуливают наши парни. Появляется сержант М. Он приплясывает от радости: ходил сейчас на гребень высоты против нашей позиции, и ему пулей пробило руку. Он в восторге: будет отмечен в приказе и рана «выгодная». Его перевязывают. Тем временем наши солдаты запрудили долину, все радуются этому ночному бегству немцев, видя в нем доброе предзнаменование, и каждый старается найти какие-нибудь «сувениры».

Однако немцы, укрепившись немного подальше, обстреливают нас без перерыва; на пункт приходят раненые, Демелен их перевязывает.

Около двенадцати часов роты, занимавшие наш окоп, получают оружие (каждому вдобавок к винтовке выдают по две гранаты, многим — браунинги и ножи) — и они выступают. Они должны атаковать немец-

кие окопы. Идут с большим подъемом. С нашей стороны ужасающая канонада. Гребень высоты 119-й, где сейчас находится первая линия немецких окопов, увенчивают черные облака от взрывов, они сливаются в непрерывную полосу, словно на гребне позиции вдруг появилась дорога, обсаженная облачными деревьями. Ясно видно, как обезумевшие люди, словно затравленные звери, прыгают в ямы, мечутся, не зная, куда деваться. Эти люди, затравленные выстрелами неумолимых пушек, производят такое впечатление, что стоявший со мной санитар не может выдержать страшного зрелища, он опять залезает в нашу нору и пытается читать газету, которая дрожит в его руках. Затем орудия смолкают. Начинается атака. Скоро к нам приходят раненые, а немцы, в свою очередь, усиленно нас бомбардируют. Мы получаем от главного врача приказ устроить перевязочный пункт в окопах, брошенных немцами.

27 сентября

Идем туда по разрытой дороге, под ужаснейшим артобстрелом, спотыкаемся, прыгаем через трупы: один весь скрючился, другой вытянулся, с него сорвало одежду, и под толстым слоем грязи едва можно различить очертания его тела. На полпути, в овраге, останавливаемся в нерешительности. Где же место, предназначенное для перевязочного пункта? Нам указывают, где оно. Но как его разыскать под таким градом снарядов? Я вызываюсь пойти в разведку, затем возвращаюсь за врачом и двумя санитарями, которые сменили Плезанса, аббата Буле и Дюперье. По открытому месту доходим до бывшего немецкого окопа, — в нем полно винтовок, гранат, патронов, солдатской амуниции. В стенках окопа зарыты трупы: торчат где сапоги, где голова.

Раненые лежат в тесных одноместных землянках, куда еле влезает ползком по грязи.

Утром немцы прекратили бомбардировку. Мы выходим из убежищ и даже из окопа. Вижу, как наши снаряды разворотили позиции во время усиленной бомбардировки, подготовившей атаку двадцать пятого числа.

Трупы. В одном узнал М. — товарища по восемнадцатой роте, молодого, красивого парня, с мужественным и серьезным лицом; одна нога у него была вся раздроблена, лицо, искаженное гримасой, перекосилось, и лежал он в какой-то нелепой позе, словно цирковой клоун. Подальше виднелись большая и малая берцовые кости, а еще дальше — скелеты в лохмотьях: это солдаты стрелкового полка, убитые в атаке 9 мая.

К вечеру пошли обратно. Ход сообщения, который идет вдоль вышоты, так разворотило во время бомбардировки, что часть пути пришлось идти по равнине под артобстрелом. Вечером наконец вернулись на центральный перевязочный пункт у Пилонской дороги.

107

3 октября 1915 г.

Дорогая моя деточка!

Мы отправляемся на отдых. Это очень кстати, потому что шинели наши все в грязи, а сумки с продовольствием малость отошали. Очень хочется как следует помыться. Все прошло хорошо. Ура! Еще раз браво твоим омонским трудам.

Стократно твой А.

108

8 октября 1915 г.

Дорогой малыш, как я рад! Получил от тебя два письма и, читая их, делаю вывод, что вынужденный перерыв в переписке, судя по всему, кончился. Дай-то бог, потому что нет ничего тягостнее, чем эта постоянная неуверенность в судьбе нескольких коротких строчек, которые летят от меня к тебе, и твоих дорогих ответов, содержащих дневник омонской жизни.

У нас был большой бой, и полк проявил себя наилучшим образом. К сожалению, дождь и грязь были по своему обыкновению тут как тут! Пробираясь по ходам сообщения на передовую, приходилось порой проделывать акробатические номера, чтобы не увязнуть в рытвинах. Но это не помешало нашему продвижению вперед, и не далее как вчера я разгуливал по опустевшему с утра немецкому окопу. Чувствую себя прекрасно и снова вышел из недельных боев целым и невредимым. Меня опять отметят в приказе⁵⁵.

В самом деле, напишу-ка я невестке господина Б., чтобы она заказала мне башмаки. У моих верх совершенно разваливается. Они безотказно прослужили мне десять месяцев, вместе со мной шагая по воде, булыжникам и проселочным дорогам. Молодцы... Но не будем сентиментальничать. Ведь здесь очень сыро — не небо, а артезианский колодезь — и холодно. Скоро, через пару недель, тебе придется заняться новым спальным мешком. Мой не распоролся и не порвался, но ты его не узнаешь. Вся чертова кожа полопалась, и отовсюду торчит подкладка. Думаю, что больше мне на случай непогоды ничего не понадобится, разве что гетры, впрочем, мои краги пока еще в норме. Недавно мне выдали новую форму и даже положенную по уставу фуфайку.

Повторяю, мне очень недостает любимых сигарет, но вовсе не так сильно, как раньше. Я пристрастился к трубке. Что еще сказать? Мы так много сделали, что, несомненно, заслужили долгий отдых; думаю, с отпусками станет гораздо легче. Наверняка я еще ничего не знаю, но мне кажется, что у нас есть шанс встретиться раньше, чем мы думаем. Эта перспектива меня восхищает, чарует; от нее сердце мое начинает биться сильнее.

11 октября 1915 г.

Девчурка, я доволен: получил от тебя длинное письмо... Прошлую ночь я провел в окопах, спал в землянке. Вечером, с семи до девяти, я, капрал Конт, санитар Моннио и старший санитар Буле болтали в этом погребе. Он очень тесный, и мы с Моннио из-за нашего высокого роста не могли вытянуться во всю длину. Залезать в эту темную нору нужно по наклонному ходу, и, если не съежишься, не пригнешься, стучаешься о стенки. В самой землянке полно банок из-под консервов, ржавых штыков, обрывков мешковины, грязной соломенной трухи и т. д. Вчера, как пришли, прибрали, почистили немного, потом постелили на землю брезент, другим полотнищем брезента занавесили входное отверстие, воткнули в землю штык, а на него — свечку и при свете ее болтали о всякой всячине. Буле — священник из Арфлера, но он совсем не клерикал, даже высказывает весьма передовые взгляды (и как будто вполне искренне). Конт — учитель, а Моннио до войны состоял представителем какой-то фирмы по продаже минеральных вод, но главным образом он спортсмен. Мы были похожи на заговорщиков или на разбойников в подземном логове. Раздеваться и разуваться в окопах запрещено, поэтому я только накрылся спальным мешком, а под голову положил сумку. В шесть утра нас разбудили: принесли кофе. В половине восьмого мы с Моннио отправились на поле, изрытое воронками от снарядов, усеянное обрывками колючей проволоки и трупами. Шли мы по необычной дороге: все деревья по обеим ее сторонам срублены (чтобы немцы не обнаружили дорогу по линии деревьев). Зрелище такое унылое, что трудно вообразить. Я сделал два снимка (на новой пленке, которая уже послужила мне для рискованного эксперимента: я снял высоту 119 во время обстрела). У нас уже несколько дней не смолкает канонада. Начинаешь свыкаться с этим непрерывным грохотом, и для глаза становятся привычными взлетающие на горизонте клубы дыма, черные — от фугасных снарядов и белые — от шрапнели.

Вернувшись с этой мрачной и волнующей прогулки, мы расположились около окопа; сиденьем нам служили решетчатые мостки для перехода через окопы — мы их положили на козлы, обтянутые колючей проволокой. Бруствер скрывает нас от «колбасы» (немецкий аэростат-наблюдатель), но от ветра защищает плохо. Зажечь трубку — целая история (я только что это испытал), а бумаги на грязном столе приходится придерживать с помощью пресс-папье, иначе говоря, ржавого затвора немецкой винтовки, который мы подобрали в грязной траве. Утренний туман рассеялся, и погода прояснилась, так что видимость прекрасная. Вдали заметны лошина Суше, поселки Льевена, а поближе — изборожденные окопами холмы Н[отр]-Д[ам] де Л[орет]. На равнине лежат в одиночку бедняги солдаты, растерзанные снарядами; в ста шагах от нас — Б[егюнская] дорога, срубленные, расщепленные обстрелом деревья, а на дороге — ряд трупов с почерневшими лицами и вздутыми губами: это несчастные, задохнувшиеся солдаты, которых третьего дня извлекли из разрушенного окопа. Время от времени санитары приносят тело оче-

редного страдальца, с трудом уложенное на носилки. На равнине уже появляются кости: недавно я видел в воронке от снаряда большую и малую берцовые кости и черную иссохшую ступню, а сегодня в широкой яме, вырытой снарядом стопятимиллиметровки, заметил обуглившуюся скрюченную руку — только руку.

Не знаю, сколько времени мы тут останемся. Возможно, что долгожданый отдых, а затем отпуск уже недалеко. Живу этой надеждой, поддерживая себя ежедневными маленькими надеждами на письма. Жду груши (получу их только по возвращении и буду, как полагается, печь их с сахаром).

110

13 октября 1915 г.

В нашей жизни и на нашем участке окопов ничего нового. По самым авторитетным слухам, мы пробудем здесь еще четыре дня, а 18 вечером или 19 утром вернемся на отдых.

Растянувшись в погребке, о котором писал тебе вчера, и смутно слыша наверху, в окопе, шаги парней, которые топают по мокрой, липкой грязи, при свете свечи, горящей на воткнутом в стену штыке, я думаю о том, что вот уже середина октября и прошел целый год с того дня, как я ждал тебя на вокзале в Альби. Тогда я был в штатском, от которого за десять месяцев уже отвык. Столько всего произошло со времени твоего приезда в Альби, а у меня все равно не укладывается в голове, что прошел целый год. Да, уже год, как я покинул свою монастырскую келью; тринадцать месяцев, как я уехал из Парижа, и четырнадцать, как мы уехали из Омона. С тех пор сменились все времена года: сейчас все пошло по второму кругу: в шесть часов в окопе уже темно, а в семь часов на печальной равнине, освещаемой ракетами, вспышками оружейных залпов и пожарами, наступает ночь.

Вот-вот придет почтарь. Быть может, меня ждет продолжение омонского дневника. В конце концов, хорошая погода, которой ты наслаждалась до самых последних писем и на групповом снимке, полученном мною вчера, вполне может продлиться всю осень. У нас погода хорошая, гораздо лучше, чем в сентябре, гораздо лучше, чем в прошлом году. Даже дождь перестал моросить, и — сейчас 2 часа — выглянуло солнце.

Малыш, ты должна описать мне кучу вещей. Как можно больше отдыхай, это порадует меня больше всего.

111

13 октября 1915 г.

Я ничего не писал тебе о благодарности в приказе, так как она еще не утверждена и официально не объявлена. Просто сделали представление, но, пока его не утвердили, ничего нельзя сказать наверняка. В начале атаки я добровольцем работал на перевязочном пункте, устроенном в наших окопах первой линии. После атаки ходил на разведку в поисках места для перевязочного пункта в окопах, брошенных немцами. Пробираться туда пришлось по разрушенному ходу сообщения под сильным

артобстрелом, так как немцы открыли заградительный огонь с высоты 119. Думаю, что на этот раз меня отметят в приказе по дивизии или по корпусу, — это дополнит и украсит мой крест. Но подождем, подождем. . . Я тебя не обманывал, когда писал, что не подвергался особой опасности. Было лишь несколько трудных моментов. В Круи я, конечно, был в более опасной переделке. Зато на этот раз я принес полку больше пользы.

Здесь все по-прежнему идет хорошо, а я прекрасно себя чувствую. Посылаю василек с холмов Артуа.

112

18 ноября 1915 г.

Дочурка, кончено: я уже не в 231-м полку и больше уже не санитар. Я — солдат 9-го взвода, 14-й роты, 8-го территориального полка. Впрочем, я остался в том же секторе, передвинулся только на два-три километра. Не знаю еще, в чем состоят мои обязанности. Судя по тому, что говорят, придется, вероятно, рыть, исправлять и защищать окопы второй линии. Разумеется, опасности гораздо меньше, чем в 231-м полку. Подробности сообщу, когда все разузнаю. Перевод в другой полк вызовет, конечно, задержку писем, и несколько дней я не буду получать от тебя вестей. А затем все пойдет, как раньше, и может быть лучше.

Происшествие: я потерял свой крест. Должно быть, он упал в солому. Пришли, пожалуйста, другой — с пальмовой ветвью и с бронзовой звездой — и хорошую заколку, чтобы покрепче держался.

На этом прощаюсь с тобой, сейчас будем обедать. Целую тебя много-много раз, дорогое мое сердечко.

Пиши: 164-й почтовый сектор, 8-й территориальный полк, 14-я рота, 9-й взвод, солдату Анри Барбюсу.

113

18 ноября 1915 г., вечер

Дорогая, наступил изрядный холод. Ночью было морозно. Сегодня тусклый свет разливается над оцепеневшими полями. Мы сейчас в деревне Кошен ле Галь (надеюсь, это не секретное сведение). Место красивое — тут, должно быть, хорошо жить на даче. Разместились мы в овине, где основательно поддувает, но у меня спальный мешок, поэтому я не мерзну. Все еще жду новостей и надеюсь, что завтра, до того как уйдет почта (письма вынимают в 3 часа), я смогу сообщить тебе какие-нибудь подробности о моей будущей службе. А сейчас остается только ждать да шататься по деревне. Тут есть маленькие кабачки, где за два су можно выпить кружку пива или чашку кофе. В одном из этих заведений я и пишу тебе за чашкой кофе; здесь полным-полно солдат, пехотинцев и артиллеристов, они болтают и, разумеется, курят.

19 ноября, вечер

Продолжаю свое письмо в том же самом кабачке. С волнением вспоминаю тот короткий вечер, когда мы с тобой играли в домино в кафе Крейской гостиницы⁵⁶. Здесь не так шикарно, и вместо столиков белого

мрамора стоят грубые столы и скамьи из нетесаных досок. Нет тут и щеголеватых разномастных офицеров, кругом — простые, самые простые солдаты. Они говорят о войне, о своей жизни, о еде, и каждый напичкан колоритными анекдотами о начальстве. Как и вчера, когда я около трех часов дня опустил первое письмо и начал затем второе, я еще не знаю точно, что нас ждет. Сегодня мне выдали винтовку и патроны. Говорят, мы пробудем здесь на отдыхе две недели. Я еще не получил ни одного письма. Вот и все новости. «Негусто», — как говорил Наполеон. «Кто знает, что ждет нас завтра?» — как говорил Виктор Гюго. Живу воспоминаниями и мыслями о тебе, моя дорогая, милая крошка.

114

26 ноября 1915 г.

Дорогой, любимый мой цыпленок, я ходил сегодня на земляные работы. Неопишуемые дороги: каша-размазня, кофейный кисель, горчица и большие мутно-бурые лужи. Вдоль всего пути — разрушения и руины. Весь А[блен]-С[ен]-Н[азер] еще больше поврежден, разгромлен. Вместо дома, где я жил в конце мая (недалеко от того места, где Сюилар снял меня возле трупa немецкого солдата), лежит куча кирпичей, просто-напросто куча кирпичей. . . С семи до двенадцати рыли ход сообщения к окопам. На обратном пути налетел снежный шквал, и картина разрушения походила на декорацию трагической оперы.

Опять я увидел С[уше] (я тебе рассказывал, как я когда-то побывал в этой совершенно разрушенной деревне). Я увидел те же самые трупы лошадей, гниющие в тех же самых круглых лужах, заполнивших воронки от снарядов, и все то же уму непостижимое нагромождение мельчайших разнообразных обломков. А тут еще слякоть, грязь, свалка. . . Мы прошли мимо «бывшего леса», где стоял «бывший замок» С-ль: теперь это груда щебня, а кругом — колья да расщепленные столбы. Я сфотографировал это место. У моих ног торчали из земли два черепа, между ними лежала разодранная шапка немецкого солдата, к подкладке ее прилипли волосы. От станции С[уше] остались лишь куски перекрученных рельсов, вздыбленные над землей спиральями, кружевной от дыр вагон да нечто вроде виселицы — вот и все. От здешнего сахарного завода сохранились лишь обломки больших котлов. Я сфотографировал и эти бесформенные, зловещие следы того, что было некогда заводом, а также железную трубу, сверху донизу продырявленную, как шумовка, — неопровержимое доказательство ожесточенной перестрелки.

Я сфотографировал, наконец, А[блен]-С[ен]-Н[азерскую] церковь во время снегопада; не знаю, получится ли.

Возвратившись с работ, узнал, что скоро мы уйдем из этого сектора! Нас отведут на отдых (вероятно, куда-нибудь в район С[ен]-П[оля]), а затем перебросят в неизвестном пока направлении.

115

11 декабря 1915 г.

На некоторых участках нашего фронта окопы приведены бомбардировкой в такое состояние, что держаться в них невозможно; необходимость исправить разрушения заставила французов и немцев работать на открытом месте, не обмениваясь выстрелами.

116

19 января 1916 г.

Сегодняшнее утро порадовало меня почти весенней погодой и двумя письмами от тебя. Отвечаю очень кратко, девчурочка, так как хочу что-нибудь сварганить для «Эксцельсиора»⁵⁷.

Через два часа. Отвечаю кратко, хотя и не работал. Занят был поисками карт в фургоне⁵⁸, весьма усовершенствованной повозке, где стены уставлены папками с наклейками, а в папках дремлют карты, каждая на своем месте. Найти что-нибудь на этом складе — история довольно долгая: тут использован малейший уголок и закоулок, приходится все снимать и переставлять, чтобы отыскать то, что нужно.

Я и не знал, что господа Р. такие националисты. В самый разгар войны эти молодчики очень мило агитируют нас отдать последние средства на вооружение, а когда государства выйдут из этой войны почти разоренными, на волосок от банкротства, они постараются развязать новые войны. У них лишь одно оправдание: они, жалкие тупицы, не сознают, что такое война, и не способны этого понять. Но потерпим. Помолчим пока о своих мнениях...

Я был в кино! Ник Винтер⁵⁹ и история «Прекрасной Бретонки»; в главной роли — глупая красotka Робин. А кругом — очень красивые птицы: вороны, сороки, дятлы. Но все это малость затянулось, и боюсь, как бы я из-за этого не опоздал отправить письмо.

Если завтра будет солнечно, попытаюсь сделать пару снимков.

117

26 января 1916 г.

Малышенька, я получил и прочел тот номер «Эвр», где сообщается о моем знаке отличия. Я ведь говорил тебе, что «Эвр» очень хорошо относится ко мне, и повторяю, я возлагаю определенные надежды на эту благосклонность... «Письмо солдата» очень хорошее. В моих заметках есть маленький отрывок в этом же роде, есть даже любопытное совпадение с той фразой, где говорится о всяческих враках относительно кайзера, кронпринца и т. д. Как видишь, я одобряю эту статью, да и большинство статей в «Эвр». Я согласен с критикой, которую изо дня в день ведет «Эвр», за исключением того, что эта газета пишет о социализме, в котором я с математической неизбежностью вижу единственную возможность предотвратить войны в будущем. Никаких других возможностей нет, вот что!

Сейчас я прежде всего стараюсь использовать свободное время, которого, возможно, у меня потом и не будет (начнется двухмесячный период отпусков, и каждому придется выполнять вдвое больше работы), — я собираю записи, коплю строчки, чтобы в подходящий момент превратить их в книгу. «Та еще работенка», как говорил один мой славный товарищ по 8-му полку, старьевщик из Вильмобля. У меня все только еще намечено, набросано черне, мне не хватает сюжетов для отдельных частей, а я уже исписал столько бумажек, что не знаю, куда их девать. Отбором и составлением очерков и рассказов для газет я займусь позднее, а в настоящий момент я накапливаю капитал, чтобы потом с полной свободой перекраивать материал, имея в заглавнике толстенную рукопись.

Надеюсь, что теперь-то Г., как говорится, раскошелился. Если нет, то пошлю ему письмо, на сей раз — заказное. Никакого терпения не хватает. Зло берет, как подумаю, что к однообразию, беспомощности, унылости и скуке твоей жизни добавляются еще и постоянные материальные затруднения и связанные с ними хлопоты, о которых ты пишешь. К счастью, это поправимо, но на все нужно время.

Получил твое письмо от 25, моя девчурочка, и понимаю твои страхи за будущее и тревогу за Примиса⁶⁰. От всех потребуется огромное усилие, и слово теперь — за молодежью. Что касается нас, то мы, как здесь говорят, расхлебали свою долю опасности и риска вначале, а теперь до самого конца войны нам ничто не угрожает — ну разве что случайности.

Что поделаешь, малыш, не будем терять надежду!

118

9 февраля 1916 г.

Нынче ночью я видел тебя во сне: ты была несчастлива, сейчас уже не помню, как и почему, но участь твоя была горькой. Проснувшись, я вспомнил о твоём письме, причине этого сна, и подумал, что хоть положение твое не так трагично и таинственно, как мне снилось, но все же долгие месяцы ты ведешь незавидную жизнь.

К госпоже М. нам лучше сходить вместе, когда я приеду в отпуск — через месячишко или даже скорее. Обсудим втроем в дружеской беседе, можно ли что-либо предпринять, и что именно... Когда буду знать точную дату отъезда, спишусь с ней и условлюсь о встрече.

До тех пор я не смогу ничего послать в газеты по очень важным соображениям, о которых писал тебе, — я объединяю все свои записи... Я буду как можно больше экономить, а во время отпуска надо постараться пореже залезать в мартовские полсотни франков. Кроме того, тут есть еще одно важное обстоятельство, о котором я вспомнил теперь: договор с «Матэн»⁶¹ запрещает мне печататься сколько-нибудь регулярно в других газетах. Значит, когда я приеду, мне придется прежде всего сходить в «Матэн», чтобы все устроить — получить разрешение на определенных условиях и т. д.

Я не посылаю тебе своих записей, они мне нужны: я занят сейчас сооружением большой машины, и мне необходим весь материал для того, чтобы каждый отрывок встал на свое место. А материал мой состоит

главным образом из красочных деталей, их так много, что я не могу держать все в памяти, так сказать «в уме», и заметки мне необходимы.

Но я, конечно, покажу тебе рукопись, а прежде чем идти в редакции, мы вместе посмотрим, какие сделать сокращения и купюры, так как некоторые куски сейчас нельзя будет напечатать. Твое мнение мне необходимо, сам я уже теряю способность разобраться в этом.

Не забудь написать мне насчет моей новеллы о санатории: я хотел бы знать, пошла ли она в печать, и если да, получить экземпляр. В противном случае я попытаюсь разыскать рукопись или восстановить ее по черновикам, оставшимся в Париже (помню, что писал ее на столе в столовой, да так все и оставил). Если бы тебе удалось найти рукопись, то до поры до времени это бы все уладилось.

Прилагаю письма от Пейребрюн⁶².

119

12 февраля 1916 г.

Только что видел Жоржа Скотта⁶³ — цветущего, щеголеватого, в кожаной куртке на меху, в дорогих желтых крагах и т. д. Он приехал к генералу, собирается при его содействии устроить тут гастроли «Комеди Франсез», где он ставит спектакли и даже, по его словам, сочиняет для них пьесы. Мы с ним поболтали немножко о родных местах, то есть о Париже. Он прогуливается по всему фронту и делает наброски. Для художника тут раздолье! Он сказал мне: «Позднее мы изобразим все таким, как это было в действительности, но не сейчас, сейчас об этом даже страшно подумать!»

Как тебе понравилась карикатура на меня? Рисовал ее один здешний чертежник-картограф, уроженец Тарба. Ему хочется приехать в Париж, и он уже расспрашивал меня относительно помещения карикатур в газетах.

Я видел в «Анналь» прекрасные рисунки некоего Жонаса⁶⁴. Вчера я успел немножко поработать, но сегодня меня с самого утра закрутил вихрь канцелярских занятий. До двух часов без передышки я определял координаты батарей при помощи кусочка бристольского картона с делениями по краям.

Приблизительно через три недели я буду в Омоне... Посылаю вырезку из «Кри де Пари» — статейка «Бессмертный». Кажется, в самом деле кто-то из нашего полка решил набросать мой портрет: «Высокий, худощавый человек...». Кто это написал, узнать не удалось.

120

Суббота, 19 февраля 1916 г.

К сожалению, нет возможности работать регулярно и по-настоящему производительно. Пишу помаленьку, урывая минуты в промежутках между канцелярскими делами. Кроме того, в помещении, куда нас заточили, по вечерам холодно — температура неподходящая для славной работы по высиживанию птенца.

Ура! Письмо от тебя.

Статейка в «Кри де Пари» приукрасила меня. Но я уже знаю, что создалась какая-то легенда о моем презрении к смерти и даже желании быть убитым. Эту нелепую репутацию, разумеется, нельзя объяснить ни единым моим словом. Возникла же она оттого, что несколько раз я продолжал стоять в те минуты, когда мои товарищи плашмя бросались на землю, прятали голову в какую-нибудь ямку (и все же подвергались не меньшей опасности, чем я). Очень легко можно прослыть существом феноменальным, если ты не поддаешься панике и под оружийным шквалом или градом пуль не теряешь самообладания. Причем заметь, что я никогда не лез на рожон. Впрочем, я часто слышал, как, стараясь объяснить какой-нибудь смелый почин или умалить чью-нибудь заслугу, люди говорят: «Ну, такой-то! Он ищет смерти».

Относительно Скотта ты, конечно, права. Очень жаль, что Маккиати не видит всего этого. К несчастью, картин войны одним воображением создать нельзя. Видела ты рисунки Жонаса? По-моему, замечательно.

121

21 февраля 1916 г.

Дорогая, это письмо удостоится неслыханной для простого солдатского письма чести: его передаст тебе сам командующий 21-м корпусом: он едет в отпуск и спросил меня, не хочу ли я что-нибудь передать на улицу Лаппаран⁶⁵. Ты, наверно, получила письмо, где я писал тебе, что эта Большая Шишка, царь здешних мест, года три назад приходил ко мне по поводу аренды дома на Ламотт-Пике; с тех пор он обосновался на улице Леон-Водуайе и знает нас и наших собак.

Пользуюсь случаем, чтобы напомнить насчет угля для японских плиток и сообщить, что очень беспокоюсь о письме Б., где он рекомендует тебя своей сестре, где тебя ждет посылка. Пригодилось ли тебе письмо, которое я написал госпоже Г., или она раскошелилась и так?

Мы опять перебираемся на новое место. Снова укладываемся, упаковываем вещи, рассуждаем об обозах, погрузках и о том, в котором часу выступать. Предстоит восьмикилометровый путь. Выступим завтра в пять утра, а придем, по слухам, где-то в пол-одиннадцатого. Я не жалею, что мы уходим отсюда: я сыт по горло ночевками на сквозняке в закопченном подвале и дневным сиденьем в обледеневшей траншее без огня. Хуже быть не может.

Напишу тебе сразу, как получу почту. Но генерал уезжает в 2 часа. Думаю, ты получишь это письмо сегодня вечером или завтра утром. Впечатляющие сроки!

122

21 февраля 1916 г.

Только что генерал — на глазах у изумленной публики! — забрал адресованное тебе письмо и положил его в свой бумажник, обещав передать сегодня вечером.

Когда ты получишь это письмо, я начну устраиваться на новом месте... Постараюсь найти теплый угол, где можно было бы хорошенько порабо-

тать над книжкой, чтобы приехать в Париж с торчащей из кармана рукописью, перевязанной ленточкой. Однако нельзя ни в чем быть уверенным. С тех пор как начались все военные напасти, я сохраняю душевное спокойствие лишь благодаря тому, что, берясь за какое-нибудь дело, говорю себе: «Старина, через минуту тебе помешают». Таким образом, я никогда не испытывал разочарования. Это хороший метод.

123

22 февраля 1916 г.

Поехали. Машина и железная дорога. С утра лезли из кожи вон. Свертки, сверточки, свертищи. О нашей будущей стоянке пока ничего не известно. Пишу сейчас коротко, просто чтобы ты знала, что подробнее напишу завтра.

У меня все хорошо, у тебя, надеюсь, тоже.

124

24 февраля 1916 г.

Дорогой малыш!

Не могу выразить, как я рад, что скоро увижу тебя. Мысль об этом вытеснила из моей головы все прочие, и хотя обстоятельства изменились, я буду так же рад вновь оказаться рядом с тобой, как в первый раз. Вот уже месяц я считаю дни, и все-таки это кажется мне неожиданным счастьем. Но надо быть благоразумным и не забывать, что отпуска могут приостановить. Весьма возможно, что немцы пойдут в наступление, это вызовет переброску войск, и приказ отменяет.

125

25 февраля 1916 г.

Отпуска отменены. Удивительно: вчера перед сном я коротенько написал тебе о такой возможности, а проснувшись сегодня утром, узнал эту новость. Когда отпуска возобновятся, неизвестно. Вероятно, еще не скоро. Сюда мы пришли третьего дня, а послезавтра уходим — неизвестно куда. Как видишь, дорогая, на войне нельзя строить никаких планов, а надо усвоить своего рода солдатскую мудрость: жить день за днем, еще лучше — час за часом. И только.

Получил твое письмо. К Пьеру Пети я зашел бы с удовольствием, будь я в отпуске. Что же касается книги, то дело пахнет мошенничеством — и я воздержусь.

Пошли мне 3-го числа пятьдесят монет и побереги деньги на время моего отпуска, если я все-таки получу его.

126

9 марта 1916 г.

Малыш, письмо это придет к тебе через весьма неопределенное время. Это общее правило. Нашу корреспонденцию временно задерживают и отправят все сразу, когда боевые действия в нашем секторе примут другой оборот. Поэтому я готовлюсь к тому, что твои письма (а они, в отличие

от наших, приходят регулярно) вновь будут полны тревоги и неуверенности. Что делать? Делать нечего. Скорее бы наступил день, когда ты наконец успокоишься и вновь начнется нормальная жизнь! Целую тебя в ожидании лучших времен.

127

19 марта 1916 г.

(Хе-хе, еще один день прошел!)

С радостью отвечаю на два твоих письма, так как вижу, что разумное спокойствие начинает, дорогая, проникать в твое сердце.

Да, время от времени мне еще приходится принимать опиум.

Конечно, соблюдать диету здесь нет ни малейшей возможности: наваристый суп, жирное мясо, а по вечерам полторы кварты дешевого вина. Кроме шоколада и (со вчерашнего дня) варенья, ничего достать нельзя. Я от такого положения дел не в восторге, но долго оно не продлится, на сей раз всерьез поговаривают о том, что мы переберемся на другую стоянку, в деревню, где наша ротная кухня снова сможет готовить более легкую пищу.

Ты предлагаешь замечательное средство. Черт возьми, надо будет попробовать.

Моя книга о войне не будет «новинкой», вовсе нет. Я просто хочу написать историю одного взвода на разных этапах войны и в разных ситуациях. Обработка материала — дело нештучное. Я переписываю, урывая сколько могу времени от трудов канцелярских для труда писателя, но этого мало, потому что сейчас у меня «та еще работенка», как говаривал мой приятель из 8-го территориального полка. Впрочем, ты сама видишь — письма мои недлинные, значит, я всем жертвую: хочу как можно лучше и скорее выполнить свою задачу.

Деньги я получил дней десять назад.

128

23 марта 1916 г.

Любимая моя, я недоволен. Из двух последних писем вижу, в чем дело. Правда, я и раньше догадывался, как сильно ты упала духом. Скажу откровенно, что твоя обостренная чувствительность к военным событиям кажется мне чрезмерной.

У меня же гораздо больше кипела желчь до войны, когда еще можно было бороться против определенных течений в надежде внушить людям хоть немного прозорливости и разума, необходимых для предотвращения бедствия (я вспоминаю некоторые мои разговоры с Барресом и Ренаком⁶⁶). . . Конечно, я еще больше буду кипеть. . . позднее, когда встанет вопрос о том, чтобы избежать новых конфликтов, неизбежных, если только в корне не изменится теперешнее понятие о национальности. Черт подери, если мы будем только портить себе глаза, оплакивая дикость и глупость наших современников, то куда мы годимся. . . Ведь если поразмыслить, то дело защиты будущего, которое находится под угрозой, не менее важно, чем вопрос о миллионе человек, которые ежемесячно убивают и калечат друг друга на полях сражений.

129

24 марта 1916 г.

С утра льет дождь, но теплый и совсем не унылый. Даже ветер не наводит тоски, хотя воет и гудит, как автомобиль на каждом перекрестке. Надеюсь, сердце мое, настроение у тебя стало лучше? Крепись, бодришь, зажмурь глаза и заткни уши. Так сейчас надо.

Вчера к концу дня затрубили сбор, и под окнами дома судейского секретаря, где находится наш отдел, прошли Жоффри, Кадорна, Пуанкаре и Александр Сербский⁶⁷. Я видел их всех со спины.

130

27 марта 1916 г.

Получил два твоих письма — одно из них послано третьего дня. Дело налаживается, налаживается. Мы как будто собираемся пустить здесь корни, а это очень утешительно. С интересом прочел подробности о завтраке у П. Я не думал, что эти П. так морально и умственно опустились. Впрочем, это неизбежное следствие национализма. Ты считаешь, что и Г. дошли до того же? Черт возьми, веселенькое будущее нас ожидает, когда мы вернемся, и какую прекрасную, потрясающую «решительную» войну стремятся подготовить все эти удалыцы.

Много думаю о будущем отпуске, хотя, к сожалению, нет никаких признаков, что отпуска возобновятся. Заранее переживаю радость этих шести дней, которые приберегает мне будущее... Они придут, как и все остальное. Я понемножку работаю.

131

1 апреля 1916 г.

Какая погода, какой свет, какое тепло! Настоящая весна и даже больше, чем дружная весна. Ух! Какое приятное пробуждение от зимней спячки.

Против меня на улице сидят на ослепительно белых ступеньках крыльца две крестьянки, повязав голову платками, чтобы не напекло. Эта картина — предвестник летних дней, и вот увидишь: скоро мы будем жаловаться, что нам слишком жарко.

Прошлый год в это время мы были в Вивьере, я стоял на часах у ворот замка Анри Батая⁶⁸. Помнится, лил дождь, и я больше стоял в караульной будке, чем рядом с ней. Тогда меня только что избрали вице-президентом Общества литераторов. Уже давно меня заменили другим, но солнце сияет в небе. Хорошо, если бы почаще в нашей жизни были такие ясные дни и почесты, столь же необременительные, как мое недолгое вице-президентство!..

132

14 апреля 1916 г.

Бедная моя девочка, если бы я мог вдохнуть в тебя хоть немного того спокойствия, с каким я смотрю на происходящие события! Ведь ничто не может изменить их течения. И кроме того, у меня все больше крепнет

убеждение, что поистине слишком много идиотов хотели этой войны, говорили ее и что наши современники (ты знаешь мое нелестное мнение о них) сделали все возможное для того, чтобы произошло то, что происходит. Нам говорят, что первой напала Германия. Верно. Но если при этом добавляют, что мы вели себя, как праведники, почитавшие и оберегавшие мир, и что никогда — боже упаси! — у нас не было мыслей о реванше, о военных триумфах и никогда мы не допускали по отношению к Германии ни единого враждебного или провокационного выпада, то это значит «маленько заливать и загибать», как говорят солдаты. Эта война — логическое и роковое следствие столкновения национальных тщеславий, и пусть каждый виновник примет на себя долю ответственности за нее. Добавлю еще, что через какой-то промежуток времени — лет через десять-двадцать — последует другая война, и она окончательно разорит старый мир, лишив его денег и человеческого материала, если только до тех пор народы, которых гонят на бойню, не примут наконец простого и логичного решения протянуть друг другу руку, отбросив все предрассудки о традициях и расах, вопреки произволу своих правителей, вопреки нелепостям воинственного чванства, военной славы и бесчестных торгашеских расчетов некоторых наций, желающих процветать за счет своих соседей, подавляя их развитие насилием и разбоем. Мы все видим, какие огромные прилагаются усилия, чтобы воспрепятствовать священному единению народов, затормозить и свести на нет работу социализма — единственной справедливой политической доктрины, которая поднимается до интернациональной точки зрения и озарена не только светом человечности, но и светом разума. Я вижу также, как мало еще принес плодов ужасный урок, и это уменьшает мою готовность страдать общим страданием, которого не существовало бы, если бы каждый думал так, как я. Вот почему не надо особенно расстраиваться.

133

12 июля 1916 г., Ле Бурже.

Дорогая Элиона!

В 7 часов я прибыл в Ле Бурже на сборный пункт отставших от своей части и роскошно устроился на соломенном тюфяке. Пишу тебе в спешке, чтобы письмо поскорее ушло.

Одиссея моя пока ничем не примечательна.

Здесь я пробуду до полуночи, а в полночь поезд умчит меня в один большой город — это еще не пункт моего назначения, но уже близко к нему. Приеду я туда завтра днем.

Есть ли новости на улице Лаппаран? Черкни скорей. Надеюсь, по прибытии меня уже будут ждать вести от тебя.

По пути сюда, на повороте улицы Жозе-Мариа де Эредиа, я подумал: вдруг ты сейчас вышла на балкон — и вернулся. Увидел, как вы с Мадлен уходите. Страшно огорчен, что не успел вовремя подать тебе знак. Будь мужественной, нежной и ласковой. Целую тебя от всего сердца.

134

24 июля 1916 г.

Дорогая, получил твое письмо, в которое затесался Фуре⁶⁹. В самом деле, преинтереснейшая штука: я уже заранее представляю себе альбом с заголовком типа «Подлинные картины войны», где текстом будут служить несколько колоритных отрывков, а иллюстрациями — большие гравюры Маккиати.

Я напишу Фуре, что вся книга целиком ему не подойдет из-за грубых словечек. Но в конце концов, если он будет настаивать, мне все равно; по крайней мере, я буду уверен, что меня не обворуют. Только вот в чем загвоздка: когда я смогу кончить?

Сегодня я не написал ему: укладываемся, уходим отсюда, нет ни секунды свободной.

Жара-то какая! А?

135

3 августа 1916 г.

Дорогая крошка, очень беспокоюсь: прочел во вчерашнем номере «Эвр» (которую получаю тут), что сегодня начнут печатать «Огонь», а в твоём письме от 1-го августа нет ни слова о корректуре! Значит, они начнут, не получив моей правки. А твоя правка у них есть? Ничего уже не понимаю, и это досадно.

Пришла почта... Пересылаю тебе письмо Гю⁷⁰, которое окончательно меня встревожило. Повидайся с Гю, пусть они не напутают со «Шпионом», это будет нелепо — тут есть перемена декорации: эту главу, попавшую в гранки корректуры первой главы, нужно выделить и перенести ее дальше, она должна идти третьей главой книги. И обидно также, если напечатают без моих исправлений. Есть досадные ошибки.

Сообщение в «Эвр» внушает мне надежду, что ты говорила с ними третьего дня, 1-го августа. Успокой меня на этот счет.

Напоминаю, что я уже послал тебе три заказные бандероли: 1) выправленные гранки I главы («Люди подземелья»), 2) рукопись VII главы, 3) семь исправленных гранок II главы («Портик») — их я отправил только сегодня.

Вместе с письмом Гю прислал конец «Портика» (три гранки). Я внесу правку и завтра отошлю их тебе. Таким образом, у тебя будут выправленные мной I глава («Люди подземелья»), II глава («Портик») и III глава («Шпион»).

Получил переводом 50 франков. All right!

Если моя правка запоздает, сохрани ее или, еще лучше, перенеси в текст вырезанных из газеты кусков.

136

5 августа 1916 г.

Пользуясь свободной минуткой, сажусь за здешнюю «Штуковину» (ты с этой машинкой не знакома) и пишу тебе по всем правилам искусства. Тебя вряд ли удивит весть о том, что эти дни стоит адская жара,

но со вчерашнего дня солнце шпарит не так усердно и веет легкий ветерок, особенно утром и вечером. Наше пребывание здесь затягивается, и это меня радует: местность здесь приятная, а работы идут гораздо медленнее, чем я не преминул воспользоваться. Мне выдали новую форму: теперь я хожу в серо-голубых штанах в рубчик и такой же куртке, а увенчивает все это маленькая пилотка. Так что одет я, как напоказ.

137

6 августа 1916 г.

Срочное дело оторвало меня вчера вечером от письма, где я писал тебе, что с самого начала войны у меня не было такой формы, как сейчас. Мне пришлось перепечатать в 120 экземплярах такой текст: нижеследующее сообщение отменяет и заменяет сообщение № 1015/2 и т. д.

Я взбешен. «Эвр» хулиганит! В конце второго куска выброшена фраза, где говорится приблизительно вот что: «... и больше не удивляешься своему виду и наряду, изобретенному нами для защиты от дождя, льющего сверху, от грязи, проникающей снизу, и от холода, пребывающего всюду». Этим хорошо заканчивается абзац. Бесцеремонная купюра вывела меня из себя. Я написал Тери письмо, ибо у меня осталась слабая, очень слабая надежда, что выброшенная фраза, может быть, попала в другое место. Посмотри, и если ее нет, отправь письмо. Обязательно отправь, если не найдешь. Протестовать нужно сразу, чтобы они не вздумали забавляться таким образом всякий раз, когда отрывок покажется им длинноватым.

Будь добра, исправь в конце «Портика» «крепкую, как дуб, как здоровье и надежда», на «крепкую, как дубовый ствол».

7 августа

Я тоже весь в мыле. Вытаращив глаза от усердия, горю и тружусь над последней главой. Штука трудная, «та еще работенка», как говорит мой Вольпат.

Утром увидел, что «Эвр», целомудренная, благонравная «Эвр», опять постаралась. Вместо: «Куда запропастилась жратва?» — напечатано: «Что же нам не несут еду?» Разумеется, это приличнее, аристократичнее, литературнее... Надеюсь, что «Штуковину» починили, и молюсь за здоровье этого славного боевого коня, которого ты так героически оседлала. Тебе осталось всего две бандероли.

Твой, твой, твой (издали видящий, как ты взмылена).

138

11 августа 1916 г.

Дорогая Элиона!

Вчера в честь отъезда погода вдруг испортилась. До этого две недели нещадно палило солнце, и вот в шесть утра, а именно на это время был назначен отъезд, пошел проливной дождь.

Разумеется, мы все-таки отправляемся. Едем, едем.

Проезжаем ... потом ... потом ... На пару часов остановились даже в «Большом Олене», но ехали мы отнюдь не туда, а название это не даст

тебе ни малейшего представления о том, куда мы поехали дальше, поэтому я позволяю себе его упомянуть.

Потом снова в путь, проехали через ..., потом через ..., потом через ...

Дорога все время была прекрасная, но дождь нас буквально захлестывал!

Наконец мы остановились в крошечном местечке, очень похожем с виду на множество других маленьких местечек.

В нем мы и обосновались, и то, что мы прибыли сюда первыми, дало нам некоторые преимущества в смысле удобств: мне посчастливилось даже найти койку в домишке, где живут прачка и паралитик.

Конечно, эта койка не закреплена за мной навечно: завтра придет остаток штаба, и ею возжелают завладеть власть имущие.

К счастью, ложе это более чем скромно и, бог даст, не соблазнит вышеупомянутых власть имущих.

Увы! Койка эта не идет ни в какое сравнение с мягкими омонскими постелями, которые были так близко от меня, а я промчался мимо них со скоростью пятьдесят километров в час!

Регулярная связь теперь установится не сразу, ибо 89-й почтовый сектор проделал немалый путь.

Если последние дни ты ничего не получала, то, надеюсь, поняла из моих писем, в чем дело, и это не было для тебя неожиданностью.

Если же ты не получила моих последних писем, то надеюсь, сама догадалась, что произошло.

В общем, ты совершенно права — не будем расстраиваться.

Напиши мне поскорее о себе.

И будь построже с Гю. Какие они зануды со своей доморощенной цензурой!

139

12 августа 1916 г.

До чего же жарко, наверное, тебе, взмыленной, как загнанная лошадь, и до чего же, наверное, грустное зрелище — эта дьявольская гонка по августовскому пеклу! Ведь печет, и еще как! Передохнув денек, жара возобновилась и наверстывает упущенное.

Надеюсь, что письмо к Тери произведет должное действие. Нелепо выбрасывать, как они это делают, крепкие словечки. В общем тоне разговоров эта острая приправа почти необходима, как чеснок в некоторых простых блюдах, и от этого диалоги солдат становятся ярче и правдивее. Недавно опять произвели смехотворную, пошлую замену — напечатали: «ударил ногой по заду», тогда как даже Мольер устами артистов «Комеди Франсез» выражается покрепче.

Три дня не дотрагивался до «Огня»! Была огромнейшая работа с картами нового сектора — нечто грандиозное, геркулесов труд.

Сегодня утром прибыли остальные секретари и прочие приспешники нашего штаба. Они мне передали два твоих письма. Завтра утром надеюсь получить и те, которые еще не успели дойти до меня...

140

13 августа 1916 г.

Получил еще одно письмо. Очень рад. Наспех прочел его, весьма одобрил и возвращаю обратно. Почему моя девчурка не пишет о себе?

По поводу «грубых слов» послал мадам Пен письмо, предназначенное и для очей Тери.

Фишеры мне пишут, подтверждают свое предложение напечатать «Огонь» отдельной книгой (в издательстве Фламарион)⁷¹.

141

20 августа 1916 г.

Жаль «Смену», но что поделаешь!.. Глупые вычеркивания и замены отдельных слов меня сейчас больше беспокоят, чем уничтожение этой главы, не имеющей прочной связи с предыдущим и последующим. Конечно, жаль, что со «Сменой» исчезает картина, типичная для психологии солдата, но читатель этого не заметит, а вот частичные замены выражений обесцвечивают и опошляют целые отрывки. Не могу поверить, что это делает цензура. Она не имеет на это никакого права. Это не подлежит ведению военных властей, и я считаю, что офицер, который режет мою рукопись, не вправе судить, можно или нельзя писателю вложить в уста своих героев-солдат, выражающих свое равнодушие к чему-либо, слова: «Начхать мне на это» или «наплевать с высокой колокольни». Я хотел бы вывести дело на чистую воду. Я совсем извелся. Пока что, «до получения более подробных сведений», думаю, что это орудует сама газета.

Вчера послал тебе V главу, заменив в ней два грубых слова начальными буквами и многоточием. Может быть, она придет вовремя; конечно, только-только успеет. Но почему мне сейчас не посылают продолжения? Я уверен, что эти штучки будут повторяться до конца «Огня». Редакция будет изворачиваться, глупо хитрить, посылать корректуру с запозданием на день-другой, чтобы я не успел к сроку переправить ее обратно!

Дорогой малыш, из-за всех этих передраг с романом ты почти не пишешь мне о жизни на улице Лаппаран, трогательное изображение которой ты мне прислала, — в благодарность посылаю тебе роскошную открытку, подаренную мне одним из здешних секретарей, как образец того, чем он занимается на гражданке (он гравер в По). Расскажи, как ты проводишь время. Куда едут М. в сентябре? Бедняжка, из-за «Огня» ты привязана к дому, и, увы, нет ни малейшей возможности тебя освободить, кроме как добившись от «Эвр», чтобы они все набрали и прислали мне гранки. Но, конечно, они этого не сделают. Неувязки со «Сменой», слишком поздно посланные гранки, ошибка, которую они чуть не сделали в третьей главе, несмотря на устные инструкции, которые я дал метранпажу и Гю, — все это доказывает, сколь опасны эти люди, и делает твое присутствие необходимым. Я понимаю, как тебе тяжело и скучно. «Штуковину» уже наладили?

Я наконец закончил новую главу и перепечатаваю ее на машинке в двух экземплярах. На чем именно закончится роман? Я об этом не забо-

чусь. Меня волнует целое, и я не беспокоюсь, в каком месте конечной сцены читатель снова увидит фразу, которую он прочел в середине эпизода с Потерло...

142

23 августа 1916 г.

Пишу коротко, хочу только сообщить, что меня на днях снова эвакуируют. Я не совсем поправился, врач и офицеры нашего штаба очень любезно посоветовали мне основательно подлечиться. Пожалуйста, не беспокойся: эвакуация вызвана не столько болезнью, сколько предосторожностью.

143

24 августа 1916 г.

Да, ты права, Салоники в «Вольпате» лучше снять⁷².

Ты не можешь пожаловаться, что я не балую тебя сенсационными новостями. Особенно много их было во вчерашнем письме. Поэтому возвращаюсь к ним опять.

Меня пока еще не эвакуировали. Это произойдет, когда вернется из отпуска Жинель — скорее всего послезавтра, 26-го. Тут мне добавить нечего.

Не знаю еще, в какой тыловой лазарет меня направят: возможно, совсем не туда, куда в апреле, а куда именно, узнаю лишь по приезде. Поживем — увидим. И все же, повторяю, ничего серьезного у меня нет, врачи находят только, что я не поправился как следует, опять расклеился и что невозможность соблюдать диету вызовет непоправимое ухудшение. И вот тут все оказались очень внимательны ко мне и очень заботливы. Страшно досадно опять отправляться в госпиталь... Я сначала брыкался, но все так настаивали (особенно врач), что я согласился: стало очевидно, что в конце концов из-за невозможности соблюдать диету приступы учащаются, и болезнь станет неизлечимой. А не стоит возвращаться инвалидом, верно?

Что ждет меня потом, я не знаю. Ну, увидим, когда явлюсь в часть.

Второе дело — книга. Вот что я скажу тебе: честолюбие овладело мной — мне думается, что «Огонь» действительно может иметь успех и влияние его будет благотворным. Итак, «Огонь» надо издать отдельной книгой, как только его кончит печатать «Эвр». Это дело решенное.

Значит, надо выбрать фирму, которая издает книги хорошо и большим тиражом. Киньон⁷³ предлагал мне первоначальный тираж в 10 000 экземпляров (кажется, это солидное издательство, судя по присланному мне каталогу), и, по-моему, это может служить основой для переговоров с материальных условиях, а в моральном отношении главное — обязательство печатать мой текст полностью.

Тебе надо повидаться с Фуре (он, конечно, отступится, тем более что его испугают «крепкие словечки»). Не соглашайся на отсрочку, поговори еще с Фаскелем, затем с Фишером и передай им мои пожелания. (Перечень прилагаю.)

Бедная девочка!.. Дел у тебя будет по горло.

Я увидел, что они собирались заменить грубые ругательства точками, и обрадовался, что мои исправления поспели вовремя. Боюсь, что у тех гранок, которые сейчас в пути, есть шансы погибнуть от истощения и необходимости, прежде чем они до меня дойдут. У меня есть пакет на твое имя, а в нем — последняя глава, которую я наконец закончил (уф!). Жду okazji, чтобы тебе его переправить, — не хотелось бы, чтобы он потерялся. Получил перевод на 50 франков.

144

25 августа 1916 г.

Это мой последний день в штабе 21-го корпуса. Завтра утром или днем я уезжаю... Сегодня после обеда обойду все отделы, прошусь с офицерами; должен признать, что все они были очень внимательны ко мне, и я сохранил о них хорошие воспоминания. Куда меня отправят, пока не знаю. Это выяснится через пару дней. Денег мне сюда не присылай, я еще не разменял полученные недавно пятьдесят франков, а в конце августа я сообщу тебе, куда направить ежемесячную сумму.

Утром получил пачку гранок. Отошлю их выправленными завтра утром — раньше не удастся. Надеюсь, что они придут вовремя; я там, вероятно, сделаю небольшие добавления. Дурацкая у них привычка то тут, то там пропускать строчку — это очень неприятно. Насчет грубых слов (это на будущее и на тот случай, если моя правка когда-нибудь затеряется) — пусть ставят начальную и последнюю буквы, а между ними точки, но только, ради всего святого, не надо «наплевать» вместо «начхать» или «ну его к черту» вместо «ну его к богу».

Еще одно замечание: между концом последних выправленных гранок и началом полученных мною сегодня я обнаружил пропуск строк в пятнадцать: конец эпизода с Блером, когда он около фургона стоматолога окликает санитаря Самбремеза и затем решается наконец войти в фургон.

Но хватит об этом. Закажи себе красивое платье, шляпку и т. д. Деньги у нас будут, и первым следствием должна быть твоя полная экипировка с ног до головы: голубое платье, о котором мы говорили, или любое другое должно вновь выплыть на поверхность. Говорю это совершенно серьезно. Когда вернусь в Париж выздоравливать, хочу, чтобы ты встречала меня во всем новом. Стоит подумать и о шубе.

145

6 сентября 1916 г.

Возвращая гранки, я забыл предупредить тебя, что восстановил десятую главу, «Грубые слова». Ты, конечно, заметила, что я ее исправил, но после всего, что я тебе об этом говорил, навряд ли поняла, почему. Думаю, она может пройти: при том, что «Эвр» печатает только начальные буквы сомнительных слов, не лишняя коварства фраза «я поставлю грубые слова там, где нужно» оправдывает себя, так что «Эвр» и Тери придется смириться. Это им попортит кровь. Однако я вставляю отрывок не им назло, а потому, что необходимо сказать об этом.

Что еще? Ничего. «Эвр» переслала мне несколько писем. Отвечаю очень сжато, потому что совсем нет времени. С тех пор как у меня зародилась мысль напечатать в газете главу «Погрузка», я работаю над ней. То, что я послал тебе вчера, можно поделить выпусков на семь. «Погрузка» пойдет вслед за «Подкопом». «Идиллии», «Спичек», «Яйца» и «Подкопа» хватит самое большее номера на три: не так уж много, если я хочу править гранки «Погрузки»! Разумеется, я не включу в «Погрузку» отрывок об офицерах. Я помешу его отдельно.

А ты? Бесконечный «Огонь» не дал тебе отдохнуть. Ты не была ни за городом, ни на море. Черт возьми! Это меня совсем не радует.

Вчера был обход командира медслужбы. Он должен был сказать нам, кого куда направляют для окончательного выздоровления. Все трепетали в ожидании столь торжественного события. Врач перед прибытием командира каждую секунду вбегал проверять, все ли в порядке и по уставу.

Он идет... Батюшки, думаю, я же этого типа знаю! Он глядит на меня и тоже узнает. «Как поживаешь, старина?» — «А ты, старина?» Это оказался мой товарищ Крузон, командир медслужбы округа. Он тоже посоветовал мне ехать в Пломбьер. Туда я и отправлюсь. (Вместе с местным военврачом он сделал вчера запрос.) Постараюсь по пути туда остановиться в Париже хотя бы на денек — что бы там ни было, пусть скорее состоится встреча двух бедных малышей, которым надо столько сказать друг другу!

Мне только что вручили твое письмо от 5-го — вчерашнее. Крепко-крепко тебя целую.

146

7 сентября 1916 г.

Ни одного письма сегодня, и поэтому не могу сообщить тебе ничего нового. Вчера получил письмо от Фуре, который возвращает мне свободу в отношении издания «Огня». Жду ответа от Фишеров.

Пройдет еще один день моей лазаретной жизни...

Встал я, как всегда, в 6 утра. Пошел на кухню за кофейком для всех одиннадцати и за одиннадцатью порциями хлеба. В половине девятого командир медслужбы совершил утренний обход. Теперь, когда мы уже получили назначения, обход этот — чистая формальность: «Ну, как самочувствие?» — «Так же, господин командир...». Мне через день делают уколы какодилата. Я не в восторге от такого лечения и не заметил, чтобы от этого был какой-либо прок. Мне нужно только постоянно соблюдать диету, и все будет в порядке. Сегодня днем, с двенадцати до четырех, буду гулять по городу.

В «Эвр» меня опять здорово искромсали. Выкинули слово «гад», смазали то место, где говорится о «шикарных журналах с похабными рисунками». Наверняка они выбросят и фразу о Мильране, а также некоторые реплики в конце «Великого гнева». Признаться, это меня раздражает. Я закончил ту часть «Погрузки», которую можно опубликовать. Вероятно, пошлю ее тебе сегодня заказной бандеролью.

8 сентября

Детеныш, пока беседую с тобой только письменно, но, возможно, скоро появлюсь собственной персоной, и люди увидят, как я шествую по улице Бель-Апаранс.

Получил несколько писем через редакцию «Эвр». В одном меня убеждают не верить басне, будто южане — плохие солдаты. В другом некий дяденька предлагает изумительные условия уступки авторских прав на перевод «Огня» в Англии. Еще один человек пишет: «Наконец-то все узнают правду о солдатах, и это благодаря вам!» Очень славное письмо.

Мне написала мадам Пен — сообщает, что Тери специально обращался в цензуру, хлопотал о разрешении отдельно напечатать в газете выпущенный отрывок из «Портика», хотя бы с пояснениями к нему. «Не удалось ему уломать их», — пишет она и добавляет, что «Огонь» имеет успех.

Живут тут по-старому. Мне сделали пять уколов какодилата. Я сказал, что они не оказали большого действия. Меня утешили, что их надо сделать двадцать пять. Я возразил, что это много.

Удивительно, как это мне позволили назвать Мильрана подлецом. Из-за этого я даже не расстраиваюсь, что «в бога, в душу» заменили «чертом», хотя обработанные таким образом фразы производят на меня впечатление салата, приправленного водицей.

Работаю сейчас над той частью «Погрузки», где говорится об офицерах. У меня показано, как бок о бок воюют хорошие и плохие. По-моему, это единственное справедливое суждение, которое можно вынести об этом столь разношерстном племени. Но поместить это в газете невозможно. Не пропустят.

147

Сентябрь 1916 г.⁷⁴

Малыш мой. Твои письма очень порадовали меня в это осеннее утро; я читал их в комнатухе для прислуги почтенного и слегка пыльного и обветшалого замка X, где разместились наша канцелярия.

Теперь о другом — о книге. Конечно, нужно постараться, чтобы она вышла как можно скорее, во всяком случае условиться незамедлительно насчет ее отдельного издания, пусть даже не уточняя дату выпуска. Дела здесь обстоят так:

1. Фламмарин — хорошее, надежное издательство — сделало мне предложение через Фишеров. Фишеры сказали мне, что там, вероятнее всего, примут мои условия.

2. Альбен Мишель⁷⁵ предлагает (и заметь, что это только начало, можно добиться и еще более выгодных условий) первый тираж 5000 экземпляров и гонорар 2500 франков, то есть 50 процентов прибыли за каждый экземпляр первого тиража и 60 процентов за каждый экземпляр дополнительного тиража.

3. Обещал взяться за издание «Огня» и Пейо (бульвар Сен-Жермен, дом №...).

4. Я связан своего рода моральным обязательством с Фаскелем и думаю, что должен в первую очередь обратиться к нему.

5. Я получил еще одно предложение, куда более выгодное. Оно исходит от некоего господина Киньон-Понсье, издателя, улица Альфонса Доде, 16 (14 округ). Он предлагает первый тираж 10 000 и 7500 франков наличными.

Ни Фаскель, ни Фламарион не предложат таких выгодных условий. Это же блестящая возможность!

Прямо не знаю, на что решиться.

Кстати, в делишках разных издательств здорово разбирается Дювернуа⁷⁶. Что если тебе зайти к нему и спросить совета от моего имени?

Я ответил Альбену Мишелю и Киньону, что мне надо подумать.

148

15 сентября 1916 г., вечер

Продолжение терзаний автора — глава XXXXXXVIII...

Не кончились еще мои мытарства. Мошенничество «Эвр» превращается в издевательство и переходит всякие границы. Сегодня я вторично написал Гю, весьма решительно выразил свое возмущение, а как только закончил письмо, случайно взглянул на непрочитанный еще отрывок из главы «Грубые слова», напечатанный третьего дня, и опять заметил фокус. У меня написано: «Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там господа, которым нет дела до правды, обзовут тебя свиньей», а они напечатали «назовут тебя идиотом!» Право, их лицемерие и бесцеремонность, по-моему, чрезмерны. Значит, если им вздумается заменить слова писателя каким-нибудь неуместным и нелепым выражением, исказить смысл, укоротить или даже обрубить фразу, они это сделают? Напишу Тери очень определенно все, что я об этом думаю.

Готово. Написал негодующее письмо. На конверте вывел крупными буквами: «Лично».

149

18 сентября 1916 г., вечер

Действительно верно: уезжаю из Курвиля. Послезавтра, в среду, шапку в охапку — и на поезд. Загвоздка в том, чтобы как-нибудь остановиться ненадолго в Париже. В принципе, конечно, нельзя, но все же попытаться надо, иначе получится слишком нелепо. Выяснится это только вечером, после обхода Крузона. Я хочу с ним поговорить по этому поводу.

А что «Штуковина»? Ты отдала ее в починку? Если нет, отдай, ради бога; и еще: сделай милость, верни мне мое вечное перо, потому что твое определенно болеет: у него, бедняжки, совсем нет аппетита! Невозможно заставить его как следует написать чернил, оно делает лишь крошечный глоточек и набирает почти столько же чернил, сколько обычное перо, так что приходится каждую секунду обмакивать его в чернильницу — нормальные ручки так себя не ведут. Веселого здесь мало. А с рукописью для «Эвр» дело все-таки идет на лад. «Солдатский скарб» закончен, а ведь

это толстая пачка. Скоро я прикончу и маленькие главки. С того момента, как получишь это письмо, ничего мне сюда не присылай, а прежде чем посылать что-либо в «Эвр», дождись своего экземпляра гранок. Так как у меня есть шансы оказаться в Париже в среду, я успел бы прочесть «Бомбардировку» и вовремя отослать ее в газету.

Я решил не читать больше «Огонь» в «Эвр», их постоянные махинации приводят меня в отчаяние. Случайно попало мне на глаза одно место из напечатанного сегодня отрывка. Опять выбросили кусок: конец разговора Потирона с Пуальпо насчет разжигания огня — два абзаца. Немного дальше, не знаю почему, вместо слов «начиная с белья и кончая жестянками из-под консервов» поставили «включая белье» и т. д. По какому праву все-таки сделано это исправление? Мне понятно, что какую-нибудь погрешность против французского языка, например одно «ф» вместо двух, надо исправить, но эти замены одних слов другими переходят всякие границы.

Поздновато, конечно, но я понял сейчас, что не надо было в «Огне» давать названия главам. Это придает им характер отдельных рассказов. Такой пустяк, как замена заголовков просто датами, придаст бы книге больше единства, и она гораздо больше походила бы на роман. В книге, конечно, не будет заголовков, хотя те, что есть сейчас, надо сказать, очень простые, без всякой живописности.

19 сентября.

Сегодня утром — письмо от Фишеров. Они предлагают для первого издания тираж в четыре тысячи и обещают мне 60 процентов прибыли (столько, сколько они выручат от продажи 2400 экземпляров); они берут на себя распространение книги и добавляют, что книжная фирма Фламарион не заинтересована в издании одного-единственного произведения и предлагает мне стать «их автором». В сущности, предложение соблазнительное, хотя далеко не настолько, насколько 7500 франков Киньона. Я постараюсь повидаться с Фишерами, когда буду проездом в Париже.

Наконец-то могу написать тебе: «До скорого свиданья», а когда ты получишь письмо, наверное, останется только сказать: «До вечера!».

150

30 сентября 1916 г.

Дорогая крошка, напиши, как живешь. Ты ни словом не обмолвишься о себе, занимаешься только моими делами. Право, напрасно.

Я шлифую сейчас «Огонь» для отдельного издания. Меня раздражают длинные однообразные главы: «Люди подземелья» и вторая половина «Солдатского скарба». Хочется оживить их, сделать более динамичными, ввести новые моменты: показать вред пьянства, а также провести ту мысль, что солдат, кочуя из деревни в деревню, все же иногда врастает в чужую жизнь, свыкается с ней, если чуть подольше с ней соприкасается. На этом

хочу построить небольшую идиллическую главку, которую резко оборвет «Погрузка» — отъезд в неизвестность.

Я написал Тери, что, по всей вероятности, если «Огонь» не будут сокращать, его хватит до 2 или 3 ноября. . .

151

1 октября 1916 г.

Я очень доволен и присуждаю тебе первый похвальный лист за отличную правку гранок. Я вижу, как твой испытующий глаз и твердая рука совместными усилиями изгнали опечатки, которых я опасался, из вчерашнего отрывка. Я рад.

Но твои достоинства еще больше подчеркивают недостатки пломбьерской почты, несмотря на весь ее апломб. Ведь ты пишешь, что 30 сентября не получила никаких гранок, а меж тем мне было обещано и подкреплено клятвой почтового бога, что именно тридцатого ты должна была получить: 1) заказную бандероль, отправленную двадцать девятого со страницами 27, 28 и 29 бис главы XVIII (я сохранил на нее квитанцию); 2) три первые гранки «Огня» с моей правкой, отправленные в спешку. Эти две бандероли (вторая незаказная) ушли двадцать девятого в 9.30. Ты не получила их тридцатого. Проклятье! Это скверно! К счастью, как я уже писал, ты прекрасный корректор, а не то хорошенькое было бы дельце.

Исправляя гранки, я заметил, что какой-то болван в рассказе о патруле, попавшем под пулеметный огонь, слово «метров» заменил на «километров». Эта подмена меня разозлила, как злят в конце концов подмены беспомощных героев романов, печатающихся в «Пти Паризьен»⁷⁷. Вчера я составил телеграмму (как сообщал тебе), но отправить не мог: текст ее показался начальству подозрительным и опасным, мне вернули ее с пометкой (копию посылаю). Бояться, что с помощью таинственных терминов, при посредстве своей сообщницы-жены я передам парижанам важные сведения о военных операциях, свидетелем которых я был в лазарете Пломбьер-ле-Бен.

152

4 октября 1916 г.

Твое прекрасно написанное письмо, во всех отношениях достойное примерной девчурочки и в то же время верного, милого секретаря, наполнило меня радостью. Что касается эпизода с солдатской книжкой, то ты, быть может, права, даже наверняка права — ведь ты пишешь о своем впечатлении. Я-то хотел вставить здесь сентиментальный эпизод. Но в любом случае главное — обойтись без ходульности. Так что пошли мне этот отрывок, а я пока соберусь с мыслями.

153

5 октября 1916 г.

Хе-хе, похоже и впрямь что-то носится в воздухе. Я не замечал этих атмосферных потрясений, пока не получил твоих писем. Я приписал отсутствие очередного куска во вчерашнем номере «Эвр» тому, что, поскольку у них нет следующего романа, они там, на улице Друо, 14, решили растянуть конец моего. Я не думал о цензуре, потому что в отрывке, который должен был появиться вчера, ей нечем было поживиться: его содержание составляют совершенно невинное происшествие с трупом Андре Мениля, разговоры за карточной игрой и коротенькая история о майорше.

Но твои письма от 3-го и 4-го, которые я получил одновременно, открыли мне глаза. Теперь мне становится ясно, что телеграмма, которую послала мне «Эвр», была всего лишь предлогом, чтобы получить рукопись, и что цензура наложила запрет на последующие отрывки, гранки которых были ей, вероятно, посланы на рассмотрение заблаговременно.

Итак, я жду: 1) обещанной в твоём вчерашнем письме телеграммы; 2) сегодняшнего номера «Эвр», который получу только в половине седьмого.

Впрочем, я спокоен, и все это волнует меня меньше, чем вопрос о корректурах, потому что здесь от меня ничего не зависит.

Однако на сей раз я твердо решил: если они поступят так же, как с «Портиком», то я напишу письмо президенту Общества литераторов и учиню скандал. Но, видишь ли, весьма вероятно, что сопротивление исходит попросту от самой газеты и ее директора, которого коробит дух некоторых отрывков. Подождем же со свойственным нам ангельским терпением!

7 часов. Получил «Эвр», отрывок напечатан *in extenso**. А телеграммы от тебя нет. Не знаю, что и думать, и потому откладываю выяснение этого вопроса на завтра. Быть может, утренняя почта прольет мне луч света в виде твоего письма.

В ожидании благословляю тебя. И под шум дождя, который льет сегодня весь день, с глубочайшим поклоном удаляюсь.

154

8 октября 1916 г.

Только что получил «Эвр». Они не обошлись без маленькой купюры в конце, но, сказать по правде, выбросили пока немного. Я опасался большего. Подождем теперь Либкнехта...⁷⁸

Написав о главном, перехожу к тому, чем ты интересуешься, — моей военной карьере. Тут я сам себе не хозяин! Сейчас я в 20-м взводе канцелярии Генштаба, но не навечно. После трехнедельного лечения и недельного отпуска я отправлюсь в свою часть (Военную Школу) за назначением. Поскольку я годен к строевой службе, в глубокий тыл меня не пошлют, так что Париж исключается, он оставлен для тех солдат 20-го

* Полностью, без сокращений (лат.).

взвода, которые находятся на нестроевой службе. Вот, собственно, и все, что я знаю. Назначение зависит от командира взвода. Чтобы я мог вернуться в 21-ю роту, они должны меня затребовать, а это невозможно, нечего и мечтать. Слишком уж быстро я был вновь эвакуирован после выздоровления и возвращения в строй. Опять просить разрешения вернуться туда было бы просто смешно. Тем более, что мне уже нашли замену, и это решило вопрос. Худшее, что может со мной приключиться, это то, что меня пошлют в пехотный полк, но все-таки это будет всего лишь полк территориальных войск. Надеюсь, что все это произойдет, только когда я окончательно поправлюсь, ибо мне совершенно не улыбается мысль стать лазаретным завсегдаем, я по горло сыт санитарными частями. Кажется, есть надежда, что меня оставят в нестроевой части до тех пор, пока не минует угроза новой вспышки болезни. Вот так. Добавлю, что не стоит огорчаться и хлопотать, подождем, пусть нами распорядятся!

Мой вес в одежде — 71 с половиной кило. Не бог весть сколько, но все-таки получше, чем в Бриве, где я весил уж больно мало.

155

13 октября 1916 г.

Представь, я еще не получил последнего номера «Эвр» и не могу судить, какое впечатление производит разговор с Бертраном, где он ссылается на Либкнехта, — ведь этот отрывок был перенесен «в следующий номер». Весьма возможно, что тут иезуитская каверза.

Да, там стояло «грязная лохань». На сторожевом посту топчутся в воде, и это точь-в-точь похоже на ножную ванну. Вместо «робко» было, наверное, «смирненно». Но все это мелочи, и в целом корректура выправлена здорово. Верный, милый секретарь оказался на высоте, и настоящим письмом я вручаю ему свидетельство о полнейшем одобрении, действительное в любом положении, вплоть до неловкого. Оно раз и навсегда официально удостоверяет твое секретарское мастерство.

Пока не забыл, хочу тебе сказать, что где-то — не помню точно, в какой главе: «Огонь» или «Работа», — я сравниваю окоп с высохшим руслом реки. Однако я перенес эту метафору в напечатанный на днях отрывок из «Огня», с тем чтобы снять или изменить ее в гранках, когда она попадется мне на глаза в другом месте. А поскольку гранок у меня нет, я сообщаю об этом тебе: если увидишь, что это слишком похоже, слегка измени фразу. Если, что весьма возможно, там те же самые слова, вычеркни совсем. Если это в «Работе», то, быть может, я успею все исправить сам.

У нас в лазарете нет иной литературы, кроме благонамеренных книжек и журналов, вроде «Ревю Эбдомадер», да еще дают задаром «Эко де Пари». Какая у этих господ остервенелая, тупая и упорная ненависть к социализму и освобождению эксплуатируемых! Как они щедры на софизмы в духе Барреса⁷⁹ и католических писателей, в каком напыщенном философически-религиозном стиле они доказывают необходимость закабаления людей и идей. Постоянная, более или менее замаскированная проповедь возвращения ко временам монархического режима, рабства и

произвола. Не могу выразить, до чего меня возмущает подобное чтиво! Необходимо всеми силами бороться против этой продажной литературы, которой правительство ренегатов и реакционеров бесстыдно покровительствует и которая в настоящий момент является литературой официальной.

Пока я живу все так же, как описывал тебе. Принял шестнадцатую ванну.

156

13 октября 1916 г., вечер

Вместе с тобой кричу гип-гип ура! — тем более, что 1) получил сегодня два твоих письма и 2) увидел, что разговор с Бертраном напечатан полностью. Я поражен, и окружающие тоже поражены. Здешние мои товарищи всегда просят у меня газету — почитать «Огонь», после того как я его прочту, и этот отрывок произвел на них огромное впечатление. «Молодец, старина, ты не виляешь, а режешь правду-матку!» Они находят, что я прав, когда противопоставляю тупому и гнусному деруледизму⁸⁰ идеал человечности и свободы, который поможет солдатам выполнить их ужасный долг. Поразительно, как все солдаты, окружающие меня вот уже два года, жадно впитывают правду, которую я разъясняю им. Я все больше убеждаюсь в том, что настало время говорить во весь голос.

Полагаю, что теперя загвоздок не будет до последней главы. Рассказ летчика и неверие солдат в бога гораздо менее крамольны, чем фразы, живехонькими уцелевшие в сегодняшнем куске, от чего я до сих пор не могу опомниться. . . Но в конце концов это еще ничего не значит, и может случиться, что «таможня» на улице Франциска I, пропустив слонов, задержит букашек.

Увеличиваю твою почту письмом славного аббата Буле⁸¹, либерального священника 231-го полка. Мы с ним в хороших отношениях — благодаря уступкам с его стороны! А я никогда и ни в чем ему не уступал.

14 утро. Получил твое письмо от 13-го. Я понял бы твою ярость, если бы знал, о чем идет речь. . . Пролей, пожалуйста, луч света на этот вопрос. . .

Лепесточки алой розы — прелесть!

157

20 октября 1916 г., вечер

Я ворчу, фырчу, злюсь, ругаюсь. Как искромсали сегодняшний кусок! Целые абзацы выбросили в корзинку для бумаг. Разумеется, это орудует «Эвр», а не цензура. Чуть не написал Тери возмущенное письмо, но удержался. Поразмыслив, написал ему «лично», что буду весьма признателен, если он уведомит меня, не цензура ли это резала оптом и в розницу сегодняшний кусок, ибо я не знаю, что и думать, не видя обычных в таких случаях отбивок и многоточий. Желая в свою очередь немножко полицемерить, я добавил: «Примите уверения и т. д.». Послание Тери отправлю одновременно с этим письмом.

Поговорим лучше о другом. Сегодня я за два франка взял напрокат велосипед и отправился в Эльвильер, в Верхнюю Сону. Однако перемена департамента не означает, что я уехал далеко. Туда дорога идет вниз, и все прекрасно, но обратную сторону медали узнаешь, когда поворачиваешь назад. Этот путь почти в три раза длиннее — как дорога Омон—Санлис. . . В гору по дороге, окаймленной густой порослью, я поднимался так медленно, будто в правом кармане вез сырые яйца, а в левом — бутылку молока. Было довольно ветрено, несколько раз начинал падать снег, но все же светило солнце. В общем, славная прогулка. Я даже не испытывал чувства одиночества: ржавый и дряхлый велосипед дребезжал всю дорогу, а плохо прилаженное сиденье явно стремилось разрезать меня пополам.

А гранок все нет! . .

Вот что: в конце последней главы у меня говорится, что каждая группа националистов провозглашает свои истины — сколько народов, столько истин, искаженных националистами, и т. д. Добавь, пожалуйста, непосредственно перед этой фразой следующее: «Они возвращают великое нравственное начало: сколько преступлений они возвели в добродетель, назвав их национальными!»

158

21 октября 1916 г., вечер

Только что прочел сегодняшний номер «Эвр» — там нет никакого непочтения к религии Торквемады⁸² — и следовательно, никаких сокращений. Волнуюсь за конец «Прогулки». . . Я уж не говорю о «Заре»! А завтра идет отрывок о старшем санитаре. . . На первой странице «Эвр» — реклама следующего романа: это будет роман Ла Фушардьера⁸³. Я чуть-чуть беспокоюсь вот о чем. С месяц назад я написал Тери, что «Огонь» кончится 3 ноября. Теперь мне совершенно ясно, что я ошибся, я тебе уже писал, что роман займет на несколько номеров больше. Надо бы прикинуть по-лучше. Это довольно легко. Вся последняя часть, та, которую я перед отъездом из Парижа пронумеровал красным карандашом, состоит из почти одинаковых по размеру страниц. Начиная с главы «Огонь», их, кажется, еще 120. Так что посмотри, какому числу страниц рукописи соответствуют уже опубликованные отрывки, начиная с того, которым открывается вышеупомянутая глава (не забудь, что два дня роман не печатали), — и вычисли приблизительную дату последнего отрывка. Сообщи эту дату Гю. Это важно, потому что под этим предлогом они могут снять конец. «Нам очень жаль, но мы планировали начало публикации нового романа исходя из даты, которую вы нам сообщили; у нас не было всей рукописи, и мы связали себя обязательствами: книготорговцы, реклама и т. д.» Видишь, какой удобный случай похерить окончание, которое они не осмелились бы отвергнуть прямо, но которое встанет им поперек горла. Что ты на это скажешь? По-моему, дело пахнет подвохом.

22 октября

Получил твое письмо.

Черт бы побрал эксплуататоров, которые злоупотребляют созданным положением, и кретин, которые подставляют им шею!

Эта история с маленьким носильщиком, который спер книгу Марселя Буланже, очень забавна, над ней стоит попотеть⁸⁴. Он не успел ее прочесть и благодаря этому избежал наказания.

Прощаюсь. Нежно глажу твою гриву.

159

24 октября 1916 г.

Сегодня 24-е, я получил от тебя два письма: позавчерашнее и вчерашнее. Это все, что я получил: ни от Тери, ни от Анни де Пен, ни от Мисс ответа нет. Я не читал вчерашнего отрывка, где, как ты пишешь, есть купюра, но и так догадываюсь, какая именно, и это меня не удивляет. (Однако, как жаль.) Кстати, о купюрах: всегда ли они возвращают тебе рукопись? Например, отрывки, которые Тери отверг в «Перевязочном пункте», — у тебя есть, по чему их восстановить? Они там, в «Круа-Эвр»⁸⁵, совсем обнаглели: не отвечают на мои письма, что как-то невежливо, не прислали гранок, что уже просто неприлично.

Там и в самом деле такое название — «Чудо об огне»?⁸⁶

В нынешнем росте цен веселого мало. Его святейшество «Эвр» скоро перестанет платить нам свою тощую ренту, да и после выхода романа отдельной книгой деньги вряд ли потекут к нам рекой. Что тогда делать? К черту и к дьяволу все на свете.

Целую тебя, сердечко мое.

160

25 октября 1916 г., вечер

Цензуру, не цензора, а именно цензуру определенно разбил паралич. Иначе как объяснить то, что конец «Прогулки» остался нетронутым? Ведь по смыслу это совершенно то же, что последняя глава. Но я все равно пока еще не могу поверить, что вышеупомянутая не будет буянить. Однако, может быть, все-таки... может быть, все-таки удалось бы вставить в книгу эпизод из «Портика» и несколько мест, выброшенных из «Великого гнева». Остается несколько фраз, вычеркнутых из «Штурма», — а в пропуске коротенького разговора о боге в «Перевязочном пункте» официальная цензура, я думаю, не виновата. Остаются и новые главы, которые уж точно не пройдут... Но в любом случае мой текст, я надеюсь, не изувечат до неузнаваемости — и на том спасибо.

Как я тебе уже говорил, я написал Гю, не упустив случая пройтись по адресу Тери, не отвечающего на мои последние письма. С какой стороны ни глянь, остается только ждать. Так мы и поступим, а? Напиши мне, удастся ли найти выброшенные места, особенно меня волнует «Перевязочный пункт». А что с приблизительным объемом рукописи?

Завтра в полдень меня не будет на месте — так что твое письмо я получу только вечером; весь день будет чувство, что кто-то меня ждет.

Целую тебя, несмотря на твою взъерошенную гриву и мученический терновый венец.

161

26 октября 1916 г., вечер

Дорогой мой взъерошенный и разъяренный цыпленок, ты права — все это не так важно, и неприятности, причиняемые «Эвр», не бог весть как велики, но я никогда и не говорил этого. И все-таки поневоле злишься, когда видишь сплошные купюры да пропуски, а всю середину главы «Перевязочный пункт» вырезал какой-то невежественный и злобный вивисектор. Однако это не значит, что я всем недоволен. Кусок этот, судя по всему, удался, имеет успех у читателей, убедительным доказательством чего является предложение Тери, которое я вчера переслал тебе; но этому успеху «Эвр» вовсе не способствовала, а наоборот, — ее самочинные вычеркивания и, пожалуй, особенно ее злополучные замены снизили качество и значимость отрывка. По-моему, получилось бы гораздо лучше, если бы редакция действовала смело, а не юлила бы и не тряслась от страха. Нашли же они в себе мужество протестовать против цензорской купюры в «Портике». Но посягательство на «Перевязочный пункт» я считаю ударом, оскорбительным для писателя, имеющего чувство собственного достоинства, и снести его молча нельзя.

Ты прикинула правильно. Я считаю, что «Работа» займет пять-шесть номеров, а «Заря» — шесть или семь. К концу я, возможно, приеду в Париж. Это было бы чудесно. Повидаюсь с Тери и, если он будет настаивать на своем предложении издать «Огонь», несмотря ни на что, я, вероятно, соглашусь ради широкого распространения, которое обеспечит книге эта комбинация. Но я определенно укажу, что, по-моему, ценность книги не столько в фактическом материале, сколько в общей ее направленности, и это нужно отметить в предисловии.

То, что ты написала относительно пометки на полях, мучает меня. Я упорно напрягаю память, стараюсь восстановить факты и в туманной дали прошлого вижу следующее: «Заря» была перепечатана в двух экземплярах; первый экземпляр начинается с двух лиловых страниц, а все остальные — черные. Лишь с ним и нужно сверяться, так как во втором экземпляре (он весь лиловый) нет позднейших поправок. Среди этих поправок есть одно важнейшее изменение, которое я сделал после того, как прочел эту главу вслух тебе и Маккиати. Исправленный текст написан от руки на листке линованной бумаги. Очень хорошо помню, что я перенес в другое место отрывок, который начинается фразой: «Значит, после войны придется снова воевать?..» Этот отрывок выбрасывать никак нельзя, но он был не на месте — в нем развивалась мысль, которая повторялась ниже, и я оба отрывка соединил. Если каббалистический знак больше нигде не повторяется и ты увидишь, что мысль развивается лучше и ярче, чем в неисправленном варианте (второй экземпляр, через копиру), не обращай внимания на этот знак, вызванный чрезмерной, излишней придирчивостью в отделке. Сблаговоли, малышка, взглянуть своими глазницами на первоначальный текст, сравни его с переделанным — и ты поймешь, что в своих исправлениях я стремился к простоте. Вот мое объяснение.

Пейребрюн прислала мне хорошее письмо. Я, весьма чувствителен

к похвалам моей книге, поскольку она может сыграть важную роль в борьбе идей. Я не имел таких больших притязаний, когда начал ее писать, но мне повезло: появились и свободное время, и условия, позволившие мне объединить и обработать материал. Больше всего радуюсь этому. Я счастлив, что, например, сегодняшний кусок (конец «Прогулки»), где я четко изложил свою мысль, напечатан и дошел до многих тысяч читателей. Чувствую, что это очень серьезно и важно и, если они поместят последнюю главу, это будет для меня большой радостью. Но именно из-за этого внутреннего удовлетворения, этого подъема духа я особенно остро ощущаю, что люди, враждебные моим взглядам, стараются смягчить их, затушевать, опошляют и лишают значимости всю книгу дурацкой заменой отдельных слов и фраз и произвольным выбрасыванием в корзинку для бумаг целых отрывков. Признаюсь, я ожидал худшего, но это еще недостаточное основание, чтобы без ворчанья позволить им орудовать. Вспомни, что в другом лагере никогда не упускают случая усилить полемику и развить свои idiotские теории. Посылаю тебе вырезку из «Ревю Эбдомадер» — статью Анри Бордо, известного католического писателя, будущего академика, о несчастном болване Поле Аккере⁸⁷. Читая такие вещи, я настраиваюсь особенно воинственно; я захожу — и совершенно справедливо, — что мы недостаточно боремся со злом, что я сам недостаточно борюсь.

Я здесь часто беседую с солдатами, ведь у нас в лазарете все больные — настоящие солдаты: как правило, их после ранений снова отправляли на фронт, и некоторых по нескольку раз. Признаюсь, я веду пропаганду. Мне отраднo видеть, что мои слова об Интернационале — этом великом воплощении самых мощных моральных идей, опрокидывающем все преграды косности, предрассудков и лжи, — находят отклик в сердцах людей, которые, подобно героям «Огня», вынесли всю тяжесть Большой войны на своих плечах и являются пролетариями битв. С глубоким удовлетворением убеждаюсь также, что в последней главе книги я все сказал, ясно обрисовал современное положение и показал наш долг в будущем, ничего, кажется, не оставив в тени. В разговоре мне случается иногда приводить фразы из «Зари» — они, естественно, приходят мне на память, когда я говорю о том, что я передумал за всю свою жизнь, и солдаты слушают, соглашаются, подтверждают: «Что ни говори, это правда!» И для них это не пустые слова.

Я думаю, что нужно оставить заглавие «Огонь». Изменить его — значит добровольно отказаться от того впечатления, которое оно производило до сих пор. К тому же это заглавие начинает мне нравиться. Оно выражает всю серьезность потрясения, которое сейчас переживает мир: мир охвачен огнем. Что ты на это скажешь?

162

27 октября 1916 г., вечер

Сегодня получил с вечерней почтой два деловых письма. Одно от Фишеров, которые вновь пишут мне о Гонкуровской премии (посылаю его тебе), другое от издательства «Дан». К счастью, я не успел еще напи-

сать М. Ловкачи из Венского кабинета или Foreign Office⁸⁸ поступили бы именно так. Я прошу всех дожидаться моего возвращения в Париж. Выбирая издателя, надо знать, чего стоит издательство. Я даже ругаю себя, что только сейчас спросил совета у нашего славного Анри Дювернуа. Я написал ему. По-моему, предложение издать книгу в новом оформлении — вещь чрезвычайно важная. Если у них действительно, как говорит М., очень большая контора, все будет поставлено на широкую ногу, и я только выиграю.

Из письма Фишеров следует, что надо торопиться presto subito* с окончательной шлифовкой текста. Найди и разложи по порядку пропущенные куски рукописи. Отрывок, выброшенный из «Портика», находится у меня, им можешь не заниматься. Если бы ты, мой милый маленький секретарь, могла начать затыкать щели, это было бы здорово, просто здорово, очень даже здорово.

Сегодня есть купюра: нагоняй сержанта за фонарик в крытом ходе сообщения. Во всяком случае, мне так кажется. . .

Что касается Гонкуровской премии, то я признаю, что получить 5000 франков приятно, но поздновато мне ее присуждать после того, как в ней уже было отказано «Умоляющим», а особенно «Аду»⁸⁹. Впрочем, еще не известно, не будет ли против Леон Доде, а Элемир Бурж и Мирбо⁹⁰ по неведомой мне причине всегда воротили от меня нос. К тому же, надо ведь закончить книгу к началу декабря. . . Черт побери!

Я пока не получил от Дана того образца его продукции, о котором он пишет. Он живет рядом с Маккиати, они могли бы посмотреть, что там у него за контора.

Поговори с ними обо всем этом.

Пришли мне, пожалуйста, свидетельство о том, что я постоянно проживаю в Париже, заверенное в полицейском комиссариате. Это необходимо для поездки в Париж.

163

28 октября 1916 г., утро

Сегодня у меня большая почта. Письма от незнакомых и знакомых по поводу «Огня». Дело, судя по всему, идет хорошо. Вандерем, пожалуй, прав отчасти, говоря о растянутости первых глав; но надо глядеть на вещи шире, понять, что в этой книге, стремящейся к обобщению, нельзя опускать фактические подробности, уже известные и даже привнесенные, опускать лишь оттого, что другие уже ознакомили с ними читателя. Если бы я хотел только показать что-нибудь новенькое, прибавить «неизданное» к массе опубликованного другими, разумеется, в книге не было бы длиннот, но она вышла бы с провалами, с пробелами, меж тем рано или поздно придет время, когда читатель не сможет их заполнить так, как сейчас, когда он насыщен и перенасыщен такими сведениями. Ради того, чтобы позже книга стала самодовлеющим целым, нужно временно перегрузить ее частностями, которые со временем перестанут

* Очень быстро (ит.).



Анри Барбюс в госпитале.

Фотография

казаться устаревшими. Однако там, где это будет возможно, я облегчу ее.

С завтрашнего дня я всерьез примусь за исправления, начну затыкать все дырки, сделанные цензурой, и выбрасывать скверную жвачку — замены «Эвр». Придется действовать в быстром темпе (не только из-за Гонкуровской премии, но и вообще ради успеха книги). Рассчитываю на своего верного секретаря.

Только что получил от издательства Дан книгу-образец. Это просто превосходно: в переплете, золотой обрез, очень красивые шрифты — вообще сделано с большим вкусом. Томик восхитительный и подтверждает мое мнение, что это очень солидное издательство.

164

29 октября 1916 г.

... Написал Ла Фуршардьеру, чтобы он в «откликах» попросил моих корреспондентов указывать свои адреса. Сделал я это главным образом из-за письма, подписанного «Давид (?)»⁹¹, — очень трогательным показалось его предложение послать мне сто франков для распространения моей книги. «Эвр» злит меня: «продолжение будет помещено в следующем номере». Ведь это же мешает следить за событиями. А корректуры все нет...

Последняя часть отделана, и отсутствие гранок меня не беспокоит, хотя я кое-что подчистил бы. Но все же во всей книге есть места, которые надо бы немножко переделать, и, кроме того, объем ее начинает меня пугать. Вот у меня перед глазами изданный Фламмарионом новый роман Пьера Маэля⁹² — не особенно интересный. (Говорю это с чужих слов, так как сам еще не читал его.) Книга весьма объемистая: четыреста сорок страниц, тринадцать тысяч строк. В «Огне» будет в полтора раза меньше. И все-таки критика Вандерема⁹³ не лишена оснований. Я всегда внимательно прислушиваюсь к его замечаниям. Он человек очень умный, очень вьедливый. Его не легко удовлетворить, но удары его лапы всегда попадают по слабому месту. К несчастью, сейчас времени мало, и работа по отделке, самая трудная из всех, идет туго. Оно и понятно: теснота, суэта, разговоры, меня ежеминутно отрывают. Зато в Пломбьере я поработал, прибавил около тысячи строк: стоянка взвода в деревне, привычка к месту отдыха, добавление о пьяницах в «Солдатском скарбе», отрывок об офицерах в «Погрузке». Все эти места надо бы, повторяю, просмотреть, а здесь это сделать нелегко. Тем более нужно поработать над главами, написанными уже давно, их следует сжать (особенно «Людей подземелья» и «Солдатский скарб»). По-настоящему меня удовлетворяют только введение («Санаторий»), «Портик» и «Великий гнев». Все это годится. Остальное далеко не так основательно.

На сем прощаюсь с тобой до завтра, благословляя твое секретарское рвение.

Вот это новость так новость! Почтальон вручил мне письмо от Фишеров, которые пишут о Гонкуровской премии как о деле, почти решенном. Пересылаю тебе его. Все-таки ужасно глупо так торопиться ради награды, которая прельщает меня лишь тем, что принесет мне 5000 франков. Клей, мой верный маленький секретарь, и затыкай щели — в сегодняшней газете, за которой я только что сходил, они тоже есть: «окаянный штукарь, разрази меня Господь», и... ругань сержанта из-за фонарика и сигареты. Снова целую и благословляю тебя.

165

30 октября 1916 г., вечер

Пересылаю тебе корректуру. С предыдущей 2-часовой почтой ушли две первые гранки из пяти, которые я сегодня получил. Там, как всегда, не обошлось без ошибок, и мне бы очень хотелось, чтобы мои поправки были приняты во внимание. Письмо Тери я послал; к сожалению, меня неверно поняли и отправили его простым, а не заказным. Будем надеяться, что оно все же дойдет до Тери, а я, в свою очередь, получу редчайшую вещь — его ответ. До чего они мне надоели, надоели, надоели вечными своими заменами, которые снижают и обесцвечивают мой текст. Черт бы их драл! Я указал Тери, что первое мое условие при издании книги — печатать весь текст полностью. В гранках, которые посылаю тебе, выпущены большие отрывки, а ведь нельзя сказать, что они плохо написаны. Ты видела, они поместили объявление, что с 3 числа начнут

печатать новый роман. А у меня материала еще номера на три-четыре.

С утренней почтой — ничего от Тери. О-о-ох (это я ворчу).

Шлю тебе письмо Дювернуа, вновь пробудившее во мне бездну сомнений.

Ну, до завтра. Целую тебя и кланяюсь, без конца расшаркиваюсь, преклоняю колена и падаю ниц.

166

3 ноября 1916 г.

Дорогой мой, ненаглядный секретарь, получил утром два твоих письма: от 1-го и от 2-го. Отвечаю немедленно. У тебя те же заботы, что и у меня, как ты увидишь из моих последних писем.

Я сегодня долго размышлял и принял решение. Мне кажется, что, если предоставить событиям идти своим чередом, то есть сравнивать предложения, вести переговоры с одним, с другим и т. д., — к Гонкуровской премии не успеешь издать книги! А право, нельзя упустить этого случая, и, более того, следует сделать все возможное, чтобы поспеть к сроку. Тут главное — вопрос распространения, как ты совершенно правильно указала в начале письма от 1-го числа, «какое я имел честь» и т. д. Следовательно, надо отрезать — решить окончательно и бесповоротно, что издавать будет Фламарион. В отношении Тери мне помогает то обстоятельство, что от него ответа все еще нет. Он пересаливает. Ну и не надо! Глупее всего было бы тянуть, крутить, мудрить... и потерять материальное и моральное преимущество Гонкуровской премии. Значит, решено. Завтра отправляю письмо Дану, письмо Тери, а также письмо Фишерам.

Относительно корректуры твоя мысль хороша. Но... есть и «но» — более поздние изменения. Я повсюду сделал множество мелких поправок. Надо бы перенести мою правку с гранок в наклеенный текст и добавить новые исправления. Я не кончил еще «Солдатский скарб». Остается еще подсократить начало книги. Вандерем совершенно прав⁹⁴, и я собирался выбросить кое-какие фразы в разговорах солдат, помещенные исключительно для колорита. Думаю, на эту отделку мне достаточно нескольких дней. Хотелось бы с понедельника начать отсылать тебе текст.

167

4 ноября 1916 г.

Посылаю тебе газеты с моим романом, которые были у меня. Я сделал кое-где новые поправки, то большие (переписал целые отрывки и даже вставил новые главы: глава I «Видение», глава VI, глава X), то мелкие — заменил фразы или слова. В некоторых местах я заткнул дыры просто по памяти.

Теперь, мой милый маленький секретарь, нужно сверить эти тексты с рукописью, а главное — в тех случаях, когда это возможно, — с правленными гранками, чтобы получить окончательный вариант романа. Отшлифованный таким образом текст начни посылать на улицу Друо, 34⁹⁵, — постепенно, но как можно большими порциями. Первую порцию как можно раньше, через день-два. Что касается приблизительного объема,

то я сказал Фишерам, что в романе будет на 2000 строк больше, чем в газетном варианте. Примерно так.

Я тебе писал: не ставь названия глав, кроме первой главы — «Видение» — и десятой главы, где рядом с датой будет стоять название города: Арговаль. Перед всеми или почти всеми остальными будет стоять только дата курсивом. Думаю, что это сделает книгу более цельной и сжатой.

В пакете Б не хватает шестнадцатой главы (бывшей «Идиллии»), которую я послал тебе как образец склейки; четырнадцатой главы (бывшего «Солдатского скарба») и конца седьмой главы (бывшей «Погрузки»). Две последние части у меня, и я работаю над их шлифовкой.

Не хватает — напоминаю тебе — двух важных отрывков: вставки о супе в главе «В земле», которую я тебе послал некоторое время назад, и отрывка о боге, вычеркнутого Тери из «Перевязочного пункта».

Вот так. Теперь, малыш, надо сжать зубы и, несмотря ни на что, работать: мне — над тем, что еще не кончено, а тебе — над отделкой целого. Само собой, твоя часть работы больше моей, тем более что разобратся в этом потрясающем ворохе бумаг не так-то просто.

Потом пойдут гранки книги. Я, конечно, и в них внесу правку, но на этом этапе дело будет подвигаться быстро. Впрочем, к тому времени я буду уже в Париже.

Получил пятьдесят франков и очень тебе благодарен, малыш.

Post-scriptum. — Я прилагаю к «рукописи» четвертую главу (бывший «Солдатский скарб»). Как видишь, я ее переделал, да так, что даже и не знаю, пойдет ли она. Быть может, она стала слишком длинной. Надо бы тебе сделать вот что: прочесть ее вслух, чтобы понять, не слишком ли она затянута в конце (или в других местах). Она жутко длинная.

168

8 ноября 1916 г., 7 ч. вечера

Дорогая, послал тебе сегодня два письма... Сейчас, вечером, пишу третье.

Я в самом деле беспокоюсь. Получил твое заказное письмо и ничего не понимаю. Сначала мне показалось, что ты не получила моего пакета Б, но, перечитав твое письмо, убедился, что ты получила его. Ну, ладно, давай разберемся:

Да, порядок глав изменился, и сильно! Недавно я послал тебе новое расположение глав. Нумерация страниц в пакете Б соответствует следующему порядку глав:

1. Видение (курсивом). 2. В земле. 3. Смена. 4. Вольпат и Фуйяд. 5. Стоянка. 6. Привычка. 7. Погрузка. 8. Отпуск. 9. Великий гнев. 10. Арговаль. 11. Собака. 12. Порттик. 13. Грубые слова. 14. Солдатский скарб. 15. Яйцо. 16. Идиллия. 17. Подкоп. 18. Спички. 19. Бомбардировка. 20. Огонь. 21. Перевязочный пункт. 22. Заря.

«Порттик» я переставил на другое место (между главами «Собака» и «Грубые слова») и включил в него отрывок, которого у тебя не было. На всем протяжении «Порттика» я сделал в тексте много поправок и добавлений. Кроме того, в присланной тобой копии много опечаток, и даже

грубых, повторяется фраза «ведь твоя жена здорова» и есть пропуск.

С другой стороны, я, кажется, так и оставил «птицы живут», а надо — «кричат». Шлю тот отрывок, где был пропуск, и поправку.

Но я, вероятно, напрасно тревожусь, и еще до получения этого письма ты найдешь список глав и полный текст «Портика» в пакете Б.

Ты, должно быть, заметила, что почти повсюду я сделал маленькие добавления. Может быть, в этих обстоятельствах работа пойдет быстрее, если вносить прежние поправки в присланную мною рукопись. Словом, делай как хочешь, но не доверяй первоначальному тексту: почти везде есть изменения. Но главное, малышенька, надо торопиться. И я даже думаю, не лучше ли попросту послать Фишерам сразу весь пакет Б, а исправления делать в гранках книги. Сделай так, если это покажется тебе проще и быстрее.

Твое замечание относительно заголовков меня тронуло... Но разве ты не находишь, что это банально, разрезает книгу на куски и мешает видеть, что в ней говорится об одних и тех же вещах и людях. Примем решение (ведь у нас сейчас полоса решений). Не ставь названий глав — посмотрим в гранках, какое это производит впечатление. Пожалуй, можно оставить название последней главы: «Заря». Если ты не читала Маккиати вслух «Солдатский скарб», прочитай его сама громко или шепотком и, если в самом деле увидишь длинноты, выброси то, что найдешь излишним. Спрашивать у меня будет слишком долго. Каждый час дорог.

Спор Тюлака о цене свиньи казался мне заурядным, без особой живописности, я решил выкинуть этот отрывок из главы «В земле» — ведь у меня уже есть длиннущая глава — «Солдатский скарб». Делай с этим эпизодом что хочешь. Отдаю его в твою власть. Но посмотри, действительно ли это добавляет какой-то штрих к целому. Итак, сейчас я ничего тебе не пересылаю. Прилагаю только две дополнительные поправки. Поправка относительно слухового окна совсем крошечная, все дело в слове «кричат».

169

11 ноября 1916 г.

Мой милый маленький секретарь, прекрасно, не буду тебе мешать в работе по приведению в порядок рукописи. С Фишерями я условился окончательно.

Да, Тери раздосадован!⁹⁶ Он тут же прислал телеграмму, а госпожа де Пен тут же прислала письмо!

170

12 ноября 1916 г.

Провел сегодня в Пломбьере последнее воскресенье. Славно прогулялся по лесу и по долине, там холодновато, сыро и голо, но все же проглянувшие солнечные лучи не гасли до трех часов дня.

Вечером мы собрались вокруг стола в нашей палате и при свете испорченного газового рожка, пламя которого то вспыхивает, то понижает с удручающей равномерностью, следили за перипетиями необычайно вол-

нующей операции — спуском «Огня». «Огонь» — это шхуна длиной десять сантиметров, а «спуск» состоит в том, чтобы эту шхуну со всеми ее мачтами из спичек, блоками из бисера, снастями из ниток и прижатыми к мачтам парусами из папиросной бумаги ввести в бутылку. Сделать это чертовски трудно, работа требует ловкости и упорства. Можно сказать, это нечто противоположное родам. Уж как тут механик Эйд, строитель судна, трудился, пытался и ругался, и сколько возгласов разочарования, а затем восторга издавали зрители, следившие, затаив дыхание, за его манипуляциями! Он сделал «Огонь» специально для меня, и в субботу я привезу его в бутылке, миленький мой секретарь, а затем наши гости будут удивляться и ломать голову: «Как же мог кораблик войти в бутылку?»

171

13 ноября 1916 г., утро

Получил телеграмму от «секретаря господ Макса и Алекса. Фишеров» — требование выслать недостающие страницы «Солдатского скарба». Я ответил, что вышло, а пока пусть начинают без них. Надеюсь, что не они задержат сдачу рукописи в типографию из-за шести страниц. Ведь надо же учесть обстоятельства! Значит, со «Скарбом» уладим, а так как продолжения VII главы не будет, то у них все есть. И валяйте!

Но это еще не все. Надо бы послать в издательство Оффенштадт — Париж, улица Рокруа, дом 3, — экземпляр книги «Мы» и экземпляр не вошедших туда новелл из «Матэн»⁹⁷. Их тексты — в моем письменном столе, в большом конверте и рядом. Но будь внимательна! Я не так давно собрал новеллы, не вошедшие в «Мы», чтобы издать еще один том новелл, и эту подборку лучше не трогать. Возьми вторые экземпляры. Прилагаю письмо к Оффенштадту.

Но исправление первой порции «Огня», которую надо послать господину де Ларошу из «Прогре де Лион», улица Сольферино, дом 8, — дело более срочное. Если у тебя совсем нет времени заняться Оффенштадтом, не расстраивайся: мы тихо-мирно сделаем это вместе, когда я вернусь. Но мне не хочется пренебрегать подобными мелочами. Только так и можно увеличить свои доходы. . . Когда буду в Париже, займусь новым романом.

172

Воскресенье, 4 февраля 1917 г.

Я доволен. Да. Я извещаю тебя о своем августейшем удовлетворении. Я только что получил твоё письмо и четыре тома. За это назначаю тебя начальником канцелярии и награждаю военным крестом. Будь добра, в знак признательности пришли мне поскорее «Четырнадцать солдатских историй» Клода Фаррера⁹⁸. Нетрудно догадаться, что книги, которые я у тебя прошу, не для меня. Сегодня у меня еще не было возможности поработать. Представь себе, я с самого утра в делах и в бегах. Ходил в госпиталь к Крузону. Бегал смотреть в «Оффисьель»⁹⁹, награжден ли

он. «Оффисьель» не нашел, но кажется, слухи подтвердились. Тем лучше. Он это заслужил — был на фронте и проявил доблесть.

Каждый день в 11 часов я выхожу на улицу Сен-Мишель, иду по улицам Мэри, Тоннелье, Буа-Меррен, Делакруа, перехожу площадь Эпар, поднимаюсь по улице Бонневаль и вхожу на территорию госпиталя. На втором этаже этого дворца при мягкой температуре 22 градуса блаженно возлежит Крузон. Мы болтаем часок, потом я, как правило, возвращаюсь, чтобы поработать. И работаю, если есть свет.

Рене Бенжамен¹⁰⁰ прислал письмо. Вот что он пишет: «После всего, что пишут критики, старательно сопоставляя наши книги, вы должны были решить, что я кретин». Бедный Бенжамен, я у него, небось, как бельмо на глазу. Он добавляет, что «только что дочитал „Огонь“ и считает его шедевром!»! Его письмо любезно и делает ему честь, ибо публикация «Огня» была для него настоящим ударом.

173

7 февраля 1917 г.

Дорогой мой малыш, время идет и идет, уже много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз, и жизнь на улице Лаппаран снова стала казаться мне такой далекой.

Книги, которые ты мне послала, получил. Прекрасно... Прекрасно...

Похоже, что «Ад» раскупают. Альбен Мишель пишет мне, что с тех пор, как книга появилась на прилавках, продано 3000 экземпляров. В здешнем магазине мне сказали, что «Огонь» идет у них в четыре раза лучше, чем «Ад». Он пользуется спросом постоянно: сегодня два самых больших книжных магазина в Шартре распродали последние экземпляры и заказали еще. All right!

«Гранд ревью» просит у меня роман.

Я получил каталог Г. Пьера. Думаю, что со дня на день придет ответ от Скотта. Идея подарочного издания очень меня привлекает. Это моя слабость.

174

12 февраля 1917 г.

Дорогая крошка, из твоей открытки вижу, что ты два дня не получаешь писем. Эх!.. Больше ничего не могу сказать: триста дней я пишу тебе ежедневно и уже исчерпал все формулы негодования, возмущаясь неаккуратностью почты.

А я получил сегодня письма. Во-первых, от Общества литераторов: просят дать «Огонь» для одной швейцарской газеты, которая хочет его печатать. Славно, славно. Другое письмо от Раймона Лефевра¹⁰¹, в нем добрые вести о подготовке нашего большого международного журнала¹⁰². Лефевр беседовал о нем с Анатолем Франсом, тот заинтересовался, обещал свою поддержку и т. д. Франс говорил ему обо мне и сказал, что «Огонь» — одна из лучших книг во всей французской литературе. По его мнению, эпической силой я тут превзошел Гюго и Золя! Эге, как бы не так!..

Написала мне Орель¹⁰³. На ее лекции Жожер, артист «Комеди Франсез», прочтет отрывки из «Огня». Есть еще письма, очень хорошие. Я их коплю: их столько, что я не могу все переправить тебе; иногда шлю, но получаю гораздо больше, чем могу переслать. Получила ли ты письмо Метерлинка?¹⁰⁴ Положительно, барометр «Огня» все время показывает прекрасную погоду. А больше мне нечего рассказать, — кроме того, что я по-прежнему чувствую себя очень хорошо и все со мной так любезны... что у меня почти не остается и времени. Нынче днем я осматривал лазарет для слепых, и меня, словно Пуанкаре¹⁰⁵, сопровождал главный врач. Вечером обедаю у казначея — из-за этого приходится кончать письмо и проститься с тобой. От всего сердца желаю тебе побольше бодрости, хотя и чувствую, что это все одни слова, и мне, почиющему на лаврах, не очень-то пристало говорить тебе их. Нежно целую. Очень хочется увидеть тебя. Уже так давно тебя нет со мной.

175

26 февраля 1917 г.

Получил девять писем! Из них два от тебя.

Фишеры пишут, что они печатают пятидесятую тысячу и уже готовятся выпустить еще десять тысяч. Они добавляют, что, если так пойдет, тираж «Огня» превзойдет тираж «Гаспара»¹⁰⁶. Ростан пишет, что за последние дни он мог выходить из дому, встречался с людьми и убедился в огромном успехе «Огня». «Скоро Вы, — говорит, — перешагнете за сто тысяч, и этому конца не будет; книга разойдется колоссальным тиражом!» Он виделся с известными клерикалами, которые увлечены книгой, и это его поразило.

Я сейчас перегружен работой. Пишу без передышки. Коротко отвечаю на бесчисленные письма, а еще есть и крупные дела: манифест интеллигенции, за которым завтра придет Раймон Лефевр; это важное воззвание, и составить его нелегко.

Фишеры сообщают, что из Швейцарии пришло предложение перевести «Огонь» на немецкий язык. Я ждал этого с нетерпением и очень доволен. Кроме того, стоит вопрос о подарочном издании.

Пришли мне, пожалуйста, адрес Льва Бернштейна (русский переводчик). Альбен Мишель, видимо, собирается переиздать «Ада» — значит, дела идут хорошо. Для «Ада» все еще не нашли художника.

176

27 февраля 1917 г. (открытка)

Сегодня утром опять большая почта: десяток писем и, что меня больше всего радует, одно от тебя.

Прежде всего сообщу, что пишет Альбен Мишель. Этот славный малый переиздает «Ада» тиражом пять тысяч экземпляров и говорит: «Надеюсь, что смогу осыпать вас золотом, когда вы приедете». С него причитается по меньшей мере 3000 франков.

Ух! Я сотворил наконец новый большой манифест интеллигенции всего мира. Только что переписал его. Получилось немного риторично и тор-

жественно, но такого рода документы и должны быть такими, правда же? Это дело очень увлекает меня. Раймон Лефевр должен днем приехать поговорить об этом. Жду его.

177

27 февраля 1917 г., вечер

Пишу коротенько, хочу сказать, что я надумал: надо поставить у нас телефон. Обязательно. Нам это теперь по карману, а у тебя будет развлечение.

Виделся сегодня с Раймоном Лефевром и его другом, Вайяном-Кутюрье. Говорили о журнале. Я передал им манифест, они его дадут отстучать, и примемся собирать подписи известных людей. Мне придется составить организационный план и заняться устройством редакции в Париже. Скоро узнаешь новости обо всем этом.

Пришло письмо от Мама́¹⁰⁷ — некоторые фразы очень трогательные! Бедняжка Мама́!

28 февраля, утро

Сколько писем! Получаю их все больше и больше. «Огонь» распространяется повсюду. Всеобщий пожар. Отлично, отлично! Еще один русский переводчик предлагает свои услуги. Мне прислали вырезки из «Радикаль», «Ла Грифф», «Гранд Ревю» (где Эрнест Шарль искупает грех своего участия в «Карне де ля Смэн»¹⁰⁸), из одной фронтальной газеты, из «Попюлер» (обзор из четырех статей, из них две уже напечатаны) и статью из одной английской газеты. По-видимому, завязалась полемика между «Депеш де Тулуз» и брестской газетой. Последняя заявила, что «Огонь» — книга не правдивая: сплошь предвзятость. «Ла Депеш», возражая, напечатала письмо одного солдата-фронтовика. Ты разузнала насчет «Журналь дю Пепль» и «Меркюр»? Баронесса Фоке собирается устроить доклад обо мне, просит указать докладчика. Кого? Ну, кого? Прилагаю письмо Декурсея¹⁰⁹. Это моральное удовлетворение. «Матэн» — грязная лавочка, и я не хочу туда возвращаться. . .

178

6 марта 1917 г., вечер

Прежде всего сообщаю: весьма возможно, что на будущей неделе я приеду в Париж. Но больше пока ничего не добавляю, ведь полной уверенности и точных сведений у меня нет. Попытаюсь пробыть несколько дней.

Итак, не украшай еще дом флагами, подожди более обстоятельных сведений.

Радуюсь, сердечко мое, что опять увижу тебя.

Меня преследует одна мысль — поскорее написать «Лицом к лицу»¹¹⁰. Приложу все силы для этого. Книга подвигается куда медленнее, чем «Огонь». Я начал писать ее ровно через год после «Огня» — и что же! — год тому назад «Огонь» был ближе к завершению, чем этот новый роман. Но я уверен, что, когда я буду возле тебя, работа пойдет лучше и быст-

рее. Конечно, если бы я захотел писать рассказы, которые у меня отовсюду просят, статьи для «Эвр» и т. д., это округлило бы наши «доходы», но это значит упустить настоящую добычу ради тени. Я уже не говорю о моральном удовлетворении, которое принесет мне новая книга, если ее хорошо примут.

Ты не прислала мне адреса «Ревю де Франс». Возвращаю тебе вырезки.

179

21 мая 1917 г.

Да, малышенька, ты права: надо выполнить долг и все сказать. Я всегда близко к сердцу принимал этот долг, но сейчас больше чем когда-либо считаю его важным и необходимым, во-первых, потому, что происходящие события делают возможным великие перемены, а, кроме того, успех «Огня» дает мне уверенность, что меня услышат. Не будем впадать в уныние и оплакивать жертвы войны — постараемся учесть этот урок, чтобы улучшить социальную жизнь, и позаботимся о будущем. Ты сама непосредственно не работаешь ради прогресса, но зато поддерживаешь меня и побуждаешь трудиться для него, и помни об этом, обрати на это внимание, вместо того чтобы замыкаться в своем личном горе и оплакивать непоправимое¹¹¹.

Я только что получил письмо, которое растрогало меня: двадцатилетняя учительница из ардешской деревушки пишет, что прочла «Огонь», и моя книга немного облегчила ее тяжелое горе (она не пишет — какое), крушение мечты всей жизни, виной которому — война; у ней вновь пробудила мужество мысль, что люди гибли не напрасно, если теперешняя катастрофа приведет человечество к светлому будущему. Нельзя воскресить тех, кто умер, но можно постараться, чтобы никто не умирал той же смертью.

Мне очень хочется написать передовицу для новой газеты — она начнет выходить в июне. Впрочем, я пока не знаю, какое там приняли решение.

Альбен Мишель пишет, что из Цюриха пришло предложение перевести «Ад» на немецкий язык, но ты уже, вероятно, получила его письмо. Дювернуа говорит, что один из его приятелей, театральный режиссер, с восторгом поставил бы какую-нибудь мою пьесу.

180

24 июня 1917 г., вечер

Я видел сегодняшнюю «Ле Пэи». Малость смягчили, конечно, но мысль и даже экспрессию все-таки сохранили.

Сегодня днем я немножко погулял по саду. В нем полно вишни, клубники и красной смородины. Если ягоды сохранятся до четверга, я тебе привезу.

Будь добра, пришли мне номер «Насьон», с моей статьей¹¹².

Номера «Насьон» лежат в моем письменном столе, внизу справа, в большом желтом конверте.

181

8 июля 1917 г.

Все пишу, пишу! Разослал уже больше сотни писем и с ужасом вижу, что не успеваю отвечать: так много у меня теперь корреспондентов.

В тетради, которую вел еще в коллеже, нашел стихи, напечатанные в «Плакальщицах»¹¹³, — право, стихи хорошие и оригинальные! А ведь я писал их в апреле 1891 года, когда мне не исполнилось еще восемнадцати лет! Я решил, что, закончив роман, подготовлю сборник избранных стихов, куда войдут некоторые поэмы из «Плакальщиц» и несколько вещей, написанных позднее. Книга будет небольшая. Но мнение мое вполне определенное: лучше самому произвести отбор стоящих своих стихов, чем возлагать на читателя утомительный труд отыскивать их в общей массе. Так мало остается даже от самых больших поэтов!

182

9 июля 1917 г., утро

Сегодня письма от тебя нет. Заключаю из этого, что завтра получу сразу два, как это бывало, когда мы находились в Артуа.

Мне сообщили, что в «Аксон Франсез»¹¹⁴ от пятого числа есть статья обо мне. Пожалуй, напрасно я не отвечаю сам или не поручаю отвечать на некоторые нападки. Ввиду частых рецидивов их в «Аксон Франсез» полагаю, что будет самым простым и логичным регулярно покупать эту газету «впредь до особого распоряжения». Разумеется, обидно тратить каждый день хотя бы одно су в пользу этих опасных скотов, но все же смешно узнавать лишь случайно (когда кто-нибудь известит) о тех удачах, которые они пытаются мне нанести. В конце концов их кампания имеет общественное значение, и могут быть случаи, когда разумно и даже необходимо протестовать или отвечать. Как ты думаешь? Ты читала в «Виктуар» статью Лизиса?¹¹⁵ В эту сторону тоже надо поглядывать. Однако сейчас я не считаю целесообразным просить тебя покупать ежедневно грязную газетенку Эрве.

Фишеры сообщают, что расходуется сто шестнадцатая тысяча «Огня», а к концу недели типография должна наконец отпечатать новые двадцать тысяч.

183

11 июля 1917 г.

Верный, миленький мой секретарь, ты ошиблась. Я не просил прислать мне письма кюре Сиреха¹¹⁶, я хотел только узнать адрес этого громогласного попа и переслать ему мой ответ. Я отправил его третьего дня, и, значит, сегодня письмо уже у тебя. Немедленно решили его заказным этому иезуиту, который носит титул «главного священника лионских лицеев» и проживает в Лионе, улица Виттон, 34. Не теряй ни минуты, так как сегодня утром я послал копию этого письма в «Прогре» Делярошу, и будет совсем неделикатно, если оно появится в газетах раньше, чем его получит сам Сирех; я хочу быть вежливым с этим долгополом, хотя сам он весьма невежлив по отношению ко мне.

Я написал Ж. де Пейребрюн и предложил ей обратиться к Альбену Мишелю.

Не посылай мне вырезок из «Швейцарского Аргуса», а только сообщай в общих чертах, о чем там говорится: самое коротенькое резюме каждой статьи, напечатанной на немецком или французском языке. Это будет превосходно. Увы, я ничего не мог разобрать в тарабарщине «Коррьере делла Сера»¹¹⁷. Теперь относительно ответов — тут все зависит от обстоятельств. Иногда можно промолчать, иногда нужно говорить. Сиреху следует дать резкую отповедь. Его нападки слишком категоричны и слишком яростны («гнусность», «бешеная слюна» и т. д.). Он повел себя так вызывающе, что нельзя этого спустить. Наоборот, надо заставить его сделать оговорки, отказаться от некоторых утверждений. Меня рассердило не то, что он возмущается моим безбожием, а то, что он уверяет, будто «Огонь» — книга, которая чернит «все достойные уважения чувства» и оскорбляет солдат-фронтовиков. Нецелесообразно оставлять без ответа двусмысленные выверты в таких важных вопросах. Пусть себе значительная часть слушателей Сиреха считает меня, хоть бы и с оговорками, существом презренным, но среди них, возможно, есть несколько порядочных людей, и ради них стоит протестовать. Когда налицо явная ложь, очевидное искажение истины (как в случае с Урбэном Гойе¹¹⁸), надо опровергать. А если это обычная мелкая полемика, разумеется, не стоит отвечать.

184

24 июля 1917 г.

Бедная Жанна де Бар! Это была такая чудесная женщина; как она, наверное, мучилась, постепенно угасая. Ее малышки, должно быть, уже все понимают и чувствуют. Я написал несколько слов госпоже де Бар.

Получил очень любезное письмо от Эрве! Он пишет, что его сотрудник Лизис сейчас в отъезде, но все остальные сотрудники единодушно хвалят мою книгу; и никто не сомневается в моем республиканизме и патриотизме; по его словам, я — «одна из наших молодых знаменитостей, которыми мы гордимся». Что касается впечатления, которое произвело чтение «Огня» в окопах, то он еще не прочел роман до конца и, «если я позволю», выскажет мне свое мнение, когда дочитает. Все это прекрасно, но мне нужно публичное подтверждение этих добрых чувств. Подождем, не очень-то я верю этому букету комплиментов после его жестокого и бессмысленного нападения, тем более что ему смерть как не хотелось помещать опровержение.

Я получил письмо от Шандея; он напоминает о себе, поздравляет меня с книгой и спрашивает, не мог ли бы я пристроить его народный роман в 20 000 строк (он печатал их везде, в том числе восемь штук в «Пти Паризьен»). Я ответил ему любезным письмом. К сожалению, я ненавижу народные романы. Впрочем, полагаю, что как автор таковых он в общем-то не нуждается в том, чтобы кто-то рекомендовал его директору газеты. Он человек славный и, надеюсь, не обидится на меня. А я все-таки не могу покровительствовать этому жанру литературы.

Один молодой военный жил на фронте в землянке, которая носит мое имя — «Вилла Барбюса»; он написал по этому поводу балладу и прислал ее мне.

Фишеры пишут, что следующее издание выйдет тиражом 14 000 (общий тираж составит тогда 150 тысяч) и в связи с этим они снова всерьез возьмутся за рекламу. Это произойдет в августе или в начале сентября.

Фаскель не ответил мне по поводу «Мы» (а эту книгу просят Фишеры)¹¹⁹. Братишка не балует меня письмами!

Поработал я не бог весть как. Был на 178 странице, а съехал на 170.

185

27 июля 1917 г.

Дорогая малышка, я совсем не знал, что «Ад» зачитывали в Палате¹²⁰. Пожалуйста, пришли мне немедленно номер «Журналь Оффисьель». Число ты узнаешь в «Аксьон Франсез», в присланной тобой вырезке говорится о заседании, «которое было третьего дня». Может быть, мне следует ответить — либо в «Аксьон», либо в «Ле Пэи». Совершенно верно, что в «Аде» я резко и без обиняков нападаю на понятие родины, не потрудившись уточнить, что речь идет об агрессивном понимании родины — родины, «которая сильнее всех остальных государств», — словом, о националистическом восприятии родины, которое я очень ясно определил и показал в «Огне» и в брошюре «За что ты сражаешься». Теперь представляется возможность уточнить все это. Итак, раздобудь и срочно пришли мне «Журналь Оффисьель».

Сегодня опять не удалось поработать. Такая, право, досада! Все еще на 170-й странице!

186

Омон, 14 августа 1917 г.

Дорогая крошка, клерикалы яро ополчились на меня. Думаю, что они съели бы меня живьем, если бы могли. Мне сообщили одну фразу из статьи Ламаржеля, который приводит мои слова о священниках, надевших солдатский ранец. Судя по «письму солдата» в «Насьон», Анри Вельсенже¹²¹, один из велеречивых горлодеров у правых, по-видимому, разносит меня в «Ревю Эбдомадер» — это грязно-розоватый журнальчик, лицемерно прикрывающий реакционные убеждения весьма тонким и прозрачным флером республиканизма. А подлец Лавис!¹²² Я и не знал, что он говорит обо мне в своей статье в «Тан». Эти якобы республиканцы, якобы либералы, которые при первом удобном случае откровенно встают на сторону правых, — самое ненавистное и самое опасное отродье. Я тоже мечтаю их изничтожить — конечно, не для того, чтобы их шкуры стали моим личным трофеем, а потому, что считаю их злейшими врагами прогресса из-за того влияния, какое они оказывают на образованную публику. «Тан» и «Фигаро» куда опаснее, чем «Аксьон Франсез», и с ними надо бороться еще непримиримее. Я предпочитаю иметь дело с бесно-

ватыми или с теми, кто искренне заблуждается, даже когда они по-хулигански ведут дискуссию, чем с присяжными краснобаями, которые выдают себя за носителей великих республиканских идей.

Сегодня то яркое солнце, то ужаснейшая гроза, черные тучи и ливни. К сентябрю в небе над Кабуром¹²³, очевидно, не останется больше воды.

Я сегодня работал. С грехом пополам добираюсь до конца первой части. В общем, получится целый роман в 250 страниц. Написанное возьму с собой в Кабур, перечту и отделаю, а новых глав на берегу моря начинать не буду.

Фаскель в Швейцарии. Жак Мадлен, встревоженный моим ультиматумом (хотя и дружеским), пишет мне, что он переслал мое письмо¹²⁴ в швейцарскую деревню, где отдыхает его патрон.

Я склоняюсь, склоняюсь и, на расстоянии, обвиняюсь вокруг тебя. Фламмарин мне сообщает, что продажа «Огня» по-прежнему идет нормально. Очень мило это «нормально». Хорошо, что все относительно!

Забавную историю рассказывают Б. Я ведь уже украл Джоконду, а теперь, оказывается, меня расстреляли! Придется, однако, воскреснуть, чтобы эти миленькие враки могли продолжаться.

187

17 августа 1917 г.

Дорогая, выезжаю в понедельник утром, к завтраку буду на улице Бель-Апаранс, и примем все меры, чтобы отправиться в царство Амфитриты. Больше не пересылай мне сюда писем.

Фишеры извещают о посылке испанского перевода «Огня» — «El fuego en las trancheras» — и о предложении перевести на испанский язык «Ад».

Получил перевод статьи из «Франкфуртской газеты». В ней говорится о Кайо¹²⁵, о «Пэи», где «сотрудничают известные писатели, и в частности романист Барбюс, последняя книга которого, „Огонь“, потрясает Францию не потому, что она получила Гонкуровскую премию, а потому, что написана в окопах и изображает солдата таким, каков он есть: его мытарства, его страдания и его мысли. Тираж этой книги, на которую обрушились проклятия националистической печати, достиг уже ста тысяч». «Франкфуртская газета» добавляет, что я — по характеру своей книги — являюсь глашатаем солдат и, однако, не напечатал в «Пэи» статей революционных, «направленных против правительства», а поместил довольно безобидную статью. Не понимаю, что хочет сказать и куда клонит эта зарейнская газета.

С моей брюшьюрой «За что ты сражаешься»¹²⁶ ничего еще не ясно. Но, повторяю, не надо поддаваться запугиваниям болванов и бесчестных кликуш — Эрве и Мораса¹²⁷. Сейчас, в результате скандала с «Бонне Руж» и «Ля Транше»¹²⁸, у них есть некоторые преимущества, но подождем конца... Я на себе испытал, как эта шайка иезуитов, когда им нужно, чудовищно искажает факты в полемике.

А мне лично, уверяю тебя, в высшей степени наплевать на то, что могут про меня сказать или подумать; все это нисколько не мешает моим размышлениям о будущем романе. Был в моей жизни один момент, когда из-за «Ада» мне не дали знака отличия и создали вокруг меня атмосферу тайного недоброжелательства. Но из-за этого я сейчас нисколько не хуже чувствую себя. К тому же, верно говорит Вергилий в VII песне «Энеиды»¹²⁹: «Uno avulso non deficit alter»*. Вместо одной газеты, скомпрометированной махинациями какого-нибудь подозрительного субъекта, завтра появится десять новых газет, и ничто не остановит движения вперед, которому, хотя бы в слабой мере, способствую и я. Все остальное — мелочи, и не надо придавать им значения.

До скорого свидания, сердце мое.

* Одно исчезнет, но другое возникнет (лат.).

II ПИСЬМА ФРОНТОВИКОВ АНРИ БАРБЮСУ

1

4-й взвод 3-й пулеметной роты 102-го пехотного полка, полевая почта 70,

2 марта 1916 г.

... Вечером в окопе я читал вслух моим «пуалю»¹ замечательную книгу господина Анри Барбюса «Огонь». Восхищенные живыми страницами, где автор описал, что он видел и пережил, мы решили поздравить его с этим шедевром «прожитой жизни».

Меня попросили написать письмо от имени всех: пишу я один, но мы все благодарны Барбюсу.

Я не знаю адреса господина А. Барбюса, а адрес издательства полностью напечатан на книге, вот почему я прошу Вас передать господину Барбюсу наши поздравления.

Сделайте это по просьбе «пуалю».

2

С тех пор как появился роман «Огонь», я все собираюсь выразить Вам свое дружеское восхищение, свое волнение, свою радость от знакомства с книгой, которая отличается от всех других описаний войны. Ваша книга — значительное и, пусть даже Вам это покажется некоторым преувеличением, но разрешите мне высказать свое убеждение, вечное произведение. Только Вы сумели наполнить рассказ о войне духом всеобщего братства.

*Роже Леви, 268-й пехотный полк
27 сентября 1916 г.*

3

- Самая прекрасная книга о войне.
- Книга, воссоздающая необычайную эпопею наших дней.
- Книга, которую всегда будут читать, цитировать, вспоминать.
- Книга, правдиво восхваляющая «пуалю».
- Это твоя книга.
- Это «Огонь».

*Юэ, помощник врача, 2-я батарея
107-го пехотного полка, 2 ноября
1916 г.*

4

Мне кажется, что я вижу в действительности все то, о чем написано в книге. Я принимал участие в наступлении в Артуа в мае—июне 1915 г.² и узнаю описываемую Вами местность. Я вновь вижу окопы, залитые водой. Вот почему я Вам пишу и прошу Вас извинить корявость моего письма.

Р. Гризель, 3-й сводный полк звуков и колониальных стрелков, 3 ноября 1916 г.

5

Как только мы раскрываем Вашу книгу, мы вновь переживаем тяжелые дни, проведенные на передовой.

Ф. Браут, 85-й артиллерийский полк, 4 батальон, 18 ноября 1916 г.

6

Бедные парни из окопов всегда будут тебе благодарны за то, что ты рассказал правду об их ужасной жизни.

Юилар, младший лейтенант, 29-й пехотный полк, 26-я рота, 13 декабря 1916 г.

7

Мы призываем Вас продолжать в том же духе, так как Вы совершенно правильно выразили мысли своих героев.

Поль Петеле и Е. Кассен, призванные 2 года и 4 месяца тому назад, 15 декабря 1916 г.

8

Я читал книгу моим солдатам в землянках, в траншеях, в перерыве между земляными работами. (Разве можно забыть рытье окопов, описанное на последних страницах книги!)

Все мы глубоко страдаем от неумолимой жестокости войны, которая гнетет, душит нас; об этом и написана Ваша книга. Все говорят: «Так написать может только тот, кто сам был на войне. Надо самому все выстрадать, чтобы сказать правду... Это написал „пуалю“, наш брат!»

Л. Венсан, сержант-наблюдатель 81-го пехотного полка, 6-я рота, 16 декабря 1916 г.

9

Все, что Вы написали, это дань уважения всем погибшим парням. Вот почему мы Вам шлем не только поздравление, но и большую благодарность.

*Жорж Жирар, 3-я пулеметная рота
78-го пехотного полка, 16 декабря
1916 г.*

10

Жан [неразборчиво]

19 декабря 1916 г.

Разрешите простому, неизвестному солдату выразить Вам свое уважение и восхищение.

Мы все теперь в неоплатном долгу перед Вами. Если теперь толпа понимает и замечает солдата, то этим мы обязаны прежде всего Вам.

11

Книга изумительна и прекрасна своей страшной правдой и спокойным мужеством.

*Жермен Друдьи, 246-й пехотный
полк, 13-я рота, 6 января 1917 г.*

12

Вы единственный, кто за два с половиной военных года создал значительное и правдивое произведение о войне. Вы самый достойный и самый мужественный писатель. Ваша книга для нас — радостное исключение на фоне потока фальшивой литературы. Последние главы — это самые впечатляющие страницы, когда-либо написанные о войне, захватывающие глубиной мысли, подлинной человечностью, прозорливостью, мудростью и добротой.

Марсель Батийя, капитан, командир подразделения, 8 января 1917 г.

13

Раз у нас есть «Огонь», нам больше не нужна фронтовая газета. Нам нечего будет в ней печатать. Ты до конца раскрыл наши чувства и слабости, ты выразил наши надежды. Ты прочел наши мысли и написал очень нужную книгу. Ты объяснил многим их собственные мысли, выразил их надежду на возмездие. Мы все хорошо поняли истинный смысл главы «Заря».

Тилье, 144-й пехотный полк, 2-й батальон, 9 января 1917 г.

14

Я считаю, что книга «Огонь» — самое мужественное, правдивое, честное документальное свидетельство о бедствиях, выпавших на нашу долю, из всех, что появились в последнее время. Я уверен, что роман этот будет жить. . . и тогда, когда исчезнут все эти ужасы.

*Адольф Коссар, шофер,
10 января 1917 г.*

15

Первый раз я нашел в книге правдивое изображение того, что переживают на фронте солдаты, днем и ночью погруженные в непролазную грязь.

*Будри, 12-й кирасирский полк,
1-й пулеметный эскадрон, 14 января 1917 г.*

16

Кроме таланта, Вы обладаете редким достоинством: Вы досконально знаете все, о чем рассказываете. По мнению всех бывших на войне, а также людей пишущих, Ваша книга останется шедевром военной литературы, романом-эталоном.

*Одигиртене, младший лейтенант
228-го полка, 14 января 1917 г.*

17

Во всей фронтовой литературе — единственной, которая имеет право говорить о войне, не было ничего столь правдивого, столь потрясающего и столь человеческого.

*Роберт Лейюс, младший лейтенант
221-го пехотного полка, 17 января 1917 г.*

18

А. Руйе

22 января 1917 г.

Мой дорогой Барбюс!

Какой великолепный монумент Вы воздвигли в память Ваших товарищей, останки которых смешались с кровавой грязью на полях сражения.

Теперь их никогда не забудут.

«Огонь» — не только прекрасная книга, это прекрасный поступок.

Товарищи моего взвода присоединяют свои горячие аплодисменты к моим похвадам.

19

Мне так хотелось бы передать Вам все, что я чувствовал, читая Вашу книгу. Как Вы близки нам. Как Вы все верно поняли и с какой поразительной смелостью Вы выразили то, что мы все думаем.

Пьер Ренар, бригадир 3-го кавалерийского взвода, 2-го эскадрона, 5-го спешенного кирасирского полка, 24 января 1917 г.

20

Взволнованный страницами Вашего замечательного романа, оживившего мои воспоминания о двух с половиной годах, проведенных на фронте, я считаю своим долгом выразить Вам мое самое искреннее восхищение.

Дорогой учитель, Ваша прекрасная книга должна занимать почетное место в библиотеках всех тех, кто воевал и испытал настоящую войну, именно такую войну, о которой Вы рассказали. Всем сердцем я разделяю высокие мысли Вашего произведения и смею надеяться, что признательность никому не известного простого солдата будет Вам приятна.

Альбер Сайсе, сержант 331-го пешотного полка, 3 февраля 1917 г.

21

Мы были слишком молоды, слишком неопытны, чтобы осмелиться создать необходимую нам человеческую книгу, которую Вы сумели написать. Мы бы, конечно, не сумели этого сделать. С отвращением читая современные произведения о войне, мы ждали Вашу книгу. Она окрылила нас, она доказала, что солнце все же существует.

*Жак Лабюскьер,
5 февраля 1917 г.*

22

«Огонь» заставил меня заново пережить все события фронтовой жизни, как самые тяжелые, так и самые смешные.

*Луи Жируар — сержант,
13 февраля 1917 г.*

23

Я сам провел два с половиной года с мужественными сынами Франции, «пуалю». Но я никогда не поверил бы, что можно так правдиво, как Вы это сделали, передать мысли «пуалю», рассказать об их пове-

дневной жизни и смерти. Читая Вашу книгу, я видел свой батальон. Как прекрасно Вы выразили на последних страницах романа заветные мысли тысячей «пуалю». Многие узнают себя в Вашей книге.

*Линьяк, помощник военврача,
18 февраля 1917 г.*

24

Ваша книга ценна тем, что увековечивает воспоминания о войне. Ваши персонажи верно замечают, что с течением времени воспоминания стираются, горести забываются, и я счастлив, что Вы отважились описать жизнь солдат такой, какая она была на самом деле; что же касается выводов Вашего романа, то они достойно его завершают.

Ф. Канвиль, 25-й территориальный пехотный полк, 22 февраля 1917 г.

25

Роман поможет всем, кто не был на фронте, понять истинное лицо войны, понять нечеловеческие усилия солдат. Он поможет людям понять, что не стоит слепо верить некоторым журнальным статьям, рисующим атаки, где гибнут тысячи людей, как праздник.

Лейтенант Раймон, 140-й пехотный полк, 23 февраля 1917 г.

26

Во всех уголках мира немало раненых и больных, которые видели и пережили то же, что и Вы. Эти люди, к ним относиться и я, ждали слова правды, ждали верного и смелого описания этой отвратительной войны. Они ждали, чтобы кто-нибудь показал то, что они видели, но о чем они сами не могут рассказать, поведал бы, о чем они думают, не умея это выразить. Во всей современной литературе они наталкивались только на одурманивающую ложь. Роман «Огонь» для всех нас, переживших войну, — откровение и факел надежды. Прочитав книгу, мы стали лучше понимать свои смущенные души, мы яснее увидели будущее и отчетливее осознали свой долг.

*Поль Прево,
23 февраля 1917 г.*

27

Необходимо, чтобы в тылу все прочитали роман «Огонь». Тогда у тыловиков будет некоторое представление о страданиях людей, сражающихся за них.

*Жорж Дюпюи, матрос,
23 февраля 1917 г.*

28

Разрешите мне выразить восхищение всех фронтовиков Вашей книгой. «Огонь» здесь, на фронте, самая любимая книга. Ее читают запоем и перечитывают много раз. Вы передали истинные чувства тех, кто долгие месяцы прозябает в окопах... Вы поняли тяжкие страдания этих безвестных людей и рассказали о них широкой публике, привыкшей к фальшивой, полной условностей литературе.

Жан-Мари Шнайдер, 39-й пехотный полк, 6 марта 1917 г.

29

Все, что на протяжении последних трех лет, составивших целую эпоху, постоянно, но смутно ощущали миллионы мучеников, все это Вы умело сконцентрировали в Вашей книге «Огонь».

Впервые во время войны я прочитал страницы, где правда о войне не была бы сознательно или бессознательно скрыта.

Анри Эй. Лейтенант 2-го сводно-го полка зуавов и колониальных стрелков, 2-й батальон, 10 марта 1917 г.

30

Ваша книга до боли правдива. Это действительно эпопея взвода «пуалю», настоящих солдат. Товарищи с восторгом передают друг другу странички Вашего романа, рассказывающие об их будничном героизме. «Наконец-то, — говорят они, — появился честный и талантливый писатель, который не только увидел правду, что, может быть, не так уж и трудно, но и отважился рассказать об этой правде, в то время как столько известных писателей ежедневно засоряют наши мозги своей продажной писаниной».

А. Дарпэн, 40-й пехотный полк нестроевой роты, 91-я полевая почта, 26 марта 1917 г.

31

Книга у меня в ранце, и я беру ее с собой на передовую. Она стала моим молитвенником, в котором я черпаю энергию и надежду в мучительные минуты сомнений. Наши жертвы не пропадут: мы сражемся ради великой цели — прекращения всех войн. Я так же, как и Вы, верю в будущее. Свет правды, о котором Вы говорите, еще не озарил меня, но Вы заставили меня думать о нем. Вы указываете путь к Истине, которая волнует умы и вселяет надежду.

Луи-Жан Вино, 40-й артиллерийский полк, 31 марта 1917 г.

32

«Огонь» избавляет нас наконец от омерзительного, наглого бахвальства, которое нас представляло до сих пор в самом ложном свете. «Огонь» воздает должное безвестной массе солдат.

*Робер Шекфер, солдат 11-й роты
карабинеров, 11 апреля 1917 г.*

33

Это восхитительно по точности наблюдений. Я нашел в книге все эпизоды моей окопной жизни, этого постыдного существования, конца которого не предвидится.

*Анри Фишель, 149-пехотный полк,
11 апреля 1917 г.*

34

Мы очень гордимся успехом романа «Огонь». И где только не встретишься с гордостью, не правда ли? А между тем она очень искренняя и горячая, эта скромная гордость солдат, которые могут сказать: «Эта книга была написана среди нас, мы знаем ее автора, он служил вначале в 18-м, затем перешел в 29-й (теперь это 14-й) полк». Прошлой ночью в подвале Лув... под грохот снарядов, рвавшихся в развалинах деревни, мы перечитали вслух поразительно правдивую главу о земляных работах в траншеях. Ее жесткая правда становится понятнее с каждым новым днем, проведенным в окопах...

Время от времени мы замолкали, радостно думая о том, что Ваши наблюдения не потерялись на страницах походной записной книжки, которую обычно каждый ведет для себя, что Вы бросили их в лицо всем тем, кто привык к лубочным картинкам и рассказам Эспарбеса³. Чем больше длится война, тем более актуальной книгой становится «Огонь».

*Аббат Жозеф Буле,⁴
11 апреля 1917 г.*

35

Кроме моей признательности, прошу Вас принять мою скромную, но искреннюю благодарность за то, что на глубоко волнующих и поразительно точных страницах Вашего романа показана война настоящая, реальная, подлинная, а не война, которую восхваляют и приветствуют люди, никогда ее не нюхавшие. Обо всем этом необходимо было написать. Необходимо, чтобы людей на войне воодушевляли мужество и героизм и чтобы у них рождалась вера в победу всеобщего Мира, который не сможет погибнуть из-за нелепых случайностей. Во имя этого надо вспоминать прошлое. А без Вас мы бы его забыли.

*Лабрюни Ж.,
15 апреля 1917 г.*

36

Вы показали отважных людей такими, какие они есть на самом деле; они выполняют свой долг, жертвуют жизнью, но без той обязательной улыбки, с которой наши писатели обычно изображают героев.

Гастон Дюрафур. Дивизионное отделение связи. 14 мая 1917 г.

37

«Огонь» внушает солдатам мужество, утешая их мыслью, что они страдали не зря.

Е. Плесо, 14-й истребительный отряд, 4-й эскадрон, 15 мая 1917 г.

38

... Я прочитал и перечитал Вашу прекрасную книгу «Огонь» после многих других книг о войне.

Я утверждаю, что Ваша книга правдива от начала до конца, что это фотография жизни наших солдат, во всяком случае в первый год войны. Я сам был на фронте с самого начала, провел первую военную зиму в Аргонне⁵, и я могу утверждать, что видел сцены, которые Вы описываете.

*Майор Ланглуа,
16 мая 1917 г.*

39

Подумать только, что я наблюдал, как день за днем ты писал эту книгу. Я горжусь тем, что могу сказать друзьям: «Барбюс был одним из моих „пуалю“».

*Эм. Медар, сержант,
18 мая 1917 г.*

40

Читая Вашу книгу, я вновь увидел ужасную местность, страшный сон, который мы пережили в Артуа. Мне хочется подтвердить точность, которой отличаются все описания людей и событий. Именно поэтому я очень ценю Ваш «Дневник одного взвода». Я хорошо помню, как Вы отличились при взятии высоты 119. Поздравляю Вас с большим успехом, отблески которого падают и на храбрых солдат 231-го полка, послуживших прототипами Ваших героев.

Полковник Гидан, 246-й пехотный полк, 20 мая 1917 г.

41

Я не разделяю Ваши политические взгляды и отношусь скептически к перспективе международного братства, в которое Вы верите. Но Вы создали скорбную поэму окопной жизни. Вы с такой искренностью и с таким волнением высказали свое сочувствие бедному «пуалю», что мы все, сколько нас есть, всегда будем Вам за это благодарны.

*Гассэ, 7-й артиллерийский полк,
7-я батарея. 31 мая 1917 г.*

42

В землянке, носящей Ваше имя, где Вы, наверное, жили, я только что прочитал три последние главы Вашей книги.

*Жан Арбуссе, 6-й саперный полк,
15 июня 1917 г.*

43

Я и все мои товарищи, мы восхищаемся Вашим шедевром — романом «Огонь». Такой сильной, правдивой книги мы никогда еще не читали. Мы искренне благодарим Вас за то, что Вы выразили наши мысли и убедительно провозгласили важные истины. Ваша книга для нас — искупление и возмездие.

Спасибо.

*А. Фука, 13-й пехотный полк,
222-й сектор, 17 июня 1917 г.*

44

Ваша книга объединяет людей, эта книга великой, выношенной истины.

*Жан Жильбер, 102-й полк тяжелой артиллерии, 11-й дивизион,
19 июня 1917 г.*

45

«Огонь» говорит о страданиях и думах фронтовиков. Разрешите одному из них выразить Вам большую благодарность за то, что Вы осмелились защитить солдата в глазах «тыловых наблюдателей».

*Дюпонуа, 90-й пехотный полк,
25 июня 1917 г.*

46

Долг тех, кто пережил кровавые и грязные эпизоды «Огня», выразить Вам свое восхищение и благодарность за правдивую, мужественную и искреннюю книгу. И приветствия, которые мы Вам посылаем с пере-

довой или из наших землянок, это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить Вас за то, что Вы так мужественно и правдиво описали нашу жизнь.

Поль Мерль, наблюдатель второго батальона, 94-го пехотного полка, 26 июня 1917 г.

47

Вы, наверное, помните наши споры в окопе у Бетюнской дороги. Вы описали войну такой, какой мы ее видели, такой, какой мы ее перенесли. Эта точность и правдивость делают Вам честь. Ощущаешь себя среди «пуалю» 55-й дивизии, которые, несмотря ни на что, остались живыми людьми и не прочь повеселиться и потанцевать, храня в душе свои идеалы. Примите выражение моей симпатии.

Аббат Жозеф Буле, пулеметчик, пулеметная рота 246-го пехотного полка, 26 июня 1917 г.

48

Я так и остался бы для Вас безвестным читателем «Огня», если бы однажды не начал читать Вашу книгу вслух. Но сначала хочу Вам сказать, что я лежу в госпитале, нас в палате 13 раненых. Первое чтение имело такой успех, что я решил его продолжить, и теперь товарищи одолевают меня просьбами читать и перечитывать отдельные страницы. Я не мог не написать Вам именно теперь, когда Вы подвергаетесь нападкам со стороны мерзких и подлых шакалов. Хочу Вам выразить как от своего имени, так и от имени моих товарищей по несчастью чувство горячего восхищения и передать Вам наши наилучшие пожелания. Вы создали самое правдивое и самое сильное произведение об этой войне.

Дюмостье. 45-й госпиталь, 2-я палата, Баньоль де Л'Орн, 3 июля 1917 г.

49

На Вашей стороне все те, кого захватило содержание романа, кто потрясен правдой, открывающейся на его страницах, кто целиком отдался охватившему их волнению. Эти люди обращаются к Вам от всей души, просто и искренно.

Против Вас те, кто тоже не остался равнодушным к правде, выраженной Вами с такой силой, но кто подчиняет свои чувства отвратительному влиянию групповщины, сектантства. Это удел великих творений.

*Гастон Шеро,
27 августа 1917 г.*

50

У меня есть сын, я перешлю ему Вашу книгу. Он узнает из нее лучше, чем из моих рассказов, что представляет собой наша жизнь вот уже три года.

*Ш. Газнье, 8-й саперный полк,
27 августа 1917 г.*

51

Благодаря Вам наша жизнь станет известной будущим поколениям во всей своей ужасающей правде.

Поль Барреф, 360-й пехотный полк, 21-я рота, 128-я полевая почта, 1 сентября 1917 г.

52

«Пуалю» очень ценят и любят «Огонь». Кроме больших литературных достоинств, эта книга редкой правдивости. Своим поразительным успехом Вы обязаны прежде всего тому, что читатель чувствует, что Вы сами пережили все, о чем так правдиво рассказываете.

Морис Пост, старший счетовод 11-го кирасирского полка, 8-го эскадрона, 2 сентября 1917 г.

53

Мы все Вас искренне благодарим за то, что Вы описали все, что мы пережили, и высказали все, что мы думаем.

Поль Платт, 245-й пехотный полк, 6-й госпиталь, Сен-Жосм через Лангр, Верхняя Марна, 29 сентября 1917 г.

54

У нас временное затишье, и я смог прочитать Вашу книгу «Огонь». Весь взвод меня слушал, и все сказали: «Вот это хорошо». Вас хорошо знают на передовой. Шлем искренний фронтовой привет. Спасибо Вам.

Эли Берте, 1-я марокканская дивизия Иностранного легиона, 9 октября 1917 г.

55

Дорогой товарищ и брат!
Я солдат с 1914 г. С восторгом прочитал Ваш роман. Спасибо за книгу, которая прибавляет сил и бодрости. Я уверен, что и мы, вернувшись с этой страшной бойни, тоже станем «бойцами мира».

Шарль Сеелинг, 6-й батальон карабинеров, 4-я рота 5-й дивизии швейцарцев, 22 октября 1917 г.

56

У Вас впереди не только долгая жизнь. Вы заслужили бессмертие, так как во время переживаемой нами трагедии показали душу людей, пожираемых войной.

Давид, 23 октября 1917 г.

Письма без даты

57

Ваша книга не только прекрасное произведение — это благородный поступок.

Рауль Александр. Пилот 201-й эскадрильи

58

Товарищ! Спасибо за все, что Вы написали, спасибо от имени наших товарищей, которые все еще там, на фронте. Спасибо за то, что Вы спасли их от забвения и равнодушия, которое безжалостно разрастается вокруг. Вы единственный, кто захотел сказать о нас, всеми забытых и преданных, о нас, которых называют теперь не иначе, как «профессиональные вояки». Вы смогли показать, что весь этот ужас мог возникнуть только из-за пассивности народов; будем же надеяться, что и дальше Вы сделаете все возможное, чтобы в будущем искоренить подобное бедствие.

Горячо убежден, что читатели Вашей книги обретут ясность мысли и оценят ее не только как роман, удостоенный литературной премии, но и как прекрасное социальное произведение.

Банкиль

59

Не раз случается, что во время споров в окопах мы призываем в свидетели Вашу книгу, и в землянках нередко можно услышать Ваши слова, прочитанные кем-нибудь из солдат.

Кадейль, 50-й пехотный полк, 1-я рота

60

«Огонь» — книга, которой должен руководствоваться угнетенный человек в борьбе против всего, что его порабощает. Надо только, чтобы угнетенные поняли истинные причины своих страданий.

Гастон Кокиль, 62-я батарея 188-го артополка. Ларошель

61

Только что закончил Вашу изумительную книгу, я потрясен, я рыдал. Спасибо за прекрасные страницы.

Ж. Пиластр

62

Я не буду говорить Вам об огромном успехе «Огня», скажу только, что в окопах его читает каждый. Это доказывает, что Вы взволновали тех, кто страдает.

А. Ладейль, 50-й пехотный полк

63

Вчера наконец достал Вашу книгу. Не отрываясь, читал всю ночь, а утром передал ее первому из тех, кто с нетерпением ждет своей очереди.

Нуандерф

64

Это факт — книгу вырывают друг у друга, записываются на нее в очередь. Ко мне постоянно обращаются все новые и новые желающие. Это все солдаты, среди них несколько интеллигентов, образованных людей, но в основном это самые простые, скромные люди. Я видел, как книгу читали вслух в убежище. Роман волнует, трогает, заставляет думать. Он написан так правдиво, с такой любовью, с такой искренностью, он захватывает и невежественные массы и интеллигентных людей. Учтите, что я имел дело только с солдатами. Они себя узнают, они видят себя словно в зеркале, они понимают себя. И если не все могут это выразить, все это чувствуют. Они смогут теперь обратиться к тем, кого миновала война, к будущим поколениям, для которых наше настоящее станет историей, и сказать им, указывая на Вашу книгу: «Посмотрите, это мы. Посмотрите и станьте на нашу сторону. Вот он наш крестный путь, наша Голгофа. Поймите наши беды, наши страдания, пересчитайте наши раны. Посмотрите, как мы жили, а затем спросите себя: почему? Спросите себя, каким образом это случилось, и пусть озарит вас свет и коснется вас Истина».

Р. Б., бельгиец-фронтовик

65

Эта книга написана человеком, который был рядом с нами, вот почему мы так ее ценим. Некоторые ее прочтут ради новых ощущений, но те, кто страдал, кто страдает и теперь, кто в боях потерял близких, найдут в Вашей книге скорбную картину перенесенных страданий.

Ж. Р. Родьер

66

Ваша книга очень помогает замечательным пехотинцам. Для них будет утешением знать, что есть писатель, который рассказал всем о переживаемых ими страданиях, о моральном напряжении, в котором они живут постоянно, не зная отдыха.

Майор Тулун, Французская военная миссия при штабе Английской армии

67

Вот он, наконец, потрясающий рассказ о нашей жизни, о наших раздумьях. Мы так ждали его, Он появился как раз вовремя. Он останется правдивым, документальным, если можно так сказать, свидетельством войны.

Р. Фулон, 13-й госпиталь

68

Самое замечательное в Вашей книге не столько правда характеров, разговоров и событий, сколько возвышенность идеи, которую Вы выразили с таким мужеством. Ваш роман служит великому идеалу.

Жан Эй, диспетчер

III

ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЛИЦ АНРИ БАРБЮСУ

1

Жозеф Кайо

6 февраля 1916 г.¹

Какую изумительную книгу Вы написали! Извините, что я только теперь благодарю за присылку книги и выражаю свое восхищение Вашим произведением, но я считал необходимым перечитать роман, прежде чем решиться говорить о своих впечатлениях. Было бы глупо с моей стороны хвалить Ваш стиль, но не могу не сказать, как потрясли меня Ваши описания повседневной окопной жизни, жизни, которую Вы мужественно разделяли с солдатами, выполняя то, что считали своим долгом. Вы создали настоящую эпопею. Но особенно замечательны Ваши мечты о лучшем будущем, ваша возвышенная философия, особенно ясно видная в конце книги. Я боюсь оскорбить Вашу скромность, награждая Вас, писателя и мыслителя, громкими эпитетами, поэтому я ограничусь только тем, что еще раз скажу о радости и гордости, которые я испытал, получив от Вас книгу с дарственной надписью.

Примите, прошу Вас, уверения в моих самых преданных чувствах.

Ж. Кайо

2

Поль Маргерит

10 февраля 1916 г.²

Мои дочери принесли Вашу замечательную книгу, опубликованную в «Эвр». Мы прочитали ее с восхищением, смешанным с ужасом и сочувствием к страданиям, пережитым во имя высшей необходимости. Это изображение войны, подлинной войны, незабываемо. Чувства писателя и солдата сливаются в глубоком и тягостном волнении, которое читатель полностью разделяет. И надо равно благодарить писателя за то, что он написал эти страницы, и солдата за то, что он пережил все это в действительности.

Где только Вы нашли все эти слова?

Мы часто дружески и с надеждой думаем о Вас. Надеюсь, Вы напишете два-три слова о Вашей жизни.

Война усилила дружеское отношение к людям вроде Вас. Мои дочери и жена шлют Вам, мой дорогой Барбюс, свои искренние приветы. Я присоединяю также и свои наилучшие пожелания.

3

Пайо и К⁰

4 августа 1916 г.

...Имею честь подтвердить получение Вашего любезного письма от 28 июня, на которое я раньше не мог ответить, так как был в отъезде.

Я принял к сведению Ваше решение печатать «Огонь» отдельной книгой лишь после окончания войны.

Если же Вы измените свое решение и сочтете уместным выпустить книгу независимо от хода событий, я хочу Вас заверить, что буду счастлив договориться с Вами об издании романа в любое подходящее для Вас время. Теперь же, месье, прошу Вас принять выражение моих наилучших чувств.

P. S. С большим интересом читаю Ваш роман в «Эвр».

Если бы я знал Ваш домашний адрес, я не отказал бы себе в удовольствии прислать Вам некоторые мои последние издания.

4

Э. Фуре (издательство Ашетт)

16 августа 1916 г.

Я получил Ваш ответ на письмо, где писал Вам, что хотел бы познакомиться с романом «Огонь», который начинает публиковаться в газете «Эвр».

Поскольку Вы считаете, что к этому вопросу лучше вернуться после окончания войны, то мы об этом поговорим позже и вместе посмотрим, можно ли будет включить «Огонь» в серию «Елисейские поля», если какие-нибудь эпизоды, которым Вы придаете большое значение, не помешают этому.

5

Жорж Леконт³

23 августа 1916 г.

Мой дорогой, милый и мужественный друг!

Я был счастлив получить от Вас весточку. Я слышал, что Ваш корпус получил приказ о перемещении. Так, по крайней мере, говорят. Всем вам это сулит только новые невзгоды. Я знаю, что Вы их мужественно переносите. Все-таки теперь уже забрезжила победа. Через несколько месяцев Вы вновь займете Ваше место среди нас. Добровольно пожертвовав своей независимостью, проявив мужество и отвагу, Вы возвеличили свое имя. То, что я смог прочитать из «Огня», мне очень понравилось. Вы прекрасный и самобытный писатель. Я слышал о Вас самые хорошие отзывы.

Я думаю о Вас с нежностью. Целую Вас.

Моя жена Вам кланяется.

6

Э. Фуре (Издательство Ашетт)

1 сентября 1916 г.

Вам, так же как и мне, очевидно, хорошо известен характер серии «Елисейские поля», и поскольку Вы считаете, что Ваша книга для этой серии не подходит, то, конечно, Вы ее издадите там, где Вам это покажется уместным. Прошу Вас рассматривать наше предложение, господина Лаффуа и мое, как выражение нашего желания видеть Ваше имя в каталоге серии «Елисейские поля».

7

Мари Шовель де Шовиньи

13 сентября 1916 г.

Оба мои сына на фронте с самого начала военных действий. Младший, пулеметчик в Буа ле Претр, провел восемнадцать месяцев в окопах.

Я пишу Вам об этом, чтобы Вы поняли, с какой благодарностью я читала в «Эвр» Ваш «Дневник одного взвода». Мне казалось, что перед моими глазами проходит жизнь моего «малыша», которую Вы один смогли воссоздать с такой яркостью.

То, что обычно называют литературой о войне, меня оскорбляет или отталкивает. Ваша книга, месье, — а «Огонь», конечно, выйдет отдельной книгой — благородное произведение, честное и смелое.

Я хотела бы, чтобы эта книга была в руках всех солдат этой великой войны, всех матерей, отдавших ей своих сыновей.

Хотелось бы, чтобы предисловием и дополнением к Вашему роману послужила бы статья Мортимера Могре «Пехота», появившаяся вчера в «Эвр». Вот, месье, что мне так хотелось сказать Вам.

Не сердитесь на письмо старой незнакомой женщины. Я сразу поняла, как близки мне Ваши мысли, чувства, как прекрасен Ваш талант. «Огонь» достоин самых высоких похвал, и я никогда бы не решилась высказать свое мнение, если бы он не взволновал меня и не поразил бы до глубины души.

Да хранит Вас бог, месье.

8

Каллеман

10 октября 1916 г.

... Я не могу отказать себе в удовольствии высказать Вам свое восхищение «Огнем», этим правдивым и человеческим романом. Книга эта потрясает душу картинами ужасов окопной войны.

С сердечными пожеланиями.

9

Поль Маргерит

26 октября 1916 г.

От всего сердца спасибо, дорогой друг. Роман «Огонь» говорит сам за себя. Эта замечательная книга волнует, хватает за душу, берedit ее; это хватка орла, почерк большого писателя.

Ваш друг

10

Фернан Вандерем⁴

1 ноября 1916 г.

Поскольку Вы приемлете критику, позвольте мне высказать свои замечания. Речь идет о книге, которая меня взволновала и которую я считаю значительным произведением, поэтому я не пожалую чернил. Вот мое мнение: в отношении аргументов Вы правы, однако в этом смысле «Гаспар»⁵ — книга не без достоинств, но все же не поднимающаяся до уровня Вашего романа, — Вам, очевидно, несколько повредила.

Безусловно, необходимо если не изменить, то по крайней мере сократить некоторые солдатские разговоры в начале книги. Подчас в болтовне солдат встречаются выражения, которые, как я понимаю, Вы приводите за их красочность или искренность, но которые воспринимаются как ненужные длинноты.

Наоборот, я настойчиво советую Вам сохранить, помимо описания атак, рассказ о посещении разбомбленной деревни, разговоры на стоянке и в тылу.

Во всех этих эпизодах звучит гнев и презрение, и мне бы не хотелось, чтобы Вы это вычеркнули.

В общем, я считаю, что в беседах Ваших солдат надо снять все анекдотическое, случайное и оставить только то, что имеет общее значение и определяет оценку событий.

Вчера я обедал с книгоиздателями братьями Фишер и узнал, что Ваша книга выходит у Фламариона⁶, с чем я их горячо поздравил.

Когда появится Ваша книга, почему бы Вам не выпустить отдельным тиражом, не предназначенным для продажи, страницы книги, вычеркнутые цензурой, последовав примеру Мирбо, который поступил так с книгой «628-E8»⁷.

Это дополнило бы роман эпизодами, кастрированными цензором, и в полном виде представило бы то, что Вы пережили и хотели описать, а ведь в этом заинтересованы и Вы, и Ваши друзья.

Кажется, Вы — первый кандидат на Гонкуровскую премию⁸. Конечно, мои суждения о Вашей книге на это не повлияют.

С начала войны я решил нигде не печататься — решил с тем большей легкостью, что все равно нигде не смог бы выразить ни свои чувства, ни свои мысли.

Тем не менее, — но это строго между нами, иначе меня завалят просьбами, — когда появится Ваша книга, рассчитывайте на мою дружескую помощь в «Фигаро»⁹.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Вам помочь.

С дружеским расположением.

11

Герудель

4 ноября 1916 г.

... Я слежу за газетной публикацией, надеюсь затем прочитать Ваш роман еще раз, когда он выйдет отдельной книгой. Может быть, тогда я лучше пойму, как погиб мой сын.

12

Г-н де Ла Фуришардьер¹⁰

6 ноября 1916 г.

Следуя Вашему примеру, я обращаюсь к Вам официально, хотя, несмотря на то что мне вовсе не свойственна фамильярность, мне очень хотелось бы написать «дорогой друг».

... Я видел Вас всего один раз, минут пять, с волнением прочитал «Огонь» и теперь не только восхищаюсь Вами как писателем, но и вижу

в Вас давнишнего друга, к которому испытываю чувство глубокой симпатии. В каждой Вашей строчке выражено то, что я чувствую и о чем бы хотел кричать, хотя сам я не видел войны и знаю ее только по Вашей книге. Недавно я разговаривал с тремя очень разными людьми: с майором Жераром (другом Жореса), Вашим коллегой Виктором Снеллом и актером Жемье¹¹. Вы нас всех объединили. Мы говорили только о Вас и благодаря Вам были едины в своих мыслях и чувствах, в своих взглядах на то, что есть и что должно быть.

Я надеюсь Вас увидеть, когда Вы вернетесь в Париж.

Примите сейчас выражение моей искренней и очень глубокой симпатии.

13

Сезут

9 ноября 1916 г.

... Скажу Вам, что я поражен. Пятнадцать месяцев у меня перед глазами разворачивался спектакль, который Вы описали, но нужно было прочесть Вашу книгу, чтобы до конца понять бесчеловечный ужас всего этого. Действительно, люди созданы, чтобы все забывать. Воспоминания о ежедневных неприятностях мгновенно изглаживаются из памяти, уступая место новым заботам. Запечатлев наши воспоминания обо всем этом кошмаре, Вы совершили глубоко человеческий, мужественный поступок. Мужественный — потому что правда, действительность, которую Вы описываете, совершенно противоположна официальным представлениям о войне, человеческий — потому что Вы помогаете узнать войну, а узнать войну — значит способствовать тому, чтобы сделать ее невозможной.

14

*Редакция лионской газеты
«Прогресс»*

9 ноября 1916 г.

Общество литераторов должно было сегодня послать Вам письмо, чтобы узнать, разрешите ли Вы напечатать роман «Огонь» в газете «Прогресс». Я считаю, что наш долг познакомить публику с Вашей прекрасной, правдивой и убедительной книгой, которая помогает понять, что такое война для тех, кто сражался на фронте.

15

П. Дотт

10 ноября 1916 г.

Если судьбе будет угодно, чтобы я вернулся живым из этого ада, я с волнением перечитаю Вашу книгу, чтобы вспомнить пережитый ужас, который внушил мне отвращение к жизни, ранее мною столь любимой.

16

Пенайе

16 ноября 1916 г.

... Своим искусством Вы проникли до самой сердцевины жизни и показали ее без всякой фальши и прикрас. Для меня Ваша книга — не искусство, а сама жизнь, вот почему я с волнением ее перечитываю и храню на полке своей библиотеки в память о страшных часах, пережитых возле пулемета, затонувшего в море грязи, которое называлось Суше¹².

17

Гюстав Жеффруа¹³

18 ноября 1916 г.

Вы написали сильное и глубокое произведение, и мы счастливы, что смогли по достоинству его оценить. Надеюсь, что Вы согласитесь по-дружески пообедать с нами в январе, в день, который назначит Декав¹⁴. Я буду счастлив познакомиться с Вами и выразить Вам свое восхищение и симпатию.

18

Жорж Гизон

23 ноября 1916 г.

... Давно собираюсь выразить Вам, проникновенному художнику, простому и большому писателю, восхищение, которое я испытал, читая Ваш последний роман, «Огонь», который преисполнил меня волнением и ужасом, заставил многое пережить вновь. Роман «Огонь» вобрал в себя несколько дней моей жизни, я особенно горжусь тем, что знал людей, которых Вы, умело пользуясь писательским искусством, показываете в ореоле трагической драмы. Я особенно восхищаюсь Вами за то, что Вы показали «Ад», существующий вне каждого человека¹⁵.

19

Ж. Рони-старший¹⁶

Дорогой Друг!

Члены Гонкуровской Академии на своем последнем обеде пришли к единодушному мнению присудить премию Вашему роману «Огонь». Появится ли он в новом издании? Я очень бы хотел этого. Я даже осмеливаюсь поторопить Вас.

Мои наилучшие пожелания успеха и здоровья.

20

Официальное извещение
Гонкуровской Академии
о присуждении премии

15 декабря 1916 г.

Наш дорогой коллега!

Мы рады сообщить Вам, что Гонкуровская Академия присудила Вашему роману «Огонь» премию в размере 5000 франков.

Примите, дорогой коллега, уверения в наших наилучших чувствах.

Подписи: Ж. Рони-старший, Гюстав Жеффруа, Э. Бурж, Люсьен Декав, Леон Энник, Л. [неразборчиво]¹⁷

(Я всецело в Вашем распоряжении, мой дорогой коллега, чтобы сопроводить Вас к нотариусу в удобный для Вас день.)

Люсьен Декав, 46, ул. де ла Санте

21

*Марсель Берже*¹⁸

15 декабря 1916 г.

Я вернулся в Париж как раз вовремя, чтобы передать Вам мои сердечные поздравления. Ваш успех реабилитирует литературную премию и переполняет радостью сердца всех тех, кто надеется, что литература будущего будет правдивой литературой.

22

*Гастон Пикар*¹⁹

15 декабря 1916 г.

Дорогой месье!

Браво! Я думаю, что этим все сказано.

Сгораю от нетерпения прочитать «Огонь» полностью.

С чувством преданности и уважения.

23

*Габриель Реваль*²⁰

16 декабря 1916 г.

... Я день за днем читала в «Эвр» Ваше замечательное и ужасающее описание войны. Я поделилась своим восхищением и волнением с Гюставом Тери. Поверьте мне, Ваш «Огонь» останется жить в веках.

24

Фернан Грег

16 декабря 1916 г.

Мой дорогой друг!

Я не поздравляю Вас с присуждением Гонкуровской премии, так как скорее надо было бы поздравить Гонкуровскую Академию. Мне хочется сказать Вам, как я восхищался Вашей великолепной книгой, читая ее в «Эвр». Это книга, которая нужна Франции, и неудивительно, что ее подарили нам именно Вы, храбрый солдат Шампани и великий поэт «Плакальщиц» и «Ада»²¹.

После выхода «Ада» я часто говорил своим друзьям: «Барбюс — это наш Бодлер». Вы выросли как писатель. Теперь, после «Огня», я скорее скажу: «Это наш Виньи»²². Под грохот орудий и свист пуль Вы написали наше «Рабство и величие солдат».

Ваш друг

25

Мефисто

16 декабря 1916 г.

Дорогой Барбюс!

Сколько раз, читая «Огонь» в газете «Эвр», намеревался я написать автору романа, просто чтобы сказать ему о волнении и восхищении, которые каждый день испытывает скромный автор этого письма, читая книгу, все эпизоды которой столь впечатляющи и одновременно столь правдивы, что все прочитанное воспринимается как откровение.

Извините меня за чрезмерную откровенность, будьте уверены в моей полнейшей искренности и в моем восхищении. Жму руку.

26

Ваше имя украшает Гонкуровскую премию. Это очень приятно мне, как и другим ее лауреатам. Я горжусь, что удостоен той же литературной премии, что и Вы.

Я читал Ваш роман только в отрывках, в газете «Эвр». Отрывки эти вызывали во мне чувство священного ужаса и глубокой щемящей грусти; то же впечатление, наверно, производит и вся книга в целом. Вы не боялись сказать всю правду и сумели сказать ее.

*Адриен Бертран*²³, 17 декабря 1916 г.

27

Эмиль Фейе

17 декабря 1916 г.

Приветствуя Вас как мастера литературы, я восхищаюсь чувством сострадания, пронизывающим всю Вашу книгу, братским состраданием, которое возвеличивает человека, несмотря на всю его слабость.

28

*Де Граммон*²⁴

18 декабря 1916 г.

Вы написали бессмертную книгу об этой войне. Меня это, впрочем, не удивило. Я давно уже восхищаюсь Вами и уверен, что Ваши высокие и благородные мысли прославят наше время.

29

*Анри Батай*²⁵

18 декабря 1916 г.

... Я сказал только то, что думаю; надеюсь, что Ваша книга получит много откликов. Что же касается ее дальнейшей судьбы, я совершенно спокоен. Вы создали шедевр, своевременный и необходимый.

Я скоро собираюсь на юг и был бы счастлив до отъезда пожать Вашу руку и немного поболтать с Вами. Сможете ли Вы доставить мне удовольствие как-нибудь заглянуть ко мне или, что еще проще, пообедать у меня. Я жду Вас в любой день. Пожалуйста, черкните пару слов.

Братски Ваш

30

Анри Деврис

19 декабря 1916 г.

Я был на фронте одновременно с Вами и, может быть, даже на том же участке. Возможно, это необходимое условие для того, чтобы оценить «Огонь» по достоинству.

Разрешите мне выразить благодарность, которую испытывают, наверно, все читатели «Огня», побывавшие на фронте.

Спасибо, что Вы сказали правду о войне. «Огонь» поможет понять «пуалю». Серия смело написанных картин заканчивается в Вашей книге символическим апофеозом. Поймут ли все, как Вы бы хотели, этот прекрасный и величественный вывод книги? Я горячо этого желаю.

31

*Леон Риотор*²⁶

19 декабря 1916 г.

Я не видел Вас после Артуа и Вердена, но я прочитал отрывки из «Огня» в «Эвр» и там же прочитал со слезами на глазах статью А. Батая²⁷. От всего сердца приветствую успех романа. Всем сердцем Ваш.

32

Мореввер

20 декабря 1916 г.

Мне уже давно хочется заявить во всеуслышание о том восхищении, которое я испытывал, читая в «Эвр» роман «Огонь». Думаю, что еще больше, чем мое восхищение, Вас обрадует восхищение Метерлинка²⁸, которого я вижу здесь почти каждый день. Да, мой дорогой друг! Ваша книга — это творение большого писателя, честного человека и храброго солдата.

Ваша книга стала классической, у нее большие шансы стать бессмертной. Самые прекрасные рассказы о войне бледнеют по сравнению с Вашим романом. Это шедевр, который показал всему миру ужас военной славы, самой позорной славы, если только она не рождена необходимостью защищать свою родную землю.

33

*Альбер Кейм*²⁹

20 декабря 1916 г.

С радостным волнением нашел я среди лауреатов Гонкуровской премии имя верного друга доблестных и печальных былых дней, благородного поэта, автора моих любимых «Плакальщиц», смелого и скорбного создателя «Умоляющих»³⁰ и «Ада». Страницы «Огня», прочитанные мною в «Эвре», написаны, по-моему, с поразительной эпической силой. Я от души радуюсь Вашему заслуженному успеху.

34

*Эдмон Ростан*³¹

Декабрь 1916 г.

Я восхищаюсь «Огнем», потому что это великая поэма, грозная и мастерски написанная.

35

*Леон Энник*³²

Воскресенье, декабрь 1916 г.

Я рад не меньше Вашего. Если бы мы не отметили премией замечательные страницы «Огня», то какую книгу, равную Вашей, могли бы мы найти?

Мой дорогой друг, Вы вполне заслужили свой успех и всем всецело обязаны только самому себе.

36

*Раймон Лефевр*³³

1 января 1917 г.

Я только что получил Вашу книгу и смогу ее спокойно перечитать в тиши страны басков. Очень Вам признателен за то, что Вы подумали обо мне... Уважение, с которым ко мне отнесся автор самой прекрасной

поэмы о войне, внушает мне веру в успех трудного дела, которое мы осмеливаемся начать. Я как раз уточнял по Вашим данным некоторые цифры, когда мне принесли бандероль. Итог кажется мне чудовищным.

Я только что от Анатоля Франса³⁴. Мы долго говорили об «Огне». Он относит книгу к числу значительнейших произведений французской литературы и ставит ее намного выше всего, что создали в эпическом жанре Гюго и Золя.

Раймон Лефевр

37

*Р. Лефевр и П. Вайян-Кутюрье*³⁵

Поль и я, мы очень обрадовались решению Гонкуровской Академии. Мы рады за Вас и рады тому, что получили признание дорогие нам взгляды, которые выражены в Вашей книге с такой силой и убедительностью. Эта дань уважения поэту-патриоту, певцу окопного Интернационализма, со стороны редакций и академиков представляется нам обнадеживающим симптомом развития общественного сознания.

Преданные Вам

38

Доктор Валлон

2 января 1917 г.

Ваше произведение столь же аморально, ложно, скучно и недолговечно, как и «Разгром» Золя³⁶. А между тем Вы даже и не Золя, не так ли?

39

*Леон Фрапи*³⁷

6 января 1917 г.

Дорогой друг!

Я получил Вашу книгу!

Получить такую книгу, как «Огонь», из рук самого автора — это большая радость. Я взволнован, горжусь этим и очень Вам признателен.

От всего сердца, мой друг, благодарю Вас. Нежно обнимаю.

40

Анри Робер (адвокат)

8 января 1917 г.

Мой дорогой друг!

Вы написали прекрасную книгу, которая останется самым точным, самым волнующим описанием горькой, тягостной жизни наших отважных солдат.

Сможем ли мы когда-нибудь достаточно вознаградить тех, кто перенес такие страдания? Вы оживили для нас множество безвестных героев, таких, как Бертран, олицетворяющий для меня простоту и храбрость французских солдат.

От всего сердца спасибо. Примите мое восхищение и выражение самой искренней симпатии.

Р. С. Неужели в окопах в самом деле несправедливы к сыновьям буржуа? ³⁸ Ведь многие из них достойно выполняли свой долг! Адвокаты тоже не жалели своей крови во славу Франции.

41

Жан Ришар

9 января 1917 г.

Я не представлял себе, что я смогу испытать такое восхищение. Вы вылепили Ваших солдат не только из окопной глины, Вы отлили их для вечности из бронзы. . .

. . . Один из моих друзей, весьма далекий от литературы, которому я дал почитать Вашу книгу, сказал: «Тот, кто это написал, — настоящий мужчина». Я вместе с ним вижу в этих словах величайшую похвалу. Ваша страшная книга предъявляет войне самое жестокое обвинение из всех, которые когда-либо были или будут высказаны. Ваш роман должен быть переведен на все языки ³⁹. Он должен жить вечно, и я верю, что так и будет.

42

Люсьен Валь

12 января 1917 г.

. . . Не знаю, смогу ли я тебя когда-нибудь еще повидать, но знай, что в толпе твоих поклонников есть один неудачник от литературы, ставший журналистом, но оставшийся честным, который читает и перечитывает «Огонь» и даже перечитал «Ад» и который напоминает тебе о себе этим письмом.

43

Жан Лоредан ⁴⁰

12 января 1917 г.

Спасибо за Вашу прекрасную книгу и за сердечную дарственную надпись. Я только что кончил читать Ваш замечательный роман и до сих пор не могу прийти в себя от волнения. Я словно своими глазами видел всю эту грязь, кровь и дождь, словно сам побывал под шквалом снарядов и пулеметов, вместе с Тюлаком, Бике, Ламюзом, Вольпато, Паради, вместе с Вашим замечательным капралом Бертраном. . . Что за мрачная и впечатляющая фреска! Война! Вся наша ужасная окопная война запечатлена на страницах Вашей книги, и ни один человек в тылу не сможет понять, что это такое, пока не прочитает Ваш роман. Сколько Вы пережили и перечувствовали, дорогой друг!

44

Северин ⁴¹

12 января 1917 г.

Мой дорогой Барбюс!

«Публика» прочитала «Огонь» в «Эвр», но простой народ был бы рад, в свою очередь, прочитать книгу в своей газете ⁴².

Все слышали о Вашей книге, все знают, что в книге много говорится о простых людях, что Вы хорошо поняли страдания народа, выразили сочувствие его бедам и гнев против эксплуататоров.

... Все это возбуждает сильное, горячее желание внимательно познакомиться с книгой. Как быть? «Эвр» закончила публикацию, а отдельное издание для наших читателей слишком дорого. Мы хотели бы начать печатать «Огонь» с продолжением дней через двадцать, когда закончим Валлеса⁴³.

Возможно ли это? В Вашем согласии я не сомневаюсь, но, может быть, Вы связаны каким-нибудь соглашением с издателем? Если да, то не поговорили бы Вы с ним? Мы могли бы предложить ему ежедневно в конце очередного фрагмента давать рекламное объявление с указанием адреса книжного магазина и цены книги. Мы не можем предложить ему большого денежного вознаграждения, поскольку мы люди бедные, что по нынешним временам выглядит очень благородно, но зачастую отнюдь не облегчает жизнь. Мы отважились на эту рискованную авантюру — иначе ее не назовешь, — имея всего тридцать тысяч франков, мизерное жалованье и горячую веру в сердцах. Не рассказывайте об этом никому, иначе нас лишат кредита... а впрочем, нет, не скрывайте ничего, ведь в нас уже вонзает свое жало клевета. Но ничего. Нам не привыкать.

Друг мой, отвечайте скорее. Я очень хочу, чтобы после Валлеса на наших страницах появилось именно Ваше имя, хочу, чтобы рабочий читатель лучше узнал и оценил Вас...

... Примите мои наилучшие пожелания...

P. S. Я перечитала письмо и засомневалась... Вы тоже, дорогой друг, не Ротшильд... поступайте, как сочтете нужным. Я всецело полагаюсь на Вас, ведь приносить в жертву мы вправе лишь самих себя.

45

*Министерство вооружения
Жак (неразборчиво)*

15 января 1917 г.

Только что закончил роман «Огонь». Спасибо, что Вы прислали мне эту прекрасную книгу, достойную Вас, великого художника и великого гражданина. Вы единственный из писателей, ни в чем не уступивший вековым предрассудкам. Вы единственный отказались прославить эту постыдную резню, где человек убивает человека. С благородным мужеством, за которое Вы заслуживаете благодарности, Вы показали миру войну такой, какая она есть, такой, какой ее считали те, кто заранее ее осудил, такой, какой ее увидели те, кто сражался на фронте: жестокой, абсурдной, проклятой сердцем и разумом. Бессмысленная жестокость войны унижает нашу цивилизацию, навсегда запятнанную тем, что она не смогла покончить с войнами. С какой искренностью показываете Вы мерзость и низость этой отвратительной драмы и простое величие солдат, их героическую покорность, их затаенный гнев против тех, по чьей вине или с чьего ведома творится весь этот кошмар. Я хотел бы, чтобы Ваш «Огонь» перевели на все языки и изучали в школах, чтобы каждый ребенок, читая его, проникался ненавистью к войне, любовью к роду человеческому, к милому и слабому человечеству, беспощадно уничтожаемому своими правителями. Я хотел бы, чтобы несколько страниц из «Огня» читали ежедневно власть имущим, военным и гражданским правителям, всем

дурным пастырям, которые так легко мирятся с ужасом смерти других людей. Может быть, в конце концов они поймут, что никакие материальные выгоды, во имя которых они ввергли народы в войну, не могут искупить позора, несчастий, смертей. Во всяком случае, невозможно, чтобы люди, открывшие Вашу книгу, не испытали бы хотя немного сострадания и много стыда. Это станет началом их духовного возрождения, но для этого они должны ответить за содеянное. Я надеюсь, что они не избегнут возмездия, ибо эти люди должны получить суровый урок и знать, что ни одно преступление не остается безнаказанным, чтобы в будущем ни один бесчестный человек не посмел бы им следовать.

Примите наилучшие пожелания, мой дорогой товарищ.

Преданный Вам. . .

46

Рене Лир из Пессака (Жиронда)

22 января 1917 г.

Я задыхаюсь от волнения, читая Вашу книгу, мне хочется кричать о своем горячем восхищении тем более громко, что я слышал, как бранят ее тыловые крысы, и читал, что пишут о ней наемные писаки в газетах. Ваш «Дневник одного взвода» — шедевр более величественный, чем все триумфальные арки. Это больше чем литература — это сама Правда во всей своей наготе, во всем своем ужасе и во всей своей торжествующей красоте. Так еще никто не писал. Надеюсь, Вы признаете за несчастным, оторванным от людей солдатом, сохранившим в военном урагане сердце и совесть, право понять Вас и по-братски пожать Вам руку.

Наконец-то нашелся человек, сказавший правду о войне. . . Я верю в луч света, который пробивается на страницах Вашей книги, верю в будущий социальный прогресс и Равенство. После всего виденного и пережитого Вы сумели сохранить веру в будущее. Спасибо, мой дорогой Барбюс, за Ваш благородный призыв. Мы внимаем ему с горячим благоговением и воодушевлением < . . >

Ваша книга — это евангелие. Я уверен, она приближает время, когда под нашим небом тридцать миллионов людей не будут вынуждены поступать вопреки своей воле.

47

Гюстав Гишон

22 января 1917 г.

Не подумайте, дорогой коллега, что мне потребовалось так много времени, чтобы прочитать «Огонь», но мне понадобилось немало времени, чтобы его прочитать так, как он того заслуживает, чтобы перечитать описания, не выходявшие у меня из головы, чтобы обдумать прочитанное. Вот почему я с таким опозданием выражаю Вам свое искреннее восхищение и сердечную благодарность за то потрясение, которое я испытал, когда меня смял и оглушил этот страшный ураган. Прежде всего разрешите мне поздравить Вас с тем, что книга Ваша, по нашему общему мнению, не просто роман, но еще и военный трофей. Вы завоевали этот трофей сначала штыком, а потом и пером. Вы писали Вашу книгу там,

где так трудно жить и так легко умереть; немногие поступили бы так, как Вы. Вы пережили столько, что получили право сказать правду, и Вы ее сказали. Да! Ваша книга — это кровь и плоть войны; Ваш «Огонь» разгорелся не на пустом месте.

Как мне нравится Ваш взвод! Что может быть трогательнее, скромнее, величественнее этой полдюжины грубых парней. Они не чахоточные и не пьяницы; как это и бывает в жизни, им ведомы и страх, и отвага.

Рассказчик их видит и слышит. Я не вижу смысла в главе о грубых словах. Не понимаю, почему Барк вроде бы извиняется за жаргон, который передает колорит местности, предместья, улицы, деревеньки, откуда родом все эти люди. Ведь Вы их товарищ и казначей их языка.

Их поступки подвластны Бертрану, а их мысли — Вам. Ваш взвод — это вся война! Война, так непохожая на робкие войны прошлых времен, война современная, отвратительная, обманчивая, как тайная неизлечимая болезнь.

Надеюсь, дорогой собрат, что Вы не ждете от меня разбора по всем правилам. Я не считаю себя вправе ни расточать Вам торжественные хвалы, ни перечислять выисканные мною противоречия.

Я, слава богу, не критик и говорю о чувствах, вызванных Вашей книгой, без всякой системы, вразброд. Мне не нравится, что умирающий капрал вспоминает о Либкнехте. Меня смущает не идея, а имя. Когда имя идеалиста, пусть даже находящегося в тюрьме, звучит над дымящимся и вопящим полем битвы, это похоже на сверхъестественный снаряд, который падает, но не стреляет. Еще раз повторяю, я не критик, я просто высказываю свое мнение. Но сколько прекрасного находите Вы в душах и в поступках людей. Кольцо Блеза, оправленное в воспоминания, возвращение Вольпата и Фарфаде, появление Эдокси, Ламюз, целующий ее безжизненное тело, тоска Фуйяда по винограднику, прогулка с Потерло по разрушенной деревне, наступление, феерическая картина бомбежки. С каждым новым броском навстречу смерти, которая их разит и которую они несут сами, эти простые люди становятся героями.

... От всего сердца и по глубокому убеждению я считаю Вашу книгу, мой дорогой собрат, лучшей среди книг о войне.

Горячо жму Вам руку.

48

Фирмен Жемье⁴⁴

25 января 1917 г.

Дорогой друг!

Я счастлив, что Вы вспомнили обо мне и прислали мне Вашу прекрасную книгу «Огонь». Вы назвали меня Вашим другом и написали мне о своем восхищении. Это мы восхищаемся Вами, восхищаемся вдвойне — Вы ведь знаете почему, не правда ли?

Извините меня, дорогой друг, что я не могу Вас сейчас повидать. Примите уверения в моих преданных и искренних чувствах.

49

Метерлинк

26 января 1917 г.

Мой дорогой поэт!

Я не буду повторять то, что Вам говорят со всех сторон и что Вы сами знаете лучше, чем кто бы то ни было. «Огонь» — великое произведение, шедевр литературы о войне, который, как мне кажется, еще долго останется непревзойденным. Это мрачный, утрашающий шедевр, чья красота так пугающа, что не всякий осмелится его перечитать. Он вышел из того же бурного, великолепного, проклятого источника, что и незабываемый роман «Ад». Но кошмар «Ада» был абстрактен, и его ужасы казались немного [неразборчиво], в то время как в «Огне» речь идет об ужасах жизни, еще более страшных в действительности, об ужасах, о которых давно пора сказать во всеуслышание и о которых молчали, пока наконец Вы не взяли слова от имени всех и не запечатали эти ужасы так, что они уже никогда не изгладятся из памяти человечества. Ваша книга станет завещанием и памятником «аеге регенниус» * не только этой войны, но, будем надеяться, и всех войн вообще.

Благодарю Вас от всего сердца за дружеское послание.

Восхищенный Вами

50

Поль Ребу⁴⁶

27 января 1917 г.

Я в восторге!

Будучи проездом в Париже, я нашел у себя несколько книг, в том числе и Вашу. Я начал ее читать. . . Ах, друг мой, этот роман сразу же захватил меня, и я не мог оторваться от него, пока не дочитал последнюю страницу. Какая замечательная книга! Это лучшее, что Вы написали, это лучшее из всего, что написано о войне, включая «Гаспара»⁴⁷, мою пьесу и «Современную войну», хотя все это весьма достойные произведения. Но Ваша книга, мой друг, Ваша книга! Какой язык! Какая честность! Как правдивы, выразительны все Ваши герои, с каким строгим, впечатляющим, поразительным мастерством обрисованы все эти ребята! Как блестяще отобраны эпизоды! Как необыкновенно точен солдатский язык, который до сих пор еще никто не удосужился воспроизвести. Короче говоря, превосходно все! — и стиль, и отбор выражений и слов, раскрывающих характеры. . . О, после такой книги Вам не о чем беспокоиться! Ах, какая замечательная книга! Простите мне эти восклицания, они искренни. Когда очень взволнован, не говоришь браво, а кричишь во весь голос.

С любовью Ваш. . .

* Долговечнее меди (лат.)⁴⁵.

51

Пьер Милле

28 января 1917 г.

Вы не только написали самую прекрасную книгу о войне. Вы создали Библию войны. Она ужасна и великолепна. Она поразительно точна, и в ней говорится то, что должно было быть сказано: не стоило погибать на этой войне, если она не покончит с войнами вообще.

Самое поразительное в том, что простые люди, вместе с Вами совершавшие все эти сверхчеловеческие поступки (не говорю — героические, поскольку мне, как наверняка и Вам, претит это слово, которое восхваляет не только людей, достойных этого, но и дело, которому они вынуждены служить), в самом деле чувствуют и говорят именно так.

Я знаю одного небогатого человека. Он потерял книгу «Огонь» и сказал: «Пусть даже мне придется заплатить десять франков, я все равно куплю эту книгу...». Что я могу еще прибавить к этой искренней и прекрасной похвале, исходящей от одного из тех, о ком Вы пишете? Пожалуй, только одно: о Вас говорят везде. Женщины предпочитают читать «Ад», мужчины — «Огонь».

Жму Вам руку с самым искренним и горячим восхищением, которое я когда-либо испытывал.

52

Ж. Рони-старший

29 января 1917 г.

Мой дорогой друг!

Ваша открытка нас очень обрадовала. Я надеюсь, что Вы скоро освободитесь от своих тяжких обязанностей. Вы действовали героически и сделали больше, чем может требовать родина от своих лучших сынов.

Меня радует успех «Огня», несмотря на несправедливые обвинения; ведь так необходимо, чтобы время от времени торжествовала справедливость... иначе откуда взять мужество? Не буду говорить, в каком я восторге от Вашего романа. Я был бы страшно огорчен, если бы он не получил Гонкуровской премии. Моя жена вернулась домой через несколько минут после того, как Вы ушли, и очень опечалилась, что не увидела Вас, о чем и просит Вас написать.

Примите мои самые сердечные пожелания.

53

*Роземунда Ростан*⁴⁸

Январь 1917 г.

Вместе с запоздалой благодарностью за Ваши добрые слова разрешите мне, дорогой друг, пожелать Вам всего самого лучшего и выразить безграничное восхищение Вашим шедевром, триумфальный успех которого радует Вашего давнего и нежного друга.

54

Январь 1917 г.

Я Вам пишу, чтобы сказать без всякого преувеличения, что Ваша книга «Огонь» — это шедевр. Я только что кончил читать ее. Я взволнован и мне доставляет большое удовольствие принести Вам свою искреннюю благодарность.

Рене Бенжамен⁴⁹

55

1 февраля 1917 г.

Перечитал «Огонь», и боль еще сильнее сжала мое сердце. Не знаю, что больше достойно восхищения: глубокое волнение, которое вызывает каждая страница книги, или же искусство, с которым автор направляет это волнение в нужное ему русло. Сколько мыслей рождает Ваша книга у человека, подобного тому, каким я был до войны... и у такого, каким я стал теперь. Первые человеческие слова среди шквала огня, первый призывный крик куропатки в сумерках на охоте... И как только пропустили Вашу книгу!

А теперь, когда она появилась, я не понимаю, как некоторые люди могут жить, не прочтя ее.

Спасибо за книгу, которую Вы написали, и поверьте, что я с гордостью храню присланный Вами экземпляр романа.

Гранжуан

56

Письмо К. Серва, переданное Барбюсу 10 февраля 1917 г.

... Меня восхитили несколько страниц, которые я пробежал в метро, — я решил повезти эту книгу на фронт. Я ее куплю, и мы будем наслаждаться ею вместе с товарищами. Я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы написали эту книгу. Это очень хорошая литература для солдат. Эта книга — мстительница.

Желаю Вам доброго здоровья.

С сердечным приветом.

57

Аббат Д. М. Берже

12 февраля 1917 г.

После того как Вы получили Гонкуровскую премию, моя оценка романа, конечно, не представит для Вас большого интереса, но мне все же хочется подчеркнуть, что Ваше повествование, Ваши описания доставили мне большое эстетическое наслаждение.

58

Министерство торговли
и производства средств связи
Альбер Кейм

18 февраля 1917 г.

Мой дорогой Барбюс!

Я прочитал, и не один раз, Вашу ужасную и великолепную книгу и долго думал над ней.

Вам удалось с блеском воплотить то искусство жестокой и высшей правды, о котором мы мечтали. «Огонь» — роман... Нет... это книга, благородная и величественная в своей обнаженной жестокости; ее точные пейзажи, ее правдивые слова, грандиозное видение войны, запечатленное на ее страницах, — все это будет жить вечно.

Вы жили бок о бок с безвестным простым народом, который ждет света после бури, и прославили его... В Вашей книге звучит не только рассказ о муках, не только сострадание. Это суровый, жестокий, пламенный гимн во славу новой Истины.

В сражениях, среди воды, крови, грязи, свинца и огня, сквозь пушечный грохот прорывается великое дуновение будущего, его пророческий голос. Здесь нет ни малейшей красочной детали, ни одного сочного выражения, которые не были бы правдивы. В напряженном взволнованном рассказе нет никаких эффектных украшений, т. е. нет ни фальши, ни литературщины.

Я восхищаюсь Вашим умением описывать без умничания и без надрыва злосчастное, изнемогающее человечество, величественное в своих лохмотьях; человечество, переделывающее историю ценой своей жизни и крови.

Все усилия солдат тысяча девятьсот четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого годов, все их крики, все их судороги — все останется на страницах книги и в свете «Огня» воссияет над бездной.

Я люблю Вас за то, что Вы так любите правду жизни, столь бедную и столь богатую, и прославляете ее с такой грозной суровостью и с лучезарным спокойствием, освещающим окружающую пыль и грязь.

Мой дорогой друг, обнимаю Вас. Я далеко от Вас, но Вы всегда со мной, в моем сердце, в моих мыслях.

59

Франц Журден⁵⁰

19 февраля 1917 г.

Я только что кончил читать «Огонь» и не мог противостоять немного наивному желанию поблагодарить Вас за это выдающееся произведение.

Конечно, Вы меня так мало знаете, что мое мнение не может Вас интересовать, но я ощутил острую потребность высказать Вам свое восхищение и свою благодарность.

60

«Фигаро» (Эмиль Берс)

27 февраля 1917 г.

... Я прочитал книгу и завидую Вам, видевшему все это своими глазами. Поздравляю Вас и благодарю за то, что Вы написали ее так, как она написана. «Огонь» — прекрасная книга, которая производит глубокое и необычное впечатление, ее правда больно ранит сердце, а честность радует. Надо ненавидеть войну, которая безумна и ужасна, и любить тех, кто столько выстрадал ради нас. Ваш роман — книга сострадания и справедливости.

61

Ренодель⁵¹

1 марта 1917 г.

... Хочу Вам сказать, поверьте мне, без всякой лести, что Ваша книга, показывающая войну в ее ужасной и жалкой правде, — великая книга веры, и за нее должны быть Вам благодарны силы социализма и демократии.

62

Кайо⁵²

3 марта 1917 г.

Военная цензура пришла к выводу, что «Огонь», удостоенный Гонкуровской премии, опубликованный в газете «Эвр», а затем напечатанный тиражом, если не ошибаюсь, не менее 60 000 экземпляров, — произведение опасное для оранских⁵³ читателей. Меня об этом предупредил командир дивизии, и, так как я просил его подумать, прежде чем запретить книгу, он сам просмотрел Ваш роман и затем окончательно запретил мне читать лекцию о Вашей книге в следующих выражениях (цитирую): «В „Огне“ реальность искажена, а стиль груб и низменен, если не сказать больше... Под предлогом изображения действительности автор излагает социальные требования, исходя из односторонних и тенденциозно подобранных фактов... Так, автор систематически умалчивает о роли и даже о присутствии офицеров, а если в виде исключения он о них и упоминает, то только для того, чтобы выставить в плохом свете... Солдаты у него — несчастные люди, покорившиеся судьбе, или же более или менее сознательные интернационалисты».

Исходя из всего этого, генерал считает «вредным и опасным» говорить о Вашей книге перед оранской публикой. Я пришлю Вам копию этого документа, если это может Вас заинтересовать.

Отвечая генералу, я изо всех сил защищал «Огонь» и просил разрешить мне по крайней мере говорить о Ваших довоенных произведениях. Я думаю, что в этом он мне не откажет. Очень интересно представить широкой публике, не упоминая «Огня» и не возбуждая страсти, вызванные современными грустными событиями, внутреннее единство и развитие Вашей мысли вплоть до сегодняшнего дня. Во всяком случае, генерал сделал Вашей книге прекрасную рекламу. С момента объявления о предстоящей лекции в Оране было продано значительное количество экземпляров «Огня». Очевидно, что как только станет известно о запрещении лекции, то желающих купить ее станет вдвое больше.

63

Кайо

9 марта 1917 г.

Рад Вам сообщить, что цензура разрешила мне говорить о Ваших довоенных произведениях. Я буду иметь честь прочитать о них лекцию перед оранской публикой через три недели. Я сообщу Вам, как пройдет лекция.

64

М. Гроссе

21 марта 1917 г.

Какое волнение должны были Вы испытать при известии о Русской революции? Вот он, прогресс, вот она, Революция, еще более великая, чем та, о которой говорится в «Огне»! Нет, не напрасна была война. Как и Эрве, я пьян от радости и представляю себе Вашу радость, ибо Вы с такой горячностью и убежденностью влекли наши сердца к истине.

65

Камил Шварц, адвокат

23 марта 1917 г.

Мой друг капитан Борен, который является также и моим клиентом, имел все основания изумиться, прочтя на 132 странице романа «Огонь», изданного под Вашим именем, следующие слова:

«...они все завидовали, не знаю почему, некоему человеку по имени Борен...».

В этом эпизоде встречаются весьма оскорбительные слова, и такое совпадение имен может серьезно задеть чувства человека, который в настоящее время выполняет свой солдатский долг. Капитан Борен выражает протест против использования его фамилии в книге. Я прошу Вас принять необходимые меры, чтобы эпизод, наносящий ущерб моему клиенту, был исключен из последующих изданий. Я готов встретиться с Вашим юристом, чтобы вместе найти наилучшее решение. Оставляю за собой право защищать интересы моего клиента.

Примите, месье, уверения в моем почтении.

Камил Шварц, адвокат

66

Жак Дертийон

28 марта 1917 г.

Я прочитал Ваш «Огонь».

Это шедевр. Какие точные наблюдения! Это больше, чем литература, это документ, который останется свидетельством исключительной в истории человечества войны (будем надеяться, что эта война останется действительно исключительной).

Вы запечатлели сегодняшние события для наших потомков. Так же, как и я, думают 60 000 Ваших читателей; возможно, многие из них Вам об этом уже говорили, но это еще не причина, чтобы я лишил себя удовольствия повторить Вам это еще раз.

67

*П. Жув*⁵⁴

3 апреля 1917 г.

Месье!

Хочу Вам сказать, что Ваша книга — великая книга, книга жестокой правды, книга неприкрашенной жизни, Ваш крик — это страшный вопль страдания, который мы услышали благодаря Вам. По отточенности мастерства и зрелости мысли Ваша книга занимает первое место среди тех, что появились из горнила войны.

Мы с Р[омеом] Р[олланом] часто говорим о Вас, о Вашем духовном мужестве.

Братски жму Вашу руку.

Я попросил своего парижского приятеля передать Вам сборник моих новелл.

68

*Анри Батай**12 апреля 1917 г.*

Дорогой друг!

Ваше письмо шло ко мне невероятным кружным путем. Я получил его как раз накануне отъезда в Вивьер — город, который имел честь Вас приютить. Я буду там в воскресенье и очень сожалею, что не смогу Вас повидать. Я люблю Вас и день ото дня все больше восхищаюсь Вами. Какое счастье, что «Огонь» получил такое распространение и вызвал столько откликов.

Я боялся, что на Вас будут нападать. Слава богу, что Вы получили Гонкуровскую премию. Напишите мне в Вивьер. Может быть, Вы сможете приехать на несколько дней. Вы мне доставите этим большую радость, я буду счастлив.

В предисловии к «Амазонке»⁵⁵, которая выйдет на днях, Вы найдете несколько слов об «Огне», которые я счел необходимым вставить.

Мое перо и моя дружба в Вашем распоряжении.

69

*Письмо без подписи**18 апреля 1917 г.*

Я только что прочитал «Огонь». Это чудесно. У меня бьется сердце, горят щеки.

Проникновенные слова книги достигают до глубины сердца, капрал Бертран прекрасен.

Я вижу эту чудовищную войну. Война — это не только пушечные залпы. Война — это жестокие страдания, которые день за днем пожирают наших солдат. Однако эту книгу-возмездие написал нежный поэт. Как хорошо сказано: «Война на войне».

70

*Э. Сирех*⁵⁶, Лион, 25 апреля 1917 г.*

Месье!

Прочитав роман «Огонь», я испытываю чувство отвращения к этой книге и гнев против ее автора. Вы пригвоздили к позорному столбу лю-

* Ответ Анри Барбюса Э. Сиреху:

Месье!

Существует нравственный закон, стоящий выше Ваших оскорблений, Ваших слов, Ваших принципов, Вашей религии. Голос вечности требует справедливости по отношению ко всем живым существам. Я прислушиваюсь к этому голосу и поступаю согласно его призыву. Эта истина, доступная каждому разумному и правдивому человеку, вдохновляет меня, когда я обращаюсь к солдату и говорю ему: «Ты сражаешься

дей, пытающихся нажиться на войне, но Вам будет трудно убедить многих Ваших читателей в том, что Вы сами не пытались воспользоваться войной, чтобы отравить ядом Ваших доктрин и одурманить Вашими безрассудными теориями тысячи солдат и простых французов.

Вы предаете анафеме все, что служит нам защитой в войне, навязанной Германией. Ваше безжалостное перо грубо расправляется со всем тем, что может помочь Франции и ее союзникам привести войну к победному концу: с героизмом, патриотизмом, с готовностью пожертвовать собой, со священным уважением к нашим границам.

Я прошу Вас заметить, что я ни слова не говорю о Ваших выпадах против министров или религии, я не хочу, чтобы Вы подумали, что во мне говорит оскорбленное чувство священнослужителя, во мне оскорблен прежде всего французский гражданин. Кстати, служители церкви, ничуть не пострадав от «бесчестных наветов», которые Вы в Вашей книге и не думаете опровергать, обретут новую силу благодаря взаимной поддержке. Я убежден, что Ваш бесспорный талант причинил зло нашей родине, я не говорю «Вашей родине», ибо я не знаю, что осталось в Вашем сердце от милого и святого образа Родины < . . . >

Вы причиняете большое зло Франции, убеждая наших дорогих солдат в том, что им необходимо освободиться от всех моральных стимулов, способных привести их к победе.

против тирании и угнетения, ты сражаешься, чтобы освободить человечество от язвы империализма и милитаризма, ты сражаешься, чтобы на земле воцарилась справедливость, чтобы навсегда покончить с войной». По какому же праву Вы разрешаете себе глумиться над этим идеалом, осквернять его ругательствами, почему Вы позволяете себе самоуверенно утверждать, что этот идеал уступает ветхой и однобокой националистической доктрине, очень шаткой теории, опирающейся на взгляды весьма спорные и утопические, да к тому же и весьма опасные, так как они сеют рознь между народами, втягивая их в войну, которая сводится к взаимострелблению и рискует стереть человечество с лица земли. И наконец, как смеете Вы утверждать, что действенная вера в высокий и чистый идеал не соответствует величию, настоящей и будущей безопасности Франции? Именно потому, что я верил в этот идеал, я пошел добровольцем в пехоту, хотя мог совершенно спокойно остаться дома. Я, не раздумывая, жертвовал своей жизнью, добровольно выполнял опасные приказы, одним из первых выскакивал из окопов под огнем противника, я спас жизнь французским солдатам, раненным на передовой линии. Мой пример не имел бы большого значения, если бы он был исключением. Но это не так. У меня сотни доказательств — солдатских писем, полученных мною по поводу романа «Огонь». Вот уже восемь месяцев мне приходят письма со всех участков фронта, где солдаты благодарят за то, что я показал их тягостную жизнь, которую журналисты и разные писатели обычно приукрашивают, фальсифицируют, искажают в своих поверхностных заметках, вызывающих в окопах всеобщее возмущение; показал ее такой, как она есть на самом деле во всем ее неприкрытом ужасе. Они благодарны мне и за то, что я выразил простую великую истину, во имя которой в наше время людям стоит жертвовать собой.

Слишком много людей среди тех, чье слово что-нибудь да значит, утверждают, что моя книга — благородный поступок, чтобы я сомневался в этом.

Вот почему, месье, я отношусь спокойно к Вашей резкой и оскорбительной брани и к Вашим угрозам. Возможно, что Вы сможете мне в чем-то повредить. Но личный интерес меня мало беспокоит, и если я смеюсь над репрессиями, которым Вы грозите меня подвергнуть, то потому, что я убежден, что никто не остановит развития прогресса, чьим скромным, но преданным служителем я себя считаю.

Примите, месье, уверение в моем почтении.

Если полевой суд ставит к стенке какого-нибудь несчастного солдата, отказавшегося пролить свою кровь во имя родины, то какого же наказания заслуживаете Вы, стремящийся убедить солдата, что он не обязан отдавать Франции свое сердце, свою любовь, свою кровь, свою жизнь, так как тот, кто все-таки совершает это, становится «сволочью».

Прочитанная доверчивыми глазами, Ваша книга толкнет многих на нарушение своего воинского долга. Ваше высокомерное легкомыслие не позволяет Вам понять, что Вы, прекрасный писатель, совершили постыдный поступок. И если, как меня уверяли, Вы отважно сражались на фронте и военное командование отметило Ваши воинские заслуги, то я себя спрашиваю, что заставило Вас оскорбить в книге Ваши же достоинства, унижить на ее страницах Ваш же солдатский подвиг?

Как я сожалею, что цензура, подчас столь безжалостная, смотрела сквозь пальцы на статьи, где услужливые журналисты расхваливали Вашу кощунственную книгу.

Если же Вы хотите нажиться на войне и ожидаете от Вашей книги большого дохода, то обещаю Вам, что отныне я и письменно, и, особенно, устно буду остерегать неосмотрительных людей, чтобы они не осквернили своих рук прикосновением к страницам Вашего злобного сочинения. Пусть мои седины послужат родине хотя бы тем, что будут вызывать справедливый гнев против Вашего романа «Огонь», который, по моему убеждению, позорит Ваш талант.

*Остаюсь с уважением Э. Сирех,
старший капеллан Лионского Лицея*

71

Э. Сирех

С Вашего разрешения скажу Вам мое *последнее слово*, так как не хочу дольше продолжать наш спор. Мне хочется, чтобы Вы знали, что, будучи последовательным в своем восхищении воинской доблестью, я низко кланяюсь Вам как солдату, образ которого встает со страниц Вашей волнующей книги. Ваши взгляды своим скептицизмом и иронией не способствуют героизму, но Вы сами были на фронте героем — и я утверждаю, что Вы, будучи солдатом, никогда не были, пользуясь Вашим словарем, ни «дикарем», ни «скотиной», ни «бандитом», ни «палачом», ни «сволочью» и что Вы были благороднее «Сирано» и «Дон Кихота».

Вы должны понять, что доктрина Вашей книги и особенно Ваши рассуждения возмутительны и скандальны, но Вы сами останетесь в глазах тех, кто, как и я, имеет право судить Вас, таинственным и необъяснимым парадоксом. Я никак не могу понять, как француз, который был столь благороден с ружьем в руках, может так измениться, беря в руки перо. И поскольку Вы верите в незыблемость принципов, я прошу Вас поверить вместе со мною в незыблемость одного-единственного факта: Ваша слава, месье, так же, как слава Ваших товарищей, никогда не будет

«ложью, как все, что кажется прекрасным на войне». Надеюсь, что Вы согласитесь, что в этих словах нет для Вас ничего обидного.

Примите, месье, выражение моих наилучших чувств.

Э. Сирех

72

*Отрывки из надгробного слова,
произнесенного аббатом Сирехом
в Сен-Эстьене*

20 мая 1917 г.

... Оплачем и тех, кто нас оскорбляет. Да, сейчас существуют скандальные писатели, против которых бессильна цензура. Они бесчестно стараются нажиться на войне, их желчное и продажное перо распространяет по всей стране и, увы, даже в окопах отвратительные книги, которые забрасывают грязью все, что мы ценим: героизм, самопожертвование, патриотизм, неприкосновенность наших границ, духовенство, церковь, религию.

Восплачьте о нем; с высоты этой кафедры из сострадания я не назыву ни книги, ни имени ее автора. Оплачем же того, кто дискредитировал чувства, вдохновляющие нас жертвовать жизнью, кто смешал с потоком нашей крови ядовитую слюну критиканства и кто осмелился сказать: «Слава — это ложь, как все, что кажется прекрасным на войне. Нашим солдатам внушили веру столь же злую, глупую, зловредную, что и у наших противников. Все, кто во Франции разделяет героизм солдат, восхищается им, все они такие же наши враги, как и немецкие солдаты».

Да, плачьте о нем, чтобы смыть с лица Франции бесчестье, плачьте, чтобы убедить всех французов, что терпимость, объявленная после окончания войны, будет очередным оскорблением, плачьте, чтобы убедить французов, что они должны объединиться и обнять друг друга, как братья, страдающие от одной и той же раны; чтобы убедить живых, что они должны подражать мертвым, которые, идя на смерть, поцеловали всех, кто их обнял, простили всех убитых вместе с ними, всех, кто лежит теперь рядом с ними в той же могиле, под сенью одного и того же креста.

73

Лидия Морелли

7 июня 1917 г.

... Я только что прочитала «Огонь». Будьте благословенны за Ваши страдания и за то, что Вы написали. . .

74

Мадам Мортье

11 июня 1917 г.

Месье!

Я кончила читать Вашу книгу, и мне кажется, будто я вернулась из окопов. Я так вжилась в Ваш роман, так глубоко прочувствовала страдания, ужас, невзгоды и величие, запечатленные на его страницах, что

мне кажется, что и у меня такое же изможденное, грязное, возбужденное лицо, как у Ваших переговаривающихся на рассвете солдат.

Я оплакивала смерть каждого из Ваших товарищей, с которыми я познакомилась на страницах романа. Смерть каждого из них отзывалась в моем сердце, как будто я была рядом с ними в окопе. Я рыдала от боли, от бессильного гнева и отчаяния, когда погиб капрал Бертран.

Ваша книга — это Истина. Обнаженная, великолепная, гордая Истина сверкает с ее страниц, освещая мрачный, страдающий мир. Ваша книга прекрасна, величава, проста, возвышенна, как сама правда. Написав эту книгу, месье, Вы дали еще одно сражение. Прежде Вы сражались в окопах, а теперь Вы продолжаете битву в мире идей, а эта битва не менее опасна, чем первая.

75

*П. Жермине — Гюставу Тери,
издателю газеты «Эвр»*

14 июня 1917 г.

Мой муж не был дома 2 года и 8 месяцев, из них 2 года и 2 месяца он провел на фронте, среди «пуалю», так хорошо описанных Барбюсом; он дал мне прочесть только одну книгу о войне — «Огонь», сказав, что по сравнению с этим романом другие ничего не стоят.

Мой муж уже давно тоскует, думая о дорогой Франции, особенно дорогой теперь, когда ей приходится нелегко, и о товарищах, которые все еще подставляют свои головы под пули в окопах... Когда ему становится невольно, он берет эту книгу и читает мне вслух...

76

Шарль Плюме⁵⁷

25 июня 1917 г.

Дорогой месье, дорогой друг!

Я часто вспоминаю счастливые дни наших «обедов сорока пяти»⁵⁸. Вы доставляли нам изысканное наслаждение страницами Вашего «Ада». Уже тогда Вы были наиболее талантливым, наиболее благородным писателем в нашем кружке вольнодумцев, во всем нашем поколении. Потом, когда началась буря, разметавшая нас в разные стороны, я следил за Вашим героическим превращением в солдата и считал, что «Огонь» — единственная правдивая книга о великой войне. Сегодня, читая Ваши статьи в «Пэи», возвышенные страницы Вашего обращения «За что ты сражаешься?»⁵⁹, я определенно знаю, что Вы — Поэт, Мыслитель, Пророк, голос которого призывает к Новой, Горячей Вере, к великому Идеалу, который превратит нас, несмотря на все кровавые страдания, так правдиво Вами описанные, в Современных Рыцарей Новых Убеждений. То, что мы раньше называли Иллюзией, теперь, благодаря логике Вашей Мысли, стало Реальностью.

Спасибо за то, чем вы нас одали, спасибо за то, что Вы совершили.

Примите, дорогой месье, дорогой друг, выражение моей симпатии и восхищения.

77

Эдмон Дюмериль

9 июля 1917 г.

Ни одна книга о войне не произвела на меня такого впечатления, и я убежден, что Ваш роман — одно из тех редких произведений, которые будут жить долго. И подумать только, что находятся болваны, которые обвиняют Вас в деморализации гражданских лиц, я не говорю о солдатах, так как уж они-то знают, что такое война. Ваша книга не нравится писакам, которые пытаются убедить людей в величии войны, — весьма неблагоприятная задача в наши дни.

78

Андре Жермен⁶⁰

27 июля 1917 г.

Моя приятельница мадемуазель Барне много рассказывала мне о Вас и дала мне Ваш адрес. Теперь я могу наконец исполнить желание, возникшее у меня в тот самый момент, когда я дочитал Вашу книгу, — желание написать Вам.

Вы выразили мысли всех, кто страдает в настоящем и мечтает о лучшем будущем. Я очень огорчился, узнав, что Вас нет в Париже, мне бы очень хотелось с Вами встретиться, если, конечно, это возможно. Я хотел бы передать Вам не только мое восхищение, но и восхищение многих благодарных, независимых умов, с которыми я сталкивался в последнее время, и искреннюю благодарность простых людей. Я почувствовал все это в Швейцарии, где из-за болезни пробыл полтора года. Я был потрясен, увидев, с какой симпатией относятся к Вам все достойные уважения швейцарцы, друзья Франции, и прежде всего члены группы «Водуазские тетради» (наиболее влиятельный литературный кружок Романской Швейцарии), а также вся французская колония, даже ярые националисты.

Кроме того, я был бы счастлив поделиться с Вами своим проектом издания нового журнала. Я вынашиваю этот проект вот уже несколько месяцев вместе с двумя другими Вашими поклонниками — Морисом Магром и Полем Бюдри⁶¹. Речь идет об издании независимого журнала, на страницах которого после строгого отбора могли бы печататься все истинные, живые таланты. Думаю, что нам очень не хватает такого печатного органа и что теперь как раз подходящий момент для его создания.

До последнего времени я выпускал журнал, который был своеобразным храмом современной поэзии. В нем находили приют Веслак, Ларгир, Магр, Шарль Кро⁶², лучшие из молодых поэтов. Но в наше время нельзя думать только о собственном удовольствии, наслаждаться изысканными красотами, не правда ли? Надо обращаться к читателям, которые нуждаются в справедливости и доброте.

Наш проект еще мало кому известен, я решил написать Вам о нем лишь оттого, что если наш замысел и может кого-то заинтересовать, то

именно Вы поймете его лучше других. Так как я пробуду в Париже не больше недели, то разрешите мне надеяться, что Вы сможете принять меня на будущей неделе, если окажетесь в городе. Если же это будет для Вас невозможным, но Вы все же захотите со мной повидаться, тогда я, может быть, соберусь к Вам в Омон, хотя и не уверен, что здоровье позволит мне совершить эту поездку.

Прошу Вас извинить меня за мое, может быть, несколько смелое письмо и принять выражение моего искреннего восхищения.

79

Виктор Маргерит⁶³

1917 г.

... Читая Вашу книгу, я вспомнил древний афоризм: «Ужасное — прекрасно». Прочитав книгу, как бы освобождаешься от кошмара, так же как после войны свободно вздохнут все те, кто достоин звания человека. Ваша ужасная, великолепная, мучительная книга проводит читателя по самому краю кровавой бездны, но она помогает ему и заглянуть в будущее. Вместе с Вами я верю, что все эти муки были не зря.

Мой дорогой Барбюс, я так же счастлив оттого, что прочитал «Огонь», как вы горды тем, что его написали.

80

Жоржетта Леблан⁶⁴

1917 г., понедельник

Преклоняю колена перед «Огнем». Анри Барбюс — единственный человек, сказавший правду.

81

Маршебеф Мариус

8 февраля 1919 г.

Пользуюсь случаем выразить Вам благодарность, которую чувствуешь к товарищу, также занимающемуся прочисткой мозгов. Ваша книга воспитывает, учит читать и мыслить; многие обрели благодаря ей нравственное возрождение. Поднявшись над ненавистью, возвращенной несправедливой политической организацией общества, люди познают более верные теории и взгляды и незаметно становятся социалистами.

82

Поль Фор⁶⁵

Четверг... 1919 г.

Только что закончил «Огонь». Я прочитал его с таким волнением, которое возникает только при встрече с гением.

Это шедевр! Я вполне разделяю восторг Ростана⁶⁶, вполне понимаю молчаливого и скупого на похвалы Лоти⁶⁷, который мне недавно сказал, что «„Огонь“ — самая великая книга о войне», понимаю я и Луи Робера⁶⁸, который писал мне письмо за письмом о Вашем великолепном романе.

Все, что я до сих пор читал в современных книгах и в литературе прошлого об аде сражений, о несчастьях и страданиях солдат, о разоренных землях, — все это банально и серо по сравнению с Вашей книгой. Я уверен, что никто из писателей не сможет создать произведение, столь полно отражающее войну, столь неизгладимо и впечатляюще описывающее всеобщий кошмар, ужас и мерзость.

Письма без даты

83

*Поль Адан*⁶⁹

Мой дорогой друг!

«Огонь» — это шедевр, который мы все ждали от Вашего смелого гения.

Только поэт, написавший «Ад», мог воссоздать невыносимо тяжелые солдатские будни, мучительный фронтовой труд, печаль и нечеловеческие усилия солдат. Вы настоящий Данте и показали миру то, о чем он не мог и подумать. «Ад» и «Огонь» — вот две части Вашей «Божественной трагедии».

С благоговением буду хранить книгу «Огонь» с Вашей дарственной надписью среди самых дорогих для меня литературных сокровищ. Спасибо Вам.

Будьте любезны передать госпоже Барбюс выражения моего совершеннейшего почтения.

Преданный Вам, поэту и герою

84

*Фернан Грег*⁷⁰

Я перечитал «Огонь» теперь уже в отдельном издании. Это безусловно великолепная книга, и я горд, что ее написал один из нас, поэт нашей страны, нашего поколения. Эта книга в духе всего Вашего творчества, ужасного и печального. Это «Ад» фронта.

85

*Анри Дювернуа*⁷¹

Ну, что тебе сказать?.. Кончил я читать твою книгу со слезами на глазах, был потрясен и восхищен. Ты создал настоящий шедевр, убедительно свидетельствующий о твоём писательском мастерстве, дающий полное и верное изображение нашего времени. До тебя никто еще так не показал войну! Наши писатели в своих жалких книжонках изображали ее так же поверхностно, как и визитеры, наезжавшие в окопы. В их описаниях всегда чувствовался посторонний взгляд, взгляд через бинокль. Ты первый заговорил об ужасной и величественной участи солдат. Нынешняя война — солдатская война. Ты написал солдатскую книгу. Мно-

гие все это смутно чувствовали, но, чтобы все выразить, нужен был большой художник, большой писатель. Все симулянты должны теперь дрожать. Их ослепил свет твоей книги. Через неделю я не спеша, как истинный гурман, еще раз перечитаю «Огонь». В первый раз я просто проглотил твой роман — читал с шести утра до половины четвертого вечера, оторвавшись лишь ненадолго, чтобы пообедать.

Последние два года я много читал и могу смело сказать, что тебя ждет необыкновенный успех. Я предсказывал это всем, еще когда появилось извещение о выходе книги, и теперь я очень рад.

Вот так-то, старина. Где ты теперь, что подделываешь? Я ничего о тебе не знаю. Поправилась ли твоя жена? Я посылаю это письмо на улицу Альбера де Лаппарана. Прими мое восхищение и дружеские чувства. Передай жене мои наилучшие пожелания.

От всего сердца твой Дювернуа.

Р. С. Доволен ли ты Фламарионом? Я как-то его встретил, и мы говорили о тебе. Наконец-то у тебя хороший издатель. Если я этому хоть немного помог, то очень рад. У Фламариона хорошо работают и делают все, что нужно.

86

Анри Дювернуа

Дорогой друг!

Как я живу... Мне стало немного хуже после недельного отпуска, который я провел дома, валяясь в постели под восемью одеялами. В конце отпуска я заболел гриппом, и все пошло насмарку. С семи до девяти часов утра у меня, если можно так сказать, особенно мерзкое время. Потом становится полегче, но работник из меня сейчас никакой. Жена моя чувствует себя лучше. Я редко выхожу из дому, но где бы я ни был, везде говорят только о твоей книге. Ее поняли и оценили даже те, кто в политическом или, точнее, социальном отношении очень далек от тебя. Это настоящий успех, какого уже давно не знало ни одно литературное произведение во Франции. Твое имя связывают с именем Толстого. Я даже вынужден был спрятать свой экземпляр романа, чтобы уберечь его от любителей «заигрывать» книги.

... Мой дядюшка в конце своего письма просит у меня «Огонь». Я ему ответил, что роман можно найти в книжных магазинах за 3 франка 50 сантимов.

Обилие писем должно тебя радовать; оно лишний раз подтверждает, что ты попал в цель; наконец-то, старина, ты вознагражден за свое терпение и свои усилия. Я настаиваю на том, что давно тебе говорил и повторяю: ты создаешь значительное произведение. Ты изучишь современное общество во всех его формах и отобразишь его во многих романах. Ты сам не подозреваешь, что ты сможешь написать, будучи свободным от всех обязанностей, которые так долго на нас давили. Пишешь ли ты рассказы? Я пробую приняться за свои описания, но у меня не

получается ничего созвучного нашему времени, столь неподходящему для любителей игры на флейте вроде меня. Я заканчиваю небольшой роман о мечтателе, в котором есть что-то от Вилье, от Жерара де Нерваля⁷²; как мотылек, он ударяется о реальность событий и прозаичность людей. Мы, наверное, все вскоре будем жить в американизированном обществе, где подобные чудаковатые, странные, милые люди будут существовать лишь в наших воспоминаниях. Такой герой еще нужен, хотя бы для того, чтобы ошарашить наших литераторов, похожих на приказчиков из галантерейных магазинов или на шутовских резонеров. Обратил ли ты внимание на скудость современной прозы? Это одновременно сухо и вязко, как куча дерьма. А всезнайство этих невежд, их непоколебимая самоуверенность! Все это ужасно огорчительно. О какой журналистике ты говоришь? Люди должны благодарить правительство, которое стремится печатать лишь то, что хоть немного скрашивает их несчастья. Скажи своей жене, что мы постеснялись ее беспокоить. Передай ей наши приветы и пожелания. Как ее здоровье? Отдельная ли у тебя палата? Как вообще твоя жизнь в госпитале? Напиши мне подробнее, чем это можно сделать на половинке открытки, и прошу тебя, считай меня своим постоянным корреспондентом.

До скорого, старина. Когда будешь в Париже, позвони мне в Пасси по телефону 14-64.

Прими мои самые нежные чувства.

Твой Анри Дювернуа

87

Леви Марлотто («Фигаро»)

Я счастлив, что мои стихи Вам понравились. Их единственное достоинство — искренность. Я не читал ничего прекраснее Вашей книги. Девка, с которым я как-то вечером разговаривал в «Фигаро», подтвердит Вам, что нам на глаза навертывались слезы, когда мы вспоминали некоторые эпизоды. Мы должны благодарить Вас за то, что Вы создали произведение, с которым, я думаю, ничто не сможет сравниться и которое никому не удастся превзойти.

88

Я Вам очень благодарен, что Вы прислали мне Вашу прекрасную книгу. «Огонь» относится к числу тех книг, которые я люблю перечитывать, и я счастлив, что Вы мне ее подарили. В этом я вижу и своего рода отпущение моего греха — той суровости, с которой я, вопреки своему желанию, к Вам относился.

Капитан Нузиляр. Цензор, отдел печати.

89

Б. Пети

Месье!

Вы написали талантливую книгу, но эта книга оскорбляет память погибших. . . Подумали ли Вы об этом? Ни разу Вы не упоминаете о любви к Франции, о подвигах, совершенных ради ее славы. Конечно, есть и такие солдаты, о которых Вы пишете; они неплохие французы, но вряд ли они останутся таковыми, если прислушаются к тому, что Вы говорите об их офицерах. Поразительные по реализму описания побоищ, в которых гибнут наши сыновья, заставят содрогнуться наших матерей, которые, привлеченные Вашим талантом, прочтут роман «Огонь». И если, увы, многие из них оплакивают дорогих погибших, то после чтения Вашего романа они их будут видеть не в величавом ореоле героической смерти, а в мучительном, кошмарном аду. Нельзя ради успеха затрагивать такие темы. Я понимаю, что Вас мало трогает мое презрение, но подумайте о том, что это чувство разделяют многие французы.

90

Шарль Ришар

. . . Я читал роман, перечитывал его и еще раз с радостью прочту экземпляр, который Вы мне прислали. В моей семье все в восхищении от романа. Это потрясающе и правдиво. Я могу судить только о психологической правде, но эта правда ведь и имеет наибольшее значение. Стиль же очень хорош. Короче говоря, это прекрасно и достойно Вас. . .

.
Я не боюсь откровенно сказать Вам, что это шедевр, что это произведение, написанное не только поэтом, но и мыслителем.

91

*Луи де Робер*⁷³

Мой дорогой брат!

Я давно уже восхищаюсь Вашим талантом. Я помню, как зимой 1893/1894 г. в гостях у Жоржа Шарпантье я слышал, как Катюль Мендес со свойственной ему горячностью и красноречием расхваливал хозяйке дома томик стихов молодого солдата⁷⁴, имя которого теперь стало знаменитым. Десять лет спустя, когда Вы опубликовали роман «Умоляющие», я тотчас же написал Фаскелю и просил прислать мне экземпляр. Я был тогда болен, и мне было трудно читать, но Вас я прочитал, и теперь, через тринадцать или четырнадцать лет, я все еще помню сотни прекрасных мест, которые меня восхищали в книге, написанной пером настоящего поэта.

Не удивляйтесь тому, что я только теперь рассказываю о своей давнейшей симпатии. Я говорю «симпатии», употребляя Ваше выражение, точнее было бы сказать, — восторг.

Когда вышел «Ад», восхищенный Эдмон Си привез мне книгу в Саниуа. Я попробовал передать впечатление от этого произведения в двух словах, которые я написал на своей книге «Роман больного»⁷⁵, пересланной Вам.

И вот, наконец, «Огонь».

Я даже не очень удивился страшной красоте и величю книги, написанной таким свидетелем, как Вы. Это самый правдивый, самый душевраздирающий документ, показывающий нам жизнь неизвестных мучеников окопной войны. Нельзя верно представить себе эту войну, не прочитав Вашей книги.

Будущим поколениям невозможно будет понять эту войну без Вашей книги. Мы же читаем ее, и сердце наше сжимается, каждая страница вызывает волнение, сострадание, причиняет нам боль. Я завидую Вашему героизму. У Вас прекрасная судьба. Да, я завидую тому, что величие Вашей души нисколько не уступает величю Вашего таланта. Ваша книга убедительно это доказывает. Прошу Вас, считайте меня не только поклонником Вашего таланта, но, если Вы не возражаете, и Вашим другом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

М. Горький

ПРЕДИСЛОВИЕ *

В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди разных наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают вековые плоды своего каторжного и великолепного труда, превращая в кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая дотла города, деревни, виноградники, как они испортили сотни тысяч десятин земли, прекрасно возделанной их предками и ныне надолго засоренной осколками железа и отравленной гнилым мясом безвинно убитых людей.

Занимаясь этой безумной работой самоистребления и уничтожения культуры, они, люди, способные разумно рассуждать обо всем, что раздражает их кожу и нервы, волнует их сердца и умы, молятся богу, молятся искренне и, как описывает это один из героев книги, молятся «идиотски одинаково», после чего снова начинают дикую работу самоубийства, так же «идиотски одинаково». На страницах 437—438 читатель найдет эту картину богослужения немцев и французов, одинаково искренне верующих, что в кровавом и подлом деле войны «с нами бог».

И они же затем говорят: «Богу — наплевать на нас!». И они же, герои, великомученики, братоубийцы, спрашивают друг друга:

«— Но все-таки как же он смеет, этот бог, позволять всем людям одинаково думать, что он — с ними, а не с другими?»

Мысля трогательно, просто, как дети, — в общем же «идиотски одинаково», — эти люди, проливая кровь друг друга, говорят:

«— Если бы существовал бог, добрый и милосердный, — холода не было бы!»

Но, рассуждая так ясно, эти великие страсотерпцы снова идут убивать друг друга.

Зачем?

Почему?

Они и это знают, — они сами говорят о себе:

«— Ах, все мы не плохие люди, но — такие жалкие и несчастные. И при этом мы глупы, слишком глупы!»

И, сознавая это, они продолжают позорное, преступное дело разрушения.

Капрал Бертран знает больше других, он говорит языком мудреца.

«— Будущее! — воскликнул он вдруг тоном пророка. — Какими глазами станут смотреть на нас те, которые будут жить после нас и душа

* Печатается по тексту: *Горький М. Собр. соч.*: В 30-ти томах. М.: Изд-во АН СССР, 1953, т. 24. В тексте М. Горького указание на страницы дано по книге: *Барбюс А. В огне*. М., 1945, перевод И. Е. Спивака. Текст А. Барбюса цитируется М. Горьким в том же переводе. — *Ред.*

которых будет, наконец, приведена в равновесие прогрессом, неотвратимым, как рок? Какими глазами они посмотрят на эти убийства и на наши подвиги, о которых даже мы сами, совершающие их, не знаем, следует ли сравнивать их с делами героев Плутарха и Корнелия или же с подвигами апашей?.. И, однако, смотри! Есть же одно лицо, один образ, поднявшийся над войной, который вечно будет сверкать красотой и мужеством!»

Опершись на палку, склонившись к нему, я слушал, впивая в себя эти слова, раздавшиеся в безмолвии ночи из этих почти всегда безмолвных уст. Ясным голосом он выкрикнул:

— Либкнехт!

И поднялся, не разжимая скрещенных рук. Его прекрасное лицо, хранившее серьезность выражения статуи, склонилось на грудь. Но вскоре он снова поднял голову и повторил:

— Будущее! Будущее! Дело будущего — загладить это настоящее, стереть его из памяти людей как нечто отвратительное и позорное. И, однако, это настоящее необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор ремеслу солдата, превращающему людей поочередно то в безмозглые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но это — слишком правда; правда для вечности, но еще не для нас. Это будет правдой, когда ее начертает среди других истин, постичь которые мы сумеем лишь позже, когда очистится дух наш. Мы еще далеки от этого. Теперь, в данный момент, эта правда почти заблуждение; это священное слово только богоульство!

Он как-то особенно звучно рассмеялся и задумчиво продолжал:

— Как-то раз я сказал им, что верю в пророчества, только для того, чтобы приободрить их и заставить идти вперед».

Но, говоря так, спокойный мужественный человек, уважаемый всеми людьми своего взвода, ведет их на бессмысленную бойню и умирает на грязном поле, среди гниющих трупов.

Во всем этом ярко и насмешливо горит убийственное противоречие, унижающее человека до степени безвольного инструмента, до какой-то отвратительной машины, созданной злой и темной силой на служение ее дьявольским целям.

И близки и милы душе эти несчастные герои, но, поистине, они кажутся прокаженными, носящими в себе самих навеки непримиримое противоречие разума и воли. Кажется, что разум их уже настолько окреп и силен, что в состоянии остановить эту отвратительную бойню, прекратить мировое преступление, но... воли нет у них, и, понимая всю гадость убийства, отрицая его в душе, они все-таки идут убивать, разрушать и умирать в крови и грязи.

«— Битвы производятся нашими руками, — говорят они. — Мы служим материалом для войны. Она состоит вся только из плоти и душ простых солдат. Это мы нагромождаем трупы на равнинах и наполняем реки кровью, все мы, хотя каждый из нас невидим и молчалив, ибо слишком велико наше число. Опустевшие города, разоренные села и деревни —

это пустыни, лишившиеся нас или оставшиеся после нас. Да, все это мы — и только мы!

— Да, это правда. Война — это народы. Без них не было бы ничего, кроме разве перебранки издалека. Но войну решают не они, а те, которые правят.

— Народы борются теперь, чтобы избавиться от этих правителей. Эта война не что иное, как продолжающаяся французская революция.

— В таком случае выходит, что мы работаем также и для пруссаков?

— Будем надеяться, что и для них, — согласился один из страдальцев.

— Народы — это ничто, а они должны быть всем, — проговорил в этот момент человек, вопрошающе глядевший на меня; он повторил неведомую для него историческую фразу, которой уже больше века, но придал ей, наконец, ее великий всемирный смысл.

И этот несчастный, стоя на четвереньках в грязи, поднял свое лицо прокаженного и жадно заглянул вперед, в бесконечность».

Что он увидит там?

Мы верим, что он увидит своих потомков свободными, разумными и сильными волей.

Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого, гений которого созерцал войну в далеком прошлом; это не жалобное сочинение Берты Зутнер «Долой войну!», — сочинение, написанное с добрым намерением, но неспособное никого и ни в чем ни убедить, ни разубедить.

Это — книга простая, исполненная пророческого гнева, это — первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримую силою правды. В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно кровавый ужас во все цвета радуги.

Барбюс написал будни войны, он изобразил войну как работу, тяжелую и грязную работу взаимного истребления ни в чем не повинных людей, — не повинных ни в чем, кроме глупости. В его книге нет поэтически и героически раскрашенных картинок сражений, нет описаний мужества отдельных солдат — книга Барбюса насыщена суровой поэзией правды, она изображает мужество народа, мужество сотен тысяч и миллионов людей, обреченных на смерть и уничтожение великим провокатором народов — капиталом. Этот Дьявол, совершенно реальный, неутомимо действующий среди нас, — это он главный герой книги Барбюса. Слепив миллионы простаков ложным блеском идей и учений, убивающих волю, отравив их ядом жадности, зависти, своекорыстия, он согнал миллионы их на плодородные поля Франции, и там они в течение четырех лет разрушают в прах все созданное трудом многих столетий, еще раз показывая самим себе, что злейший враг человека — его безволие и неразумие.

Барбюс глубже, чем кто-либо до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения.

Каждая страница его книги — удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной. Мрачная книга его страшна своей беспощадной прав-

дой, но всюду во мраке изображаемого им сверкают огоньки нового сознания, — и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во всемирное пламя очищения земли от грязи, крови, лжи и лицемерия, созданных Дьяволом капитала. Люди, о которых говорил Барбюс, уже начинают смело отрицать власть бога над человеком, и это верный признак, что скоро они почувствуют, со стыдом и гневом, как преступна и отвратительна власть человека над подобным себе.

Мы живем в трагические дни, нам невыносимо тяжело, но мы живем накануне возрождения всех добрых сил человека к свободному творчеству и труду. Это — правда, и она должна утешить нас, увеличить наши силы, придать нам бодрость.

Предшествующее было написано за 15 лет до наших дней, в трагический год голода, в год конца победоносной войны голодных пролетариев, рабочих и крестьян, против богато вооруженных капиталистами Европы армий русских фабрикантов и помещиков и против посланных европейскими лавочниками — в помощь своим братьям по жиру и духу — войск, среди которых был даже отряд кавалерии на ослах.

За полтора десятка лет пролетариат царской России и ее колоний непрерывным, чудотворным трудом превратил обширную безграмотную страну полунищих крестьян и полудикой жадной мелкой буржуазии — в мощный социалистический братский союз народов.

Ныне капиталисты Европы снова затевают войну, основная цель которой — нападение на Союз Социалистических Советов. Для того чтобы начать эту войну, капиталистам необходимо единство. Наиболее наглая и очумевшая группа их предполагает достичь единства по примеру Наполеона: побить своих соседей и, схватив побежденных за шиворот, двинуть их против государства социалистического. План простой и ясный, этот план и заставил меня вспомнить об ослах.

Позорнейшая роль ослов в войне 1914—18 годов характеризуется, как известно, поведением вождей немецкой социал-демократии, русских меньшевиков, эсеров и многих прочих вождей той мелкой буржуазии, из которой капиталисты 15 лет фабрикуют фашистов.

Мне кажется, что социалистически-революционная ценность работы Барбюса и других — сродных ему по духу — литераторов особенно хорошо и ясно видна именно с этой выше намеченной точки зрения. Его книга — одна из первых, которые за 15 лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первых своих основоположников.

Арман Лану

АНРИ БАРБЮС, ИЛИ ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

1 июня 1980 г. в Омоне¹, в Санлисском лесу, в самом сердце нервалевого Иль-де-Франса², в присутствии руководителей Республиканской ассоциации бывших участников войны, основанной Анри Барбюсом и Полем Вайяном-Кутюрье, и советников по культуре Советского, Болгарского, Румынского и Югославского посольств состоялось открытие музея Анри Барбюса. Надо признать, что соотечественники не торопились почтить память автора «Огня» — ведь со времени публикации книги прошло семьдесят лет. В сущности, в литературных кругах Франции Барбюс так и не получил полного признания. Не говоря уже о том, что интеллигенция не могла простить писателю его политических убеждений, сам жанр военного романа считался периферийным, второстепенным. Это недоверие не рассеялось окончательно и по сей день, причем дело тут не только в снобизме обитателей башни из слоновой кости³.

Военный роман — жанр сравнительно молодой; в течение нескольких веков он был растворен в эпопеях, мемуарах да более или менее пристрастных летописях военных событий и обрел самостоятельность лишь в «Войне и мире» Толстого и «Разгроме» Золя. Тем не менее в 1916 г., работая над «Огнем», Барбюс уже не брал за образец произведения этого типа, где вымысел преобладает над живым свидетельством и подлинным документом.

Барбюс ушел на фронт добровольцем — если мы вспомним о его твердых пацифистских убеждениях, поступок этот может показаться нелогичным, но история подтвердила его правоту: ведь пангерманизм кайзера Вильгельма был предвестием пангерманизма Гитлера. Подобно не менее убежденному пацифисту, будущему автору «Деревянных крестов» Ролану Доржелесу⁴ и многим другим интеллигентам, Барбюс, типичный представитель «профессорской республики», в сорок один год получил в Аргонне то, что принято называть боевым крещением.

Первый успех пришел к писателю в 1908 г., после выхода в свет его натуралистического романа «Ад». Это странное произведение, весьма типичное для первого десятилетия нашего века. Пост-символист в поэзии, признанный наследник Золя в прозе, Барбюс пытается разрешить в «Аде» эстетические противоречия своего времени; позже он будет пытаться разрешить идеологические противоречия, примирить религию с коммунизмом, идеализм с материализмом.

Столкнувшись с реальной действительностью, Барбюс, выросший в Париже в замкнутой литературной, журналистской и университетской среде, испытал сильнейшее потрясение. Его невозможно было передать традиционным языком, и в «Огне» бунт человека нашел блестящее вы-

ражение в новой литературной форме. «Огонь» — это подлинные, записанные по горячим следам впечатления солдата, каких мы не находим ни у Толстого, хотя он и видел воочию трагедию Севастополя, ни, тем более, у Золя, который по состоянию здоровья был освобожден от военной службы.

В пору выхода «Огня» блюстители порядка от литературы сочли его недостойным наименования «роман» из-за того, что речь в нем идет о событиях, которые еще не завершились. Предполагалось, что созданию романа предшествует более или менее долгий процесс вынашивания, подобный медленному отвердеванию кораллов. Разумеется, в тот момент, когда «Огонь» начал печататься на страницах газеты «Эвр», которая, как утверждала реклама, была «чтением не для дураков»⁵, не могло быть и речи ни о каком «остранении» впечатлений, легших в его основу, или, говоря более научным языком, «функциональной паузе» между событиями и их описанием. Дневниковые записи, которые писатель вел между боями, под огнем противника, отделяет от книги под названием «Огонь», переписанной набело в унылой палате армейского лазарета, очень короткий промежуток времени.

Считали ли современники этот «дневник одного взвода» романом? Более того, считали ли они его вообще фактом художественной литературы? Не казался ли он им скорее живым свидетельством? Впрочем, и в этом качестве «Огонь» не избежал нареканий, и некий узколобый критик по имени Нортон Крюю не преминул высказать сомнение в достоверности этого свидетельства, упрекнув Барбюса, равно как и автора другого замечательного военного романа, Ролана Доржелеса, в том, что художественный вымысел в их произведениях искажает факты. Он и подобные ему «пуристы наоборот» не желали признавать книгу документальной, если описываемые в ней события невозможно точно датировать, а маршруты — нанести на карту.

На фоне значительно более благопристойной «правдоподобной лжи» Арагона и Кокто⁶ «Огонь» — смесь художественного вымысла, документального свидетельства и памфлета — кажется чем-то неслыханным. «Огонь» — это крик души; Барбюс заклеил своей книгой всю прежнюю литературу, подобно тому как раньше клеймили каторжников.

Безусловно, это рождение жанра было связано с новой исторической обстановкой. Так же как чопорной батальной живописи времен Короля-Солнца век спустя, во времена Наполеона, пришли на смену кровавые видения барона Гро, Гойи и Жерико⁷, так фронтовой блокнот, преображенный гением романиста, придал образу солдата, брошенного в Апокалипсис всемирной схватки, гораздо большую правдивость. Гений Барбюса проявился в том, что он осознал это и сумел запечатлеть на бумаге свой вопль протеста, найти соответствующие ему понятия, лексику, синтаксис.

Когда на мир обрушился шквал свинца и огня, судьба отдельных солдат растворилась в судьбах человеческих коллективов, как то предчувствовал еще до начала войны создатель теории унанимизма Жюль Ромен⁸. Отныне трагедия человеческого существования свершалась в столкновениях все более и более обширных групп людей: взводов, рот,

дивизий и даже таких, в сущности, мифологических объединений, как целые народы или союзы наций. Война становилась мировой; солдат теперь считали на миллионы.

Оригинальность Барбюса состояла, по всей вероятности, в том, что он, такой же представитель культурной прослойки либеральной и даже прогрессивно настроенной буржуазии, как, например, Леон Блюм⁹ или Ромен Роллан, оказавшись внезапно в самой гуще страшной окопной войны (не предусмотренной ни немецким, ни русским, ни французским штабами), на собственном опыте познав, что такое фронтовые будни, когда время почти не движется, а пространство раздвигается до необъятных размеров, понял, что романтические и символические идеалы остались в далеком прошлом. Неслучайно у Барбюса именно взвод, самое маленькое подразделение французской армии, солдаты которого живут, едят, свыкаются с военными тяготами, бранятся и подымают вместе, взвод, это единственное сообщество бойцов, где еще различимы отдельные лица, несет на своих плечах непосильное бремя войны. Выбор героя и — грамматически — безличной формы повествования — вот из чего складывается шедевр Барбюса, причем оба эти элемента взаимосвязаны.

Дело в том, что в «Огне» на смену традиционным «я» или «он» военных хроник пришли безличные обороты речи. Они призваны передать новую точку зрения — точку зрения крохотного человеческого роя, живущего в новом мире, где для убийства одного человека требуется тонна железа, где спешившиеся кавалеристы бок о бок с пехотинцами стоят по пояс в грязи у амбразур в примитивных окопах, вырытых лопатами и заступами, инструментами, почти не изменившимися со времен Цезаря, вязких окопах, которых почти не знали солдаты предыдущих войн (за редкими исключениями вроде Крымской войны, описанной у Толстого¹⁰) и которые избороздили всю Европу густой сетью топких ходов сообщения, где плоское поле битвы, благодаря техническому прогрессу, сделалось объемным и грозит людям сверху летательными аппаратами и отравляющими газами, а снизу, из проклятого царства кротов и крыс, — минами и подкопами.

Потрясение, ужас, омерзение, необъятность зла, бесконечность войны, которая обезличивает солдата и разъедает все: души, тела, супружеские отношения — вот что сразу ощутили лучшие из писателей, попав в ад, не имеющий ничего общего с цветистой рыцарской традицией. Они не находили в своей повседневной жизни ничего из того, о чем читали в штабных сводках, не узнавали себя в газетных статьях, ибо пресса была мобилизована тогдашними стратегами для запудривания мозгов, обнаруживали ложь даже в новостях из тыла и письмах самых близких людей.

Барбюсу было суждено понять это и высказать с потрясающей убедительностью. Таким образом, Первая мировая война преображала не только географию и историю, но, наряду с человеком, которого она обезличивала, и литературу, которая является отражением человеческой жизни. Барбюс первым во Франции громко заявил в своей книге о тех необратимых изменениях, которые принес с собой военный смерч. Конечно, он был не

одинок, но ту по man's land*, куда не было доступа герою лубочных картинок, он открыл первым. Впрочем, его талант заключался не только в быстроте реакции, но и в смирении человеческой личности, которая, лишившись своего бывшего могущества, приемлет новый образ жизни, необходимый отныне для выживания рода человеческого. Повествование от первого лица, в котором еще недавно выражало себя писательское «я», уступило место безличному повествованию. Барбюс осознал, что он, как сказали бы Камю и Сент-Экзюпери, в ответе за людей. На смену цветку пришла винтовка, на смену старомодному героизму пацифистов — величие честного человека, который отстаивает мир с оружием в руках.

Я хотел бы остановиться на некоторых фактах, связанных с литературной деятельностью Барбюса — ведь отдавая дань памяти писателя, вполне простительно коснуться литературы. Я имею честь быть генеральным секретарем Гонкуровской академии¹¹, и поэтому располагаю некоторыми архивными данными.

Сведения, которые я собираюсь обнародовать, строго говоря, уже были опубликованы, однако они мало кому известны. Речь идет об обстоятельствах, при которых 15 декабря 1916 г. Барбюсу была присуждена Гонкуровская премия.

Книга Барбюса сама по себе была революционной, причем она совершила переворот не только в идеологии, но и в литературе, и если современники Барбюса и поколения, пришедшие им на смену, восхищались прежде всего тем, что он одним из первых в мировой литературе по-новому взглянул на войну, не нужно забывать, что не в последнюю очередь восхищение это вызывали собственно литературные достоинства произведения.

Вернемся, Впрочем, к тем сведениям, которые я разыскал в нашем архиве.

В ту пору, как и в наши дни, Гонкуровская академия состояла из десяти литераторов. И эти десять литераторов не присуждали никому Гонкуровской премии, потому что шла война.

Кто входил тогда в Академию?

Во-первых, Жеффруа¹². К большому сожалению, о нем сейчас мало кто помнит. Между тем его можно с уверенностью включить в число лучших наших критиков. Он был близким другом Клода Моне, одного из самых тонких художников, продолжавших традиции французской культуры. Он был другом Клемансо¹³.

Во-вторых, в Академию входил Рони-старший¹⁴. Он и Жеффруа посещали дом на площади Гайон еще при Гонкурах¹⁵. В Академию входил Леон Энник, постоянный участник меданских вечеров Эмиля Золя¹⁶, который скончался в 1902 году. Входил в нее Элемир Бурж, один из лучших романистов своего времени, в наши дни почти полностью забытый, о чем нельзя не сожалеть, поскольку он был в числе немногих писателей той эпохи, откликнувшихся на события Парижской коммуны¹⁷.

Элемиру Буржу удалось постичь самый дух Коммуны, а ведь отноше-

* Ничейную землю, нейтральную зону (англ.).

ние художника к Парижской коммуне — своего рода лакмусовая бумажка, позволяющая судить о глубине его ума.

В Академию входили Леон Доде, сын Альфонса Доде, один из основателей «Аксон Франсез»¹⁸, последовательный националист, и Люсьен Декав¹⁹.

Судя по имеющимся данным, именно он, Декав, автор «Унтер-офицеров», давний пацифист, поддерживал кандидатуру Барбюса наиболее активно. В 1914 г. большинство пацифистов добровольцами пошли на фронт, что было вполне естественно: в сложившейся исторической обстановке они считали своим долгом противостоять германской экспансии — своего рода предвестию фашизма. Именно поэтому такие люди, как Ролан Доржелес, Анри Барбюс и некоторые другие, записались добровольцами уже 2 августа 1914 г.

Пойдем дальше. Шестеро, которых мы назвали, присутствовали на заседании и участвовали в голосовании лично. Остаются еще четверо. Это были Жюдит Готье, дочь Теофиля Готье²⁰, Октав Мирбо²¹, талантливый романист, пользующийся известностью и поныне, брат Рони-старшего Рони-младший (он в то время был болен) и Поль Маргерит, соавтор своего брата Виктора Маргерита, будущего создателя романа «Женщина-холостяк»²².

Так вот, за Барбюса было подано восемь голосов во время первого тура и восемь во время второго. В результате «Огню» была присуждена Гонкуровская премия 1916 г.

Кто же голосовал против? Нас интересуют эти двое.

Против голосовали Леон Доде и Элемир Бурж. Да. Почему так поступил Леон Доде — понятно²³, хотя, впрочем, и не совсем. Наверное, в тот момент он еще не созрел, еще не прозрел. Впоследствии Леон Доде примкнул к писателям, стоявшим на крайне левых и даже близких к коммунистическим позициям (таким в определенный период был Андре Мальро). Потому-то его отношение к Барбюсу и вызывает недоумение. Все дело в том, что Леон Доде смотрел на Первую мировую войну глазами патриота в том смысле, в каком это понимали в XIX в. Он во многом разделял точку зрения Клемансо: прежде чем проповедовать ненависть к войне, нужно сделать все возможное, чтобы война эта кончилась победой Франции. Неудивительно, что при таких политических убеждениях Леон Доде встретил «Огонь» в штыки. Но я уверен, что как писатель он не мог им не восхищаться.

Но почему Элемир Бурж, занимавший и в деле Дрейфуса и по отношению к Парижской коммуне прогрессивную позицию, оказался заодно с Леоном Доде, этого я не понимаю и, наверное, никогда не смогу понять. В общем, ситуация сложилась очень странная, но очевидно, это был один из тех случаев, когда, несмотря на бурные дебаты, голосование проходит без сучка без задоринки. Тем не менее результаты этого голосования вызвали в литературном мире целый скандал.

Почему скандал? Во-первых, в Барбюсе видели реалиста или натуралиста, прямого наследника Золя, а в ту пору позиция эта не вызывала особой симпатии.

Барбюс существенно развил и, можно сказать, углубил выдвинутую Жюлем Роменом концепцию унанимизма. «Огонь» безусловно обязан некоторыми своими особенностями роменовскому унанимизму.

Что утверждали унанимисты? Что, оказавшись в той или иной ситуации, люди проникаются какой-либо общей идеей и сплавиваются, образуя некое новое существо, не похожее на каждого из них в отдельности и даже на всех вместе. Так, например, сейчас, в половине одиннадцатого, когда мы все собрались здесь, мы представляем собой единое целое, которое вечером, когда мы разойдемся, распадется, чтобы вновь возникнуть в другой форме, лишь только для этого сложатся условия.

В своем «Дневнике одного взвода» Барбюс с поразительной чуткостью и пронизательностью показал, что рой важнее отдельной пчелы, и изобразил взвод, взятый как целое, отъединенный от всего остального мира и столкнувшийся лицом к лицу с противником. Взвод у Барбюса представляет собою некое коллективное существо. Можно сказать, что в «Огне» традиционная исповедальная манера повествования от первого лица единственного числа или рассказ в третьем лице единственного числа, характерный для классического романа, уступили место безличной форме повествования и третьему лицу множественного числа.

Это было нечто совершенно новое. Замечу, кстати, что позже к подобной форме видения мира вернулся Жюль Ромен и, развивая свои довоенные идеи, показал Первую мировую войну не глазами взвода, поскольку это уже было сделано Барбюсом и сделано превосходно, но глазами коллективного существа, которое он назвал «миллионом солдат»; однако прекрасные книги Ромена «Перед Верденом» и «Верден»²⁴ не были, в отличие от «Огня» Барбюса и «Деревянных крестов» Ролана Доржелеса, документальным свидетельством.

Оценивая явления прошлого, мы всегда, идет ли речь о литературе, истории или даже политике, пользуемся сегодняшними понятиями и смотрим на события глазами современного человека, поэтому сегодня, в 1980 г., мы не можем сравнивать Доржелеса и Барбюса, не отдав предпочтения одному из них.

Своеобразие книги Барбюса заключается в том, что ее главным героем стал взвод, двенадцать солдат, составляющие единое целое.

Искусство Доржелеса более традиционно, его книга ближе к классическому роману — но одновременно в ней много от журналистики, от газетного репортажа.

Мне могут возразить, что в начале войны, когда оба писателя в один и тот же день и, может быть, в один и тот же час записались в армию добровольцами, оба они были журналистами. Да, но Барбюс был журналистом-идеологом, борцом, политическим журналистом, а Ролан Доржелес, по его собственному признанию, был журналистом бульварным, охотившимся за сенсациями для бульварных газет. И вот обоим этим людям довелось принять участие в трагедии и увидеть войну во всей ее страшной реальности.

Привычка писать политические статьи мешала Барбюсу изобразить разразившуюся катастрофу, потому что язык идей, политический язык,

отличается от языка художественной литературы. Пришлось приспособиваться. И он приспособивался; это давалось писателю нелегко, но ему помог выбор взвода в качестве главного действующего лица. А у Ролана Доржелеса были свои проблемы — ему необходимо было бороться с пристрастием к шуткам, вниманием к мелочам, желанием походя веселить читателя забавными историями, отвлекающими от истинного смысла событий.

Каждый из писателей идет к передаче этого истинного смысла по-своему.

Я рад, что наши старшие товарищи присудили почетную награду тому, кто избрал более трудный путь — а более трудный путь избрал, по-моему, автор «Огня».

Когда после войны, в 1919 г. в очередной раз встал вопрос о присуждении Гонкуровской премии, кандидатом на нее оказался Ролан Доржелес, автор только что вышедшего романа «Деревянные кресты». Но писатели с площади Гайон, судя по всему, порядком устали от военных романов. Они уже наградили три таких романа и решили, что на этом можно остановиться. Хотя Гонкуровская академия занимается прежде всего литературой и литературными достоинствами произведений, она не остается безучастной к великим историческим событиям. Шел 1919 год и, вероятно, пора было подумать о мире. Выходит, что в каком-то смысле фантастический успех «Огня» помешал Ролану Доржелесу получить Гонкуровскую премию за «Деревянные кресты». Впрочем, Доржелес стал лауреатом премии Фемина²⁵, роман его имел большой успех и пользовался почти такой же известностью, как «Огонь», а сам писатель перед смертью сказал мне: «Какое счастье, что мне не дали Гонкуровскую премию! Какое счастье! — мне бы этого никогда не простили — ведь моим соперником был ни больше ни меньше как Марсель Пруст!»

Так что наши предшественники были правы и тогда, когда присудили премию Барбюсу, и тогда, когда не присудили ее Доржелесу, отдав предпочтение Марселю Прусту. Не думайте, что мы всегда правы, и каждый год принимаем абсолютно справедливые решения. Единственное наше достоинство в том, что мы прекрасно сознаем свои слабости.

Здесь, на этом перекрестке, в точке, где пространство сливается со временем, история — с географией, сейчас, когда мы пришли в гости на эту дачу — ведь это почти дача, — где Барбюс жил, любил, читал, когда мы разглядываем висящие на стенах фотографии, с одной из которых на нас презрительно смотрит Анна де Ноай²⁶, когда мы вспоминаем о том, как преклонялся хозяин этого дома перед Сарой Бернар, перед нами встает образ человека, не лишеной некоторой претенциозности.

В творчестве Барбюса претенциозности не было ни капли, но в его вкусах, в щеголеватости, свойственной ему в молодые годы, заметен, пожалуй, налет дендизма. Дело в том, что писатель не свободен ни от своей эпохи, ни от своего темперамента и всегда особенно остро переживает переходные периоды, периоды больших перемен, каким было военное время 1914—1918 гг. Быть может, заслуга Барбюса покажется еще большей, если мы вспомним, что ему часто приходилось жить и работать

в среде сентиментальных, чувствительных литераторов типа Леона Блюма, вспомним о его большой культуре, о его любви к классической и изысканной поэзии. Радостно сознавать, что, не отказываясь от своей глубинной сущности, он старался стать иным.

Я понял все это далеко не сразу: мне помог жизненный опыт; не последнюю роль сыграло и теплое чувство, которое я питал и питаю к старшему поколению — людям, родившимся за двадцать—тридцать лет до меня. Это поколение Барбюса, Доржелеса, Пьера Мак-Орлана, Александра Арну и горячо любимого мною Мориса Женева, чьи книги о войне тоже стали настоящим открытием²⁷.

Быть может, именно это чувство внутреннего родства с теми, кто старше или намного моложе меня, и сознание того, что мне труднее найти общий язык с ровесниками, и помогло мне постичь помыслы моих предшественников, понять Доржелеса и Барбюса и окончательно убедиться в правоте этих людей, которые всем сердцем ненавидели войну и сумели сказать о ней свое слово.

Жан Реленже

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА БАРБЮСА «ОГОНЬ»

Существует немало статей и книг, посвященных «Огню» Анри Барбюса. Только в Советском Союзе напечатан не один десяток работ, начиная с первого русского отклика на роман, принадлежащего Анатолию Луначарскому и опубликованного в апреле 1917 г.¹, и кончая трудами И. Анисимова² и последними работами Ф. Наркирьера³ и Т. Мотылевой⁴. Особо следует отметить значение высказываний В. И. Ленина и Максима Горького.

Мы не ставим своей задачей затронуть в данной работе весь круг вопросов, возникающих в связи с изучением такого значительного и богатого по содержанию произведения, как «Огонь» Барбюса. Наша задача гораздо скромнее: провести текстологическое исследование, сопоставить текст романа с близкими по тематике сочинениями Барбюса того же времени, с его дневниками военных лет, письмами к жене, с текстом, опубликованным в газете «Эвр», с первым отдельным изданием романа, вышедшим 15 декабря 1916 года, с другими статьями Барбюса, написанными в эти годы. Благодаря такому сопоставлению ясно вырисовывается процесс создания романа. Подобное исследование, как нам представляется, убедительно доказывает правдивость событий, описанных в «Огне», дает возможность раскрыть эпический характер романа, его художественные особенности, наконец, бросает яркий свет на политическое развитие самого Барбюса.

История создания и публикации романа

Все факты, касающиеся создания романа, теперь точно известны во всех деталях. Они приведены, в частности, в книге Владимира Бретта⁵ и в статье Жака Мейера⁶.

Барбюс писал 27 августа 1927 года: «Роман „Огонь“ был написан очень быстро, несмотря на то, что мысль о его создании возникла у меня неожиданно. Начатый в конце 1915 года, он был закончен шесть месяцев спустя. Уже с августа 1916 года роман начал печататься в газете «Эвр»,

¹ Луначарский А. В. Книга-подвиг. — День, 1917, 9 апр.; то же: Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М.: 1965, т. 5, с. 374—379.

² См. в частности: Анисимов И. Барбюс и «Кларте». — В кн.: Анисимов И. Французская классика со времен Рабле до Романа Роллана. М.: 1977.

³ Narkirier F. Barbusse le vassebleur. — Europe, 1974, N 545.

⁴ Motyleva T. Barbusse et Tolstoi. — Europe, 1974, N 545.

⁵ Brett V. Henri Barbusse. Sa marche vers la clarté, son mouvement «Clarté». Prague, 1963.

⁶ Meyer J. «Le Feu» d'Henri Barbusse. — Europe, 1969, N 477.

где последние главы были опубликованы в ноябре 1916 года, когда я еще был в госпитале»⁷. Переписка писателя подтверждает, что ему понадобилось всего шесть месяцев, чтобы написать «Огонь». Начиная с июля 1915 г. многие газеты просят у Барбюса статьи или заметки, но у него абсолютно нет времени, чтобы что-нибудь написать. В январе 1916 года его назначают писарем штаба 21-го полка, и, став немного свободнее он записывает: «Я хочу кое-что набросать для «Эксцельсиора». Но только 26 января 1916 года встречается важное для нас признание «...сейчас я прежде всего стараюсь использовать свободное время <...> собираю записи, коплю строчки, чтобы в подходящий момент превратить их в книгу <...> Отбором и составлением очерков и рассказов для газет я займусь позже» (I, 117)⁸. Письмо от 9 февраля подтверждает это намерение. Барбюс задумывает создать цикл новелл, которые он собирается предложить различным газетам.

Первый раз о романе он упоминает в письме от 19 марта: «Моя книга о войне не будет «новинкой», вовсе нет! Я просто хочу написать историю одного взвода на различных этапах войны и в разных ситуациях» (I, 127).

Наконец, 3 августа 1916 года роман «Огонь» начинает печататься с продолжением в газете «Эвр», и печатается там до 9 ноября 1916 года. Книга сразу же стала пользоваться огромным успехом. Значительно поднимается тираж «Эвр». Анри Барбюс получает поздравительные письма от гражданских лиц, а с начала сентября и от солдат — «пуалю»⁹.

28 октября Барбюс пишет жене: «Сегодня у меня большая почта. Письма от незнакомых и знакомых по поводу «Огня». Дело, судя по всему, идет хорошо» (I, 163). В сентябре 1916 года представители издателя Фламариона братья Фишер предложили Барбюсу напечатать «Огонь» отдельной книгой и представить ее на соискание Гонкуровской премии. Автор принимает предложение и книга выходит в декабре 1916 г. тиражом 1000 экземпляров. 15 декабря 1916 г. роман получает Гонкуровскую премию. После этого одно переиздание следует за другим. В июле 1918 года общий тираж достигает 200 000 экземпляров, в 1924 г. — 350 000 экземпляров. Переиздания и новые переводы романа постоянно появляются и в наши дни. Жак Мейер в упомянутой статье приводит новейшие данные: к январю 1969 г. в издательстве «Фламарион» вышла 441 000 экз., не считая подарочных и дешевых общедоступных изданий, выпущенных другими издательствами с разрешения «Фламариона». В 1935 г. по данным Мейера, существовало 60 переводов романа, к которым за истекшее время прибавились «переводы, которые появляются почти во всех странах от Латинской Америки до

⁷ *Barbusse H.* Confession d'un écrivain, interview accordée au journal indien «Kalidas Nag» (русск. перевод см.: Иностранная литература, 1958, № 6, с. 4—7).

⁸ Письма к жене цитируются здесь и далее по наст. изд. с указанием в скобках номера; текст романа «Огонь» — с указанием в скобках страницы по наст. изд.

⁹ Один человек пишет: «Наконец-то все узнают правду о солдатах, и это благодаря вам» (I, 146).

Японии, переводы на многочисленные языки от финского до английского и чешского, от арабского до древнееврейского и идиш; некоторые из них, вышедшие в странах, где у власти стояли фашисты, были изданы нелегально».

Записные книжки военных лет и письма Барбюса к жене

Мы располагаем четырьмя группами текстов, которые можно считать набросками «Огня»; это «Письма к жене»¹⁰, дневниковые записи, опубликованные вместе с письмами, и две записные книжки военных лет, опубликованные и прокомментированные Пьером Парафом в книге Барбюса «Огонь» (изд. Фламарион, Париж, 1965).

Сравнение этих текстов с романом неоспоримо доказывает, что автор действительно видел и слышал на фронте все, о чем говорится в романе. Многие факты, события, эпизоды романа встречаются в письмах и записных книжках, и, следовательно, основываются на личных наблюдениях Барбюса.

География романа «Огонь» очень точна. Автор хорошо знает все населенные пункты около Суше, где происходит действие романа, он там либо жил, либо бывал.

Бетюнская дорога и деревня Суше, так часто упоминаемые в романе, подробно описаны и в письмах и — в еще большей степени — в записных книжках.

Злосчастная дорога в плачевном состоянии. Когда эвакуировавшиеся местные жители вернутся, они не узнают ни дороги, ни своих домов. Придорожные деревья скошены орудийным обстрелом обезглавлены у некоторых расщеплены стволы; воронки от снарядов образовали лохани с водой, — серые на шоссе и коричневые у кромки полей, а главное, дорогу изменило то, что вдоль нее по обе стороны вырыты окопы (I, 77).

...покалеченная развороченная [Бетюнская] дорога, где непрерывно свистят невидимые пули и на каждом шагу натыкаешься на огромные воронки от снарядов (I, 80)

... на дороге ряд трупов с почерневшими лицами и вздутыми губами (I, 109)

«Опять я увидел Суше <...> Я увидел те же самые трупы, лошадей, гниющие

«Через несколько шагов Потерло останавливается <...> Вот она, господи! Подумать только, ведь это она!.. Да я ее знаю так, что с закрытыми глазами увижу ее точно такой же, какой она была <...> Какая это была прекрасная дорога, обсаженная с обеих сторон высокими деревьями... А теперь?.. Погляди, до чего ее искорежили!.. Погляди: окопы по обеим сторонам вдоль всей дороги. Сама она разбита, усеяна воронками, деревья вырваны с корнем раскиданы, расщеплены, обуглены, пробиты пулями... (с. 93)

В самом деле, дорога вселяет ужас <...> над этой дорогой пролетают только пули и целые стаи, целые тучи снарядов, они ее избородили, взвздошали, засыпали землей, несенной с полей, разрыли и вернули до самых недр... (с. 93)

Мы спускаемся в ложбину... На грязном пустыре, покрытом сожженной травой, рядами лежат мертвецы <...> У многих лицо черное, смоляное, губы распухли; голова раздута как пузырь, прямо-таки голова негра (с: 93—94)

... Она похожа теперь на грязный болотистый пустырь в окрестностях города.

¹⁰ *Lettres d'Henri Barbusse à sa femme 1914—1917*. P., 1937; Три письма Барбюса с фронта были опубликованы в изд.: Europe, 1969, № 483—484.

в тех же самых круглых лужах, заполнивших воронки от снарядов, и все то же уму непостижимое нагромождение мельчайших разнообразных обломков» (I, 114)

куда годами сваливали хлам, всякие отбросы, старую утварь <...>

В ямах, вырытых снарядами, гниют огромные, раздувшиеся трупы лошадей. (с. 96)

Эти примеры подтверждают, что место действия романа не выдуманно, а точно воспроизводит реальную местность.

Не выдуманы и персонажи романа. Многие его главные герои взяты из жизни, Барбюс встречал их на фронте. Вот, например, Мартро.

«Та еще работенка», как говорил один мой славный товарищ, по 8-му полку, старьевщик из Вильмобля» (I, 117)

«Сейчас у меня та еще работенка», как говаривал мой приятель из 8-го территориального полка» (I, 127)

... Мартро рассказывает мне о себе: «Я торговал всякой рухлядью, иначе говоря, я — старьевщик». (с. 116)

Таким образом, речь идет о реальном человеке, которого Барбюс хорошо знал и который послужил прототипом одного из персонажей романа.

Реальный прототип был и у парижанина Барка.

... Всю дорогу слушали Верцингеторига Барбье: он рассказывал о проделках, которыми развлекался в мирное время, когда служил в лавке разносчиком. (I, 56)

... Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, как кур, на проспектах и площадях. (с. 14)

По примеру своего прототипа Барк считает себя «изворотливым парнем, мастером на выдумки». («Огонь», с. 12, ср. письмо жене от 20.II.1915).

Напомним, кстати, что сам рассказчик в романе, написанном от первого лица, не кто иной, как солдат Барбюс.

Паради — также реальное лицо, Барбюс даже не изменил его имени. Рассказывая в дневнике 2 ноября 1915 года о своем посещении «Откоса Зуавов», Барбюс приводит его слова: «Просто чудо, что нас не убили», — говорит Паради. Во власти той же неотвязной мысли Паради повторяет: «Это чудо, чудо, чудо», стараясь передать неизгладимое впечатление, которое оставляет подобное бедствие» (с. 230).

На следующей странице дневника Барбюс еще раз упоминает о нем: «Паради то и дело повторял: «Чем больше он стареет, тем становится свирепее» (с. 231).

Имена других главных персонажей также встречаются в дневнике. Но исходя из общего контекста записей, можно предположить, что начиная с декабря 1915 года, когда, по всей вероятности, началась работа над «Огнем», речь скорее идет о набросках персонажей будущего романа, чем о записях, сделанных непосредственно с натуры. Представляется, что именно так можно расценивать упоминания о Бертроне (с. 232), Коконе, Фуйеде (с. 234), Тирете (с. 230, 234), Блере (с. 237).

Что же касается второстепенных персонажей романа, то письма и записные книжки Барбюса также подтверждают подлинность большинства из них. Верцингеториг Барбье, послуживший прототипом Барка, вдох-

новил Барбюса и на создание образа повара, носящего имя Мартин Сезар.

«Но Верцингеториг Барбье нашел выход из положения. Он «откопал» незанятый дом, расположенный в таком укромном месте, что там можно спокойно развести огонь. Я пробрался туда вслед за ним и пишу тебе, бедная моя девочка, из этой кухни, устроившись за довольно-таки грязным столом; рядом кипит, а время от времени бежит, шипит и брызжет на меня жаркое; за моей спиной суетится Верцингеториг Барбье, он готовит ужин... (I, 32)

Мы остановились как-то на постое в расположении нестройной роты. Поваром был толстяк Мартин Сезар. Вот был мастер добывать дрова! — Да, молодец! Чего там, знал свое дело. — У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь.

Если случалось, что ни черта больше нет он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово. (с. 22—23)

Впрочем, это не единственный персонаж «Огня», носящий реальное имя. Перечисляя погибших солдат 18-ой роты, Барбюс среди прочих называет имя Мондена. А вот что говорится в письме жене от 12 июля 1915 г.: «Роты, бывшие в окопах, пойдут отдыхать <...> Бедняги пострадали за это время; сегодня утром убили двух моих приятелей: лейтенанта Арнандьеса <...> и адъютанта Мондена, с которым мы несколько месяцев служили, ели из одного котла. Бедная 18-ая рота, бывшая моя рота, потеряла и еще несколько бойцов. Скорбный перечень!» (I, 92).

Совпадают и обстоятельства, и номер роты — возможно, следовательно, что и другие имена, упоминаемые в главе «Смена», подлинны и принадлежали солдатам, которых Барбюс лично знал.

В письме от 25 сентября 1915 г. Барбюс говорит, что вместе с санитаром по имени Плезанс он оказывал первую помощь раненым. Имя санитаря Плезанс встречается и в «Огне».

Персонажи «Огня» не безжизненные марионетки, а подлинные живые «пуалю». Разумеется, они — создания писателя. У большинства из них выдуманные имена, а некоторые из них вообще плод авторского вымысла. Утверждать что-нибудь наверняка трудно, так как в письмах и в записных книжках упомянуты далеко не все товарищи Барбюса. Но из приведенных выше примеров безусловно следует, что работая над «Огнем» Барбюс вдохновлялся живыми «пуалю», которые окружали его на фронте.

Реальны и описанные в романе события. Так как письмо Барбюса к Полю Сюилару от 27 декабря 1916 г. подтверждает подлинность эпизода с виселицей. «Не затрудняй себя поисками «Огня». Я вышлю тебе экземпляр, ты ведь долго был моим товарищем по оружию, и мы пережили бок о бок немало трагических моментов, к тому же в книге прямо говорится о тебе. Это единственный случай, когда я называю подлинную фамилию без всякой изменений» (письмо из архива секретаря Барбюса Аннетты Видаль).

В письмах Анри Барбюса не раз упоминаются военные эпизоды, которые затем возникают на страницах романа. Приведем несколько примеров.

В письмах то и дело идет речь об окопах, о траншеях, о характере местности, о километрах, которые нужно каждый день проползать по узким переходам, где приходится вытягиваться у стен и ждать, пока

пройдут другие. Разведывательные патрули, застывшие трупы, атаки алжирских и сенегальских стрелков, разрушенные противником траншеи, и т. д. — все это встречается как в романе, так и в письмах. Это непосредственная реальность войны, знакомая всем фронтовикам.

Но в романе есть и немало деталей, которые мог подметить только автор «Огня», немало картин, увиденных именно его глазами.

В главе «Портик» автор описывает паломничество в Суше по Бетюнской дороге вместе с Потерло. Этот эпизод навеян «прогулкой», которую в самом деле совершил Анри Барбюс:

«В половине восьмого мы с Моннио отправились на поле <...> Шли мы по необычной дороге: все деревья по обеим ее сторонам срублены» (I, 109).

Вообще вся глава «Портик» содержится в зародыше на первых страницах дневника (запись от 14 октября 1915 г.). Здесь рассказывается о паломничестве автора и его товарища в Суше под прикрытием тумана, об искалеченной Бетюнской дороге, о нагромождении трупов, о Красном кабачке, о развалинах, в которые превратилось Суше, о трупе повара... В записной книжке нет только рассказа Потерло о том, как он навещал свою жену в занятом врагами Лансе, а также рассказа о смерти Потерло, которой посвящен конец главы «Портик». Нет здесь и совершенства формы, стиля, всего того искусства, с которым автор построил свою главу, но все основные факты здесь уже есть.

Сходным образом атака, в которой Анри Барбюс принимал непосредственное участие, легла в основу одного из центральных эпизодов книги — главы «Огонь».

... Вдруг пронесся слух, что немцы бросили свои окопы первой линии <...> Около двенадцати часов роты, занимавшие наш окоп, получают оружие (каждому, вдобавок к винтовке, выдают по две гранаты, многим — браунинги и ножи) — и они выступают. Они должны атаковать немецкие окопы (I, 106)

«Двадцать вторая рота! В ружье! <...> Из уст в уста передаются новые приказы <...> «Каждому взять по две гранаты!» Подходит майор <...> Он говорит: — «Добрые вести, ребята. Боши удирают!» (с. 149, 151)

Бертран меня ощупывает. Он что-то прицепил к пуговице моей шинели. Это кухонный нож <...> Брать добровольцев для этого дела запрещено» (с. 151)

Анри Барбюс хорошо знал окопы, которые он описывает несколько дальше. Он видел их в Круи: «В „Иллюстрасьон“ от 27 марта напечатан снимок: французские солдаты после атаки в немецком окопе, усеянном трупами. Мы видели нечто подобное в Круи и на 132-й высоте» (I, 49).

Немецкий окоп описан также в письмах от мая и сентября 1915 г. В «Огне» можно найти описание той «свалки трупов» (I, 68), той же «виллы Glück Auf» (I, 106) и т. д.

Таким образом, описание атаки и захвата немецких траншей основано на собственном опыте писателя.

На личном опыте Барбюса основывается и глава «Работа»; писатель

вспоминает здесь земляные работы, в которых он принимал участие в ночь с 13 на 14 мая 1915 г.

Чуть только стемнело, мы отправились и пять часов шагали по топкой, липкой грязи (вспаханные поля!). Пули свистели будь здоров, а наше путешествие то и дело прерывалось, так как мы оступались, падали в рытвины, в ямы от снарядов, иногда теряли друг друга (тогда в темноте — приглушенные оклики, ругательства, сбор, толчея, сумятица, черный силуэт офицера с капюшоном на голове, так как льет дождь), а затем снова шли вперед. Нам попадались навстречу артиллерийские упряжки, спешно перевозившие орудия на другое место, встречались воинские части.

<...> небо вдруг осветили ракеты — со всех сторон засверкал поразительный фейерверк; ракеты — звезды, ракеты с красным огнем, ракеты-гроздьа <...> а затем началась бомбардировка <...> Оглушительный грохот, ослепительный свет — настоящий апофеоз какой-то кошмарной феерии <...> как только ракета взлетела, все бросилось на землю... Но вот, наконец, и ход сообщения. Спускаемся туда. Траншея постепенно становится мельче, мы нагибаемся <...> Снимаем и складываем рядом с собой винтовку, всю амуницию, сумку, плащ-палатку — это пока единственное укрытие. Берем, кто лопату, кто кирку (каждый принес с собой инструмент) и, получив указание от саперного офицера, обходящего цепь, живо принимаемся за работу <...> Каждый должен прорыть отрезок в один метр <...> Первый час работа опасная, потому что укрытия нет <...> Как только ракета взлетает, не успеет загореться — хлоп! — все распласталось и при свете красивой звезды, которая покачивается в небе, видишь лежащих на земле людей, неподвижных как мертвецы. Потом опять копаем, роем и постепенно образуется углубление» (I, 67).

Как известно, эта глава заканчивается апокалиптическим видением разлившейся воды и грязи, которое продолжается в следующей, последней главе книги. Это описание соответствует эпическому складу повествования. Но надо отметить, что Барбюс и здесь использовал свои воспоминания об ужасных проливных дождях сентября 1915 г.:

«Дождь усиливается. Земля превратилась в болото. Ходы сообщения залиты водой <...> Немецкий окоп <...> до половины заполненный грязью <...> Землянок не найти: их стенки обвалились, все забито мокрой, липкой землей, заполнено трупами <...> Вечером отправились в то

...И вот мы опять на равнине в безрадостных сумерках <...> Мы идем полями месим жидкую кашу, которая расплескивается и липнет к ногам <...> Во впадинах — лужицы, лужи, пруды, озера <...> Полил сильный дождь <...> Нас одолевает усталость. Навстречу с грохотом несутся транспорт (с. 189) <...> Мы натываемся невзначай на затор артиллерийских повозок <...> Мы идем все дальше и дальше... (с. 190)
<...> Скоро полночь. Вот уже шесть часов, как мы шлепаем по непролазной грязи (с. 192) <...> проносится слух: «заблудились!» (с. 193)

Все чаще, один за другим, грохочут орудийные залпы <...> Затем бомбардировка так усиливается, что свет уже не угасает <...> Одновременно с наших и неприятельских позиций взрывается множество ракет; они объединяются в ослепительное созвездие <...> Мы опять заблудились... (с. 194)

Этим размещением руководит лейтенант и офицер саперной части <...> Они суетятся, вместе и порознь бегают вдоль рядов... Каждый должен вырыть полтора метра в длину <...> (с. 195)

Наша работа привлекает внимание неприятеля; справа от нас вертикально взлетает ракета <...>

— Ложись!

Все бросаются плашмя на землю, а бледный свет широко разливается над этим полем смерти <...>

Уже выросла тощая гряда земли, и каждому из нас кажется, что он увеличит этот зачаток насыпи, положив на нее свою сумку и скатанную шинель. Все прячутся за этим жалким укрытием, когда раздражается шквал... (с. 196).

убежище, где помещается центральный перевязочный пункт. Чем ближе к нему подходишь, тем ужаснее дорога. В темноте видны мертвецы, скорчившиеся в окопах, разрушенных снарядами. Наконец, измученные, мокрые от пота и дождя, отяжелевшие, грязные призраки добрались до низкой двери перевязочного пункта» (I, 106).

К этим основным эпизодам книги можно прибавить другие, менее значительные, которые также навеяны пережитыми реальными событиями.

В начале книги рассказывается о приезде в окопы журналистов. Точно такой же эпизод описан в письме от 30 мая 1915 г. Несколько страницами далее взвод наблюдает за ротой ополченцев, присланных для земляных работ.

Только что <...> видел множество рот различных полков <...> Большое впечатление производили их желтые, осунувшиеся, исхудавшие лица, их оборванная и смешная одежда. Словно шествие полинявших паяцев, подобранных с земли. Некоторые насупились, рты их изрыгали ругательства по чьему-нибудь адресу. Другие смеялись и, проходя мимо нас, отпускали шутки или выкрикивали дружеские приветствия. Шли люди всех возрастов, и половину их составляли бедняги-ополченцы, годившиеся в отцы многим из молодых. Эти вереницы походили не на шествие солдат одного рода оружия и одной армии, а на какую-то семейную процессию! Младший сын, дядя, двоюродный брат из деревни, чудаковатый дедушка... (I, 87)

Идет рота ополченцев, посланная на работы по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломом, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги. Мы их разглядываем. Они проходят мимо один за другим. Это скрюченные старички <...> затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели; пуговицу на них не хватает, сукно потертое, дырявое <...>

— Парад метельщиков, — говорит Тирет.
— Посмеемся. — возвещает Барк.

Кое-кто из старичков забавен <...>

— Эй, дедушка, хочешь два су? — спрашивает Барк <...>

Оскорбленный старик ворчит: «Ах ты дерьмо!» <...>

Шествие ветеранов, изможденных, замаранных окопной грязью, заканчивается; зрители <...> провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами (с. 30—31).

В письме та же ситуация и даже те же фразы. Другие эпизоды романа сильнее отличаются от первоначальных записей. Но в целом роман «Огонь» богат деталями подлинной военной жизни, «мелочами», которые нельзя выдумать и которые еще больше подчеркивают правдивость всего повествования. Вот несколько примеров:

Представь себе, меня обокрали: ночью я подбирал раненых, а вещички свои оставил в маленькой землянке на краю хода сообщения <...> Это было крайне неосторожно, потому что через этот ход сообщения тянутся бесконечные вереницы солдат <...> Я бушевал, ругался, угрожал, но разумеется, нет ни малейшей надежды отыскать мои вещи (I, 88)

Медар ... читает с деревенским выговором фантастические выдумки собственного изобретения, якобы напечатанные в «Армейском вестнике» (I, 38)

— У меня ночью свистнули сумку!

— Это сто двадцать девятый полк! А где ты ее держал?

Он показывает на штык, воткнутый в стенку, у входа в прикрытие <...>

— Раззява! — хором восклицают собеседники. — Сам людям подставил! Да ты что, рехнулся?

— Экая досада! — стонет Тирлуар.

Вдруг его охватывает гнев (с. 10)

Барк делает вид, что держит под носом газету и начинает декламировать фальцетом (с. 26)

Таким образом, страницы «Огня» изобилуют будничными эпизодами повседневной военной жизни.

Нельзя не поражаться почти дословному совпадению отдельных фрагментов писем и романа «Огонь». Вот несколько особенно характерных примеров этого удивительного сходства.

Описывая повседневную окопную жизнь, Барбюс передает разговоры «пуалю».

— А наши ротные кашевары чем нас угощают? С этого сил не наберешь. Нынче утром они нам такое варево подсунули. . . никакой в нем основательности нет, трава да и только, верно тебе говорю, съел, будто стакан воды выпил, ни дать, ни взять (I, 99).

Сегодня я завтракал в необычной обстановке. Мы стояли шеренгой, плечо к плечу, почти по колено в воде. Дождь тек струями по нашим капюшонам и плащ-палаткам. Ели мы так: под плащом нащупывали хлеб, прикрывая его одеждой с такой осторожностью, с какой зажигают спичку на ветру (. . .)

Наша траншея — настоящая канава с водой (I, 45)

— А чтобы мы не жаловались, что мясо слишком жесткое, дадут, бывало, вместо него чего-нибудь мягонького, безвкусную губку, припарку Ешь, словно кружку воды пьешь, право.

Да, — говорит Ламюз, — неосновательная это пища, не держится в брюхе. Думаешь — насытился, а на деле у тебя в животе пусто (с. 17)

Случилось это утром в глубоком тыловом проходе, где мы собрались позавтракать после земляных работ. Шел проливной дождь; он сбил нас в кучу и все кругом затопил, мы ели стоя, лишённые крова, прямо под открытым текучим небом. Приходилось изощряться, чтобы предохранить «обезьяну» — консервную говядину — и хлеб от воды, хлеставшей отовсюду; мы ели, пряча по мере возможности лицо и руки под капюшоном. Вода барабанила, подскакивала и текла ручьями по нашей холщовой или суконной броне и мочила то открыто, то истодтишка нашу пищу и нас самих. Ноги все больше увязали в глубине глинистого окопа, размытого ливнем (с. 71)

Эти совпадения слишком разительны, чтобы можно было допустить, что Барбюс так точно помнил свои письма, написанные за несколько месяцев, а иногда за целый год до создания романа «Огонь».

Очевидно, работая над книгой, он перечитывал и использовал письма, которые ежедневно посылал с фронта жене и которые та бережно хранила. Письма эти являются, таким образом, первоначальным наброском романа. Барбюс описывал окопную жизнь на основании собственного опыта. Он рассказывал о том, что видел своими глазами и что изо дня в день запечатлевал в письмах. Роман «Огонь» в самом деле — дневник, свидетельство пережитого.

Таким образом, в романе нет никакого преувеличения, и если он стал сенсационным произведением, то именно благодаря точности, с которой автор сумел увидеть и, главное, правдиво и выразительно показать необыкновенную реальность войны. Бесчеловечной, ужасной, чудовищной была не книга «Огонь», а война.

Роман «Огонь» поразил всех потому, что это была первая честная книга о войне. Прежде никто и не пытался написать ничего подобного.

Фронтвики, наиболее заинтересованные в такой книге, были изму-

чены тяжелейшими фронтовыми условиями; измотанные ежедневной борьбой с дождем и стужей, постоянными перестрелками с противником, усталостью, страданиями и смертью, они погрязли в «военных буднях» и не смогли увидеть войну целиком. Некоторые из них опубликовали записки, которые не имели большого успеха. Тыловики же были в плену официальных легенд о войне, созданных националистической пропагандой, в плену громких слов и победных фанфар. Они не имели возможности осознать по-настоящему, что такое война. Ложное представление о войне поддерживали и профессиональные литераторы — одни по невежеству, другие — из-за политической слепоты, третьи — руководствуясь кастовым духом. Основная причина необыкновенного успеха книги Барбюса именно в том, что она обнажила жестокий лик войны, сорвала с нее маску условных представлений, предрассудков, недомолвок, которые искажали ее сущность. Надо было иметь немалое мужество, чтобы пойти против всех и провозгласить истину.

Книга «Огонь» написана так искренно, так глубоко правдиво, что во многом приближается к репортажу: изображая реальных людей, описывая подлинные эпизоды войны, автор, следуя известному натуралистическому принципу «куска жизни», как бы исчезает и довольствуется ролью объективного свидетеля. Дневник одного взвода — это почти буквальное воспроизведение окопной жизни. Мало можно назвать романов, даже реалистических, в которых было бы меньше выдуманных фактов. Анри Барбюс писал: «Писателю, который ставит своей целью взволновать своих далеких читателей, остается лишь запечатлеть на чистых страницах бумаги эту мрачную драму. Я целиком отдался этой работе, и для меня было долгом чести полностью исключить всякую игру воображения и изображать не выдуманные истории, а действительные факты, которые я выудил из потока военной жизни и которые подкрепляются тем, что я видел или слышал. Вы не найдете здесь никаких выдумок, а патетичность этих очерков я обязан лишь тому, что отказавшись от всякого авторского тщеславия, от роли поэта или оратора, удовлетворился ролью свидетеля и человека»¹¹.

Итак, автор предупреждает нас: не ищите в «Огне» вымышленных эпизодов, сюжетов, фактов. Однако полностью ли оправдана эта скромность Анри Барбюса? Действительно ли со страниц книг не встает личность автора, поэта, писателя?

* * *

*Редакция «Огня», печатавшаяся в газете «Эвр»
с 3 августа 1916 г. по 9 ноября 1916 г.*

«Огонь» печатался с продолжением в газете «Эвр» в разгар войны. Публикация началась 3 августа, т. е. через два года после начала войны, а закончилась 9 ноября 1916 г., г. е. за два года до перемирия. Сравне-

¹¹ Этот текст Барбюса сообщен нам Аннетой Видаль; он, очевидно, должен был служить предисловием к одному из бесчисленных изданий или переводов «Огня».

ние газетного текста с окончательным вариантом романа во многих отношениях очень поучительно.

Оно дает возможность выяснить, что именно вычеркивала цензура (между прочим, не очень жестокая) в газетном варианте. Были вычеркнуты только два эпизода. 17 августа две с половиной колонки в газете не были заполнены текстом. Редакция поместила следующее объяснение: «Здесь должен был быть напечатан драматический эпизод, который цензура потребовала опустить». О чем же шла речь? Эпизод этот из главы «Портик» занимает немногим более двух страниц в книге и рассказывает о коротком пребывании солдата Потерло в оккупированном Лансе, о его свидании с женой, которое состоялось благодаря помощи эльзасских солдат, завербованных в немецкую армию. С эльзасцами Потерло и его товарищи познакомились во время братания на передовой. Любопытно отметить, что купюра, потребовавшая цензурой, не касалась ни эпизода братания, ни военных передвижений в Лансе. Цензура выкинула из главы лишь некоторые места, в частности, эпизод, когда Потерло в Лансе видит, как его жена и жена солдата, убитого на Марне, улыбаются немецким унтер-офицерам. Эту улыбку двух французских женщин, адресованную врагам, сочли шокирующей, безнравственной и опасной для морального состояния армии.

Второй раз цензура вмешалась в дело в 38-м выпуске, опубликованном 8 сентября. Текста было вычеркнуто немного, всего три абзаца. Сокращения касались длинного перечисления «окопавшихся в тылу», тех, кто под любым предлогом стремился избежать опасности. Как явствует из купюр, цензоры не желали видеть в этом списке ни священников, ни военнообязанных аптекарей, ни «людей богатых и со связями».

Но вообще, как с восхищением отмечал Барбюс в письмах, цензура не была очень придирчивой: она позволила «пуалю» назвать военного министра 1914 г. (Мильрана) «сволочью», она разрешила капралу Бертрану говорить о Карле Либкнехте с большой симпатией (впрочем, разве не наруку французской цензуре было упоминание немецкого депутата, голосовавшего против военных кредитов своему правительству в войне против Франции?). Цензура не выкинула даже последнюю главу романа «Заря», где звучит надежда на братание народов во имя мира на земле.

Однако Барбюса доводят до отчаяния купюры и исправления, которые разрешает себе редакция газеты «Эвр». Они касаются главным образом «грубого» языка, который подвергается систематической чистке. Слишком вольные солдатские словечки редакция везде заменяет обычными, стертыми словами, что значительно ослабляет выразительность повествования. В конце концов, Барбюсу удается добиться, чтобы «недозволенные слова» обозначались первыми и последними буквами, разделенными многоточием.

Сравнение газетного варианта с окончательным текстом романа помогает проследить, как менялась композиция романа (впрочем, сразу же следует отметить, что эти изменения были не очень значительны). Барбюс ввел в окончательный текст вводную главу «Видение», символическое прозрение, предсказание грядущих катаклизмов.

Первая глава газетного варианта «Пещерные люди» под новым названием «В земле» становится второй главой книги, в свою очередь, вторая глава «Портик» передвигается на место двенадцатой, а третья глава «Шпион» исключается вовсе, если не считать короткого упоминания о торговце вином, вызвавшем подозрения Паради.

В главе «Шпион» Паради рассказывает историю, случившуюся еще до войны: он вместе со своим кузеном Пьерре заподозрил в шпионаже некоего Безига. Но этот же Безиг помог затем Паради раскрыть, что настоящий шпион — Пьерре. Глава была малоубедительной: грубоватый рассказ Паради, перегруженный арготизмами, уводил внимание читателей от основных событий к малозначительному эпизоду довоенного времени. Барбюс нашел ему удачную замену — в «Арговале» (гл. X) речь идет о войне, причем повествование великолепно по своей естественности и простоте. Шестая глава «Постой» в романе станет пятой под названием «Стоянка». Глава «Погрузка» из шестнадцатой делается седьмой. В целом, изменений не так уже много, но все они направлены на достижение большей цельности и стройности повествования.

«Огонь» был первоначально задуман как сборник рассказов¹², поэтому композиция не очень строга и последовательность глав несколько раз менялась. Главное в построении романа — не порядок чередования эпизодов, а непрерывный и неотвратимый рост подавленности солдат, вызванной усталостью, невыносимыми условиями жизни, постоянным ощущением ужаса, ежедневным столкновением с абсурдностью происходящего. Все это давит на сознание несчастных людей, и это тягостное чувство благодаря таланту писателя передается читателям.

Автор придерживается не столько хронологического, сколько тематического принципа повествования, строя свое произведение «и как роман, и как поэму». К этому, впрочем, Барбюс стремился во всех своих книгах. Каждая глава косвенно связана с рассказом о предшествующих и последующих событиях. Чередование эпизодов передает нарастание ужаса и подавленности, но при этом эпизоды дополняют друг друга, будучи непохожими по содержанию.

Описания сменяются разговорами солдат, сцены отдыха картинami изнуряющей работы, фронтовые эпизоды — тыловыми, конкретные проблемы — философскими раздумьями, и все это вместе создает полную и многогранную картину войны.

После знакомства с солдатами взвода и с их жизнью в окопах (гл. II, III, IV) мы видим их на отдыхе (гл. V, VI), внезапно прерванном выступлением (гл. VII). Вернувшись в окопы, солдаты слушают рассказы своих товарищей, побывавших в тылу (гл. VIII, IX).

После рассказа о расстрелянном солдате (гл. X) следуют эпизоды повседневной жизни на стоянке (гл. XI, XIV, XV, XVI) и на передовой (гл. XII, XVII, XVIII). Повествование о жизни взвода перебивается

¹² «Я понял сейчас, что не надо было в «Огне» давать названия главам. Это придает им характер отдельных рассказов» (I, 149).

очень важной для автора беседой с солдатами о военной литературе (гл. XIII), которая не случайно помещена в самом центре книги.

После XVIII главы повествование неуклонно движется к финалу: прерываемое лишь короткой увольнительной (XXII): «Бомбардировка» (XIX), «Огонь» (XX), «Перевязочный пункт» (XXI), «Работа» (XXIII), и, наконец, заключительная глава «Заря». Рассмотрим эту композицию подробнее. Эпизоды сменяются по принципу контраста, полностью раскрываясь лишь один на фоне другого. Эпизоды соединяются, сочетаются, оттеняют друг друга, как при монтаже кинофильма.

Барбюс писал по поводу главы «Привычка» (VI) в письме от 30.IX.1916 г.: «Хочется показать <...> что солдат, кочуя из деревни в деревню, все же иногда вращается в чужую жизнь, свыкается с нею, если чуть подольше с ней соприкасается. На этом я хочу построить небольшую идиллическую главу, которую резко оборвет «Погрузка» — отъезд в неизвестность» (I, 150). Сходным образом глава «Арговаль» (X), где говорится о казни «пуалю», все свое трагическое звучание приобретает лишь после «Великого гнева» (IX), клеймящего тех, кто окопался в тылу, и штабных вояк.

Главы «Перевязочный пункт» (XXI) и «Работа» (XXIII) как бы обрамляют главу «Прогулка» (XXII), создавая разительный контраст между тыловой жизнью и жизнью фронтовиков.

Повествование развивается не по хронологическому принципу. Можно скорее говорить о развитии мысли произведения, о нарастании эмоционального накала. Еще Ромен Роллан отмечал, что от «Видения» до «Зари» роман развивается как симфония¹³, где тема, только намеченная в прологе, получает свое полное завершение в эпилоге. Эти две главы действительно определяют всю композицию романа.

В прологе лихорадочное состояние больных и разразившаяся гроза вызывают пророческое видение грядущей войны с ее неисчислимыми страданиями и жертвами. Затем автор показывает войну с точки зрения солдат, еще до конца не разбирающихся во всем происходящем. Повернутые в пучину ужасной катастрофы, подавленные страданиями и усталостью, попавшие в эпицентр событий, смысла которых они не понимают, люди и не пытаются вначале ничего понимать. Но постепенно они прозревают.

Читатель видит, как в каждой последующей главе, сталкиваясь со все большими страданиями и лишениями, солдаты все яснее осознают происходящее. Развитие их взглядов дается в книге точно и без всякой назидательности. Каждая глава прибавляет новый камень к грузу, тяжесть которого в конце концов становится для людей невыносимой.

По мере того, как автор разворачивает картины жесточайших испытаний, через которые проходят солдаты на фронтах, на стоянках, в отпусках, в госпиталях, под огнем перестрелок и бомбежек, на перевязочных пунктах и земляных работах на передовой, напряжение стано-

¹³ Роллан Р. «Огонь» Анри Барбюса. — В кн.: Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т., М., 1958, т. 14,

вится невыносимым. Читателю хочется закричать вместе с героями романа: «Довольно! Довольно!» Таким образом автор наглядно показывает первое, пока еще смутное пробуждение сознания. Все происходящее свидетельствует, что война становится невыносимой для солдат, и что эти нечеловеческие испытания должны неминуемо вызвать тревожное сомнение и перелом в сознании.

Ад войны и разгул стихий достигают своего апогея в главах: «Бомбардировка», «Огонь», «Перевязочный пункт», «Прогулка» (по контрасту), «Работа». В главе «Заря» над апокалиптической картиной потопа, над истерзанной землей, над людьми, погруженными в невыносимые муки, поднимается величественное символическое видение. Заря — символ более конкретный, чем пророческое видение в начале книги, но эти последние страницы связаны с прологом, они продолжают его. Заря — это свет, возникающий в сознании будущих борцов за мир, очищение, рождающееся из пережитых жесточайших испытаний. Люди произносят первые слова надежды.

Можно, следовательно, говорить о постоянном нарастании в романе эмоционального накала, что достигается многообразием эпизодов, их перекличкой и контрастными противопоставлениями. Все это придает роману эпический характер.

Эпическое дыхание чувствуется уже в первой главе, когда в санатории больных, потрясенных объявлением войны, посещает пророческое видение. Эти «провидцы», «зрители»¹⁴ различают в грозе на вершине Монблана прообраз надвигающейся резни народов, но в их видениях есть и предчувствие «заря» — надежды, которая родится из этого апокалиптического ужаса:

«... И вот в зловещих ответах грозы <...> разверзается широкая лиловая долина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты <...> Но тридцать миллионов рабов, ошибочно, преступно брошенных друг против друга в эту войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах наконец появляется выражение воли» (с. 7).

Главные темы книги — предвидение бедствий грядущей войны и пробуждение сознания солдат — заданы таким образом уже в первой главе, которая становится поразительным по своей силе символическим обобщением романа. Эпический характер этих страниц чувствуется и в мрачных картинах толп, ринувшихся истреблять друг друга, и в светозарном пророчестве грядущего единства миллионов людей. Эти начальные страницы определяют характер всей книги. От них тянется нить к эпизодам второй части романа, где описываются перемещения людских толп, море огня и свинца, мир в пламени и дыму, будничная сторона войны с ее чудовищным нагромождением раненых и умирающих. Дождь заливал бескрайние поля сражений, словно новый всемирный потоп. В этом биб-

¹⁴ В первом варианте романа глава «Видение» имела другое название — «Зрители» (см. наст. изд., с. 217—221).

лейском хаосе неодушевленная природа как бы обретает свою собственную таинственную жизнь. Она кажется более одушевленной, чем люди, обреченные на тупое существование, люди, которых она безжалостно поглощает.

Поразительные по силе картины солдатской жизни дополняются пророческими словами о пробуждении человеческого сознания. Остывшие от усталости, подавленные силой стихий и тяготами войны, замученные нескончаемыми страданиями, солдаты, пройдя через все эти бесчеловечные испытания, становятся мудрее, поскольку начинают понимать смысл событий, ранее скрытый для них. Правда пережитых страданий дает им понимание правды будущего.

В основе эпопеи всегда лежит мысль о величии человека. Есть это и в «Огне», хотя персонажи романа и не назовешь героями. Персонажи «Огня», ясно сознающие, что война — подлая штука, не являются героями в классическом смысле этого слова, но им присущ особый героизм. Основанный на их способности *выстоять* и их способности *понять*. Эти люди — никому не ведомые герои, не *ищущие* почестей; они совершают свой ежедневный подвиг благодаря привычке, чувству локтя. Это обычные люди, которых война превращает в единое существо с эпически великой душой, являющейся обобщением, символом. Существенно, однако, что люди, о которых идет речь, сохраняют свое человеческое разнообразие темпераментов, чувств, воспоминаний, жизненного опыта, реакций. Если взвод из романа «Огонь» — это микрокосм войны и воюющего человечества, то не столько благодаря своей неоспоримой общности, сколько благодаря неповторимости каждого из солдат. Протагонисты романа вырастают до символов именно потому, что они реальны и узнаваемы. Эпическое и реалистическое соединено в одном произведении в образах тем более вечных, чем более они узнаваемы и правдивы. Эпопея опирается на реальность и преображает ее.

Итак, «Огонь» можно назвать реалистической эпопеей. Но такое определение (и простое и парадоксальное) затрагивает весьма важную проблему, которую Анри Барбюсу так или иначе пришлось решать. Как сочетать эпопею с реализмом, как примирить художественный вымысел с жизненной правдой? Ибо эпическая форма и реалистически описываемая повседневность не могут существовать в книге независимо друг от друга.

«Огонь» — единое произведение, где вымысел рождается непосредственно из военной действительности. Присмотримся к этому внимательнее. Амальгаму вымысла и реальности создает уже сама композиция книги. Провидческие главы «Видение» и «Заря» с их философскими размышлениями обрамляют центральные страницы романа и придают всему его эпизодам, даже наиболее прозаическим, очевидное символическое значение, что как раз и характерно для эпопеи. Художник возвышает военную повседневность до символа.

После главы «Видение» читатель погружается в гущу солдатского быта. С первых строк книги он переносится в иной, странный, далекий и одновременно близкий и понятный в своей обыденности мир. Читатель

верит в этот мир, поскольку он населен знакомыми ему людьми. Он сам как бы оказывается скованным одной цепью с каторжниками войны. Привычная жизнь в тылу уже далеко. Завораживающее действие книги проистекает именно из сочетания необычного и привычного, близкого и далекого.

Успех Барбюса в том, что он сумел создать художественную реальность, где обычная для эпического произведения исключительность ситуации вместо того, чтобы перенести читателя в выдуманный, романтический мир, погружает его вместе с персонажами романа в обыденную, повседневную жизнь. Благодаря этому в книге возникает единственное в своем роде сочетание апокалиптического и житейского. Противопоставление индивидуального и общего, случайного и типичного сливается в конце концов в единый эпический поток.

До «Огня» мало кто пытался переплавить пережитое в эпическое, выявить величие повседневной реальности. Вот почему, разрушая фальшивое величие, с которым обычно изображали войну, Анри Барбюс смог создать эпическое произведение. «Огонь» — реалистическая эпопея о народе на войне.

Продолжая сравнительное рассмотрение газетного варианта и окончательного текста романа, мы приходим к вопросу о стиле. Ведь существенные различия двух вариантов связаны отнюдь не только с композицией.

С самого начала публикации романа в газете Анри Барбюс стал получать поздравления и от гражданских лиц и от «пуалю». Период, когда роман публиковался в газете, — важный этап в становлении окончательного текста. За эти месяцы расширился жизненный опыт писателя, и это, конечно, сказалось на работе над произведением. Барбюс за время своего пребывания в госпитале заканчивает некоторые главы романа, исправляет страницы, опубликованные в «Эвр», кое-что меняет и добавляет; готовя отдельное издание, он пишет две новые главы, добавляя в общей сложности около 2000 строк. Цифра достаточно внушительная. Отголоски этой работы над книгой мы находим в его письмах к жене¹⁵. Если роман, в основном, был написан за 6 месяцев, то окончательная редакция была готова лишь в декабре 1916 г.

За это время Анри Барбюс лучше узнает фронтовую жизнь, госпитальный быт. Читая отдельные выдержки знакомым, он проверяет мысли, высказанные в романе, сопоставляет свои выводы с письмами солдат. Он углубляет и развивает написанное им ранее. Таким образом, этот период жизни Барбюса очень важен.

Можно ли наметить основные направления, по которым шла работа над книгой, включавшая самые разные изменения, от замены отдельных слов до добавления или сокращения целых глав? Нам представляется, что здесь различимы три тенденции.

¹⁵ «Зато в Пломбере я поработал, прибавил около тысячи строк <...> Все эти места надо было бы, повторяю, просмотреть <...> Тем более нужно поработать над главами, написанными уже давно» (I, 164).

Во-первых, Барбюс делает более или менее пространные вставки, уточняя описания солдатского быта, добавляет «куски жизни», увиденные им в госпиталях уже после публикации газетного варианта.

Во-вторых, Барбюс восстанавливает все жаргонные или грубые выражения, выкинутые газетой «Эвр». Он мало что прибавляет, но то тут, то там мелькают отсутствовавшие прежде народные словечки и обороты, включенные в книгу за их живописность и образность. Вот разъяренный Ламюз поносит повара Пепера:

«— Я б им показал, — ворчит Ламюз. — Они б у меня живо повскакали с постели! Я бы трахнул их башмаком по башке, схватил бы их за ноги. . .» (с. 16).

В общем все изменения стиля направлены на то, чтобы сделать язык книги образнее и красочнее. Барбюс хороший стилист. Подобно Гонкуррам или Жюль Ренару, он «художник слова», его стиль богат, импрессионистичен, ему свойственны меняющиеся ритмы, неожиданные обороты, словесные находки, непосредственность — вся эта поэтическая мозаика позволяет писателю рисовать яркими сильными мазками.

Язык «Огня» богат образами. Их рождает настроение, жест, мысль, воспоминания, пейзаж, описания самой прозаической и банальной действительности.

Причем Барбюс не просто украшает свой стиль. Сравнения, метафоры помогают наиболее точно, во всех подробностях воспроизвести реальность. Отчаявшийся Потерло ищет свой разрушенный дом. «Он в отчаянии ломает руки, еле стоит на ногах среди щебня и досок. Он ищет то, что было в его доме: уют затененных занавесками комнат. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой заваленной обломками долине, которая лишена всяких примет, он смотрит в небо, как будто там можно что-нибудь найти» (с. 97).

Образ у Барбюса всегда служит раскрытию идеи. Так, трагедия людей оттеняется картинами природы. Например, в окончательной редакции после главы «Собака», действие которой происходит в разгар зимы, Барбюс помещает главу «Портик», где весеннее возрождение природы рождает в душах людей призрачную надежду и приносит им обманчивую радость. Автор вводит эту тему весеннего возрождения не ради красивых описаний, не для уточнения хронологии рассказа, а ради психологической правды повествования. Надежда на окончание войны ощущается сильнее в момент прихода весны, пробуждения природы. Люди возрождаются к радости. Но все это только мираж, обман — им предстоит по-прежнему мокнуть под ливнями, барахтаться в грязи, мучиться от усталости, погибать от неумолимой жестокости войны. Таков конец Потерло, на лице которого автор только что видел ответ этого возрождения. Смерть Потерло воспринимается еще трагичнее, по контрасту с чувством радости и надежды, рожденным в сердцах людей солнцем и весенним пробуждением природы. Поэтичность здесь подчеркивает трагическую иронию происходящего.

Посвятив свой дар описанию реальной действительности, автор «Плакальщиц» по-прежнему остался поэтом, но его поэтическое дарование

окрепло и углубилось, а изображение реальности приобрело с помощью поэзии большую глубину. Поэтичность «Огня» прежде всего в живописности языка. Барбюс обладает неподражаемым даром художественного видения; он умеет мастерски описывать людей и мир. Фуйяд моется под дождем. Барбюс добавляет: «Его впалые щеки покрылись белоснежной пеной, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь» (с. 84).

Описания не просто живописны, они образны. Это особенно ярко проявляется в картинах сражений:

«Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за сложными маневрами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными как вороны, то белыми как чайки; вокруг них в небесной лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега среди жаркого дня» (с. 89).

Такие описания, не навязывая читателю точку зрения автора, бросают тем не менее на происходящее некий дополнительный отблеск, сообщают ему нечто вроде четвертого измерения. Рассказ становится более насыщенным, впечатляющим, значительным. Поэтичность «Огня», служащая наиболее полному выражению реальности, поднимается до выражения общечеловеческих истин, более глубоких и значительных, чем описания отдельных правдивых эпизодов и событий.

Вот почему «Огонь», книга поразительной правдивости — все же не документальный очерк о войне. Это книга «поэзии и правды», «поэма гуманизма», поэтичная книга, созданная автором «Ада». Стиль ее безыскусствен, правдив и естествен. Поэтичность рассказа раскрывает души солдат, правду их мыслей и чувств, не нарушая общего объективного тона повествования. Кажется, что нет ничего проще, нет ничего ближе к сути событий, ничего правдивее, чем эта реалистическая поэзия. Она возникает естественно, без видимых авторских усилий. Благодаря писателю солдаты становятся поэтами, они как бы поднимаются над собой. Но это не насилие над героями, а их преобразование, поэтому читатель не ощущает никакого нарушения правды. Это и есть безупречное искусство.

Здесь мы подходим к третьей тенденции, проявившейся в процессе работы Барбюса над текстом романа. Он стремится избавиться от многословия, от повторений, напыщенности, короче говоря, от всего, что может нарушить естественную правдивость рассказа. Вот пример такого рода сокращений. Во второй главе Барбюс передает анекдотические случаи из военной жизни, которые рассказывают друг другу солдаты, чтобы убить время. Стремясь сделать текст книги убедительнее, а язык строже, Барбюс вычеркивает следующий кусок:

«... Он меня страсть как терпеть не мог, не удавалось ему меня застукать. Как-то ... (далее следует сбивчивый рассказ о споре солдат из-за места на подоконнике и о хитрой проделке рассказчика) ... ну, а я молчу, отсиживаюсь в своем углу; слышу, унтер кричит: «Если я найду что-нибудь у типа, что сидит на окне, я сверну ему шею». Я знал, что если старик узнает правду, он все тут перевернет вверх дном. Так и вышло. Меня крикнули. Я вышел тогда вперед и тут им пришлось выслушать все. Ты знаешь, я люблю резать правду-матку. Если у меня накопело,

то мне надо все это на кого-нибудь вылить. Лучше меня не задевать, а то уже ничего не поделаешь. . .

— А у нас был парень, так все боялись к нему подходить, Я, бывало, схлестнусь с ним спорить — стоило послушать. Как-то. . .»

Сплав поэтичности и грубых обыденных выражений, фотографической точности и художественности, символики и репортажа придает стилю романа исключительное своеобразие, корни которого — в неизменной гармонии между правдоподобием и выразительностью. Это тем более удивительно, что все художественные приемы скрыты или, вернее, растворены в естественной непринужденности рассказа, поставлены на службу правдивости повествования. Именно этого и добивался Барбюс, редактируя текст романа.

«Огонь» — это грубые солдатские разговоры, кошмары военной действительности на фоне предельной сдержанности повествователя. Так, в главе «Арговаль», добавленной Барбюсом, нет описания казни солдата, которого расстреляли, чтобы устрашить других солдат. Рассказчик говорит только о том, что было после казни, причем рассказывает не он сам, а сержант. Автор не стремится выразить свое возмущение этим событием, за него скупое, но недвусмысленно говорит документ — саркастическая надпись, которую солдаты прибили на столбе на месте расстрела. Сходным образом описывает Барбюс природу, с самых первых строк романа отдавая предпочтение не географической и научной точности, а эмоциональной силе и экспрессивности описаний, пропущенных через призму человеческого сознания: «И вот в зловещих отсветах грозы, под черными взлохмаченными тучами, нависшими над миром, как злые духи, разверзается широкая лиловая равнина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, изрытая ямами, полными воды, равнина непомерна, и погибающим нет числа. . .» (с. 7).

Глава «Видение», где встречаются эти своеобразные описания-образы, появилась лишь в окончательном варианте романа. Здесь как бы сконцентрирован страшный мир, в котором будут жить герои книги, мир, который будет затем постепенно раскрываться на страницах романа.

Автор не дает описания природы в классическом смысле слова, он ни заботится ни о живописности, ни о местном колорите. Перед нами три неизменные, вечные стихии: земля, небо, вода, которые взаимодействуют между собой и, наконец, сливаются в единое целое в последней главе книги. Земля — пустынная бесконечная равнина, изрезанная сетью хаотических линий. С неба блеклый тусклый свет струится на черные, белые, серые предметы (более яркие краски возникают по контрасту только при описании тыла, стоянки, призрачной весны). Вода затопляет землю, разливаясь бескрайним морем, превращая окопы в каналы, разжижая даже небо, уподобляя все зловещей декорации всемирного потопы. Рисуя неземную эту апокалиптическую картину, автор жертвует мелочами, деталями ради создания грандиозного целого.

«Огонь» — произведение искусства, поэма, эпопея, но прежде всего это современный роман, в котором автор использовал все возможности художественного творчества для создания мира реального и, одновременно, поэтического, мира со своим временем, своим пространством, своими героями.

Понятие, которое, на наш взгляд, наиболее точно выражает современность стиля Барбюса, — это *соответствие*. Соответствие средств и цели, характеров персонажей и их языка, жизни и вымысла, соответствие изображаемой реальности и художественных приемов. «Огонь» — образец точности восприятия и осознания сущности происходящего. «Огонь» — роман современный и вечный, который был и останется правдивым благодаря тому, что он — произведение искусства.

Реализм всегда освещал творческий путь Анри Барбюса.

Мы старались показать развитие этого реализма, проследить историю создания «Огня», движение романа к простой и великой правде, которую Барбюс сумел увидеть и понять, мы старались показать сложный путь развития творческой мысли писателя, глубокую взаимосвязь художественной литературы и жизненной правды.

Ф. Наркирьер

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА «ОГОНЬ»

Есть немало писателей, вышедших в мировую литературу одной только книгой. Это Рабле и Сервантес, Дефо и Свифт, Лонгфелло и Бичер Стоу, Фонвизин и Грибоедов, Войнич и Николай Островский. Свое место в этом ряду занимает и Анри Барбюс, автор романа «Огонь».

Перу Барбюса принадлежат романы и рассказы, сборник стихотворений и пьеса, очерки и множество статей. Не все произведения Барбюса выдержали испытание временем. Но миллионы людей во всех уголках земного шара читали и продолжают читать «Огонь».

В августе 1914 г. Барбюс, уже известный к тому времени писатель, пошел в армию добровольно. Подобно многим честным людям, он верил, что демократическая Франция стала жертвой кайзеровской Германии. Барбюс считал, что это война социальная, война против милитаризма и империализма; он выражал надежду, что война будет способствовать торжеству социализма (письмо в редакцию «Юманите» от 9 августа 1914 г.).

Несмотря на плохое здоровье Барбюс добился отправки на фронт. Рядовой 231-го пехотного полка, он принимал участие в кровопролитных боях под Суассоном и в Артуа. Тяжелая болезнь вынудила его сменить винтовку пехотинца на носилки санитаря. Барбюс находился на передовой до ноября 1915 г., когда его назначили писарем штаба армейского корпуса, действовавшего под Верденом. После длительного пребывания в госпиталях в июне 1917 г. Барбюс был демобилизован.

Еще в окопах Барбюс взялся за перо: делал записки, заметки, собирал материал для будущего романа. «Огонь» он начал писать в госпитале в декабре 1915 г. Произведение было создано в течение шести месяцев: в июне 1916 г. Барбюс направил рукопись в газету «Эвр», где она печаталась с августа по ноябрь. В декабре того же года роман вышел отдельной книгой в издательстве Э. Фламариона.

Готовя «Огонь» к печати у Фламариона, Барбюс не ограничился восстановлением снятых в газетном тексте крепких солдатских словечек. В «Эвр» не была опубликована концовка романа. Автор восстановил образ поднимающейся над окопом зари. В газете не было «Видения» — первой главы окончательного текста. Судя по всему, Барбюс переработал для этой главы ранее написанный рассказ «Зрители».

По содержанию «Зрители» мало чем отличаются от «Видения». В обоих случаях речь идет о горном санатории, где больные узнают о начавшейся войне. Но в «Видении» та же ситуация выступает в обобщенной форме. Здесь на первом плане уже не личности больных, а принципы, которые

они утверждают. Принципы эти выражены более определенно и категорично, чем в рассказе.

«Зрители»

Русский качает головой и говорит низким надтреснутым голосом:

— Германия будет побеждена.

— Тем лучше! — отвечает немец. И добавляет: — Счастливы французы, у которых достаточно сил, чтобы сражаться.

— Англия вступила в войну только ради справедливости, — замечает серб.

— Да будет она благословенна! — шепчет австриец (с. 221)

«Видение»

(1-ая редакция, 1916 г.)

Это преступление со стороны Австрии! — говорит австриец.

— Франция должна победить! — говорит англичанин.

— Надеюсь, что Германия будет побеждена, — говорит немец.

Окончательная редакция

Это преступление со стороны Австрии! — говорит австриец.

— Или Англии, — говорит англичанин.

— Надеюсь, что Германия будет побеждена, — говорит немец (с. 5)

Сопоставление этих трех вариантов наглядно показывает, в каком направлении развивалась мысль Барбюса: от осуждения германского империализма — к осуждению империалистов обеих воюющих сторон.

Барбюс подчеркивал, что ценность «Огня» — в «общей направленности» книги (письмо жене от 26 октября 1916 г.). Главное для Барбюса — идея произведения и ее воплощение, смелое, новаторское. Углубляя характеры, меняя композицию, шлифуя стиль, Барбюс ясно отдавал себе отчет в особом характере своего реализма, который он называл «широким, всеобъемлющим» (письмо в редакцию «Монд» от 1 июля 1929 г.).

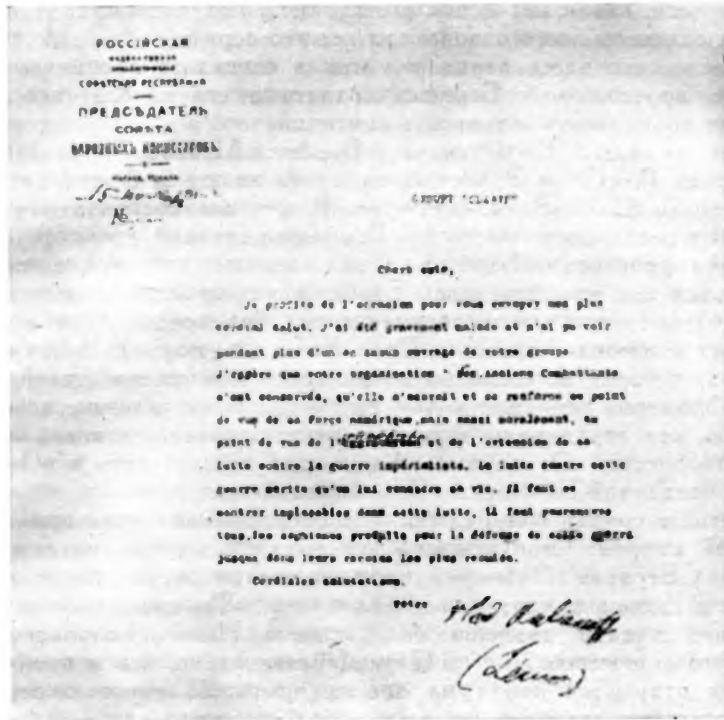
Из воспоминаний Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича мы знаем о том исключительном интересе, который В. И. Ленин проявлял к роману «Огонь». В работе «О задачах III Интернационала (Рамсей Макдональд о III Интернационале)» Ленин писал: «Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания в массах можно признать романы Анри Барбюса: «Le feu» («В огне») и «Clarté» («Ясность»). Первый переведен уже на все языки и распространен во Франции в числе 230 000 экземпляров. Превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво»¹.

Итак, главная заслуга Барбюса состоит в том, что он правдиво, реалистически воспроизвел действительность в революционном изменении, развитии. Какой же конкретный политический смысл вкладывался тогда в эти понятия? В плане статьи В. И. Ленина «О задачах III Интернационала» читаем:

«5. Превращение империалистической войны в гражданскую — «Liebknecht» cf. Barbusse. «Le feu», «Clarté»².

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 106.

² Там же, с. 440.



Письмо В. И. Ленина группе «Кларте»

Теперь становится ясно, почему книга Барбюса была, по словам Крупской, «так созвучна» с «тогдашним настроением» Ленина — ведь языком художественной литературы Барбюс выразил его заветную идею, лозунг русских большевиков, лозунг Карла Либкнехта.

В одной из бесед В. И. Ленина с А. В. Луначарским возник вопрос о переводе «Огня» на русский язык. Луначарский сказал, что роман много потеряет в художественности, но «главное сделать, разумеется, можно — передать всю эту страстную антивоенную зарядку, кошмар фронта, бесстыдство тыла, рост сознания и гнева в груди солдат.

Владимир Ильич был задумчив: «Да, все это передать можно, но прежде всего в художественном произведении важна не эта обнаженная идея! Ведь это можно и просто передать в хорошей статье о книге Барбюса. В художественном произведении важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображенного. Читатель каждым нервом чувствует, что все именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано. Меня у Барбюса это больше всего волнует. Я ведь и раньше знал, что это должно быть приблизительно так, а вот Барбюс мне говорит, что это так и есть. И он все это мне рассказывал с силой

убедительности, какая иначе могла бы у меня получиться, только если бы я сам был солдатом этого взвода, сам все это пережил»³.

Интересно, что здесь ленинская мысль совпадает с оценками романа в письмах, адресованных Барбюсу солдатами его взвода: все они подтверждают правдивость и точность описаний.

Правда о войне... Ее отмечали у Барбюса Максим Горький и Стефан Цвейг, Ромен Роллан и Эрнест Хемингуэй, писатели фронтовики — Раймон Лефевр и Поль Вайян-Кутюрье. В чем же состояла эта правда? Каков был в реальности описанный Барбюсом солдат?

В жизни фронтовика Барбюс уловил главные, типические черты. Они определяются тем, что, по словам Барбюса, человечество переживает ныне «самую большую трагедию современности» (из предисловия к «Солдатской войне» Раймона Лефевра и Поля Вайяна-Кутюрье). Война — это ад. Вот мысль, которая естественно возникает у многих писателей. Но особенно закономерна эта мысль для Барбюса. Тема человеческого страдания и того, как страданиям можно и должно положить конец — главная тема его творчества. От романа «Ад» лежал прямой путь к «Огню»: это две части созданной Барбюсом «Человеческой трагедии».

Драматизм солдатской судьбы — в бесконечных страданиях и почти неизбежной смерти. Гибнут почти все солдаты взвода, которым командует капрал Бертран. Зловещей иронией овевая смерть Бике: вернулось обратно его письмо к матери, где значилось: «Ты думаешь мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности. Ничего подобного! Напротив. Все это кончилось...» (с. 171). Действительно, все кончилось: Бике лежит под открытым небом на дне траншеи. За смертью персонажей, хорошо известных читателю, ставших ему близкими, — гибель безымянной солдатской массы. Трагизм индивидуальной судьбы сливается с трагическим уделом целого народа. Так читатель осознает одну из главных мыслей романа: война — это самоубийство одной огромной армии.

Сам автор рассматривал «Огонь» как «правдивый рассказ об ужасах войны». Подробно описывая мучительную агонию, фиксируя страшное ранение, рисуя обезображенный труп, Барбюс естественно соприкасается с натуралистической традицией. Необходимо было предьявить буржуазному обществу строго документированное обвинительное заключение по делу о кровавом преступлении, совершенном против народа. В «Огне» подробные, порой анатомически точные описания всегда подчинены общей идейно-художественной задаче. Барбюс упрекал эпигонов Золя в том, что они являются «поклонниками деталей, как таковых» («Слова борца»). Писатель-гуманист, Барбюс переосмысляет приемы натуралистической школы. Он всегда видит живого человека, разделяет его радости и горе. Это участие принципиально отделяет роман Барбюса от произведений натуралистов с их «научным» безразличием к человеку. Анатоль Франс справедливо заметил, что в «Огне» «чувствуется присутствие и содрогание страдающего и несчастного человечества»⁴.

³ Луначарский А. В. Собр. соч. М., 1965, т. 6, с. 276—277.

⁴ Ле Гофф М. Анатоль Франс в годы 1914—1924. Л., 1925, с. 39.

По самой своей сути художественный метод Барбюса противостоит натурализму. Меньше всего склонен он механически переносить на страницы романа все зафиксированные в письмах или записных книжках наблюдения. Значительная часть этих наблюдений безжалостно отсекается, остальные приводятся в соответствие с общим замыслом.

Показательно сравнение картины подготовки к бою в письме от 24 сентября 1915 г. и в романе. В письме:

«Выступление назначено на девять часов вечера. С шести часов в нашей роте началась проверка оружия, последние сборы; настоящая театральная декорация: пещера разбойников, которые готовятся при резком свете огоньков, мерцающих над соломой, раскиданной по мокрой, истоптанной земле у разрушенных стен. А во дворе «Фермы немых» раздаются крики, песни. Кто-то говорит мне: «Знаешь, некоторые сейчас плясали прямо на навозе». Все части, которые были сегодня в окопах, более или менее пьяны. Вокруг нас люди размахивали руками, яростно спорили, выкрикивали грубые, глупые шутки — уши вянут! — а в ответ гремел хохот».

В романе детально описываются солдатские сборы во дворе «Фермы немых» (Барбюс сохранил это название). При бледном дрожащем пламени свечей различаешь «мрачное углубление, где какие-то черные фигуры сидят на корточках, лежат или ходят из угла в угол» (с. 107). Они напоминают разбойников, подсчитывающих добычу. Из соседнего сарая доносится грубая брань, пьяные выкрики (глава «Солдатский скарб»). Картина, близкая сделанному в письме наброску. Но вот те же солдаты перед атакой.

«Мы готовы. Солдаты строятся все также молча; они стоят со скатанными через плечо одеялами, подтянув ремешки касок, опираясь на винтовки. Я вглядываюсь в их напряженные, побледневшие, серьезные лица.

Это не солдаты; это люди. Не искатели приключений, не воины, созданные для резни, не мясники, не скот. Это земледельцы или рабочие, их узнаешь даже в форменной одежде. Это штатские, оторванные от своего дела. Они готовы. Они ждут сигнала убийства и смерти; но вглядываясь в их лица, между вертикальными полосами штыков, видишь, что это попросту люди» (глава «Огонь») (с. 150).

При сходстве конкретных описаний, в романе наглядно раскрывается бесчеловечный смысл происходящего. Барбюс не закрывает глаза на естественное огрубение, а порой и озверение человека на войне. Но за внешним, наносным, Барбюс всегда видит истинное, прекрасное. Он не принижает, а прославляет человека. Не того «человека-зверя», которым возгоргался в своих солдатских рассказах Клод Фаррер, а французского простодушина, человека со светлым умом и большим сердцем.

Шовинисты утверждали: на войне французы стали закоренелыми националистами. «Это ложь!» — говорит своим романом Барбюс. Разумеется, были среди фронтовиков люди, которые крепко уверовали в догматы официальной пропаганды. На страницах «Огня» звучат и голоса солдат, настроенных националистически. Один ругает последними сло-

вами Вильгельма II, прославляет Наполеона и восторгается «боевым духом» своего сынишки. Другой твердит: «Надо победить, вот и все!» (с. 209). Но в обоих случаях эти мысли опровергаются самими же солдатами.

«— Цель? А разве победить в этой войне — не цель? — упрямо говорит человек-тумба.

Двое в один голос отвечают ему:

— Нет!» (с. 209).

«Огонь» — свидетельство не только солдатских страданий, но и «пробуждения пролетарского сознания» («Юманите», 29 декабря 1926 г.). Здесь Барбюс решительно расходится с большинством авторов пацифистского толка, которые закрывали глаза на этот важнейший исторический процесс.

Каким был на самом деле французский фронтовик — «комбатан» — в 1916 году? Ответ на этот вопрос мы находим в речи Раймона Лефевра, которая так и называется — «Речь о комбатане 1916 г.»⁵. «По мере того, как исчезают надежды на скорое окончание войны, — говорил Лефевр, — фронтовики все больше думают о революционном выходе». В 1916 году фронтовика терзают тайные сомнения. Он плохо разбирается в причинах этих сомнений и обращается за ответом к вам (речь была произнесена на собрании секции социалистической партии. — Ф. Н.). От вас добывается он правды, как бы она ни была тяжела, лишь бы от нее не несло лицемерным оптимизмом, который по сточным канавам прессы доходит от тех, кто одерживает победы в тылу, до тех, кто складывает головы на фронте».

Из героев «Огня» двое обладают революционной, социалистической сознательностью: рассказчик и капрал Бертран. Но если рассказчик с самого начала бесповоротно осуждает войну («Я тоже всегда так думал» (с. 160), — отвечает он на признание Бертрана), то Бертран проходит путь стремительной эволюции. В начале романа это честный «оборонец», полагающий, что первейшая задача состоит в том, чтобы прогнать немцев с французской земли. В дальнейшем он выступает как интернационалист, отвергающий войну с позиций Либкнехта. Обращение к Либкнехту было в те времена делом принципиальной важности: идти за Либкнехтом значило идти за Лениным. На этот путь встал сам Барбюс, на этот путь вывел он и своих персонажей.

Основная масса фронтовиков рисуется поначалу в состоянии жертвенной покорности. Но постепенно в груди солдат нарастает «Великий гнев» (так называется одна из глав книги). Гнев против окопавшихся в тылу буржуа, гнев против «королей золота», гнев против священников, гнев против тех, кто войну прославляет. В «Огне», естественно, не описаны солдатские восстания — они были впереди, но мы отчетливо видим ту почву, на которой они возникли. Из рассказа Потерло (глава «Портик») мы узнаем о братании с немцами, о том, что «боши» помогли ему повидать семью, с которой его разлучила война. Финал романа — глава

⁵ «Clarté», 1929, 15 décembre, N 49, p. 1—3.

«Заря»: в залитых водой окопах, где не отличишь француза от немца, где вчерашние противники протягивают друг другу руки, солдаты приходят к главному, решающему выводу:

«— Неужто после войны придется еще воевать?»

— Да, может быть. . .

— А ты хочешь опять драться?

— Да, потому что я больше не хочу войны, — ворчит кто-то.

— И придется драться, может быть, не с иностранцами?

— Да, может быть. . .» (с. 210).

Если вспомнить документальные свидетельства о настроениях, постепенно захватывающих французскую армию, станет ясно: в обобщенной форме Барбюс передал подлинные разговоры солдат, их волю превратить войну империалистическую в войну гражданскую.

В финале романа солдаты живут надеждой на пролетарскую революцию. В главе «Заря» ведется прямой спор с принципами буржуазной демократии, провозглашенными французской революцией XVIII в. Отвергается утративший свое содержание лозунг «Свободы, равенства, братства» и утверждается принцип равенства подлинного, социального. Только на этой основе и возможен дальнейший прогресс человечества. Так раскрывается символическое значение финала: над полями сражений занимается заря социалистической революции.

Барбюс подчеркивал, что в «Огне» он стремился выразить «прежде всего, точку зрения простого солдата» («Слова борца»). Простого солдата, но какого? По ходу развития действия точка зрения забитой и покорной ранее солдатской массы все более тесно сближается с точкой зрения рассказчика и, наконец, совпадает с нею. «Огонь» написан с точки зрения народа, начинающего познавать правду революции.

Наряду с ростом революционного сознания, Барбюс запечатлел и другую важную сторону солдатского бытия: присущие массе фронтовиков тех лет черты пассивности. Трагедия французского солдата заключалась не только в том, что его посылали на убой, но и в том, что он давал себя убивать и — более того — участвовал в расправе над теми, кто выступая против войны, боролся за его собственную жизнь. В прощальном выступлении в Нью-Йорке (1933) Барбюс вспомнил эпизод времен мировой войны: расстрел отставшего от своей части и приговоренного к смерти солдата. «В этом эпизоде, тысячи раз повторявшемся в те годы, — сказал Барбюс, — проявились, как мне показалось, две одинаково трагические стороны империалистической войны: беспощадное и бессмысленное систематическое уничтожение человеческих жизней и пассивное рабское послушание людей, стреляющих в своих товарищей».

Эти черты пассивности запечатлены и в солдатском фольклоре («Сетованием на горестную пассивность фронтовика» назвал Раймон Лефевр «Песню Лорет») и в художественной прозе — в «Солдатской войне» Лефевра и Вайяна-Кутюрье, в «Солдате Клавеле» Леона Верта. Проблема активного действия остается неразрешенной и в «Огне». Герои Барбюса приходят к революционным выводам. Но им не дано воплотить их

в жизнь. Вот как заканчивается разговор Бертрана с рассказчиком о Либкнехте.

«Мы переглянулись чуть удивленно и задумались. После долгого молчания Бертран сказал:

— Ну, пора за работу! Бери винтовку, идем!» (с. 160).

Бертран снова ведет солдат в бой, где ему самому суждено погибнуть. В этом эпизоде с особой силой выступает трагический разрыв мысли и действия, присущий персонажам Барбюса тех лет. Объясняется он не только и не столько цензурными рогатками: дело было прежде всего в правдивом отражении складывавшейся во Франции обстановки, когда революционная ситуация не разрешилась революцией.

Одно из новаторских завоеваний Барбюса в «Огне» заключается в изображении психологии революционно настроенной массы.

Для французской литературы XIX в. была характерна необычайно тщательная разработка психологии индивида: отщепенца-бунтаря Жюльена Сореля и преуспевающего хищника Жоржа Дюруа, безгрешной Евгении Гранде и мятущейся Эммы Бовари. Отмеченное Горьким мастерство Бальзака в описании застольной беседы в «Шагреновой коже» говорит о великолепном умении живописать и коллективный портрет буржуа. Сложнее обстояло дело с разработкой психологии народного коллектива. После романтических картин мятежного народа у Гюго следует выделить принципиальное новаторство Золя, поставившего коллектив в центр некоторых своих романов. В шестивинном повестившем в «Карьере Ругонов», в походе забастовщиков по шахтам в «Жерминале» Золя удалось запечатлеть психологию революционно настроенной толпы. Правда, Золя рисовал психологию толпы только в отдельные, наиболее острые моменты, причем изображал ее зачастую в состоянии дикости, озверения. Эта тенденция получила особенно наглядное воплощение в произведениях писателей меданской группы, последовательно развивавших натуралистические принципы. Так, Мопассан писал об Эннике, авторе новеллы «Дело большой семерки», вошедшей в сборник «Меданские вечера»: «Он еще раз показал, что люди, нередко сознательные и разумные каждый в отдельности, неизбежно звереют, собравшись вместе: это можно назвать опьянением толпы»⁶.

Жизнь народа выдвигается на первый план в творчестве ряда демократических авторов конца XIX в. В предисловии к роману Жана Ломбара «Византия» (1891) П. Маргерит подчеркнул, что автор «вызывает к жизни большие людские массы и управляет ими с поразительной легкостью»⁷. Но даже у писателей демократического лагеря народный коллектив предстает порой как жестокая и слепая сила (например, в романе Ж. Рони старшего «Красная волна», 1909).

На рубеже XX в. Ромен Роллан сделал смелую попытку приблизить французский театр к народу. В программной работе «Народ и театр» Роллан подчеркивал: благодаря успеху социалистических идей, массы при-

⁶ Письмо в газету «Голуа», 1880.

⁷ Ломбар Ж. Византия. СПб., 1912, с. 15.

обретают все большее значение в искусстве. Новаторские принципы Роллана нашли воплощение в его «Театре революции» и, в первую очередь, в драме «14 июля». В пьесе великолепно передан революционный порыв толпы, идущей на штурм Бастилии. Но, как отмечается в авторском предисловии, «здесь отдельные личности растворяются в народном океане»⁸. В драме нет индивидуализированных образов участников революции, а фигурирует собирательный образ «народа».

Только безликое целое усмотрели в коллективе унанимисты. Основной принцип унанимистов — рисовать единую душу толпы — сам по себе исключал возможность индивидуализации. Коллектив мыслился ими как случайное объединение людей вне социальных категорий. Достаточно вспомнить персонажей ранних вещей Жюль Ромена: обитателей «Возрожденного городка» (1908) или жильцов большого дома, осознавших свое единство после смерти одного из квартирантов («Чья-то смерть», 1911). Новаторство унанимистов было ложным: за толпой они не увидели народа.

Сила Барбюса состояла в том, что к решению стоявшей перед французской литературой задачи он подошел с новых идейных и эстетических позиций. Основным предметом искусства он считал коллектив. «Драматический интерес не в обрисовке частных случаев или чисто индивидуальных реакций, а в появлении на сцене коллектива: масса, множество — не есть теперь обширный резервуар, откуда вылавливают отдельные формы, сцены или изолированные острые события, которые в лучшем случае охватывают несколько персонажей, масса — это единая сила, играющая роль вся сразу, во всей своей значимости и во всем своем объеме. Это обстоятельство открывает новые пути и перспективы в истории искусства»⁹.

Как видно, к изображению психологии массы в литературе обращались и до Барбюса. Художественное открытие Барбюса состояло в том, что он был первым во Франции романистом, решившим конкретно-исторически задачу воспроизведения психологии коллектива в революционном развитии.

В «Видении», в первой главе романа «Огонь», один из собеседников, один из этих умных, образованных людей, «умудренных страданием и раздумьем», говорит: «Бьются две армии: это кончает самоубийством единая огромная армия». В «Заре» — последней главе романа — ту же мысль высказывает рядовой солдат. Братоубийственной войне народы должны собственными силами положить конец. Мысль, бывшая достоянием единиц, становится уделом массы и превращается в большую революционную силу.

Масса выступает в диалектическом единстве частного и общего. Тщательно прослеживаются индивидуальные судьбы людей: в каждом из

⁸ Роллан Р. Собр. соч.: В 14 т. М., 1954, т. 1, с. 31.

⁹ Предисловие к книге К. Державина «Русская литература — зеркало революции», подготавливавшейся к печати в 1927 г. аргентинским издательством «Claridad». — «Научный бюллетень», ЛГУ, 1947, № 14—15, с. 5.

них — за внешним огрубением — Барбюс показывает человека. Над всеми персонажами возвышается благородная фигура капрала Бертрана, носителя революционной идеи, самого человеческого и самого передового из всех фронтовиков. Особое место занимает в романе рассказчик, который, будучи рядовым солдатом, видит дальше своих товарищей, разделяет взгляды Бертрана. Рассказчик — связующее звено между читателем и солдатами.

От личности Барбюс идет к коллективу. Тогда на первый план выступает сходство людей, составляющих массу. «Да, правда, все мы разные. И все-таки мы друг на друга похожи. Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас, мы в общих чертах одинаковы» (с. 15). Солдатская масса описывается в романе и со стороны и главным образом «изнутри». Это достигается особой ролью рассказчика в повествовании. Когда рассказчик смотрит на солдат со стороны, он говорит «они». Когда же он оказывается рядовым участником событий, он говорит «мы». «Мы» и «они» выступают на страницах романа в органическом единстве. «Стон вырывается из груди солдат; они плетутся длинной вереницей по этим трещинам, прорытым в земле, несут винтовки, лопаты или кирки под беспросветным, бесконечным ливнем. Мы идем, мы все идем. От усталости мы опьянели; нас бросает во все стороны; мы отяжелели, промокли, мы ударяемся плечом о земляные стенки, мокрые, как и мы сами» (с. 192—193).

По ходу романа, по мере того как революционные идеи овладевают массой и взгляды рассказчика и других солдат все больше и больше сближаются, повествование от третьего лица отступает перед повествованием от первого лица множественного числа.

Одной из распространенных форм передачи психологии героя в современном романе является внутренний монолог. В «Огне» Барбюс мало пользуется внутренним монологом в обычном понимании. Здесь, в частности, сказывается изменение художественной манеры писателя. Вспомним довоенный роман Барбюса «Ад» (1908), представляющий собой, по сути дела, огромный внутренний монолог. В «Огне» внутренний монолог, не собственно прямая речь становятся средством выражения психологии, размышлений, хода мыслей коллектива, неотъемлемую часть которого составляет рассказчик.

«Мы продвигаемся мелкими шажками. В одном месте мы сворачиваем в сторону — нас привлекает страшное зрелище: две фигуры странно перепелись; они стоят плечом к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и уже не могут отпустить друг друга? Нет, они оперлись друг о друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю, которая уходила у них из-под ног и собиралась накрыть их; они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колено, заснули.

Не нарушая их покоя, мы уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви» (с. 203).

Барбюс редко прибегает к диалогу, обычному приему традиционного

психологического романа. Он пользуется сложным полифоническим построением, поочередно представляя слово своим многочисленным героям.

Вот характерный отрывок из последней главы романа. Обращаясь к товарищам, рассказчик говорит, что новое общество будет построено на принципе подлинного равенства:

«Равенство — великая формула людей!» (с. 211).

Мысль передается другим, ее подхватывает весь коллектив.

«Предвидя еще неведомую им Революцию, которая превзойдет предыдущую, все эти люди из народа начинают понимать, что они сами являются ее источником, и нужное слово поднимается, поднимается к их горлу: — Равенство! . . .»

Затем автор предоставляет слово отдельным персонажам. Сначала идея равенства выступает как прекрасная, но отдаленная мечта.

«Это было бы прекрасно! — восклицает один.

Мысль наталкивается на возражение.

«Это слишком прекрасно и потому несбыточно! — говорит другой» (с. 212).

Возражение, сделанное одним, сразу же опровергается многими; сначала соображениями умозрительного порядка, далее — и это главное — уже начавшейся практической борьбой народов за осуществление своей мечты, которая выступает теперь как близкая реальность.

«Но третий возражает:

— Это прекрасно потому, что это — истина. Но это сбудется не потому, что это прекрасно. Красота не в ходу, как и любовь. Это неизбежно, потому что это — истина.

— Что же, раз народы хотят справедливости и раз народы — сила, пусть же они установят царство справедливости.

— За это уже принялись! — говорит кто-то.

— Дело не за горами, — возвещает другой.

— Когда все люди станут равными, им придется объединиться.

— И тридцать миллионов людей больше не будут совершать против собственной воли чудовищные преступления». (с. 212)

Итог спору подводит рассказчик: высказанная им идея не только конкретизировалась, получила реальные очертания, но и обогатилась мыслью массы. Тем самым она приобрела неотразимую силу.

«Это правда. Тут нечего возразить. Какой мнимый довод, какой призрачный ответ осмелятся противопоставить словам: «И тридцать миллионов людей больше не будут совершать, против собственной воли, чудовищные преступления?»

Я слушаю, слежу за развитием мысли (курсив мой. — Ф. Н.) этих людей, заброшенных на поля скорби; эти слова исторгнуты мукой, болью, они кровоточат» (с. 212).

Подобно рассказчику, читатель получил возможность проследить «за развитием мысли» солдатской массы.

Так же как индивидуальные судьбы рядовых бойцов составляют историю взвода, так и психология коллектива складывается из психологии отдельных солдат. Но сумма эта не механическая. В каждый определен-

ный момент звучат голоса только тех персонажей, которые нужны писателю для решения конкретной художественной задачи. Это либо подробно охарактеризованные солдаты взвода, которым командует Бертран, либо эпизодические, бегло очерченные персонажи. Наконец, раздаются голоса безымянных пехотинцев. Постепенный переход от известных читателю героев к неизвестным и создает впечатление массы. По ходу романа роль безымянной массы все возрастает. Это объясняется и тем, что все большее количество солдат начинает разбираться в происходящем, и тем, что в боях сам взвод непрерывно убывает. Голоса отдельных солдат сливаются в мощный хор, провозглашающий: «Довольно войн! Довольно войн!».

Изображение солдатской массы как главного героя романа и то знаменательное обстоятельство, что события мировой войны показаны с демократической точки зрения, определяет народность романа. «Если в „Огне“ я мало говорю об офицерах, — заявил Барбюс в статье „Ответ моим клеветникам“, — так это потому, что моя книга стремится представить прежде всего точку зрения простого солдата». Повествование ведется от имени одного из солдат взвода. Рассказчик — участник и свидетель всего происходящего; солдаты делятся с ним своими мыслями, переживаниями. Рядовой солдат, он по общему уровню стоит выше других фронтовиков. Разделяя взгляды массы, рассказчик дальновиднее товарищей по оружию. Высказываемая автором оценка происходящих событий сообщает роману публицистическую окраску. Публицистика органически включается в художественную ткань произведения. Обращаясь к солдатской массе, Барбюс широко пользуется приемами ораторского искусства.

Публицистический элемент, присущий всему роману, проявляется с особой силой в первой и последней главах — «Видение» и «Заря». Здесь автор говорит от своего имени, во весь голос. Общие положения, высказанные в «Видении», по ходу действия подкрепляются живым конкретным содержанием, чтобы мажорно прозвучать в «Заре». «Кульминационный пункт произведения, — отмечал Ромен Роллан, — его последняя глава: «Заря». Это как бы эпилог, замысел которого повторяет идею пролога — «Видение» — и расширяет, подобно тому как в симфонии тема, возвещенная с самого начала, формируется во всей своей полноте лишь в финале»¹⁰.

Читая «Огонь», мы все время чувствуем, что эта трагическая книга обращена в будущее. Достигается это различными средствами: в том числе, совершенно особыми приемами воспроизведения времени. Место действия романа определить не трудно: Барбюс называет подлинные, те же, что и в письмах жене места боев в Артуа-Суше, Альбен Сен-Назер, недоброй памяти плато Лорет... Сложнее установить время действия: ни одной даты автор не указывает. Так осуществляется своего рода «отрыв» от конкретных обстоятельств, положенных в основу повествования: тем самым они приобретают обобщенный смысл. Время в «Огне» — абстракт-

¹⁰ Роллан Р. «Огонь» Анри Барбюса. — Собр. соч.: В 14 томах. М., 1958, т. 14, с. 364.

ное¹¹. И нельзя согласиться с Пьером Дэксом, утверждавшим, что само понятие времени в романе отсутствует¹². У нас имеется одна отправная точка: на последней странице книги есть точная дата — декабрь 1915 г. Обычно подобная дата обозначает время завершения книги. Здесь же указано начало работы. Но это и время, когда начинается действие романа.

В романе «Огонь» получило свое отражение общее движение французской литературы XX в. к синтетическим формам воспроизведения действительности. Попыткам синтеза на идеалистической основе в духе Пруста Барбюс противопоставляет синтез на основе точного воспроизведения жизненных фактов. Пересматривая каноническую форму романа, писатель не ограничивался новшествами формального характера (отказ от привычных сюжетных схем и т. д.); он стремился к расширению рамок эпического повествования. Барбюс рассматривал роман как «прозаическую форму античной эпической поэмы» («Золя»), как форму синкретическую. В «Огне» ему удалось органически включить в эпическое повествование публицистику и элементы драмы. Трагизм солдатской судьбы выступает в естественном соединении невероятного, ужасного с обыденным, прозаическим, ибо противоестественное стремление к убийству стало нормой фронтовой жизни. Трагедия войны складывается из отдельных, ежедневно, ежечасно, ежеминутно повторяющихся драм. Отсюда — построение многих глав (например, «Спички») как драматических новелл с завязкой, кульминацией действия и развязкой.

Своеобразна композиция книги. Органически единая, она состоит из глав, посвященных отдельным солдатам («Отпуск» — новелла об Эдоре, «Портик» — о Потерло, «Идиллия» — о Паради и т. д.). Цельность повествования обеспечивается тем, что центральный персонаж каждой главы изображается в тесной связи с другими, теми, кто в свое время тоже выступит на первый план. Рассказы об отдельных солдатах перемежаются с главами, где действует весь взвод («В земле», «Огонь» и др.). Эти главы, так же как пролог и эпилог романа («Видение» и «Заря»), усиливают композиционное единство книги.

В стиле «Огня» отчетливо выступают две тенденции, связанные с тем, что, как отмечалось выше, рассказчик смотрит на мир то глазами рядового, то рисует солдатскую жизнь со стороны. Во втором случае Барбюс использует тропы обобщающе-оценочного характера, пользуется образами, связанными с литературной традицией (так, в «Заре» солдаты названы сирано де бержераками и дон-кихотами). Но обычно Барбюс обращается

¹¹ Ссылки на чередование времен года могут привести к ошибочному выводу, что действие романа охватывает около двух лет. На самом деле события даются не в строгой хронологической последовательности: так действие второй главы происходит зимой, шестой — осенью. Тем самым создается впечатление, что время остановилось, и читателю передается присущее фронтовикам ощущение бесконечности войны. Реально же Барбюс описывает сравнительно короткий промежуток времени: в двадцатой главе («Огонь») отмечается, что события, описанные в пятой главе («Пристанище»), происходили «недавно».

¹² «Les Lettres Françaises», 1960, 30 juin—6 juillet.

к образам, которые естественно возникают в сознании фронтовика. Для стиля «Огня» характерны сравнения такого рода: «на солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Парадиса»; «с вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты»; «витрины ювелиров сверкают, как генеральские мундиры».

Новаторским был язык «Огня». Одним из важнейших компонентов в создании собирательного образа народа на войне является верная передача солдатской речи. Это — «речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, словообразованиями...» «В „Огне“ солдаты изъясняются на военном жаргоне, в котором широко используются казарменные выражения, своеобразно переосмысленные слова общенационального языка («ficelle» — нашивка), провинциализмы (провансализм «gniole» — водка), заимствования из иностранных языков, выражения воровского аргота («dominos» — зубы)». Употребление грубых слов в романе Барбюс объяснял необходимостью соблюдать правду.

Многоплановость в использовании языковых средств достигается тем, что само повествование ведется с соблюдением норм литературного языка. Но необычайно широкое обращение к формам устной народной речи имело принципиальное значение. По словам Жана Фревила, Барбюс «разрушил перегородку, возведенную между литературой и народом»¹³.

В «Огне» Барбюс продолжает традиции Золя, поставившего в центр такого романа, как «Разгром», народный коллектив. В чем-то Барбюс пошел дальше своего учителя. Интересное тому свидетельство — письмо Раймона Лефевра Барбюсу:

«Я только что от Анатоля Франса. Он долго говорил об „Огне“, который относит к наиболее значительным произведениям французской литературы и ставит несравненно выше всего, что создали в эпическом жанре Гюго и Золя».

В беседе с Жаном Фревилем Морис Торез справедливо заметил, что Барбюс, «отправляясь от старого натурализма», пришел к «высшей форме реализма, где вся действительность схвачена в ее развитии»¹⁴.

Опубликование «Огня» стало событием в литературной жизни Франции. Успех романа превзошел все ожидания. За исключением отъявленных реакционеров типа Шарля Моррасса и Леона Доде¹⁵, Барбюса восторженно приветствовал цвет французских писателей — Анатоль Франс и Ромен Роллан, Поль и Виктор Маргерит, Рони-старший и Леон Энник, Эдмон Ростан и Поль Фор. В 1916 году «Огонь» был удостоен Гонкуровской премии за 1914 г.

¹³ Duclos J., Fréville J. Henri Barbusse. P., 1946, p. 42.

¹⁴ Fréville J. Avec Maurice Thorez. P., 1950, p. 38.

¹⁵ В беседе Леона Доде с Максом Фишером, главным редактором издательства Фламарион, зашла речь о присуждении Барбюсу Гонкуровской премии. Доде бросил «Огонь» на стол Фишера и сказал: «Разумеется, я буду голосовать против, но это прекрасная книга» (из выступления Аннеты Видаль в Институте мировой литературы им. А. М. Горького 3 января 1960 г.).

«Огонь» относится к тем книгам, которые оставили глубокий след в сознании современников. Говоря об общественной роли прогрессивной французской литературы, Морис Торез сослался на пример Барбюса: «Не оказал ли „Огонь“ решающее влияние на миллионы людей, ослепленных шовинистической ложью, обманутых официальной пропагандой, брошенных в бойню II Интернационалом?»¹⁶

Шли годы, десятилетия. «Огонь» выдержал испытание временем. И в каждой новой общественной ситуации роман раскрывался с новой стороны, соответствующей историческому моменту. Так, в 1935 г. — в год смерти писателя — Максим Горький дополнил свое предисловие 1919 г. к «Огню» важными словами об антифашистском значении романа Барбюса. «Его книга — одна из первых, которые за пятнадцать лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первейших своих основоположников»¹⁷.

В 1961 г., в самый разгар колониальной войны в Алжире, Жак Дюкло писал в предисловии к русскому изданию книги Аннеты Видаль «Анри Барбюс — солдат мира»: «Как и все великие творения, это произведение Анри Барбюса и по сей день не утратило своего воздействия. Юноши, отбывающие службу в Алжире, и те, что оттуда вернулись, находят в «Огне» осуждение войны и основания для надежды, к которым они не могут отнестись безразлично»¹⁸.

В 1965 г. автор этих строк провел среди французских писателей анкету о значении романа «Огонь» в прошлом и настоящем¹⁹.

Все участники анкеты сошлись в оценке важной роли, которую «Огонь» сыграл в годы Первой мировой войны. «Впервые я прочитал „Огонь“, — вспоминает Пьер Параф, — в октябре 1916 г., когда роман печатался подвалами в газете „Эвр“. Дело было в госпитале, куда меня эвакуировали из окопов. С первых же строк я испытал подлинное озарение. Я дал газету своим раненым товарищам, и она переходила из рук в руки. „Наконец-то, — думали мы, — среди нас нашелся человек, который решился сказать правду“. Прислушаемся к голосу Андре Моруа: «Вы правы, восхищаясь „Огнем“ Барбюса: это самая правдивая и самая значительная книга о войне. Барбюса упрекали за то, что он сделал акцент на ее ужасах, но, увы, ужасы эти были совершенно реальными».

Что касается значения романа для нашей современности, мнения писателей, очень разных, в основных вопросах сошлись. Пьер Гаскар подчеркнул общественную роль книги: «Огонь» имел бесспорно большое влияние, но сказалось оно не в области литературы. «Огонь» наложил отпечаток на умы, пробудил у многих французов (если оставаться в пределах Франции) общественное сознание». Пьер Параф говорит: «Ничто

¹⁶ Fréville J. Avec Maurice Thorez, p. 41.

¹⁷ Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953, т. 24, с. 201.

¹⁸ Дюкло Ж. — Я прочел рукопись этой книги, находясь в тюрьме. — В кн.: Видаль А. Анри Барбюс — солдат мира. М., 1962, с. 5.

¹⁹ См.: Иностранная литература, 1956, № 8, с. 236—238.

за истекшие полвека не умалило величия, оригинальности „Огня“. Голос Барбюса раздается с прежней силой, вещая о страданиях солдат и призывая мир к миру». Сходной точки зрения придерживается Пьер Гамарра: «Роман прочно вписывается в историю и вместе с тем раскрывается как произведение, сохраняющее свою актуальность и поныне». Из писателей, которые не прошли мимо опыта Барбюса, Гамарра называет Армана Лану и Робера Мерля. Эти же имена называет в своем ответе и Пьер Абраам.

В связи со столетием со дня рождения автора «Огня» поднялась новая волна интереса к Барбюсу. В Париже, в Люксембургском дворце состоялся международный симпозиум с участием французских, советских, немецких, польских, чешских, болгарских, венгерских, румынских, югославских, швейцарских, португальских, американских, канадских общественных деятелей, литературоведов, писателей.

17 мая 1973 г. Кладбище Пер Лашез. Неподалеку от Стены коммунаров высокий памятник розового уральского гранита с отлитым в бронзе профилем. Парижане и зарубежные гости пришли сюда, чтобы почтить память Анри Барбюса. Минута молчания. Над усыпанной цветами могилкой склонились знамена. Это знамена Республиканской ассоциации бывших участников войны, председателем которой был Барбюс. Церемония, исполненная глубокого исторического смысла. Те, кто прошли сквозь огонь двух мировых войн, дают молчаливую клятву: не допустить новой, еще более разрушительной, еще более страшной войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОГОНЬ (с. 5)

(Le Feu)

Впервые — с цензурными и редакционными сокращениями в газете «Эвр» с 3 августа по 9 ноября 1916 г.

Первое полное отдельное издание — 15 декабря 1916 г. в издательстве «Фламарион» тиражом 1000 экземпляров. Роман имел большой успех и пользовался огромной популярностью. 15 декабря 1916 г. ему была присуждена Гонкуровская премия 1914 г. К февралю 1917 г. общий тираж изданий «Огня» достиг 50 000 экземпляров, к июню 1918 г. — 200 000 экземпляров. Первое русское издание — «В огне (Дневник одного взвода)». Пг., 1919 (с предисловием М. Горького). Затем «Огонь» неоднократно издавался на русском языке (см.: *Паевская А. В.* Анри Барбюс. Библиографический указатель. М., 1964, с. 93—94).

- ¹ ... павших рядом со мной под Круи... — Подробное описание боя под Круи (8—15 января 1915 г.) см. в письме к жене от 26 января 1915 г. (Письма I, 22).
- ² ... столп огненный и столп облачный... — Исход, 13, 21.
- ³ ... это было у Вими... — Вими — местечко на северо-востоке Франции, недалеко от города Арраса, где в 1915 г. шли ожесточенные бои.
- ⁴ ... бледному лицу апаша. — Апаш (франц. apache, искаженное название индейского племени апачей) — деклассированный элемент, хулиган, вор.
- ⁵ Они с меня смеются, потому что я из Морвана... — Морван — горная область в центре Франции, на северо-востоке Центрального массива; жители горных селений говорят на диалекте.
- ⁶ Среди нас нет людей свободных профессий. — Свободными профессиями называются профессии интеллектуального характера, которыми владеют люди, не состоящие на службе (адвокаты, врачи, архитекторы и т. д.).
- ⁷ Брат марист... — монах конгрегации Девы Марии, многие члены которой в годы войны были на фронте санитарями.
- ⁸ Он становится на стрелковую ступень... — Стрелковая ступень, или банкет — приступок, постройка за бруствером (насыпью окопа) для производства ружейной стрельбы.
- ⁹ Северный вокзал — вокзал в Париже.
- ¹⁰ Настоящие «пуалю»! — «Пуалю» (от франц. «poilu» — храбрец) — так называли себя солдаты, сражавшиеся на фронтах Первой мировой войны.
- ¹¹ Кронпринц рехнулся... Вильгельм умрет сегодня вечером... — Австрийский эрцгерцог, наследник престола Франц-Фердинанд был убит 28 июня 1914 г. в городе Сараево членом сербской националистической организации, что и послужило поводом к началу Первой мировой войны. Вильгельм II (1859—1941) — германский император в 1888—1918 гг., один из инициаторов развязывания мировой войны.
- ¹² ... составляют партию в «манилью» — «Манилья» — карточная игра, напоминающая русскую «девятку».
- ¹³ Пантеон — архитектурный памятник в Париже, строившийся в 1764—1812 гг., место захоронения великих людей Франции.
- ¹⁴ Марокканцы! — Марокко в 1912—1925 гг. было французским протекторатом, и марокканские части сражались в составе французских войск.
- ¹⁵ ... ее разрушил «чемодан». — «Чемодан» (военный жаргон) — тяжелый снаряд.
- ¹⁶ Самокатчики — название велосипедных частей во время Первой мировой войны.
- ¹⁷ ... он напоминает злосчастного нелепого циклопа, который бродил... осмелянный... девушкой-ребенком. — Барбюс имеет в виду античный миф о пастухе циклопе Полифеме, влюбленном в нимфу Галатею (см.: Феокрит. Идиллия XI).

- ¹⁸ ... по закону Дальбьеза... — Имеется в виду закон, принятый 17 августа 1915 г. по предложению депутата-радикала Виктора Антуана Дальбьеза (1876—1954), выступившего за то, чтобы ограничить воинский набор 1916 г., в то время как военное министерство предполагало призвать целиком наборы 1916 и 1917 гг.
- ¹⁹ ... полк территориальной пехоты... — Имеется в виду полк, входящий в территориальные войска, т. е. войсковые соединения и части вооруженных сил государства, постоянные кадры которых не превышают 16—20 % штатов военного времени.
- ²⁰ ... люди в коммунах скажут... — Коммуна — низовая административная единица во Франции, управляемая мэром и муниципальным советом.
- ²¹ «Таубе» (от нем. Taube — голубь) — марка немецких военных аэропланов; целлюлины — военные дирижабли.
- ²² ... вроде камбалы «Маргерит»... — каламбур, обыгрывающий название рыбного блюда, подаваемого в ресторане «Маргерит».
- ²³ ... порхал с фэйфоклока до зари. — Фэйфоклок (англ. five-o'clock) — послеобеденное чаепитие.
- ²⁴ Мильран Этьен Александр (1859—1943) — французский государственный деятель, военный министр в 1912—1913, 1914—1915 гг.
- ²⁵ Верден — город на северо-востоке Франции, место жестоких боев в ходе Марнского сражения (5—12 сентября 1914 г.), когда англо-французские войска под командованием генерала Жоффра остановили германские войска на реке Марна между Парижем и Верденом и вынудили их отступить. Ожесточенные бои развернулись в районе Вердена также во время Верденской операции (21 февраля—21 декабря 1916 г.), когда германские войска безуспешно пытались прорвать французский фронт.
- ²⁶ В первой дарданельской экспедиции... — Имеется в виду высадка в феврале 1915 г. англо-французских десантных войска при поддержке флота на полуострове Галлипольском с целью захвата Дарданелл и Стамбула; экспедиция успеха не имела.
- ²⁷ Эро — департамент на юге Франции, в районе Лангедок—Руссильон; Сет — порт на берегу Лионского залива Средиземного моря и озера То, в департаменте Эро.
- ²⁸ Южный, или Лангедокский, канал — канал, соединяющий Гаронну со Средиземным морем (идет от Тулузы к озеру То).
- ²⁹ Безье — город в департаменте Эро, на берегу Южного канала.
- ³⁰ Суше — деревня на севере Франции (департамент Па-де-Кале).
- ³¹ ... на Бетюнскую дорогу... — Бетюн — город к северу от Арраса, на берегу канала Эр-ла-Басс.
- ³² ... «колбаса» ... в небе... — «Колбаса» (военный жаргон) — аэростат удлиненной формы (ср. письмо жене от 12 мая 1915 г. — Письма I, 65).
- ³³ Мы эльвасы... из Международного хода. — Эльвас — историческая провинция на востоке Франции, в X—XVII вв. входила в состав «Священной Римской империи», с 1697 г. принадлежала Франции; в 1871 г. после франко-прусской войны большая ее часть была отторгнута Германией; по Версальскому мирному договору 1919 г. возвращена Франции. ☉ Международном ходе см. с. 127.
- ³⁴ «Авиастрела» — металлическая оперенная стрела, которая сбрасывалась с аэропланов для поражения наземных целей; сброшенная с большой высоты, могла пронзить всадника вместе с конем.
- ³⁵ «Ол-ред» — искаж. англ. all-right — очень хорошо.
- ³⁶ Это система «И» — см. с. 294.
- ³⁷ ... стопятидесятимиллиметровки Римальо... — пушки, названные по имени их изобретателя, французского инженера Эмиля Римальо (1864—1954).
- ³⁸ ... нас угощали... «великанами»: триста восемьдесят, четыреста двадцать, четыреста сорок. — Имеется в виду калибр артиллерийских орудий в миллиметрах.
- ³⁹ ... мы... не знаем... сравнить ли их с подвигами героев Плутарха и Корнеля или с подвигами апашей... — Капрал Бертран говорит о возможности двойственной оценки действий солдата на данной войне — можно сравнивать современных солдат с героями античности, действующими в «Жизнеописаниях» древнегреческого философа Плутарха Херонейского (ок. 46—ок. 127) или в классицистических трагедиях французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684), но можно и увидеть в этих солдатах хулиганов и садистов, убивающих себе подобных.
- ⁴⁰ Либкнехт Карл (1871—1919) — деятель немецкого и международного коммунистического движения, с 1900 г. член социал-демократической партии; принадлежал к ее

лево-радикальному крылу. В 1912—1916 гг. — член рейхстага, где 2 декабря 1914 г. один голосовал против военных кредитов. В 1915 г. призван и отправлен на фронт, но и там продолжал выступать за превращение империалистической войны в гражданскую и за свержение правительства, ведущего империалистическую войну, за что в 1916 г. был осужден на каторгу; убит контрреволюционерами.

- ⁴¹ ... «ячейки зуавов». — Зуавы — части легкой пехоты во французских колониальных войсках, комплектовавшиеся главным образом из жителей Северной Африки и добровольцев-французов.
- ⁴² ... альпийский стрелок... — солдат горных войск во французской армии.
- ⁴³ «Двор чудес» — квартал нищих бродяг и воров в средневековом Париже (см. его описание в романе В. Гюго «Собор парижской богоматери», ч. II, гл. II).
- ⁴⁴ «Там, наверху, можно выпить» — солдатская песенка, мотив которой возвещал начало атаки.
- ⁴⁵ Ла-Вийет — район в Париже, где расположены скотобойни и мясные рынки.
- ⁴⁶ Стикс — в греческой мифологии река в царстве мертвых.
- ⁴⁷ ... как Сирано де Бержераки и Дон Кихоты... — Имеются в виду герои героической комедии Э. Ростана (1897) и романа М. Сервантеса (ч. 1 — 1605, ч. 2 — 1615), благородные мечтатели, плохо приспособленные к реальной жизни.

ЗРИТЕЛИ (с. 217)

(Les Spectateurs)

«Зрителю» — первая, не публиковавшаяся при жизни Барбюса редакция вступительной главы «Огня». Перевод выполнен по первой публикации в кн.: *Barbusse H. Le Feu. Préface de Léon Moustinac. Avec la variante inédite de l'Avant-propos.* P., 1960.

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ЛЕТ (с. 221)

(Le Carnet de guerre)

Перевод выполнен по первым публикациям дневника: записи с 1 августа 1914 г. по 29 июня 1915 г. — по изд.: *Barbusse H. Lettres à sa femme.* P., Flammarion, 1937, р. V—XIII; записи с 14 октября 1915 г. — по изд.: *Barbusse H. Le Feu. Suivi du Carnet de guerre.* P., Flammarion, 1965, р. 289—315.

- ¹ Мелен — город на берегу Сены в департаменте Сена-и-Марна.
- ² Альби — город на юге Франции, в департаменте Тарн, место сбора полка Барбюса.
- ³ Элиона — жена Барбюса, дочь французского писателя Катюля Мендеса (1841—1909), редактора газеты «Эко де Пари», где начал печататься Барбюс. Барбюс женился на ней 18 апреля 1898 г.
- ⁴ Прибытие поездом в Виерзи. — Упомянутые в этой и последующей записях населенные пункты находятся в районе Суассона — города в департаменте Эна на берегу реки Эна.
- ⁵ От Мёза до Марны. — Мёз — французское название реки Маас, протекающей по территории Бельгии, Нидерландов и северо-западной Франции. Марна — приток Сены, текущий параллельно Маасу юго-восточнее его. Барбюс имеет в виду отступление французских войск в августе 1914 г. и Марнское сражение (см. примеч. 25 к «Огню»). После этого, осенью 1914 г. на Аргоннской возвышенности между реками Эна (с востока) и Эр (с запада) развернулись военные действия, в которых принимал участие и Барбюс.
- ⁶ Католическое общество. — О Католическом обществе см. в письме к жене от 15 февраля 1915 г. (Письма I, 31).
- ⁷ ... Я буду произведен в 1-й разряд... — Во французской армии солдатами первого разряда назывались солдаты, получившие награду за храбрость (в отличие от всех остальных солдат, называвшихся солдатами второго разряда).
- ⁸ Ночной марш из Серша в Бийи-сюр-Урк... — В результате перемещений, зафиксированных в этой и ближайших записях, полк Барбюса занял позиции севернее, чем прежде, в районе Арраса (департамент Па-де-Кале, соответствующий исторической

- провинции Артуа), где летом—осенью 1915 г. союзные англо-французские войска безуспешно пытались прорвать немецкий фронт.
- ⁹ *Бертело Филлип* (1866—1934) — французский дипломат, во время Первой мировой войны крупный военный чиновник.
- ¹⁰ *Бетюнская дорога.* — См. примеч. 31 к «Огню». Впечатления от пребывания на фронте в районе Бетюнской дороги, изложенные в этой и последующих записях, использованы Барбюсом в «Огне» (гл. XII «Портик»).
- ¹¹ *Отмечен в приказе...* — Приказ от 8 июня 1915 г. гласил: «Анри Барбюс... Добровольно вызвался под сильным огнем противника доставить в окопы раненных, чьи стоны доносились с поля боя. Трое раненых доставлены на перевязочный пункт» (цит. по: *Barbusse H. Le Feu*, p. V).
- ¹² *Доктор Шайоль* — майор медицинской службы, командир Барбюса (см. письмо к жене от 12 июля 1915 г. — Письма I, 92).
- ¹³ *Рамзес II* (ок. 1300—ок. 1235) — египетский фараон.
- ¹⁴ *Собака... лежит неподвижно и скушает...* — Ср. «Огонь», гл. XI «Собака».
- ¹⁵ *Я был в восторге, когда он меня разжаловал...* — Барбюс записывает (вплоть до реплики Паради) высказывания товарищей по взводу.
- ¹⁶ *Недостает камбалы «Маргерит».* — См. примеч. 22 к «Огню».
- ¹⁷ *Дерулед Поль* (1846—1914) — писатель и политический деятель; создатель и президент Патриотической лиги (1882), автор произведений, проникнутых духом национализма и реваншизма. *Детай Эдуар* (1848—1912) — художник-баталист, автор сентиментально-героических полотен.
- ¹⁸ *...прыжки с «колбасы».* — См. примеч. 32 к «Огню».
- ¹⁹ *...попирать... пикардийцев...* — Прованс, Бретань, Пуату, Пикардия — исторические провинции Франции (деление на провинции было заменено делением на департаменты во время Великой французской революции в начале 1790 г.).
- ²⁰ *...северные кантоны...* — Кантон — низовая административная единица во Франции, соответствующая избирательному округу.
- ²¹ *...возвращение Эльзаса и Лотарингии...* — Об Эльзасе см. примеч. 33 к «Огню»; сходной была и судьба Восточной Лотарингии.
- ²² *«Нувеллист»* — название многочисленных провинциальных газет начала XX в. (ср., например, лионский «Нувеллист», основанный в 1879 г., или лильский «Нувеллист», основанный в 1883 г.).
- ²³ *Гутенберг Иоганн* (ок. 1399—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания; родился и жил в Майнце.
- ²⁴ *...бойни Ла-Вийет...* — Ср. с. 204 и примеч. 45 к «Огню».
- ²⁵ *«Господи, сделай так, чтобы война продолжалась!»* — Ср. «Огонь», гл. V «Стоянка», с. 50.
- ²⁶ *...активная реваншистская партия...* — Речь идет о французских националистах, выступавших за милитаризацию Франции и мечтавших взять реванш у Германии за поражение во франко-прусской войне 1870—1871 гг. Ультраправые националистически настроенные политические деятели, мыслители и писатели входили в «Аксьон Франсез» — реакционную монархическую организацию, основанную в 1899 г. и с 1908 г. выпускавшую одноименную ежедневную газету.
- ²⁷ *Кокон объясняет мне...* — Статистическим выкладкам Кокона, «человека-счетчика», отведено наибольшее место в гл. VII «Огня» — «Погрузка».
- ²⁸ *Во времена царицы «Семинаристы»* — искаж. Семирамиды.
- ²⁹ *Пророчество.* — Ср. разговор рассказчика с Бертраном в главе XX «Огня», также носящей название «Огонь» (с. 160).
- ³⁰ *...Иисус Христос был несчастный человек... его идеи.* — Оставаясь атеистом, Барбюс тем не менее на протяжении всей своей жизни с симпатией относился к Христу. Комментируемая фраза почти дословно повторена в романе «Ясность» (1919), в главе XVI «De profundis clamavi», где сам Христос говорит: «Я не заслужил того зла, которое они сделали с моей помощью». Барбюс посвятил Христу две книги: «Иисус» (1927) и «Иуды Иисуса» (1927) и сценарий «Иисус против Бога» (1926—1927).
- ³¹ *Кароший стрелок... Нет возможности...* — Барбюс записывает выражения американских солдат.
- ³² В списке «Великие книги» перечислены следующие произведения:

- «*Анналы*» — история города Рима и Римской империи в 14—68 гг., написанная римским историком Корнелием Тацитом (ок. 58—ок. 117).
- «*Энеида*» — эпическая поэма римского поэта Публия Вергилия Марона (70—19 до н. э.).
- «*Легенда веков*» (1859—1883) — поэтический сборник Виктора Гюго (1802—1885).
- «*Фауст*» (1-я ч. — 1808, 2-я ч. — 1832) — трагедия Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832).
- «*Раздумья. Новые гимны*» — точнее, «*Раздумья, песни и новые гимны*» (1776—1783) — цикл стихотворений Гете.
- «*Гамлет*» (1601), «*Ромео и Джульетта*» (1595) — трагедии У. Шекспира (1564—1616).
- «*Цветы Эла*» (1857, 2-е дополнен. изд. — 1861) — поэтический сборник Шарля Бодлера (1821—1867).
- «*Дон Кихот*» (ч. 1 — 1605, ч. 2 — 1615) — роман Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616).
- «*Гулливер*» — «*Путешествия Гулливера*» (1726), сатирический роман Джонатана Свифта (1667—1745).
- «*Робинзон Крузо*» (1719) — роман Даниэля Дефо (ок. 1660—1731).
- «*Жизнь Иисуса*» (1863) — первый том труда французского философа и историка Жозефа Эрнеста Ренана (1823—1892) «*История происхождения христианства*» (1863—1883).
- «*Мысли*» (опубл. 1669) — собрание афоризмов, максим и размышлений Блеза Паскаля (1623—1662).
- «*Критика чистого разума*» (1781) и «*Критика практического разума*» (1788) — философские трактаты Иммануила Канта (1724—1804).
- «*Женитьба Лоти*» (1882, первонач. название «*Рауау*», 1880) — роман французского писателя Пьера Лоти (наст. имя и фам. Жюльен Вью; 1850—1923).
- «*Разгром*» (1892) и «*Жерминаль*» (1885) — романы Эмиля Золя (1840—1902).
- «*Крестьяне*» (ч. 1 — 1844, ч. 2 — 1855) — роман Оноре де Бальзака (1799—1850).
- «*Наше сердце*» (1890) — роман Ги де Мопассана (1850—1893).
- «*Святой*» (1879) — исторический роман швейцарского писателя Конрада Фердинанда Мейера (1825—1898).
- «*Непрошенная*» (1890) и «*Слепые*» (1891) — пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (1862—1949).
- «*На белом камне*» (1904) — социально-философский роман Анатоля Франса (наст. фам. Тибо; 1844—1924).
- «*Дневник горничной*» (1900) — роман французского писателя Октава Мирбо (1848—1917).
- «*Ослепления*» (1907) — поэтический сборник французской поэтессы Анны де Ноай (1876—1933).
- «*Сирано де Бержерак*» (1897) — героическая комедия Эдмона Ростана (1868—1918).
- «*Свадебный марш*» (1905) и «*Мама Колибри*» (1904) — пьесы французского драматурга Анри Батая (1872—1922).
- «*Новый идол*» (1899) и «*Ископаемые*» (1892) — пьесы французского драматурга Франсуа де Кюреля (1854—1928).
- Верлен*. — Имеются в виду стихи Поля Верлена (1844—1896).
- Малларме*. — Имеются в виду стихи и поэмы Стефана Малларме (1842—1898).
- «*Рене*» (1802) — роман Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848).
- «*Вертер*» — «*Страдания молодого Вертера*» (1774), роман И. В. Гете.
- «*Война за огонь*» (1911) — роман Рони-старшего (наст. имя Жозеф Анри Бёкс, 1856—1940).
- «*Величие и неволя солдата*» — точное название «*Неволя и величие солдата*» (1835), цикл повестей Альфреда де Виньи (1797—1863).
- «*Древние и новые стихотворения*» (1826) — поэтический сборник Виньи.
- «*Трофеи*» (1893) — книга сонетов французского поэта Жозе Марии де Эредиа (1842—1905).
- «*На дне*» (1902) — пьеса А. М. Горького (1868—1936).

- «*Война и мир*» (1863—1869) и «*Анна Каренина*» (1873—1877) — романы Л. Н. Толстого (1828—1910).
- «*Книга джунглей*» (1894) и «*Вторая книга джунглей*» (1895) — сборники рассказов Джозефа Редьярда Киплинга (1865—1936).
- «*Воспоминания о детстве и юности*» (1883) — мемуарная книга Э. Ренана.
- «*Исповедь*» (опубл. 1782—1789) — мемуарная книга Жан-Жака Руссо (1712—1778).
- «*Мученики*» (1809) — эпическая поэма в прозе Шатобриана.
- «*Госпожа Бовари*» (1857) и «*Бувар и Пекюше*» (1881) — романы Гюстава Флобера (1821—1880).
- «*Милый друг*» (1885) — роман Ги де Мопассана.
- ⁸³ *Портик*. — Ниже следуют названия некоторых глав «Огня» и наброски отдельных фраз для этих глав.
- ⁸⁴ ... человек должен жить прошлым... — Имеется в виду статичный, традиционный характер заветов и законов, которые объявил бог Яхве Моисею на горе Синай (Исход, 20—23, 25—34).
- ⁸⁵ *Филипп IV* (1605—1665) — испанский король с 1621 г. *Его дворец* — Эскуриал, дворец и монастырь в окрестностях Мадрида, построенные в 1563—1584 гг., место захоронения испанских королей.
- ⁸⁶ *Диего Родригес де Сильва и Веласкес* (1599—1660) — испанский художник, придворный живописец Филиппа IV. О Веласкесе как художнике, наделенном своего рода сверхъестественным могуществом, Барбюс писал в XXII гл. романа «Ясность» (одноименной с самим романом).
- ⁸⁷ *Карл V* (1501—1558) — император «Священной Римской империи» в 1519—1556 гг., испанский король под именем Карлоса I в 1516—1556 г. *Карл Великий* (742—814) — франкский король с 768 г., с 800 г. император.
- ⁸⁸ *Брисбиль*. — Упоминаемые здесь и ниже лица — персонажи романа «Ясность».
- ⁸⁹ *Катоблепас* — легендарное животное с длинной тонкой шеей, глядящее всегда в землю. Описано в «Естественной истории» Плиния Старшего (VIII, 77); реальным прототипом этого животного была, по-видимому, антилопа-гну. У Барбюса — символ политически близоруких людей.
- ⁴⁰ *В главе XXIV он показан таким, каков он есть*. — Речь идет о гл. XXIV романа «Ясность».
- ⁴¹ «*Огонь*». *Служба печати*. — Ниже следует список писателей и журналистов, чья рецензия на «Огонь» Барбюс хотел бы видеть в печати. Письма многих из них приведены в разделе: Письма III.
- ⁴² *Солдаты в воде*. — В окончательном варианте эта глава получила название «Под землей».
- ⁴³ *Привычка*. — В окончательном варианте эта глава получила название «Привычки».

ПИСЬМА

I. ПИСЬМА К ЖЕНЕ (с. 247)

Перевод выполнен по первой публикации: *Barbusse H. Lettres à sa femme. 1914—1917. P., Flammarion, 1937*. Частично переведено на русский язык в кн.: *Барбюс А. Огонь. Ясность. Письма с фронта*. М., 1940.

¹ *Дорогой малыш*. . . — О жене Барбюса см. примеч. 3 к «Дневнику».

² *Маккиати* Серафино (ум. 1916) — итальянский художник, живший в Париже; он и его жена дружили с четой Барбюсов.

³ *Омон* — деревня к северу от Парижа, недалеко от Сандиса, где в сентябре 1910 г. Барбюс приобрел домик, который назвал «Сильвия» (очевидно, от лат. *silvae* — леса).

⁴ *Жерве* Андре — французский писатель.

⁵ *Ашетт* — издательство, основанное в 1826 г. Луи Кристофом Ашеттом (1800—1864), а после его смерти перешедшее к его сыновьям Альфреду и Жоржу. С 1912 г. Барбюс занимал там должность литературного директора.

- ⁶ *Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.) — древнегреческий полководец, в молодости поражавший окружающих экстравагантными манерами и костюмами, своего рода «античный денди». *Петроний Арбитр Гай* (ум. 65) — римский писатель, предполагаемый автор романа «Сатирикон», эпикуреец; слыл знатоком светских развлечений и заслужил прозвище «арбитра изящества».
- ⁷ *Война объявлена... Теперь дело за Англией.* — Первая мировая война началась с того, что 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога инцидент в Сараево (см. примеч. 11 к «Огню») объявила войну Сербии; 1 августа Германия (союзница Австрии) объявила войну России, 3 августа — Франции, а 4 августа Великобритания объявила войну Германии (Франция, Англия и Россия с 1907 г. были объединены в Тройственный союз — Антанту).
- ⁸ *Альби* — см. примеч. 2 к «Дневнику».
- ⁹ ... точно таким же я был в Компьене... — 3 ноября 1893 г. двадцатилетний Барбюс был призван на военную службу в 54-й пехотный полк, стоявший в Компьене.
- ¹⁰ *Ган Рейнальдо* (1875—1947) — французский композитор, знакомый Барбюса, состоявший с ним вместе в «Обществе сорока пяти», которое молодые французские писатели и деятели культуры создали в начале XX в., дабы противопоставить его «сорока бессмертным» — старой консервативной Французской Академии. *Грег Фернан* (1873—1960) — французский поэт и критик, символист, создатель журнала «Банке» («Пир»), в котором сотрудничал Барбюс; также состоял в «Обществе сорока пяти». Грег посвятил Барбюсу две некрологические статьи в «Нуфель литтерер» от 7 и 21 сентября 1935 г. *Буланже Марсель* (1873—1932) — французский писатель и журналист; воевал в Первую мировую войну в чине лейтенанта пехотных территориальных войск. «*Филаро*» — парижская газета, основанная в 1826 г. как сатирический еженедельник, с 1866 г. — ежедневная газета, выражающая взгляды и вкусы буржуазии.
- ¹¹ *Анни написала... в бордоском «Матэн».* — Анни — младшая сестра Барбюса (1876—?). Барбюс уже несколько лет сотрудничал с парижской газетой «Матэн», ежегодно возобновляя контракт, обязывающий его предоставлять газете один рассказ в месяц. Рассказы, впервые опубликованные в «Матэн», вошли затем в сборники «Мы» (1914), «Иллюзия» (1919), «Несколько уголков сердца» (1921), «Иностранка» (1922). Всего Барбюс написал для «Матэн» около ста пятидесяти рассказов. О публикациях в бордоском «Матэн» сведений нет (см.: *Паевская А. В.* Указ. соч.).
- ¹² *Леконт Жорж* (1867—1958) — французский романист и литературный критик, знакомый Барбюса.
- ¹³ *Спаги* — во французских колониальных войсках кавалерийские части из местного населения Северной и Западной Африки.
- ¹⁴ «*Таубе*» — см. примеч. 27 к «Огню».
- ¹⁵ *Делесаль Поль* — французский журналист, историк и общественный деятель.
- ¹⁶ *Лошадка* — так в семье Барбюсов называли велосипед Элионы Барбюс.
- ¹⁷ *Виерзи* — см. примеч. 4 к «Дневнику».
- ¹⁸ ... в солдаты первого разряда... — См. примеч. 7 к «Дневнику».
- ¹⁹ ... напиши мне насчет *Ашетта*... — По-видимому, имеются в виду деньги, которые Ашетт должен был заплатить Барбюсу как бывшему служащему своего издательства. Материальное положение Элионы Барбюс во время войны было нелегким: она жила на военное пособие, а также благодаря помощи друзей и Общества литераторов.
- ²⁰ *Я был в Круи... участвовал в бою и в отступлении.* — Ср. эпиграф к «Огню». Секретарь Барбюса Аннета Видаль приводит в своей книге выдержку из дневника однополчанина Барбюса, видевшего писателя в этом бою: «Он вел себя прекрасно; в Круи, в ужасном сражении, где потоками лилась кровь и в грязь можно было утонуть, он был великолепен. Хладнокровный, спокойный, невозмутимый, он всегда добровольно шел на самые опасные задания и выполнял их до конца» (*Видаль А.* Анри Барбюс — солдат мира. М., 1962, с. 52; перевод Л. М. Завьяловой).
- ²¹ *Невиль Альфонс де* (1836—1885), французский художник-баталист.
- ²² ... о налетах *цепеллинов*... — См. примеч. 21 к «Огню».
- ²³ *Китченер Хорес Герберт*, граф (1850—1916) — британский маршал, с 1914 г. —

- военный министр, инициатор реорганизации британской армии; придавал большое значение призыву добровольцев.
- ²⁴ Так как Япония не желает оказать эту поддержку... — Япония, бывшая с 1902 г. союзницей Англии, объявила войну Германии 23 августа 1914 г., однако в боях на европейском континенте японцы участия не принимали.
- ²⁵ ... *Жофретт так Жофретт*... — Вероятно, одно из проявлений «семейной семантики» Барбюсов: название «военного» термоса по имени главнокомандующего французских войск в 1915 г. генерала Жозефа Жака Сезера Жоффра (1852—1931).
- ²⁶ *Надо* Гюстав (1820—1893) — французский композитор и шансонье, опубликовавший около 300 песен.
- ²⁷ *Ботрель* Теодор (1868—1925) — французский шансонье.
- ²⁸ *Буланже* — см. примеч. 10 к Письмам I.
- ²⁹ *Батай* Анри (1872—1922) — французский драматург и поэт, друг Барбюса и его коллега по «Обществу сорока пяти».
- ³⁰ ... целое похоже на фамилию знаменитого карикатуриста... — Барбюс обыгрывает фамилию французского художника Оноре Домье (1808—1879). Место, о котором идет речь, называется Домье (см. *Дневник*, запись от 6 марта 1915 г.).
- ³¹ *Мильран*. — См. о нем примеч. 24 к «Огню».
- ³² ... меня избрали заместителем председателя Общества литераторов... я раздумываю, как поступить... — Членом Общества литераторов (основанного в 1838 г.) Барбюс стал 14 марта 1910 г. Поразмыслив, он в конце концов дал согласие стать вице-президентом Общества.
- ³³ ... я приберег на завтра цыпленка... — Скептическое отношение к религии Барбюс унаследовал от отца, Адриана Барбюса, который, несмотря на то, что родился в набожной протестантской семье, был убежденным атеистом.
- ³⁴ ... Италия вступит в войну? — В соответствии с заключенным в Лондоне 26 апреля 1915 г. секретным соглашением с Антантой, Италия вступила в войну против Австрии 24 мая 1915 г., а против Германии — 28 августа 1916 г.
- ³⁵ *Муне-Сюлли* (наст. имя и фам. Жан Сюлли; 1841—1916) — французский трагический актер, исполнял в «Комеди Франсез» роли классического и романтического репертуара.
- ³⁶ *Нашивочники*... — унтер-офицеры.
- ³⁷ *Зеццос* Джордж Доменико (1883—?) — итальянский художник, друг Барбюсов.
- ³⁸ ... прославляя древнюю как мир сыворотку и старика Эпикура... — По-видимому, Медар иронически противопоставлял практическим методам лечения (прививки) рекомендации древнегреческого философа Эпикура (341—270 до н. э.), который предписывал в качестве основного лечебного препарата мудрость и утверждал, что человек может достичь здоровья и счастья лишь соблюдая определенные этические нормы (умеренность, сдержанность и т. д.).
- ³⁹ *Пиош* Жорж (1874—1941) — французский журналист, автор рецензии на «Ад» Барбюса в «Нувель реву» в 1908 г. «Современные люди» — сатирический еженедельник, основанный в 1900 г. Анри Фабром. Пиош сотрудничал как в нем, так и в «Журналь дю Пепль» — другой газете, которую выпускал Фабр во время войны.
- ⁴⁰ *Бернар* Сара (наст. имя Розина; 1844—1923) — французская трагическая актриса.
- ⁴¹ *Асквит* Герберт Генри, граф (1852—1928) — английский политический деятель, премьер-министр в 1908—1916 гг.
- ⁴² *А Италия-то! Какова?* — См. примеч. 34 к Письмам I.
- ⁴³ *Того и гляди огреет «чемоданом» по башке.* — См. примеч. 15 к «Огню».
- ⁴⁴ ... привет аргоннскому льву и милейшим Маккиати... — Под аргоннским львом подразумевается Зеццос (см. примеч. 37 к Письмам I), участвовавший в боях на Аргоннской возвышенности (см. примеч. 5 к «Дневнику военных лет»). О Маккиати см. примеч. 2 к Письмам I.
- ⁴⁵ ... только и разговоров, что об Италии. — См. примеч. 34 к Письмам I.
- ⁴⁶ *Мамá* — Эмилия Вуарен, приятельница родителей Барбюса, заменившая Анри и его сестрам мать, скончавшуюся в 1876 г.
- ⁴⁷ ... меня отметили в приказе по бригаде... — См. примеч. 11 к «Дневнику».
- ⁴⁸ *Тери* Гюстав — журналист радикал-социалистического направления; 13 мая 1904 г. основал еженедельную газету «Эвр», ставшую ежедневной с 10 сентября 1915 г.; в «Эвр» и был напечатан впоследствии «Огонь» Барбюса.

- ⁴⁹ *Де Гашон Жак* (наст. фам. Пейро; 1868—1945) — французский романист, драматург и детский писатель.
- ⁶⁰ ... читаю *Вергилия* и «*Фауста*»... — ср. в «Дневнике» (с. 238) список «Великие книги», где фигурируют и «*Энеида*», и «*Фауст*».
- ⁵¹ «*Жерминаль*» (1885) — роман Э. Золя, упомянутый в списке «Великие книги» в «Дневнике» (с. 238).
- ⁵² ... обращение генерала *Жоффра*... атака пойдет по всему фронту... — Речь идет о французском наступлении в Шампани (историческая область на востоке парижского бассейна), которое началось 25 сентября 1915 г. О *Жоффре* см. примеч. 25 к Письмам I.
- ⁵³ *Фош Фердинанд* (1851—1929) — французский военачальник, в Марнском сражении (август—сентябрь 1914 г.) командовал 9 армией, одержавшей одну из первых побед; затем был назначен командующим северными армиями, и под его руководством шли в 1915 г. наступательные бои в Артуа (см. примеч. 5 к «Дневнику»), впоследствии, с марта 1918 г. — главнокомандующий союзными войсками. *Кастельно Эдуар де Кюрьер де* (1851—1944) — французский военачальник, в сентябре 1915 г. командовал французским наступлением в Шампани.
- ⁵⁴ По слухам, взяли *Суше*. — См. описание этой разрушенной немцами деревни в «Огне» (гл. XII «Портик»).
- ⁵⁵ Меня опять отметят в приказе. — Барбюс был отмечен в приказе 15 октября 1915 г. за то, что при атаке высоты 140 в сентябре 1915 г. добровольно вызвался оказать помощь раненым под сильным огнем противника (см. об этом подробнее ниже — Письма I, 111).
- ⁵⁶ *Крей* — город на берегу реки Уазы, неподалеку от Салиаса.
- ⁵⁷ «*Эксельсьюр*» — ежедневная газета, основанная 16 ноября 1910 г. Пьером Лафиттом (1872—1938), в чьем издательстве Барбюс служил в 1902—1912 гг., сначала в качестве директора журнала «*Же сэ ту*», а затем в качестве генерального секретаря.
- ⁶⁸ ... занят был поисками карт в фурионе... — Пребывание на фронте подточило здоровье Барбюса (кроме общего истощения организма, у него были замечены уплотнения в легких), и в декабре он был направлен секретарем в штаб 21-го армейского корпуса, к которому и был причислен до 25 августа 1916 г.
- ⁵⁹ *Ник Винтер* (наст. фам. Пенвер, ум. 1946) — французский киноактер.
- ⁶⁰ тревогу за *Примиса*. — Речь идет о брате Элоны Барбюс *Примисе Мендесе*; он погиб на фронте год спустя, 23 апреля 1917 г.
- ⁶¹ ... договор с «*Матэн*» — см. примеч. 11 к Письмам I.
- ⁶² *Пейребрюн Жорж де* (наст. имя *Матильда-Джорджина-Элизабет*; 1848—1917) — французская романистка.
- ⁶³ *Скотт Жорж Бертен* (1873—?) — французский художник-баталист, сотрудник газеты «*Иллюстрасьон*», в 1914—1918 гг. армейский художник.
- ⁶⁴ «*Анналь*» («*Анналь политик э литтерер*») — газета, основанная в 1883 г. *Жюлем Бриссоном*, с 1895 г. выходявшая под редакцией его сына *Адольфа Бриссона* (1860—1925). *Жонас Люсьен Эктор* (1880—?) — французский художник-баталист.
- ⁶⁵ ... на улице *Лаппаран*... — там жили в Париже Барбюсы.
- ⁶⁶ *Баррес Морис* (1862—1923) — французский писатель и политический деятель, крайний националист, выступавший за милитаризацию Франции. *Ренак Жозеф* (1856—1921) — французский политический деятель либеральной ориентации, главный редактор газеты «*Републик франсез*».
- ⁶⁷ О *Жоффре* см. примеч. 25 к Письмам I; *Кадорна Луиджи*, граф (1850—1928) — итальянский генерал, в 1914—1917 гг. начальник генерального штаба итальянской армии; *Пианкаре Раймон* (1860—1934) — французский государственный деятель, в 1913—1920 гг. президент III Республики; *Александр Сербский* — Александр I Карагеоргиевич (1888—1934), с 1921 г. король Югославии.
- ⁶⁸ ... замка *Анри Батая*... — Об *Анри Батае* см. примеч. 29 к Письмам I.
- ⁶⁹ *Фуре Эдмон*, французский издатель. Ср. письмо жене от 14 февраля 1915 г. — Письма I, 29.
- ⁷⁰ *Гю Эдмон*, французский журналист, в это время сотрудник «*Эвр*».
- ⁷¹ ... в издательстве *Фламарион*. — Издательство «*Фламарион*» было основано в 1868 г. Эрнестом Фламарионом, братом знаменитого астронома Камилла Флам-

- мариона. Макс и Алекс Фишеры были в 1916 г. управляющими издательства. В конце концов Барбюс дал согласие издавать «Огонь» именно у Фламмарiona.
- ⁷² ... Салонки в «Вольпате» лучше снять. — Речь идет о гл. IV «Огня» — «Вольпат и Фуйяд».
- ⁷³ Киньон... Фуре... Фаскель... Фишеры... — Барбюс перечисляет издателей, предлагавших ему издать «Огонь» отдельной книгой. Фаскель Эжен — с 1884 г. приказчик у издателя Жоржа Шарпантье (1846—1905), а затем его преемник; у Фаскеля вышли книги Барбюса «Плакальщицы» (1895), «Умоляющие» (1903) и «Мы» (1914). Фишеры представляли издательство «Фламмарion» (см. примеч. 71 к Письмам I).
- ⁷⁴ Сентябрь 1916 г. — По-видимому, описка Барбюса. Письмо скорее всего относится к августу 1916 г., когда он еще не был в госпитале; на это указывают упоминания в тексте августовского утра и службы в канцелярии.
- ⁷⁵ Мишель Альбен (1873—1943) — приказчик у Фламмарiona, в 1903 г. основавший собственное издательство.
- ⁷⁶ Дювернуа Анри (1875—1937) — французский романист и драматург, знакомый Барбюса. См. его письма к Барбюсу по поводу «Огня»: Письма III, 84 и 85.
- ⁷⁷ «Пти Паризьен» — газета, основанная 15 октября 1876 г. Жюлем Рошем и Андрием, вначале — республиканская, затем — политически нейтральная и развлекательная, печатавшая многочисленные романы с продолжением.
- ⁷⁸ Подождем теперь Либкнехта... — Имеется в виду разговор рассказчика с капралом Бертраном в XX гл. «Огня».
- ⁷⁹ ... в духе Барреса... — См. примеч. 66 к Письмам I.
- ⁸⁰ ... гнусному дерулеизму... — О П. Деруледе см. примеч. 17 к «Дневнику».
- ⁸¹ ... письмом славного аббата Буле... — Об аббате Жозефе Буле см. письмо к жене от 11 октября 1915 г. (Письма I, 109); его письма к Барбюсу после выхода «Огня» см.: Письма II, 34 и 47.
- ⁸² ... религии Торквемады... — Так Барбюс иронически именуется католицизм. Томас Торквемада (ок. 1420—1498), с 80-х годов XV в. — глава испанской инквизиции.
- ⁸³ Ла Фуршардьер Жорж де (1874—1946) — французский писатель, друг Г. Тери и сотрудник газеты «Эвр», знакомый Барбюса. Его письмо к Барбюсу по поводу «Огня» см.: Письма III, 12.
- ⁸⁴ ... история с маленьким носильщиком... — Барбюс имеет в виду какую-то историю, рассказанную ему женой в письме. О Марселе Буланже см. примеч. 10 к Письмам I. В 1916 г. этот писатель выпустил книги «Сердце льва» и «На барабане».
- ⁸⁵ «Круа-Эвр». — Барбюс уподобляет здесь социалистическую газету «Эвр» наиболее крупной католической газете «Круа» (основанной в 1880 г.).
- ⁸⁶ Там и в самом деле такое название — «Чудо об огне»? — Барбюс имеет в виду название книги французского писателя Марселя Берже «Чудо об огне», вышедшей в 1916 г. в издательстве Кальман-Леви.
- ⁸⁷ Бордо Анри (1870—1963) — французский писатель, автор нравоописательных романов из жизни французской провинции; он и в самом деле стал в 1919 г. членом Французской академии. Аккер Поль (1874—1915) — французский писатель; как и Барбюс, был сотрудником издательства Ашетт.
- ⁸⁸ Foreign Office — министерство иностранных дел в Англии.
- ⁸⁹ Что касается Гонкуровской премии... — Гонкуровская премия — ежегодная литературная премия за лучшее художественное произведение в прозе (впервые присуждена в 1903 г.); ее фонд составило, согласно его завещанию, состояние французского писателя Эдмона Юо де Гонкура (1822—1896); Гонкуровскую премию присуждают десять писателей — членов Гонкуровской академии (создана в 1896 г., официально признана в 1902 г.). Об обстоятельствах присуждения Гонкуровской премии «Огню» см. в наст. изд. в статье А. Лану. «Умоляющие» (1903) и «Ад» (1908) — романы Барбюса; оба были выдвинуты на получение Гонкуровской премии, но ни тому, ни другому премия присуждена не была.
- ⁹⁰ Доде Леон (1868—1942), Бурж Элемир (1852—1925), Мирбо Октав (1848—1917) — французские писатели, члены Гонкуровской академии.
- ⁹¹ ... письма, подписанного «Давид (?)»... — Письмо к Барбюсу за той же подписью от 23 октября 1917 г. см.: Письма II, 56.
- ⁹² Пьер Мавль — коллективный псевдоним французских писателей Шарля Кюсса (1862—

- 1905) и Шарля Венсана (1851—1920); после 1905 г. под этим псевдонимом выступал один Венсан.
- ⁹⁸ *Вандерем Фернан* (1864—1939) — французский литературный критик.
- ⁹⁴ *Вандерем совершенно прав...* — Письмо Ф. Вандерема Барбюсу от 1 ноября 1916 г., о котором идет речь, см.: Письма III, 10.
- ⁹⁵ ... на улицу Друо, 34. ... — Речь идет об издательстве «Фламмаршон».
- ⁹⁶ ... *Тери раздосадован!* — Имеется в виду несостоявшийся проект издания «Огня» отдельной книгой Гюставом Тери (ср. письмо от 26 октября 1916 г. — Письма I, 161).
- ⁹⁷ «Мы» ... новелл из «Матэн»... — См. примеч. 11 к Письмам I.
- ⁹⁸ «Четырнадцать солдатских историй» (Фламмаршон, 1916) — сборник рассказов французского писателя Клода Фаррера (наст. имя и фам. Фредерик Баргон; 1876—1957).
- ⁹⁹ «Оффисьель» — «Журнал Оффисьель де ла Републик Франсез», официальный орган французского правительства, где публиковались разнообразные указы и документы.
- ¹⁰⁰ *Бенжамен Рене* (1885—1948) — французский писатель, автор романа «Гаспар» (1915, Гонкуровская премия 1915 г.), так же, как и «Огонь», посвященного Первой мировой войне, но трактующего военные будни в гораздо более оптимистическом духе.
- ¹⁰¹ *Лефевр Раймон* (1891—1920) — французский писатель, друг Барбюса, вместе с ним участвовавший в создании Республиканской ассоциации ветеранов войны (ноябрь 1917) и международного антивоенного объединения «Кларте» (1919). Его письмо к Барбюсу, о котором здесь идет речь, см.: Письма III, 36.
- ¹⁰² ... большого международного журнала... — По-видимому, имеется в виду журнал (впоследствии газета) «Кларте», которую Барбюс начал издавать в октябре 1919 г.
- ¹⁰³ *Орель* (наст. фам. М.-А. де Фокамберж; 1882—1948) — французская писательница, автор романов и эссе, посвященных женскому вопросу, хозяйка литературного салона.
- ¹⁰⁴ *Получила ли ты письмо Метерлинка?* — Письмо бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (1862—1949) к Барбюсу от 26 января 1917 г. см.: Письма III, 49.
- ¹⁰⁵ *Пуанкам* — см. примеч. 67 к Письмам I.
- ¹⁰⁶ ... *превзойдет тираж «Гаспара»*. — О романе «Гаспар» см. примеч. 100 к Письмам I.
- ¹⁰⁷ *Мамá* — см. примеч. 46 к Письмам I.
- ¹⁰⁸ «Гранд Ревю» — газета, выходившая в 1893—1914 г.; пропагандировала новое европейское искусство; противопоставляла националистам широкую космополитическую программу. «Радикаль» — левая республиканская газета, основанная в 1881 г. Виктором Симоном и Анри Маре. «Карне де ля Смен» — политический еженедельник умеренно-официального направления, издававшийся Анри Фабром.
- ¹⁰⁹ *Декурсель Пьер* (1856—1926) — французский писатель.
- ¹¹⁰ «Лицом к лицу» — первоначальное название романа «Ясность» (вышел в 1919 г.).
- ¹¹¹ ... *замыкаться в своем личном горе и оплакивать непоправимое*. — Имеется в виду смерть брата Элионы Барбюс (см. примеч. 60 к Письмам I).
- ¹¹² *Я видел сегодняшнюю «Ле Пэн» ... номер «Насьон» с моей статьей*. — Газета «Ле Пэн» была основана Гастоном Видалем 1 июня 1917 г. и имела отчетливо антивоенный характер; 24 июня 1917 г. Барбюс опубликовал в ней статью «К вопросу о Сообществе Наций». В «Насьон» в июне 1917 г. была опубликована статья Барбюса «За что ты сражаешься?».
- ¹¹³ «Плакальщицы» (1895) — первый поэтический сборник Барбюса. Второе издание его вышло в 1920 г.
- ¹¹⁴ «Аксон Франсез» — см. примеч. 26 к «Дневнику».
- ¹¹⁵ *Ты читала в «Виктуар» статью Лизиса?* — Название «Виктуар» с января 1916 г. носила газета Гюстава Эрве (1871—1944) «Ла гер сосьяль»; в 1914 г. Эрве внешне явно переменял свои взгляды и из левого, прогрессивно настроенного журналиста превратился в националиста. Под псевдонимом Лизис в «Виктуар» и «Аксон Франсез» вел политическую хронику французский драматург Морис Донне (1859—1945).
- ¹¹⁶ ... *письма кюре Сиреха*. ... — См.: Письма III, 70 и 71.
- ¹¹⁷ «Коррьере дела сера» — миланская газета (осн. 5 марта 1876 г.).
- ¹¹⁸ *Гоье Урбэн* (наст. фам. Дегуле; 1862—1951) — французский журналист и философ антимилитарист, участвовавший вместе с Г. Тери в создании «Эвр».

- ¹¹⁹ ... эту книгу просят Фишеры. — Вероятно, речь идет о желании М. и А. Фишеров переиздать сборник новелл «Мы», вышедший в 1914 г. у Э. Фаскеля; эта книга вышла в издательстве «Фламарион» в 1918 г.
- ¹²⁰ «Ад» зачитывали в Палате — Речь идет о заседании в Палате депутатов 24 июля 1917 г., где Барбюса обвиняли в пропаганде «предательских и капитулянтских взглядов».
- ¹²¹ Вельсенже Анри (1846—1919), — французский историк и журналист националистической ориентации.
- ¹²² Лавис Эрнест (1842—1922) — французский журналист и историк.
- ¹²³ Кабур — курортное местечко на берегу Ла-Манша (описано под названием Бальбек в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени»).
- ¹²⁴ ... переслал мое письмо... — Речь идет о письме Барбюса к издателю Фаскелю по поводу переиздания сборника «Мы» (см. примеч. 11 к Письмам I).
- ¹²⁵ Кайо Жозеф (1863—1944) — французский политический деятель, подвергавшийся за свои антивоенные выступления и предложение о налогах на доходы монополистов травле со стороны крупной буржуазии. Его письма к Барбюсу по поводу «Огня» см.: Письма III, 1, 62 и 63.
- ¹²⁶ ... моей брошюрой «За что ты сражаешься?» — Речь идет об отдельном издании одноименной статьи Барбюса (см. примеч. 112 к Письмам I).
- ¹²⁷ ... бесчестных кликуш — Эрве и Морраса... — Об Эрве см. примеч. 115 к Письмам I; Моррас Шарль (1868—1952), французский писатель, националист, один из основателей организации «Аксьон Франсез» и одноименной газеты (см. подробнее примеч. 26 к «Дневнику»).
- ¹²⁸ ... скандала с «Бонне Руж»... — Газета «Бонне Руж» была основана в 1913 г. Мигелем Альмерейда (наст. имя и фам. Эжен Бонавантюр Виго; 1883—1917), прогрессивным французским журналистом-антимилитаристом; газета постоянно подвергалась нападкам со стороны «Аксьон Франсез» и «Виктуар», и Альмерейда подал на представителей националистической прессы в суд за клевету. 27 апреля 1917 г. суд приговорил редакторов «Аксьон Франсез» к штрафу. Однако вскоре обнаружилось, что редакторы газеты «Бонне Руж», не отказываясь от своих левых взглядов, принимали денежные субсидии от немецкого банкира Манхейма (посредником был немецкий посол в Швейцарии). Хотя говорить о предательстве со стороны редакции «Бонне Руж» оснований нет, поскольку пацифизм газеты не превращался в измену родине, по настоянию «патриотов» из «Аксьон Франсез» 17 июля 1917 г. «Бонне Руж» была запрещена. Против сотрудников газеты было возбуждено судебное дело; Альмерейда был арестован и еще до начала процесса, 14 августа 1917 г., погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах (подробнее см.: Histoire générale de la presse française. P., 1972, t. 3, p. 439—441). «Ла Транше републикен» — газета того же направления, что и «Бонне Руж»; выходила под редакцией Жана Гольдски.
- ¹²⁹ ... Вергилий в VII песни «Энеиды»... — Барбюс ошибся; приведенная им фраза взята из VI книги «Энеиды» (строка 143; в переводе С. Ошерова: «Вместо сорванной [ветви] вмиг вырастает другая»).

II. ПИСЬМА ФРОНТОВИКОВ

III. ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЛИЦ

Письма фронтовиков, писателей и других лиц Анри Барбюсу публикуются впервые. Перевод выполнен по машинописному тексту, заверенному секретарем писателя Аннетой Видаль и хранящемуся в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР. Письма печатаются в хронологическом порядке. Письма без даты печатаются по алфавиту фамилий их авторов.

II. ПИСЬМА ФРОНТОВИКОВ (с. 386)

- ¹ ... «Луалю... — см. примеч. 10 к «Огню».
- ² ... принимали участие в наступлении в Артуа... — см. примеч. 8 к «Дневнику».
- ³ Эспарбес Тома (1864—1944) — французский писатель, автор военных рассказов и романов о наполеоновских войнах.
- ⁴ Жозеф Буле — см. о нем в письме к жене от 13 октября 1916 г. (Письма I, 156).
- ⁵ Я... провел первую военную зиму в Аргонне... — См. примеч. 5 к «Дневнику».

III. ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЛИЦ (с. 401)

- ¹ Жозеф Кайо — см. о нем примеч. 125 к Письмам I.
В оригинале это письмо датировано неверно, так как в феврале 1916 г. «Огонь» еще не был опубликован не только отдельной книгой, но даже и в газете. По-видимому, следует читать «6 февраля 1917 г.».
- ² Маргерит Поль (1860—1918) — французский романист, член Гонкуровской академии. Датировка неверная; по-видимому, следует читать: «10 февраля 1917 г.».
- ³ Жорж Леконт — см. о нем примеч. 12 к Письмам I.
- ⁴ Фернан Вандерем — см. о нем и его замечаниях в письмах к жене от 29 октября и 3 ноября 1916 г. (Письма I, 164 и 166) и примеч. к ним.
- ⁵ «Гаспар» — о романе Р. Бенжамена «Гаспар» см. примеч. 100 к Письмам I.
- ⁶ У Фламариона... — Об издательстве «Фламарион» см. примеч. 71 к Письмам I.
- ⁷ «628—Е8» — «Автомобиль 628—Е8» (1906), книга путевых очерков Октава Мирбо (см. о нем примеч. 90 к Письмам I).
- ⁸ Вы — первый кандидат на Гонкуровскую премию... — См. примеч. 89 к Письмам I.
- ⁹ «Фигаро» — об этой газете см. примеч. 10 к Письмам I.
- ¹⁰ Жорж де Ла Фуришардьер — см. о нем примеч. 83 к Письмам I.
- ¹¹ Жорес Жан (1859—1914) — лидер правого крыла французских социалистов; выступал против развязывания империалистической войны; 31 июля 1914 г. был убит националистом Вилленом. Снелл Виктор — французский журналист, сотрудник газеты «Эвр». Жемье Фирмен (1869—1933) — французский актер, режиссер и театральный деятель, инициатор создания народных театров.
- ¹² Суше — описание этой разрушенной немцами деревни см. в «Огне» (гл. XII «Портник»).
- ¹³ Жеффруа Гюстав (1855—1926) — французский писатель и критик, член Гонкуровской академии.
- ¹⁴ Декав Люсьен (1861—1949) — французский писатель и публицист, в 1900—1944 гг. — секретарь Гонкуровской академии, в 1945—1949 гг. — ее президент.
- ¹⁵ ... «Ад», существующий вне каждого человека... — Имеется в виду роман Барбюса «Ад» (1908).
- ¹⁶ Рони-старший (наст. имя и фам. Жозеф-Анри Бёкс; 1856—1940) — французский писатель, член Гонкуровской академии (его роман «Война за огонь» назван Барбюсом в списке «Великие книги» в «Дневнике», с. 238).
- ¹⁷ Элемир Бурж — см. о нем примеч. 90 к Письмам I. Эник Леон (1851—1935) — французский писатель, ученик Э. Золя, первый председатель Гонкуровской академии. Л. [неразборчиво]. — по всей вероятности, эта подпись принадлежит Леону Доде (см. примеч. 90 к Письмам I). О присуждении «Огню» Гонкуровской премии см. в статье А. Лану.
- ¹⁸ Берже Марсель (1885—?) — французский писатель.
- ¹⁹ Пикар Гастон (1892—?) — французский литературный критик и писатель.
- ²⁰ Реваль Габриель (1870—1938) — французская писательница.
- ²¹ Фернан Грег — см. о нем примеч. 10 к Письмам I.
О «Плакальщицах» см. примеч. 113 к Письмам I, об «Аде» — примеч. 89 к Письмам I.
- ²² ... Это наш Бодлер... Это наш Виньи... — Фернан Грег сравнивает роман Барбюса «Ад» со сборником Шарля Бодлера «Цветы Зла» (1857, 2-е, доп. изд. 1861), поскольку в обоих произведениях много места отведено описанию низменной, трагической стороны существования человека в современном городе, а роман «Огонь» —

- с циклом повестей А. де Виньи «Неволя и величие солдата» (1835). Оба названных Греггом произведения упомянуты Барбюсом в списке «Великие книги» в «Дневнике», с. 238.
- ²³ *Бертран Адриен* (1888—1917) — французский писатель, получивший за роман «Зов почвы» Гонкуровскую премию 1916 г.
- ²⁴ *Грамон Морис де* (1866—?) — французский лингвист и стиховед.
- ²⁵ *Анри Батай* — см. о нем примеч. 29 к Письмам I.
- ²⁶ *Риотор Леон* (1865—1946) — французский поэт, романист, эссеист, автор четырех поэтических сборников и нескольких сатирико-психологических романов.
- ²⁷ ... статья *Анри Батай*. — В статье об «Огне», опубликованной осенью 1916 г. в «Эвр», Батай писал: «Эта книга написана для народа. Для тебя, справедливая толпа, для тебя, кто всегда права, для тебя, кто отвергает всякого посредника между писателями и искренностью, для тебя пережил ее поэт. Прочти ее с уважением. . . Знай, что теперь ты владеешь произведением, написанным тебе во славу, в честь твоих страданий, твоей правды и твоего идеала, произведением великого поэта и великого француза» (цит. по: *Видал А.* Указ. соч., с. 59).
- ²⁸ ... восхищение *Метерлинка*. — Письмо Мориса Метерлинка к Барбюсу об «Огне» см. ниже, № 49.
- ²⁹ *Кейм Альбер* — служащий министерства торговли и производства средств связи, знакомый Барбюса.
- ³⁰ «Умоляющие» — см. о них примеч. 89 к Письмам I.
- ³¹ *Ростан Эдмон* (1868—1918) — французский драматург.
- ³² *Леон Энник* — см. о нем примеч. 17 к Письмам III.
- ³³ *Раймон Лефевр* — см. о нем примеч. 101 к Письмам I.
- ³⁴ Я только что от *Анатolia Франса*. — Впоследствии *Анатоль Франс* одним из первых вошел в состав созданной Барбюсом группы «Кларте» (см. примеч. 102 к Письмам I), Барбюс очень ценил его мнение (см. письмо к жене от 12 февраля 1917 г. — Письма I, 174).
- ³⁵ *Вайян-Кутюрве Поль* (1892—1937) — французский писатель и общественный деятель, один из создателей и руководителей Французской коммунистической партии (1920), с 1926 г. главный редактор газеты «Юманите».
- ³⁶ «Разгром» (1892) — роман Э. Золя, посвященный поражению французов во франко-прусской войне 1870—1871 гг.
- ³⁷ *Фрапи Леон* (1863—1949) — французский писатель.
- ³⁸ ... несправедливы к сыновьям буржуа. . . — Имеется в виду глава II «Огня» — «Под землей», где речь идет, в частности, о профессиональном составе взвода.
- ³⁹ ... переведен на все языки. — О переводах «Огня» на иностранные языки см. в статье Ж. Реленже.
- ⁴⁰ *Доредан Жан* (1853—1937) — французский писатель и историк.
- ⁴¹ *Северин* (наст. имя и фам. Каролина Реми; 1855—1929) — французская писательница и журналистка, в юности ученица и последовательница Жюль Валлеса (см. примеч. 43 к Письмам III); затем поддалась влиянию национализма, но во второй половине 1910-х примкнула к социалистам.
- ⁴² ... в своей газете. — По-видимому, речь идет о газете «Журнал дю Пепль» (осн. 1917), где сотрудничала *Северин*.
- ⁴³ *Валлес Жюль* (1832—1885) — французский писатель, участник Парижской коммуны, автор автобиографической трилогии «Жак Вентра» (1879—1886).
- ⁴⁴ *Фирмен Жемье* — см. о нем примеч. 11 к Письмам III.
- ⁴⁵ Долговечнее меди. . . — Гораций. Оды, III, 30, 1.
- ⁴⁶ *Ребу Поль* (наст. имя и фам. Анри Милле; 1877—1963) — французский писатель.
- ⁴⁷ ... включая «Гаспара». . . — об этом романе Р. Бенжамена см. примеч. 100 к Письмам I.
- ⁴⁸ *Ростан Роземунда* — жена драматурга Эдмона Ростана.
- ⁴⁹ *Рене Бенжамен* — см. о нем примеч. 100 к Письмам I.
- ⁵⁰ *Журден Франц* (1847—1935) — французский архитектор и литератор.
- ⁵¹ *Ренодель Пьер* (1871—1935) — французский политический деятель, социалист, директор «Юманите» в 1915—1918 гг.
- ⁵² *Кайо* — см. о нем примеч. 125 к Письмам I.
- ⁵³ ... для оранских читателей. — Оран — город в Алжире.
- ⁵⁴ *Жув Пьер-Жан* (1887—1976) — французский поэт и романист, пацифист.

- ⁵⁵ «Амазонка» — антивоенная пьеса А. Батайя (см. о нем примеч. 29 к Письмам I): премьера 9 ноября 1916 г. в театре «Порт-Сен-Мартен»; изд. в 1917 г. у Э. Фаскеля.
- ⁵⁶ Сирех Э. — главный священник Лионских лицеев.
- ⁵⁷ Пльоме Шарль (1861—1928) — французский архитектор и литератор.
- ⁵⁸ ... наших «обедов сорока пяти» — Об «Обществе сорока пяти» см. примеч. 10 к Письмам I.
- ⁵⁹ ... статьи в *Пэи*. . . «За что ты сражаешься?» — См. примеч. 112 к Письмам I.
- ⁶⁰ Жермен Андре (1881—?) — писатель и художественный критик.
- ⁶¹ Магр Морис (1877—1942) — французский поэт и драматург. Бюдри Поль (1883—1949) — швейцарский франкоязычный эссеист и критик.
- ⁶² Кро Шарль (1842—1888) — французский поэт.
- ⁶³ Маргерит Виктор (1866—1942) — французский писатель-реалист, соавтор своего брата Поля Маргерита (см. примеч. 2 к Письмам III).
- ⁶⁴ Леблан Жоржетта — актриса, жена М. Метерлинка.
- ⁶⁵ Фор Поль (1872—1960) — французский поэт, драматург и театральный деятель. символист.
- ⁶⁶ ... восторг Ростана — см. выше письмо № 34.
- ⁶⁷ Лоти Пьер (1850—1923) — французский писатель, автор морских романов (его роман «Женитьба Лоти» назван в списке «Великие книги» в «Дневнике», с. 238).
- ⁶⁸ Робер Луи де (1871—1937) — французский писатель, автор психологических романов. Его письма к Барбюсу см. ниже, № 90.
- ⁶⁹ Адан Поль (1862—1920) — французский писатель, натуралистической, затем символистской ориентации; впоследствии — автор социально-психологических романов.
- ⁷⁰ Фернан Грег — см. о нем примеч. 10 к Письмам I.
- ⁷¹ Анри Дювернуа — см. о нем примеч. 76 к Письмам I.
- ⁷² ... что-то от Вилье, от Жерара де Нерваля. . . — Дювернуа упоминает двух французских писателей, показывавших в своих произведениях вторжение потусторонних, фантастических сил в повседневную жизнь — графа Огюста Вилье де Лиль-Адана (1838—1889) и Жерара де Нерваля (наст. фам. Лабрюни; 1808—1855).
- ⁷³ Робер Луи де — см. о нем примеч. 68 к Письмам III.
- ⁷⁴ Катюль Мендес. . . — О тесте Барбюса Катюле Мендесе см. примеч. 3 к «Дневнику»; Шарпантье Жорж (1846—1905) — французский издатель; . . . томик стихов молодого солдата. . . — сборник «Плакальщицы» (1895), изданный благодаря протекции Катюль Мендеса; о военной службе молодого Барбюса см. примеч. 9 к Письмам I.
- ⁷⁵ Роман «Умоляющие» вышел в 1903 г.

А. Лану

АНРИ БАРБЮС, ИЛИ ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ (с. 439)

Арман Лану (1913—1983) — французский романист, эссеист и критик.

¹ Омон — см. примеч. 3 к «Письмам к жене».

² . . . нервалевского Иль-де-Франса. . . — Иль-де-Франс — историческая провинция во Франции (главный город Париж); французский писатель Жерар де Нерваль (см. примеч. 72 к Письмам III) провел детство здесь в городке Мортфонте, расположенном в районе Санаиса, неподалеку от Омона; эти места Нерваль неоднократно упоминал в своих произведениях, в частности, в повести «Сильвия» (1853), вошедшей в сборник «Дочери огня» (1854).

³ . . . обитателей башни из слоновой кости. — Башня из слоновой кости — выражение из стихотворного послания Ш. Сент-Бева «Вильмену» (сб. «Августовские мысли», 1837), восходящее к католической молитве, где этой метафорой обозначается дева Мария. Выражение это стало нарицательным в лексиконе французских писателей начиная с середины XIX в.; в «башне из слоновой кости» представители так называемого «чистого искусства» надеялись укрыться от пошлой буржуазной действительности.

- ⁴ *Доржелес Ролан* (наст. фам. Лекавеле; 1886—1973) — французский романист; посвященный первой мировой войне роман «Деревянные кресты» вышел в 1919 г.
- ⁵ «Эвр»... «чтение не для дураков». — Этот рекламный лозунг газета «Эвр» пустила в ход в сентябре 1915 г.
- ⁶ *На фоне*... «правдоподобной лжи» *Арагона* и *Кокто*... — Лану противопоставляет художественные принципы Барбюса творческой манере двух писателей иного плана — Луи Арагона (1897—1983) и Жана Кокто (1889—1963), которые в своей художественной прозе, особенно ранней, далеки от барбюсовской прямой публицистичности и установки на документальность.
- ⁷ *Гро Антуан, барон* (1771—1835) — французский художник, придворный живописец Наполеона I; *Гойя Франсиско Хосе де* (1746—1828) — испанский художник; *Жерико Теодор* (1791—1824) — французский художник, ученик Гро; все трое — авторы полотен на темы войны.
- ⁸ *Ромен Жюль* (наст. имя и фам. Луи Фаригуль; 1885—1972) — французский писатель, создатель теории унанимизма, в которой центральное место занимала проповедь единения народов, «единодушия» человеческих коллективов, слияния человека с природой. Унанимистские принципы Ромена воплощены в его стихотворных сборниках (например, «Единокдушная жизнь», 1908) и, особенно, в 27-томной прозаической эпопее «Люди доброй воли» (1932—1947).
- ⁹ *Блюм Леон* (1872—1950) — французский политический деятель и литератор социалист, глава первого правительства Народного фронта (июнь 1936—июнь 1937).
- ¹⁰ ... *Крымской войны, описанной у Толстого*... — Имеются в виду «Севастопольские рассказы» (1855) Л. Н. Толстого.
- ¹¹ ... *Гонкуровская академия* — см. о ней примеч. 89 к Письмам I.
- ¹² *Жеффруа* — см. о нем примеч. 13 к Письмам III.
- ¹³ *Клемансо Жорж Бенжамен* (1841—1929) — французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг., неоднократно министр; во время первой мировой войны — националист и милитарист.
- ¹⁴ *Рони-старший* — см. о нем примеч. 16 к Письмам III.
- ¹⁵ ... *посещали дом на площади Гайон еще при Гонкурах*. — На площади Гайон в Париже находится ресторан Друана, где по традиции собираются каждый год в начале декабря члены Гонкуровской академии для обсуждения кандидатуры очередного лауреата. По всей вероятности, Жеффруа и Рони-старший были близко знакомы только с Эдмоном де Гонкуром, поскольку его брат Жюль скончался в 1870 г., когда Жеффруа было пятнадцать лет, а Рони-старшему — четырнадцать.
- ¹⁶ ... *Леон Энник, постоянный участник «меданских вечеров» Эмиля Золя*... — О Л. Эннике см. примеч. 17 к Письмам III. В Медане (департамент Ивелин) находился загородный дом Эмиля Золя, где собирались в 70-е—80-е годы его последователи, французские писатели-натуралисты, в число которых входил и Энник. Название «Меданские вечера» получил поэтому и первый совместный сборник их произведений (1880).
- ¹⁷ *Элемир Бурж* — см. о нем примеч. 90 к Письмам I. *Парижской коммуне посвящен* его роман «Птицы улетают, цветы опадают» (1893).
- ¹⁸ *Леон Доде* — см. о нем примеч. 90 к Письмам I; об «*Аксьон Франсез*» — примеч. 26 к «Дневнику».
- ¹⁹ *Люсьен Декав* — см. о нем примеч. 14 к Письмам III. Его роман «*Унтер-офицеры*», сатирически изображающий быт французской армии, вышел в 1889 г.
- ²⁰ *Готье Жюдит Луиза* (1845—1917) — французская писательница, автор стихов и прозы, посвященных Востоку, и ценных мемуаров.
- ²¹ *Октав Мирбо* — см. о нем примеч. 90 к Письмам I.
- ²² *Поль Маргерит* — см. о нем примеч. 2 к Письмам III; *Виктор Маргерит* — см. о нем примеч. 63 к Письмам III. Роман «*Женщина-холостяк*» В. Маргерит выпустил в 1922 г.
- ²³ ... *почему так поступил Леон Доде, понятно*... — Лану имеет в виду близость взглядов Л. Доде к национализму.
- ²⁴ ... «*Перед Верденом*» ... «*Верден*»... — Эти романы входят в состав многотомной эпопеи Ж. Ромена «Люди доброй воли» (см. примеч. 8 к наст. статье).

- ²⁵ «Фемина» — литературная премия, основанная в 1904 г.; присуждается в конце года, за несколько дней до Гонкуровской премии; в состав жюри входят только женщины. Роман «Деревянные кресты» получил премию «Фемина» в 1919 г. Гонкуровскую премию получил в том же году Марсель Пруст за роман «Под сенью девушек в цвету».
- ²⁶ Ноай (урожд. Бранкован) Анна де (1876—1933) — французская поэтесса и романистка, автор стихотворений в духе неоклассицизма; см. упоминание ее сборника «Ослепления» в списке «Великие книги» в «Дневнике» (с. 238).
- ²⁷ Мак Орлан Пьер (наст. фам. Дюмарше; 1882—1970) — французский писатель, автор антимилитаристских романов и рассказов; Арну Александр (1884—1973) — французский писатель, автор рассказов о войне (сб. «Кабаре», 1919), и фантастических и исторических романов; Женева Морис (род. 1890) — французский писатель; первой мировой войне посвящена его тетралогия «Люди Четырнадцатого года» («Под Верденом», 1916; «Ночи войны», 1917; «На пороге укрытий», 1918; «Грязь», 1921).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНРИ БАРБЮСА *

1873, 17 мая	В Аньере (департамент Сена) в семье литератора Адриена Барбюса родился Анри Барбюс
1876	Смерть матери Барбюса
1883—1891	Барбюс учится в коллеже Роллена в Париже
1888	Статьи в газете «Сьекль»
1893, 3 ноября	Барбюс на один год призван в армию
1895, 25 марта	Выход в свет первого поэтического сборника Барбюса «Плакальщицы»
1896, 15 августа	Барбюс поступает на службу в пресс-бюро министерства внутренних дел
1898, 18 апреля	Барбюс женится на Элионе Мендес
1899	Барбюс поступает на службу в министерство земледелия
1899—1901	Барбюс ведет раздел театральной критики в журнале «Гранд Ревю»
1902	Барбюс поступает на службу в издательство «Пьер Лаффит» (директором журнала « <i>Je s'е tu</i> », а затем генеральным секретарем)
1903	Выход романа «Умоляющие»
1908	Выход романа «Ад»
1912	Барбюс становится литературным директором издательства «Ашетт»
1914	Выход сборника рассказов «Мы»
август	Барбюс идет на фронт добровольцем; зачислен рядовым в 231-й пехотный полк
1915, июнь	Барбюс назначен ротным санитаром;
ноябрь	Барбюс переведен в Главный штаб 21-го армейского корпуса писарем
1916, 3 августа— 9 ноября	Публикация романа «Огонь» в газете «Эвр»;
15 декабря	отдельное издание «Огня» в издательстве «Фламмаринон»; роману присуждена Гонкуровская премия 1914 г.
1917, 2 ноября	Барбюс вместе с Р. Лефевром, П. Вайяном-Кутюрье и Ж. Брюйером основывает Республиканскую ассоциацию бывших участников войны
1919	Выход романа «Ясность» и сборника рассказов «Иллюзия»; основание международного антивоенного объединения интеллигенции «Кларте» и одноименного журнала;
19 мая	публикация в газете «Журналь дю Пепль» манифеста группы «Кларте», написанного Барбюсом;

* Здесь использованы материалы «Хроники жизни и творчества Барбюса», опубликованной в кн.: Паевская А. В. Анри Барбюс. Библиографический указатель. М., 1964, с. 31—35.

- 14 июля статья В. И. Ленина «О задачах III Интернационала» с отзывом о романах «Огонь» и «Ясность»;
- октябрь Барбюс становится редактором журнала «Кларте»
- 1920 Отдельное издание манифеста группы «Кларте» — «Свет из бездны. К чему стремится группа „Кларте“?»; выход сборника «Слова борца», в который вошли статьи 1917—1920 гг.
- 1921 Выход сборника рассказов «Несколько уголков сердца»;
- 12 августа организация Заграничного комитета помощи рабочих голодающим России (Межрабпом), в состав которого входит Барбюс
- 1923, февраль Барбюс вступает в члены Французской коммунистической партии
- 1925 Выход романа «Звенья»
- 1926 Выход публицистической книги «Палачи. На Балканах. Белый террор» и сборника рассказов «Сила»
- 1926—1927 Барбюс ведет литературный отдел газеты «Юманите»; работа над пьесой «Иисус против Бога»
- 1927 Выход книги «Иисус» и исследования «Иуды Иисуса»; Барбюс — один из организаторов Международного конгресса против колониального угнетения в Брюсселе;
- 10 сентября— первая поездка в СССР для участия во Всемирном конгрессе друзей СССР (Москва)
- 1 декабря 1928 Выход сборника «Происшествия» (в русском переводе «Правдивые истории»); Барбюс становится редактором еженедельника «Монд»;
- 26 июня вторая поездка в СССР
- 1929, март Возвращение из СССР; участие в Первом международном антифашистском конгрессе (Берлин); выход книги «Вот какой стала Грузия»;
- июль участие во Втором конгрессе против колониального угнетения (Франкфурт);
- декабрь публикация в газете «Монд» фрагмента пьесы «Иисус против Бога»
- 1930 Выход книги «Взлет» и книги «Что было, то будет» (последняя часть романа «Звенья»)
- 1932 Выход книги «Золя»;
- 22 мая публикация в газете «Юманите» статьи «Я обвиняю» в защиту Советского Союза;
- август участие в Международном антивоенном конгрессе в Амстердаме; Барбюс избран председателем Постоянного международного антивоенного комитета;
- осень поездка в СССР
- 1933, 4—6 июня Участие в Европейском антифашистском конгрессе (Париж); организация Международного комитета против войны и фашизма (так называемого комитета Амстердам—Плейель), в состав которого входит Барбюс;
- июль Барбюс становится членом редколлегии журнала «Коммюн» — органа французской секции Ассоциации революционных писателей и художников;
- лето поездка в СССР
- 1934, сентябрь Поездка в СССР

1935, июнь	Доклад «Нация и культура» на Международном конгрессе писателей в защиту культуры (Париж);
25 июля	Барбюс приезжает в СССР;
22 августа	писатель заболевает воспалением легких;
30 августа	смерть Барбюса;
7 сентября	похороны писателя на кладбище Пер-Лашез в Париже
1936	В Париже выходит французское издание «Писем Ленина к родным» с обширным предисловием Барбюса
1937	Публикация писем Барбюса жене с фронта

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Анри Барбюс в армии. 1915 г. Фотография	4
Первоначальный вариант первой главы романа (рассказ «Зрители»). Автограф	218
Анри Барбюс на фронте. Фотография	222
Анри Барбюс — солдат 231-го стрелкового полка. 1915 г. Фотография	226
Дневник военных лет. 1915 г. Автограф	235
Анри Барбюс на переходе. Фотография	263
Анри Барбюс на привале. Фотография	337
Анри Барбюс в госпитале. Фотография	371
Письмо В. И. Ленина группе «Кларте»	469

СОДЕРЖАНИЕ

ОГОНЬ	5
<i>Пер. В. Парнаха и О. В. Моисеенко</i>	

ДОПОЛНЕНИЯ

ЗРИТЕЛИ	217
<i>Пер. О. В. Моисеенко</i>	
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ЛЕТ	221
<i>Пер. О. В. Моисеенко</i>	

ПИСЬМА

I. ПИСЬМА АНРИ БАРБЮСА К ЖЕНЕ	247
<i>Пер. Н. И. Немчиновой, О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной</i>	
II. ПИСЬМА ФРОНТОВИКОВ АНРИ БАРБЮСУ	386
<i>Пер. И. А. Лилевой и В. А. Мильчиной</i>	
III. ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЛИЦ АНРИ БАРБЮСУ	401
<i>Пер. И. А. Лилевой и В. А. Мильчиной</i>	

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>М. Горький.</i> ПРЕДИСЛОВИЕ	435
<i>Арман Лану.</i> АНРИ БАРБЮС, ИЛИ ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ	439
<i>Пер. О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной</i>	
<i>Жан Реленже.</i> ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОМАНА БАРБЮСА «ОГОНЬ»	447
<i>Пер. И. А. Лилевой и В. А. Мильчиной</i>	
<i>Ф. Наркирвер.</i> МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА «ОГОНЬ»	467
ПРИМЕЧАНИЯ	483
(к «Огнию» сост. <i>И. А. Лилева</i> , к «Дополнениям» и «Приложениям» сост. <i>В. А. Мильчина</i>)	
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНРИ БАР- БЮСА	500
(Сост. <i>В. А. Мильчина</i>)	
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	502

АНРИ БАРБЮС

ОГОНЬ

Утверждено к печати
Редколлекцией серии
„Литературные памятники“

Редактор издательства
О. К. Логинова

Художник
В. Г. Виноградов

Художественный редактор
Н. Н. Власик

Технический редактор
Н. П. Кузнецова

Корректоры
Г. М. Котлова,
Л. Д. Собко

ИБ № 29535

Сдано в набор 21.11.84
Подписано к печати 16.04.85
Формат 70×90¹/₁₆

Бумага книжно-журнальная импортная
Гарнитура академическая

Печать высокая
Усл. печ. л. 36,99. Усл. кр. отт. 38,16
Уч.-изд. л. 39,2

Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 2120
Цена 5 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство „Наука“
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства „Наука“
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

52.20k.

AMERICAN BOOK COMPANY